МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи

Большакова Ольга Владимировна

История императорской России в зарубежном россиеведении: теории, источники, интерпретации (1940-2010-е годы)

Специальность 07.00.09 – Историография, источниковедение
и методы исторического исследования

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
доктора исторических наук
Том 1

Научный консультант:
д.и.н., профессор Н.Б. Селунская

Москва – 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава 1. У истоков формирования зарубежного россиеведения 30

1.1. Зарождение представлений о России и «Западе» 31

1.2. Особенности процесса оформления устойчивого интереса к истории России за рубежом, 1870-е – начало 1940-х годов 56

Глава 2. Первый этап профессионального изучения истории России в англоязычных странах (конец 1940-х – 1960-е годы) 95

2.1. Russian studies послевоенного десятилетия: создание инфраструктуры 96

2.2. «Россия и Запад» как центральная проблема англо-американской историографии 1940-1960-х годов 128

2.3. Новые теории и подходы: конец 1950-х-1960-е годы 156

Глава 3. Второй этап развития зарубежной историографии России: Конец 1960-х -1980-е годы 201

3.1. Общая характеристика периода в контексте диалога зарубежного россиеведения с советской исторической наукой 201

3.2. Историографический ландшафт 1970-1980-х годов и «кризис самодержавия» 239

Глава 4. Изучение внутренней политики России XIX в. в зарубежной историографии 1960-1980-х годов: Бюрократия и реформы 272

4.1. История государственных институтов императорской России 274

4.2. Великие реформы 309

4.3. Концепция единства реформаторского процесса в России XIX в. 342

Главы 5, 6 . . . . . 2 том

ВВЕДЕНИЕ

Диссертация посвящена профессиональному изучению истории императорской России за рубежом, которое с конца 1940-х годов осуществлялось в рамках дисциплины Russian studies. В центре внимания – эволюция интерпретаций зарубежных историков, в основе которой лежали как актуальные научные теории, так и образы императорской России, преобладавшие в профессиональном дискурсе в тот или иной период.

Актуальность и научная значимость темы. Зарубежная историография России прошла большой путь, выработав целый ряд собственных концепций, которые изменялись с течением времени. Они представляют большой научный и познавательный интерес, поскольку понимание страны невозможно без осмысления ее истории.

Первые сообщения западных путешественников о Московии XVI-XVII вв. стали источником сведений о стране, все более активно входившей в соприкосновение с Европой. По мере расширения контактов объем информации неуклонно расширялся, составив фундамент из фактов, мифов и этнических стереотипов, на котором выстраивался образ России за рубежом. На протяжении последних трех столетий для России в ее сложных отношениях взаимодействия/противостояния с Западом вопрос о формировании ее образа имел прямое отношение к определению ее места в мире, в конечном итоге – к выковыванию собственной идентичности. Условный «Запад» также был озабочен проблемами восприятия и самоидентификации, и начиная с XVII в. Россия становится для него значимым «Другим», отталкиваясь от которого можно было бы выстраивать собственные позитивные «автообразы». Складывавшийся в общественном сознании разных стран многомерный и многозначный образ определял не только отношение их граждан к России, но и внешнюю политику[1]. Только в

[1] См.: *Журавлева В.И.* Понимание России в США: Образы и мифы: 1881-1914. М., 2012.

XX в., когда роль экспертного знания в формировании политического курса стала признаваться повсеместно, профессиональное изучение России/СССР обрело статус научной дисциплины.

После Второй мировой войны в США, а затем и в других странах возникают центры региональных исследований, междисциплинарные по своему характеру, в которых изучают другие страны и цивилизации. СССР, как главный соперник в начавшейся холодной войне, получает приоритетное внимание в том, что касалось финансирования и лоббирования исследований. Однако несмотря на то, что противостояние двух сверхдержав разворачивалось как борьба двух идеологий, подход к изучению потенциального врага был весьма широким и поистине научным. История, язык и литература стали главными направлениями зарубежных исследований России/СССР.

Динамика в эволюции научного знания о России за рубежом отразилась в терминологии. До Второй мировой войны при обозначении исследований, относящихся к России и славянским странам, превалировало Slavic (брит. Slavonic) studies, Slavistics. Термин перекликался с русским названием науки «славистики» и подразумевал в первую очередь славянскую филологию и только во-вторых – историю, что отражало тогдашнее состояние науки. Вскоре после войны возникает наименование Russian/Soviet studies, которое получило широкое распространение и указывало на междисциплинарный цивилизационный подход, с предпочтением социальных наук и истории. Термин «советология» (Soviet studies/Sovietology) вошел в научный обиход в 1960-е годы и относился к изучению политики советского государства, в то время как исторические исследования СССР находились тогда в стадии зарождения (и получили название Soviet history). Советология не приветствовалась зарубежными историками, а для русского читателя этот термин приобрел исключительно идеологизированное звучание, с

уничижительными определениями[2]. Созданный на пике холодной войны образ «буржуазной лженауки», обслуживающей интересы мирового империализма, до сих пор присутствует в термине «советология», хотя как отдельная субдисциплина она уже прекратила свое существование.

В отечественной науке принят термин «россиеведение», который подразумевает изучение России как особой цивилизации. Такой подход был присущ зарубежным региональным исследованиям послевоенного времени. В настоящее время «особость» не находится в числе приоритетов зарубежной науки, и основное внимание уделяется взаимодействию, транснациональным связям, в то время как национальные границы не акцентируются. Поэтому географический ареал современного зарубежного россиеведения достаточно широк и включает в себя как минимум регион России/СССР и стран Восточной Европы. Как правило, сегодня используется термин Russian and East European studies, сокращенно REES. При этом все чаще в зарубежных исследованиях возникает указание на более обширный регион Евразии, как это произошло в случае переименования Американской Ассоциации содействия славянским исследованиям (AAASS) в Ассоциацию славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES). В дисциплинарном отношении история по-прежнему занимает ведущее положение в этой организации, которая стала «зонтиком» для множества других дисциплин, изучающих регион.

Учитывая то обстоятельство, что в зарубежной науке история перешла в разряд гуманитарных дисциплин, неудивительно, что сами историки-русисты предпочитают «россиеведению» «русистику» (по аналогии со славистикой). Имеются и другие соображения в пользу термина «русистика». В частности, для немецкоговорящих читателей корень «-ведение» подразумевает поверхностный, популярный, а не научный взгляд и ассоциируется с

[2] См.: *Малиа М.* Из-под глыб, но что? Очерк истории западной советологии // Отечественная история. М., 1997. № 5. С. 93-109. Речь идет также о таких сугубо прикладных субдисциплинах, как Kremlinology и Soviet and Communist studies.

краеведением, что «не совсем ясно транслирует смысл английского или немецкого термина “Russian studies”/ “Russlandstudien”»[3]. В настоящей работе, тем не менее, два этих термина используются как взаимозаменяемые. Однако поскольку в центре внимания находится изучение истории России, используется и термин «историческая русистика».

Объектом диссертационного исследования является зарубежное россиеведение как научная дисциплина во всем ее временном развитии, с акцентом на изучении истории[4]. При этом основное внимание уделяется англоязычному россиеведению, поскольку оно безоговорочно первенствует в том, что касается инфраструктуры – наличия центров и учебных заведений, где изучается Россия. А если судить по количеству книжных публикаций по истории России досоветского периода, в процентном отношении на североамериканскую историографию (США и Канада) приходится примерно 80%, на британскую (и небольшую австралийскую) – около 10%, немецкоязычную (Германия, Австрия и Швейцария) – 5%, остальные 5% делят между собой французская, итальянская, скандинавская и японская историографии[5]. Не так давно к ним присоединился Китай. В условиях глобализации науки ведущей тенденцией нового тысячелетия, которая затронула и зарубежное россиеведение, стал повсеместный переход на английский в качестве языка научной коммуникации[6]. Он стал цементирующим фактором для поистине космополитичного сообщества

---

[3] *Плате А.* Трудности российского понимания современной немецкой русистики // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. Т. 65. Вып. 4. С. 1329-1330.

[4] История продолжает сохранять свое ведущее положение в REES. На ежегодном съезде ASEEES в 2011 г. тематика докладов распределилась следующим образом: история – 36%, литература и культура – 29, социальные науки – 15; остальные 20% поделили между собой гендерные исследования, иудаика, изучение религии и др. См.: *Park L.* 2011 Executive Director’s Report // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. 2012. Vol. 52, N 1. P. 17-18.

[5] Подсчитано автором по состоянию на 2014 год. Учитывались работы, отрецензированные в ведущих журналах.

[6] Так, для завоевания широкой англоязычной аудитории издательство Berghahn Books, в рамках целевого проекта «Новые германские исторические перспективы», публикует работы немецких историков на английском языке.

специалистов по России, среди которых много выходцев из разных стран, что придает прежде исключительно «западной» дисциплине REES глобальный характер.

Предметом исследования выступают интерпретации истории императорской России в зарубежной историографии.

Рассмотрение содержательной стороны зарубежной историографии России невозможно без уяснения тех основ, на которых она создавалась, а в конечном счете – специфики профессионального дискурса. Последнее наряду с анализом основополагающих теорий и концепций предполагает выявление базовых понятийных категорий, определяющих создание профессиональных текстов об истории России. Кроме того, необходимо учитывать и обыденные стереотипы, и историографические клише, многие из которых ведут свое происхождение из века Просвещения и в ряде случаев не утратили своих позиций до настоящего времени. В наиболее общем виде представления о России концентрируются в историографических образах, которые задают вектор того или иного исследования. Следует принимать в расчет и национальные особенности дискурса, обусловленные традицией, а поскольку в центре внимания находятся работы англоязычных историков – англосаксонский тип научного мышления с присущими ему особенностями стиля и аргументации, и прежде всего эмпиризмом.

Принципиальным для анализа интерпретаций зарубежных историков-русистов является проведение различия между публичным и профессиональным – историографическим – дискурсами. Профессиональный дискурс выковывался в послевоенное двадцатилетие в противостоянии с публичным, который оперировал накопившимися стереотипами и клише о России. Окончательно утвердившись в 1970-е годы, историографический дискурс, тем не менее, активно отстаивал свои границы, что выражалось прежде всего в откликах на ту или иную нашумевшую публикацию.

В то же время для адекватного понимания интерпретаций исключительное значение имеет контекст, который включает в себя такие существенные с точки зрения интеллектуальной истории науки элементы, как институциональный аспект, т.е. организационную составляющую дисциплины, а также конкретно-исторические обстоятельства, политический и интеллектуальный климат эпохи, и даже конкретную ситуацию, в которой писались те или иные труды.

Воздействие «политики» на исследовательскую повестку дня и интерпретации историков – особенно важная проблема для дисциплины, долгое время развивавшейся в условиях холодной войны. В этом отношении избранный для рассмотрения предмет – история императорской России – представляет собой относительно нейтральную территорию, лежащую между крайней политизацией и «чистой» наукой. Именно в этой области зарубежная историография наименее идеологизирована и наиболее свободна в своих интерпретациях. Из тех же соображений основное внимание в работе уделяется периодам стабильности – реформам, а не революциям. Это оправдано и с формальной точки зрения, так как историография Русской революции, будучи главной точкой идеологического противостояния двух исторических школ во времена холодной войны, в 1970-е годы отошла к сфере Soviet history и Soviet/Communist studies.

Цель исследования – выявить характер и содержание динамики и определить познавательный потенциал профессионального исторического знания об императорской России в зарубежном россиеведении, а также влияние ментальных конструктов-«образов России» на историческое сознание в контексте конкретно-исторических условий их формирования и развития.

Задачи диссертации состоят в следующем:

- Проследить историю формирования и развития дисциплины Russian studies, с особым акцентом на изучении истории императорской России;

- Рассмотреть теоретические основы профессионального знания об истории России с учетом смены научных парадигм;

- Изучить трансформации характера взаимосвязей зарубежного россиеведения с советской и постсоветской историографией;

- Выявить ведущие тенденции в исследованиях истории императорской России за рубежом, проанализировать их методологию и основные концепции;

- Охарактеризовать историографические образы императорской России, сложившиеся в зарубежном россиеведении на разных этапах его развития.

Хронологические рамки исследования двойные, поскольку у объекта и предмета изучения темпоральность различается. Первый слой хронологии определен в названии диссертации и обусловлен историей развития зарубежного россиеведения. Хотя зарождение этой дисциплины относят к XIX в., о профессионализации исторического знания о России и его окончательной институализации с уверенностью можно говорить только начиная с послевоенного времени, когда создается дисциплина Russian studies.

Периодизация исследования определяется в работе с опорой на исторические изменения, которые при этом тесно связаны со сменой исследовательских парадигм. Выделяются три значимых периода: конец 1940-х – конец 1960-х годов. 1968 год – достаточно условная, но важная веха, обозначившая перемены и в мировой науке, и в образовании, в том числе в организационном отношении. Следующий период – конец 1960-х – конец 1980-х годов. Его окончание отмечено двумя важными для зарубежного россиеведения датами: 1989 год – падение Берлинской стены, ознаменовавшее окончание холодной войны, и 1991 год – распад Советского Союза и крушение коммунистической системы. С этого момента начинается третий, постсоветский период, в котором определенно просматривается отдельная эпоха 1990-х годов, характеризующаяся активной деполитизацией

и деидеологизацией дисциплины Russian studies наряду с глубоким пересмотром прежней историографии.

Второй хронологический слой исследования значительно шире и относится к его предмету. Это период русской истории, изучаемый зарубежной историографией; он также задан в названии работы («императорская Россия»). Однако если раньше к хронологии существования Российской империи подходили формально-юридически, и соответственно она охватывала два столетия до 1917 г., то в новом тысячелетии Россию стали относить к разряду строившихся в Раннее Новое время империй, и ее начало усматривают в XVI в. Формальной датой многие считают взятие Казани. Это обстоятельство позволяет включить в рассмотрение значимые работы по допетровскому периоду, в первую очередь представителей так называемой Гарвардской школы историков, а также обратиться к проблеме евразийства России.

Географические рамки исследования также являются двойными, охватывая в первом случае страны, в которых развивалось россиеведение (с акцентом на США), а во втором – Российскую империю в ее государственных границах. Они расширяются в работах нового тысячелетия, поскольку, с одной стороны, изменяется географическая таксономия («постсоветское пространство»), с другой – усиливается внимание к контактным зонам империй и транснациональным процессам.

Методологическая основа исследования. В методологическом отношении решающими для настоящего исследования являются принципы историзма, конкретности и объективности, что предполагает привлечение всей полноты источников с их последующим отбором, критический подход к их анализу, системность и доказательность суждений, обоснованность выводов. В соответствии с принципом историзма исследование опирается на представление об историографическом процессе как процессе системном, изменчивом, относительном. Центральным является понятие культурно-

исторической обусловленности познавательных моделей науки и ее базовых концептов. Таким образом, речь идет об историографии как своего рода интеллектуальной истории, объединяющей в себе целый ряд научных дисциплин. В соответствии с науковедческим подходом учитывается значимость институциональных форм и организационных основ исторического знания[7]. Здесь уместны и подходы новых субдисциплин – антропологии науки и антропологии знания[8]. Ключевым для настоящего исследования является междисциплинарный имагологический подход с его вниманием к изучению образов «Другого» и процессов взаимовосприятия, при этом предпочтение отдается исторической и культурной антропологии.

Современная антропология дистанцировалась от науки эпохи модерна, когда основной задачей исследователей было *объяснение,* и сосредоточилась на *понимании*. Такой подход реализуется в антропологической герменевтике, которая значительно отличается от сложившейся на рубеже XIX-XX вв. исторической герменевтики. Историческая герменевтика подразумевала изучение национального прошлого, вживания, вчувствования в жизнь своих предков. Антропологическая, ассоциирующаяся с такими именами, как Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр, М. Фуко, Ж. Деррида, М.М. Бахтин, нацелена на изучение других культур и народов и их прошлого. В основе ее методологии лежит понимание «Другого». При изучении других культур антропологи отдают себе отчет в том, что исходят из собственной идентичности, идут «от себя» к «другому», ищут в нем черты сходные или противоположные[9].

---

[7] Указанный подход развивается в нашей стране в рамках направления «новой интеллектуальной истории». См. альманах «Диалог со временем», выпускаемый Центром интеллектуальной истории ИВИ РАН, а также работы Л.П. Репиной: *Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история. М.: ИВИ РАН, 1998; *ее же.* Историческая наука на рубеже XX—XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011 и др.

[8] В нашей стране это направление представлено в рамках этнологии и рассматривает ученого и как человека своей эпохи, и как члена научного сообщества. См.: Антропология академической жизни: Традиции и новации / Отв. ред. Г.А. Комарова. М., 2013.

[9] *Гадамер Г.* Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988; *Фуко М.* Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1981-1982

Механизмы формирования идентичности, т.е. представлений о себе индивидов, групп и даже государств, получили прочную методологическую основу в идентитарных исследованиях. При всем разнообразии подходов и независимо от дисциплинарной принадлежности авторов эти механизмы описываются при помощи концептуальной пары «Я-Другой». Имеется в виду, что собственная идентичность («Я») выстраивается путем соотнесения себя с образом значимого «Другого», который наделяется чертами, по определению противоположными[10].

Дискурс о себе и «Другом» строится на структуре оппозиций, причем когда речь идет о странах и народах, первостепенное значение имеют такие базовые оппозиции, как «свобода-рабство», «цивилизация-варварство», «прогресс-отсталость» и, наконец, «Запад-Восток». Все эти понятия имели прямое отношение к историографическому дискурсу зарубежного россиеведения. Исходным тезисом диссертации является утверждение, что в своих исследованиях историки-русисты выступали как представители западной цивилизации и изучали Россию как «Другого» (но при этом находили в ней черты не только негативные, но и позитивные).

С этой точки зрения основополагающее значение для настоящей работы имеет понятие «запад», которое используется как аналитический инструмент, однако не в рамках сформировавшейся в германской традиции истории понятий (Begriffsgeschichte),[11] – хотя обращается внимание и на то, как те или иные понятия изменялись во времени. В данном случае мы опираемся на сравнительно новую для истории дисциплину, использующую достижения

уч. году / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб., 2007; *Bernstein R.J.* Incommensurability and otherness revisited // Culture and modernity: East-West philosophic perspectives / Ed. by E. Deutsch. Honolulu, 1991. P. 85–103; *Taylor Ch.* Understanding the other: A Gadamerian view on conceptual schemes // Gadamer's century: Essays in honor of Hans-Georg Gadamer / Ed. by J. Malpas, U. Arnswald, J.Kertscher. Cambridge, 2002. P. 279–297.

[10] См.: Routledge handbook of identity studies / Ed. by Elliott A. N.Y., 2011.

[11] См., в частности, фундаментальное издание Германского исторического института в Москве: Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. М., 2014-2016.

лингвистики, психологии и политической науки, но при этом теснейшим образом связанную с Begriffsgeschichte. В центре ее внимания находятся социально-политические концепты[12].

Социально-политический концепт представляет собой нечто более сложное, чем просто термин или понятие. Его можно было бы определить как конгломерат смыслов и культурных ассоциаций, который характеризуется многозначностью и при этом имеет эмоциональную и ценностную составляющую, что придает концепту дополнительную силу воздействия.

Классическим примером выступает социально-политический концепт «Запад», который, в отличие от географического термина «запад», обозначает не только направление, а может указывать на группу стран, на цивилизацию, на соответствующий образ жизни. Он наполнен политическими коннотациями, отсылая нас к таким понятиям, как рациональность, свобода, демократия, конституционное правление, власть закона, средний класс, частная собственность, индивид, права человека. Универсальные ценности получают пространственное измерение: их располагают на западе. Имеется и временное измерение, поскольку основополагающее место в этом концепте занимает идея прогресса, движения вперед во времени, к лучшему будущему. Эти условно «западные» политические понятия вызывают эмоциональную реакцию, положительную или отрицательную, именно поэтому говорят, что концепт «Запад» превратился в орудие политической борьбы и приобрел власть над умами[13].

В работе используются и другие концепты – т.е. те сложносоставные понятия, которые наряду с отношениями неравенства содержат в себе некую

---

[12] History of concepts: Comparative perspectives / Ed. by Hampsher-Monk I., Tilmans K., van Vree F. Amsterdam, 1998. С начала 2000-х годов в Голландии выходит журнал “History of concepts”.

[13] Germany and “the West”: The history of a modern concept / Ed. by Bavaj R., Steber M. N.Y.; Oxford, 2015. P. 7-8.

оценочность и также апеллируют к эмоциям (в частности, «восточный деспотизм»).

Концепт «Запад» является ключевым маркером для выделения в массиве зарубежных исторических исследований императорской России историографических образов. Будучи, как и любой образ, конструкцией и результатом субъект-объектных отношений, историографический образ отличается от исторического, который в каком-то смысле можно приравнять к исторической памяти[14]. Тесно связанный с коллективными представлениями эпохи, с нормами научности, историографический образ является продуктом применения исторической критики к исследуемому прошлому и к уже существующим историческим образам.

В настоящем исследовании речь идет о наиболее обобщенных, собирательных (и несомненно редуцированных) образах, которые являлись определяющими в том или ином контексте и составляли то «предзнание», с которым историк подходит к изучаемому предмету. При этом выделяются господствующие в тот или иной период, «парадигмальные» образы – хотя отдается отчет в множественном характере образов как таковых, их изменчивости во времени, взаимопересечениях, трансформациях и взаимодействиях.

Источниковая база исследования обширна и разнообразна, хотя включает в себя только опубликованные материалы.

Основным источником для настоящей работы являются научные *монографии, сборники и статьи* зарубежных историков, опубликованные начиная с 1940-х годов и посвященные истории императорской России.

Количество их крайне велико, и потому особое значение приобретает репрезентативность выборки, что предполагает жесткий и одновременно корректный отбор. Поскольку целью работы является изучение научно-

[14] См. об этом: *Репина Л.П.* Образы прошлого в памяти и в истории // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени. М., 2003. С. 9.

исторического знания об императорской России, изначально были отсечены социология, политология, философия, журналистика и публицистика. Некоторые работы привлекаются выборочно, в качестве опоры (или точки отталкивания) для анализа профессиональных исторических концепций. Отсекаются учебники, которые представляют собой совершенно особый вид источников, отражающих идеологическую и политическую повестку дня. Профессиональное знание отображено в них далеко неадекватно, да и составители учебников не поспевают за его развитием. Сказанное касается и обобщающих исторических трудов (в зарубежной историографии их принято называть «большими нарративами»). Они актуальны для раннего периода развития зарубежного россиеведения, когда нарабатывался фундамент дисциплины. Начиная с 1960-х годов в зарубежной науке (не только в исторической) получают распространение так называемые «кейсы» (case-studies), т.е. работы, посвященные исследованию той или иной проблемы (узкой или достаточно широкой) и выполненные в жанре научной монографии или статьи.

Предпочтение в настоящем исследовании отдается работам монографического жанра, которых также крайне много (в частности, за период 1992-2012 гг. в США было выпущено более 1 тыс. монографий по истории России/СССР, из них приблизительно половина – по императорской России)[15]. Основным критерием отбора являлись уровень и качество монографии (здесь вспомогательными инструментами первичного отбора служат издательство и наличие рецензий в ведущих журналах). Следует учитывать и то обстоятельство, что научные монографии чаще всего представляют собой доработанные до уровня книги диссертации, что, с одной стороны, как правило, гарантирует высокий уровень работы, с другой – определяет достаточно четкую ее структуру, облегчая анализ данного

[15] Подсчитано автором. См.: *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны: Монография. М., 2013. С. 183-238.

источника. Далее следует оценить научный вес исторического труда, актуальность, наконец, его место в историографическом ландшафте.

Журнальные статьи в данном случае могут стать определенной опорой, позволяя выделить круг ведущих авторов и тем и реконструировать научный контекст «здесь и сейчас». *Журналы*, тем более взятые как отдельные целостности в виде номеров со своей внутренней композицией, являются путеводителем по науке того или иного периода. Однако необходимо учитывать их статус, роль и место в научной инфраструктуре, их научные интересы и, безусловно, политику редакции.

Весьма репрезентативны для определения ведущих тенденций *материалы журнальных дискуссий*, но следует внимательно подходить к их отбору и оценке в качестве источника. Как правило, предметом дискуссий являются прорывные исследования, выдвинувшие положения и аргументы, которые опровергают или даже дезавуируют устоявшиеся мнения. В то же время научное сообщество достаточно остро реагирует и на книги популярного характера, которые можно было бы отнести к разряду «публичной истории» (чаще всего они пишутся британцами, поскольку у них требования к количеству публикаций намного выше, чем в США и Канаде). Такие работы вызывают большой резонанс, получают «прессу», однако скорее выступают в качестве повода для специалистов высказать свое компетентное мнение и отстоять границы исторической науки. Журнальные «форумы» такого рода представляют собой точки столкновения публичного и профессионального дискурсов.

Отраженная на страницах журналов так называемая «научная жизнь» включает в себя *конференции, симпозиумы и семинары*. Их продуктом являются *сборники,* крайне репрезентативные в том, что касается определения актуальных тем (хотя выходят они, как правило, с большим опозданием).

Рецензии и получившие в последние 20 лет широкое распространение *обзорные рецензии* (review article) являются своего рода маркерами интереса научного сообщества к тому или иному исследованию. Будучи весьма показательными для характеристики историографического дискурса, рецензии тем не менее требуют учета авторства (как книги, так и самой рецензии), места и времени публикации.

Взятые в совокупности за достаточно большой хронологический период, все эти материалы позволяют выделить так называемый «мейнстрим» - ведущие тенденции в исторической русистике в тот или иной период времени. Ему и отдается предпочтение в настоящей работе, нацеленной при этом на выявление того нового, что появлялось в историографии. Такой подход определяется и самим на редкость динамичным характером дисциплины Russian studies, и многолетним опытом работы автора в ИНИОН РАН.

Еще один источник, крайне полезный для анализа состояния дисциплины, – *диссертации*, которые дают возможность не только оценить круг актуальных тем, но и дать некоторые прогнозы, поскольку составляют, по сути, потенциал науки. Вспомогательный, в чем-то технический характер носят *библиографии* и *указатели содержания* (индексы) журналов.

Ценным источником по организации науки служат *публикации ученых обществ.* Особенно следует отметить орган Американской ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES) «Ньюслеттер», в котором содержится множество сведений о том, что происходит в дисциплине (включая ежегодные отчеты и аналитические доклады).

Относительно новый вид источников, исключительно полезный для настоящего исследования – *ресурсы Интернета*, которые наряду с базами данных источников, как опубликованных, так и архивных, включают в себя

образовательные сайты, сайты университетов и ученых обществ, наконец, блоги (как, например, Russian history Blog).

В работе использованы и *источники личного происхождения*, хотя и немногочисленные: воспоминания зарубежных историков, интервью с ними, которые периодически публикуются в журналах и представлены в проектах по устной истории (например, проект библиотеки Банкрофт Калифорнийского университета в Беркли). Они дают прекрасный биографический материал для реконструкции истории послевоенной русистики, так же как и *некрологи,*

Особый жанр – историографические работы зарубежных русистов, которые можно отнести как к источникам, так и к литературе. В англоязычном россиеведении отсутствует традиция историографических исследований в том виде, как она существовала в нашей стране. Однако кризисные 1990-е годы побудили историков-русистов обратиться к осмыслению своей дисциплины, ее истории и текущей ситуации. Эта рефлексия свидетельствует, во-первых, о зрелости дисциплины, и во-вторых, о ее «живом» состоянии, несмотря на ламентации по поводу угасания интереса к России и сокращения как количества студентов, так и рабочих мест.

Большинство статей такого рода написаны видными специалистами и содержат не только наблюдения, но и обобщения относительно методологических проблем. В какой-то степени, однако же, они являются и источниками, поскольку в них содержатся сведения о ситуации в дисциплине, воспоминания и вполне оценочные суждения. «Проблемным точкам» истории дореволюционной России (а также революции) уделяется достаточно много внимания в статьях Л. Энгелстейн, С. Коткина, М. фон Хагена, К. Келли, Г. Янг и др.[16].

[16] *Buckler J.* What comes after «Post-Soviet» in Russian studies? // PMLA. 2009. Vol. 124, N 1. P. 251–263; *Engelstein L.* “Culture, culture everywhere…”: Interpretations of modern Russia,

Степень изученности проблемы. Интерес к зарубежной историографии в отечественной науке неуклонно растет. Интерпретации истории императорской России в трудах зарубежных специалистов все чаще рассматриваются в проблемно-тематических статьях историков, философов и даже юристов. В большинстве случаев они пишутся не профессиональными историографами, и в них можно встретить весьма наивные суждения о том, что в зарубежных исследованиях представлены оценки, «не отягощенные идеологическими и другими стереотипами»[17]. Как правило, эти статьи посвящены достаточно узкой теме, сфокусированы на конкретных вопросах и обычно носят обзорный, компилятивный характер. В них используется не так много литературы, и выводы часто нельзя признать основательными[18]. На таком материале невозможно выявить какие-то общие тенденции, однако встречаются и куда более качественные и масштабные работы, посвященные

---

across 1991 divide // Kritika: Explorations in Russiam and Eurasian history. 2001. Vol. 2, N 2. P. 363–395; *Engelstein L.* Paradigms, pathologies, and other clues to Russian spiritual culture: Some post-Soviet thoughts // Slavic rev. 1998. Vol. 57, N 4. P. 864-877; *Hagen M. von.* Empires, borderlands and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era // American historical review. 2004. Vol. 109. N 2. P. 445–468; *Kotkin S.* The state – is it us? Memoirs, archives, and kremlinologists // Russian rev. 2002. Vol. 61, N 1. P. 35–51; *Viola L.* The Cold War in American Soviet historiography and the end of the Soviet Union // Russian rev. 2002. Vol. 61, N 1. P. 25–34, и др.

[17] *Елисафенко М.К.* История российского земства в зарубежной историографии XIX-XX вв. // Вестник Шадринского педагогического университета. 2019. № 2(42). С. 178.

[18] *Дубина В.С., Польской С.В.* «Особый путь» русского дворянства в отечественной и зарубежной историографии // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. № 2. С. 227-234; *Злобин П.Ю.* Институт генерал-губернаторской власти Российской империи в современной зарубежной историографии // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 10. С. 4-11; *Ананьев Д.А.* Крестьянские переселения в Сибирь и на Дальний Восток в пореформенную эпоху в оценках англо-американских и немецких исследователей (конец XIX - начало XXI в.) //Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 45. С. 120-130; *Петухов А.В.* Христианизация народов Среднего Поволжья в середине XVIII века в освещении современной американской историографии // Вестник Чувашского университета. 2014. № 4. С. 64-70; *Лысцова А. С.* Правящая элита и система патронажа в России XVIII в. в англоязычной историографии // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. Т.10. Вып. 4(78). [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: https://history.jes.su/s207987840005886-3-1/ (дата обращения: 12.09.2021). DOI: 10.18254/S207987840005886-3; и др.

изучению императорской России[19]. К сожалению, большинство их вышло достаточно давно, так что современный этап зарубежных исследований по истории императорской России в них не затрагивается.

Учитывая комплексный характер заявленной темы, в ее изучении использовалась литература по достаточно разнообразной проблематике.

Большое значение имеют монографии и статьи по истории науки, посвященные раннему этапу формирования русистики и уделяющие много внимания Русскому зарубежью[20]. Они содержат богатейший материал по истории создания организационных структур и персоналиям. Не менее важны работы, посвященные «советологическому» этапу в развитии Russian studies, поскольку вводят в научный оборот сведения, практически не известные или малодоступные, в том числе из зарубежных и ведомственных архивов[21].

Истории американской советологии посвящена фундаментальная книга Д. Энгермана[22]. Его труд основан на большом массиве источников и содержит массу ценной информации о состоянии дисциплины и обстоятельствах ее институционального развития. Однако автор явно отождествляет советологию со всей дисциплиной Russian studies.

---

[19] *Селунская Н.Б.* Россия на рубеже XIX – XX веков (в трудах западных историков). М., 1995; *Ефимов О.В.* Аграрная реформа П.А. Столыпина в англо-американской историографии. Петрозаводск, 2002; Дорожкин А.Г. Столыпинская аграрная реформа в оценках современной германоязычной историографии // Отечественная история. 2006. № 2. С. 116-135 и др.

[20] См., в частности: *Петров Е.В.* История американского россиеведения: Курс лекций. СПб., 1998; *он же.* Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США в первой половине XX столетия: источники и историография. СПб., 2000; *Болховитинов Н.Н.* Русские ученые-эмигранты (Г.В. Вернадский, М.М. Карпович, М.Т. Флоринский) и становление русистики в США. М., 2005; *Трибунский П.А.* Российское зарубежье и становление россиеведения в Великобритании и США (конец XIX - 1920 г.). М., 2021.

[21] *Кодин Е.В.* «Гарвардский проект». М.: РОССПЭН, 2003; *он же.* Мюнхенский институт по изучению СССР, 1950-1972 гг.: европейский центр советологии? Смоленск: СмолГУ, 2016; *Меньковский В.И.* Англо-американская советология: история, современность, академические ресурсы. Минск, 2000.

[22] *Engerman D.* Know your enemy: The rise and fall of America's Soviet experts. Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2009.

Соответственно, история и филология представлены в книге достаточно скромно, хотя и дается несколько абзацев о роли П.А. Зайончковского в подготовке его американских стажеров. Тем не менее, метафора Энгермана о «союзе Марса и Минервы» – военных и ученых – прочно вошла в научный обиход, а его аргументированный вывод о том, что идеологи холодной войны не вмешивались в исследования и не мешали «делать науку», лег в основу подхода в данном диссертационном исследовании.

Взаимодействие советской исторической науки с зарубежными историками-русистами рассматривается в интересной статье Д. Ковпака, посвященной творчеству А.Л. Шапиро[23]. Он обращается к такой форме научной коммуникации, как взаимное рецензирование, отмечая несовпадение систем профессиональных ценностей в академических сообществах, разделенных «железным занавесом». Интересный материал по этой теме был дан в 2000 г. в статье А.М. Филитова, касавшейся немецкой историографии России[24].

Общие тенденции в изучении зарубежного россиеведения в нашей стране просматриваются в учебном пособии, подготовленном РГГУ для слушателей магистратур[25]. Для него характерна крайняя пестрота тем и замечательно разный уровень и масштаб их рассмотрения. В целом же очевидно, что предпочтение отдается институциональному аспекту зарубежного россиеведения (центры по изучению России/СССР в разных странах, архивные и библиотечные ресурсы и т.д.), а также влиянию на него Русского Зарубежья. И безусловно организующим центром для проекта в целом является советология в ее тесной связи с проблемами национальной

---

[23] *Ковпак Д.* Советский историк и зарубежная наука: Александр Львович Шапиро и западные историки-русисты // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание. 2014. № 1. С. 274-295.

[24] *Филитов А.М.* Научные связи историков в годы «холодной войны»: взгляд с «другой стороны» // Отечественная история. 2000. № 4. С. 128-139.

[25] Зарубежное россиеведение / Под ред. Безбородова А.Б. М., 2012.

безопасности. Для диссертационного исследования интерес представляет небольшой раздел, написанный Ф.Г.Тараторкиным[26].

Отечественные исследования современного состояния зарубежного россиеведения, несмотря на все возрастающую актуальность темы пока не набрали необходимого для развития багажа и весьма фрагментарны. Основное внимание в них уделяется истории советского периода, при этом, как правило, не проводится разграничение между русской/советской историей и советологией, которая всегда находилась на грани пропаганды. Некоторые статьи написаны достаточно давно, когда тень исчезнувшей дисциплины еще лежала на отечественных исследователях[27]. Но под обаянием советологии находятся и более молодые авторы, почти не замечая колоссальную по своему объему историографию императорской России и меньшую, но также значимую, – Московской Руси. При всех заявках на изучение историографии, в центре внимания находится советское прошлое и постсоветское настоящее[28].

Кроме того, существует проблема репрезентативности отбора анализируемых источников, что приводит к существенным искажениям. Так, И.Е. Рогаева делает выводы о хронологических пристрастиях историков-русистов на основании процентного соотношения публикаций в трех журналах, два из которых не являются ни ведущими, ни показательными. Для своих заключений о методологических инновациях она берет книги и

---

[26] *Тараторкин Ф.Г.* От россики к советологии: Формирование образа России в британском научном россиеведении в XX в. // Ук.соч. С. 417–423.

[27] *Олегина И.* Изучение истории России в США и Великобритании: новые тенденции и наследие советологии // Исторические исследования в России – II. Семь лет спустя. М.: АИРО-XX. 2003. С. 412-447; *Сальникова А.А*. Кто и как будет изучать российскую историю в США в XXI веке: О формировании образа историка-россиеведа в американской историографии // Россия и современный мир. 2003. № 1 (38). С. 150-170.

[28] *Агеева В.В.* «Экзистенциальные лабиринты» Russian studies: История советской и постсоветской России в современной англо-американской историографии // Изучение России современными историками Запада и Востока: Коллективная монография. М.: Квадрига, 2019. С. 85-116.

статьи, которые можно отнести к маргинальным[29]. По большей части «современные тенденции» такой динамичной дисциплины, какой является русистика, выявляются на основании литературы двадцатилетней давности. Такая же путаница, небрежность и некорректность, включая ошибки в именах авторов и названиях их трудов, наблюдаются и в статьях сборника, посвященных французскому и немецкому россиеведению[30].

Определяющими в выстраивании траектории развития русских исследований в США в настоящей работе явились фундаментальные статьи американских историков Т. Эммонса и А. Рибера[31]. Как и все, что выходит из-под пера этих авторов, статьи отличаются глубиной, проницательностью, широтой охвата и взвешенностью оценок.

Большое значение для диссертационного исследования имеет выдвинутая в конце 1990-х годов концепция М. Дэвид-Фокса о трех поколениях американских историков-русистов – «отцов», пришедших в науку в 1940-е годы, «детей», которые вышли на сцену в 1960-е, и «внуков» постсоветского периода, каждое из которых опиралось на определенную исследовательскую парадигму[32]. Схема Дэвид-Фокса далеко не бесспорна. Она условна, как всякие схемы, и, в частности, не учитывает эффект «наслоения»: представители старшего поколения продолжали активно работать и в середине 1990-х годов, как, например, Р. Пайпс и М. Малиа.

---

[29] *Рогаева И.Е.* История России сквозь призму англо-американского россиеведения // Там же. С. 65-84.

[30] *Трубникова Н.В.* Основные исследовательские парадигмы французского россиеведения в 1990-2010-х гг. // Изучение России современными историками Запада и Востока: Коллективная монография. М., 2019. С. 9-64; *Агеева В.В., Штанько М.А.* Современное немецкое россиеведение: Специфика дискурса, тематические поля и процессы институализации // Там же. С. 117-148.

[31] *Рибер А.* Изучение истории России в США // Исторические записки. Вып. 3 (121). М., 2000. С. 65–105; *Emmons T.* Russia then and now in the pages of «American historical review» and elsewhere: A few centennial notes // American historical review. 1995. Vol. 100. N 4. P. 1136–1149.

[32] *Дэвид-Фокс М.* Введение: Отцы, дети и внуки в американской историографии царской России: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 5-47.

Вряд ли можно согласиться и с авторской трактовкой смены научных парадигм. В историографии императорской России влияние или же значимое присутствие тоталитарной парадигмы в послевоенное время не просматривается. Тем не менее предложенное деление на поколения представляется достаточно полезным, поскольку вводит столь необходимое для историографического исследования «человеческое измерение». В отечественной науке этот подход с успехом был реализован Л.А. Сидоровой в ее исследованиях советской исторической науки[33].

С некоторых пор, под влиянием «культурологического поворота», отечественные исследователи начали обращаться к изучению образов России в зарубежной науке. Одним из неудачных примеров являются работы А.В. Лаптевой, казалось бы, ближе всего подходящие к теме исследования[34]. Главный источник ее вдохновения – труды философов и публицистов эпохи холодной войны, т.е. произведения, относящиеся к публичному, а не профессиональному дискурсу, в котором главенствующее положение занимали консервативно-пессимистические интерпретации.

Плодотворный подход к изучению публичного дискурса представлен в фундаментальной монографии В.И. Журавлевой, в которой исследуются образы России, сложившиеся в США в период 1881-1914 гг.[35]. Анализируя общественное мнение, автор выделил несколько дискурсов о России, которые сохранили свое значение до настоящего времени: либерально-универсалистский, консервативно-пессимистический, русофильский и радикальный. Большую роль в них играли бинарные оппозиции ««прогресс-регресс», «цивилизация-варварство», «современность-средневековье», что было особенно важным для построения «демонического» образа

[33] *Сидорова Л.А.* Советская историческая наука середины XX века: синтез трех поколений историков. М., 2008.
[34] *Лаптева Е.В.* Американское россиеведение: образ России. Екатеринбург, Пермь: Изд-во Урал. ун-та, 2004.
[35] *Журавлева В.И.* Понимание России в США.

официальной России. Использованный В.И. Журавлевой имагологический подход, так же как и ее конкретно-исторические наработки, имеют более чем существенное значение для изучения проблематики, заявленной в диссертационном исследовании.

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что в ней впервые представлено комплексное исследование дисциплины Russian studies в ее историческом развитии, выявлены основные линии и тенденции в зарубежной историографии императорской России, определявшие ее траекторию с послевоенного времени. Показана тесная связь эволюции интерпретаций историков-русистов со сменой научных парадигм, а также ее обусловленность транснаучными факторами, включая интеллектуальный климат и политическую повестку дня. Выявлены и охарактеризованы историографические образы императорской России, сложившиеся в профессиональном дискурсе зарубежного россиеведения на протяжении его существования.

Теоретическая значимость. Использованный в работе междисциплинарный культур-антропологический подход вносит существенный вклад в развитие отечественной науки, открывая новые перспективы для дальнейшего наращивания исторического знания в такой недостаточно изученной области, как зарубежное россиеведение. Этой же цели служит применение идентитарной методологии в исследовании зарубежной историографии. Кроме того, представленный анализ развития отдельной исторической дисциплины высвечивает определенные закономерности, которые носят общенаучный характер.

Практическая значимость. Материалы настоящей работы могут быть использованы при подготовке лекционных и специальных курсов по истории России. Вместе с тем они могут служить своего рода навигатором для исследователей, обращающихся к зарубежной историографии, который даст определенные точки отсчета для изучения конкретно-исторических тем.

Достоверность результатов исследования определяется широтой источниковой базы, включающей в себя более 800 опубликованных материалов, которые были отобраны по строгим критериям репрезентативности, а также применением научного метода их анализа в соответствии с принципами объективности и историзма.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации отражены в 64 публикациях общим объемом 108,6 п.л., в том числе в 18 статьях общим объемом 17 п.л. в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, RSCI и в изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова по группе специальностей 07.00.00 – исторические науки и археология, 6 статьях в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России и 2 монографиях.

Положения работы были представлены автором в докладах на международных и российских научных конференциях: Международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения П.А. Зайончковского (Москва, 2004); XII Всероссийская научно-теоретическая конференция «Бюрократия и бюрократы в России в XIX и XX веках: общее и особенное» (Москва, 2008); Международная научная конференция «Теории и методы исторической науки: Шаг в XXI век» (Москва, 2008); Третья международная научная конференция РАИЖИ и ИЭА РАН «Женская история и современные гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем» (Череповец, 2010); Международная научная конференция «Переходные периоды всемирной истории: динамика в оценках прошлого» (Москва, 2011); Всероссийская научная конференция «Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII – начало XXI вв.)» (Оренбург, 2012); Пятая Международная научная конференция РАИЖИ и ИЭА РАН «Женщины и мужчины в контексте исторических перемен» (Тверь, 2012); Международная научная конференция

«Меняющееся восприятие России в США. Меняющееся восприятие США в России» (Москва, 2013); Третий международный научный семинар «Мировая русистика: институты, научные школы, перспективные направления» (Смоленск, 2016); Ежегодная всероссийская научная конференция памяти заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Л.Г. Захаровой «Самодержавие и реформы в Российской империи» (Москва, 2018; 2019); Всероссийская научная конференция «Российская власть как фактор исторического процесса». Круглый стол (Москва, 2019); 3-я Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества» (Москва, 2020).

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, заключения и списка использованных источников и литературы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Сложившийся к середине XX в. фундамент исторических знаний о России за рубежом, состоявший из фактов, стереотипов и мифов, а также историографических клише, следует анализировать в тесной связи с системой взглядов и базовых представлений европейцев и затем американцев не столько о России, сколько о самих себе как о «Западе». В своих исследованиях истории императорской России зарубежные специалисты выступали как представители западной цивилизации, изучающие «Другого».

2. На начальном этапе развития россиеведения воздействие на зарубежных ученых национальной историографии осуществлялось русской эмиграцией, которая стала своего рода «ретранслятором» идей русской дореволюционной традиции за рубежом. Начиная с 1960-х годов большую, но неоднозначную роль начинает играть советская историческая наука. На современном этапе складывается интернациональная, глобальная по своему

характеру историография России, языком научной коммуникации в которой является английский язык.

3. В 1960-е годы в зарубежной исторической русистике окончательно складывается профессиональный историографический дискурс о России. Утвердившаяся в этот период социально-научная парадигма и ее главный аналитический инструмент анализа истории императорской России – теория модернизации – определили доминирование социальной истории и интерес к процессам индустриализации и урбанизации, развитию образования и формированию политических институтов. Основная масса исследований была посвящена второй половине XIX – началу XX в. Большую роль для либерального прочтения истории России играли исследования реформаторских усилий самодержавия и бюрократии как «агента модернизации». Поскольку центральное место в зарубежной историографии 1960-1980-х годов занимали поиски причин революции 1917 г., всеобъемлющей рамкой для зарубежной русистики того времени являлось понятие «кризиса старого режима», которое господствовало как в советской, так и в зарубежной историографии. Этим определялся интерес к таким темам, как история рабочего класса, крестьянства и других социальных групп, а также революционное движение.

4. В период холодной войны в зарубежном россиеведении выделяются два историографических образа императорской России. Один, консервативный, в большей мере принадлежал к публичному дискурсу и акцентировал ее экзотичность, самобытность и уникальность. Главными характеристиками страны выступали деспотизм ее правителей и покорность населения, а также российский экспансионизм, милитаризм и мессианство. Присутствовал и элемент ориентализации, указывавший на противоположность России «Западу» прежде всего в том, что касалось «свободы», «развития» и «прогресса». В профессиональных интерпретациях истории императорской России господствовал нарратив «упадка и

разрушения». Второй образ, в большей степени актуальный для профессиональной сферы, был сосредоточен на России императорского периода. Он основывался на либеральном прогрессистском видении истории, на теориях модернизации и развития, что определяло поиски «несоответствий» и «отставания» России, идущей по пути европеизации (вестернизации), но находящейся во «втором эшелоне» модернизирующихся стран. Оба образа представляют собой взгляд «со стороны» и в какой-то степени «свысока».

5. После распада СССР в зарубежной русистике происходят глубочайшие изменения. Она переживает настоящий взлет в том, что касается усвоения новых методологических подходов и количества публикуемых исследований. В условиях деидеологизации дисциплины и борьбы с европоцентризмом складывается новый историографический образ императорской России. Ее начинают рассматривать как равноправную участницу общемирового исторического процесса, как многонациональную империю, которую характеризуют многовековая стабильность, международный авторитет, богатство истории и культуры.

Глава 1. У истоков формирования зарубежного россиеведения

Рассмотрение содержательной стороны зарубежной историографии России невозможно без уяснения тех основ, на которых она создавалась, без выявления ее основных понятийных категорий, а также без учета влияния научного и вненаучного контекстов на создание профессиональных текстов об истории России. Этим вопросам посвящена первая глава работы.

Профессиональное знание о России и ее истории строилось на фундаменте, который возводился в течение нескольких столетий, еще со времен первых сообщений западных путешественников о Московии XVI–XVII вв. Постепенно, с накоплением информации, в Европе формировался комплекс представлений о далекой стране, все более активно входившей с ней в соприкосновение. Многие из этих представлений можно квалифицировать как мифы и этнические стереотипы, глубоко вошедшие в ткань обыденного сознания. Однако более значимыми для целей настоящей работы являются историографические образы и клише, ведущие свое происхождение из века Просвещения и в ряде случаев не утратившие своих позиций до настоящего времени. Анализировать их следует в тесной связи с системой взглядов и базовых представлений европейцев и затем американцев не столько о России, сколько о самих себе как о «Западе». Это европоцентристское самоощущение вырабатывалось на протяжении веков и достигло своего пика в период холодной войны.

Еще одной важной составной частью интеллектуального фундамента зарубежного россиеведения следует признать и первые профессиональные исторические работы, выходившие начиная со второй половины XIX в. до Второй мировой войны как на английском, так и на французском и немецком языках. Однако наиболее серьезное воздействие на подходы и интерпретации исследователей оказывала англоязычная традиция, которая получила свое

развитие в первых славистических центрах, возникших в Великобритании и США в начале XX в.

Безусловно, необходимо учитывать и влияние на россиеведческие исследования страны изучения. Обычно оно заключается в воздействии на зарубежных специалистов как национальной историографии, так и текущей ситуации в этой стране, и проявляется при непосредственном контакте. В особых условиях большевистской России это влияние приняло иные формы: оно исходило главным образом от русской эмиграции, которая стала своего рода «ретранслятором» идей дореволюционной историографии за рубежом. По общему признанию, русские историки-эмигранты, и в первую очередь М.М. Карпович, Г.В. Вернадский и М.Т. Флоринский, сыграли важнейшую роль в развитии американской русистики как научной дисциплины.

1.1. Зарождение представлений о России и «Западе»[36]

Среди источников формирования понятий, клише и стереотипных представлений о России следует прежде всего выделить записки путешественников, произведения общественной мысли, а для XIX–XX вв., безусловно, публицистику, игравшую в этот период ведущую роль в создании образа России в общественном сознании своих стран. Эти источники давно и активно изучаются исследователями, занимающимися проблемами взаимовосприятия; в их работах все чаще указывается на то обстоятельство, что идеи о России играли «важную, хотя и непрямую» роль в процессе артикуляции «ключевых компонентов европейской идентичности»

[36] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М., 2008; *Большакова О.В.* Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Вып. 6. М., 2016. С. 353-385.

(равно как и основных понятий Просвещения, таких, как, например, «цивилизация» и «Европа»)[37].

В восприятии зарубежных наблюдателей Российская империя возникала в контексте своей непохожести, в противопоставлении с западноевропейскими странами и народами. Артикулированные в рамках дискурса о России метафоры, идеи и образы слагались в мозаичную, во многом противоречивую картину, однако ряд базовых характеристик оставался неизменным: наиболее характерными чертами России при сравнении ее с Европой выступали отсталость, царский деспотизм и пассивность ее бесправного населения. Как правило, главенствующую роль западноевропейские наблюдатели отводили национальному характеру, который формировался под влиянием климатических и географических условий и в свою очередь оказывал определяющее воздействие на политику и историю страны. Европейцы, от Герберштейна до Леруа-Больё, оценивали политический и экономический потенциал России исходя из особенностей русского национального характера, подчеркивая такие его черты, как лень и фатализм, и объясняя ими причины российской отсталости, которая при таком подходе оказывалась «сущностной и вечной»[38]. Однако существовала и иная линия интерпретаций, которую можно было бы назвать «оптимистической» и которая в определенные исторические периоды являлась преобладающей. Она указывала на «молодость» России и, соответственно, на возможности быстрого ее развития.

Тем не менее, обе линии строились на сравнениях, точкой отсчета в которых выступало восприятие себя как представителей «цивилизации», «Европы», наконец, «Запада» – понятия, наполнившегося культурными и

---

[37] *Malia M.* Russia under the Western eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, 1999. P. 13-14; *Engerman D.* Modernization from another shore: American intellectuals and the romance of Russian development. Cambridge: Harvard univ. press, 2003. P.19-21.

[38] *Engerman D.* Modernization from another shore ... P.27.

политическими смыслами в середине XIX в. и ставшего центральным для политического воображения второй половины XX в. В этих специфических понятийных рамках развивалось и профессиональное знание об истории России, для которого основополагающее значение имели оппозиции «Запад/Восток», «Европа/Азия», и, конечно, «Россия/Европа».

Историко-археологический метод позволяет выявить точки возникновения этих концептуальных пар, так же как и других – прежде всего, «цивилизация/варварство», «прогресс/отсталость», которые являются интегральными составляющими оппозиции «Запад/Восток». Позволяет он проследить и попутное возникновение историографических клише, стереотипов и образов России в европейской традиции. Следует при этом лишний раз подчеркнуть, что в историографическом исследовании речь идет о дискурсивной «России» и дискурсивном же «Западе» (так же как и неотделимом от него «Востоке»), а не о реальных странах и группах стран, которые мы привыкли объединять под рубрикой «Запад». В силу этого обстоятельства в центре нашего анализа будет находиться социально-политический концепт «Запад» как особый конструкт, включающий в себя целый ряд компонентов – понятий, определяющих его содержание. Некоторые из них возникли еще во времена Античности, активно использовались в Средние века и обрели второе рождение в век Просвещения, хотя означали они тогда не совсем то, что сегодня.

***

В воображаемой географии Европы разделение на Запад и Восток возникло далеко не сразу. Известно, что Ренессансу было присуще унаследованное от римлян разделение стран на цивилизованный Юг и варварский Север (включая Францию и Германию), и еще довольно долго Россию относили к странам Северной Европы вместе с Польшей, Швецией и

Данией[39]. Отголоски этих воззрений прозвучали в 1894 г., когда основоположник американской русистики профессор Гарвардского университета А.К. Кулидж призвал коллег к изучению «истории Северной Европы»[40].

Таким образом, центральное место в европейском структурировании окружающего мира по географическому, казалось бы, признаку занимает идея развитости, которая оформилась в виде оппозиции «цивилизация-варварство», позволяющей утвердить собственное превосходство над «менее культурными» народами. Однако несмотря на кажущуюся древность своего происхождения, эта оппозиция принадлежит Новому времени. В Античности варварам противопоставлялись «мы» – жители греческого полиса и Римской империи[41], а неологизм «цивилизация» появился лишь во второй половине XVIII в. почти одновременно во французском и английском языках. Тем не менее, образ варваров, живущих на периферии античного мира (для греческих авторов это была прежде всего Скифия, для римлян – северные районы Европы, Барбарикум), вошел в европейскую традицию довольно рано и стал значимым «Другим» для построения идентичности европейцев. В Средние века она выковывалась в противостоянии угрозе, шедшей с востока.

«Восток» как противоположность «Западу» являл себя в Средние века в образе сарацина эпохи крестовых походов, который затем уступил место турку-осману, теснившему дряхлую Византию. Различия тогда лежали не в сфере политики, а в области веры, и первые военные столкновения

---

[39] *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу. М.: НЛО, 2003. С.35-36.

[40] *Emmons T.* Russia then and now in the pages of «American historical review» and elsewhere: A few centennial notes // American historical review. Wash., 1995. Vol.100, N 4. P.1137. Во второй половине XX в. разделение на Север и Юг начинает вновь обретать актуальность в процессе глобализации, правда, полюса на этой оси поменялись местами: теперь развитому Северу – Европе и США – противостоит неразвитый (отсталый либо развивающийся) Юг.

[41]Отмечается, что почти одновременно понятия «варвары» и «варварство» были сформулированы античной и китайской традицией. См.: Цивилизация и варварство: трансформация понятий и региональный опыт / Буданова В.П. (отв. ред.). М.: ИВИ РАН, 2012. С. (5).

европейцев с османами способствовали сплочению христианского мира – воображаемой Respublica Christiana. Турецкую угрозу изображали в апокалиптических тонах как последнюю атаку ислама на христианство, что не мешало европейским государям заключать союзы с султаном, направленные против своих соперников. В то же время репрезентации других «варваров», получившие актуальность после открытия Нового Света, – американских индейцев – выглядят куда менее враждебными, что объясняют отсутствием серьезного соперничества как в сфере военно-политической, так и религиозной[42].

Первые европейские описания Московии также относятся к эпохе Великих географических открытий и инспирированы не только появлением новой страны на европейской сцене, но и общим духом того времени, с его интересом к далеким и ранее не известным землям. Довольно обширная Moscovitica, сложившаяся в течение XV–XVII вв., пестрит самыми экзотическими рассказами и сообщениями, однако уже в них возникает совершенно определенный образ северной страны, которой управляет могущественный князь, а во всем покорное ему население, исповедующее восточную (греческую) веру, пребывает в дикости. Православие в этот период считается «второсортным» христианством, объектом для прозелитизма, и Московию достаточно часто ассоциируют с Азией: с одной стороны, со Скифией, с другой – с татарами, от которых московиты якобы унаследовали политический деспотизм.

В авторитетных «Записках о Московии» Герберштейна (1549) впервые было засвидетельствовано очевидцем, что государство «управляется деспотом и населено рабами»[43]. Герберштейн прямо заявил о «московской тирании», что, по мнению одних исследователей, полностью соответствовало

---

[42] *Neumann I.B.* Uses of the other: «The East» in European identity formation. Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1999. P. 48-49.

[43] *Poe M.* A people born to slavery. Russia in Early Modern ethnography, 1476–1748. Ithaca, NY: Cornell univ. press, 2000. P.118.

действительности, по мнению других – требовало критического подхода, поскольку иностранцы не могли разглядеть реальных практик управления за фасадом «русского политического театра»[44]. Тем не менее, никто не отрицает, что сочинение Герберштейна получило невиданную для своего века популярность и стало не только главным источником информации о Московии, но и «предоставило интерпретативную оптику, через которую люди позднего Ренессанса видели Россию»[45].

Собственно говоря, эта «оптика» была предоставлена ещё Аристотелем, который указал на несовместимость деспотизма со свободолюбивым характером греков и, напротив, на соответствие этой формы правления характеру варварских народов, прежде всего враждебных персов, якобы имевших врожденную склонность к подчинению. Аристотель считал деспотизм исключительно восточным феноменом, в отличие от тирании, которая являлась результатом вырождения монархии. К тому моменту, когда состоялось путешествие Герберштейна в Московию, политическая мысль Европы уже занималась разработкой концепции «восточного деспотизма», получившей столь широкое распространение гораздо позднее, в XIX – первой половине XX в.

Макиавелли рассматривал под этим углом зрения возвысившуюся Османскую империю и указывал на полную несовместимость турецких форм и практик управления с французскими. Большой вклад в разработку концепции вносили путешественники в Персию, Индию, Китай и другие страны, расположенные восточнее Европы. Доставленный ими эмпирический материал способствовал выработке понятия «Восток», которое сыграло

---

[44] *Poe M.* The truth about Muscovy // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Bloomington, 2002. Vol. 3, N 3. P. 473-486; *Kivelson V.* On words, sources, and historical method: which truth about Muscovy? // Ibid. P. 487-499*; Halperin Ch.* Muscovy as a hypertrophic state: A critique // Ibid. P.501-507.

[45] *Poe M.* A people born to slavery. P. 119. Отмечается также, что Герберштейн одним из первых «зарифмовал» русскую и турецкую угрозу Европе: *Филюшкин А.* Как Россия стала для Европы Азией? // Изобретение империи: Языки и практики. М.: Новое издательство, 2011. С.33.

исключительно важную роль в самоидентификации Европы раннего Нового времени[46]. В политическом воображении европейцев, с одной стороны, утверждаются две тесно увязанных между собой концептуальные пары: «абсолютная монархия / республика» и «рабы / свободные граждане». С другой – формируется образ Востока как антитезы всему, что европейцы наблюдали вокруг себя. Россию можно было определить только посредством первой части этих бинарных оппозиций – абсолютная монархия, управлявшая подданными-рабами; однако вопрос о ее принадлежности к Востоку, а тем более к Европе, оставался открытым – и прежде всего потому, что Восточной Европы как понятия во времена Герберштейна не существовало. Да и сам Герберштейн вслед за Страбоном проводил границу между Европой и Азией по реке Дон, относя таким образом Россию к Азии.

Возникновение концепта «Восточная Европа» исследователи датируют эпохой Просвещения, когда образ Европы в представлении современников обрел некую целостную форму и смысл, утратив непосредственную зависимость от христианской религии[47]. Россия оказывается теперь самой восточной окраиной Европы, простиравшейся до Уральских гор, хотя довольно часто ей в этом праве отказывали, указывая на типично «восточные» ее черты, в особенности когда дело касалось политического устройства. По словам Ларри Вульфа, Россия была включена в состав Восточной Европы и являлась «объектом»: как и Восточную Европу в целом, «ее тоже открывали, прописывали, к ней относились со снисхождением, ее помещали на карте и определяли в соответствии с теми же формулами: между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством»[48].

---

[46] *Minuti R.* Oriental despotism // European history online (EGO), published 2012-05-03. http://ieg-ego.eu/en/threads/models-and-stereotypes/the-wild-and-the-civilized/rolando-minuti-oriental-despotism/?searchterm=None&set_language=en.

[47] *Вульф Л.* Ук. соч. С. 39.

[48] Там же. С. 51.

Концептуальная пара «цивилизация / варварство» является ключевой для эпохи Просвещения, однако следует учитывать, что в то время «цивилизация» означала всего лишь «продвинутый уровень материального, интеллектуального и морального развития». Она понималась как кульминация движения от «дикости», которая наблюдалась у американских индейцев, через «варварство» государств Азии и средневековой Европы к высокоразвитому образу правления[49]. В основе такого понимания лежала идея прогресса, зародившаяся в XVI–XVII вв. в ходе борьбы с религиозной догматикой, в период становления науки и светского мировоззрения. Прогресс, означающий движение человечества вперед, от худшего к лучшему, стал основополагающей категорией, определившей систему координат модерного европейского сознания.

С идеей прогресса связано изобретение стадиальности истории, которое получило глубокую разработку в трудах французских просветителей, в частности, у Кондорсе. Исследователи отмечают, что на XVIII век приходится триумф идеи прогресса, сформулированной тогда в самом оптимистическом ключе: «все человеческие общества движутся естественно и закономерно вверх», они движутся от нищеты, варварства, деспотизма и невежества к процветанию, цивилизации и разуму, «высшим проявлением которого является Наука»[50]. История обретает смысл и цель, универсальную для всего человечества – достижение счастья и благоденствия путем установления «разумного» общественного устройства (в той форме, которую полагали тогда разумной).

Считалось, что цивилизация идет сверху вниз, от просвещенной элиты к социальным низам. Кроме того, в соответствии с историческими воззрениями того времени полагали, что от варварства к цивилизации можно перейти в кратчайшие сроки, посредством энергичных усилий просвещенного

[49] *Malia M.* Russia under the Western eyes… P. 28-29.
[50] *Shanin T.* The idea of progress // The post-development reader / Ed. by Rahnema M., Bowtree V. L., 1997. P. 65.

правителя. Именно поэтому Петр I снискал восхищение Вольтера, в двух своих произведениях, «История Карла XII» (1731) и двухтомной «Истории Российской империи в царствование Петра Великого» (1759–1763), представившего Европе образ России, семимильными шагами движущейся к царству разума и прогресса[51]. Существенной его характеристикой была репрезентация Вольтером России как «пространства возможного», что во многом перекликалось с формулировкой Лейбница (Россия – tabula rasa)[52].

Действительно, в результате военных успехов Петра Россия становится великой державой, а его реформы настолько сильно трансформируют институты и социум, что новая империя приобретает форму «просвещенной монархии», что было типично для европейского Старого порядка (Ancien regime) в XVIII в. Россия на равных входит в семью европейских наций, ее репрезентации как «страны будущего», где на огромных просторах возможно проводить самые смелые эксперименты в области управления, получают распространение в европейском публичном дискурсе. В то же время достаточно часто звучат и сомнения в способности русских усвоить ценности европейской цивилизации, хотя образ Петра как способного ученика (перенесенный и на страну в целом) надолго утвердился в политическом сознании Европы[53]. Намеченной Вольтером «оптимистической» линии противостояло мнение, высказанное Монтескье и развитое другими философами. Не отрицая, что Россия представляла собой некую tabula rasa, они подчеркивали *отсутствие* в ней слишком многого, что обеспечило Европе ее успехи[54].

Однако в XVIII в. приговор еще не был окончательным – скорее, речь шла о выявлении отличий, которые ярче высвечивали новые (буржуазные)

---

[51] *Malia M.* Russia under the Western eyes… P. 27, 45.
[52] *Adamovsky E.* Euro-Orientalism: Liberal ideology and the image of Russia in France (c. 1740–1880). Oxford, 2006. P.36.
[53] *Neumann I.B.* Op. cit. P. 78–79.
[54] *Adamovsky E.* Euro-Orientalism… P. 36.

черты европейских обществ. Один из таких отличительных признаков выделил Вольтер в своем «вымышленном путешествии» в земли Восточной Европы: *отсталость* (что выражалось тогда в бедности, необразованности и грубости нравов). Понятие отсталости еще не обрело своей пары и служило подтверждением более низкого статуса государств, расположенных к востоку от Эльбы. При этом им не отказывалось в праве рано или поздно достичь тех же высот, что и остальная Европа[55].

Еще целый ряд тропов о России – метафорических формул, которые впоследствии обрели статус историографических клише, – ведет свое происхождение из века Просвещения. Это, безусловно, идеи Руссо о том, что цивилизация была привнесена в страну, для этого еще не созревшую, что она носила имитационный характер, и что Петр пытался сделать из дворян немцев либо англичан, а не цивилизованных русских. В то же время, подчеркивая близость России к Азии (а иногда и указывая на ее азиатское происхождение), мыслители и политики XVIII в. высказывали не только сомнения относительно перспектив цивилизации огромной империи, населенной «татарами» и «камчадалами». Во второй половине века все чаще возникает образ России как «бастиона», защищающего Европу от Азии, в первую очередь от мусульманской угрозы[56]. Основания для этого имелись самые реальные, учитывая, что Россия участвовала в двух войнах с Турцией и значительно расширила свои владения на юге главным образом за счет Крымского ханства. Но кроме того, процветавший среди философов-просветителей культ Екатерины II, (начало которому положил Вольтер), способствовал восприятию ее побед как триумфа не только России, но цивилизации. В этот период, во многом благодаря Екатерине и ее общению с философами-просветителями, самое масштабное расширение российских владений трактуется как исполнение цивилизаторской миссии. Никогда

[55] *Вульф Л.* Ук. соч. С. 155.
[56] *Neumann I.B.* Op. cit. P. 81–83.

больше Европа, замечает М. Малиа, не реагировала на имперскую экспансию России с большим безразличием[57].

В глазах европейского общественного мнения Россия была в тот период «своей», когда речь шла о политике, дипломатии, об аристократии и образе жизни двора, где царили те же моды, что и в Париже. И хотя путешественники указывали в своих записках на чрезвычайно тонкий слой цивилизации, из-под которого проступает дикость, философы-просветители предпочитали говорить о том, что в России существуют два разных народа – просвещенное дворянство и «варварское» крестьянство. Не достает лишь третьего сословия, которое их соединило бы[58]. Этот троп об «отсутствующем среднем классе» и о пропасти, лежащей между цивилизованным дворянством и народом, сначала станет общим местом французской литературы (вспомним мадам де Сталь), а затем, гораздо позднее, ляжет в основу исторических интерпретаций.

На протяжении XVIII в. в Европе всё возрастает ощущение своей «европейскости» и своего превосходства, которое реализовалось в первую очередь в противостоянии с Турцией, неуклонно терявшей свою военную мощь. Османская империя не была принята на равных в семье европейских держав, по-прежнему союзы с ней считались не совсем хорошим тоном, и причины тому выдвигались главным образом культурного характера, при всем тогдашнем увлечении Востоком: турки – варвары, а политическое устройство их страны далеко от норм цивилизации. Тот факт, что Турция не только воевала с Европой, но и заключала с ней дипломатические и военные союзы, в частности, против наполеоновской Франции, лишь усиливал ее роль «Другого» в европейском сознании[59].

В XVIII в. теоретически оформляется концепция «восточного деспотизма», обязанная своей формулировкой Шарлю Монтескье. Известно,

[57] *Malia M.* Russia under the Western eyes. P. 76, 78.
[58] *Neumann I.B.* Op. cit. P. 95.
[59] Ibid. P. 52, 57, 79.

что термин «восточный деспотизм» был выработан во Франции времен правления Людовика XIV, когда в ходе «памфлетной войны», критиковавшей авторитарные интенции королевской власти, короля-Солнце часто сравнивали с Великим Моголом[60]. В «Персидских письмах» (1721) Монтескье противопоставлял Восток Европе, а затем в «Духе законов» (1748) дал определение восточного деспотизма как особой формы правления, отличительной чертой которой является отсутствие законов и «промежуточных властей» – опосредующих институций, имевшихся в Европе и сдерживавших там самовластье монархов: привилегий дворянства, независимости судов, вольностей городов, гильдий и корпораций[61]. Подчеркивая жестокость и невежество восточных деспотов, чья власть покоилась на религии и требовала безоговорочного подчинения подданных, он указал на связь между рабством и деспотизмом, ставшую одной из центральных идей Просвещения.

Критикуя современное ему государственное устройство Франции, Монтескье дал систематическое исследование деспотизма в его связах с климатом, религией, экономикой и правом; оно стало самым авторитетным для своего времени и определило круг понятий исследователей на многие десятилетия вперед. Однако следует обратить внимание не только на сами формулировки Монтескье, но и на восприятие его труда, которое довольно быстро свелось к противопоставлению европейской приверженности свободе азиатскому деспотизму[62]. Это упрощенное представление стало распространенным стереотипом позднее, когда радикально изменился общий контекст. Если для Вольтера «просвещенный абсолютизм» (как антитеза «восточному деспотизму») являлся одной из величайших ценностей, то в

---

[60] *Minuti R.* Oriental despotism…; *Минути Р.* Образ России в творчестве Монтескье // Европейское Просвещение и цивилизация России / Отв. ред. Карп С.Я. М., 2004. С. 31-41.
[61] *Хархордин О.* Основные понятия российской политики. М.: НЛО, 2011. С. 78.
[62] См. целый ряд работ, в том числе *Вульф Л.* Ук. соч. С. 39, 137, 139.

следующем веке его окрестят «просвещенным деспотизмом», совсем иначе оценивая эту форму правления[63].

Но для историографии особое значение имеет линия, намеченная Дидро, который, в сущности, явился автором «либерально-буржуазной репрезентации» России во Франции, а затем и во всем мире[64]. Подчеркивая отсутствие в России важнейших элементов – «посреднических институтов», третьего сословия, гражданских прав и защиты собственности, Дидро выявил основные черты буржуазной идентичности Европы и создал некий эталон, перекочевавший в следующий век и с малыми дополнениями существующий до сих пор.

Реалии XIX в. внесли ряд изменений в образно-метафорические и историографические репрезентации России. После наполеоновских войн, закончившихся триумфом русских войск и созданием Священного союза, проблема европейской идентичности оказывается тесно увязанной с соображениями о балансе сил, в котором роль России была более чем существенной. Однако положение ее в семье европейских наций оставалось двусмысленным: казаки, раскинувшие в 1814 г. свои походные шатры в сердце Франции, оживили в стратегическом дискурсе образ «варвара у ворот». Эта двойственность ощущалась и самими российскими императорами, чье поведение на международной арене создавало у союзников впечатление постоянных попыток акцентировать свою европейскую идентичность[65]. Особенно яркий пример – широко известное высказывание Николая I, назвавшего Турцию «больным», который отягощает Европу и чью смерть «нам» никак нельзя допустить. С той же целью Россией неустанно подчеркивается «восточный» характер Порты. Впрочем, стратегию «ориентализации Другого» использовали и в других не совсем «западных» странах, но уже по отношению к России: в Германии,

[63] *Malia M.* Russia under the Western eyes… P. 77.
[64] *Adamovsky E.* Euro-Orientalism… P.51.
[65] *Neumann I.B.* Op. cit. P. 91.

прокладывающей свой «особый путь» между Западом и Востоком (Восточной Европой), и в Польше, боровшейся за место под солнцем.

Процесс построения европейской идентичности в первой половине века протекал на фоне идеологической борьбы, отличавшейся высоким эмоциональным накалом. Развитие либерализма, возникновение классового мышления, рост коммунистической и социалистической идеологии резко меняют общественный климат. По наблюдению М. Малиа, и внешняя политика в этот период не была лишена своего рода экзальтации: соперничество на международной арене подавалось в духе манихейской борьбы добра со злом. Волны революций, захлестывавших Европу, привели к тому, что события в какой-то одной стране не могли более считаться ее внутренним делом, угрожая стабильности соседей. В этих условиях российское самодержавие, прежде воспринимавшееся как один из европейских «Старых режимов», начинает выглядеть анахронизмом, а стремление Николая I к реставрации их по всей Европе убеждает в агрессивности «закоснелой русской реакции», превращавшейся в главного врага европейской свободы. В представлениях европейцев Россия обретает черты «чуждой цивилизации», противостоящей Европе и ее утверждающимся демократическим ценностям. Особенно большой вклад внесла Польша, после восстания 1830 г. многое сделавшая для внедрения в европейское общественное мнение негативных образов России. Тогда же формулируется аксиома, что деспотизм и рабство внутри страны неизбежно порождают агрессию и внешнюю экспансию[66].

Отмечая, что именно в 1830-40-е годы складывается набор (реперторий) стереотипов о России, которые дожили до сегодняшнего дня, исследователи выделяют три линии интерпретаций: консервативную, либеральную и социалистическую (радикальную). При этом часто упускается из виду то обстоятельство, что в контексте набиравшего силу национализма

[66] *Malia M.* Russia under the Western eyes…P. 93-94, 98-99.

метафорические формулы века Просвещения отступают перед агрессивными этническими стереотипами, но все же не сдают своих позиций. В большей степени они сохраняются в либеральном дискурсе, хотя в этот период он и сосредоточен большей частью на негативных оценках, фиксируя в России отсутствие конституционного строя и других важных примет цивилизации.

Однако правит бал в европейском общественном мнении набирающая силу русофобия. Русофильские голоса станут слышны значительно позже, а пока лишь консерваторы-легитимисты в своих рассуждениях о России удовлетворяют ностальгию по Старому режиму, да открытие «русского мира» бароном Гакстгаузеном вносит новую романтическую ноту в европейский дискурс. Но природа дискурсивных конструктов такова, что русскую крестьянскую общину одни трактовали как признак трогательной патриархальности, другие – как указание пути в социалистическое будущее, а третьи видели в этом реальную «коммунистическую угрозу» цивилизации. В целом же по «русскому вопросу» возникает единодушие между консерваторами и левыми радикалами – достаточно вспомнить резкие высказывания Маркса. Российская «азиатчина», «восточные» корни самодержавия и «византийский» мессианизм – все эти преимущественно политические характеристики дополняются и рассуждениями о природных свойствах славянства, хотя «националистический», или «расовый» дискурс сложится и проявит себя в полной мере только к концу века.

В то же время не стоит забывать, что негативные репрезентации Российской монархии отражали внутреннюю политическую повестку дня, их нельзя отрывать от общих размышлений о том, что такое Европа, что с ней происходит и куда она идет. В контексте усиливавшегося пессимизма относительно перспектив «дряхлой» Европы, отравленной индивидуализмом, идет дальнейшее осмысление понятия цивилизации. В своем курсе лекций «История цивилизации в Европе», прочитанных в Сорбонне в 1828 г., Франсуа Гизо фактически сформулировал то, что позднее начали называть

«европоцентризмом». Он указал, что все государства проходят один и тот же путь, в своем развитии стремясь к одной цели, и выстроил иерархию стран, каждая из которых должна оцениваться соответственно своей близости к идеалу – Франции. Таким образом, понятие «европейская цивилизация» приобретает черты политической идеологии[67].

Кроме того, присущее эпохе Просвещения понятие Европы как одной универсальной цивилизации было дополнено в эпоху романтизма понятием о цивилизации как множественности особых национальных культур. Так, для осознававшей свою отсталость Германии противоположностью «бездушной, рассудочной» цивилизации Англии и Франции выступала немецкая культура – «моральная, духовная и глубокая»[68].

Категория прогресса дополняется в XIX в. понятиями «эволюции» и «развития», в равной мере приложимыми к живой природе и к обществу. Однако в эволюции общества особую роль играет категория свободы, которая, при всем спектре ее значений, от абстрактного до утилитарного, понималась как противоположность рабству (и, следовательно, деспотизму). К середине века был выработан исторический канон, согласно которому тысячелетняя история Европы представляет собой восхождение человечества к свободе. Основные вехи на этом пути – феодализм и рыцарство, Ренессанс и Реформация, затем в игру вступает средний класс (третье сословие) – главный двигатель общественного прогресса, обеспечивающий достижение политической свободы (конституционного правления). Россия никак не вписывается в эту схему, выступая антитезой европейскому прогрессу. Ее чаще всего просто не упоминают, как Гегель или Л. фон Ранке, который, собственно, и сформулировал схему европейской «романо-германской» истории.

---

[67] *Evtuhov C.* Guizot in Russia // Cultural gradient: The transmission of ideas in Europe, 1789-1991 / Ed. by Evtuhov C., Kotkin S. Lanham, 2003. P. 56–57.
[68] *Malia M.* Russia under the Western eyes… P. 107.

Параллельно происходит процесс трансформации пространственного понятия «запад» в социально-политический концепт «Запад», который в XIX в. подразумевал в основном Западную Европу[69]. В ее противостоянии с остальным миром оттачивались концептуальные пары «Запад – Восток» (в которой не только Россия, но и Пруссия, и Австрия зачастую занимали промежуточное положение между «истинным Западом» и «истинным Востоком» – прежде всего Турцией) и «Россия-Европа» (особенно актуальная для российских мыслителей). Нашумевшая книга Алексиса де Токвиля обратила внимание общественного мнения на еще одного поднимающегося игрока на международной арене – Соединенные Штаты Америки, чье включение в семью цивилизованных стран уже дебатировалось политиками и публицистами[70]. Противопоставляя Америку и Россию в своей известной формуле («В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России – рабство»), Токвиль при этом обнаружил много сходства между двумя великими странами, каждой из которых «Провидение втайне уготовило стать хозяйкою половины мира»[71]. Однако участие Америки в европейском дискурсе было пока минимальным, в то время как России не только отводилось ведущее место антитезы: она, фактически, находилась в самой гуще дискурсивных «событий».

Дискурсивное пространство Европы было тогда единым; циркуляция идей, общих мест и ходячих мнений шла там с большой интенсивностью, создавая свои смыслы в каждой национальной культуре. Тем не менее, следует отметить, во-первых, роль Германии в формировании как русской

---

[69] Характерно, что пространственное измерение постоянно присутствует в политическом дискурсе, взять хотя бы определение европейской цивилизации как сочетания «английской коммерции и французской свободы». А в годы Крымской войны входит в общее употребление термин «западные державы», закрепив особую географическую общность в сфере международных отношений.

[70] *Токвиль А. де.* Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. Оригинал: *Tocqueville A. de.* De la démocratie en Amerique. Vol. I. P., 1835; vol. II. P., 1840.

[71] *Токвиль А.* Ук. соч. С. 296.

мысли[72], так и общеевропейских представлений о том, что собой представляет «Запад». Во-вторых, значение англо-французской русофобии, которая, как считает Р. Бавадж, в том виде, как она была унаследована веком XX, ведет свое начало с 1820-х годов, не ранее. Именно она активно способствовала кристаллизации понятия «Запад» в его социально-политической ипостаси[73].

Существует несколько интерпретаций взаимоотношений России и «Запада»: одни считают, что «русские с удивительной легкостью заимствовали мнения о себе западных наблюдателей и применяли их к анализу собственной страны»[74], другие писали о том, что «Запад» как точка отсчета настолько прочно вошел в историю и культуру России, что его уже невозможно выбросить вон[75]. Третья интерпретация указывает на русское происхождение концепта «Запад», возникшего в ходе жесткой критики «загнивающей» Европы, которая была услышана ее адресатами[76]. Здесь, безусловно, требуются дополнительные исследования, но скорее речь должна идти о циркуляции идей. Например, имеются свидетельства о русских

---

[72] См. работы Н. Рязановского, А. Валицкого, А.Л. Зорина и др. Однако идеи о «загнивающем Западе», активно проникавшие в русский дискурс из Западной Европы, были почерпнуты главным образом из консервативной французской прессы «второго эшелона». См.: *Долинин А.А.* Гибель запада: К истории одного стойкого верования // К истории идей на Западе: Русская идея. СПб., 2010. С. 26-76.

[73]*Bavaj R.* The West: A conceptual exploration. http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/political-spaces/political-ideas-of-regional-order/riccardo-bavaj-the-west-a-conceptual-exploration/?searchterm=oriental%20despotism&set_language=en

[74]*Poe M.* A people born to slavery. P.111.

[75] *Burbank J.* Revisioning imperial Russia: Conference report // Slavic rev. 1993. Vol.52, N 3. P. 556.

[76]Считается, что первым термин «Запад» как обозначение некоего культурно-исторического единства, противоположного «России», употребил в своем «Философическом письме» Чаадаев, заменив им географически неоднозначный термин «Европа»: *Heller P.* The Russian dawn: How Russia contributed to the emergence of “the West” as a concept // The struggle for the West: A divided and contested legacy / Ed. by Browning C.S., Lehti M. N.Y., 2010. P. 33–52.

вдохновителях знаменитой книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», и это не только Чаадаев[77].

Датируя возникновение социально-политического концепта «Запад» XIX веком, исследователи указывают на такие узловые моменты его выработки, как дебаты славянофилов и западников в России (формирование «от противного»), Крымская (Восточная) война и 1870-е годы (подъем идеологии панславизма). При этом все сходятся во мнении, что дебаты о Западе и взаимоотношениях с ним являлись важнейшей составляющей в формировании русской идентичности в век национализма. В ходе этих дебатов вырабатывается противопоставление русской «веры» и «души» западной «рациональности» и «расчетливости», формируется миф о «коллективизме» русского народа (соборности) в противовес европейскому «индивидуализму». В то же время следует подчеркнуть, что русская идентичность формировалась параллельно с европейской, во взаимодействии с ней и во взаимоотталкивании; с одной стороны – по тем же законам бинарных оппозиций, которые современные исследователи берут за основу своего анализа, с другой – в диалоге. Соответственно выстраивалась и схема русской истории, которая основывалась на тех же категориях цивилизации и прогресса, понимаемого как движение вперед.

В 1830–50-е годы получают дополнительную разработку другие компоненты концепта «Запад». Понятие свободы конкретизируется в токвилевской модели либеральной демократии, которая принимает очертания актуальной цели. Для ее достижения имеются два пути – эволюционный (англосаксонский и прежде всего американский) и революционный (европейский континентальный). Ассоциации граждан по американскому образцу – зачатки гражданского общества – возьмут на себя функции защиты индивида от государства и станут своего рода школой

[77] См.: *Струве Г.* Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. Сан-Франциско: Дело, 1950.

свободы[78]. Таким образом, свобода индивида провозглашается высшей целью общественного прогресса, и ассоциируется она с Америкой (где в этот период благополучно существовало рабство в самом своем классическом, «плантаторском» варианте).

Частная собственность – еще один компонент, занявший в концепте «Запад» основополагающее положение во многом благодаря Марксу и его теории об азиатском способе производства. Продолжая линию Монтескье и Гегеля, автор «Британского правления в Индии» пришел к выводу, что отсутствие права частной собственности (поскольку всем владеет суверен) является основой политической системы восточного деспотизма и ведет к стагнации[79]. Теория Маркса придала прогрессу материальное измерение, которое станет особенно актуальным в следующем веке.

Однако наиболее влиятельным в середине XIX века было учение Огюста Конта об универсальных законах общественного развития, в котором институт частной собственности занимал основополагающее место. Согласно сценарию Конта, по мере разворачивания исторического процесса на смену отсталым средневековым крестьянским обществам, погрязшим в темноте и религиозных предрассудках, приходит царство «экспертов», поставивших себе задачей создание процветающего индустриального рая для индивидов-собственников, построенного на научных началах. Образованная элита становится авангардом, самой судьбой предназначенным для того, чтобы поднять мир из средневековой отсталости и повсеместно победить «врагов Разума»[80]. Рациональный экономический строй, отраженный в лозунге «Порядок и Прогресс», признается нормой, к которой с разной скоростью движутся все участники мирового исторического процесса.

---

[78] *Хархордин О.* Ук. соч. С. 79.
[79] *Minuti R.* Oriental despotism… P. 29.
[80] *Kingston-Mann E.* In search of the true West: Culture, economics, and the problem of Russian development. Princeton, 1999. P.94-95.

Понимание западной цивилизации как совокупности «европейских ценностей и институтов» включало в себя также идеи о господстве права (власть закона – rule of law) и правовом государстве. Во второй половине XIX в. правопорядок (законоправство) обретает статус некоего «золотого стандарта» цивилизованности, который вырабатывали и закрепляли юристы – специалисты в области активно развивавшегося международного права. Требования к государствам, претендующим на полное членство в европейском «клубе наций», включали в себя защиту основных прав индивида (жизни, достоинства, свободы передвижения, торговли и религии); наличие организованной и эффективной бюрократии; справедливую судебную систему, развитые кодексы уголовного и публичного права и ряд других (в том числе объявление вне закона таких практик, как рабство)[81].

Надо сказать, что после Великих реформ Россия вполне соответствовала этим достаточно размытым критериям, и прежде всего потому, что «рабство» – крепостное право – «пало без единого выстрела», в отличие от Америки. Были созданы новые суды, система земского и городского самоуправления, вместо рекрутчины введена всесословная воинская повинность, делали большие успехи наука и образование. Наблюдатели все более благосклонно начинают смотреть на ее перспективы сближения с европейским миром, особенно в свете достижений русской культуры, которая выходит в пореформенный период на мировую арену. Еще один фактор сближения – развитие революционного движения в России, которое стало главной темой для обсуждения европейским общественным мнением в 1870-80-е годы.

Тогда же появляются первые, как считается, профессиональные научные работы, посвященные России. Наиболее известные из них – «Россия» сэра Уоллеса Маккензи и трехтомная «Империя царей и русские» Анатоля Леруа-Больё, которые вошли в золотой фонд россиеведения и стали важным

[81] *Neumann I.B.* Op. cit. P. 56.

источником для зарубежных исследователей императорской России[82]. Оба автора начинают историю России с Петра I и рассматривают ее с точки зрения «догоняющего развития», как сказали бы сегодня. Взвешивая шансы России догнать Европу и войти в семью европейских наций, и Маккензи, и Леруа-Болье расценивают их как весьма благоприятные. Великие реформы значительно приблизили Россию к этой цели, но не позволили окончательно достичь ее, поскольку впереди еще – трудная задача введения народного представительства и долгие годы обучения парламентаризму.

Удивляющие исследователей благожелательность и взвешенность новых исторических сочинений о России были обусловлены несколькими факторами. Во-первых, реальными успехами страны, как экономическими, так и в области культуры. Во-вторых, распространением информации о России, нараставшей в геометрической прогрессии: ее посещают европейцы и американцы, издаются многочисленные описания и записки путешественников, печатаются корреспонденции. В 1880-е годы «загадочная русская душа» заговорила на английском, французском, немецком языках в романах Толстого и Достоевского. В-третьих, изменяется система международных отношений в Европе, где возникают три зоны: «зрелые либеральные государства» – Англия, Франция и все теснее примыкающие к ним Соединенные Штаты – «истинный Запад», по словам Мартина Малиа; «смешанный мир», получивший вскоре название Средней Европы; и реформированная, но по-прежнему старорежимная Россия[83]. Фактически, ей теперь должны были бы противостоять два «Запада», ближний и дальний, однако острота противостояния явно снижается.

В последней трети XIX в. Россия перестает быть конституирующим Другим для Европы: эту роль в век империализма и первой волны

---

[82] *Wallace D.M.* Russia. N.Y., 1877; *Leroy-Beaulieu A.* L'Empire des Tsars et les Russes: 3 vols. (1-е изд.) T. 1. Le pays et les habitants. P., 1881; T. 2. Les institutions. P., 1882; T. 3. La religion. P., 1889.

[83] *Malia M.* Russia under the Western eyes… P. 164.

глобализации начинают играть колонии (и в том числе информация о них, поступающая от востоковедов, о которых писал в своей знаменитой работе Эдвард Саид)[84]. Присоединив огромные пространства Средней Азии, Российская империя осуществляла там «цивилизаторскую миссию» того же рода, что и Британия в Индии, а Франция в Северной Африке. В изменившемся контексте даже очередной виток спирали Восточного вопроса – Восточный кризис и Русско-турецкая война 1877–1878 гг. – не вызвал по-настоящему серьезных всплесков русофобии, хотя идеи панславизма предоставили новые козыри тем, кто боялся «русского мессианства». Внесли они свой вклад и в развитие расового дискурса, главным образом в Германии, где идеи о «дегенеративном славянстве», которое следует обуздать (а в перспективе и поработить), получают все более широкое хождение[85].

Концепт «Запад» во второй половине века отходит в европейском дискурсе на задний план[86], а на рубеже веков обретает и новую конфигурацию: смещаются акценты, изменяются вес и значение таких основополагающих его компонентов, как цивилизация и прогресс, пополняется он и новыми понятиями, которые также носят нормативный и этически нагруженный характер.

С одной стороны, оппозиция «цивилизация/варварство» теряет свою актуальность вплоть до начала Первой мировой войны. С другой – исследователи отмечают, что в англоязычном мире на пороге XX в. получает все более широкое распространение идея «западной цивилизации», не лишенная мессианского колорита. Она автоматически отодвигала в тень

---

[84] *Said E.* Orientalism. N.Y.: Pantheon, 1978. Первый конгресс востоковедов состоялся в 1873 г. в Париже.

[85] Характерно, что расовый дискурс наиболее активно развивался в только что объединенных, новых государствах Германии и Италии, а вовсе не в «старых» империях, таких, как Британия или Франция.

[86] В целом дискурсивная роль «Запада» и не была еще столь сильна, как в XX в. Подсчитано, что в своей трехтомной «Империи царей» Леруа-Больё гораздо чаще называет Россию северной, а не восточной страной: *Adamovsky E.* Euro-Orientalism and the making of the concept of Eastern Europe in France, 1810–1880 // The Journal of Modern History. 2005. Vol. 77, No. 3. P.606-607.

концепт «Европа» и подчеркивала значимость Британской империи, всегда занимавшей особое положение по отношению к «Континенту»[87].

Одновременно идея прогресса выходит на первый план, становится своего рода идеей фикс в эпоху «высокой» модерности конца XIX – начала XX в., когда стремительно развивается наука, транспортная революция делает все более доступными самые отдаленные уголки земного шара, индустриализация и урбанизация кардинально меняют мир. Прогресс приобретает новое измерение – «научно-техническое», неразрывно связанное при этом с улучшением условий жизни людей и с понятием «современность» (modernity). Ход времени невероятно ускоряется, возникает некая одержимость современностью, которая противополагается «традиции», воспринимающейся как препятствие на пути к светлому будущему. При всей критике «темных сторон модерности» и «индивидуализма современного человека» повсеместно присутствует общее ощущение неумолимого движения человечества вперед – и страх отставания[88]. Концепт отсталости как противоположности развитию становится крайне актуальным, принимая форму категорического императива, который во многом предопределит дальнейший ход истории (особенно в России).

Концептуальные пары «отсталость / развитие», «традиция / современность», «невежество / просвещенность», а в идеологической сфере – «реакционный / прогрессивный» образуют своего рода понятийный каркас, структурирующий публичный дискурс рубежа веков. В этом контексте и рождается идея модернизации, отодвигая в сторону понятие «европеизации». Эстер Кингстон-Манн выдвинула гипотезу о складывании в России в этот период специфической «культуры модернизации», не признающей

---

[87] *GoGwilt Chr.* True West: The changing idea of the West from the 1880s to the 1920s // Enduring Western civilization: The construction of the concept of Western civilization and its «Others» / Ed. by Federici S. Westport, 1995. P. 37-62.

[88] *Banerjee A.* We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity. Middletown: Wesleyan univ. press, 2012.

идеологических барьеров и определявшей конфигурацию общественных дискуссий (и политического курса) в стране. Подчеркивая параллели между Россией и Западом, их участники усматривали в отсталом «средневековом» крестьянстве главное препятствие прогрессу, а в утверждении и защите права частной собственности – основу для успешной модернизации и развития[89].

Частная собственность все теснее начинает коррелировать со свободой, ассоциирующейся с «Западом», – свободой предпринимательства и свободой личности одновременно. Экономика повсеместно выдвигается на первый план, даже в международных отношениях дискуссии теперь вращаются вокруг экономических вопросов, на повестку дня выходит обсуждение, говоря словами Ленина, «империализма как высшей стадии капитализма».

Наряду с частной собственностью еще одним «двигателем прогресса» признается национальное государство, легитимность которого покоится на принципе гражданства. Его актуальность и «нормативность» вскоре подтвердились фактом распада континентальных империй – Российской, Османской и Габсбургской – «архаических» форм, не соответствовавших критериям современности.

Таким образом, в начале XX в. сложился определенный набор понятий, описывающих современность в ее тесной связи с прошлым и будущим: прогресс, научно-технический и материальный, права и свободы личности, частная собственность, свобода предпринимательства, национальное государство, верховенство закона, конституционализм. Все они являлись пространственно-ориентированными и указывали на запад, поскольку именно там находились страны, обладавшие перечисленными признаками и признанные маяком для человечества. В совокупности эти понятия определили содержание социально-политического концепта «Запад»[90]. Его

---

[89] *Kingston-Mann E.* Op. cit. P. 4.

[90] Хотя понятие «западной демократии» кристаллизуется только в окопах Первой мировой: Germany and “the West”: The history of a modern concept / Ed. by Bavaj R., Steber M. N.Y.; Oxford, 2015. P. 17.

притягательность заключалась в способности упрощать сложное, сводя разнообразие народов и культур к общему знаменателю абстрактных, но всем понятных «европейских» норм и ценностей, а также в его объединительном потенциале, позволяющем сплотиться вокруг этих ценностей против того или иного «врага». Однако свою непреодолимую силу концепт «Запад» проявит гораздо позже, под влиянием новых исторических обстоятельств и с выходом на международную арену нового игрока – Соединенных Штатов Америки.

1.2. Особенности процесса оформления устойчивого интереса к истории России за рубежом, 1870-е – начало 1940-х годов[91]

Профессиональные исторические исследования России – явление довольно позднее, хотя вопрос о датировке возникновения, например, американской русистики до сих пор не получил однозначного разрешения. С одной стороны, началом славистических исследований в США принято считать 1894 г., когда профессор Гарвардского университета Арчибальд Кэри Кулидж включил в программу своих лекций курс русской истории. Предлагая изучать ее в контексте истории североевропейских стран (Швеции и Польши), поскольку они оказали серьезное воздействие на ход развития всей Европы и дают интересный сравнительный материал, Кулидж призвал коллег обратить свое внимание на Россию. И хотя его призыв не привел тогда к каким-либо ощутимым последствиям, большинство американских историков-русистов сегодня считают именно Кулиджа «отцом-основателем»

[91] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М., 2008; Большакова О.В. «Ситуация безусловно крайне серьезная…»: Британский дипломат о предстоящей отмене крепостного права в России // Родина. 2011. № 5. С. 92-94; *Большакова О.В.* Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Вып. 6. М., 2016. С. 353-385; *Большакова О.В.* Сэр Дональд Маккензи Уоллес и его «Россия» // Новая и новейшая история. 2020. № 3. С. 170-178.

русистики. Во-первых, он ввел изучение России в круг научных дисциплин Америки и подготовил нескольких учеников, а во-вторых, предложенный им междисциплинарный подход спустя 50 лет был в той или иной форме реализован в многочисленных центрах по изучению России в США[92]. С другой стороны, американская русистика как полноценная научная дисциплина сложилась только после Второй мировой войны, и с этим также согласно подавляющее большинство специалистов по России[93].

Действительно, о складывании инфраструктуры славистических исследований за рубежом можно говорить лишь начиная с XX в., хотя в Великобритании первые исследования русской истории увидели свет уже в 1870-80-е годы. Собственно, Великобритания и играла поначалу ведущую роль в изучении России, и только в 1930-е годы пальма первенства в этом отношении перешла к США. В Германии изучение Восточной Европы сосредоточивалось на лингвистике и культуре, и только в 1902 г. в Берлинском и в 1907 г. в Венском университетах были созданы кафедры восточноевропейской истории. Как отмечает А. Каппелер, мотивацией послужила империалистическая конкуренция, и тесная связь истории и политики в изучении истории стран Восточной Европы и России прослеживалась в этих странах на протяжении всего XX в.[94]. Хотя во Франции первые институции по изучению России были образованы в XIX в. (в 1840 г. в Коллеж де Франс, в 1876 г. – при Школе живых восточных языков, в 1892 г. – в университете г. Лилля, в 1902 г. – в Сорбонне), сосредоточены они были на языке и литературе. Становление учреждений

---

[92] *Рибер А.* Изучение истории России в США // Исторические записки. Т.121. М., 2000. С.66-67; *Emmons T.* Russia then and now... P.1136-1137; *Engerman D.* Modernization from another shore. American intellectuals and the romance of Russian development. Cambr. (Mass.), 2003. P.57-58.

[93] См.: Беседа с американским историком. Т.Эммонс // История СССР. 1989, № 5. С.210; *Малиа М.* Клио под надзором: Россия в американской историографии // Родина. М., 1997. № 1. и др.

[94] *Kappeler A.* Between science and politics: The German-language historiography of Russia during the 20th century // East and West: History and contemporary state of Eastern Studies / Ed. by Jan Malicky and Leszek Zasztowt. Warsaw, 2009. P. 42.

научного и учебного характера, в которых изучается история, начинается там только после Первой мировой войны[95].

Интерес к России в этих странах устойчиво возрастал на протяжении всего XIX века, усилившись в период реформ 1860-70-х годов. Современники – путешественники, дипломаты, журналисты и писатели – оставили много заметок, воспоминаний, книг и статей о происходивших в России изменениях. Эти свидетельства внесли свой вклад в формирование многогранного образа самобытной России. Причем, как заметил М. Малиа, в зависимости от международной ситуации на первый план в этих репрезентациях выдвигались либо отрицательные характеристики, такие как извечная российская косность и варварство, либо положительные – например, творческий потенциал знаменитой «русской души»[96].

Однако стоит отметить одно важное обстоятельство: на рубеже веков Российская империя в каком-то смысле «вернулась» в Европу, и противопоставления ее «Западу» в этот период не носили всеобъемлющего, системного характера. Скорее, речь шла об особенностях страны, идущей по пути европейского прогресса. Но при этом уже сложился и вошел в употребление набор клише – негативных стереотипов о России, которые активно использовались как внутри страны, так и за рубежом. О «восточном деспотизме», российской «азиатчине» вслед за Монтескье, Гегелем и Марксом писали не только русские народники и марксисты, но и все, кто критически относился к царизму. В публичном дискурсе начала XX в. «восточный» характер российского абсолютизма стал одной из безусловно отрицательных и непреложных его характеристик. Самодержавие трактовалось тогда как репрессивная и реакционная сила, противостоящая прогрессивной «общественности». «Власть», ассоциировавшаяся не только с самодержцем, но и с бюрократическим аппаратом, считалась носителем

[95] См.: *Мингереш Ю.В.* К вопросу об изучении истории России во Франции в 20-70-х годах XX в. // Вестник СПбГУ. Серия 2. История. 2010. Вып. 3. С. 127.
[96] См. подробнее об этом: *Malia M.* Russia under the Western eyes. P. 7–9.

исключительно отрицательных качеств. В контексте западноевропейских дебатов XIX – начала XX в., в которых бюрократия как таковая представала носителем всяческого зла, русское чиновничество выглядело особенно неприглядно, поскольку являлось тем инструментом, при помощи которого царский деспотизм реализовал свои «неблаговидные» цели.

В то же время, по словам того же М. Малиа, европейское общественное мнение все более реалистически начинает рассматривать Россию (особенно после 1870 г.), что контрастировало с «полумифологиями» философов-просветителей, маркиза де Кюстина или раннего Маркса[97]. Высокой степенью реализма и прагматизма отличались оценки, дававшиеся профессионалами – прежде всего дипломатами, которые не могли уподобляться публицистам, шарахавшимся от одного расхожего стереотипа к другому. О том, насколько трезво и глубоко понимали ситуацию в России заинтересованные лица, свидетельствуют, в частности, донесения британского посла сэра Джона Файнса Твислтона Крамптона министру иностранных дел Джону Расселу, направленные ему накануне подписания Манифеста об освобождении крестьян. В одной из депеш оценивается отношение к предстоящей реформе всех классов русского общества, и мы не найдем в ней распространенных стереотипов о лени и пьянстве русского крестьянина. Взвешивая шансы на успех российского правительства в проведении реформы мирным путем, посол исключительно точно обрисовывает положение дворянства, крестьянства, торгово-промышленного класса, духовенства и армии, а их отношение к отмене крепостного права оценивает с точки зрения их жизненных интересов.

Особый интерес представляют емкие формулировки, касающиеся, во-первых, причин крестьянской реформы и настроений в обществе после Крымской войны, а во-вторых, значения этой меры для Российской империи. Крамптон пишет: «Возникло ощущение, что за политическое могущество и

[97] *Malia M.* Russia under the Western eyes. P. 179.

влияние за границей была заплачена слишком высокая цена – полное отречение от свободы личности дома, а та медлительность и затрудненность, с какими страна даже сейчас оправляется после катастрофических последствий войны, вызвали всеобщее убеждение, что настоящее величие России должно базироваться на ее внутреннем процветании и прогрессе, а не на количестве людей, которых она держит под ружьем». По его словам, «предлагаемая мера должна повлечь за собой одну из тех трансформаций, которые составляют эпоху в истории нации и которые редко проходят без политических сотрясений». В свое время реформы Петра I смогли приблизить к тогдашним европейским образцам лишь верхний слой общества и систему администрации, не проникнув в «гущу народную», – «возможно потому, что они оставили нетронутым тот самый институт, который сейчас решено уничтожить»; теперь же усилится сближение с европейским миром всей нации. И если для проведения реформ в начале XVIII в. «потребовалась вся сила повелевающего гения и личности почти сверхчеловеческой энергии», то масштабы нынешнего предприятия неизмеримо больше[98].

Этим формулировкам была суждена долгая жизнь, поскольку они представляли собой квинтэссенцию либеральной трактовки российских реформ. Мы встретим их в текстах не только англичан, но и – почти дословно – у француза Леруа-Больё, уже упоминавшегося выше[99].

Особое место в либеральной традиции заняла книга англичанина Дональда Маккензи Уоллеса (1841–1919), написанная на уникальном документальном материале и подкрепленная личными наблюдениями автора, подолгу жившего в стране и хорошо знакомого с рядом тогдашних

[98]Опубликовано Ч. Адлером в номере журнала, посвященном царствованию Александра II: Canadian Slavic studies. 1969. Vol.III, N 2. P.328-337. Рус. перевод: *Большакова О.В.* «Ситуация безусловно крайне серьезная…»: Британский дипломат о предстоящей отмене крепостного права в России // Родина. М., 2011. № 5. С. 92-94.

[99] *Leroy-Beaulieu A.* The Empire of the Tsars and the Russians. 3 vols. / Trans. Ragozin Z. New York; London, 1893–1896. Vol. 1, p. 303, 498.

государственных деятелей. Этот фундаментальный труд переиздавался многократно и затем был дописан автором с учетом реалий революции 1905 г. [100]. Написанный в живом и ясном стиле, он пользовался широкой популярностью и оказал серьезное влияние на развитие взглядов на Россию как в Великобритании, так и в Америке[101]. Американским русистам послевоенного поколения книга представлялась «драгоценным свидетельством очевидца того мира, который мы никогда не увидим»[102].

Сама фигура Уоллеса воплотила в себе характерные черты первоначального периода становления британской русистики. Посещавший университеты в Шотландии, Франции и Германии, где получил диплом доктора права, этот «джентльмен-публицист» в качестве корреспондента «Таймс» наблюдал многие драматические события эпохи. Он много путешествовал по миру, был личным секретарем вице-короля Индии лорда Дафферина в 1884-1889 гг., после чего возглавлял не только иностранный отдел «Таймс», но и редактировал 10-е издание Британской энциклопедии. В России Уоллес прожил без малого шесть лет по частному приглашению в 1870–1875 г., затем провел там два года как военный корреспондент в период русско-турецкой войны, в 1890–1891 гг. сопровождал наследника цесаревича Николая Александровича в его путешествии в Индию и на Цейлон.

Особенностями его метода являлось не только внимательное ознакомление с огромным количеством документов, но и практическое изучение тех институтов, которые он описывал. Уоллес посещал собрания Новгородского земства как в губернии, так и в уездах, общался с приходским духовенством и церковными старостами, обсуждал вопросы о будущем

---

[100] *Wallace D.M.* Russia. L., 1877. До 1905 г. книга переиздавалась 19 раз, затем выходит в переработанном виде: *Wallace D.M.* Russia on the eve of war and revolution. L., N.Y., 1912. Вторая волна переизданий начинается в 1960-е годы.

[101] *Павловская А.В.* Россия и Америка. Проблемы общения культур. Россия глазами американцев, 1850-1880-е годы. М.: Изд-во Московского университета, 1998. С. 76.

[102] *Black C.E.* Introduction // Russia on the eve of war and revolution by sir Donald Mackenzie Wallace. N.Y.: Vintage books, 1961. P.V.

России с ее государственными и общественными деятелями. В результате родился труд, в котором дано исключительно тщательное изображение основных социальных групп (классов) Российской империи и ее институтов, включая общинное землевладение и крепостничество. Обилие описаний и анекдотов также работали на решение главной авторской задачи – дать наиболее полное представление о стране и ее людях.

Этот подход был когда-то определен известным философом А. Макинтайром как «энциклопедический», который утвердился в науке во второй половине XIX в. и ассоциируется с девятым изданием «Энциклопедии Британника» (1870–1885), пользовавшимся большим авторитетом у ученых[103]. В его основе лежит стремление к точности и достоверности, ему свойственны рационализм и описательность, склонность давать дефиниции и классифицировать явления, чтобы объяснить их; он в чем-то сродни естественной истории.

В рамках этого объективистского по своей сути подхода Уоллес и рассматривал Россию, однако в своих оценках он не мог избежать характерных для того времени стереотипов. Отмечая резкие отличия российских институтов от «западноевропейских», он пишет об отсталости, которая начала преодолеваться только Петром I, однако причины отсталости России усматриваются им все же в особенностях национального характера, в лени и неумении трудиться. При этом его исключительно благожелательные характеристики русского крестьянина можно было бы назвать народническими, если бы не давняя традиция сочинителей травелогов обнаруживать в «дикарях», в том числе одетых в овчинные полушубки, такого же человека, что и средний европеец. Точно так же и описание «добронравия» и необыкновенного «миролюбия» русского крестьянства, и оценка деревенского мира как одного из прекрасных образцов

[103] *MacIntyre A. C.* Three rival versions of moral enquiry: Encyclopaedia, genealogy, and tradition: being Gifford lectures delivered in the University of Edinburgh in 1988. Notre Dame (Ind.): Univ. of Notre Dame press, 1990. P. 2-3.

представительного конституционного правления самого демократического типа несут на себе печать традиции, хотя и не столь давней, отсылая нас в том числе к сочинениям барона Гакстгаузена.

Московский период истории Уоллес трактует как подготовительный: великие князья, управлявшие «грубым и примитивным образом», присоединяя все новые территории, фактически лишь расчищали поле для строительства «великого Государства», предпринятого Петром. Создание сложной административной структуры в Российской империи сравнивается с аналогичным процессом бюрократической централизации во Франции, однако указывается на существенные различия между двумя государствами. Французские короли были вынуждены преодолевать серьезное сопротивление со стороны феодальной знати, городов и гильдий, в то время как у российских государей руки в этом отношении были развязаны. Они сталкивались с трудностью иного порядка: нехваткой «бюрократического материала» для учреждений в стране, где население было необразованным и недисциплинированным[104].

Уоллес не судит историю с точки зрения современных ему представлений, когда «вера в деспотичных цивилизаторов и отеческое правительство… поколеблена, а преимущества свободного, непосредственного национального развития получили полное признание». При всеобщей ненависти к централизованной бюрократии, пишет он, нельзя позволить «нашей любви к конституционной свободе и местному самоуправлению ослепить нас». То, что политическим философам кажется наилучшим вариантом, может быть абсолютно неприложимо к конкретным случаям. И потому он «со всей смелостью» заявляет, что без сильной централизованной администрации Россия не стала бы одной из великих европейских держав (даже и сейчас она далеко не единое гомогенное государство, добавляет Уоллес). Именно самодержавие с его необходимым

[104] Ibid. P. 4-6.

дополнением – бюрократией – сначала создало Россию, а затем спасло ее целостность – и в конечном итоге, начав приобщение к западной цивилизации, обеспечило ей место среди европейских наций[105].

Подчеркивая, что громоздкая и сложная административная машина Российской империи представляет собой вековое наследие истории, и с этим нельзя не считаться, Уоллес указывает на тяжелые последствия, к которым привела необходимость в сильной государственной власти: правительство оказалось отделено от нации, а насильственный характер его политики привел к возникновению оппозиции в массах. Люди смотрят на царей-реформаторов как на воплощение зла, а правительство, в свою очередь, видит в своих подданных лишь материал для осуществления своих замыслов, пишет он. Народ для правительства – неразумные дети, неспособные понять политические цели и позаботиться о себе, и чиновники часто обращаются с населением как с завоеванной и низшей расой. В результате, продолжает Уоллес, государство стали рассматривать как абстрактную величину, чьи интересы совершенно отличаются от интересов людей, его составляющих; и во всех случаях, где задействованы государственные интересы, права индивида приносятся им в жертву[106]. Однако общая сбалансированность повествования Уоллеса такова, что достаточно острые оценки текущего момента, основанные на мнениях оппозиционно настроенных современников, уравновешиваются у него наблюдениями иного порядка: в частности, о том, что разные «классы» российского населения имеют наряду с обязанностями и права (и «привилегии»), закрепленные юридически. При этом особенность России заключается в том, что благодаря обширной территории аграрной по своему характеру империи и усилиям самодержавия по сохранению социальной стабильности в ней отсутствовали острые классовые конфликты, обусловленные борьбой за существование. И в

[105] Ibid. P. 11-12.
[106] Ibid. P. 12-13.

результате почти отсутствует кастовый дух и кастовые предрассудки – те перегородки, которые разделяют общество в европейских странах[107].

Подобные оценки содержатся и в исторических трудах, появившихся во второй половине века в Великобритании и претендующих на профессионализм. Это лекционные курсы У. Ральстона и У. Морфилла, обобщающие работы Г. Эдвардса и С. Боултона, свидетельствующие о возникновении британской россики как академической дисциплины[108]. В них подчеркивалась ведущая роль государства и его институтов в истории России, отмечалась ее «запоздалость» в усвоении плодов европейской цивилизации. В то же время первые британские историки-русисты активно отстаивали право на существование предмета своего изучения в стране, привыкшей смотреть на историю третьих стран с точки зрения «Британия и остальной мир». Кроме того, они вступили в борьбу со стереотипами, наводнявшими как публицистику, так и школьные учебники. В начале XX в. в первом британском специализированном журнале (The Russian history review) появляются призывы не увлекаться аналогиями и особенно – «запросами сегодняшнего дня» при характеристике истории России, в которой далеко не все можно сопоставлять с историей английской или европейской[109].

Исследователи отмечают, что британская историография в целом отличалась крайним исследовательским монологизмом, когда любое «иное» или непохожее рассматривалось в его отношении к британскому образцу (которое воспринималось в качестве «нормы») и оценивалось как «отклонение», «недоразвитость», «ошибка», т.е. имели место отношения

---

[107] Ibid. P. 94–95.

[108] *Ralston W.R.S.* Early Russian history: Four lectures delivered at Oxford. L., 1874; *Morfill W.R.* Russia. L., 1875; *Edwards G.S.* The Russian history. L., 1882; *Boulton S.B.* The Russian empire: Its origin and development. L., 1882.

[109] См. Подробнее: *Тараторкин Ф.Г.* От россики к советологии: Формирование образа России в британском научном россиеведении в XX в. // Зарубежное россиеведение. М., 2012. С. 417-423.

неравноправия[110]. Однако нет оснований абсолютизировать монологизм британской историографии России конца XIX – начала XX в., учитывая, во-первых, искреннее стремление первых профессиональных русистов дистанцироваться от оппозиции «Россия / Англия», а во-вторых – особенности европейского дискурса этого времени. Для него были характерны взаимодействие, взаимообмен, круговращение идей и текстов по всему континенту, включая Россию, где в широкой печати рецензировалось большинство исторических трудов, вышедших за границей. А в британском журнале «The Russian history review», который выходил в течение 1912–1914 гг., не менее половины авторов статей и рецензий были из России[111]. Трудно, почти невозможно выявить «заимствования», поскольку не только западноевропейские историки читали русские труды, но и русские историки использовали многие тексты своих заграничных коллег. Известно, например, что труд Леруа-Больe, особенно второй и третий тома, запрещенные в России цензурой, использовались и цитировались Джаншиевым, Корниловым, Кояловичем[112]. Развивалось и сотрудничество историков: рассматривался в частности проект о совместном написании истории России, который, однако, не был реализован[113].

Основоположником научного изучения русской истории в Великобритании считается Бернард Пейрс (1867–1949). Выпускник Кембриджа и ученик В.О. Ключевского, этот историк и журналист прекрасно знал русский язык и не только многократно бывал в России, но и несколько лет работал здесь корреспондентом английского правительства в годы

---

[110] *Тараторкин Ф.Г.* Ук. соч. С.417; *Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина Л.П.* Современная историография Великобритании. М., 1991. С.70-72 и др.

[111] *Szawlowski R., Terlecka H.* Western research on Russia until 1939: I: Developments up to 1914 // Canadian Slavonic papers / Revue Canadienne des Slavistes. 1967. Vol. 9, N 2. P. 158.

[112] *Цыкова К.А.* Россия второй половины XIX – начала XX в. в трудах Анатоля Леруа-Больё. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд.ист.наук. М., 2005. С.7.

[113] *Тараторкин Г.Ф.* А.С.Лаппо-Данилевский и проект создания истории России на английском языке (1915-1918 гг.) // Археографический ежегодник. 1994. М., 1996. С.270-277.

Первой мировой войны. Он преподавал в Ливерпульском университете, стал первым профессором русской истории в англоговорящем мире, участвовал в основании Лондонской школы славяноведения и ведущего британского журнала по русской истории – “Slavonic and East European review”[114].

В своей книге «Россия и реформы», изданной в 1907 г., Б. Пейрс попытался объяснить происходящее в России, проанализировав ее прошлое. Характерно, что среди тех, кого он благодарит за помощь в написании этой книги, преобладают русские имена, в том числе упоминаются профессора Виноградов, Муромцев и Милюков. Пейрс предваряет свое рассмотрение периода «реформ и реакции» 1854–1904 гг. кратким историческим очерком, структурированным достаточно специфически: друг за другом следуют разделы «Россия и Восток», охватывающий период с древнейших времен до Ивана Грозного; «Россия и Запад» заканчивается вступлением на трон Петра I; в разделе «Россия и западные идеи» особый акцент делается, однако же, на международных отношениях в контексте противостояния Востока и Запада. Авторское видение оппозиции «Запад – Восток» в применении к России формулируется достаточно литературно: «На всем протяжении своей долгой истории Россия несла бремя своего географического расположения между Европой и Азией… С одной стороны, ей было предназначено учить Восток, но с другой – учиться у Запада, и эта задача была более трудной»[115].

Характеризуя реформы 1860-х годов, которые принесли с собой огромные положительные перемены, Пейрс вновь демонстрирует антитетическое мышление. Реформы Александра II представляются ему одним из тех «мостов», которые были призваны соединить «пропасти», существовавшие в русском обществе: между рабством и свободой, богатыми и бедными, интеллигенцией и правительством. Среди непосредственных результатов Великих реформ Пейрс отмечает постепенный экономический

[114] *Randall F.* Introduction // *Pares B.* Russia: Between reform and revolution. N.Y., 1962. P.XI-XII.
[115] *Pares B.* Russia and reform. L.: Archibald Constable & Co, 1907. P. 15.

прогресс в русской деревне, развитие промышленности, а также несомненный политический прогресс, хотя и приостановленный убийством Александра II. Тем не менее основное свое внимание Пейрс сосредоточил на анализе социальной структуры Российской империи, которая характеризуется им по формуле «царь, церковь, народ». Книга Пейрса представила разностороннюю картину жизни пореформенной России, многократно переиздавалась и стала классикой для всех англоговорящих русистов. Не менее популярными оказались и другие его работы, в особенности «История России»[116], однако все они носили скорее обзорно-описательный характер, и авторское повествование играет в них ведущую роль.

Впрочем, среди работ по русской истории, выходивших в Великобритании в межвоенный период, не найти специальных монографических исследований в сегодняшнем понимании этого слова. Чаще всего это общие работы, некоторые принадлежат авторам русского происхождения[117]. Вплоть до Второй мировой войны русские исследования в Великобритании концентрировались в Оксфорде и Лондонском университете, в организованной сэром Бернардом Пейрсом Школе славянских исследований, куда он пригласил на работу целый ряд русских эмигрантов. Вторым «отцом-основателем» Школы, первоначально являвшейся составной частью Кингз-Колледжа, был Роберт Сетон-Уотсон, специалист по империи Габсбургов. Изучение России и других славянских стран осуществлялось там в междисциплинарном ключе и в каком-то смысле было предтечей региональных исследований («area studies»), получивших столь широкое развитие в США в послевоенные годы. Созданная в 1915 г. в

---

[116] См., например*: Pares B.* A history of Russia. L., 1926; Id. The New Russia. 1931; Id. The fall of the Russian monarchy. L., 1939.

[117] См. *Mavor J.* Economic history of Russia. L., 1925; *Mirsky D.* A history of Russia. L., 1927; *id*. Russia. A social history. L., 1931; *Pavlovsky G.* Agricultural Russia on the eve of the revolution. L., 1930; *Hans N.* History of Russian educational policy (1701-1917). L., 1931.

Лондонском университете школа, так же, как и впоследствии американские центры региональных исследований, являлась плодом военного кризиса и имела своей целью удовлетворять запросы союзнических держав, формулируя проблемы и предлагая пути их разрешения. Соответственно, противостояние большевистскому режиму довольно скоро стало одной из политических задач Школы, в академическом плане это означало представление истории царской России в противоположном советским интерпретациям ключе. Притом, что главная роль в подготовке отводилась языку и литературе, эти предметы лишь служили фундаментом для более глубокого понимания истории, экономики и права в малоизвестном британцам регионе[118].

Первое время в Школе преподавал Масарик, он читал историю славянских стран, однако его деятельность на педагогическом поприще оказалась очень кратковременной, и его сменил Сетон-Уотсон. Барон М.Ф. Мейендорф читал экономику и историю институтов, русскую литературу – Д.С. Святополк-Мирский, в 1932 г. его сменил на этом посту Глеб Струве[119]. Сэр Бернард сам спонсировал учебный процесс по «русской» тематике (обучение другим славянским языкам оплачивали правительства соответствующих государств). Впрочем, студентов было совсем немного, как и преподавателей; профессиональных историков среди них не было. Русская диаспора в Англии не была многочисленной, кроме того, многие историки довольно быстро уезжали либо во Францию (как Милюков), либо дальше, через океан, в Америку. В 1921 г. туда уехал Михаил Ростовцев, в 1926 г. после смерти П. Виноградова – его секретарь Михаил Флоринский, затем – князь Андрей Лобанов-Ростовский, также читавший лекции в Школе в

[118] *Pearton M.* The history of SSEES: The political dimension // Slavonic and East European review. 1993. Vol. 71, N 2. P.287-294 (287). См. также: *Roberts I.W.* History of the School of Slavonic and East European Studies, 1915-1990. L., 1991.
[119] *Smith G.S.* D.S.Mirsky: A Russian-English life. Oxford: Oxford univ. press, 2000. P. 90, 93-94.

1924–1930 гг. Америка в 1930-е годы становится тем местом, где русские эмигранты, в том числе историки, могли найти себе работу и состояться профессионально, пусть и с большим трудом и с большими издержками.

В начале XX в. в США изучению России начинают уделять все более пристальное внимание, что было обусловлено усилившимся в 1880–1890-е годы сближением двух стран и – как результат – превращением русского «Иного» в значимого для конструирования американской идентичности «Другого»[120]. По наблюдениям В.И. Журавлевой, в американском общественном мнении складываются несколько дискурсов о России, которые она определила как либерально-универсалистский, консервативно-пессимистический, русофильский и радикальный. Первый из них тесно связан с идеями о глобальной миссии Америки по реформированию мира. Россия предстает в данном случае как страна, народ которой стремится к ценностям западной демократии и ожидает от американцев помощи в своей борьбе за либерализацию политического строя против ретроградного правительства. Этот образ соседствовал с русофильским, выдвинувшимся на первый план в середине 1890-х годов. Американские русофилы прививали своим согражданам вкус к русской литературе, музыке, живописи, признавая за русскими право на «инаковость». В последние годы XIX в. формируется консервативный дискурс, в центре которого лежали миф о «вековечной Руси» и идеи о русском мессианстве, что признавалось угрозой американским интересам. В годы первой русской революции принимает окончательные формы и радикальный дискурс русского «Другого». Во многом благодаря усилиям Дж. Кеннана и его работам о сибирской ссылке в США начинается «крестовый поход» за дело русской свободы, сторонники которого разводили по разным полюсам «демонический» образ официальной России и «романтический» образ России народной. «Демонический» образ

[120] См. *Журавлева В.И.* Понимание России в США: Образы и мифы: 1881-1914. М., 2012. С. 57.

выстраивался с использованием дихотомий «прогресс – регресс», «цивилизация – варварство», «современность – средневековье». В полемику с ними вступают русофилы, призывавшие к принятию и познанию русского «Иного». Таким образом, с одной стороны, Россия представала империей деспотизма и произвола, национально-религиозного гнета, отсталого крестьянства и вестернизированной интеллигенции, кладущей свою жизнь на алтарь русской Свободы. С другой – предлагала высочайшие образцы культурных достижений, выступая «экспортером духовных ценностей». Но кроме того, не стоит сбрасывать со счетов такой фактор, как «чарующие перспективы освоения русского рынка», которые, по словам В.И. Журавлевой, способствовали закреплению представлений о Российской империи как об одном из объектов миссии Соединенных Штатов по коммерциализации / американизации мира[121].

Тем не менее, не следует упускать из виду и роль европейского Другого, особенно в развитии американской исторической мысли. Она безусловно находилась под сильным влиянием западноевропейской традиции, черпая оттуда стереотипы и представления о России, формировавшиеся на протяжении столетий. Однако восприятие России в США не во всем повторяло европейское и имело свою специфику. Как отметил Д. Энгерман, Америку отличала убежденность в том, что хотя каждая нация имеет свой уникальный характер, процесс индустриализации рано или поздно приведет к «улучшению политических условий» и в результате к «улучшению» национального характера[122]. Во многом такой взгляд был связан с представлением об «особой» исторической судьбе Соединенных Штатов, вылившимся в форму концепции об американской «исключительности» (exceptionalism).

---

[121] Там же. С. 88-89, 171.
[122] *Engerman D.* Modernization from another shore. P.13, 28-29.

Пытаясь очертить контуры собственной идентичности, американцы после Гражданской войны 1861–1865 гг. выстраивали ее на основе противопоставлений Западной Европе как антитезу Старому Свету. Поэтому большое внимание уделялось изучению эпохи Античности, Средних веков, Ренессанса и Реформации как основополагающих моментов складывания западной цивилизации. Американцы тщательно фиксировали все свои отличия от Западной Европы, однако трактовали их в позитивном ключе. Считалось, что в Америке не было «болезней» Старого Света. Так, отсутствие, например, королевского двора, наследственной аристократии, церковных институтов, согласно этой трактовке, лишь способствовало утверждению республиканского правления, которое вело страну по пути демократии и прогресса. Америка в представлениях американцев являлась неким «маяком» для остальных стран, демонстрируя пример неуклонного движения к свободе и процветанию[123]. Одновременно американцы ощущали глубокую связь с Европой, считая свою страну «кульминацией давней и великой европейской традиции». Изучение истории Западной Европы часто выливалось в поиск негативных примеров, демонстрировавших, чего же нужно избегать, чтобы продолжать успешно развиваться[124]. История России в данном случае представляла собой явное «отклонение» от той модели, которая находилась в центре внимания американских историков до начала Второй мировой войны, и не вызывала широкого интереса.

Всплески общественного интереса в США к России, в том числе к ее истории и культуре, были связаны с историческими событиями – Первой мировой войной и революцией 1917 г., голодом 1920-х годов, установлением в 1933 г. дипломатических отношений между США и СССР. В эти годы происходит постепенное, но неуклонное развитие славистических исследований, чему способствовала деятельность таких энтузиастов, как

[123] *Рибер А.* Изучение истории России в США. С.67.
[124] Imagined histories: American historians interpret the past / Ed. by A. Molho, G.S. Wood. Princeton, 1998. P.4-6.

Ф. Голдер, Г. Фишер и, конечно, Г. Гувер, по чьей инициативе (и при материальной поддержке) была создана неправительственная библиотека «россики». Большое значение имели также меры, предпринимавшиеся американским правительством и Американским советом ученых обществ (ACLS), в том числе по организации летних школ по изучению русского языка в трех университетах, которые стали главными славистическими центрами в межвоенный период – Гарварде, Колумбии и Калифорнии (Беркли). К 1936 г. уже более чем в 20 университетах США читались курсы русского языка и литературы, а в 1938 г. был создан Комитет славяноведения (Committee on Slavic Studies), под эгидой которого в годы войны начинает выходить журнал, впоследствии получивший название “Slavic review”[125].

Тем не менее, говорить о профессионализации русских исследований в Америке межвоенного периода явно не приходится. Круг исследователей и изучаемых ими тем был еще крайне узок. Ученики и преемники Кулиджа, наиболее известными из которых являются Ф. Голдер, У. Лангер, Р. Кернер, занимались в основном изучением российско-американских отношений и проблемой русской экспансии, а исследования о Советской России писали главным образом талантливые журналисты, а не ученые (У. Чемберлин, Дж. Рид, Л. Фишер). Однако в 1930-е годы в Америке уже появляются и свои профессиональные историки, занимавшиеся проблемами дореволюционной России. Наиболее крупной фигурой был Джеройд Робинсон (1893–1971). Его книга «Деревенская Россия при старом режиме. История помещичьих крестьян и пролог крестьянской революции 1917 г.»[126] стала серьезным вкладом в изучение русской истории на Западе, до сих пор не утратила своего научного значения и считается классикой.

Написанная на основе впечатлений о поездке в Россию в 1925–1927 гг. с использованием преимущественно русских источников и историографии и

[125] American research on Russia / Ed. by Fisher H. Bloomington, 1959. P. 2–3.
[126] *Robinson G.* Rural Russia under the Old Regime. N.Y., 1932.

под влиянием «новой исторической школы», книга представляет собой подробный очерк истории русского крестьянства. В центре внимания исследователя – отмена крепостного права, однако не политическая история реформы, а фактически ее результаты. Считая причинами реформы 1861 г. все ухудшающееся положение крестьянства и рост крестьянских волнений, Робинсон указывал, что реформа не смогла решить крестьянский вопрос и только обострила его. Тяжелое положение деревни привело к кризису, что создало предпосылки для революций 1905 и 1917 гг., которые автор называет «крестьянскими», напрямую связывая их с отменой крепостного права. Уделяя мало внимания законодательно-правовой стороне реформы, Робинсон концентрируется на революционных настроениях крестьянства, которое рассматривает как оппозиционную силу по отношению и к царскому правительству, и к коммунистическому режиму.

В книге отразились новые тенденции в американской исторической науке левого толка: интерес к повседневной жизни и современности, предпочтение «политики низов» – т.е. крестьянского сопротивления – политике «верхов», которую теперь все чаще у нас называют «высокой политикой», ориентируясь на англоязычный термин (high politics). В своей книге Робинсон разрушил или, по крайней мере, поставил под вопрос многие застарелые историографические клише о «патриархальном» земледелии и «пассивном» русском крестьянстве[127]. В то же время его работа практически лишена политизированности и, что особенно поразительно, в ней отсутствуют антитетические сравнения с Западом, так же как и система оппозиций, на которых строится, например, уже упоминавшаяся здесь книга сэра Бернарда Пейрса.

И все же в немногочисленной американской россике межвоенного периода преобладал традиционный интерес к высокой политике, а оценки России и ее истории, которые надолго сохранили свое господствующее

[127] *Engerman D.* Modernization from another shore. P.145.

положение в зарубежной русистике, имели самое прямое отношение как к вопросам, волновавшим американское общественное мнение, так и к доминирующему либерально-универсалистскому дискурсу. Так, например, признавалось важнейшее значение периода 1861–1917 гг., главное содержание которого составляло движение России к демократии. Исходный пункт этого движения – преобразования Александра II, прерванные убийством царя-освободителя. Выплеснувшееся наружу революционное недовольство показало, что либеральное правление в России невозможно, так что реформы 1860-х годов неминуемо привели Россию к политическому кризису и революции[128].

Будучи сосредоточенным в межвоенный период на самом себе, прагматичное американское общество интересовалось главным образом сегодняшним днем, и центральное место в дискурсе того времени занимала история американской демократии. Так что к изучению других стран и регионов мира американские историки, как отмечает А. Рибер, относились с известным пренебрежением. Кроме того, не было той среды, из которой можно было бы черпать кадры преподавателей русского языка, истории и культуры. Иммигранты из России и Восточной Европы были в основном малообразованными, и только после революции 1917 г. положение в этом смысле начало меняться[129]. В 1920-е годы русские историки-эмигранты потянулись в США, и это обстоятельство серьезно повлияло на становление американского славяноведения.

Основными центрами, где группировались научные сообщества эмигрантов из России, в межвоенный период были Париж, Берлин и Прага; тем не менее наличие мощного библиотечного фонда в США, а также хорошие экономические условия привлекали сюда ученых-гуманитариев. Большую роль в формировании русской диаспоры в Америке сыграли

[128] См. *Gerhardi W.* The Romanovs. Evocation of the past as a mirror for the present. N.Y., 1939; *Graham S.* Tsar of freedom. The life and reign of Alexander II. New Haven, 1935.
[129] *Рибер А.* Изучение истории России в США. С.68-69.

бывший посол Временного правительства в США Б.А. Бахметев и известный историк античности М.И. Ростовцев, которого называли своеобразной «биржей труда» для русских историков-эмигрантов[130]. Благодаря его усилиям на работу в американские университеты поступили М.М. Карпович, Г.В. Вернадский, М.Т. Флоринский, Л.И. Страховский, А.А. Васильев, Н.П. Толль и др. К. Мэннинг, характеризуя влияние эмигрантской диаспоры на изучение России в американских университетах, свидетельствует, что «в течение 20-х годов большинство соискателей докторских степеней были русские, приехавшие в США после революции»[131]. Их труды стали не только органичной частью англо-американского россиеведения, но и на многие годы определили развитие западной историографии о России и СССР. Эмигранты сумели сохранить в США основные черты, характерные для интеллектуальной жизни дореволюционной России, и олицетворяли преемственность с дореволюционными школами историков в Москве и Петербурге. Именно эти традиции впитывала американская историография, сумев не только воспринять их, но и позднее добиться на этой основе впечатляющего уровня исследований по российской истории.

В то же время, говоря о русской дореволюционной историографии, не следует преувеличивать ее отличия от современной ей западной. Их роднило многое, начиная от понимания общей схемы развития исторического процесса, который, как считалось, имеет позитивную цель, до детерминистского и «достаточно выборочного подхода» к изучению прошлого, как писал в своей статье крупный американский историк русского происхождения Марк Раев[132]. Под «позитивной целью», продолжает он, и те и другие подразумевали «унитарное, в той или иной степени

---

[130] *Петров Е.В.* История американского россиеведения. СПб., 1998. С.74.

[131] Там же.

[132] *Raeff M.* Toward a new paradigm? // Historiography of imperial Russia: The profession and writing of history in a multinational state. N.Y., 1999. P. 485. См. также: *Mjør K.J.* Russian history and European ideas: The historical vision of Vasilii Kliuchevskii // Вестник Пермского университета. История. Пермь, 2012. Вып. 4 (27). С. 194-206.

централизованное национальное государство, которое стремилось к завоеванию высокого международного статуса, к социально-экономическому процветанию и достижению высокого уровня культуры европейского типа»[133]. Эти исходные положения принимались и славянофилами, и евразийцами.

Истоки, характер и эволюция государства находились в центре внимания историков, а поскольку существовавший режим «был или казался репрессивным», они «единодушно стояли за «либерализацию» и реформу, а то и за революцию». При этом главная идея, лежавшая в основе дореволюционной историографии, заключалась в том, что Россия была «права», когда старалась добиться статуса великой державы, расширяла свои границы и развивала свою социально-политическую систему. Такому взгляду сопутствовало игнорирование многонациональных и поликультурных черт, присущих Российской империи, хотя, как замечает Раев, к 1900 г. этнические русские составляли в количественном отношении меньшинство, и следовало бы учитывать другие культуры как факторы, которые могли влиять на эволюцию в направлении к единой, всеобщей культуре европейского типа. Из того же арсенала либерализма и западничества были светские предпочтения русских дореволюционных историков, с симпатией относившихся к оппозиционно настроенной интеллигенции и с большим предубеждением – к Церкви, ассоциировавшейся с суевериями и «темнотой» в противоположность науке и просвещению.

И русской дореволюционной, и современной ей западной историографии была присуща вера в теоретические положения позитивизма, стремление выявить и охарактеризовать «безличные силы», управляющие историей, сформулировать ее «непоколебимые законы» и открыть закономерности исторического процесса. Нет ничего удивительного в том, что эмигрировавшие из России в США историки вполне разделяли взгляды и

[133] *Raeff M.* Toward a new paradigm? P. 483.

своих русских учителей, и западных современников. В методологическом отношении, пишет Марк Раев в своей книге о Русском Зарубежье, они были позитивистами, что означало приверженность строгим канонам объективного изучения истории на основе как можно большего количества фактов[134]. В соответствии с принципами позитивизма они верили, что факты скажут все сами за себя и помогут вскрыть объективные закономерности исторического процесса. Считалось, что Россия пройдет те же стадии развития, которые уже прошла Западная Европа, поскольку она тоже принадлежала (во всяком случае, в петербургский период) к европейской истории, и рано или поздно, когда будут устранены все барьеры, станет неотъемлемой частью европейской цивилизации. Особенности развития России заключаются лишь в хронологических отклонениях, что объяснялось ее географией и ее прошлым.

Позитивизм и детерминизм эмигрантской историографии побудили Марка Раева заявить о «неоригинальном и нетворческом» ее характере. Действительно, говорить о каких-то оригинальных концепциях и прорывах в освещении истории России эмигрантами в США нельзя. Однако по большей части они и не могли ставить перед собой такую задачу в условиях адаптации к совершенно чужой стране, в отрыве от архивов и привычной интеллектуальной среды. Единственная по-настоящему новая целостная концепция исторического развития России была разработана в рамках развившегося в среде русских эмигрантов в Европе течения евразийства. В США ее разделял, пожалуй, лишь один Г. Вернадский. И все же какие-то элементы этой концепции – переоценка монгольского влияния на русские политические институты, внимание к географическим факторам, к противостоянию «леса» со «степью», и вообще признание большого значения

[134] *Раев М.* Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. С. 208.

«степи» в становлении российской цивилизации – обрели дополнительную актуальность и получили свое дальнейшее развитие в ряде работ.

Вместе с тем не стоит забывать, что в США, где в предвоенные, и особенно в послевоенные годы доминирующее положение занимал либерально-универсалистский дискурс[135], идеи евразийства не могли быть востребованы непосредственно и в какой-либо полноте, в то время как преобладавшие в русской дореволюционной историографии либеральные представления об историческом процессе успешно резонировали с идеями американцев. Не следует упускать из виду и то обстоятельство что в США большинству историков-эмигрантов как старшего, так и молодого поколения удалось с той или иной степенью успешности интегрироваться в академическую среду, получить степени и занять преподавательские позиции в университетах[136]. Поэтому при рассмотрении «эмигрантских» концепций русской истории в США речь должна идти о взаимодействии, о диалоге (что не отменяло ни опоры эмигрантов на дореволюционные традиции, ни их стремления отстаивать свою идентичность в стране-реципиенте).

«Участниками» этого диалога были прежде всего опубликованные на английском языке работы общего характера: «Россия в кризисе» (1905) и «Очерки истории русской культуры» (перевод 1942 г.) П.Н. Милюкова, «Курс русской истории XIX в.» А.А. Корнилова (переводы 1923 и 1943 гг.), «История России» С.Ф. Платонова (1925), «Императорская Россия, 1801–1917» (1932) М.М. Карповича, «Конец Российской империи» (1931) М.Т. Флоринского, а также «Курс русской истории» В.О. Ключевского (по общему признанию, очень плохо переведенный). В условиях, когда профессиональное знание о России в США находилось в стадии становления, а доступ к стране изучения был фактически отрезан, эти работы для начинающих славистов имели особое значение. В них американские

[135] См. *Engerman D.* Modernization from another shore… P. 273-274.

[136] Об этом см. *Петров Е.В.* Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США в первой половине XX столетия. СПб.: РГА им. Бобкова, 2000.

студенты находили привычную «систему координат», которую сегодня мы называем «европоцентристской» и которая тогда казалась чем-то вполне естественным. История России императорского периода представала в этих работах как часть истории европейской, демонстрирующая лишь некоторую «замедленность» своего поступательного движения.

Карпович в своей первой выпущенной на английском языке книге «Императорская Россия», которая использовалась несколькими поколениями студентов, выступал как либерал-западник. Рассматривая политику правительства в 1801–1917 гг., он приходит к заключению, что реформаторский процесс шел на протяжении всего этого периода, при этом реформы всегда запаздывали и, как правило, сопровождались периодами реакции. Однако в целом наблюдалось постоянное движение вперед, в связи с чем он оспаривает тезис о неизбежности революции в 1917 г. Карпович полагает, что начиная с реформ Александра II Россия становится демократическим государством под властью самодержца, и многие проблемы можно было решить мирным путем[137]. В отличие от многих зарубежных историков, придерживавшихся «народнической» трактовки, Карпович не считал, что условия отмены крепостного права сделали революцию неизбежной – в том числе и потому, писал он в своей рецензии на книгу Б. Пейрса, что 50 лет – слишком долгий срок для сохранения непосредственных причинно-следственных связей[138].

Говоря об эмигрантской историографии 1920-х – начала 1930-х годов, следует учитывать, что она находилась в стадии становления, и четкой разделительной черты между ней и историографией дореволюционной в тот момент еще не было. Большинство ведущих историков «старшего поколения» являлись одновременно представителями и дореволюционной, и эмигрантской науки, а более молодые эмигранты, те, кто получал ученые

[137] *Karpovich M.* Imperial Russia, 1801-1917. N.Y., 1932. P.93-95.
[138] *Karpovich M.* Rec. ad op.: Pares B. Russia. N.Y.: Penguin Books, 1940 // The Russian review. 1941. Vol. 1, N 1. P. 107.

степени за рубежом, еще не завоевали серьезных позиций и только начинали свой путь в науке. Лишь к концу 1930-х годов в США формируется отчетливая русская «эмигрантская» идентичность, встроенная, однако же, в структуру американских образовательных учреждений. Постепенно складывается и определенная концепция русской истории, в которой заметна глубокая связь с дореволюционной традицией.

Характерной чертой как русской дореволюционной, так и эмигрантской историографии была интерпретация истории России как череды сменяющих друг друга эпох, разделенных радикальными разрывами. В русской истории традиционно отмечались периоды глубокой ломки старого, знаменовавшие собой переход от одной эпохи к другой: от Киевской Руси к феодальной раздробленности или же от Московского царства к Российской империи[139]. По мнению А. Рибера, мысль о том, что революция представляет собой лишь один из периодов в прерывистом процессе русской истории, приносила эмигрантам чувство удовлетворения с точки зрения и логической, и эмоциональной[140]. С этим наблюдением можно было бы согласиться и продолжить мысль Рибера в том направлении, что взгляды русских историков-эмигрантов во многом были обусловлены пережитой ими или их родителями трагедией революции, Гражданской войны и расставания с родиной.

Действительно, особое положение историков-эмигрантов в США, их иной и специфический жизненный опыт накладывали свой отпечаток на мировоззрение и профессиональные интересы. Мировоззрение даже «молодого» поколения историков-эмигрантов заключало в себе стереотипы, характерные для русской интеллигенции начала XX в. В частности, самодержавие («власть») признавалось главным барьером на пути «прогресса», т.е. либерализации и демократизации, который могла

[139] *Раев М.* Россия за рубежом… С. 215.
[140] *Рибер А.* Изучение истории России в США. С.73.

обеспечить только «общественность». Ответственность за трагедию революции возлагалась на недальновидную политику Романовых и на «всесильную» бюрократию. Однако пришедший на смену самодержавию большевистский режим, отношение к которому было полностью негативным, заставлял иначе, более мягко относиться к дореволюционному прошлому. И хотя индивидуальные интерпретации отдельных сюжетов русской истории сильно различались, объединяло эмигрантскую историографию в целом позитивное рассмотрение дореволюционного периода и в особенности его культуры, которое и передавалось немногочисленным пока студентам.

Отношение к Советскому Союзу не было столь же доброжелательным, учитывая не только личный опыт эмигрантов, но и ту информацию о сталинском режиме, которую они получали с родины и из Европы, куда многие из них регулярно ездили в 1920-е – начале 1930-х годов. В отличие от Америки (которую некоторые русские эмигранты характеризовали как «культурную пустыню»), там кипела интеллектуальная жизнь, вполне сопоставимая с довоенной. В тот период Европа еще представляла собой единое культурное и дискурсивное пространство, однако все более основательный раскол в «европейскую цивилизацию» вносили большевистская Россия и нацистская Германия.

Как в международной политике, так и в общественном сознании в 1920–30-е годы возникают две новые антитезы, в которых старинное противопоставление «Востока» и «Запада» явило себя в новом обличье. Оппозиция «капитализм – коммунизм» возникла на условном «Востоке» – в Советской России, и наиболее значимой тогда была для самого СССР, строившего социализм в отдельно взятой стране, и для Германии, двинувшейся к национал-социализму. Отношение к «коммунистическому эксперименту» многих западных наблюдателей, и в особенности американцев, долгое время было как минимум амбивалентным, а зачастую и

весьма доброжелательным[141]. В тех же странах, которые традиционно означали либеральный «Запад», в 1930-е годы оформляется другая бинарная оппозиция: идеологическое противостояние «свободного мира» и тоталитаризма – тогда, как пишет Питер Новик, в его «нацистском воплощении»[142]. И «русская», и «германская» проблемы являлись пока что внутренним делом Европы, но после Второй мировой войны, по общему мнению, решать эти проблемы были в состоянии только Соединенные Штаты[143].

К началу самого масштабного мирового конфликта XX в. специалисты по России в США и Великобритании подошли с достаточно хорошим багажом. Появилось новое поколение ученых, в том числе и русского происхождения, была создана довольно серьезная инфраструктура «славянских исследований», как называли тогда эту дисциплину. В 1930-е годы изучение России и славянских стран в США значительно активизируется, а с началом военных действий Америка становится фактически единственным центром россиеведческих исследований. Туда переезжает из Лондона, спасаясь от бомбардировок, журнал Slavonic and East European Review и некоторое время выходит как «американская серия». А в 1941 г., когда в войну вступил СССР и интерес к новому союзнику приобрел огромные масштабы, по инициативе Димитрия фон Мореншильдта и при поддержке американского правительства начинает выходить новый

---

[141] См.: *Engerman D.* Modernization from the other shore.; *David-Fox M.* Showcasing the great experiment: Cultural diplomacy and Western visitors to Soviet Union, 1921-1941. Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012. «Международная классовая борьба», как характеризует геополитическую ситуацию межвоенного периода М. Малиа, еще только начинала разворачиваться и не находила полноценного отклика в общественном сознании: *Malia M.* Russia under Western eyes. P. 352.

[142] *Novick P.* That noble dream: The «objectivity question» and the American historical profession. Cambridge: Cambridge univ. press, 1988. P. 310.

[143] *Steel R.* How Europe became Atlantic: Walter Lippmann and the new geography of the Atlantic Community // Defining the Atlantic Community: Culture, intellectuals, and policies in the mid-twentieth century / Ed. by Mariano M. N.Y.: Routledge, 2010. P. 14.

специальный журнал на английском языке «The Russian review» («Русское обозрение»).

Рецензии, опубликованные в первых номерах журнала, дают возможность оценить достижения англоязычного россиеведения предшествующего периода и подвести некоторые промежуточные итоги. По мнению главного редактора У. Чемберлина, они неутешительны, поскольку знания о России и Советском Союзе как в американском обществе, так и в научном мире исключительно скудны. Ситуация осложнена тем, пишет он во введении к первому номеру, что поступавшая информация о современном положении СССР была крайне поверхностна (зачастую это сообщения, условно говоря, «из окна поезда»). А в военное время и такая информация становится недоступной, причем в момент, когда «значение Советского Союза в разрешении военного конфликта как в Европе, так и в Азии, поистине громадно»[144]. Безусловно, высказывания Чемберлина нацелены на обоснование необходимости нового печатного органа, который мог бы собрать воедино экспертные знания о России, но при всех его «политических» целях – привлечь как можно больше сотрудников, – оценка состояния знания о России на Западе вполне адекватна.

Наибольшее количество вышедших в 1938–1943 гг. книг было посвящено современной ситуации в СССР, а также русской классической литературе как самой изученной предметной области. Немногочисленные работы по русской истории включают в себя уже упоминавшуюся «Россию» сэра Бернарда Пейрса (1940), «Церковь и государство в России. Последние годы империи, 1900–1917» (1940) Джона Кёртиса, «Стремление к морю: Курс русской истории» (1942) Роберта Кернера, «Древнюю Русь» (1943) Г.В. Вернадского и переводы общих курсов Милюкова, Корнилова, Грушевского.

---

[144] *Chamberlin W.H.* Foreword // The Russian review. 1941. Vol.1, N 1. P. 1.

Что касается содержательной стороны «Русского обозрения», она отражала потребности текущего момента (исключительно острого) и потому не может в полной мере служить опорой для реконструкции состояния славистических исследований. Зато она дает представление о тех тенденциях, которые будут наблюдаться в последующие 10–15 лет, когда изучение России в США начнет развиваться по восходящей линии, неуклонно наращивая темпы. Помимо упомянутой отзывчивости на текущую повестку дня, это активная переводческая и библиографическая деятельность, рецензирование трудов советских историков. Характерной чертой, которая будет определять лицо русистики вплоть до конца 1950-х годов, является участие представителей русской диаспоры, причем не только профессионалов в лице М.М. Карповича, А.А. Лобанова-Ростовского, А.Г. Мазура, Н.С. Тимашева, М.Т. Флоринского, но и литераторов, бывших и действующих деятелей культуры и многих других, заметных (таких, как Марк Алданов, Владимир Набоков, Михаил Добужинский) и менее известных эмигрантов. В тематическом плане, наряду с освещением актуальных вопросов современности, можно заметить особое внимание к культуре и религии, а также к точкам соприкосновения России и США: появляется все больше статей, а затем и книг, посвященных русско-американским связям и проблемам взаимовосприятия.

Особый интерес в этом отношении представляет публикация, которой открывается первый номер нового журнала – статья Роберта Доу «Простор: геополитическое исследование России и Соединенных Штатов», представляющая собой отрывок из планируемой к публикации в соавторстве с Александром Тарсаидзе книги о царях и президентах. В ней рассматриваются черты удивительного сходства между двумя странами, находящимися на периферии европейского мира. Огромную роль в их становлении, отмечается в статье, играл фактор пространства, а сущность их исторического развития составлял процесс колонизации и освоения

безбрежных территорий, неустанное «стремление к морю», в конечном счете – к Тихому океану. Автор обнаруживает параллели не только в формах и способах «экспансии и аннексии» континентальных «просторов», но и в присущих обеим колонизующимся империям центробежных процессах, и более того – в положении двух «молодых» стран по отношению к высокомерной рафинированной Европе. И русские, и американцы, пишет Доу, всегда страдали комплексом социальной и культурной неполноценности перед старой европейской цивилизацией, были склонны к «самооплевыванию» (он приводит это русское слово), что нашло отражение в художественной литературе обеих стран[145].

Поразительно, с какой легкостью из богатого «репертуара смыслов», накопленного за 100 лет в американских текстах о России (которые подробно описаны В.И. Журавлевой)[146], были извлечены и использованы метафорические формулы (тропы), нацеленные на сближение. В годы войны это сближение постоянно подпитывалось сводками с фронтов, и воодушевление, вызванное совместной борьбой с фашизмом, подталкивало к излишне оптимистическому восприятию Советского Союза – и даже его политической системы. В 1941 г. У. Чемберлин выразил надежду, что союз с западными демократиями приведет к тому, что из горнила военных испытаний выйдет свободная Россия и станет частью свободной Европы[147].

Широко распространившееся в Америке ощущение культурной общности, пишет Д. Энгерман, послужило причиной выбора русского языка большинством военнослужащих, желавших стать офицерами связи и проходивших обучение по интенсивной программе (среди них известные впоследствии социолог Алекс Инкелес и политолог Роберт Такер, историки

---

[145] *Dow R.* Prostor: A geopolitical study of Russia and the United States // The Russian review. 1941. Vol.1, N 1. P. 6, 10.
[146] *Журавлева В.И.* Ук.соч.
[147] *Chamberlin W.H.* Foreword. P.5.

Мартин Малиа и Ричард Пайпс, литературовед Хью Маклейн)[148]. Начиная с весны 1943 г., после Сталинградской битвы, интерес к стране, которая борется с нацизмом, становится настолько велик, что в области изучения СССР обнаруживается острая нехватка специалистов и преподавательских кадров. И в каком-то смысле военные программы, включавшие в себя изучение не только языка, но и обычаев страны, основ ее культуры и политики, предвосхитили создание центров региональных исследований, над организацией которых в фонде Рокфеллера начали задумываться уже в 1942 г. Планы, ориентированные на послевоенное время, предполагали развитие сотрудничества с советскими учеными, которых собирались приглашать в американские университеты на постоянной основе[149]. Однако послевоенная реальность оказалась иной, и произошедшие изменения мирового порядка коснулись в том числе и «воображаемой географии», и прежде всего структурирующей оппозиции «Запад – Восток».

Уже в межвоенный период происходит формирование того, что стали называть «Англосферой», – сближение Англии и США в «воображаемой географии» двух стран. Этому способствовали многие факторы, в том числе обретение Соединенными Штатами статуса экономической мировой державы и бурное развитие технологий в области транспорта и коммуникаций, что резко сократило прежде труднопреодолимую дистанцию между континентами[150]. Однако для того, чтобы Атлантика превратилась из «границы» между Европой и Америкой в «мост», их соединяющий[151], потребовалось пережить Вторую мировую войну, охватившую оба полушария, что просто вынуждало мыслить глобально. В военные годы значительно расширяются горизонты прежде достаточно провинциального,

---

[148] *Engerman D.C.* Know your enemy: The rise and fall of America's Soviet experts. Oxford: Oxford university press, 2009. P. 16-17.

[149] Там же. P. 31. В списке, направленном Робинсоном в советское посольство, упоминались историки Панкратова, Минц и Тарле, экономисты Лященко и Варга.

[150] *Bavaj R.* The West: A conceptual exploration. P.17-18.

[151] *Steel R.* How Europe became Atlantic. P. 13.

сосредоточенного на себе американского общества, меняется его представление о самом себе. На смену американской исключительности (exceptionalism) окончательно приходит идеология либерального универсализма, начинается активный поиск общих черт, способных объединить союзников и противников в новом послевоенном мировом порядке, возглавить строительство которого намеревались США[152].

В 1940-е годы начинает воплощаться в жизнь идея «Атлантического сообщества» (Atlantic community), что на дискурсивном уровне означало переформатирование концепта «Запад», определявшего к этому времени систему представлений и взаимоотношений в мире, – центром силы в нем отныне должна была стать Америка, а не европейские страны. США приложили массу усилий для того, чтобы кажущийся сегодня «естественным» термин «Атлантическое сообщество» стал реальностью. Как показали современные исследователи, его рождение явилось результатом целенаправленной внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, боровшихся за политическую, военную, экономическую и культурную гегемонию в рамках этого воображаемого «Запада»[153].

Процесс построения нового сообщества, увенчавшийся созданием Североатлантического союза (НАТО) в апреле 1949 г., был непростым и, как все яснее становится с увеличением временной дистанции, болезненным для Америки. Еще более тяжелым он был для разрушенной войной Европы, где, собственно, и прокладывались новые географические, политические и идеологические границы между «Западом» и «Востоком». Потребовались большая дипломатическая и разведывательная работа, многочисленные консультации, взаимные демарши и уступки, прежде чем стало окончательно ясно, что Советский Союз действительно остается по другую сторону

---

[152] См., в частности: *Engerman D.* Modernization from the other shore.

[153] *Mariano M.* Remapping America: Continentalism, globalism, and the rise of the Atlantic community, 1939–1949 // Defining the Atlantic Community: Culture, intellectuals, and policies in the mid-twentieth century / Ed. by M. Mariano N.Y., 2010. P. 72.

«железного занавеса», о падении которого возвестил Черчилль в своей фултонской речи. «Холодная война» расколола бывших союзников в борьбе с фашизмом, да и весь мир, на два лагеря: капиталистический Запад и коммунистический Восток.

В качестве одного из инструментов консолидации с Европой американцы, и прежде всего президент Трумэн, избрали христианство как фактор, способный объединить западный мир путем жесткого размежевания с СССР – атеистической «империей зла». Стратегия оказалась успешной, о чем свидетельствовала победа христианско-демократических партий в европейских странах в послевоенный период. Использование христианства в риторике холодной войны позволило значительно драматизировать ситуацию в духе манихейского конфликта добра и зла, и в конечном итоге привело к политизации христианской доктрины[154]. Таким образом, место старинной концептуальной пары «христианство / ислам» заняла асимметричная оппозиция «христианство / атеизм», в которой ее вторая, «слабая», т.е. негативно заряженная часть, относилась к «Востоку», получившему теперь новую конфигурацию: он включил в себя СССР и государства, входившие в сферу его влияния.

Общее наследие стран, лежащих по разные стороны Атлантики, не исчерпывалось христианством: Америка начинает подавать себя как наследницу «великих принципов западной цивилизации». И характерно, что усилия политиков и публицистов в большей степени были направлены вовнутрь, на изменение представлений американцев о себе и месте своей страны в мире. Наряду с пропагандистскими публикациями в прессе в учебную программу университетов в качестве обязательного вводится курс «Западная цивилизация», демонстрирующий органическое единство Нового и Старого Света. Если раньше американцы ощущали себя учениками

[154] *Kirby D.* Divinely sanctioned: The Anglo-American Cold War Alliance and the defence of western civilization and Christianity, 1945-48 // Journal of contemporary history. 2000. Vol. 35, N 3. P. 412.

Европы, провинциалами, не знающими, как себя вести в метрополии, то теперь проводится мысль о единстве истории и судьбы. Более того, ставится знак равенства между антигитлеровской коалицией и западной цивилизацией, что дало основания для исключения бывшего союзника – СССР, который, как всеми уже было признано, к этой цивилизации не принадлежал[155]. Советский Союз стали считать новейшим и наиболее опасным проявлением вековечного русского деспотизма, и на основании таких представлений делались заключения о неизбежности российского и, следовательно, советского экспансионизма.

СССР тоже не оставался в долгу: в Европе и Азии, а затем и по всему миру шла огромная работа по созданию «социалистического лагеря» – в него включались страны, которые на Западе стали называть государствами-сателлитами Советского Союза. Не останавливаясь на драматической истории формирования «Восточного блока», хотелось бы прежде всего подчеркнуть симметричность не столько геополитических реалий (НАТО / Варшавский договор), сколько идеологических, не ограничиваясь при этом областью борьбы с инакомыслием (маккартизм / кампания против космополитизма и низкопоклонства перед Западом). И в США, и в Советском Союзе организуется целая индустрия по взаимному обличению, и в идеологическом оформлении соревнования двух систем история – как наука и как память о прошлом – занимает центральное место.

Начавшееся противостояние двух держав в биполярном мире воспринималось тогда многими как проявление более глубокой, фундаментальной конфронтации «Востока» и «Запада», коренившейся в далеком прошлом. Россия, а точнее, ее преемник – Советский Союз – вновь начинает играть роль значимого Другого: восприятие России как олицетворения «Востока» помогало сформировать собственный образ и понимание себя как «Запада». «Ориентализация» России и Восточной

[155] *Novick P.* Op. cit. P. 317.

Европы в первые послевоенные годы стала господствующей метафорой, что являлось составной частью общего процесса самоидентификации Западной Европы и США в условиях конфронтации с восточным соседом и соперником[156]. Для формирования публичного дискурса большое значение имели работы эмигрантов из Восточной Европы, в том числе и переводные, активно издававшиеся в Великобритании и США[157]. По наблюдению Марка фон Хагена, именно эмигранты насаждали убежденность в том, что Азия начинается в России. При этом часто получалось так, что Германия, Польша или Украина – в зависимости от того, откуда прибыл влиятельный эмигрант-ученый, – считались восточной границей Европы[158].

В этом контексте особую популярность приобрела реинкарнация теории восточного деспотизма, наиболее фундаментально представленная в книге Карла Виттфогеля – когда-то члена Коммунистической партии Германии, после эмиграции в США превратившегося в яростного антикоммуниста[159]. По классификации Виттфогеля, общества делятся на полицентричные «свободные» общества западного типа, основанные на праве частной собственности, и на моноцентричные деспотические – восточные, в которых права и свободы личности, в первую очередь право собственности, неуклонно подавляются. В нагруженной политическими штампами и предрассудками эпохи холодной войны книге Виттфогеля явственно проглядывают и опасения Запада по отношению к СССР и его политике в странах Восточного блока («бацилла восточного деспотизма»), и неприятие «тоталитарной» природы царского и советского режимов. Издавна

---

[156] См. об этом: *Hagen M. von.* Empires, borderlands and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era // American historical review. Wash., 2004. Vol.109, N 2. P.451.

[157] *Halecki O.* Borders of Western civilization: A history of East Central Europe. N.Y., 1952; *Keller W.* East minus West = zero: Russia's debt to the Western world, 862-1962 /Transl. from German. N.Y., 1962 и др.

[158] *Hagen M. von*. Empires, borderlands and diasporas. P. 450.

[159] *Wittfogel K.* Oriental despotism: A comparative study of total power. New Haven, 1957.

бытовавшие на Западе представления о российской «азиатчине» получили в ней «строго научное» объяснение.

Еще больший вес в первой фазе холодной войны имела теория тоталитаризма, которая составляла фундамент «контридеологии свободного мира». Она служила своего рода мобилизующим лозунгом и военизировала общественное сознание. В 1940-60-е годы теория тоталитаризма претендовала на господствующее положение и в научных исследованиях России / СССР, но специалистам довольно быстро стала ясна ее ограниченная ценность[160].

Характерной особенностью первой фазы холодной войны являлось активное использование вековых негативных стереотипов о России и русском характере (в ход пошли и наиболее одиозные формулировки де Кюстина). Необыкновенную жизнеспособность обыденного стереотипа приобрела, в частности, доктрина «Москва – Третий Рим», оказавшаяся исключительно востребованной в годы, когда американский мессианизм – убежденность в своем предназначении нести свет свободы во все страны мира – начинал разворачиваться в глобальном масштабе. Крайне популярный в послевоенной советологии, наряду с опричниной Ивана Грозного и нечаевщиной, концепт «Москва – Третий Рим» служил тогда объяснением российского мессианства и, соответственно, имперского экспансионизма (который был унаследован от Византии). Его критику давали многие, от русских историков-эмигрантов, в лице М.М. Карповича и Н.И. Ульянова, и советских историков, включая Д.С. Лихачева, до американца Маршалла По, изучавшего происхождение этого «оружия холодной войны» после ее окончания[161]. В его работе отмечается, что в конце XVII в. упоминания о

---

[160] *Novick P.* Op.cit. P. 281.

[161] *Карпович М.* О русском мессианстве // Новый журнал. Нью-Йорк, 1956. Т. XLV, кн. 45. С. 274-283; *Ульянов Н.И.* Комплекс Филофея // Там же. С. 249-273; *Лихачев Д.С.* Национальное самосознание Древней Руси. М.-Л., 1945; *Poe M.T.* Moscow, the Third Rome:

«Третьем Риме» исчезают из русской мысли, чтобы появиться уже в 1860-е годы, когда впервые были опубликованы соответствующие источники. Именно тогда русские историки и подняли риторическую фигуру, использованную монахом Филофеем в послании Василию III, на уровень идеологической доктрины. Довольно быстро идея приобретает политическое звучание в контексте Восточного кризиса и расцвета панславизма, а к концу XIX в. «мессианское» понимание идеи «Москва – Третий Рим» становится уже общим местом.

По словам М. По, эта доктрина не имела непосредственного влияния на внешнюю политику Российской империи, однако послужила материалом для строительства философских систем Владимира Соловьева и Николая Бердяева. В них идея «Москва – Третий Рим» трактовалась как свидетельство исконного «русского мессианства», ключ к пониманию национальной психологии. А после революции Бердяев выдвинул тезис о том, что истоки большевизма следует искать не только в марксизме, но и в русском мессианстве, что и было подхвачено на Западе, уже после окончания Второй мировой войны, наиболее консервативными кругами. По мнению А.В. Кореневского, бердяевскую трактовку русского коммунизма как инверсии мессианской идеи Третьего Рима воспринял А. Тойнби, и поворотным пунктом в превращении исторического мифа о «византизме» в политическое клише явилась публикация его эссе «Византийское наследие России»[162]. Объяснение «советского империализма» давними претензиями России на роль «Третьего Рима» в те годы можно было встретить и в ученых

The origins and transformations of a ‘Pivotal Moment’ // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 2001. H. 49, Bd 3. S. 412–429, и др.

[162] *Toynbee A.J.* Russia’s Byzantine heritage // Horizon. 1947. Vol. XVI. No 91. August. P. 82–95; *Кореневский А.В.* Византийское наследие России: анатомия мифа // Новое прошлое. Ростов н/Д, 2016. № 1. С. (63) 62-79.

трудах, и в политической публицистике, звучало оно и в Госдепартаменте[163]. И несмотря на то, что эта концепция была развенчана историками по обе стороны «железного занавеса» (ее продолжали глубоко анализировать в 1990-е годы), идея не была похоронена и остается востребованной по сей день; для журналистов и политических комментаторов она остается крайне полезным риторическим инструментом.

Можно сказать, что в каком-то отношении «русофобия» второй половины 1940-х – начала 1950-х годов напоминала ситуацию 1830–1840-х, однако с одним существенным отличием: в США, а затем и в Европе возникает профессиональное знание о России.

[163] *Poe M.T.* Moscow, the Third Rome… P. 427. Исключительно взвешенно дается эта тема в популярном учебнике Н. Рязановского «История России», которым пользуется не одно поколение американских студентов.

Глава 2. Первый этап профессионального изучения истории России в англоязычных странах (конец 1940-х – 1960-е годы)

По-настоящему серьезное, профессиональное в современном смысле этого слова изучение истории России в англоязычных странах началось только после Второй мировой войны. Отсюда обычно и ведется отсчет в истории Russian studies, хотя точный момент, когда они начали свой «взлёт» (take-off), определить, естественно, невозможно. Точно так же отсутствуют и четкие границы между этапами развития дисциплины Russian studies. При всей условности периодизации науки, опорными моментами служат, как правило, исторические события. Для первого этапа в качестве исходных точек можно выделить такие, как окончание Второй мировой войны, фултонская речь Черчилля 5 марта 1946 г., которая считается началом войны холодной, наконец, открытие в сентябре 1946 г. Русского института при Колумбийском университете. Завершает его 1968 год – пик протестного движения, оказавшего глубокое воздействие как на систему образования на Западе, так и на историческую профессию.

В то же время при ближайшем рассмотрении сам этот, казалось бы, целостный период распадается надвое. С одной стороны, бесспорными вехами тут являются такие события, как XX съезд партии и начало хрущёвской оттепели, запуск первого советского спутника, организация первых научных обменов между СССР и США. С другой стороны, в середине 1950-х годов вступают в действие и другие факторы, связанные прежде всего с изменением общемирового социально-политического контекста, что воспринималось на Западе как вступление в новый этап общественного развития – постиндустриальный. Характерный для этих лет общий дух демократизации, открытости, веры в научно-технический прогресс отразился и в социально-гуманитарных науках. В 1950–1960-е годы,

отмеченные бурным развитием социологии, экономики, политологии и других дисциплин, происходит поворот в методологии общественных наук в целом и истории в частности, который привел к торжеству «социально-научной парадигмы»[164].

В главе последовательно рассматриваются два первых десятилетия, которые характеризуются становлением профессиональной историографии России в англоязычных странах. Наличие соответствующих источников и необходимой временной дистанции позволяют подключить человеческое измерение и показать, как «делалась наука» в эти годы, осветить биографии ряда историков. Кроме того, специальное внимание уделяется концептуальным рамкам, в которых рассматривалась история России: во-первых, оппозиции «Россия – Запад», во-вторых – возникшим в этот период теориям и подходам. Речь идет прежде всего о теории модернизации и исторической социологии Макса Вебера, оказавших серьезное влияние на исторические исследования России за рубежом.

2.1. Russian studies послевоенного десятилетия: создание инфраструктуры[165]

Довоенная славистика получила новый импульс для своего развития в русле так называемых «региональных исследований» (“area studies”), которые начали создаваться еще в годы войны и включали в себя междисциплинарное изучение более 120 регионов мира. Это была

---

[164] *Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. С. 9.

[165] При подготовке данного параграфа диссертации использовались следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М, 2008; *Большакова О.В.* Россиеведение & Russian studies: Зарубежный опыт // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Вып. 1. М., 2010. С. 258-269; *Большакова О.В.* Russian studies: О терминах и не только // Российская история. 2013. № 1. С. 147-151; *Большакова О.В.* Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Вып. 6. М., 2016. С. 353-385.

широкомасштабная образовательная программа, экспериментальная по своему характеру, целью которой являлось накопление систематических знаний, необходимых как для проведения военных операций, так и для принятия политических решений[166]. В основе задуманного предприятия лежал цивилизационный подход с его убежденностью в уникальности той или иной страны, понять которую можно только соединенными усилиями социальных и гуманитарных наук. Предполагалось создать все условия для осуществления совместной мозговой атаки экспертов, кабинетных ученых и разведки, проводимой на самом современном научном уровне и направленной на решение какой-либо прикладной проблемы. Присущее славистике внимание к литературе и языку сменилось преобладанием интереса к истории и политике, что привело фактически к рождению новой дисциплины Russian studies – «русских исследований», постепенно включившей в себя ряд других субдисциплин (Soviet studies, Sovietology, Kremlinology и др.).

Становление научной инфраструктуры русских исследований происходило в сложных условиях второй половины 1940-х годов, когда шло болезненное и чреватое конфликтами разделение мира на два полюса, вылившееся в итоге в геополитическое и идеологическое противостояние СССР и США. В результате задуманные как формы взаимодействия с союзником новые научные центры вынуждены были переориентироваться на «изучение врага», однако произошло это не в одночасье и довольно специфическим образом.

---

[166] Такой подход вполне согласовался с бытовавшими еще в межвоенный период представлениями о том, что значение разведки и специалистов-консультантов в принятии политических решений неуклонно возрастает: Encyclopaedia of the Social Sciences / Ed. E.R.A. Seligman, A. Johnson. N. Y., 1930. P. 226.

История становления региональных исследований в целом и русских исследований в частности хорошо изучена[167]. В работах отечественных и зарубежных исследователей показано, что во второй половине 1940-х годов в массовом порядке на базе уже существовавших в университетах славистических структур и параллельно с ними стали открываться крупные научные центры. В итоге к 1948 г. уже в 140 университетах и колледжах преподавали русский язык и литературу[168]. В 1946 г. открывается Русский институт в Колумбийском университете (позднее Гарримановский ин-т), а в 1948 г. – Русский исследовательский центр в Гарварде, которые послужили образцами для организации и разработки образовательных и исследовательских программ в области русистики в других американских университетах. Университеты Западного побережья – Стэнфорд, Беркли, ун-т штата Вашингтон в Сиэттле – также имели серьезную базу для изучения России, хотя главным образом были ориентированы на исследование ее восточных регионов и Русской Америки.

В 1948 г. было создано научное общество, объединяющее и координирующее действия американских славистов – «Американская Ассоциация содействия славянским исследованиям» (American Association for Advancement Slavic Studies – AAASS). Большую финансовую поддержку славянским исследованиям в США, наряду с Конгрессом США, оказывали неправительственные организации, в том числе фонды Форда, Рокфеллера, корпорация Карнеги и т.д. В то же время, для преодоления информационного вакуума предпринимались меры для пополнения источниковой базы библиотек США, в рамках программы Американского совета ученых

---

[167] См.: *Петров Е.В.* История американского россиеведения …; *Filipowicz M.* Emigranci i jankesi: O amerikanskich historykach Rosji. Lublin, 2007; *Engerman D.* Know your enemy…; и др.

[168] *Engerman D.* The ironies of the iron curtain. The Cold War and the rise of Russian studies in the United States // Cahiers du monde russe. 2004. Vol. 45. N 3-4. P. 474.

обществ был осуществлен перевод на английский язык многих работ советских и русских дореволюционных авторов[169].

Как считает Д. Энгерман, написавший подробную историю послевоенной советологии, успех этого предприятия во многом зависел от необыкновенно удачного стечения обстоятельств. Главное, пожалуй, заключается в том, что, наряду с потребностью новой сверхдержавы в профессионально подготовленных кадрах для осуществления своих геополитических целей, в американском обществе также возникает запрос на знание об окружающем мире. Появилось не только осознание необходимости контактов с другими странами, но и жгучий интерес к самым необычным и экзотическим культурам. Советский Союз также относился к разряду необычных и, конечно, совершенно неизвестных стран[170]. В соответствии с духом времени широко понимался и национальный интерес: считалось, что для принятия политических решений необходима научная основа, под которой подразумевалось фундаментальное знание языка, истории и культуры страны. В этом контексте вполне понятен и послевоенный университетский бум, когда бывшие фронтовики получали специальную финансовую помощь для обучения в университетах и колледжах. Те из них, кто уже изучал русский язык в армии, получили возможность продолжить свое образование.

Второе важное обстоятельство – тот факт, что в годы войны в разведку пошли ученые – специалисты в области гуманитарных и социальных наук. В качестве экспертов они получали опыт работы в команде с представителями армии, сотрудниками спецслужб и правительственными чиновниками, при

---

[169] *Curtiss J.* History // American research on Russia / Ed. by H. Fisher. Bloomington, 1959. P. 27.

[170] О необходимости создания обширного корпуса знаний о других странах и народах, преодолении «печально известного провинциализма» американской публики писалось в отчетах и докладах Совета по социальным следованиям (SSRC) в 1943–1947 гг. Подробнее см.: *Wallerstein I.* The unintended consequences of Cold war area studies // The Cold war and the university: toward an intellectual history of the postwar years. N.Y., 1997. P. 195–203.

этом их мнение считалось решающим. СССР был для них союзником в борьбе с фашизмом, и они вместе работали на победу. Так что если вернуться в 1940-е годы, сняв наслоения последующих лет, то вырисовывается картина подлинного энтузиазма и творческой свободы. Тогда еще американские ученые пребывали в «состоянии невинности» относительно вмешательства государственных структур и вообще «политики» в «науку». Призванные «служить Марсу и Минерве» (национальной безопасности и науке), по удачному выражению Д. Энгермана, Russian studies должны были помочь взаимодействию с таким непростым союзником, как СССР[171]. Конечно, реалии послевоенного мира и начало холодной войны внесли значительные коррективы в первоначальные замыслы, добавив в них серьезный конфронтационный элемент. И все же «интеллектуальная мобилизация» 1940-х годов оказалась более чем успешной, заложив фундамент для последующих глубоких исследований Советского Союза и стран Восточного блока.

Наконец, третий компонент – колоссальная финансовая помощь не только государства, но и неправительственных организаций (корпорации Карнеги, фондов Форда и Рокфеллера и др.). Причем спонсоры вкладывали деньги в проекты, не имевшие прямого отношения к политическим задачам, прекрасно отдавая себе отчет, что приблизительно 75% участников программ – даже не социологи, политологи или антропологи, а историки и филологи. Именно сочетание «широких интересов и глубоких карманов» дало возможность, с одной стороны, построить мощную инфраструктуру, включавшую в себя не только университетские Центры по изучению СССР и стран Восточной Европы, но и библиотечные ресурсы, архивы, издание научных журналов (первоначально Russian review и Slavic review, а затем и многих других). С другой стороны – позволило преодолеть узость

[171] *Engerman D.* Know your enemy… P. 1-3.

утилитарного подхода к «изучению врага» и создать новую область знания, в интеллектуальном отношении оказавшуюся на высоком, мировом уровне[172].

Russian studies внесли большой вклад в социологию и политологию, сравнительное языкознание и литературоведение, не говоря уже об экономике и исторической науке. С самого начала под эгидой региональных центров по изучению СССР и стран Восточной Европы работали (или сотрудничали с ними) видные ученые – Г. Маркузе, Т. Парсонс, Б. Мур, А. Гершенкрон, Р. Якобсон, Р. Уэллек, И. Берлин, Г. Вернадский и др. Они подготовили целую армию исследователей, большую часть из которых составляли гуманитарии – специалисты по русскому языку, истории и культуре.

Первые десять лет были отмечены бурным и неуклонным ростом новой дисциплины, которая начала укореняться и в Европе, в особенности в ФРГ, где центры по исследованию СССР и Восточной Европы выполняли функцию форпоста в идеологическом противостоянии с ГДР. К уже имевшимся кафедрам в Берлине, Вене и Гамбурге добавились еще восемь, а к 1971 г. еще 11, включая первую кафедру по восточноевропейской истории в Швейцарии (в Цюрихе). По мнению А. Каппелера, темпы роста русских/советских исследований в Германии были сопоставимы только с США[173].

В Великобритании заметный рост Russian studies начался гораздо позже и совпал со вторым рывком в развитии региональных исследований, толчком для которого послужил запуск первого советского спутника в 1957 г. Только в начале 1960-х годов к Лондонской Школе славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East European Studies) и к нескольким уже существующим центрам (в Оксфорде, в Глазго) добавились новые. Однако это была уже иная эпоха, когда региональные

[172] Ibid. С. 336–338.
[173] *Kappeler A.* Between science and politics. P.45-46.

исследования начали испытывать значительные трудности как внутренние, так и внешние.

Для первых же десяти лет существования американских региональных исследований России и СССР было характерно плодотворное развитие: вслед за Русским институтом в Колумбийском университете и Русским исследовательским центром в Гарварде организовывались новые центры, их выпускники защищали диссертации, готовили публикации монографий и тематических сборников, проводили конференции. Какое-то время, отмечает Д. Энгерман, удавалось поддерживать ожидаемую междисциплинарность, однако уже через несколько лет началось неизбежное расхождение исследователей по разным дисциплинам[174]. Сосуществование с военными, финансировавшими решение задач национальной безопасности, также пока было достаточно мирным и приносило парадоксальные с точки зрения политического истеблишмента результаты. Так, проведенный по заказу ВВС США знаменитый Гарвардский проект, в ходе которого были проинтервьюированы тысячи бывших советских граждан, дал богатейшие материалы для социологических исследований и внес первые сомнения в правомерность применения теории тоталитаризма к изучению СССР[175].

С самого начала Russian studies строились на сочетании социальных и гуманитарных наук. В магистерские программы центров было включено обязательное изучение (на выбор) не менее пяти дисциплин, в том числе истории, литературы, социологии, экономики, политической науки и антропологии. Таким образом, комплексным изучением Советского Союза занимались не только историки, но и экономисты, социологи, политологи, лингвисты, антропологи. В их задачу входил не только анализ политики СССР, но исследование страны в целом: народа и его прошлого, экономики и социальной структуры, языка и литературы, властителей и идей. Как пишет

[174] *Engerman D.* Know your enemy… P.8.
[175] См., в частности: *Кодин Е.В.* «Гарвардский проект». М.: РОССПЭН, 2003.

Ф. Мозли, функция региональных исследований СССР и стран Восточного блока ничем не отличалась от задач и функций центров по изучению Китая, Японии, мусульманского мира и т.д.[176].

По словам Д. Энгермана, создание региональных исследований явилось ответом на кризис – сначала военный, а затем послевоенный, и представляло собой «интеллектуальную мобилизацию»[177]. Довольно быстро эта «мобилизация» стала служить противостоянию советской угрозе, и русские исследования как научная дисциплина обретают особый статус, что сказывалось в первую очередь на объемах финансирования. Кроме того, был расширен региональный охват: с учетом активной внешней политики СССР предметом пристального внимания стали и страны так называемого «советского блока».

Резкое увеличение ассигнований, наряду с серьезной основой, заложенной в довоенный период, способствовали быстрому, по сравнению с другими, развитию русских региональных исследований в США[178]. Правда, как показали современные исследователи, не совсем в том направлении, какого желали представители американского истеблишмента. Изучение языка, истории и культуры России и народов СССР явно преобладало над экономикой и политикой[179].

Самое большое количество специалистов по «русской» тематике в 1940–50-е годы выпускал основанный в Колумбийском университете в 1945 г. по инициативе и под руководством профессора Джеройда Робинсона Русский институт. За первые десять лет курс обучения прошли почти 300 человек, было защищено 36 докторских диссертаций. 65% от всех

---

[176] *Mosely Ph.E.* The growth of Russian studies // American research on Russia / Ed. by H. Fisher. Bloomington, Indiana University Press, 1959. P. 10.

[177] *Engerman D.* Know your enemy. P.3.

[178] *Mosely Ph.* The growth of Russian studies. P. 20–21.

[179] См.: *Engerman D.* The ironies of the iron curtain. Немаловажную роль играло то обстоятельство, что подготовка по политике и экономике была достаточно поверхностной и не давала выпускникам формальной возможности занимать профессорские должности по этим специальностям (сообщено Т. Эммонсом).

полученных за эти годы в пяти крупнейших американских университетах магистерских степеней в области русистики также приходятся на Коламбию. По данным Р. Бернса, на октябрь 1952 г. 55 выпускников программы находились на правительственной службе, 13 принимали участие в финансируемых правительством исследовательских программах, 46 преподавали в университетах и колледжах[180]. Важен был и качественный состав выпускников: Русский институт окончили такие известные историки, как С. Бэрон, Р. Бернс, С. Блэк, Т. фон Лауэ, политологи А. Даллин и М. Шульман, А. Кучеров, Т. Хеммонд и др. [181].

И все же институт был в основном ориентирован на подготовку высококлассных специалистов по Советскому Союзу, а не исследователей-историков. Дж. Робинсон, возглавлявший в годы войны советскую секцию в Аналитическом отделе Управления стратегических служб (предшественнике ЦРУ), считал, что институт должен готовить не только преподавателей и научных работников, но и правительственных чиновников. В центре его концепции нового образовательного центра находился принцип независимости и объективности. Он полагал, что главная цель института – подготовка специалистов, которые смогут обеспечить страну и ее правительство высококачественной и непредвзятой информацией об СССР и тем, что сегодня называется «независимой экспертизой». Ему удалось собрать прекрасную команду преподавателей, отличавшуюся невероятной преданностью делу, любовью к изучаемой стране и стремлением сохранить беспристрастность. Это условие было настолько важным для Робинсона, что он отклонил кандидатуру работавшего на факультете русского историка-

[180] См. *Byrnes R.F.* Geroid T. Robinson: Founder of Columbia University's Russian Institute // Byrnes R.F. A history of Russian and East European studies in the United States. N.Y.-–L., 1994. P.214-215.

[181] См. их труды по истории России: *Baron S.* Plekhanov, the father of Russian Marxism. Stanford, 1963; *Black C.E.* The dynamics of modernization: a study in comparative history. N.Y., 1966; *Byrnes R.* Pobedonostsev, his life and thought. Bloomington, 1968; *Laue Th.H. von*. Sergei Witte and the industrialization of Russia. N.Y., 1963; *Id.* Why Lenin? Why Stalin? A reappraisal of the Russian revolution, 1900-1930. Philadelphia, 1964.

эмигранта М. Флоринского, поскольку у того на глазах большевики убили родителей. Подобный опыт, считал Робинсон, исключал необходимую для потенциального преподавателя объективность[182]. Он постоянно отстаивал независимость института от университетских властей и от правительства и независимость науки от политики. Как вспоминает С. Бэрон, в годы его учебы в Русском институте в 1946-48 гг. профессор Робинсон неоднократно призывал «не смешивать науку и политику», и это «обманчиво простое утверждение» в тот момент не подвергалось сомнению, однако с годами повседневная преподавательская и исследовательская практика то и дело ставили его под вопрос[183].

Американские историки-русисты неоднократно признавали, что ситуация холодной войны прямо или опосредованно, но всегда достаточно серьезно влияла на их исследования. И дело было отнюдь не только в давлении сверху или в неблагоприятной общественной атмосфере эпохи маккартизма[184]. К сожалению, до сегодняшнего дня суть воздействия холодной войны на исследователя часто понимается упрощенно, как добровольное или вынужденное негативное отношение к СССР, хотя опубликовано уже большое количество материалов, позволяющих выделить более глубинные и фундаментальные факторы, включая особенности мировосприятия[185]. Приходит понимание, что проблема взаимоотношений исторической науки и политики слишком сложна, чтобы решать ее предложенным Робинсоном способом: уйти от идеологических сражений современности, не демонстрировать студентам своих политических

---

[182] *Byrnes R.F.* Geroid T. Robinson. P.207.

[183] См.: *Baron S.* Recollections of a life in Russian history // Russian history. 1990. Vol.17. N 1. P.47–48.

[184] См.: *Болховитинов Н.Н.* Русские ученые-эмигранты (Г.В. Вернадский, М.М. Карпович, М.Т. Флоринский) и становление русистики в США. М., 2005.

[185] О воздействии холодной войны на университеты и научное сообщество в целом см. сборники издательства «Нью Пресс», включающие в себя воспоминания таких ученых, как Ноам Хомский, Иммануил Валлерстайн и др., а также публикации в журнале «Russian history/Histoire russe» за 1988-1990 гг.

убеждений и в своих исследованиях просто следовать за «объективными» фактами. И если выпускники Русского института, как свидетельствует Р. Бернс, оставались в неведении относительно политических взглядов Робинсона, в самой его позиции уже присутствовала определенная «идеология», которая не могла не влиять на понимание и интерпретацию «фактов». Декларированный отказ учитывать влияние «духа времени» и присущих ему идеологических понятий и пристрастий никоим образом не отменял это влияние. Более того, статьи и выступления самого Робинсона послевоенных лет никак не являются свидетельствами его политической «нейтральности», а напротив, демонстрируют его явно консервативную позицию[186].

Краткие интеллектуальные биографии двух выпускников Русского института конца 1940-х годов – Роберта Бернса и Самюэла Бэрона – дают некоторое представление о проблеме влияния холодной войны на американских историков-русистов и предлагают определенный ракурс для ее изучения.

Интересна и показательна в этом отношении биография Роберта Бернса, выходца из маленького провинциального городка в штате Нью-Йорк, типично «англосаксонского» по своему духу. Он пришел в Русский институт в 1948 г. в возрасте 30 лет после защиты диссертации по истории Франции в Гарвардском университете, двух с половиной лет службы в разведке в годы войны и трех лет преподавательской работы. Как вспоминал он сам, Джеройд Робинсон, обеспокоенный явной нехваткой специалистов, «выбил» стипендии для ученых, уже сделавших карьеру в других областях, но заинтересованных в том, чтобы углубить свои знания в русистике.

Вместе с Р. Бернсом в рамках этой программы занимались Сирил Блэк, Оливер Рэдки и др. ученые, получившие впоследствии широкую

[186] См.: *Robinson G.T.* The ideological combat // Foreign affairs. 1948-1949. N 27. P. 529–539.

известность[187]. Однако почти сразу же по окончании института Бернс получил приглашение от своего бывшего учителя по Гарварду У. Лангера (ученика Кулиджа) войти в штат Управления национальных разведывательных оценок (Office of National Estimates, ONE) в недавно созданном ЦРУ. Три года, проведенные в этом аналитическом учреждении, напоминавшем тогда своей интеллектуальной атмосферой свободных дискуссий первоклассный университет, дали Бернсу колоссальный опыт и знания, в том числе, как сам он считает, понимание важности объективного и неполитизированного подхода к изучению самых щекотливых проблем. В то же время ему пришлось заплатить за этот опыт довольно высокую цену. Когда он вернулся в академическую среду, многие коллеги, особенно после 1968 г., всячески порицали его. Интересно, что, несмотря на свой статус «явного» шпиона, Бернсу удалось побывать в СССР 16 раз, работать в архивах и готовить исследования на общих для всех иностранцев основаниях. Результатом его исследований стала фундаментальная биография К.П. Победоносцева[188]. Кроме того, Бернс активно публиковался по проблемам образования, в основном в сфере преподавания истории России и СССР[189]. Он полностью солидарен с позицией своего учителя Робинсона в том, что касается сохранения беспристрастности и объективности в своих оценках и исследованиях, однако деятельность Р. Бернса в области организации научных обменов с СССР продемонстрировала его консервативные убеждения. Он был сторонником жесточайшего контроля за частной жизнью студентов-стажеров и спровоцировал ряд тяжелых конфликтов[190].

---

[187] *Byrnes R.F.* Harvard, Columbia, and the CIA: My training in Russian studies // Russian history/ Histoire russe. Irvine, 1988. Vol.15, N 1. P. 103.
[188] См.: *Byrnes R.F.* Pobedonostsev. His life and thought. 1968.
[189] *Byrnes R.F.* A history of Russian and East European studies in the United States. Selected essays. N.Y.-L., 1994.
[190] *Рибер А*. Изучение истории России в США. С.99; *Engerman* D. Know your enemy. P. 90.

Для Бернса характерно почти ностальгическое отношение к послевоенным временам, когда, как он считает, политически не ангажированное научное сообщество не было заражено антикоммунизмом и изначально доброжелательно относилось к СССР. Он с грустью констатирует, что подготовленное Робинсоном и его коллегами новое поколение исследователей оказалось активно вовлеченным в политику, а их ученики, в свою очередь, еще усилили эту тенденцию, что основательно ослабило русские исследования в Америке[191].

С. Бэрон в своем выборе России как страны специализации руководствовался, по его оценкам, «квазиполитическими» мотивами. Он думал, что его преподавательская и исследовательская деятельность помогут лучше понять СССР и внесут свой вклад в постепенное разрешение конфликта между двумя странами[192]. Первые же годы обучения в Русском институте показали, что китайской стены между политикой и наукой быть не может. Бэрон перечисляет некоторые эпизоды своей учебной и научной карьеры, которые убедили его в этом. С первым в своей биографии «тайным агентом» он столкнулся не в Москве, а в Нью-Йорке, а затем, после собеседования в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (которая ничего прокоммунистического в его ответах не обнаружила), подвергся клеветническим нападкам в прессе со стороны одного сенатора. Обвинения сводились к тому, что русский по рождению – а на самом деле еврей из Нью-Йорка – коммунист Бэрон учит в ун-те Теннесси «коммунизму» по «русскому учебнику» и разлагает молодежь. Дело было громкое, муссировалось в течение нескольких недель в газетах, и в те времена у Бэрона были все основания опасаться за свою карьеру. Тем не менее, в его защиту выступили и коллеги, и пресса. Оказанная ему сердечная поддержка в совокупности с поражением сенатора на выборах убедили его,

[191] *Byrnes R.F.* Harvard, Columbia and the CIA. P.112.
[192] *Baron S.* Recollections of a life in Russian history. P.46.

что «честная игра и справедливость все еще живы в этой стране, хотя и не процветают». Карьера в итоге не пострадала, и в течение многих лет Бэрон «наслаждался свободой» в Гриннел колледже, в полной мере оценив достоинства частного высшего образования. Он был активистом Американской ассоциации университетской профессуры, выступая за сохранение и неприкосновенность академических свобод, участвовал в движении за гражданские права негров и против войны во Вьетнаме. В начале 1960-х он выпустил свою книгу о Плеханове[193], а затем изменил специализацию и занялся изучением записок иностранных путешественников о Московии XVI–XVII вв.[194] В 1970-е годы в центре его внимания оказались новые тенденции и дискуссии в советской историографии[195], а затем – биография и субъективное измерение историописания.

Свое мировоззрение Бэрон характеризует как сочетание консервативных, либеральных и социалистических элементов «с примесью экзистенциализма»[196]. Признавая достижения Маркса, он все же сомневался и сомневается в пригодности его системы, как, впрочем, и любой другой научной системы, претендующей на всеохватность. Что касается декларированной Робинсоном аполитичности ученого и преподавателя, то опыт 1960-х годов дал Бэрону множество примеров невозможности оставаться в стороне от политики, однако убедил его в необходимости предохранять науку от искажений, вызываемых политическими предпочтениями историка. В общении со студентами преподаватель вправе высказывать свои взгляды, но должен отдавать себе отчет и доносить до сознания студентов тот факт, что это только его собственное мнение. Он

---

[193] *Baron S.* Plekhanov: The father of Russian Marxism.
[194] *Baron S.H.* Muscovite Russia: Collected Essays. L., 1980; *Id.* Explorations in Muscovite history. Hampshire, 1991.
[195] Windows on the Russian past: Essays on Soviet historiography since Stalin / Ed. by Baron S.H., Heer N.W. Columbus, 1977.
[196] *Baron S.* Recollections of a life in Russian history. P.48-49.

обязан рассматривать все конфликтующие трактовки и точки зрения и не позволять классной комнате превращаться в место для пропаганды[197].

Различия в мировоззрении и служебной карьере двух историков поразительны. Оба достигли положения в своей профессии, однако Р. Бернс предпочтение отдавал административным занятиям в области организации обучения и научных обменов, а С. Бэрон получал наибольшее удовольствие от пребывания в частном учебном заведении. Один декларативно сторонился политики, не углубляясь в рефлексию по поводу своих взглядов и вытесняя из сознания любые намеки на идеологию, другой активно участвовал в движении за гражданские права, одновременно препарируя свое мировоззрение и пытаясь найти равновесие между политикой и наукой. Даже «герои» их диссертаций, впоследствии выпущенных в виде монографических исследований, отражают индивидуальные различия: эталон консервативности Победоносцев и один из наиболее «либеральных» социал-демократов Плеханов. Но, пожалуй, еще поразительнее то, что эти различия не бросаются в глаза при чтении их работ, в основе которых лежали более общие представления об историческом развитии России, помноженные на профессионализм исследователей.

Оба историка с теплом вспоминают свою учебу в Русском (Гарримановском) институте и признают его роль в подготовке русистов в США. И все же Русский институт не мог соперничать с Гарвардом, выпустившим в первые годы целое созвездие специалистов, которые вскоре заняли ведущие позиции в американской русистике. Причину этого отставания академик Н.Н. Болховитинов видит, как представляется, совершенно справедливо, в «субъективном факторе» – в данном случае в личных качествах профессора Робинсона, который как руководитель был требователен до абсурда, причем его требования обычно сводились лишь к формальной стороне работы и часто оказывались мелочными придирками

[197] Ibid. P.53.

редакторского свойства. Но главное, что Робинсон не помогал своим студентам по существу – не направлял их поиски, не ставил перед ними вопросов, которые могли бы стимулировать их исследования, не предлагал альтернативных подходов. Да и темы, которые он давал своим студентам, не сулили интересных перспектив: «Взгляды Ленина на профсоюзы» или «Взгляды Зиновьева на мировую революцию»[198]. Как замечает С.Бэрон, «только один человек – Джон Кертисс – завершил докторскую диссертацию под руководством Робинсона, но преждевременно поседел»[199]. Тем не менее, в том, что многие серьезные и талантливые молодые люди предпочитали Гарвард, играли роль и другие обстоятельства, некоторые чисто практического свойства. В Колумбийском университете учебная программа аспирантуры занимала только два года, и аспиранты просто не успевали защитить диссертацию[200]. Ориентированный на подготовку специалистов для нужд правительства Русский институт выпускал главным образом магистров, почти половина из которых начали работать в правительственных структурах, включая Госдепартамент, ЦРУ, военную разведку или же направлялись в такие организации, как радиостанция «Голос Америки»[201].

В Русском институте, как подчеркнул в своей вступительной речи при его открытии Робинсон, исповедовалась «исключительная уникальность» Советского Союза. В своих лекциях Робинсон развивал тему противоположности России и Запада, противопоставляя русский мистицизм и коллективизм западному рационализму и индивидуализму. А «византийско-азиатское» наследие российского самодержавия,

---

[198] *Baron S.* A tale of two inquiries // Adventures in Russian historical research. Reminiscences of America scholars from the Cold War to the present / Ed. by Baron S.H., Frierson C. Armonk, N.Y.; L.: M.E.Sharpe, 2003. P. 21.

[199] *Baron S.* Recollections of a life in Russian history. P.35. Диссертацию Джон Кертисс защитил еще до войны, и в 1940 г. получил премию за свою работу «Церковь и государство в России. 1900-1917 гг.». В 1953 г. он издал монографию по более позднему периоду: «Russian Church and the Soviet state, 1917–1950».

[200] *Болховитинов Н.Н.* Ук.соч. С.93.

[201] *Engerman D.* Know your enemy. P. 35.

противопоставляемого западной демократии, являлось, по его мнению, ключом к пониманию советской идеологии и советской ментальности[202]. В Гарварде, с его упором на общественные науки, напротив, практиковался широкий универсальный подход к изучению России. Кроме того, там сложился сильный преподавательский коллектив, в котором заметное место занимали русские эмигранты, в частности, курс русской истории начал читать М.М. Карпович. В отличие от придирчивого и тяжелого в общении Робинсона, он увлекал студентов своими лекциями, был терпим к чужим взглядам, любил общаться в неофициальной обстановке и пристально следил не только за подготовкой диссертаций и публикаций, но и за трудоустройством своих учеников[203]. Во многом именно благодаря педагогическому таланту Карповича Гарвард стал главным центром по подготовке историков-русистов высшей квалификации. В семинарах Карповича в 1946–1948 гг. занимались около 20 человек, из которых в основном и составилось первое поколение американских историков России. В сборнике, выпущенном в 1957 г. в честь Карповича, приняли участие 27 его учеников, которые к тому времени уже стали ведущими специалистами[204].

В то время как Карпович был главной движущей силой в подготовке школы американских историков-русистов в послевоенные годы, Вернадский, не имея большого количества учеников, тем более звезд первой величины, являлся, по признанию американских историков, «мировым лидером в своей специальности». Своими многочисленными научными трудами по истории России[205] он сформировал ту научную базу, на которой развивалась

---

[202] *Baron S.* Recollections of a life in Russian history... P.32.
[203] *Baron S.* ibid. P.36; *Mosely Ph.* Professor Michael Karpovich // Russian thought and politics / Ed. by McLean H. et. al. Cambridge, 1957. P. 1-13.
[204] Continuity and change in Russian and Soviet thought / Ed.by Simmons E.J. Cambridge (Mass.), 1955.
[205] *Vernadsky G.V.* A history of Russia. Vol.1-5. New Haven, 1943-1969; idem. The origins of Russia. N.Y., 1959; и др.

англоязычная русистика. Большой вклад в становление этой области исследования внес и М.Т. Флоринский. Почти 20 лет писал он двухтомную историю России, которая до сих пор многими признается лучшим учебником для англоязычных студентов[206].

В условиях, когда американская русистика начала бурно развиваться, не имея ни прямого доступа к объекту изучения, поскольку контакты с СССР были крайне затруднены, ни опоры на труды современных историков, деятельность русских эмигрантов, многие из которых были очевидцами и участниками исторических событий, приобретала огромное значение. Совершенно понятно, что при изучении истории дореволюционной России американские ученые не многое могли взять из историографической схемы, созданной в советской исторической науке. И хотя американские русисты по преимуществу доброжелательно относились к советской историографии, подходили они к ней с утилитарной точки зрения, используя богатый фактический материал и стараясь не видеть марксистских концепций и цитат из «классиков».

Как заметил М. Малиа, советская историография представляла собой любопытный феномен: чем дальше вглубь веков, тем выше было качество исследований. Что касается XIX в., то здесь уже господствовали официально одобренные и предписанные клише, как, например, «дворянский революционер» Герцен или «революционный демократ» Чернышевский с соответствующими их оценками. А как только на сцене появляется Ленин и партия большевиков, писал Малиа, мы оказываемся в «царстве сакральной истории». Начиная с этого момента, история России в интерпретации советской историографии представляла собой «победный марш революционных рабочих и крестьян (с ленинской партией во главе) к Великой Октябрьской революции и построению социализма». А поскольку интерес американских историков все же сосредоточивался именно на

[206] *Florinsky M.T.* Russia. A history and interpretation. 2 vols. N.Y., 1953.

периоде XIX – начала XX в., где «советский канон был особенно жестким и бесплодным», в своих исследованиях они предпочитали опираться на богатое историографическое наследие Российской империи, в первую очередь на достижения «школы Ключевского»[207], не пренебрегая, однако же, и советскими работами.

В этой ситуации эмигранты оказались посредниками между русской историографической традицией XIX – начала XX в. и новой американской историографией России. Это были не только преподававшие в университетах историки, но и лингвист Роман Якобсон, экономист Александр Гершенкрон, публицисты Борис Николаевский и Николай Вольский, и многие другие, неформальное общение с которыми закладывало основы подхода к изучаемому предмету. По свидетельству М. Малиа, главное, что передавалось, это отношение к России и ее истории, которое представляло собой «смесь интеллектуальной трезвости с культурной симпатией». Россия легко могла показаться экзотической или варварской страной, и в то время как общественное мнение в США считало ее извечным оплотом «восточного деспотизма», русские эмигранты представляли различия между Россией и Западом отличиями «в степени, но не в качестве», как любил повторять Карпович[208], и российское самодержавие считали одной из разновидностей европейской монархии.

Надо заметить, что преподаванием в американских университетах занимались русские историки-эмигранты главным образом так называемого «младшего поколения», не принадлежавшие, по мнению Марка Раева, к Русскому Зарубежью, поскольку получали образование уже за границей и в итоге интегрировались в американское научное сообщество[209]. Однако сходства между двумя поколениями сохранялись, в том числе

---

[207] *Malia M.* Clio in Tauris: American historiography on Russia // Imagined histories. Princeton, 1998. P. 419–420.
[208] Ibid. P. 422.
[209] *Раев М.* Россия за рубежом. С. 221.

мировоззренческие: как и старшее поколение русских историков-эмигрантов, по своим убеждениям они были сторонниками идей Просвещения о прогрессе и правах человека, придерживаясь умеренно либеральных взглядов, и активно не принимали марксизм во всех его проявлениях.

Конечно, взгляды, идеи и подходы, представленные в общих курсах и трудах русских историков-эмигрантов в США, оказывали большое интеллектуальное воздействие на молодую американскую русистику. Однако в послевоенные годы большее значение имели все же личные контакты. Карпович, например, написал довольно мало, но будучи прекрасным лектором, заражал своим вдохновением и слушателей. В Гарварде он читал общий курс по русской истории, спецкурсы по средневековой и новой истории России, но главную ценность представлял его знаменитый курс по интеллектуальной истории России XIX века. Опубликовать его Карпович так и не успел, в 1958 г., незадолго до его смерти, вышла лишь небольшая часть[210]. Любимым периодом русской истории для Карповича было царствование Александра I, отмеченное высоким развитием культуры. Это было время не только Аракчеева, но и Сперанского и декабристов, время расцвета пушкинского таланта. По свидетельству одного из самых близких его учеников, Мартина Малиа, он постоянно указывал, что старый режим был «плюралистичен», и в русском обществе существовали различные социальные и интеллектуальные течения, в том числе два основных – «славянофилов» и «западников», причем сам Карпович явно симпатизировал последним. Он постоянно «подчеркивал более либеральные элементы русского прошлого», оставляя в тени особенно одиозные факты, которые могли бы «обличать» царизм[211]. В то время как в эпоху холодной войны многие американские исследователи занимали как раз противоположную позицию, искали корни «коммунистической угрозы» и сталинизма в

[210] *Karpovich M.M.* Lecture on Russian history. The Hague, 1958.
[211] Michael Karpovich, 1888–1959 / Ph.E. Mosely, M.E. Malia, W.H. Chamberlin, D. von Mohrenschildt // Russian review. 1960. Vol.19, N 1. P. 65-69.

деспотическом самодержавии и крепостничестве, проводили параллели не только между Сталиным и Иваном Грозным, но и между теорией «Москва – Третий Рим» и III Интернационалом, Карпович был «чужд таким примитивным аналогиям»[212]. Особое значение для него имела проблема преемственности и разрыва в вопросе о русской революции: Карпович был убежден, что революция представляла собой глубинный «разрыв» в процессе интеграции России в общеевропейскую цивилизацию, в то время как общей тенденцией в американских общественных науках послевоенного времени было подчеркивание «преемственности» между царской и советской Россией. Возможно, это было одной из причин, почему Карпович настаивал на том, чтобы его ученик и единомышленник М. Малиа получил профессорскую должность в Гарварде. Однако победил его идейный антагонист (и также ученик) Ричард Пайпс, а Малиа отправился преподавать в Беркли[213].

Не только лекторский дар Карповича, но и его педагогический талант, редкая благожелательность к своим студентам привели к тому, что в Гарварде, по замечанию многих историков, у него сложилась «совершенно исключительная» группа учеников, которая затем «в течение нескольких десятилетий контролировала изучение русской истории» в США[214]. Среди них были Ч. Адлер, М. Малиа, А. Мендел, С. Монас, Р. Пайпс, М. Раев, Х. Роггер, Н. Рязановский, Д. Тредголд, Л. Хеймсон и многие другие. Карпович, несмотря на всю свою занятость (он был неофициальным главой русской общины на Восточном побережье, а также редактором «Нового журнала»), много времени уделял своим ученикам, вел с ними постоянную переписку и после защиты диссертации внимательно следил за их делами и

---

[212] Ibid. P.68.

[213] *Pipes R.* Vixi. Memoirs of a non-belonger. New Haven, 2003. P. 82.

[214] Об этом неоднократно упоминается в интервью американских историков, которые хранятся в архиве Гуверовского института. Их изучал Н.Н.Болховитинов, см.: *Болховитинов Н.Н.* Ук. соч. С. 89, 95.

трудоустройством. Они заняли кафедры в престижных университетах: в Гарварде – Р. Пайпс, в Колумбийском университете – М. Раев и Л. Хеймсон, в Беркли – Н. Рязановский и М. Малиа, в Сиэтле – Д. Тредголд.

Надо сказать, что многие из будущих ведущих русистов выбрали Гарвард сознательно. Там предлагались более гибкие программы, чем в Йеле или Колумбии, с возможностью ездить в Европу, и нет ничего удивительного в том, что Н. Рязановский, сын видного историка-правоведа В. Рязановского, отдал предпочтение Гарварду. Его давний сосед и затем соученик по университету штата Орегон Д. Тредголд (где Рязановский давал ему начальные знания русского языка) также после службы в армии поступил в Гарвард[215]. Основательно подошел к выбору университета эмигрировавший с родителями в 1939 г. из оккупированной Польши Ричард Пайпс. Еще не демобилизовавшись, он решил поступать в аспирантуру и специализироваться по России. К этому времени он уже изучал русский язык и получил степень бакалавра в Корнельском университете. Он подал заявления в Гарвард, Колумбийский и Йельский университеты и был принят во все три. Коламбия отпала во-первых потому, что он не хотел жить в Нью-Йорке. А во-вторых, во время краткой беседы профессор Робинсон показался Пайпсу «сумасбродным педантом». Выяснилось также, что своим аспирантам он дает темы сам, касаются они исключительно революции и ничего не дают для понимания России: «Зиновьев и революция», «Бухарин и революция» и т.д. В пользу Йельского университета говорил тот факт, что там преподавал ведущий специалист по истории России Г.В. Вернадский. Однако с Вернадским встретиться не удалось, а сам университетский городок Нью-Хейвен неприятно поразил Пайпса обилием ателье для пошива одежды. В Кембридже, напротив, «было мало портных и бесконечные ряды книжных магазинов». Это обстоятельство перевесило. К тому же оказалось, что

[215] *Riasanovsky N.V.* Professor of Russian and European intellectual history. University of California, Berkeley, 1957–1997: oral history transcript. Manuscript. Univ. of California, 1998. P. 53. (Далее – Riasanovsky N.V. Oral history).

профессор Карпович – дружелюбный и внимательный человек, всегда готовый прийти на помощь[216].

В первые послевоенные десятилетия Гарвард, старейший университет Америки, созданный при поддержке бостонской элиты, достиг, по словам Пайпса, пика своей славы и блеска. Считалось, что он не имеет себе равных не только в Америке, но и во всем мире. И в этот «прекрасный сосуд» в 1946–1947 гг. влились тысячи демобилизованных, потенциальных студентов, жаждавших знаний так, как никто из предшествовавших поколений. Важным в данном случае было и то обстоятельство, что правительство приняло специальный закон о материальной поддержке ветеранов войны, так что новоиспеченным студентам можно было не беспокоиться о деньгах[217]. Предлагавшаяся Гарвардом академическая свобода реализовалась ими в полной мере, хотя имела и свою оборотную сторону. По свидетельству Д. Тредголда, «рецепт» Гарварда был прост: набрать лучших профессоров, не заботясь о том, как они работают; принять лучших студентов – и пусть они учат друг друга. Так и было, вспоминает Тредголд. Все они – Альфред Мейер, Мартин Малиа, Ричард Пайпс, Марк Раев, Леопольд Хеймсон, Николай Рязановский и еще десяток студентов, интересовавшихся Россией – учились друг у друга. Разговаривали, читали одни и те же книги, ходили на одни и те же лекции[218]. Характерно, что в блестящей группе, набранной Карповичем, царил удивительный разброс мнений, что, считает Рязановский, было необычным для американских университетов[219]. Атмосфера тех лет была пропитана уважением к интеллектуальным достижениям, вспоминал Ричард Пайпс. И хотя в Гарварде хватало «усталых» профессоров, многие из

---

[216] *Pipes R.* Vixi. P. 61.

[217] The Servicemen's Readjustment Act of 1944, который неформально называют «the G.I. Bill». Согласно этому закону, участникам войны предоставлялись различные материальные привилегии (ипотека по низким ставкам, займы для бизнеса, оплата обучения и стипендия и пр.).

[218] *Treadgold D.* When Russian studies were taking off // Russian history. 1988. Vol.15, N 1. P. 116.

[219] *Riasanovsky N.V.* Oral history. P. 59.

которых попали на факультет благодаря своим связям, тон задавали такие звезды, как Уильям Лангер, Крейн Бринтон, эмигрант из фашистской Италии Гаэтано Сальвемини, экономист Шумпетер, Шлезингеры – отец и сын.

В то время самым популярным факультетом был исторический, где царила «клубная» атмосфера, поскольку фактически все преподаватели защитились в Гарварде и были либо учителями, либо учениками друг друга. Гарвард в послевоенное время был поражен англофилией: Здесь культивировалась не только британская система наставничества, но и общий тон, и правила поведения. Посещавшие в 1940–50-е годы Гарвард выдающиеся британские ученые и писатели усиливали это впечатление[220]. Так, с чтением лекций по интеллектуальной истории России часто приезжал сэр Исайя Берлин. Во многом под его влиянием, в совокупности с влиянием Карповича возникла так называемая гарвардская школа истории общественной мысли, или «интеллектуальной истории», которая стала в 1950-е годы главным направлением исследований для американских историков-русистов[221]. Действительно, из 28 диссертаций, защищенных под руководством Карповича в 1946–1958 гг., 18 посвящены интеллектуальной истории. В Колумбийском университете за эти же годы по интеллектуальной истории было защищено 8 диссертаций из 21. Соотношение в Беркли и Йеле еще ниже – соответственно 10:1 и 9:1[222]. В то же время усиленный интерес к интеллектуальной истории объяснялся и положением дел в тогдашней американской историографии (и в литературоведческом течении «нового историзма»), отдававшей предпочтение изучению идей в противовес социально-экономическим проблемам[223]. Да и в отсутствие доступа к архивам работа с опубликованными источниками могла принести в данном случае хорошие плоды.

---

[220] Ibid. P. 64.
[221] *Болховитинов Н.Н.* Ук.соч. С. 96.
[222] *Emmons T.* Russia then and now… P. 1144.
[223] *Engerman D.* Know your enemy. P. 157.

Конечно, далеко не все ученики Карповича писали диссертации по проблемам интеллектуальной истории, однако все их исследования так или иначе были связаны с изучением «истоков» русской революции и советской системы. Вопрос о том, можно ли было избежать революции, являлся ключевым для эмигрантской историографии, и эстафету в его решении приняла молодая англоязычная русистика. В соответствии с представлениями того времени, идеология считалась решающим фактором в формировании внутренней и внешней политики России и СССР. Сущность самой революции и ее последствия также во многом определялись идеологией. Причем в изучении «интеллектуальных истоков» русской революции наблюдалось определенное разделение труда: если в Колумбийском университете под руководством Робинсона основное внимание уделялось большевистским лидерам, то в Гарварде занимались главным образом мировоззрением дореволюционной интеллигенции[224]. Здесь несомненно заметно влияние И. Берлина, который в своей известной статье о политических идеях XX в. усматривал корни двух величайших «зол» современности – коммунизма и фашизма – в европейских идеологических течениях XIX в., в том числе и в России[225].

Карпович был, по замечанию Рибера, «подлинно толерантным человеком», он никому не навязывал своих политических взглядов. Своим личным примером он задавал и изначально высокие стандарты исследовательской работы. В сочетании с общей атмосферой увлеченности изучением России это дало прекрасные результаты[226]. Уже в 1950-е годы его ученики выпускают первые книги на основе своих диссертаций[227]. У кого-то

---

[224] *Рибер А.* Ук. соч. С.81.

[225] *Berlin I.* Political ideas in the twentieth century // Foreign affairs. 1950. V. 28, N 3. P. 351-385.

[226] Как заметил А. Рибер, «даже Пайпс» написал тогда новаторское исследование по национальной политике Советского Союза. См.: *Рибер А.* Изучение… С. 101.

[227] *Haimson L.H.* The Russian Marxists and the origins of Bolshevism. Cambridge (Mass.), 1955; *Pipes R.* The formation of the Soviet Union. Cambridge, 1954; *Raeff M.* Siberia and the

подготовка монографии заняла больше времени, так что плоды их исследований увидели свет лишь в 1960-е годы[228].

Следует заметить, что в 1940–1950-е годы сообщество специалистов по истории России на Западе было невелико, дисциплинарные и географические границы – весьма проницаемыми, а практика научного обмена между США и Великобританией имела давнюю традицию. Кроме того, Великобритания продолжала сохранять статус интеллектуального первенства в изучении России. Ученики Карповича Н. Рязановский и Д. Тредголд, получив стипендию Родса, уехали в Оксфорд и там готовили свои работы, которые затем вышли в виде серьезных монографий. Н.Рязановский под руководством И. Берлина и Б.Х. Самнера исследовал проблему «Россия и Запад» в учении славянофилов, а затем занимался изучением теории официальной народности[229].

Молодым ученикам Карповича повезло с наставниками. Рано умерший Бенедикт Хамфри Самнер являлся в то время самым авторитетным историком-русистом в Великобритании и «одной из самых любимых и уважаемых личностей в Оксфорде»[230]. Его книга «Обзор русской истории», выдержавшая несколько изданий, привлекала как своей энциклопедичностью, так и оригинальностью изложения[231]. Каждая из семи

---

reforms of 1822. Seattle, 1956; *Rogger H.* National consciousness in eighteenth-century Russia. Cambridge, 1960; *Treadgold D.* Lenin and his rivals: the struggle for Russia's future, 1898-1906. N.Y., 1955.

[228] *Malia M.* Alexander Herzen and the birth of Russian socialism, 1812-1855. Cambridge, 1961; *Monas S.* The Third Section; police and society in Russia under Nicholas I. Cambridge, Mass., 1961; *Pipes R.* Karamzin's Memoir on ancient and modern Russia. Cambridge, Harvard University Press, 1959.

[229] *Riasanovsky N.V.* Nicholas I and official nationality in Russia, 1825-1855. Berkeley; L., 1959. И. Берлин руководил подготовкой диссертации еще одного стипендиата – Дж. Биллингтона. Позднее она была опубликована в виде монографии: Billington J.H. Mikhailovsky and Russian populism. Oxford, 1958.

[230] *Seton-Watson H.* Benedict Humphrey Sumner. 1893-1951 // The Slavonic and East European review. 1951. Vol. 30, No. 74. P. 260.

[231] *Sumner B.H.* Survey of Russian history. L., 1944, 1947. См. также фундаментальное исследование Восточного кризиса и российского общественного мнения: *Sumner B.H.* Russia and the Balkans, 1870-1880. Oxford, 1937.

глав была посвящена одной из действующих «сил», определивших судьбу русского народа (пограничье, т.е. фронтир, государство, земля, церковь, славянство, море и Запад), причем изложение идет вспять, от современности к прошлому. Таким оригинальным образом автор подчеркнул свою главную мысль: проследить преемственность в истории России, в том числе между советским периодом и предшествовавшими веками. Идея преемственности, выраженная Самнером с исключительной научной корректностью, к сожалению, была вскоре подхвачена и упрощена критиками СССР, низведена на уровень поверхностных аналогий, «объясняющих» суть советского режима вековым, извечным российским деспотизмом. Сам же Самнер подчеркнуто дистанцировался и от русской диаспоры, и от политических дебатов того времени, стремясь сохранить научную объективность и беспристрастность. Его талант педагога был, по общему мнению, непревзойденным, он с энтузиазмом тратил свое время и силы на всех, кто интересовался Россией, и, по словам Хью Сетон-Уотсона, «помог сформировать целое поколение историков в Оксфорде»[232].

Карпович, также постоянно уделявший своим ученикам пристальное внимание, вносил свои поправки в рукописи Рязановского. Интересны его замечания по поводу второй книги Рязановского. В них Карпович предостерегает автора от преувеличения роли теории официальной народности в интеллектуальной жизни николаевской России и в ее истории в целом. Он подчеркивает двойственность отношения лучших людей России, в первую очередь Пушкина, как к самой теории, так и к самодержавию вообще. По его мнению, наиболее верное определение позиции Пушкина дал Г.П. Федотов, назвав его «последним певцом империи и свободы»[233]. Карпович выступал в данном случае против характерной для тогдашней американской русистики тенденции к некоторому упрощенчеству и к

[232] *Seton-Watson H.* Benedict Humphrey Sumner… P. 262.
[233] Цит. по: *Болховитинов Н.Н.* Ук.соч. С.99.

выпячиванию «деспотических» черт в истории России. Тенденция эта стала преодолеваться гораздо позднее, и лишь после распада СССР окончательно отошла в русских исследованиях на задний план.

Дональд Тредголд готовил свою диссертацию о политических группах и партиях в России 1898–1906 гг. также в Оксфорде, под руководством Б. Самнера. Позднее она была переработана в монографию «Ленин и его соперники»[234]. Как вспоминал сам автор, во время его работы над темой многие участники событий были еще живы. К сожалению, вызывавший у него огромное восхищение Милюков умер буквально за несколько лет до этого, но был жив его душеприказчик Б. Элькин, знакомство с которым оказалось чрезвычайно полезным. Тредголд установил тесные контакты с другим лидером кадетской партии – В.А. Маклаковым. «Наши беседы, – пишет Тредголд, – напоминали комическую оперу». Они разговаривали на смеси французского и русского, а поскольку «старый джентльмен» был совершенно глухим, он прикладывал к уху большую слуховую трубку – в точности как в старом кино. Тем не менее, беседы были плодотворны, и не менее плодотворной была переписка, которую они вели несколько лет. Маклаков утверждал, что нужно было работать с тем правительством, которое было, и порицал постоянное стремление Милюкова к совершенству. Хотя, замечает Тредголд, в 1905 г. Маклаков говорил совершенно иное[235].

Интересно, что знакомство с сестрой Мартова Лидией Дан, Б. Николаевским и другими бывшими меньшевиками и большевиками не вызвало у американского историка большого энтузиазма («я никогда не чувствовал родственной близости ни с кем из них»). Как и для большинства представителей старшего поколения американских русистов, для него была характерна приверженность либеральной системе ценностей, отсюда – особый интерес к русскому либерализму. Законность, свободы и права

[234] *Treadgold D.* Lenin and his rivals: the struggle for Russia's future, 1898-1906. N.Y., 1955.
[235] *Treadgold D.* When Russian studies… P. 116–117.

человека, частная собственность и парламентская демократия, – вот что составляет основу, на которой должно зиждиться государство. Думский период в истории России представлялся Тредголду наиболее близким по своему характеру к Соединенным Штатам, однако продолжить свое исследование он так и не смог, переключившись на другие темы. Уже защитив диссертацию, он принял участие в большом проекте Дальневосточного и русского института при университете штата Вашингтон в Сиэтле «Россия в Азии». Результатом явилась книга «Великая сибирская миграция»[236], в которой проводились аналогии с заселением Америки и рассматривалась политика П.А. Столыпина. В те годы Тредголд считал его национальную политику «близорукой», порицал его «чрезмерные» репрессии и слишком «вольное» обращение с законом. 30 лет спустя, понаблюдав за политической жизнью США, он несколько изменил свое мнение[237]. Тем не менее в главном его позиция осталась неизменной. В своей истории Россия была всего на один шаг от победы демократии, но после революции 1917 г. отступила в царство «античного ужаса»[238].

В подобных «сильных» оценках нет ничего удивительного. Первое послевоенное поколение американских историков-русистов формировалось во враждебной атмосфере холодной войны. Большинство из них было настроено неколебимо антисоветски, и многие из них видели в СССР такую же угрозу западным политическим институтам, как и фашизм. Довольно часто этих историков называют консерваторами, однако скорее, считает Хью Рагсдейл, их можно определить как «старомодных либералов»[239]. Эту оценку уточнил американский историк Дэвид Ширер, подчеркнув интеллектуальную и идеологическую укорененность их мировоззрения в политических

---

[236] *Treadgold D.* The great Siberian migration: government and peasant in resettlement from emancipation to the First World War. Princeton, 1957.
[237] *Treadgold D.* When Russian studies... P. 117–118.
[238] Ibid. P.124.
[239] *Ragsdale H.* Comparative historiography of the social history of revolutions: English, French, and Russian // Journal of historical society. 2003. Vol. 3. N 3-4. P. 333.

институтах и культуре классического англо-французского либерализма XIX в. Лишь с подъемом в начале 1970-х годов социальной истории, пишет он, «утвердившийся среди интеллектуалов Северной Америки либеральный консенсус стал выглядеть консервативным». И либералы оказались «консерваторами», а левые – «либералами», или ревизионистами[240].

Сегодня принято считать, что враждебность многих либеральных историков к советскому режиму проистекала еще и из их личного опыта, поскольку очень многие являлись так называемыми «перемещенными лицами» в годы Второй мировой войны. Считается, что опыт столкновения с диктатурой оставил неизгладимый след на их подходе к изучению советского феномена. Действительно, более половины из тех, кто специализировался по России в послевоенные годы, были либо эмигрантами из Европы, либо имели «русские корни». Многие из них всячески демонстрировали свое неприятие коммунизма и большевизма. Однако вряд ли всегда можно говорить о непосредственном опыте, скорее речь должна идти о тех идеях и представлениях (и в том числе о стереотипах), которые европейские интеллектуалы-эмигранты привезли с собой и которые расцвели в США пышным цветом.

Примером в данном случае может служить биография Ричарда Пайпса, который эмигрировал с родителями из Польши в октябре 1939 г. в возрасте 16 лет. Амбициозный, много читавший подросток прибыл в Штаты уже сложившейся личностью, со своей системой ценностей и набором стереотипов, характерных для Польши межвоенного периода, которые оказали решающее воздействие на его интерпретации русской истории. Пайпс так и не сумел полностью интегрироваться в американское научное сообщество и неудивительно, что своим мемуарам он дал подзаголовок

[240] *Shearer D.* From divided consensus to creative disorder. Soviet history in Britain and North America // Cahiers du monde russe. 1998. Vol. 39, N 4. P. 561.

«Записки непримкнувшего»[241]. И хотя он постоянно претендовал на особое положение, его карьера как раз свидетельствует об активном стремлении принять новую страну и «примкнуть» – но только к наиболее высшим ее сферам. Карьера Пайпса, высшей точкой которой считается пост советника президента Рейгана по вопросам национальной безопасности, сделала его одиозной фигурой в глазах коллег. А тот факт, что такие ученые, как Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер, также занимали высокие посты в президентской администрации, побудил некоторых историков к широким обобщениям о влиянии эмигрантов-интеллектуалов из Восточной Европы на политику США и даже к заключениям об их ответственности за противостояние двух стран[242].

Конечно, интеллектуальное влияние эмигрантов из Европы в 1940–1950-е годы было в Америке очень значительным, и затрагивало оно не только науку, но и более или менее широкие слои общества. Их крайне враждебное отношение как к коммунизму вообще (усиливавшееся тем фактом, что многие из них прежде были коммунистами), так и к СССР в частности, оказывало воздействие и на общественное мнение. И все же, хотя эмигранты внесли свой вклад в идеологию холодной войны, вряд ли стоит перекладывать на них ответственность за усиление конфронтации между коммунистическим и империалистическим лагерями (особенно когда речь идет о более позднем времени 1980-х годов).

Не следует забывать и о том, что обучение и работа в Гарварде предполагали контакты не только с преданным науке либералом-западником Карповичем, но и участие в проектах, выполнявшихся по заказу ЦРУ и военных. Далеко идущие последствия имел, в частности, осуществленный в

---

[241] Русское издание: *Пайпс Р.* Я жил. Мемуары непримкнувшего. М.: Московская школа политических исследований, 2005.

[242] См.: *Shearer D.* Op. cit. P. 567; *Розенберг У.* История России конца XIX – начала XX в. в зеркале американской историографии // Россия XIX–XX вв.: Взгляд зарубежных историков. М., 1996. С.7.

1950–1952 гг. в Гарварде под руководством преподававшего тогда экономику в Массачусетском технологическом институте У. Ростоу проект «Троя плюс». Он финансировался Госдепартаментом и ЦРУ и был призван оценить степень устойчивости коммунистического мира, а также дать рекомендации по проведению пропагандистских и дипломатических мероприятий, которые могли бы ослабить контроль советского правительства над населением страны и странами Восточной Европы. В нем приняли участие социологи Алекс Инкелес и Баррингтон Мур, политолог Адам Улам, историки Ричард Пайпс и Роберт Дэниелс, который, правда, впоследствии резко возражал против интерпретаций, представленных в отчете Ростоу, и потребовал убрать свое имя из числа авторов выпущенной вскоре книги[243]. Не будучи специалистом по СССР, и тем более историком или социологом, энергичный Ростоу на основе материалов проекта «Троя плюс» издал книгу «Динамика советского общества»[244].

Ключевым для советской истории, писал Ростоу, является «ненасытное стремление большевистского режима к абсолютной власти» не только внутри страны, но и в мире. Идеология, русский национализм и экономика носили подчиненный характер по отношению к главной цели – единоличной власти лидера, будь то самодержец или Сталин. Апатичное и инертное советское общество выступало в книге Ростоу лишь объектом деятельности Политбюро. Фактически это была книга о советской политике, а не обществе, несмотря на ее название. Она являет собой классический пример так называемого подхода «сверху вниз», который так яростно критиковался впоследствии новым поколением историков. Тем не менее, во многом благодаря способности Ростоу давать яркие формулировки, понятные каждому, книга получила широкое распространение.

---

[243] *Engerman D.* Know your enemy… P. 50. Энгерман отмечает, что в 1950-е годы заказчики ожидали от ученых не результатов оперативной разведки, а хорошей, высококачественной науки. Сужение интересов произошло гораздо позднее.
[244] *Rostow W.W.* The dynamics of Soviet society. N.Y., 1953.

Более того, несмотря на то, что отчет по проекту «Троя плюс» имел ограниченные политические последствия, в оформлении советологии как научной дисциплины он сыграл немалую роль. Помимо прямого влияния его агрессивной стилистики на мировоззрение непосредственных участников, это предприятие закрепило в научном дискурсе клише, циркулировавшие в дискурсе публичном, а в конечном итоге – тот образ России, который тиражировался за рубежом в многочисленных книгах и книжках популярного свойства.

Несомненно, и сегодня работы «легкого» жанра пользуются спросом, пишутся и издаются немалыми тиражами, однако они имеют мало отношения к историографии России и могут служить лишь объектом для критики. Однако в послевоенные годы в условиях дефицита серьезных монографий они, можно сказать, определяли «лицо» русских исследований. Далеко не все из них носили обличительный характер, но все без исключения строились на противопоставлении России Западу.

2.2. «Россия и Запад» как центральная проблема англо-американской историографии 1940-60-х годов[245]

Для историков-русистов послевоенного поколения первостепенное значение имел вопрос о месте России в мире, и в годы холодной войны давняя традиция противопоставления ее Западу приобрела исключительную актуальность. Особенность ситуации заключалась в том, что в русской истории проблема «Россия и Запад» занимала немаловажное место в дебатах

[245] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М., 2008; *Большакова О.В.* Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Вып. 6. М., 2016. С. 353-385; *Большакова О.В.* Проблема «Россия и Запад» в англоязычной историографии 1940-1960-х годов // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2020. № 5. С. 78-99.

о русской идентичности, которые после революции 1917 г. перешли в форму идеологического противостояния между коммунизмом и капитализмом (империализмом).

Как совершенно справедливо пишет М. Дэвид-Фокс, постоянное сравнение России с неким идеализированным «западным» или «европейским» стандартом до сих пор играет роль в зарубежной русистике[246]. Прямые или подразумеваемые сравнения всегда присутствовали в русских исследованиях, но в послевоенные годы ответ на вопрос о принадлежности России к западной цивилизации по умолчанию предполагался отрицательным. Научное обоснование такого ответа чаще всего давалось в работах общего характера – историософских, социологических, политологических. Разные вариации на тему цивилизационного подхода, крайне популярного в то время, относили Россию как наследницу Византии к Востоку – в частности, об этом много писал А. Тойнби. Его известный сборник «Цивилизация перед судом истории», так же как и книга К. Виттфогеля «Восточный деспотизм», типичны для интеллектуального ландшафта конца 1940-х – 1950-х годов[247].

В книге Виттфогеля речь идет, в частности, об «ориентализации» России, которая из полицентричного общества западного типа под влиянием монголов (но не Византии) превратилась в восточное моноцентричное с его гипертрофированным бюрократическим государством, централизованной армией, отсутствием права частной собственности и других прав и свобод[248].

---

[246] *Дэвид-Фокс М.* Введение: Отцы, дети и внуки... С.9.

[247] *Toynbee A.J.* Civilization on trial. New York: Oxford univ. press, 1948; *Wittfogel K.* Oriental despotism. Типична для первого послевоенного поколения интеллектуалов в США и биография Виттфогеля. По словам М. фон Хагена, многие беженцы и эмигранты демонстрировали «рвение обращенных в новую веру»: яростный антикоммунизм, часто в сочетании с антирусскими позициями.

[248] Как писал в своей рецензии на книгу «Society and history: Essays in honor of Karl August Wittfogel» Р. Хелли, труды Виттфогеля были сразу признаны не имеющими научной ценности, им предсказали скорое забвение. Под их обаяние подпали лишь советские эмигранты (См.: Slavic review. 1980. Vol. 39, N 3. P. 486-487).

Этому аспекту его работы была посвящена дискуссия, которую опубликовал журнал «Славик ревю» в 1963 г. Наряду с Виттфогелем в ней приняли участие Н. Рязановский, только что выпустивший свою «Историю России», и востоковед Бертольд Шпулер, автор фундаментальной монографии по истории Золотой Орды[249]. Спор Виттфогеля и Рязановского, полностью отрицавшего применение концепции «восточного деспотизма» к истории России, принял ожесточенный характер. Фактически Рязановский обвинил Виттфогеля в невежестве – в первую очередь в незнакомстве с русскими источниками и, кроме того, в поверхностном понимании России и ее истории. И не без основания: в подтверждение существования в России «восточного деспотизма» Виттфогель опирается на цитаты из обличительных публицистических работ (в том числе и ленинских); он явно не отдает себе отчета в том, что обвинения царского режима в «азиатчине» были общим местом в дискурсе начала XX в. и ни в коей мере не могли являться достоверными «свидетельствами» информированных современников.

Один за другим Рязановский опровергает аргументы Виттфогеля, которые извращают, по его мнению, суть происходивших в России процессов. Так, частная собственность в России имела давнюю традицию и была крайне дифференцированной, а тот самый режим, который определяется Виттфогелем как «восточный деспотизм», пытался, в лице ПетраI, ввести единонаследие. Рязановский указывает на усилия государства по развитию частной инициативы в промышленности, что особенно ярко проявилось в период, казалось бы, максимальной интервенции государства в экономику – индустриализации 1890-х годов. Конечно, Рязановский, со своей стороны, значительно преуменьшает монгольское влияние, поскольку как историк культуры смотрит на *восприятие* монголов на Руси – а оно в соответствующих источниках представлено как явно негативное. Отсюда

[249] Discussion // Slavic. rev. 1963. Vol. 22, N 4. P. 627-662.

следует достаточно спорный логический вывод о том, что нельзя заимствовать у тех, кто вызывает враждебное к себе отношение.

Окончательный вердикт Рязановского бесповоротен: не Россия не «подходит» под определение восточного деспотизма, а сама концепция восточного деспотизма неприменима к России. Характерно, что Рязановский не только возмущен формальной сравнительной методологией Виттфогеля как историк культуры. Он явно выступает здесь и как русский патриот, оскорбленный обвинениями России в «азиатчине»[250].

Совершенно с других позиций подошел к проблеме востоковед Б. Шпулер. Он изначально согласен с утверждением, что Россия являет собой пример «восточного деспотизма», однако оспаривает принадлежность Золотой Орды к разряду так называемых «гидравлических» цивилизаций. Более того, ислам, по Шпулеру, является религией, которая не позволяет правителю посягать на свободы и права своих подданных, в том числе на право частной собственности. Отсюда следует вывод, что исламское (особенно раннеисламское) государство по определению не может являться восточной деспотией, а корни этого явления в России, считает Шпулер, нужно искать в византийском влиянии. Именно православие, которое по своей структуре так резко отличается от западной ветви христианства – католичества, проложило дорогу всесилию государства[251].

Соотношение сил в этой дискуссии достаточно показательно: только историк русского происхождения Рязановский, ученик Карповича, считает Россию европейской страной. Двое других, не являясь специалистами в области русской истории, склонны «ориентализировать» Россию, усматривая «восточные» корни пресловутого деспотизма в византийском либо в монгольском наследстве. Однако не все ученики Карповича разделяли его точку зрения на Россию как часть Европы.

---

[250] *Riasanovsky N.V.* «Oriental despotism» and Russia // Slavic. rev. 1963. Vol. 22, N 4. P. 644-649.

[251] *Spuler B.* Russia and Islam // Slavic. rev. 1963. Vol. 22, N 4. P. 650–655.

Наиболее последовательно доказывал обратное Ричард Пайпс, и его позиция во всей полноте представлена в книге «Россия при старом режиме»[252]. Хотя она была опубликована только в 1974 г., ее уместно рассмотреть здесь по ряду причин. В то время как в нашей стране книга Пайпса пользуется широкой популярностью и считается «брендовым продуктом» американской советологии, у американских русистов она ассоциируется с историографией времен холодной войны, которую писало старшее поколение историков. Но кроме того, феномен Пайпса как ученого заключается в том, что он сумел остаться в стороне от всех инноваций, которые приходили в динамично развивающуюся зарубежную историческую науку с конца 1950-х годов. В каком-то смысле ему удалось сохранить в чистоте и пронести через десятилетия ту методологию исторического исследования и те взгляды, которые были свойственны эпохе 1940-х – первой половины 1950-х годов.

Нельзя сказать, что Пайпс не замечал новых идей и концепций, но он, как правило, использовал их в качестве исходной точки для критики, на основе которой развивал свое повествование. Таким отправным пунктом явилась для него и концепция Виттфогеля о восточном деспотизме в применении к истории России. Хотя, как пишет Пайпс, «логика обстоятельств», в первую очередь внешнее давление и военная необходимость, и толкала Россию в ранний период ее истории к выработке режима «деспотического» или «азиатского» типа, природные условия и особенности экономики страны не позволяли создать такую высокоэффективную политическую организацию. Отталкиваясь от идеи Виттфогеля, Пайпс создает свою оригинальную концепцию истории России и предлагает свой вариант «восточного деспотизма».

---

[252] *Pipes R.* Russia under the old regime. N.Y.: Scribner, 1974. Книга переиздавалась неоднократно, в том числе и на русском языке.

Политическое развитие в России, пишет Пайпс, пошло в ином направлении, и понять его возможно только в противопоставлении Западной Европе. Государство в России «не выросло из общества и не было навязано ему сверху»; оно вырастало рядом с обществом и «заглатывало его по кусочку». В результате возникла деспотическая форма правления, названная Аристотелем «отеческой» (paternal), при которой царь правит государством таким же образом, как отец управляет своим семейством. О вотчинной монархии упоминали многие мыслители, однако, как пишет Пайпс, только Макс Вебер ввел это понятие в современный научный оборот. Американский историк совершенно не упоминает тот факт, что концепция вотчинной монархии сложилась в рамках русской историко-юридической школы, имела большой вес в историографии XIX – начала XX в. (а позднее получила поддержку и ряда советских историков). Макс Вебер, не являясь специалистом по истории России, в своих обобщающих работах опирался как раз на труды современных ему русских историков. Политический строй России XVII–XVIII вв. он назвал «царским патримониализмом» и относил к разновидности традиционного типа господства.

Веберовский анализ патримониальных властных структур России, так же как и других стран, не получил широкого признания в западной социальной науке. Да и Пайпс использует в своей книге лишь отдельные элементы веберовской модели. Одна из характерных особенностей его научного стиля – крайне поверхностное использование чужих концепций, «выхватывание» из них терминов, как бы подкрепляющих его точку зрения. И потому изображение российских политических реалий как отклонения от западной «нормы» у Пайпса прямо противоречит точке зрения самого Вебера, согласно которой именно западный феодализм и западное правовое государство носили исторически уникальный характер. А для Ричарда Пайпса российская вотчинная монархия и западноевропейская абсолютная монархия – совершенно несовместимые исторические явления. На основе

концепции патримониализма описывает он и бюрократический аппарат «старого режима», который вырос непосредственно из управлявших частным поместьем князя учреждений.

В представлении Пайпса, характерные черты русской государственности – необыкновенно глубокая пропасть между держателями политической власти и обществом и собственническая, вотчинная манера отправления державной власти, сформировались еще в Киевской Руси, усугубились в результате монгольского завоевания, и к царствованию Ивана III сложились в политическую концепцию. «Вотчинник-землевладелец сделался вотчинником-царем»[253]. Однако с середины XVII в. под давлением соперничества с Западной Европой вотчинный режим, характеризовавшийся поистине «абсолютной», как считает Пайпс, властью, начинает сворачиваться, уступая место более европеизированной структуре государства. Петр начинает насаждать идею государства как организации, служащей высшему идеалу, – общественному благу, а отсюда лишь один шаг и до идеи общества как партнера государства. Однако начатое Петром и Екатериной дело не было доведено их преемниками до логического завершения – «увенчания конституцией», и это было «центральной трагедией русской политики Нового времени»[254].

Главным содержанием политической истории России XIX – начала XX в., согласно Пайпсу, было постепенное формирование на обломках вотчинного режима «полицейского государства», которое происходило на фоне разворачивавшегося конфликта между государством и интеллигенцией. Поворотным пунктом в русской истории для Пайпса является убийство Александра II в тот самый день, когда он собирался «ввести конституционные ограничения своей власти». Эта точка зрения довольно широко была распространена в эмигрантской среде, однако Пайпс пошел

[253] Ibid. P. 100.
[254] Ibid. P. 173.

дальше. Он заключает, что именно это событие послужило точкой отсчета для окончательного оформления в царствование Александра III новой формы правления – полицейского государства, в котором явственно прослеживаются зачатки будущего советского тоталитаризма. Собственно, на этом, по его мнению, и заканчивается история «старого режима» в России.

Пайпс постоянно подчеркивает особые черты России, сопоставляя (иногда по пунктам) ее реалии и институты с западной «нормой» и указывая на «трагические несоответствия», которые и привели в результате к столь печальному концу – советскому тоталитаризму. Для него советская действительность ужасна сама по себе и является безусловным подтверждением гибельности революционного пути к тому, что сегодня принято называть «реализацией проекта Просвещения». В целом же общая концепция Пайпса при всей своей внешней оригинальности не выходит за рамки обыденных представлений о России, бытовавших в 1930–50-е годы, когда царизм описывался как исключительно репрессивный режим, который все больше утрачивал свою жизнеспособность. Отличительной чертой позиции Пайпса является ненависть к революционной интеллигенции, сопоставимая, пожалуй, лишь с его ненавистью к царскому режиму (обычно все же одно исключает другое).

Изложение Пайпса концентрирует в себе те представления о политической истории России, которые сегодня приписываются «старшему» поколению американских русистов. На деле существовал большой разброс мнений. Огромное большинство серьезных историков не разделяло идею преемственности между царской и Советской Россией, а концепция вотчинной монархии и полицейского государства и вовсе не нашла прямых последователей. Работы Пайпса стоят особняком и не вписываются в общие тенденции развития американской историографии. Тем не менее в историографическом дискурсе того времени интерпретации Пайпса (так же

как и концепция восточного деспотизма) выглядят для сегодняшних исследователей наиболее влиятельными. Почему?

Важную роль, несомненно, играет популярность общеисторических работ Пайпса, секрет которой заключается, пожалуй, в их редкой эклектичности, с одной стороны, и в крайне упрощенной интерпретации и подаче материала – с другой. Еще одна причина популярности его книг заключается в том, что они не только соответствовали давно укоренившимся в западном общественном мнении штампам о России, но и в более узком смысле отвечали духу холодной войны. Отвечая неким базовым концептам и стереотипам, формировавшим также и экспертное знание о России на Западе в течение многих десятилетий, концепции Виттфогеля и Пайпса неизбежно выступают на первый план при общем взгляде на состояние послевоенной американской русистики.

В то же время определяющим как для самой послевоенной русистики, так и для ее восприятия современными исследователями следует признать сам интеллектуально-культурный контекст эпохи, который можно было бы назвать антисоветским. Он формировался такими бестселлерами, как «Скотный двор» Оруэлла и «Слепящая тьма» Артура Кёстлера, сообщениями прессы, сочинениями военных и дипломатов, текстами советских эмигрантов второй волны и др. Центральное место в публичном дискурсе о Советском Союзе занимало противопоставление свободы деспотизму, которое всегда имело первостепенное значение для либерального мировоззрения, ставившего во главу угла политику, а не социум. В ход шли старые структурные оппозиции «цивилизация – варварство», «свобода – деспотизм». СССР, в свою очередь, обвинял «империалистическую Америку» в антидемократизме и подчеркивал антифашистский характер своей политики, прозрачно намекая при этом, что план Маршалла ведет не только к культурной деградации Европы, но и направлен на поддержку нацистского

наследия[255]. В этих условиях противостояния и развивалась теория тоталитаризма, сыгравшая столь большую роль в советологии. Мартин Малиа назвал ее «современным преемником» образа России как воплощения «восточного деспотизма», циркулировавшего среди западных критиков самодержавия в годы николаевского царствования[256].

Тоталитарная модель в ее приложении к Советскому Союзу получила большой вес благодаря трудам таких ученых, как эмигрировавшая из Германии Ханна Арендт, немалый вклад в ее разработку в применении к России внесли З. Бжезинский и К. Фридрих[257]. Представляя в крайне упрощенном виде историю России и СССР как процесс контролирования общества, осуществляемый репрессивным государством в лице компартии, теория тоталитаризма ставила сталинский режим (и другие коммунистические диктатуры) в один ряд с Третьим рейхом. Тоталитарную природу советской системы считали неизменной по своей сути и подчеркивали уникальность России, ее трагическую «непохожесть» на страны Запада.

Весной 1954 г. силами Гарвардского и Колумбийского университетов была проведена конференция «Преемственность и изменения в русской и советской мысли». В ней приняли участие такие ведущие специалисты по России, как И. Берлин, М. Карпович, Г. Флоровский, А. Гершенкрон, Ф. Мозли, Дж. Робинсон, Э. Симмонс, М. Фейнсод, а также недавние выпускники и аспиранты этих университетов М. Малиа, Р. Бернс, Н. Рязановский, А. Улам, Т. Хаммонд и др. Несмотря на то, что организовал ее литературовед Эрнест Симмонз, большинство из 30 ее участников оказались историками и специалистами в области социальных наук. Круг

---

[255] *Castillo G.* East as true West: Redeeming bourgeois culture, from Socialist realism to *Ostalgie* // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2008. Vol. 9, N 4. P. 747-748.
[256] *Malia M.* Russia under the Western eyes. P. 389.
[257] *Friedrich C. J., Brzezinski Z.K.* Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge, Mass.: Harvard university press, 1956.

затронутых вопросов отражает состояние Russian studies первого десятилетия: история экономической, политической и философской мысли, науки и литературы XIX–XX вв. Отдельный раздел был посвящен русскому и советскому мессианству. Однако исследования в области интеллектуальной истории дали явно не удовлетворительные результаты в том, что касалось популярных в тогдашней социальной науке идей преемственности и особенно теории тоталитаризма.

Выяснилось, что историки всячески избегают проблемы преемственности и изменений, предпочитая представить конкретные исследования без далеко идущих выводов. Некоторые элементы преемственности были зафиксированы в экономической мысли, многое заимствовавшей у народников, или же в советской литературной эстетике, опиравшейся на наследие революционеров-демократов 1860-х годов. Тем не менее, хотя это и проливало некоторый свет на экономическую теорию и практику Советского Союза или на сущность происходивших в советской литературе процессов, однако не давало окончательных объяснений.

Что касается советского тоталитаризма, который обычно трактовался как продолжение самодержавия, то представленные на конференции доклады дали основания М. Фейнсоду подчеркнуть различия между двумя режимами. Самодержавие было авторитарным режимом, при котором существовали (и пользовались определенной свободой) оппозиционная пресса и оппозиционные партии, независимое правосудие, свободный въезд и выезд из страны, а политическая полиция и проводимые ею репрессии не шли ни в какое сравнение со сталинскими. Конечно, самодержавие, по мнению Фейнсода, несло в каком-то смысле историческую ответственность, поскольку посеяло те «семена», из которых вырос советский тоталитаризм. Тем не менее Фейнсод подчеркивал наличие глубокой пропасти между авторитаризмом и тоталитаризмом, и указывал, что «если мы будем трактовать их как идентичные политические формы, мы закончим тем, что

продемонстрируем нашу неспособность различить преемственность и изменения»[258].

Таким образом, если говорить именно об исторических исследованиях России, совершенно очевидно, что теория тоталитаризма играла в них весьма ограниченную роль – и в первую очередь потому, что серьезные историки, как неоднократно отмечалось, редко переступали грань 1917 года.

Принято считать, что для первого послевоенного поколения Россия оставалась страной экзотической, резко отличающейся от Запада. В исследованиях подчеркивались «вечные» черты ее особого облика, в чем-то притягательного, а в чем-то и отталкивающего. Характерной особенностью историографии первых послевоенных лет было рассмотрение политической истории России под знаком самобытности и преемственности, причем основное внимание обращалось на несовпадение российского и западноевропейского государственного устройства. Самодержавие предстает совершенно особой формой правления, уходящей своими корнями в византийские и монгольские политические традиции и институты, и изучается как культурный феномен[259]. В чем-то подобные выводы выглядели вполне уместными в работах общего характера или в исследованиях культуры[260]. Тем не менее при более пристальном рассмотрении концепция истории России XIX – начала XX в., так же как и характера ее власти и политического курса, в интерпретации старшего поколения историков выглядит иначе.

Для трудов либеральных историков старшего поколения было характерно признание важности исторической случайности и значения политических элит в формировании исторических судеб государства, хотя, конечно, не отрицалось влияние социальных и экономических факторов.

---

[258] Continuity and change in Russian and Soviet thought. P. 179.
[259] См., например: *Cherniavsky M.* Tsar and people: Studies in Russian myths. N.Y., 1964.
[260] *Billington J.* The icon and the axe: An interpretive history of Russian culture. N.Y.: Knopf, 1966.

Отсюда особый интерес к идеологии, которой тогда придавалось огромное значение, в том числе ее роли в формировании политического курса. И потому неудивительно, что самое большое внимание уделялось мировоззрению русской интеллигенции, в особенности ее либеральному крылу, в рамках решения вопроса об упущенных шансах России на эволюционное развитие[261]. Как признают сами американцы, главной исследовательской задачей первого послевоенного поколения американских историков-русистов было понять истоки и сущность русской революции.

Ученики Карповича и Берлина искали и находили идейные основы революции 1917 г. в трудах «дворянского революционера» Герцена и народника Н. Михайловского[262]. Для этого поколения историков не было сомнений в том, что революционный радикализм возник в среде русской интеллигенции и в конечном итоге привел к трагической развязке. Именно тогда возникли два лагеря «оптимистов» и «пессимистов», соответственно оценивавшие шансы старого режима в том случае, если бы не произошло Первой мировой войны. Одним из примеров «пессимистического» подхода к интерпретации русской истории служит книга Хью Сетон-Уотсона о Российской империи, в которой нашли отражение самые консервативные и тривиальные стереотипы британской историографии[263]. Американская интеллектуальная история этих лет культивировала, по словам М. Малиа, «более просвещенный взгляд на историческое исследование», хотя зависимая

---

[261] См., например: *Kohn H.* Panslavism: Its history and ideology. Notre Dam, 1953; *Haimson L.* The Russian Marxists and the origins of Bolshevism; *Petrovich M.* The emergence of Russian Panslavism, 1856–1870. N.Y. 1956; *Fisher G.* Russian liberalism: From gentry to intelligentsia. Cambridge (Mass.), 1958.

[262] *Malia M.* Alexander Herzen and the birth of Russian socialism; *Billington J.* Mikhailovsky and Russian populism.

[263] *Seton-Watson H.* The decline of imperial Russia, 1855-1914. L., 1952. Позднее серьезно переработана, дополнена и переиздана под названием: The Russian empire 1801-1917. Clarendon, 1967.

от «безыскусной» русской дореволюционной историографии русистика и страдала некоторой «наивностью»[264].

В 1950-е годы появляются первые специальные монографии, посвященные внутренней политике императорской России. Прежде всего следует упомянуть книгу С.Кучерова[265], эмигранта, бывшего адвоката, хорошо осведомленного в юриспруденции и истории права, которая как раз и демонстрирует зависимость от русской дореволюционной историографии. Центральное место в ней занимает судебная реформа 1864 г., которую автор считает исключительно успешной. Главная ценность книги Кучерова заключается в обилии фактического материала, что сделало ее опорной для всех последующих исследований этой темы.

Оптимистический взгляд на перспективы развития России, прерванные войной и революцией, представлен и в монографии Д. Тредголда «Великая Сибирская миграция»[266], которая, как уже упоминалось, была написана в рамках проекта «Россия в Азии». Автор утверждает, что русское крестьянство было чрезвычайно заинтересовано в получении права частной собственности на землю и претворяло в жизнь свои стремления, переселяясь на окраины империи (освоение Сибири сравнивается с американским освоением Запада). Тредголд рассматривает политику правительства и практику крестьянского землеустройства, позицию по этим вопросам ведущих государственных деятелей, в первую очередь Столыпина, приводит данные, подтверждающие успех столыпинских преобразований в Сибири, и вводит в научный оборот концепции экономистов-аграрников Макарова, Челинцева и Чаянова. В чем-то эту книгу можно назвать установочной, поскольку многие последующие исследования аграрной проблематики будут следовать тем же курсом.

---

[264] *Malia M.E.* Historian of Russian and European intellectual history. An Interview. Berkeley: University of California, The Bancroft Library, 2005. P.40-41.
[265] *Kucherov S.* Courts, lawyers, and trials under the last three tsars. N.Y.: Praeger, 1953.
[266] *Treadgold D.* The Great Siberian migration…

Вторая изданная в рамках того же проекта монография принадлежала перу Марка Раева и была посвящена реформам в Сибири, проводившимся в 1822 г. М.М. Сперанским[267]. Фактически, это административная история, с ее особым вниманием к программам и взглядам реформатора, содержанию законодательных актов и тем изменениям, которые они вносят в жизнь населения. Раев подчеркивает, что идущая с екатерининских времен традиция смотреть на коренные народы как на полноправных подданных, а не на объекты колониальной эксплуатации, достигла своего пика в реформах Сперанского. В отличие от западных колонизаторов, Россия давала возможность развиваться местным культурам – точка зрения, которая встретится во многих позднейших работах американских историков.

Характерный для историографии этого периода подход представлен в монографии Н. Рязановского о теории официальной народности, совместившей в себе интеллектуальную и политическую историю[268].

Исходя из тезиса, что Россия в течение 30 лет управлялась в соответствии с идеологией, сформулированной в знаменитой триаде «православие, самодержавие, народность», Рязановский рассматривает все ее аспекты во взаимосвязи с тем, что сегодня бы назвали «властной структурой». Он подробно описывает характер и взгляды Николая I, дает психологические характеристики членов императорской фамилии и лиц, приближенных к императору. С точки зрения «людей», а не «структур», он характеризует правительство, подтверждая свой тезис, что Николай I управлял страной единолично и фактически «всецело господствовал» над Россией[269]. Специальное внимание уделяет Рязановский теоретикам и публицистам, указывая на наличие двух психологических типов сторонников доктрины «официальной народности». Один тип личности такие черты, как целеустремленность, непреклонность, преданность идее и

[267] *Raeff M.* Siberia and the reforms of 1822.
[268] *Riasanovsky N.V.* Nicholas I and official nationality in Russia, 1825–1855.
[269] Ibid. P. 51.

высоконравственность /добродетельность, соединяет в себе «с грубостью, тупостью и недостатком искушенности». Приверженность доктрине у людей этого типа, к которым наряду с Погодиным и Шевыревым принадлежал и сам император, была страстной, искренней и бескомпромиссной. Ко второму типу принадлежали люди, как правило, более одаренные и более культурные, но безответственные и легко менявшие свои взгляды в угоду сиюминутным увлечениям. Это Булгарин и Сенковский, да и сам создатель теории министр просвещения Уваров[270].

Теорию официальной народности Рязановский помещает в общеевропейский контекст, отмечая, что она являлась «типичной философией эпохи реставрации и реакции» после победы над Наполеоном, а в практическом отношении означала «определенный способ управления огромным и относительно отсталым русским государством»[271]. Рассматривая ее составные части, американский историк особое внимание уделяет концепции самодержавия и обоснованию его необходимости для России. Исследования такого рода были редкостью в то время, поскольку русский консерватизм не пользовался популярностью у историков. Лишь Р. Пайпс издал перевод «Записки о древней и новой России» Карамзина, снабдив его своим предисловием, и опубликовал статью о карамзинской концепции самодержавия[272].

Из массы панегириков Рязановский вычленяет ряд понятий, характеризующих русское самодержавие николаевской эпохи: абсолютная власть императора и тесная связь между императором и Богом; убежденность в слабости и порочности человека, что свидетельствует о необходимости сильного, авторитарного управления; важнейшая функция императора как оплота законности, морали и цивилизации; решающая роль самодержавия в

---

[270] Ibid. P. 70.
[271] Ibid. P. 267.
[272] Karamzin's Memoir on ancient and modern Russia / Transl. a. ed. by Pipes R. Cambridge (Mass.), 1959.

истории России (отсюда – буквальная одержимость фигурой Петра I); поддержание дисциплины и порядка, безжалостное наказание оппозиции и недовольства; патриархальность, глубокая личностная связь между подданными и царем – отцом великой семьи; милитаризм, тесно связанный с эпохой Отечественной войны 1812 г. и патриотизмом; наконец, на международной арене – легитимизм.

«Народность» представляется Рязановскому самым сложным компонентом доктрины. Прослеживая связь с немецким романтизмом, историк выделяет два течения в теории официальной народности – «династическое», сторонники которого глядели в прошлое и защищали существующий порядок вещей от революции, и националистическое, проповедовавшее русское мессианство и нацеленное на будущее. Из него затем выросли такие доктрины, как панславизм, и такие политические практики, как русификация[273]. Не обладая какой-либо оригинальностью, идеология официальной народности с исторической точки зрения имела весьма практическое значение. Ее принципы непреклонно применялись Николаем I как во внутренней, так и во внешней политике.

Рязановский достаточно подробно описывает функционирование николаевской системы в соответствии с принципами православия, самодержавия и народности. Однако его описание не выходит за рамки уже имеющихся русских и немецких исследований, опубликованных в начале XX в. Интерес представляют его оценки, не совсем типичные для работ историков старшего поколения. Он указывает, в частности, что правительственная идеология самовластья и абсолютного контроля над жизнью страны представляла собой, в лучшем случае, лишь один, узкий подход к искусству управления государством. В петровскую эпоху это могло считаться даже прогрессивным, однако в контексте динамично развивающейся Европы второй четверти XIX в. уже превратилось в

[273] Ibid. P. 124.

анахронизм. В то же время, в годы «железного правления» Николая I Россия претерпевала фундаментальные изменения в экономике (развитие капитализма) и культуре (рождение интеллигенции). Россия Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского имела мало общего с идеями и принципами официальной народности. Оценивая внутреннюю политику 30-летнего царствования, «глядевшего назад», Рязановский отмечает, что нежелание императора прислушиваться к чужим мнениям и неуклонное проведение собственной линии завело страну в тупик. Великие реформы 1860-х годов запоздали, и в каком-то смысле Россия так и не сумела оправиться от 30 лет, потерянных при Николае I. Старый режим в почти не измененном виде дожил до 1917 г., и можно сказать, что «своенравный самодержец добился большего успеха, чем он мог бы себе вообразить»[274].

Эти первые монографические исследования внутренней политики Российской империи относятся к той либерально-универсалистской линии, которая в итоге стала определяющей в развитии исторических исследований России / СССР в США. В противоположность консервативной «тоталитарной», эта линия ставила императорскую Россию в один ряд с европейскими державами, что получило теоретическое оформление в теории модернизации. И потому особенно симптоматично, что вслед за дискуссией о «восточном деспотизме» в следующем номере журнала «Славик ревю» была опубликована дискуссия «Россия и Запад», которая обнаружила скорее солидарность ее участников, чем серьезные противоречия между ними. В ней приняли участие профессор Колумбийского университета Генри Робертс (специалист по истории Восточной и Центральной Европы), Марк Раев, ставший к тому времени профессором русской истории в том же

[274] Ibid. P. 270-271. Свойственное Рязановскому умение давать сбалансированное описание и политически нейтральные оценки исторических событий в полной мере было реализовано в его учебнике российской истории, впервые опубликованном в 1963 г. Организованная более чем традиционно, по царствованиям, книга выдержала, тем не менее, девять изданий (последнее – в 2000 г.) и является самым популярным и продаваемым учебником по истории России в англоязычном мире.

университете, и Марк Шефтель – профессор истории в ун-те штата Вашингтон на Западном побережье США.

Проблема взаимоотношений России с Западом, который выступал как обобщенное понятие, олицетворяющее западную цивилизацию, рассматривалась с разных сторон, однако все авторы отстаивали необходимость исторического, а не политического подхода к ее исследованию. Все они отдавали себе отчет в том, что текущий момент оказывает особое воздействие на остроту дискуссий, и обращали внимание читателя на такие, например, факты, что под именем «Запада» ранее выступала Западная Европа, а после 1945 г. в первую очередь подразумевается США. Причем, по словам Шефтеля, «на языке политинформации Вашингтона» этот термин включает в себя крайне разнообразную в географическом отношении группу стран, в том числе и азиатских[275].

Все участники дискуссии выступают за то, чтобы оставаться в рамках исторической науки с присущими ей подходами, включая метод беспристрастного анализа источников. Марк Раев указывает на тот факт, что проблемы принадлежности России к западной цивилизации не существовало в эпоху Ивана Грозного, и даже в эпоху наполеоновских войн. Эти дебаты – продукт довольно новый, и к ним следует подходить соответственно. Марк Шефтель, в свою очередь, настаивает на том, что следует заниматься исключительно дореволюционной историей, поскольку «драма 1917 года еще не закончена», и никто не может сказать, сколько еще актов осталось и каким будет финал. Сегодняшний день следует оставить на откуп политологам и социологам, которые, однако же, не в состоянии сохранить объективность[276].

Подчеркивая, что размышления о принадлежности своей страны к западной цивилизации и о том, что такое «Запад» и «Европа», на протяжении

[275] *Szeftel M.* The historical limits of the question of Russia and the West // Slavic review. 1964. Vol. 23. N 1. P. 20–21.
[276] Ibid. P. 21.

XVIII–XIX вв. неизменно присутствовали в общественной мысли США и Канады, Великобритании, Италии и особенно Германии, пытавшихся определить свое место в изменяющемся мире, Г. Робертс указывает на особую «страстность» и «предубежденность» сравнений России с Западом как внутри самой страны, так и вне ее. В конечном счете, пишет он, вопрос стоит так: принадлежит ли Россия к «Западу», под которым подразумевается обычно Западная Европа, или же нет, т.е. речь идет о возможности ее участия в жизни «европейской семьи наций». Отсюда и проистекает страстность споров вокруг России, подогретых после смерти Сталина дискуссиями о возможной конвергенции СССР и Запада. Центральной проблемой для Робертса является возможность согласования или даже примирения двух конфликтующих интерпретаций, которые сложились в историографии России[277].

В статье Робертса рассматриваются три подхода к сравнениям России и Запада, которые могли бы дать что-то полезное для понимания русской истории. Во-первых, это концепция, в которой обобщенный «Запад» разложен на составные части и предстает в виде «спектра» разных культур и народов, населяющих Европу. Такой гибкий подход, принимающий во внимание богатство и разнообразие Европы, во-первых, снижает болезненность вопроса, «кому будет позволено проскользнуть» в семью европейских наций; во-вторых, позволяет включить туда и императорскую Россию, хотя и поместив ее на дальнем (красном) конце спектра. Однако при помощи этого подхода невозможно окончательное разрешение проблемы контраста, очевидного для всякого, пересекающего границу при поездке в Восточную Европу[278].

Второй подход, очень удобный, как пишет Робертс, для тех, кто склонен отыскивать сходства России с Западом, ставит во главу угла «запаздывание

[277] *Roberts H.L.* Russia and the West: A comparison and contrast // Slavic review. 1964. Vol. 23. N 1. P. 1-3.
[278] Ibid. P. 5–6.

во времени». Он приводит примеры модных в то время аналогий между современным советским образом жизни, с его ценностями среднего класса, и викторианской эпохой. Убежденность в том, что Россия идет тем же путем, что и Западная Европа, но лишь немного «запаздывает», была свойственна русским историкам-эмигрантам, об этом писал и Троцкий в своей «Истории русской революции». В 1950–60-е годы это представление получило концептуальное оформление в теории модернизации и, в частности, в популярной работе У. Ростоу о стадиях экономического роста[279].

Третий подход к сравнительному изучению России и Запада фокусируется на внешних влияниях и возникающем в результате заимствований так называемом симбиозе культур. Его Робертс считает самым продуктивным, приводя в качестве примера книгу Н. Рязановского о славянофилах. Концептуальный аппарат славянофилов, как показал Рязановский, был заимствован у немецкого идеализма и романтизма, и при помощи этого западного, в сущности, аппарата они дали развернутую картину антитезы «Россия – Запад». Привлекательность такого подхода Робертс видит в том, что он является конкретно-историческим и давно знаком историкам; во-вторых, его главной целью является более глубокое понимание России, а не сравнение ее с Западом.

В любом случае, при проведении сравнений не следует забывать слова Канта из «Критики чистого разума» о том, что различия и подобия представляют собой продукты человеческого мышления и вовсе не отражают реальность. Если же их объективизировать, эти категории могут не только стать причиной споров, но и надолго отсрочат постижение истины. Что касается критериев сравнения, Робертс крайне скептически относится к возможности построения какой-либо классификации, свободной от произвольных допущений, в рамках которой можно было бы сравнивать такие сложные феномены, как государства. В частности, классификация по

[279] Rostow W.W. The stages of economic growth. L.; N.Y., 1960.

религиозному признаку, выделяющая две ветви христианства, восточную и западную, не может полностью охватить реалии XX в., если посмотреть, к примеру, на Грецию, Россию и Румынию. По мнению Робертса, только история может обеспечить объективное понимание реального состояния вещей, хотя отрешиться от сегодняшних задач невозможно и историку. Ведь именно реалии дня сегодняшнего формируют те вопросы, которые он ставит и пытается решить при помощи своего исследования[280].

Исключительно точно Робертс расставляет дисциплинарные приоритеты. Он пишет, что сравнения России и Запада не представляют интереса для антрополога, занимающегося всей совокупностью социальных организаций человечества в его прошлом и настоящем, – они кажутся ему слишком узкими. Это скорее епархия политолога, который обязательно обнаружит резкий контраст между самодержавием и демократией и расположит их на разных концах политического спектра. И, к сожалению, сравнения России и Запада будут выступать либо в качестве поддержки той нормативной позиции, на которой выстраиваются политические отношения между СССР и западными державами, либо как основа для политических прогнозов[281].

Другой участник дискуссии, Марк Шефтель, указывает на хронологические проблемы, возникающие при сравнении России и Западной Европы. В истории России существовали периоды, когда ее политическое, социально-экономическое и культурное развитие шло в полном соответствии с европейскими принципами. В XVIII в. меркантилизм и крепостное право, а также абсолютная монархия являлись вполне европейскими чертами, лишь после 1848 г. Россия оставалась единственной страной, где сохранялось крепостничество и абсолютизм, но в 1861 г. крестьянство было освобождено, а судебная реформа 1864 г. ограничила абсолютизм. И конечно, после 1905 г.

[280] *Roberts H.L.* Russia and the West… P. 9, 11
[281] Ibid.

Россия во всех отношениях стала представлять собой часть Европы. Далеко не во всем отличалась от Европы и Московия XVI–XVII вв. Иными словами, если посмотреть с точки зрения исторической, соотношение изменялось от эпохи к эпохе[282]. Робертс, в свою очередь, напоминает, что в истории России был момент, когда споры о ее принадлежности к западной цивилизации утратили свое значение. Это было в начале XX в., когда культурные достижения серебряного века свели на нет пресловутое «запаздывание». А затем Первая мировая война и революция прервали развитие, хотя в русле теории модернизации октябрь 1917 г. и трактуется многими как одна из «модернизирующих» революций, прокатившихся по миру в последние три столетия[283]. В любом случае – рассматривать ли русскую революцию как разрыв, нарушивший сближение России с Западом, либо считать ее неизбежным следствием процесса модернизации, – после того, как она произошла, старый спор возродился с новой силой и принял форму антитезы «коммунизм против империализма».

Марк Раев перевел проблему сравнений России и Запада в сферу субъективности, подчеркнув, что в результате петровских реформ произошел «раскол» общества, и в среде образованной элиты постепенно возникает «двойное отчуждение»: от своей страны и от Западной Европы. По его мнению, это и сделало дебаты по проблеме «Россия и Запад» столь болезненными и легко подверженными политизации. Именно благодаря сильному желанию идентифицировать себя с Западом и пониманию, что российские реалии с этим несовместимы, в русской истории возникли такие фигуры, как Чаадаев и Печорин. А несоответствие европейских реалий идеальным представлениям о них вызвали к жизни резкое их отторжение, и не только у Герцена и Бакунина[284]. Фактически здесь представлена

[282] *Szeftel M.* The historical limits… P. 25–26.
[283] *Roberts H.L.* Russia and the West… P. 5, 12.
[284] *Raeff M.* Russia's perception of her relationship with the West // Slavic review. 1964. Vol. 23. N 1. P.14-15.

концепция Раева, более подробно разработанная в его вскоре вышедшей монографии о происхождении русской интеллигенции[285]. Взяв в качестве отправной точки хорошо знакомую по русской классической литературе фигуру «лишнего человека», он двинулся назад, в XVIII век, и обнаружил корни этого явления в петровских и затем екатерининских реформах.

Раев не дает в своей статье прямого ответа на вопрос, принадлежит ли Россия к западной цивилизации. У Раева она, с одной стороны – участница общеевропейской истории, с другой – обладает рядом особенностей, отличающих ее от Европы. Поскольку в центре его внимания находится субъективное восприятие (Раев настаивает, что восприятие современников является основным конституирующим элементом картины, причем изменяющимся во времени), ответ на этот вопрос и не предполагается. Главный тезис Раева заключается в том, что всегда следует учитывать, для кого и с чьей точки зрения Россия является (или не является) частью Запада. Напоминает он и том, что проблема принадлежности России к западной цивилизации во весь рост встала лишь в 1830–40-е годы, причем одновременно и в России, и в Европе. Однако Раев не связывает этот факт ни с рождением национализма, ни с развитием таких интеллектуальных течений, как романтизм. Для него это «эпоха либерализации», и на ее фоне российская тирания и крепостничество выглядели особенно мрачно для таких критиков, как маркиз де Кюстин.

В позиции и Шефтеля, и Раева просматривается европоцентризм особого рода, характерный для историков российского происхождения. Он заключается в признании абсолютной ценности «Европы» как эквивалента «цивилизованности». Той же позиции придерживались и Карпович, и Берлин, доказывавший, что идеи русских западников (славянофилов он предпочитал не замечать, во всяком случае не придавал им большого

[285] *Raeff M.* Origins of the Russian intelligentsia; the eighteenth-century nobility. New York, Harcourt, Brace & World, 1966.

значения)[286] являются неотъемлемой частью европейской мысли. Вестернизация для них обладала безусловной ценностью, и по-настоящему образованный русский человек должен был быть «европейски образованным». В каком-то отношении эти ученые также вносили свой вклад в противостояние времен холодной войны. Во всяком случае, их позиция подразумевала противопоставление либерального Запада, который они защищали, «тоталитарному» СССР. Лишь американец Робертс вполне осознанно пытается дистанцироваться от европоцентризма. Не отрицая необходимости защищать свою позицию в современных условиях идеологических, дипломатических и моральных противоречий с Советским Союзом, он призывает отстаивать свои ценности и принципы на том основании, что «мы верим в них, а не потому, что они являются «западными»[287].

Материал журнальной дискуссии фиксирует состояние исторического знания о России (и не только о России) на Западе в начале 1960-х годов. Фиксирует он и преобладавший тогда в западной русистике интерес к истории идей и особенно к истории русской интеллигенции.

Наиболее развернуто предложенные Робертсом в дискуссии 1964 г. подходы были использованы Мартином Малиа в концепции «культурного градиента». Технический термин «градиент» (вектор движения, направленного вниз по склону; постепенный спуск) в применении к культурной и интеллектуальной истории означает продвижение во времени и пространстве с запада на восток европейского континента, и в этом континууме Россия являлась крайней восточной точкой, «арьергардом Европы», который находится в самом низу «склона». Представление об однонаправленном движении через европейский континент лежало в основе таких известных концепций, как германский Sonderweg (особый путь),

[286] См. об этом: *Mason A.* Isaiah Berlin’s Russian Thinkers and the argument for inclusion // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History. 2012. Vol.13, N 1. P. 195.
[287] *Roberts H.L.* Russia and the West. P. 11.

польский мессианизм и теории российской «отсталости». Как показал в 1960-е годы Александр Гершенкрон, европейские аграрные общества чем восточнее, тем были более отсталыми, государства – все более деспотичными, в то время как идеи начинали играть все более важную роль. Эти представления и были осмыслены и сведены воедино М. Малиа[288].

Концепция «культурного градиента» Мартина Малиа, создававшаяся в контексте холодной войны, отражала определенную идеологическую позицию и была «мягче» в том отношении, что подключала к анализу всю глубину исторического знания. Она напоминала: отношения между Россией и «Западом» в разные времена были разными и включали в себя совершенно разные понятия, анализировать их следует в терминах восприятия, а не только в рамках дипломатии и политики. Концепция «культурного градиента», считая Россию европейской страной, предлагала рассматривать Европу как конгломерат отдельных культур и множество «особых путей» развития, и соответственно изучать взаимодействие и взаимопроникновение идей и политических практик в этих культурах, будь то Англия и Франция, или же Германия, Россия и Польша.

Изучение России в ее взаимодействии с Западом, проводившееся в рамках интеллектуальной истории такими представителями старшего поколения, как М. Раев, Н. Рязановский, М. Малиа, во многом основывалось на представлениях их учителей – Карповича, Берлина, Гершенкрона. Подготовленные ими ученики развивали эту более «мягкую» линию, что впоследствии позволило пересмотреть подход к интерпретации проблемы «Россия и Запад»[289]. С точки зрения методологической, наблюдения Г. Робертса, высказанные в рассмотренной дискуссии, оказались

[288] *Malia M.* Russia under Western eyes. Большая часть книги была написана в 1960-е годы, но автор долго откладывал написание последней части, посвященной советскому периоду.
[289] См., в частности, сборник: The cultural gradient: The transmission of ideas in Europe, 1789–1991. Rowman and Littlefield, 2003. Интересно, что Малиа в итоге не избежал увлечения политикой и издал знаменитую книгу о «советской трагедии», встреченную неоднозначно сообществом историков-русистов.

исключительно верны: по мере того как политическая история в Russian studies отступала перед натиском социального подхода, сравнения России и Запада утрачивали свою остроту, хотя и оставались основополагающими. Они перестанут быть значимыми гораздо позднее, с возвышением в 1990–2000-е годы культурной истории (где роль антропологии особенно сильна).

Однако в контексте 1950-х годов, когда научная карьера представителей первого послевоенного поколения историков-русистов – «отцов», получивших профессиональную подготовку в только что открывшихся университетских центрах США, только начинала разворачиваться, «первую скрипку» в изучении русской истории играли немногочисленные слависты, начавшие свою научную деятельность до войны, и эмигранты из России и Европы. Их работы, наряду с довольно большим количеством дилетантских текстов, написанных теми, кто побывал в России или просто интересовался ею, составляли тогда массив литературы, которую условно можно было бы назвать «россиеведческой». История не играла в ней заметной роли, поскольку в центре внимания находился «текущий момент». Лишь к концу 1960-х годов накапливается корпус научных текстов, достаточный для того, чтобы говорить о складывании профессионального исторического дискурса о России. Он выковывался в противостоянии с публичным дискурсом, представленным тогда не только политической публицистикой, но и бестселлерами разного жанра: беллетристикой, документальными и описательными текстами, обобщающими трудами, находившимися на грани научной и популярной литературы. Многие из них встречали отпор историков в виде рецензий в специальных журналах «Slavic review» и «The Russian review».

В большинстве произведений такого рода Россия подавалась как страна, не принадлежащая к западной цивилизации и во многом ей противоположная. При этом с той или иной интенсивностью использовались

негативные стереотипы и метафоры, получившие широкое хождение еще в прошлом веке: самодержавный деспотизм, бедное и отсталое крестьянство, смиренная покорность власти, – что не отменяло возможности восхищаться российской самобытностью. Этот консервативный образ, сложившийся на рубеже XIX–XX вв., включал в себя «ориентализацию» России, обладавшую всеми чертами, присущими «Востоку»: статичностью в противоположность динамизму, женственной эмоциональностью – в противоположность рационализму и логике, неразвитостью индивидуализма и склонностью к коллективизму, что имело прямое отношение к свободе и правам личности. Ее экзотичность для западного наблюдателя усиливалась многократно в условиях холодной войны из-за закрытости страны, так что Россия / СССР продолжала оставаться «загадкой».

Превалировавший в публичном дискурсе образ «извечной» Руси (eternal Russia), в которой почти ничего не изменилось с эпохи Ивана Грозного, выглядел по-разному в разные исторические моменты. В условиях резко антисоветского климата первой фазы холодной войны он демонизировался: на передний план выдвигались такие «исконно российские» черты, как деспотизм, милитаризм (экспансионизм) и мессианство. Немного позднее, когда снизился накал страстей, «экзотизация» самобытной России стала всего лишь удобным литературным приемом, позволяющим захватить внимание читателя. Однако в любом случае ее образ выступал в качестве антитезы «свободному миру». В историографическом дискурсе консервативный образ России имел ограниченное хождение, поскольку с выходом на сцену теории модернизации преобладать начинает другой, либерально-универсалистский, ставящий во главу угла идею линейного прогресса, а не статики.

2.3. Новые теории и подходы: конец 1950-х-1960-е годы[290]

Второе десятилетие в истории «русских исследований» носило переходный характер, когда наряду с ростом научной инфраструктуры происходит сложный процесс смены научной парадигмы, на которой первоначально строилась новая дисциплина. К концу 1950-х годов идея о непрерывности в историческом развитии России, так же как и «теория тоталитаризма» теряют свои позиции. По замечанию А. Рибера, процесс десталинизации поставил под сомнение такие утверждения, как органический характер террора при коммунистическом режиме, а «оплот теории тоталитаризма» – междисциплинарные центры региональных исследований – «начали испытывать воздействие альтернативного подхода в области социальных наук, получившего название «модернизации»[291]. Вторая конференция, посвященная проблемам преемственности и изменений в истории России, прошла в Гарримановском институте в апреле 1958 г. и отразила те новации в социальных науках, которые начинали утверждаться в англоязычной русистике и определили ее облик на предстоящие три десятилетия[292].

Однако это уже была иная эпоха – хрущевская «оттепель», когда начались «ознакомительные» поездки американских историков в СССР, а после полета первого советского спутника было подписано советско-американское соглашение о культурном обмене, позволившее студентам,

---

[290] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Парадигма модернизации в англо-американской русистике (Российская империя) // Политические науки. Политическое развитие и модернизация: современные исследования. 2003. С.141-159; *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М., 2008; *Большакова О.В.* 50-летие Октября на страницах американской научной периодики // Российская история. 2018. № 6. С. 57-64; *Большакова О.В.* Кризис российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171.

[291] *Рибер А*. Изучение истории России в США. С.86.

[292] The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861. Cambridge (Mass.), 1960.

аспирантам и профессуре часто и подолгу бывать в стране и работать в архивах. Для характеристики морального климата в США в конце 1950-х годов достаточно сказать, что принятый в 1958 г. Конгрессом закон об изучении важных со стратегической точки зрения иностранных языков назывался Sputnik Act, поскольку русский был самым важным из них. Благодаря этому закону в течение 10 лет количество изучающих в колледжах и университетах русский язык и страну в целом удвоилось. По наблюдению Д. Энгермана, организаторам науки и образования в США удалось преодолеть «болезнь роста» начального периода, когда центры по изучению России / СССР нацеливались на изучение врага. Теперь речь шла о русском языке как части гуманитарного образования, необходимого для получения знаний об одной из важнейших мировых культур[293].

Беспрецедентный рост русских исследований в Америке носил в этот период как экстенсивный, так и интенсивный характер. Росло количество университетов, в которых читались курсы по истории и культуре России / СССР (к 1964 г. их стало почти 400), но при этом совершенствовались уже существующие программы, расширялся их тематический охват. Растет число студентов и аспирантов, докторские дипломы исчисляются уже сотнями, причем наряду со старыми центрами в Гарвардском и Колумбийском университетах играют роль новые – Индиана, Висконсин, Нью-Йоркский университет. Реорганизуется Американская ассоциация славянских исследований (AAASS). В конце 1960-х годов среди ее приблизительно 2000 членов преобладали историки и политологи. Журнал, выходивший при Ассоциации, получает название “Slavic review”, подписка на него к 1962 г. вырастает до 2100. Благодаря увеличению количества специалистов, исчезает проблема дефицита материалов: новый редактор журнала Д. Тредголд

[293] *Engerman D.* Know your enemy. P. 3-4.

отвергал 3 из четырех присланных рукописей[294]. Острота проблемы с публикациями несколько снижается благодаря появлению в 1950-х – начале 1960-х годов новых периодических изданий – таких, как Harvard Slavic studies, California Slavic studies и др. А в 1964 г. в Гарварде организуется совершенно новый по своему характеру журнал, получивший русское название «Критика». Задуманный Р. Пайпсом как чисто «педагогическое» предприятие для обучения его многочисленных аспирантов искусству написания рецензий, этот журнал сыграл большую роль в развитии исторических исследований России.

Как показало исследование Д. Энгермана, в притоке студентов, желавших специализироваться по России, наблюдались два пика: 1949 и 1958 гг.[295] Первый из них ассоциируется с историками старшего поколения – «отцами», как их окрестил М. Дэвид-Фокс, а второй носит в каком-то смысле промежуточный характер, поскольку поколение «детей» пришло в науку в конце 1960-х. Между тем именно к этому «промежуточному» поколению принадлежат такие историки, как Альфред Рибер, Теренс Эммонс, Дэниел Филд, Ричард Уортман и другие, крайне много сделавшие для американских исследований императорской России.

Основные дисциплины, практиковавшиеся в россиеведческих центрах США (экономика, политология, история, социология, филология), достигли к этому времени серьезной степени зрелости. Центральное место в учебной программе занимала история, что вело к ее явному доминированию (как считалось, в ущерб решению прикладных политических задач). В то же время междисциплинарный характер русских исследований так и не получил необходимого развития. Все это способствовало накоплению внутренних противоречий, что привело к более чем существенному сокращению

[294] Ibid. P. 72, 78, 82. Для сравнения, подписка на другие специальные журналы, например, на American historical review, была в несколько раз больше.
[295] *Engerman D.* Know your enemy. P. 82.

финансирования, кризису, а затем и серьезной перестройке дисциплины после 1968 г.

В Великобритании изучение России также было введено в рамки региональных исследований, однако развивались они куда более скромно, главным образом в Оксфорде, Кембридже, Манчестере и Школе славянских и восточноевропейских исследований при Лондонском университете. Лишь в 1961 г. правительство рассмотрело доклад посла в СССР Уильяма Хейтера, который рекомендовал финансировать исследования России, в частности, по истории и общественным наукам, после чего и началось расширение инфраструктуры[296]. В результате открылось несколько центров, в частности, в Бирмингеме и Суонси, однако это принесло свои плоды позднее, уже в 1970–80-х годах. Соотношение Russian studies в Северной Америке и Великобритании можно проиллюстрировать данными о докторских диссертациях, принятых к защите в этих странах в 1965 г. В США и Канаде по всему региону СССР и Восточной Европы было представлено 123 докторских диссертации, из них по дореволюционной истории России 29, по советской – 15 (однако исследования по истории СССР еще не достигли профессионального уровня, их трудно отделить от социологических и политологических работ). В Великобритании цифры совершенно иные: из представленных девяти диссертаций истории России посвящено две[297].

Совершенно особой была ситуация в Канаде: изучение истории России и СССР следовало там в фарватере американской русистики, с бóльшим, однако же, акцентом на изучении языка и литературы, чем истории и политики. Благодаря тесным связям с США и студенты, и преподаватели

---

[296] *Эктон Э., Гэтрелл П.* Глазами британцев: современная английская историография России и Советского Союза // Россия XIX-XX вв. Взгляд зарубежных историков. М., 1996. С. 29.

[297] Подсчеты произведены по материалам: *Dossick J.J.* Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, and Eastern Europe accepted by American, Canadian, and British universities, 1964-1965 // Slavic rev. 1965. Vol. 24. N 4. P.752-761; *Id.* Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, and Eastern Europe accepted by American, Canadian, and British universities 1965–1966 // Slavic review. 1966. Vol. 25. N 4. P. 710–717.

свободно курсировали из американских в канадские университеты и обратно. В результате такого экстенсивного типа развития соглашение об обменах между СССР и Канадой было подписано только в 1971 г.[298]. Те же тенденции, но в еще большей степени, были характерны для Австралии[299].

В ФРГ в 1950-е годы также происходят заметные подвижки в развитии исторических исследований России и Восточной Европы: возникают новые центры и институции. В частности, при Берлинском свободном университете, крупнейшем в Германии центре по изучению региона, в 1951 г. создается Институт Восточной Европы (Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin). Он приступил к выпуску «Исследований по восточноевропейской истории» (Forschungen Zur Osteuropäischen Geschichte), многотомного издания, из года в год публиковавшего монографии и подборки статей. В 1959 г. возобновляется издание журнала Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas, который со временем стал важной площадкой для всего зарубежного россиеведения (в частности, в нем публиковались спорные – либо программные – статьи американских историков-русистов)[300].

Во Франции, где подъем в изучении России и переориентация с филологического на социально-исторические исследования начался после Второй мировой войны, также заметны определенные успехи. После того, как Министерство народного образования Франции ввело преподавание русского языка в некоторых лицеях и одновременно увеличило число кафедр славянских языков (прежде всего русского) и литературы в университетах, была создана база для изучения истории России / СССР. Она стала отдельной дисциплиной на кафедрах ряда университетов. Наряду с Институтом славяноведения в Париже, основанным еще в 1923 г. (основное издание –

---

[298] *Ван Меенен М.А., Уорак-Хемметт Р.К.* Изучение российской (и советской) истории в Канаде // Россия XIX-XX вв. Взгляд зарубежных историков. М., 1996. С.101.

[299] *Sakwa R.* The Australian contribution to Soviet, East European and Russian studies // Contemporary Europe Research Centre. Working papers. N 1. Melbourne, 2004.

[300] Kappeler A. Between science and politics… P. 46-47.

«Revue des etudes slaves»), возникают новые центры изучения СССР, в том числе кафедра истории, географии и культуры в Школе живых восточных языков, Центр по изучению СССР и восточноевропейских стран при Страсбургском университете (1959), Центр по изучению истории славян в Сорбонне (1960 г.). Центр по изучению СССР и Восточной Европы при VI отделе Высшей школы практических исследований (позднее Школе высших исследований по социальным наукам) открылся в 1959 г., его возглавил Ф.Бродель. С 1959 г. центр начал издавать журнал «Cahiers du monde russe et sovietique»[301]. Отмечается, что большое влияние на русистику в первые послевоенные десятилетия оказала Школа «Анналов», нацеливавшая исследователей на комплексный анализ прошлого, с учетом не только социальной, политической и экономической обстановки, но и юридических, культурных, языковых и других отношений. Кроме того, школа «Анналов» пропагандировала независимость исторической науки от политики[302]. В то же время подчеркивается и такая особенность французского россиеведения, как отсутствие вовлеченности в идеологическую борьбу – притом, что основное внимание во Франции всегда уделялось истории СССР[303].

При всем индивидуальном характере французского росиеведения, в его развитии заметны сходства с англо-американскими Russian studies – первоначальное преобладание русских историков-эмигрантов, особенно в межвоенный период, создание центров региональных исследований после Второй мировой войны, методологической основой которых становилась цивилизационная парадигма. Наконец, сознательное дистанцирование от политики при неуклонном наступлении советологии. Но по своему масштабу

---

[301] *Мингереш Ю.В.* К вопросу об изучении истории России во Франции… С. 127-132; *Сироткин В.Г.* Изучение истории России во Франции // Вопросы истории. 1967. № 1. С. 173-180.

[302] *Мингереш Ю.В.* Ук. соч. С. 129.

[303] *Трубникова Н.В.* Основные исследовательские парадигмы французского россиеведения в 1990-2010-х гг. // Изучение России современными историками Запада и Востока: Коллективная монография. М., 2019. С. 9-10.

французское россиеведение было несопоставимо с американским, да и в методологическом отношении существовали определенные различия.

В США неуклонный рост инфраструктуры региональных исследований сопровождался трудностями методологического характера, связанными с пересмотром лежащего в их основе цивилизационного подхода. В 1950-е годы с возникновением теории модернизации начинается постепенное размывание самих оснований, на которых строились региональные исследования как особая отрасль знания: присущая им описательность сменяется применением математических методов, построением социологических моделей, количественным анализом массовых источников.

Собственно говоря, теория модернизации явилась лишь одним проявлением того резкого ускорения в развитии общественных наук, которое произошло в середине XX в. В эти годы происходит крупнейший поворот в их методологии. На смену традиционной истории приходит «новая историческая наука», обогащенная теоретическими методами и моделями, заимствованными из других общественных наук, среди которых первое место занимала социология. Сближение истории и социологии на Западе началось с конца 1950-х годов, и для нового поколения историков того времени «научно-познавательный идеал воплощался в социологии, а будущая история мыслилась как социально-научная, социально-структурная, наконец, как история социальной системы»[304]. Важную роль здесь сыграло возрождение интереса к наследию М. Вебера и его политической социологии.

В США активная роль в сближении истории и социологии принадлежала социологам, которые выступили инициаторами проведения целой серии сравнительных исследований и привлекли к этой работе политологов, историков и экономистов. Центральное место в них занимали категории традиционного и индустриального общества, т.е. давно уже известная

[304] *Репина Л.П.* «Новая историческая наука»... С.9; 12-13.

оппозиция, столь актуальная в XIX – начале XX в., получившая свою разработку в трудах М. Вебера. И в соответствии с либерально-универсалистской исторической схемой, унаследованной от XIX в., развитие общества рассматривалось как процесс эволюции, имеющий одни и те же закономерности и этапы (стадии) у всех стран и народов. При этом образцом, «моделью», к которой должны стремиться все страны, в данном случае признавалось современное индустриальное общество, сложившееся в государствах Западной Европы и США – на «Западе», как он понимался в середине XX в. Главной его характеристикой являлась парламентская демократия как воплощение «свободы», противоположной «рабству». Нерасторжимо связанными с категорией свободы считались капитализм и его атрибуты – частная собственность и свободный рынок, благодаря которым в индустриальных странах сформировалось общество массового потребления и сложилось государство всеобщего благосостояния (благоденствия).

В основе нового подхода лежала категория прогресса, которая тогда выступала в облике идеи «развития». Соответственно, оппозиция «развитость – отсталость» стала в 1950–1960-е годы основополагающей для наук об обществе и была призвана объяснить как настоящее, так и прошедшее. Была выстроена градация развитости тех стран, которые находятся в процессе перехода от доиндустриального («традиционного») общества к модерному индустриальному. Совершавшийся в разных странах в разное время, он получил название «модернизации». Основные характеристики этого процесса, его движущие силы и препятствия, стоящие на его пути, стали предметом глубокого изучения социологов и политологов[305].

[305] См., например, следующие работы по сравнительной политике и социологии: *Apter D.E.* Politics of modernization. Chicago: University of Chicago Press, 1965.; *Black C.E.* The dynamics of modernization; *Eisenstadt S.N.* The political systems of empires. Glencoe, 1963; *Eisenstadt S.N.* Modernization: Protest and change. Englewood Cliffs, 1966; *Levy M.* Modernization and the structure of societies: A setting for international affairs. Vol.1-2.

Существенной особенностью исследований 1950–1960-х годов являлось представление о прямой связи (корреляции) между уровнем экономического развития и политической свободой (ассоциирующееся прежде всего с именем Сеймура Липсета[306]). Эта идея легла в основу программ помощи странам, проходившим процесс деколонизации и получившим на Западе название слаборазвитых (позднее – развивающихся). Им следовало помочь пройти в ускоренном порядке этапы экономического развития и достичь конечного пункта – стадии общества массового потребления. Тогда считалось, что достижение определенных экономических показателей при помощи таких инструментов, как свободный рынок, автоматически приведет и к демократии. С тех пор эти наивные представления уступили место более глубоким культурно-ориентированным подходам, идеи модернизации (или же вестернизации) резко критиковались теоретиками зависимого развития, а затем были окончательно развенчаны постколониальными исследованиями, всерьез взявшимися за прогрессизм и европоцентризм.

Теория модернизации долгое время являлась одним из ведущих аналитических инструментов исторических исследований России на Западе. «Российская модель» модернизации в западных исследованиях пережила взлеты и падения, имела своих устойчивых сторонников и оппонентов, критиковавших ее как с идеологической, так и с методологической точки зрения. И хотя к настоящему времени теория модернизации в изучении истории России на Западе отошла на задний план и вытеснена другими парадигмами, связанные с ней идеи и представления оказались, по выражению одного американского историка, «удивительно живучими»[307].

Princeton, 1966; *Sinai R.* The challenge of modernization: The West's impact on the nonwestern world. 1964.

[306] *Lipset S.M.* Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy // The American political science review. 1959. Vol.53, N 1. P. 69-105.

[307] *Waugh D.C.* We have never been modern: Approaches to the study of Russia in the age of Peter the Great // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Stuttgart, 2001. Bd 49, H.3. S.321-345.

Модернизационный подход был применен к изучению истории России в 1950-е годы. Поворотным пунктом стала уже упоминавшаяся конференция «Преемственность и изменения», материалы которой были опубликованы в фундаментальной коллективной монографии «Трансформация русского общества»[308]. Среди участников были такие известные специалисты, как Т. Парсонс, А. Гершенкрон, З. Бжезинский. Символично, что том открывается очерком Парсонса о «некоторых чертах индустриального общества» – это автоматически включало Россию в категорию стран, проходящих стадию индустриализации, и открывало путь к исследованию общих черт, а не отличий в истории России и Запада.

В книге рассматривается процесс социальных трансформаций в России за 100 предшествующих лет, с целью определить универсальные и уникальные аспекты модернизации страны. Исходным пунктом стал 1861 год как рубеж между «преимущественно аграрной» и «преимущественно индустриальной эрой» в России. По мнению редактора тома, американского историка и социолога Сирила Блэка, решение самодержавного правительства освободить крестьян открыло новую эпоху в социальной истории России, поэтому для изучения ее эволюции 1861 год важнее, чем год 1917 [309].

Представленные в сборнике исследования изменений, произошедших за 100 лет в экономике страны, ее политических институтах, в социальной структуре, в системе образования, науке и религии, в облике семьи в совокупности дают широкую картину общего поступательного движения. Характер этого движения и достигнутые результаты приводят к заключению, что в целом Россия «во многих отношениях» шла по тому же пути, что и модернизировавшиеся ранее страны Западной Европы.

---

[308] The transformation of Russian society.

[309] *Black C. E.* Introduction // The transformation of Russian society. P. 7; *Id.* Modernization of Japan and Russia: A comparative study / C.E. Black, M.B. Jansen, H.S. Levine et al. N.Y.; L., 1975.

Однако основное внимание авторов сосредоточено все же на особенностях «русского варианта» модернизации, которые обусловлены несколькими взаимосвязанными обстоятельствами. Это, во-первых, экономическая отсталость и оборонительная позиция Российской империи по отношению к более модернизированным странам Западной и Центральной Европы, во-вторых, – доминирующая роль государства, которое пронизывало буквально все аспекты жизни общества, и, наконец, особые, характерные именно для России «человеческие отношения и ценности».

Подведя итоги проведенным исследованиям, С. Блэк в своем «Заключении» представил обобщенную российскую модель модернизации. Влияние более развитых стран в том, что касалось военных технологий, культуры и образа жизни, представлений об устройстве общества, ощущалось в России уже в XVII в., пишет автор. Предпринятые в начале XVIII в. Петром I преобразования имели своей целью усиление государственной власти и сохранение традиционного образа жизни в условиях соревнования со странами Западной Европы, когда неудача могла означать национальное поражение. Это была первоначальная, «оборонительная» и поверхностная, фаза модернизации.

Благодаря петровским реформам Россия на долгие годы обеспечила себе стабильное положение в ряду великих европейских держав. В эпоху, когда сельское хозяйство и торговля были основным источником благосостояния, Россия, имевшая самый низкий в Европе доход на душу населения, все же могла с помощью концентрации ресурсов в руках государства относительно успешно отвечать на внешний вызов ее безопасности.

Однако к середине XIX в. ситуация значительно обострилась, главным образом из-за произошедшего в Европе промышленного переворота. В этих условиях поражение отсталой в военном и экономическом отношении России в Крымской войне «перед лицом объединенных англо-французских сил» было закономерным. Но из поражения был извлечен урок, и правительство

начало серию крупномасштабных реформ, первой из которых стала отмена крепостного права. Так же как и в петровскую эпоху, реформы носили оборонительный характер и не имели своей целью радикальную модернизацию страны, но вскоре стало ясно, что именно это и станет результатом преобразований, пишет С. Блэк. Роль модернизаторов взяли на себя Александр II и бюрократы-реформаторы, успешно осуществившие первый этап радикальной модернизации страны. Чиновники среднего звена подготовили и провели в жизнь Великие реформы 1861–1874 гг. – освобождение крестьян, реформы местного самоуправления, финансовую, судебную, военную и др., которые явились важнейшим шагом по пути трансформации страны в современное общество. Однако наследники Александра, не обладая его дальновидностью, не смогли преодолеть давление «корыстных интересов» своего окружения, так же как и «тяжкий груз традиций», чтобы продолжить его реформаторский курс[310].

Тем не менее, к 1890-м годам Россия созрела для того, чтобы совершить беспрецедентный экономический рывок, обогнав по темпам промышленного роста большинство передовых стран. Но при этом «динамичный рост» не распространился на другие сферы общественной жизни, где господствовала «система ограничений», и социальные последствия индустриализации не заставили себя ждать. Социальные противоречия и дисбалансы в начале XX в. резко возросли, что вылилось в революционные возмущения 1905–1907 гг.

В двадцатилетие, предшествовавшее революции 1905 г., действия правительства характеризуются «сочетанием экономической смелости и политической осторожности», что очень напоминает, по мнению С. Блэка, политику Японии и Турции в ранних фазах их модернизации. Он отмечает, что российская модель модернизации обнаруживает много общих черт с Турцией, Ираном, Японией и Китаем, отличаясь при этом не только от Запада, но и от современных только что освободившихся от колониального

[310] Black C.E. Conclusion // The transformation of Russian society. P.665.

гнета молодых государств Азии и Африки. Это – общества с традицией сильных, независимых и относительно централизованных правительств; модернизация в них проходит по инициативе государства. При этом целиком заимствуются западные технологии, но политические и социальные ценности вызывают к себе характерно двойственное (а часто и просто враждебное) отношение со стороны как правящих элит, так и трудящихся классов.

Все запоздалые модернизаторы испытывали давление международной конкуренции, указывает С. Блэк, но для России середины XIX в. это ощущение усиливалось тем обстоятельством, что она «имела длительную традицию национального величия»[311]. Один из авторов сборника Теодор фон Лауэ также отмечает «чрезвычайную чувствительность» России к любым угрозам ее мощи – в первую очередь из-за ограниченности ресурсов. В последние 100 лет, пишет исследователь, история России представляет собой уникальный опыт «слаборазвитой страны, которая претендовала на статус великой державы (или великой державы, которая оказалась слаборазвитой страной)»[312].

Западные ученые постоянно указывали на бедность и экономическую отсталость России как главные факторы, обусловившие особенности ее перехода к современному индустриальному обществу. Большую роль в теоретическом осмыслении этих проблем сыграла концепция «относительной отсталости» Александра Гершенкрона, разработанная им главным образом на российском материале[313].

Выходец из России, Александр Гершенкрон приехал из Европы в Гарвард после войны. Будучи в большой степени «интеллектуальным одиночкой», он относился с предубеждением к крупномасштабному

---

[311] Ibid. P.671.
[312] *Laue T. von.* The state and the economy // The transformation of Russian society. P. 209–226.
[313] *Gershenkron A.* Economic backwardness in historical perspective. Cambridge (Mass.), 1962. Эссе, написанное гораздо раньше, дало название всему сборнику и получило широкое распространение именно благодаря данному изданию.

теоретизированию и старался избегать термина «модернизация», предпочитая говорить об «индустриализации» или даже «вестернизации» отсталых стран[314]. В своей концепции он во многом следовал традиции дореволюционной русской историографии, которая основывалась на представлении о «запаздывании» России по сравнению с Европой. Его главной новацией явился тезис о преимуществах отсталости, согласно которому начавшие запоздалую индустриализацию страны способны «перескакивать» некоторые стадии экономического роста. И чем более отсталой является страна, тем мощнее будет рывок, совершаемый ею для преодоления своей отсталости. Причем в отсутствие таких важных факторов индустриального развития, как, например, наличие сильной буржуазии, в отсталых странах в ход идут «заменители» (субституции). В частности, в России и Пруссии в этой роли выступало государство.

Концепцию Гершенкрона много и обоснованно критиковали, чаще всего экономисты, но для настоящей работы наибольший интерес представляет критика с позиций исторической методологии. Наиболее резко она сформулирована в книге современного франко-итальянского историка Алессандро Станциани «После восточного деспотизма». Автор обвиняет Гершенкрона в «деконтекстуализации источников», утверждая, что идеи своего времени тот некритически приложил к весьма неоднозначным данным рубежа веков. В итоге получилось, что пример развития России в 1870–1914 гг. (и дебаты между народниками и марксистами) использовались в дискуссиях о политике по отношению к развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки в 1960-е годы[315]. Для тех лет действительно были характерны вневременные сравнения, да и придуманная тогда теория модернизации поразительно а-исторична: все страны идут по одному пути, просто в разное время.

---

[314] *Рибер А.* Изучение истории России... С. 87.

[315] *Stanziani A.* After Oriental despotism. Warfare, labour and growth, sixteeenth-twentieh centuries. L.: Bloomsbury, 2014. P. 8-9.

Но на самом деле эта концепция, как и многие другие работы Гершенкрона – удивительный сплав идей и представлений, имевших широкое хождение на рубеже XIX–XX вв. (того, что Э. Кингстон-Манн назвала «культурой модернизации»), и современных ему взглядов. Экономический дискурс рубежа веков с его идеями об отсталом крестьянстве, о преимуществах тяжелой промышленности перед легкой – а промышленности, в свою очередь, перед аграрным сектором – продолжал свое бытование и в середине XX в., а затем обрел второе дыхание в работах экономистов, социологов, крестьяноведов (возродивших идеи Чаянова).

В сборнике, посвященном трансформации русского общества, помещена статья Гершенкрона «Проблемы и модели экономического развития России», основное внимание в которой уделяется особенностям и этапам индустриализации страны. Как пишет Гершенкрон, в истории России сложилась «любопытная повторяющаяся модель развития»: военные интересы государства побуждали правительство предпринимать экономический рывок, в ходе которого основные тяготы ложились на крестьянство. Таким образом, закрепощение русского крестьянства, по Гершенкрону, было неразрывно связано с экономическими интересами страны. Через несколько лет тяжкого давления рывок иссякал, и «истощенное население медленно восстанавливало силы»[316]. Военной необходимостью была продиктована и крестьянская реформа 1861 г., которую автор, при всех ее недостатках, считает основной предпосылкой последующего промышленного роста. Условия для него созрели лишь к началу 1890-х годов, и в новом экономическом рывке присутствовали уже «европейские черты». И хотя правительство предприняло ряд реакционных мер с целью пересмотра Великих реформ, новое закрепощение крестьянства, по словам Гершенкрона, в те годы уже не являлось «делом практической

[316] *Gershenkron A.* Problems and patterns of Russian economic development // The transformation of Russian society. P.52.

политики», да и не было нужды в этой мере. Проведенные при Александре III реформы дали бюрократии достаточную власть для изъятия налогов у крестьян. Фискальные функции, которые раньше выполнял институт крепостного права, теперь с успехом могли осуществлять государственные учреждения[317].

Интерпретация Гершенкрона пользовалась большим авторитетом в англоязычных странах, и предложенная им модель экономической истории России сохраняла свое влияние достаточно долгое время. Для историков имела особое значение точка зрения знаменитого экономиста на причины революции. Указывая на слабое развитие внутреннего рынка и другие аномалии в экономике страны, Гершенкрон, тем не менее, не считал, что они должны были спровоцировать неразрешимые социальные конфликты. Он приводил убедительные цифры, свидетельствовавшие о стабильном и чрезвычайно быстром экономическом росте империи. «Если бы не война», полагал Гершенкрон, Россия продолжала бы идти по пути прогрессивной «вестернизации» – тезис, созвучный точке зрения большинства русских историков-эмигрантов, работавших в университетах США в послевоенные годы. Это позиция так называемых «оптимистов» в англоязычной русистике, считавших революцию 1917 г. событием во многом случайным, обусловленным стечением обстоятельств и в первую очередь началом Первой мировой войны.

Позицию «пессимистов», настаивавших на неизбежности революционного разрушения царского режима, представляет в сборнике Теодор фон Лауэ. Эмигрировавший в конце 1930-х годов из Германии, он учился в Принстоне и завершил свою профессиональную подготовку в Русском институте в Колумбийском университете, где прошел курс русского языка и ознакомился с междисциплинарными подходами американских

[317] Ibid. P. 52-53.

социальных наук[318]. Под влиянием увлечения глобальным подходом он выбрал для своего исследования тему индустриализации, которая в тот момент представлялась важнейшей проблемой как для СССР, так и для развивающихся стран Третьего мира. Его крайне интересовали международное соперничество, ассоциировавшееся с политикой силы, и индустриализация как ключевой для XX в. фактор – поскольку считалось, что любая страна, которая не смогла провести индустриализацию, в конечном счете исчезнет с карты мира.

Проблема российской индустриализации была практически не изучена в то время на Западе, и фон Лауэ явился здесь первопроходцем. Он подготовил работу, посвященную взглядам и деятельности С.Ю. Витте[319]. В отсутствие доступа к советским архивам он провел год в Финляндии (1954–1955), где нашлось достаточное количество полезных материалов. Поездка на месяц в Москву и Ленинград летом 1958 г. оставила тяжелые впечатления, в особенности отсутствие элементарной цивилизованности в сочетании с «бесчеловечностью советской системы», что утвердило историка в его убеждении о чрезвычайной отсталости России. Книга готовилась долго и вышла в свет только в 1963 г., а буквально через год фон Лауэ опубликовал вторую книгу, которая стала поистине бестселлером эпохи холодной войны: «Почему Ленин? Почему Сталин? Переоценка русской революции, 1900–1930 гг.»[320]. Сам автор считал, что столь широкую популярность его книга приобрела потому, что писал он не с прозападных или антикоммунистических позиций, искажавших историю России, а как человек «со стороны», проникнувшийся, однако же, сочувствием к тем трудностям, которые испытывала отсталая страна на пути к прогрессу[321].

---

[318] См. интервью с Т. фон Лауэ в кн.: Speaking of history. Conversations with historians / Ed.by Adelson R. Michigan, 1997. P. 230-231.
[319] *Laue N. von.* Sergei Witte and the industrialization of Russia.
[320] *Laue N. von.* Why Lenin? Why Stalin?
[321] Speaking of history. P.232.

Скорее секрет популярности его книг заключался в другом. Прежде всего, они были очень хорошо написаны, что в принципе характерно для работ историков старшего поколения. Особенно цельное впечатление оставляет биография Витте, которая не без оснований вошла в «золотой фонд» американской историографии о России. До сих пор «система Витте», столь ярко и убедительно обрисованная фон Лауэ, занимает центральное место в университетских курсах по истории Европы, когда речь идет об индустриализации, проводившейся государством[322].

Его книги явились своего рода памятниками эпохи, как в капле воды отразив в себе популярные тогда идеи и, как теперь видится, предубеждения и предрассудки. Фон Лауэ исходил из того, что Россия – страна, абсолютно непохожая на Запад, от которого она безнадежно отстает. Сочетание «родных» российских и передовых западных элементов создавали ту двойственность, которая определяла как мировоззрение элиты, так и особенности экономической и социальной жизни страны. Противоречива была личность героя его книги, нарастанием неразрешимых противоречий характеризовалась и вся история России начала XX в.

В представлении фон Лауэ современное (modern) общество ассоциировалось с частной инициативой и парламентской демократией, а Россия в своем историческом развитии пошла по другому пути. Он неоднократно отмечал, что либерально-конституционный путь развития в России не имел шансов на успех, поскольку высокие темпы индустриализации были чреваты социальным взрывом, а самодержавие было неспособно предотвратить его. Революция была неизбежна, и война, считал фон Лауэ, не меняла в корне ситуацию, поскольку даже в мирное время неразвитый городской сектор экономики и узкая «европеизированная» прослойка элиты не могли противостоять массе крестьянства и

[322]См.: *Wcislo F.* Rereading old texts: Sergei Witte and the industrialization of Russia // Russia in the European context, 1789-1914: a member of the family / Ed. S.McCaffray and M.Melancon. N.Y., 2005. P. 71.

ассимилировать политически отсталые нерусские народности. Детерминистский подход Т. фон Лауэ отличается жесткостью оценок. Он абсолютизирует роль государства в управлении экономикой страны, подчеркивает насильственный характер индустриализации, навязанной «извне», не видит и не допускает существования внутри страны сил, способных к созидательной деятельности «снизу». В своих выводах он пошел значительно дальше Блэка и Гершенкрона, утверждая, что Россия могла преодолеть отсталость только путем революции «сверху», и в этом отношении Ленин и Сталин являлись наследниками Витте[323].

Экономическая политика самодержавия предстает в работах историков старшего поколения «рабой» государства, занятого исключительно преодолением отсталости. Такую же подчиненную роль играли правовые институты, которые иногда работали на «замораживание» существующих социальных структур, а иногда – на их реформирование. Все авторы сборника признают выдающуюся роль государственной власти в модернизации России, отсюда внимание к политическим институтам империи, в том числе к исполнительной власти, т.е. бюрократическому аппарату с самодержцем во главе.

Применение к изучению истории России парадигмы модернизации, реализованное в томе «Трансформация русского общества», стало предметом горячих дискуссий. Наряду с многочисленными достоинствами представленных исследований историки отмечали и методологическую слабость приверженцев компаративного историко-социологического подхода – склонность к чересчур широким сравнениям и обобщениям, отсутствие историчности и глубины анализа, «верхоглядство», ведущее к фактическим ошибкам и искажениям, и даже курьезам. При «взгляде с птичьего полета» оказались утрачены не только важнейшие для понимания исторической действительности «частности», но и такие центральные вехи, как революции

[323] *Laue T. von.* The state and the economy. P. 242.

1917 года. Однако, при всех нареканиях, время показало, что издание заложило основы и во многом предопределило направления исследований российского общества в рамках теории модернизации, которые получили свое развитие в последующие двадцать лет.

Многообразие точек зрения на путь российской модернизации отразилось в дискуссии, опубликованной на страницах журнала «Славик ревью» в 1961 г., в которой приняли участие С. Блэк, Х. Сетон-Уотсон и Н. Рязановский. Впоследствии эти материалы, как методологически важные, были переизданы в сборнике «Развитие СССР: Обмен взглядами»[324].

С. Блэк практически повторяет в журнальной статье свою модернизационную модель развития России, подчеркивая, что реформы и Петра I, и Александра II были нацелены на достижение «консервативной стабильности» и вовсе не имели в виду широкую социальную трансформацию. При этом он делает больший акцент на проблеме лидерства и роли идей, т.е. на особенном и случайном в процессе модернизации страны[325].

Весьма показательна позиция британского историка Х. Сетон-Уотсона, в которой давние негативные стереотипы сочетаются с новым сравнительным подходом. Он выделяет «уникальные» черты российской истории, резко отличавшие Россию от западных стран. Это, во-первых, географический фактор, который играл главную роль в формировании самодержавия: обширность территории, отсутствие таких естественных преград, как Ла-Манш или Пиренеи, оставляли открытыми границы и заставляли Россию постоянно находиться в оборонительной позиции. Любопытно, как британский историк сравнивает Россию с Соединенными Штатами. Если для Америки открытые пространства прерий представляли собой «окно возможностей» и являлись фактором «свободы», то в России степь несла в

[324]The development of the USSR: An exchange of views / Ed. by Treadgold D. Seattle, 1964.
[325] *Black C.* The nature of imperial Russian society // Slavic review. 1961. Vol. 20, N 4. P. 566.

себе угрозу набегов кочевников и, соответственно, подталкивала к «деспотизму». «Тяжелая рука» русского самодержца настигала предприимчивых подданных и в Сибири, в то время как между Англией и ее американскими колониями лежал океан[326]. В рамках бинарной оппозиции «американская свобода – российский деспотизм» все сравнения оказываются для России негативными – не берутся в расчет ни войны, которые велись на Американском континенте в ходе экспансии, ни тот факт, что для освобождения от британского владычества потребовалась революция. Что уж говорить о большей трудности перемещения по суше, чем по морю, когда путешествие, скажем, в Тобольск, занимало несколько месяцев – эти аргументы не имеют никакой силы. «Предзнание» о российском «деспотизме», который ассоциируется с угрозой, жестокостью, уязвимостью, формирует образ России и, соответственно, позицию Сетон-Уотсона.

Он солидарен с Блэком в том, что вмешательство государства в жизнь подданных, регулирование и контроль были исключительно сильны, но убежден, что Блэк недооценивает силу самодержавия, когда речь идет о дворянстве. В ход идет старый тезис об «отсутствии» в России как «необходимых» политических институтов, так и сильного дворянства, отдавшего все на откуп центральной власти. Возражает британский историк и против вывода Блэка о «менее империалистском» характере российской экспансии, считая, что в данном случае имело место такое же завоевание, как и все другие, не лучше и не хуже в моральном отношении, просто разнообразнее по своим формам.

При этом нельзя отказать Сетон-Уотсону в знании материала и проницательности. Выделяя еще одну уникальную черту, отличавшую Россию от других великих держав – православие, он совершенно справедливо указывает на тот факт, что роль Церкви, особенно для XIX в., очень сильно недооценена, причем не только «большевистскими», но и

[326] *Seton-Watson H.* Russia and modernization // Ibid. P. 583-584.

дореволюционными историками. Уникальность России, по его мнению, заключалась также в «крайне неудачной» политике в области просвещения, которая только расширяла «культурную пропасть» между элитой и низами. Давний постулат о существовании «двух Россий» (одна представлена «цивилизованным» образованным классом, другая же – «варварским» крестьянством) получил новое оформление в русле теории модернизации. Теперь это разрыв между «европеизированной» (или «вестернизованной») элитой и «традиционным» крестьянством, что считается обычным явлением для всех модернизирующихся обществ, осуществляющих переход к состоянию «современности».

Собственно к теории развития Сетон-Уотсон переходит, касаясь вопроса о среднем классе, и подчеркивает, что этот феномен характерен только для Европы после Реформации, когда получил распространение «буржуазный этос» – индивидуализм. Совершенно иначе обстоит дело в развивающихся странах, к которым он относит и Россию послепетровского времени. Там существовали три группы, так и не слившихся воедино: предприниматели (купцы), бюрократия (чиновники) и интеллектуальная элита (интеллигенция). Они не смогли выработать буржуазного сознания и стать «двигателем индустриализации». Указывая на общие черты всех развивающихся обществ, Сетон-Уотсон не видит особых различий между Россией XIX в. и африканскими странами середины XX в. Он противопоставляет «Запад» всем остальным странам, которые развиваются по единой модели, независимо от своих историко-культурных особенностей. Пренебрегая фактором исторического времени, он проводит параллель между русскими «интеллигентами-революционерами» и, например, Патрисом Лумумбой, считая, что русских отличал лишь «чрезмерный идеализм», обусловленный православием[327]. В его интерпретациях

[327] Ibid. P. 586.

просматривается характерная для британской историографии еще начала XX в. позиция “the West and the rest”.

Н. Рязановский, напротив, склонен подчеркивать скорее сходства, нежели различия между Россией и Европой, полагая вслед за своим учителем Карповичем, что такой подход поможет лучше понять историю России XIX века. Он критикует теорию модернизации за имманентно присущий ей детерминизм, заложенный в самой ее логике. Указывает Рязановский и на склонность теоретиков модернизации отождествлять традиционное общество со статикой, а современное – с динамикой, в то время как всем известно, что доиндустриальный период характеризуется постоянной эволюцией. Кроме того, Рязановского не устраивает свойственный модернизационной парадигме нормативный подход: при всех декларациях о «равноправии» стран, тот же Блэк судит об их «развитости» исходя из того, в какой мере они сумели принять и усвоить западный образ жизни[328].

Не отрицая полезности теории модернизации, Рязановский напоминает о том, что существуют и иные точки зрения и классификации. Так, если с позиций теории модернизации Россия и США полярны, то при сравнительном изучении истории культуры обе страны оказываются на периферии европейского культурного мира. А сравнение процесса становления двух гигантских стран выявляет много общих черт: освоение американцами Запада может быть уподоблено продвижению русских в Сибирь[329].

И тем не менее, в конце 1950-х – начале 1960-х годов теория модернизации обладала особой притягательностью для историков-русистов. Всеобъемлющая схема социальной эволюции, казалось, могла многое объяснить в истории дореволюционной России и открывала новые горизонты для исследования таких неизученных тем, как реформы второй половины

[328] *Riasanovsky N.V.* The Russian Empire as an Underdeveloped Country // Ibid. P. 591–592.
[329] Ibid. P. 593.

XIX в., эволюция политической системы Российской империи, экономическая политика конца XIX – начала XX вв., проблемы социальной мобильности, история различных социальных групп – участников модернизации и др.

Исследования процесса модернизации России развивались на Западе в общем контексте социальных наук, отражая изменение интеллектуальных ориентаций и парадигм, появление новых подходов и концепций.

Началу 1960-х годов был присущ прагматический, по сути практический и прикладной подход. Интерес к трагической истории российской модернизации как к полезной «копилке опыта» для современных развивающихся стран характерен для американской историографии этих лет. Именно в «бурные 60-е» вопрос о том, каков должен быть «инструмент модернизации» – реформа или революция – выходит на первый план в исследовательской повестке дня. Великие реформы 1860-х годов и последовавшие за ними контрреформы 1880-х достаточно однозначно воспринимаются как отправной пункт в неумолимом движении России к революции[330].

В 1970-е годы «классические» теории модернизации, претендующие на универсализм экономических рецептов процветания для слаборазвитых государств и сводившие развитие человечества к прогрессу технологии и экономики, были вытеснены теориями, стремившимися учитывать своеобразие историко-культурного облика стран и придававшими большее значение факторам неэкономическим, прежде всего роли национальных традиций. Под влиянием осмысления опыта государственного строительства освободившихся стран Африки, Азии и Латинской Америки возникли теории «зависимого развития».

---

[330] См., например: Essays in Russian and Soviet history in honor of G.T. Robinson / Ed. by J.Curtiss. N.Y., 1963; Imperial Russia after 1861: Peaceful modernization or revolution? / Ed. by A.E. Adams. Boston, Englewood Cliffs, 1965.

Смещение интереса от экономических аспектов модернизации к ее культурной стороне отразили сравнительно-исторические работы Марка Раева[331]. Общеевропейский контекст позволил автору достичь необходимой глубины и детальности в выявлении интеллектуальных предпосылок модернизации в Европе, и в том числе в России. Он доказывал, что российский вариант развития в XVIII – начале XIX в. представлял собой наиболее типичную европейскую модель.

Унаследованная от западноевропейского камералистского абсолютизма инициативная роль государства в реформировании страны, пишет М. Раев, была двойственной по своей природе, обусловливая проведение двойственной политики, что было особенно заметно в законодательстве эпохи Великих реформ. Он отмечает, что русское самодержавие одновременно и «продвигало модернизацию, и усиливало политическую и культурную репрессию», что в итоге не только привело к революции, но и создало благоприятные условия для диктатуры. Этот феномен двойственности определялся теоретиками «зависимого развития» как «дуализм развивающихся обществ», имеющий глобальный характер. Парадигма «развивающегося общества» была испробована на российском материале позднее, в начале 1980-х годов, которые были отмечены острым кризисом теорий модернизации, связанным с критикой линейной теории прогресса и поиском новых концепций социальной эволюции[332]. Теоретики «зависимого развития», стремясь найти объяснение механизмам торможения в отсталых странах, изучали модель «развивающихся обществ» как социальный синдром, чреватый серьезными кризисами.

---

[331] *Raeff M.* Russia's autocracy and paradoxes of modernization // Ost-West-Begegnung in Osterreich: Festschrift fur Eduard Winter. Koln, 1976. P. 275–283; *Id.* The well-ordered police state: Social and institutional change through law in the Germanies and Russia, 1600-1800. New Haven, 1983.

[332] См.: *Shanin T.* The roots of otherness: Russia's turn of the century. Vol.1. Russia as a «developing» society. L., 1985. Vol.2. Russia, 1905-1907: Revolution as a moment of truth. New Haven, 1986.

Особый интерес всегда вызывала бюрократия, которая единодушно признавалась главным «агентом модернизации». Ее изучение в социальных науках середины XX в. связано с глубоким интересом к феномену власти, которое выступает на передний план в анализе политических систем, приобретая, по словам Т. Парсонса, такое же ключевое значение, как деньги при анализе систем экономических. В этот период на Западе доминировал функциональный подход к пониманию власти, которая не мыслилась тогда без организационной и институциональной основы. Для зарубежной исторической русистики, которая опиралась на современные ей социальные теории, но использовала их в достаточно ограниченном объеме, для утилитарных целей конкретно-исторических исследований, особое значение в данном контексте имели концепции М. Вебера о власти и господстве и его историко-социологический анализ бюрократии.

Политическая социология Макса Вебера оказала решающее воздействие на современные западные науки об обществе. В 1940-1950-е годы его учение было «импортировано» в США, где в это время сложились особенно благоприятные условия для развития социологии. Оно послужило основой для создания общей теории действия крупнейшего американского социолога Т. Парсонса, который, как считается, «перевел идеи Вебера на язык американских социокультурных реалий»[333]. Понятия харизмы, традиционного типа господства, рациональности, идеального типа прочно вошли в научный обиход научного сообщества Америки. Особую актуальность в тогдашней социально-политической ситуации на Западе приобрела разработанная Вебером концепция бюрократии, при этом

[333] *Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н.* История и рациональность: Социология М. Вебера и веберовский Ренессанс. М., 1991. С. 24.

основное внимание исследователей было сосредоточено на идеально-типической модели рациональной бюрократии[334].

Согласно учению Вебера, рациональность – главное свойство современного индустриального общества, и рационализация есть главная тенденция всемирно-исторического процесса. Вебер постоянно подчеркивал формально-рациональный характер капиталистической экономики, высшим воплощением которого он считал легально-рациональную бюрократию. Важной стороной веберовской теории бюрократии было рассмотрение чиновничества как особой привилегированной статусной группы со специфическими взглядами и ценностными ориентациями, которая стремилась к обладанию властью в обществе. Бюрократия предстает в его трудах не только как безличный аппарат управления, но и как социальная сила, способная влиять на политическую систему и на процесс принятия решений, исходя из собственных групповых интересов. Анализ политической роли бюрократического аппарата, содержащийся в статьях Вебера, посвященных положению Германии и России начала XX в., служит важным дополнением его концепции бюрократии[335].

В американской социологии 1940–1950-х годов внимание к трудам Вебера было избирательным, а освоение историками богатейшего наследия Макса Вебера шло постепенно и первоначально использовалось весьма фрагментарно. Не обходили они вниманием и работы современных социологов. Так, популярностью пользовалась работа француза Мишеля Крозье «Бюрократический феномен» [336], в которой была предпринята попытка соединить веберовскую «рациональную» модель бюрократии с

---

[334] Сам Вебер полагал, что идеальный тип неизбежно несет в себе элемент утопии, но, будучи аналитическим инструментом, он незаменим для выявления связей социальных явлений. См.: *Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н.* Ук.соч. С. 44–62.

[335] См., например: *Вебер М.* Переход России к псевдоконституционализму // Синтаксис. Париж, 1990. N 27.С.29-57; *он же.* Парламент и правительство в новой Германии // Социология власти. 2003. N 2. С.144-168

[336] *Crozier M.* The bureaucratic phenomenon. Chicago, 1964.

«естественной», уделявшей больше внимания неформальным отношениям внутри аппарата.

Важной составляющей для анализа политической власти, в том числе для социологических и исторических исследований бюрократии явилась теория элит, точнее, целый комплекс теорий элитарной государственности, получивших импульс для своего развития благодаря работам М. Вебера. Наследие классиков элитарных теорий начала XX в. В. Парето, Г. Моски и Р. Михельса активно изучалось в исследовательских центрах США после Второй мировой войны и получило широкое признание американских социологов и политологов.

Разработанные на основе политической социологии Макса Вебера и элитистских теорий модели бюрократии послужили теоретической основой для исторических исследований в США. Необходимо заметить, что создание этих моделей было обусловлено в первую очередь практическими целями, связанными с экспертизой программ помощи, которую США оказывали странам Третьего мира в процессе их деколонизации и «развития». В итоге в 1950–1960-е годы изучение проблем бюрократии становится предметом главным образом политологического анализа и изучается большей частью в сравнительном контексте[337]. Основное внимание уделяется той роли, которую бюрократия играет в процессе политического развития в направлении демократизации. При этом анализируется ее участие в политической борьбе между различными «группами интересов», влияние на процесс принятия решений и в конечном итоге – на выработку конкретного политического курса и его осуществление.

Бюрократия как инструмент политической модернизации в развивающихся странах – тема конференции, прошедшей в Стэнфорде в 1962

[337] См., например: Towards the comparative study of public administration / Ed. by Siffin W.J. Bloomington, 1957; *Riggs F. W.* Administration in developing countries: The theory of prismatic society. Boston, 1964.

г.[338]. Конференция ставила перед собой во многом прикладные задачи: не только понять, какие модели бюрократической организации и политики помогают либо ограничивают движение государств в направлении демократизации, но и как подтолкнуть их развитие в этом направлении и помочь избежать тоталитаризма. Как указывал главный редактор сборника Джозеф Ла Паломбара, во многих странах правительство (и его аппарат) является единственной силой, желающей и реально способной взять на себя ответственность за осуществление реформ. Планы модернизации страны, как экономической, так и политической, нельзя реализовать без бюрократии[339]. Поставленные задачи определили область интереса исследователей: большей частью это чиновники среднего и высшего уровня, поскольку именно «группа управленцев в бюрократии имеет прямое отношение к национальному развитию», чиновники высших административных уровней «призываются обеспечить политический совет, помочь в формулировании программ и т.д.»[340].

Интерес западных исследователей бюрократии к российскому и советскому опыту во многом был вызван политическими соображениями, в том числе попытками спрогнозировать дальнейшую судьбу тоталитаризма в СССР, который зачастую сводился к «бюрократии у власти». В помещенной в сборнике статье «Бюрократия и модернизация: Россия и СССР» М. Фэйнсод рассмотрел узловые моменты российской истории, в первую очередь реформы Петра I и Александра II, но главное внимание все же уделил советской администрации[341]. Автор возлагает на бюрократию большую долю ответственности за революции 1917 г. Главный его вывод – модернизация и демократия вовсе не обязательно идут рука об руку.

---

[338] Bureaucracy and political development / Ed. by LaPalombara J. Princeton, 1963.
[339] *La Palombara J.* An overview of bureaucracy and political development // Bureaucracy and political development. P. 5-6.
[340] Ibid. P.7-8.
[341] *Fainsod M.* Bureaucracy and modernization: The Russian and Soviet case // Bureaucracy and political development. P. 248.

Плодотворный подход к анализу бюрократии был представлен в работах ученых, опиравшихся в своих исследованиях на теорию заинтересованных групп, которая получила распространение в политологии к началу 1960-х годов. Политика бюрократии является частным случаем этой теории, которая представляется важной для анализа процесса принятия решений в авторитарных обществах с сильной бюрократией, где участие частных лиц в политике сведено к минимуму. Исключительную важность для конкретно-исторических исследований российской бюрократии на Западе приобрела концепция политической культуры, которая была разработана в политологии в конце 50-х – начале 60-х годов и связывается с именами Г. Алмонда, С. Вербы и др. Ее разработка, как это всегда было присуще политологии, связана с такими практическими материями, как попытка ответить на вопрос, почему одинаковые по форме институты государственной власти в разных странах действуют порой совершенно по-разному. Теория политической культуры сосредоточила внимание на человеческой ментальности, на ценностных ориентациях, культурных символах и стереотипах, что позволило глубже исследовать мотивацию политического поведения граждан и институтов, выявить причины многих конфликтов, которые нельзя было объяснить, опираясь на традиционные для политики причины – борьбу за власть, за перераспределение ресурсов. Поворот к изучению политической культуры в исследованиях русской бюрократии произошел в 1970-е годы и был связан с общими изменениями в исторической науке, в первую очередь – с внесением в нее «фактора человеческой субъективности».

Уже в 1950-е годы в США помимо историко-социологических получают развитие и конкретно-исторические исследования российской бюрократии. Основные проблемы и направления изучения бюрократии в контексте политической эволюции России были сформулированы и намечены в работах Марка Раева. Среди них важное место занимали биография Сперанского, статья «Русское самодержавие и его чиновники» и введение к публикации

документов «Планы политической реформы в имперской России, 1730-1905»[342]. Ученик Карповича, принадлежавший к молодому поколению русской эмиграции, Марк Раев стал крупнейшим специалистом по истории России XVIII–XIX вв. и Русского зарубежья. В круг его первостепенных интересов всегда входила интеллектуальная история, и потому особое внимание он уделял тем идеям, которые лежали в основе действий политической элиты. Блестящая эрудиция, глубокое знание европейской истории позволили ему создать свою интерпретацию истории России с начала царствования Петра I, а его концепция русской бюрократии надолго определила приоритеты исследований этой проблематики в американской исторической русистике.

Любимая мысль Раева заключается в том, что история России представляет собой длинную цепь попыток реформировать политическую и социальную структуру империи, внести порядок в хаос. При этом историк не обнаруживает целенаправленности в действиях правительства и какой-либо преемственности в политике. Истоки такого положения дел, считает Раев, коренятся в особенностях государственных институтов, и в первую очередь – в особенностях правительственного аппарата. Для понимания политической эволюции России в XIX в., по его мнению, необходимо уяснить, «что собой представляли те люди, которые помогали самодержцу в формулировании политического курса и следили за выполнением его решений»[343].

Главная черта правительственного аппарата императорской России – «отсутствие однородной, эффективной и сильной бюрократии» в том смысле, как ее понимал Макс Вебер. М. Раев выделяет три уровня администрации в Российской империи XIX в. и дает их характеристику: мелкая тирания,

---

[342] *Raeff M.* Michael Speransky: Statesman of imperial Russia, 1772-1839. The Hague, 1957; *id.* The Russian autocracy and its officials // Harvard Slavic studies, IV: Russian thought and politica. Cambridge, 1957. P.77-91; *id.* Introduction // Plans for political reform in imperial Russia, 1730–1905. Englewood Cliffs, 1966. P.1–39. Обе статьи перепечатаны в сборнике: Raeff M. Political ideas and institutions in imperial Russia. Westview press, 1994.

[343] *Raeff M.* The Russian autocracy. P. 77.

коррупция и произвол на нижнем уровне; на среднем – компетентность чиновников, стремившихся «отвечать на нужды и проблемы страны»; на высшем уровне – произвол самодержавного абсолютизма, господство личных (традиционных) связей. Раев констатирует отсутствие в административном аппарате России первой половины XIX в. того, что Макс Вебер считал первым условием бюрократической организации – функционального разделения обязанностей и специализации персонала. Чиновники свободно переходили из одного ведомства в другое, в том числе из военного в гражданские (Н.С. Мордвинов, П.Д. Киселев). Государственная служба в Российской империи не была «карьерной», когда чиновник «ступенька за ступенькой поднимается по лестнице служебной иерархии, специализируясь в какой-либо одной области и обретая чувство солидарности и должностных традиций»[344].

В либеральной по своей сути концепции исторического развития, представленной в работах Раева, особый акцент делается на эволюции права и реформах. Сперанского Раев считал одним из величайших государственных деятелей России и придавал большое значение осуществленной им кодификации законов и вообще упорядочению бюрократической иерархии и делопроизводства. В этом отношении, как считает Раев, Сперанский одержал победу, в то время как его реформистские планы и идеи не получили развития и были обречены на неудачу, поскольку должны были воплощаться в жизнь «деспотическими методами». Время Александра I представляется Раеву «переломным периодом», когда принципы и практика управления подверглись критическому рассмотрению и были созданы новые бюрократические институты, в первую очередь система министерств. Особое внимание Раев уделяет бюрократическим «технологиям», которыми мастерски владел Сперанский. Именно он, считает Раев, создал ту систему, в рамках которой осуществлялись социальные,

[344] Ibid. P. 80, 83.

экономические и административные изменения 1860-х годов[345]. Сперанский был первым в России «просвещенным бюрократом», он первым сформулировал политические цели правительства и выработал «бюрократические средства» для их достижения. Его идеалом было правовое государство (Rechtsstaat). Этот идеал и бюрократические методы его достижения унаследовали чиновники-реформаторы последующих поколений[346].

Важнейшей вехой в развитии российской бюрократии, в интерпретации Раева, явились Великие реформы, которые создали новые институты как противовес бюрократическому правлению, а революция 1905 г. дала серьезные властные полномочия чиновникам среднего уровня и способствовала усовершенствованиям на нижнем. Однако высший уровень администрации остался нетронутым, и это привело к катастрофе 1917 года[347].

Главными проблемами политической и административной жизни России, по Раеву, были противоречия между личными (харизматическими) и рациональными (бюрократическими) нормами политического действия, а также отсутствие координации в принятии политических решений и подобающих «каналов коммуникации» между правительством и нацией. Именно это должно было стать объектом реформирования в Российской империи, чтобы «привести машину в соответствие с интеллектуальной, социальной и экономической эволюцией страны». Однако это не было сделано, и главной причиной такого бездействия Раев считает отсутствие в России истинной бюрократии – «однородной (гомогенной), эффективной, активной и политически сознательной», которая могла бы создать правовое государство, необходимое для «правильного бюрократического правления»[348].

---

[345] *Raeff M.* Michael Speransky. P.VI.
[346] Ibid. P. 362–363.
[347] *Raeff M.* Introduction // Plans for political reform in imperial Russia, 1730–1905. P. 111.
[348] *Raeff M.* The Russian autocracy... P. 86.

Концепция российской бюрократии, сформулированная в первых работах М. Раева главным образом на основе литературных и опубликованных источников, явилась отправным пунктом для дальнейших исследований этой темы в США. М. Раев продолжал работать в этом направлении, он подготовил ряд учеников, из которых наиболее продуктивно в области изучения имперской бюрократии работал Б. Линкольн, и можно без преувеличения сказать, что Марк Раев явился основоположником изучения правительственного аппарата Российской империи в США.

Рассмотренная проблематика, при всей ее перспективности, занимала в этот период в зарубежной историографии не самое значимое место. Приоритетной темой, безусловно, являлась Великая Октябрьская революция, хотя, строго говоря, она не относилась к истории императорской России. Историки дореволюционного периода изучали в основном «истоки Октября». Сама же революция была темой сильно политизированной, ее можно было бы назвать той точкой, в которой тогда реализовалось идеологическое противостояние двух сверхдержав. Поскольку для СССР Октябрьская революция была легитимирующим событием, моментом, с которого государство вело отсчет своего существования, трактовки Октября и его предшественника – Февраля – имели жизненно важное значение. В советской и западной историографии они, как принято считать, носили зеркальный характер.

Как известно, о революциях обычно складывается два нарратива: победителей и проигравших. Нарратив победителей создавался в Советском Союзе (главным образом), а нарратив побежденных писался в эмиграции[349]. Однако эмигрантский нарратив имел свою особенность, поскольку наиболее значимую роль в его создании играли не контрреволюционеры, а, напротив, сторонники революции, представители разных политических партий,

[349] *Corney F.C.* Telling October: Memory and the making of the Bolshevik revolution. Ithaca, 2004. P. 1-10.

находившихся в оппозиции к самодержавию – преимущественно кадеты и меньшевики. Т.е. в данном случае речь идет скорее о проигравших Февраль, а не о побежденных.

Свой нарратив начали создавать и зарубежные историки, и он далеко не во всем совпадал с эмигрантским, кое в чем обнаруживая при этом сходство с советским. В центре внимания находилась проблема легитимности Октября, которая в советской историографии не формулировалась, а скорее подразумевалась, но решалась достаточно просто: считалось, что установление советской власти произошло по воле народа, который поверил большевикам. Зарубежные историки либо полностью отрицали легитимность Октября, вслед за русскими эмигрантами называя его «переворотом», совершенным кучкой заговорщиков, и отдавая предпочтение по-настоящему «стихийному» Февралю, либо – в наиболее консервативных вариантах интерпретаций – порицали и само свержение самодержавия. В отличие от советских историков, первоначально они основывались не на архивных материалах, а главным образом на свидетельствах очевидцев и участников событий. В послевоенных спорах оформились, как уже упоминалось, два лагеря: «пессимистов», считавших революцию неизбежной, и «оптимистов», утверждавших, что «если бы не война», Россия успешно двигалась бы по общему для всех цивилизованных стран пути прогресса и просвещения.

С утверждением теории модернизации в зарубежной историографии формируется вполне самостоятельный нарратив революции 1917 года. Точкой отсчета в его создании можно считать публикацию в 1964-1965 гг. в журнале «Slavic review» программной статьи Леопольда Хеймсона «О проблеме социальной стабильности в городской России, 1905-1917 гг.»[350]. В ней доказывалось, что волнения среди рабочих и социальная поляризация поставили Россию на грань революции еще до начала Первой мировой

[350] *Haimson L.* The problem of social stability in urban Russia, 1905-1917 // Slavic rev. Chicago, 1964. Vol. 23, N 4. P. 619-642;1965. Vol. 24, N 1. P. 1-22.

войны. Хеймсон писал о «двойной поляризации»: между государством и интеллигенцией, с одной стороны, и между массами и элитой (включая интеллигеницию) – с другой. Эта публикация стала одной из поворотных как для изучения 1917 года, так и для зарубежной русистики в целом. Она обозначила поворот к социальной истории революции, дала импульс отходу от политических интерпретаций и от теории тоталитаризма к ревизионизму. С тех пор локомотивом в изучении Русской революции за рубежом стала американская историография[351].

Сюжет с празднованием пятидесятилетнего юбилея Русской революции в США позволяет рассмотреть целый ряд особенностей в ее изучении за рубежом. Не испытывая, в отличие от советской исторической науки, прямого идеологического давления, зарубежная русистика имела возможность в большей степени сосредоточиться на научной стороне проблемы. Несомненно, здесь существовали свои «подводные камни» и свои «категорические императивы», однако 1967 год – относительно благостное для западной русистики время, хотя и переломное. Заканчивался период ее профессионального становления, «политика» еще не оказывала своего прямого, непосредственного влияния на дисциплину, однако уже вовсю бурлила и в университетских кампусах, и за их стенами. 1968 год был еще впереди, как и грядущие сражения между двумя поколениями американских историков-русистов (которые как раз и начались вокруг проблемы «Русской революции»). Но общий дух эпохи – движение за гражданские права, протесты против войны во Вьетнаме, подъем левого радикализма, наконец, начало движения хиппи и многое другое – несомненно, должен был сказаться на юбилейной повестке дня по поводу 1917 г.

[351] Безусловно, масштаб исследований революции 1917 г. в США несопоставим с советским, где ежегодно публиковалось несколько тысяч текстов по этой теме. То же самое можно сказать и о юбилейных празднованиях, куда более скромных, чем в СССР, что как раз и позволяет рассмотреть их в рамках статьи.

К этому времени, помимо знаменитой статьи Хеймсона, вышло довольно много монографий о революции, их публикация активизировалась к юбилею[352]. Планировались конференции, одновременно предполагалось, что ведущие специальные журналы также примут участие в праздновании.

«The Russian review», переехавший из Лондона в Нью-Йорк в 1941 г. и ставший детищем русской эмигрантской диаспоры, отнесся к событию с присущим русским людям пиететом к круглым датам. Его тогдашний редактор Димитрий фон Моренштильдт во вступительной заметке к первому номеру журнала за 1967 г. ставит вполне стандартные юбилейные задачи и так характеризует сам предмет:

В 1917 г. произошло два крупных события – падение монархии и захват власти большевиками, пишет Моренштильдт, демонстрируя строго политический подход, «завязанный» на сменах режима. С точки зрения Моренштильдта, они стали поворотным пунктом не только в истории России, но и всего мира. Он подчеркивает, что за 50 лет на Западе было опубликовано огромное количество материалов по революции, и нет уже тех эмоций, которые сопутствовали оценкам, дававшимся по горячим следам. Однако многие вопросы исследованы явно недостаточно, существует большой разброс мнений, и сейчас самое время подвести какой-то итог этим 50 годам изучения Русской революции.

Итоги планировалось подвести в нескольких направлениях: дать интерпретации захвата власти большевиками, проанализировать результаты полувекового коммунистического правления в России и оценить его перспективы (обозначив факторы сохранения стабильности и факторы упадка). И кроме того, представить свидетельства очевидцев и участников

[352] Большинство этих работ относились к сфере политической науки, а не истории: *Shukman H.* Lenin and the Russian Revolution. N.Y.: Putnam's Son's, 1967*; Deutscher I.* The unfinished revolution. N.Y.: Oxford univ. press, 1967*; Tompkins S.R.* The triumph of Bolshevism: Revolution or reaction? Oklahoma: Univ. of Oklahoma press, 1967*; Wolfenstein* V. The revolutionary personality: Lenin, Trotsky and Gandhi. Princeton: Princeton univ. press, 1967.

событий, которых становится все меньше. Они «вымирают», по словам Мореншильдта[353].

«Нарратив проигравших», таким образом, продолжает создаваться, он пополняется все новыми источниками, пусть уже и немногочисленными. Надо сказать, что журнал с самого начала занимался публикацией свидетельств очевидцев революционных событий, его сотрудники участвовали в подготовке издания и перевода ряда мемуаров. К юбилею удалось собрать довольно представительный корпус текстов самого разного плана. В первом же номере, который хронологически совпадал со столетием Февральской революции, помещены записки Сергея Пушкарева о 1917 г. в Харькове, где он тогда учился в университете, и Зинаиды Шаховской, представившей Февральскую революцию глазами ребенка[354]. В последующих номерах мы найдем воспоминания о Феврале Елены Извольской, дочери бывшего министра иностранных дел, а на тот момент – посла в Париже. Она пишет о восприятии февральских событий и парижской публикой, и дипломатами. И сообщает ряд интересных деталей, поскольку отец всегда был откровенен с ней. Очень хороши воспоминания чиновника министерства земледелия и приват-доцента Петроградского университета Г.К. Гинса. Кроме того, опубликован отрывок из «Сентиментального путешествия» Виктора Шкловского под заголовком «На фронте – 1917», переведенные на английский Робертом Шелдоном[355].

Помещены и рецензии на мемуары, в частности, «На закате империи» фон Дрейера, «Страдные годы России» графа Валентина Зубова и ряд других, которые дают представление о том, как за рубежом во второй

---

[353] *Morenschildt D.* From the editor // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol.26, N 1. P. 3.

[354] *Pushkarev S.G.* 1917 – a memoir // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol.26, N 1. P. 54-67; *Schakovskoy Z.* The February revolution as seen by a child // Ibid. P. 68-73. См. также: *Schakovskoy Z.* The October revolution as seen by a child // Ibid. N 4. P. 376-390.

[355] *Iswolsky H.* The Russian revolution seen from Paris // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 2. P. 153-163; *Guins G.C.* The fateful days of 1917 // Ibid. N 3. P. 286-295; *Shklovsky V.* At the front – summer 1917 // Ibid. P. 219-230.

половине 1960-х годов пополнялась копилка источников о Русской революции. Большинство из них опубликовано на английском, как, в частности, воспоминания Милюкова, выпущенные к юбилею[356]. Важная деталь – круг воспоминаний не ограничивался русскими очевидцами, переизданы записки небезызвестного Брюса Локкарта и ряд других текстов.

Что касается «интерпретаций», то здесь слово было предоставлено американцам. Большая их часть собрана в четвертом, собственно юбилейном октябрьском номере за 1967 г. Тон задает опубликованная в первом номере статья о Февральской революции Уильяма Генри Чемберлина, чей двухтомный труд «Русская революция, 1917-1921» (1935) к этому времени был признан классическим[357]. Чемберлин называет ее Мартовской, подчеркивает ее стихийный характер (поскольку руководители трех революционных партий – большевиков, меньшевиков и эсеров – находились либо в тюрьме, либо за границей) и говорит о «медовом месяце» свободы, в котором видит избыток патетики, учитывая последовавшую вскоре Гражданскую войну и все, что ей сопутствовало. Чемберлин пишет о двух возможных путях, по которым могла пойти Россия после свержения самодержавия: либеральном, т.е. демократическом, что означало решать социальные и экономические проблемы при помощи новых свободных институтов, используя политику компромиссов, или же, напротив, – революционном, который и привел к диктатуре, а затем – к тоталитаризму[358].

Роберт Дэниелс, принадлежащий к первому послевоенному поколению американских русистов, в будущем – крупный советолог и политолог, опубликовал статью о победе большевиков, которую он считает результатом

---

[356] *Milliukov P.* Political memoires, 1905-1917. Это перевод книги, подготовленной к изданию М.М. Карповичем и Б.Элькиным и вышедшей на русском языке в 1955 г.
[357] *Chamberlin W.H.* The first Russian revolution // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 1. P. 4-12; см. также: *Chamberlin W.H.* The short life of Russian liberalism // Ibid. N 2. P. 144-152.
[358] *Chamberlin W.H.* The first Russian revolution… P. 9-10, 12.

исключительного стечения обстоятельств[359]. Фактически он повторяет здесь концепцию из своей только что изданной книги «Красный Октябрь», которая в какой-то степени явилась предтечей последующих ревизионистских исследований[360]. Суть ее заключается в том, что в партии большевиков существовало несколько течений, потенциально предполагавших разные варианты развития, что победа Ленина и ассоциировавшегося с ним «тоталитарного» пути вовсе не была предопределена[361].

Пол Аврич, также выпустивший к юбилею книгу (свою первую монографию) и специализировавшийся на русском анархизме, дал небольшой очерк «Анархисты в 1917 г.»[362]. Труман Б. Кросс написал об эсерах и Чернове, а ветеран Russian studies Дж. Кларксон поразмышлял о том, какое будущее ждет Россию исходя из ее прошлого[363].

Отдельно проанализирована подборка книг о революции, с характерным названием «Старое вино в новые мехи»[364]. По справедливому замечанию автора обзора Артура Адамса, отсутствие единодушия в оценках заставляет предположить, что за 50 лет так и не сложилось адекватной исторической перспективы и что сложная панорама революции и ее последствий не может уместиться в прокрустово ложе какой-либо одной объясняющей модели[365].

Надо сказать, что редакция не уложилась в рамки одного года – в 1968 г. продолжилась публикация статей, правда, в меньшем объеме. И совершенно объяснимо, что основной массив рецензий на значимые книги, выпущенные

---

[359] *Daniels R. V.* The Bolshevik gamble /// The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 331-340.
[360] *Daniels R.V.* Red October: The Bolshevik revolution of 1917. N.Y.: Charles Scribners, 1967.
[361] Выпускник Гарварда, Дэниелс под руководством М.М. Карповича и М. Фейнсода защитил диссертацию о Троцком и левой оппозиции (1950).
[362] *Avrich P.* The anarchists in the Russian revolution // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 341-350; *Id.* The Russian anarchists. Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1967.
[363] *Cross T.B.* Purposes of revolution: Chernov and 1917 // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 351-360; *Clarkson J. D.* Russia and the future // Ibid. P. 361-375.
[364] *Adams A.E.* New books on the revolution: Old wine in new bottles // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 391-398.
[365] Ibid. P. 392, 398.

к юбилею, также пришелся на этот год. В них главным образом и реализуется поставленная редактором задача оценить успехи и перспективы советской власти. В рубриках «Новые книги о 1917 г.» и «Новые книги о 50-летии советской власти», а также в рецензии на материалы симпозиума, посвященного 1917 г., наиболее широко и разнообразно представлена проблема «всемирного значения Великой Октябрьской революции»[366]. Большинство авторов (включая Арнольда Тойнби) достаточно высоко оценивают успехи Советского Союза по построению нового общества у себя в стране, – но не за рубежом. Что касается влияния революции и большевизма как идейно-политического течения на мир в целом, рассматриваются самые разные его аспекты: от рабочего движения и признания марксизма на Западе «академически респектабельным» до «проекта модернизации», который, собственно, и явился главным уроком, извлеченным демократическими странами из «советского эксперимента»[367].

Материалы, опубликованные в «The Russian review», дают исключительно сбалансированную картину исследований Русской революции на Западе на тот момент времени. Большую роль в них играла русская составляющая – причем не только свидетели и участники революционных событий, но и представители младшего поколения эмиграции. Они привносили в эти исследования довольно значимый «лирический» и «литературный» компонент (характерно, что среди юбилейных публикаций – статья Георгия Анненкова «Поэты и революция» о Блоке, Маяковском и Есенине)[368]. Вторая составляющая – историки-американцы, причем представители как старшего поколения, так и молодежь,

---

[366] *Avrich P.* New books on 1917 // The Russian rev. N.Y., 1968. Vol. 27, N 2. P. 225-230; *Chamberlin W.H.* New books on fifty years of Soviet rule // Ibid. P. 231-236; *Triska J.F.* Rec. ad op.: The impact of the Russian Revolution, 1917-1967: The Influence of Bolshevism on the world outside Russia. [A Symposium: A. Toynbee, N. McInnes, H. Seton-Watson, P. Wiles, R. Lowenthal]. L., N.Y., Toronto: Oxford univ. press, 1967. 357 p. // Ibid. P. 243-244.

[367] *Triska J.F.* Op. cit. P. 243-244

[368] *Annenkov G., Todd W.* The poets and the revolution – Blok, Mayakovsky, Esenin // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 2. P. 129-143.

но пока в очень небольшом количестве. Они только начинали свой путь в науке, их профессиональные, основанные на архивных источниках работы еще впереди. И, наконец, «специалисты широкого профиля», в 1960–1970-е годы пока не сдавшие окончательно своих доминирующих позиций в исторической русистике. Особо следует отметить представителей только что народившейся советологии, которая, однако же, более широко представлена на страницах второго журнала – «Slavic review».

У этого журнала была несколько иная идентичность, можно сказать, чисто американская. Будучи органом Американской ассоциации содействия славянским исследованиям (American Association for the Advancement of Slavic Studies – «triple A, double S», как называли ее в обиходе), созданной в 1948 г., журнал вместе с ней претерпел серьезную трансформацию. В 1960 г. под прежним названием была создана новая, эффективная организация, объединившая специалистов по обширному региону СССР и стран Восточной Европы. Прежде выходивший при ней журнал «The American Slavic and East European review» был переименован в «Slavic review», и не только переименован. Он круто изменил свою «литературную» направленность, став междисциплинарным и включив в круг своих интересов самые острые и теоретически интересные проблемы исследований России / СССР и Восточной Европы. В течение нескольких лет журнал обошел своего конкурента «The Russian review» и по тиражу, и по объему, и по содержательности (особенно интересны были дискуссии, публиковавшиеся почти в каждом номере). В 1967 г. это был молодой, динамично развивающийся журнал с очень неплохим финансированием и, как нетрудно догадаться, с серьезными амбициями.

Этот фактически новый журнал совершенно иначе подошел к празднованию пятидесятилетия русской революции, чем «The Russian review». Зная, что юбилей будет широко отмечаться в Советском Союзе и по всему миру, включая Соединенные Штаты, редакция серьезно рассматривала

вопрос о специальном номере «1917», но затем отказалась от этой идеи[369]. В редакционной статье достаточно подробно объясняются причины отказа[370]. Главным редактором в это время был Генри Робертс – специалист по странам Восточной Европы, хороший историк и очень умный человек, и его аргументация заслуживает внимания.

По словам Робертса, была проведена соответствующая разведка, но результаты явно не порадовали. Хотелось чего-то нового, свежего, написанного по вдохновению, а не «по случаю». Возможно, сыграло свою роль и то обстоятельство, что после публикации большой – на два номера – программной статьи Леопольда Хеймсона редакции не хотелось «уронить планку». Ничего подобного этой статье на горизонте не просматривалось, и Робертс не упоминает о ней, а просто пишет: «Мы не хотели быть одними из многих».

Кроме того, Робертс скептически оценивал юбилеи и их стимулирующее воздействие на историческую профессию, считая, что «круглые даты» побуждают к поверхностным, и даже, возможно, неверным высказываниям и выводам. Между тем, сам масштаб кризиса 1917 г., который редакция считает глубочайшим разрывом, тектоническим сдвигом в мировой истории, как-то не располагал устраивать деньрожденную вечеринку (birthday party). Робертс пишет: несмотря на прошедшие 50 лет, русская революция – как и Первая мировая война – остается событием сегодняшнего дня, потому что мир живет в последствиях этих событий, и конец этому пока не виден. Соответственно, в оценках Русской революции по-прежнему присутствует

---

[369] Надо сказать, что такой номер выпустила «Критика», скромный журнал, который издавался в Гарварде под руководством Ричарда Пайпса. Это был журнал рецензий, и в юбилейном номере опубликованы несколько, написанных такими уже признанными специалистами, как сам Пайпс, Теодор фон Лауэ и Роберт Дэниелс. А открывала номер рецензия Уильяма Розенберга на книгу Э. Бурджалова «Вторая русская революция», более чем доброжелательная. См.: *Большакова О.В.* Мост через Атлантику: Американский журнал «Критика» и советская историография в годы холодной войны // Известия Смоленского государственного университета. 2015. № 1(29). С. 207-220.

[370] From the editor // Slavic rev. 1967. Vol. 26, N 1. P. V.

слишком много эмоций. 1917 год оставил после себя глубокие раны, не все из них затянулись. Примирение между победителями и побежденными в обозримом будущем не предвидится. И не дело сторонних наблюдателей в это вмешиваться. Но мы – исследователи на Западе – пишет он, должны больше *вчувствоваться* в русскую революцию, это поможет лучше ее понять. Пятьдесят лет – слишком небольшой срок для исторического события такого масштаба, как революция 1917 г., и постижение ее значения, ее сущности представляет собой долговременную задачу, которую исследователи начали решать сразу после свержения царского режима и будут решать еще долго[371].

Тем не менее, отказавшись влиться в ряды празднующих, редакция отнюдь не бойкотировала тему революции. В номерах «Slavic review» за 1967 г. были опубликованы, во-первых, статьи по историографии русской революции, как зарубежной, так и советской (что несомненно является заявкой на серьезное историческое изучение темы)[372]. Во-вторых, помещено две статьи, написанных представителями молодого поколения американских историков, которое только выходит на сцену и будет определять лицо русистики в последующие годы вплоть до окончания холодной войны[373]. Есть и сообщение Роберта Дэниелса о том, как советские историки собираются праздновать пятидесятилетие Октября[374]. Опубликовано множество рецензий на книги, вышедшие к этому времени. Да и первый номер за 1967 г. открывается большой дискуссией о сравнительно-политическом изучении коммунистических систем – проблеме, имеющей

---

[371] Ibid. P. V-VI.

[372] *Szporluk R.* Pokrovski's view of the Russian Revolution // Slavic. rev. 1967. Vol. 26, N 1. P. 70-84; *Warth R.* D. On the historiography of the Russian Revolution // Ibid. N 2. P.247-264.

[373] *Asher A.* Axelrod and Kautsky // Slavic rev. 1967. Vol. 26, N 1. P. 94-112; *Wade R.* Argonauts of peace: The Soviet delegation to Western Europe in the summer of 1917 // Ibid. N 3. P. 453-467.

[374] *Daniels R. V.* Soviet historians prepare for the fiftieth // Slavic rev. 1967. Vol. 26, N 1. P. 113-118.

самое прямое отношение к итогам 1917 г.[375]. Публикация этих материалов, с одной стороны, свидетельствует о серьезном внимании журнала к советологии, которой отводилось большое место на его страницах. С другой стороны, совершенно разгромная рецензия Анатоля Мазура на типично «советологическую» книгу Уолтера Лакёра[376] заставляет предположить, что отношение к политизированной советологии в целом было достаточно критическим, приветствовалось скорее строгое научное изучение региона СССР и стран Восточной Европы в рамках политологии.

В результате «урожай» публикаций в «Slavic review» получился неплохой, да и научные итоги юбилея в целом порадовали, так что через год редакция пожалела о своем скептицизме. Выяснилось, что юбилей действительно может служить серьезным стимулом для науки. Как отмечается в редакционной статье, вышло несколько – «как минимум четыре» – книги, достойных войти в библиографию[377]. Удивил и уровень дискуссий – здесь «The Russian review» оказался проницательнее. Страсти утихли, пришло время исторических исследований.

[375] Symposium // Slavic. rev. 1967. Vol. 26, N 1. P.1-28.
[376] *Mazour A.G.* Rec. ad op.: Laqueur W. The fate of the revolution: Interpretations of Soviet history // // Slavic. rev. 1967. Vol. 26, N 2. P. 321.
[377] From the editors. P. 1.

Глава 3. Второй этап развития зарубежной историографии России: Конец 1960-х – 1980-е годы

3.1. Общая характеристика периода в контексте диалога зарубежного россиеведения с советской исторической наукой[378]

Как отмечают историки, «великое обновление» историографии в 1960-х – начале 1970-х годов явилось следствием социального брожения на Западе. Новое поколение историков, пришедшее в науку в эти годы, созревало в кипучей атмосфере борьбы за гражданские права, студенческих движений и движения против войны во Вьетнаме[379]. Прокатившиеся по всему миру во второй половине 1960-х годов студенческие выступления, пик которых пришелся на 1968, изменили всю систему высшего образования. Принято считать, что в США благодаря предпринятым правительством мерам по демократизации значительно увеличился прием студентов из так называемых «меньшинств», в том числе женщин, афроамериканцев, выходцев из рабочего класса и иммигрантов; студенты стали активно участвовать в академической жизни. На деле все было гораздо драматичнее, и перемены, произошедшие в американской науке и образовании, оказались стремительными и радикальными. Те же явления наблюдались и на Европейском континенте.

Американские историки-русисты оставили свидетельства о том горячем времени. Студенческие беспорядки привели к тому, что в университетской

---

[378] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М., 2008; *Большакова О.В.* Мост через Атлантику: Американский журнал «Критика» и советская историография в годы холодной войны // Известия Смоленского государственного университета. 2015. № 1(29). С. 207-220; *Большакова О.В.* П.А. Зайончковский и его американские ученики // Отечественная история. 2004. № 5. С.158-177; *Большакова О.В.* П.А. Зайончковский и американская русистика 1960-80-х гг. // Петр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С.828-842.

[379] См. *Кенез П.* Западная историография гражданской войны в России // Россия XIX-XX вв.: Взгляд зарубежных историков. М., 1996. С.184-185.

среде произошел раскол между преподавателями. Часть из них заняла консервативную позицию, как Р. Пайпс, который презрительно относился к студенческому движению и подчеркивал эгоистические мотивы студентов, просто боявшихся, по его мнению, быть призванными на военную службу[380]. Другие, как С. Бэрон, примкнули к так называемому «либеральному» лагерю, сами участвовали в ряде акций и поддерживали требования студентов в отношении демократизации учебного процесса[381]. Большинство преподавателей, тем не менее, старалось оставаться в стороне, пока это не затрагивало их профессиональные интересы. Однако перемены вскоре коснулись и их. По свидетельству Р. Пайпса, после беспорядков 1969 г. Гарвардский университет полностью утратил свою элитарность. Профессора и первокурсники были «вынуждены» теперь обедать вместе, студентов поощряли оценивать своих преподавателей и пр. А администрация, вместо добросовестного обучения по-настоящему талантливых студентов, заботилась теперь лишь о наборе достаточного количества представителей так называемых меньшинств и пыталась решать социальные проблемы, пишет он в своих воспоминаниях. Студенты, в свою очередь, были менее расположены к учебе, часто смеялись на занятиях, и неестественный блеск глаз у некоторых выдавал употребление наркотиков. Новый Гарвард стал напоминать видному американскому историку советскую школу 1920-х годов с ее склонностью к педагогическим и социальным экспериментам – сравнение, с его точки зрения, говорившее само за себя[382].

Тенденциозное свидетельство Пайпса, осуждающее позицию сторонников нововведений, гиперболизировало и даже искажало реальную картину, однако не во всем было неверно. Перемены были действительно колоссальными. Даже внешний облик студенчества радикально изменился. Стройные ряды аккуратных дисциплинированных студентов в блейзерах с

[380] *Pipes R.* Vixi. P.107, 109.
[381] *Baron S.* Recollections of a life in Russian history // Russian history, 1990. Vol.17, N 1.
[382] *Pipes R.* Vixi. P.110-111.

галстуками университетских цветов отошли в прошлое. Движение хиппи и здесь внесло свой вклад, и к началу 1970-х годов университеты наводняли толпы нечесаных бородатых юнцов в джинсах и простоволосых дев в тех же джинсах или юбках совершенно непредсказуемой длины, которые явно не испытывали никакого пиетета по отношению к преподавателям.

Юные оригиналы и оригиналки 1960–70-х годов не только принесли с собой в университетскую среду существенный элемент эгалитаризма и дух критики. Атакам молодого поколения историков, стремившегося найти альтернативу «либеральной ортодоксии американского интеллектуального истеблишмента», подверглась вся традиционная наука, в том числе и историческая, которая была чрезвычайно популярна у молодого поколения. Как свидетельствует Д. Монтгомери, по всей стране аспиранты проявляли инициативу и буквально наседали на свои кафедры, внедряя новые области исследований, новый стиль историописания и самого понимания истории[383].

Это было время бурного развития естественных наук – физики, биологии – и их «позитивистской экспансии» в социогуманитарные дисциплины. Считалось, что «позитивное», т.е. истинное и математически проверенное знание, основанное на «фактах», является целью беспристрастной науки, которая следует строго логическому методу в поисках «объективной истины». Главной целью любого научного исследования стало считаться доказательство верности и неверности того или иного постулата, предположения, вывода. Особой популярностью в это контексте стал пользоваться жанр case-study, когда на примере изучения конкретного «случая» или «феномена» доказывалось – или опровергалось – какое-то прежде существовавшее «мнение» о нем. Эти научные нормы были привнесены в экономику, социологию, историю. Началось внедрение математических методов, которые должны были помочь этим прежде

---

[383] *Montgomery D.* Introduction // The cold war and the university. N.Y., 1997. P.XXXII–XXXIII.

описательным дисциплинам обрести черты «настоящей науки» – безупречную точность, надежность, верифицируемость и (что немаловажно) обеспечить прогностическую функцию, столь необходимую для управления обществом. Ревизионистский настрой, присутствовавший в науке 1960-х – начала 1970-х годов, помноженный на «бунтарский дух» и тягу к ниспровержению основ, во многом определил ситуацию и в исторических исследованиях.

«Новые левые» привнесли в историческую профессию радикальные взгляды и интерес к истории «угнетенных», «молчаливых» слоев общества. Так появились новые дисциплины – «черная история», «зеленая история», «история женщин», история рабочего класса и других маргинальных для традиционной историографии социальных групп[384]. В результате ведущее положение в американских университетах начинает занимать «новая социальная история», которую принято считать «марксистской» по своему происхождению, а молодых историков, продвигавших ее, стали называть ревизионистами, поскольку их отличало стремление «ревизовать» историографию[385].

Однако на практике ревизионистская историография, в том числе и России / СССР, выглядит более разнообразной, демонстрируя республиканские, демократические, народнические, либеральные и леворадикальные настроения авторов, которые симпатизируют «тяжелому положению и требованиям угнетенных масс». По выражению Х. Рагсдейла, ревизионисты иногда явно, а иногда и неосознанно разделяют представление о «развращенных высших классах и их добродетельных жертвах – низших

---

[384] Репина Л.П. «Новая историческая наука»… С. 81.

[385] Помещенная в июньском номере журнала «The American historical review» подборка материалов к пятидесятилетию этих событий подтверждает их влияние на всю мировую историографию, с большим акцентом на феминизме второй волны: AHR reflections: 1968 // The American historical rev. 2018. Vol. 123. N 3. P. 706-778.

классах»[386]. Молодые историки находились под сильным влиянием достижений европейской историографии, в особенности социально-культурной истории школы Анналов во Франции и британских историков, группировавшихся вокруг журнала «Паст энд презент»[387]. Тем не менее, ревизионизм никогда не был какой-то определенной школой или движением. В нем отсутствовала какая-либо общая философия истории, и мнения его приверженцев по разным аспектам истории значительно различались[388].

Принято считать, что в США поворот к социальной истории, или истории «снизу», в изучении России и СССР совпал с ее победным шествием по всему миру. В американских университетах, в первую очередь, в Колумбийском, Беркли и Мичигане, были начаты широкие исследования по социальной истории России XX в.[389]. В противоположность традиционной политической истории, в центре внимания этих исследователей оказались «народные массы», а в более широком плане – социальные структуры и фундаментальные процессы, поддающиеся количественному анализу на основе массовых источников. Новое поколение русистов стремилось ввести в историю «простых людей», демонстрируя, как их совместные действия ограничивали и формировали поведение элит. Они указывали на то, что либерально-консервативная политическая история, сосредоточившая все внимание на изучении господствующих классов, оставила за бортом важнейшие слои общества, и только социальная история сумела дать инструменты для более критического прочтения прошлого. Их объединяло стремление критически рассмотреть и в случае необходимости отвергнуть традиционный взгляд; понимание, что на органическое отвращение старшего

---

[386] *Ragsdale H.* Comparative historiography of the social history of revolutions. P.335.
[387] *Ross D.* The new and newer histories: Social theory and historiography in an American key // Imagined histories. American historians interpret the past / Ed. by A. Molho, G.S. Wood. Princeton, 2018. P. 91.
[388] *Shearer D.* From divided consensus to creative disorder. P. 562.
[389] *Розенберг У.* История России конца XIX – начала XX в. в зеркале американской историографии // Россия конца XIX – начала XX в.: Взгляд зарубежных историков. Отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1996. С. 10.

поколения ко всему «левому» влияет интеллектуальный климат холодной войны, а не научный анализ советских реалий; решимость подвергнуть тщательному анализу общепринятые концепции русской истории и устоявшиеся клише; приверженность социальным подходам и количественным методам анализа; использование новых источников[390].

Однако все это произошло далеко не сразу. Драматические столкновения между «консервативными» и «левыми» историками-русистами, начавшиеся в 1970-е годы, выплеснулись на страницы журналов только в 1980-е. Что касается конкретных исследований, то серьезные монографии по истории «снизу» увидели свет также в начале 1980-х и продолжали выходить в 1990-е, когда интеллектуальный климат серьезно меняется, и в русистике, как и в мировой историографии в целом, начинает утверждаться «новая культурная история». Так называемые «культурные войны» между сторонниками «тоталитарной парадигмы» и «ревизионистами» – молодыми социальными историками – разворачивались вокруг проблемы революции 1917 г., а затем истории сталинизма. Фактически, «войны» сопровождали процесс конституирования новой субдисциплины – Soviet history, основанной на архивах, которая отделялась от политологической и политизированной советологии (Soviet studies). Процесс был тяжелым и болезненным, что было обусловлено как обстоятельствами холодной войны, так и личными особенностями ряда участников.

В истории императорской России как отдельной субдисциплине наблюдалось *постепенное* смещение интереса к социальной проблематике, которая встраивалась в контекст сохранявших свою популярность исследований политики «верхов», революционного движения и политических партий, наконец, экономической истории. Именно это

[390] *Acton E.* The revolution and its historians // Critical companion to the Russian revolution 1914-1921 / Ed. by E. Acton, V. Cherniaev, W. Rosenberg. L.: Bloomsbury, 2001. P. 8.

неуклонное движение к обогащению проблематики и оптики исследований и составляло сущностное содержание периода 1960-1980-х годов.

Другое дело, что общий интеллектуальный климат в зарубежном россиеведении значительно «полевел», и после 1968 г. марксизм перестал казаться чем-то еретическим. Однако вплоть до конца 1980-х годов в американской историографии в целом, и в русистике в частности, теоретической рамкой для исследований социальной и политической эволюции России и СССР являлась откровенно либеральная теория модернизации, которую называли «перевернутым» марксизмом[391]. В целом же для зарубежной историографии России в методологическом отношении был тогда характерен позитивизм и эмпиризм, который подпитывался открытием советских архивов для иностранных исследователей, откуда теперь можно было черпать все новые факты и данные[392]. Все эти обстоятельства способствовали развитию разнообразных форм взаимодействия с советской исторической наукой, настоятельная необходимость в котором подпитывалась профессионализмом русистики, достигшим высокого уровня.

Одна из таких, самых очевидных, форм коммуникации – рецензирование в журналах, которую определяют как «точку пересечения научной культуры рецензента и рецензируемого»[393]. Крайне интересный источник в этом отношении – скромный журнал с русским названием «Критика», выпускавшийся Русским исследовательским центром в Гарварде в 1964-1984 гг. под руководством тогдашнего директора центра Ричарда Пайпса силами его аспирантов. В нем публиковались рецензии на «важные и новаторские» книги по истории России, которые все в большем количестве начали

[391] *Ross D.* The new and newer histories. P. 91.
[392] *Рибер А.* Изучение истории России в США. С. 89.
[393] *Ковпак Д.* Советский историк и зарубежная наука: Александр Львович Шапиро и западные историки-русисты // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Русское издание. 2014. № 1. С. 284.

выходить в СССР и «обычно игнорировались в западных публикациях». Помимо чисто информационных целей, журнал преследовал и педагогические: дать аспирантам возможность овладеть основами профессии[394]. С прошествием времени значение и функции гарвардской «Критики» расцениваются уже по-иному: во-первых, на страницах журнала историки получили «форум» для свободного обсуждения и оценки работ своих коллег. А во-вторых, публикуя рецензии на монографии, написанные на русском языке, «Критика» служила в те годы «мостом» между западной и советской историографией[395]. Именно так охарактеризовали своего предшественника редакторы возобновленной в 2000 г. «Критики» Майкл Дэвид-Фокс, Питер Холквист и Маршалл По в проспекте только еще планировавшегося издания, присланного Э. Кинану.

В Советском Союзе, действительно, в этот период выходит много серьезных и новаторских работ по истории России и СССР, там начинают культивироваться научные дискуссии с западными историками, публикуются многочисленные рецензии и обзоры зарубежной историографии. В организованном в 1957 г. журнале «История СССР» учрежден специальный раздел «История СССР за рубежом», однако цели и стиль советских публикаций далеки от научных и в духе холодной войны носят характер «разоблачительский»[396].

Совсем иначе обстояло дело с гарвардской «Критикой». Получив небольшой грант Русского исследовательского центра, коллектив аспирантов Пайпса, которых у него тогда насчитывалось, как он вспоминает, более

---

[394] *Keenan E.L., Pipes R.* To our readers // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1984. Vol. XX, N. 1. P. 1; *Pipes R.* To the editors // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, No. 2. P. 435.

[395] *Keenan E.L.* To the editors // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, N. 1. P. 1

[396] См., например, аннотацию на монографию Л.В. Даниловой «Современная американская историография средневековой России» (М., 1964): «Монография вскрывает тесную связь официальной историографии США по истории России с задачами империалистической пропаганды, с политикой «холодной войны» правящих кругов и монополий США».

дюжины[397], начал выпускать журнал, который выходил небольшим тиражом сначала три, а затем два раза в год. Обычно в номере помещалось 5-6 рецензий, а в его подготовке участвовали 12-15 авторов и 2-3 редактора, причем работа редколлегии строилась на принципе ротации. Каждая рецензия (которая значительно превышала стандартные нормы объема для рецензий в «толстых» исторических журналах и доходила до 1 печатного листа) обсуждалась на заседаниях всего коллектива. Авторы не только давали в них свою оценку и достаточно нелицеприятную критику рецензируемых работ, но нередко подробно и аргументированно излагали свою собственную точку зрения на исследуемую проблему. В этом отношении значение публиковавшихся в «Критике» рецензий, и без того ценного жанра как источника по истории науки и идей, трудно переоценить. Они позволяют выявить, как на одни и те же проблемы русской истории смотрели специалисты по разные стороны Атлантики.

Тогдашние аспиранты Пайпса с удовольствием вспоминают горячие дискуссии, возникавшие по поводу той или иной книги или рецензии. Участие в работе над журналом действительно много дало им в научном плане. Многие из них к этому времени уже побывали на стажировке в СССР, завязали контакты с советскими историками, получали и сами привозили из Союза новые книги для рецензирования.

За 20 лет «Критика» опубликовала приблизительно 250 рецензий и множество аннотаций (этот жанр добавился в 1975 году), охватив практически все по-настоящему серьезные работы советских историков, а также откликнулась на ряд событий в культурной жизни СССР тех лет: прорецензировала фильмы («Андрей Рублев» Тарковского), романы («Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына) и воспоминания (Жуков). Как вспоминает Ричард Пайпс, это было «уникальное научное издание»:

[397] *Pipes R.* Vixi. P. 94.

профессиональный журнал, издававшийся своими силами, причем на основе самообеспечения, поскольку у него набралось более пятисот подписчиков[398].

Результаты и значение этого скромного по своим целям предприятия намного превзошли первоначальные намерения профессора. С 1964 по 1984 г. в издании журнала «Критика» приняли участие 85 человек, из них 62 человека стали профессорами университетов и колледжей, семеро сделали карьеру в правительственных учреждениях как специалисты по России, двое возглавляют крупные библиотечные коллекции по славистике, еще двое занимают административные посты в университетах[399]. Среди авторов и редакторов журнала такие имена, как Эдвард Кинан, Дональд Островский, Дэниэл Филд, Эбботт Глисон, Дэниэл Орловски, Уильям Розенберг, Джозеф Брэдли, Уильям Фуллер, Нэнси Шилдс Коллман, Кэти Фрайерсон, Джейн Бербанк и многие другие видные историки-русисты. Таков педагогический и научный результат издания непритязательного, отпечатанного на машинке и размноженного на ротапринте университетского журнала.

И все же в 1984 г. журнал прекратил свое существование. Как было объявлено в редакционной статье, дальнейшее продолжение издания не представляется возможным из-за нехватки, с одной стороны, сотрудников-рецензентов (резко уменьшилось количество аспирантов-русистов в Гарвардском университете) и средств, с другой – из-за малого количества достойных внимания советских книг[400]. Действительно, с начала 1980-х годов в СССР все реже выходят интересные работы. Изменяется общенаучная ситуация и в самой Америке, в том числе в Russian studies. После периода бурного развития и энтузиазма 1960-х годов, отмеченных живым интересом американской молодежи к русскому «социалистическому эксперименту» и к русской «экзотике», наступает новый, более прагматический этап. Д. Энгерман характеризует его как «двойной кризис»

[398] Там же.
[399] Данные на 2000 год, приведены: *Keenan E.L.* To the editors. P. 1-2.
[400] *Keenan E.L., Pipes R.* To our readers. P. 2

1970–80-х годов, когда, с одной стороны, было урезано финансирование и закрывались некоторые институты, с другой – происходит переориентация вновь открывавшихся советологических учреждений, которые были нацелены на удовлетворение сиюминутных нужд практической политики[401]. В 1970-е годы начинается неуклонная политизация Russian studies, которая выражалась в том числе в привлечении историков к политической экспертизе (наиболее крайний вариант – пост советника президента Рейгана, который занял Р.Пайпс в начале 1980-х годов). Все это, наряду с утратой широкого общественного интереса к СССР, привело к сокращению числа аспирантов-русистов в Гарварде.

В результате редакторам «Критики» все чаще приходилось прибегать к помощи сторонних авторов, которые не участвовали в работе редколлегии. Все чаще на заседании присутствовали лишь трое-четверо человек, что превращало прежде увлекательное занятие по составлению и редактированию журнала в тягостную обязанность[402]. Издание разделило судьбу многих неформальных начинаний, с течением времени выработавших свой ресурс.

Издание получило большой резонанс в научном сообществе американских историков-русистов. Известно, что аспиранты других университетов читали журнал от корки до корки, кого-то он вдохновил на новые работы. Дональд Рейли, например, после чтения рецензии Уильяма Розенберга в «Критике» взялся за перевод огромной монографии Э.Н. Бурджалова «Вторая русская революция» и работал над ним в течение десяти лет[403]. Кто-то до сих пор хранит у себя все комплекты журнала.

В Советском Союзе никакого резонанса, конечно, быть не могло. Для изучения вопроса о циркуляции журнала в СССР требуется обследовать

---

[401] *Engerman D.C.* Know your enemy. P. 235.
[402] *Keenan E.L., Pipes R.* To our readers. P. 2.
[403] См. *Burdzhalov E.N.* Russia's second revolution: The February 1917 uprising in Petrograd / Transl. and ed. by Donald J. Raleigh. Bloomington: Indiana University Press, 1987.

крупнейшие библиотеки, опросить историков. Однако на примере только одной из них – библиотеки ИНИОН РАН, бывшей Фундаментальной библиотеки Академии наук СССР – можно сделать какие-то предварительные заключения. Анализ формуляров хранящихся в библиотеке ИНИОН номеров «Критики» показывает, что журнал не пользовался популярностью у читателей. Во всяком случае, по сравнению с ведущими зарубежными изданиями – такими, как «Slavic review» и «The Russian review», хотя и их формуляры не выглядят переполненными. С уверенностью можно сказать, что «Критику» читали специалисты по истории дипломатии и международных отношений, а также по зарубежной историографии, в то время как специалисты по отечественной истории знали его мало[404]. Здесь сказывалось прежде всего отсутствие языковой подготовки – знание иностранных языков не считалось необходимым для историка, занимающегося изучением прошлого своей страны. Да и обособление истории СССР от всеобщей истории становится все более заметным. Разделение между мировой и советской историографией приобретает все черты «железного занавеса» именно в плане дисциплинарном.

В основе изоляции советской историографии лежали прежде всего идеологические установки: марксизм, провозглашенный «единственно верным» учением в познании истории, принцип партийности науки, убежденность в обладании «истиной в последней инстанции». Способствовал этому и общий психологический климат в стране, самоутверждавшейся после разоблачения культа личности путем отрицания «другого». Вспомним, что 1960-е годы – расцвет советского патриотизма и соревнования с Западом, когда шла борьба за приоритет России во всех сферах: русских инженеров и изобретателей (Попов против Маркони), ученых (Ломоносов против

[404] Данные до 1976 г. Кроме того, пометки на полях, сделанные рукой не стеснявшихся читателей, встречаются главным образом в рецензиях на книги о международных отношениях, хотя понятно, что далеко не все способны писать в библиотечных книгах, и это лишь косвенные выводы.

Лавуазье). Не могло это миновать и историческую науку, в которой было распространено, с одной стороны, высокомерное отношение к западным ученым, «слабо подготовленным методологически», поскольку они «не доросли» до марксизма, и к тому же не способным понять Россию с ее загадочной душой, а с другой – постоянное стремление доказать приоритет советской науки и дать отпор «буржуазным фальсификаторам» истории родной страны.

Кроме того, существовали и другие причины фактически отторжения западной науки советскими историками. В 1960-1970-е годы это был застарелый страх. Публикация в иностранном журнале положительной рецензии могла вызвать панический ужас, успокаивало лишь то обстоятельство, что «у нас ведь никто по-английски не читает».

Однако вернемся к гарвардской «Критике». В условиях холодной войны чего, казалось бы, мог ожидать советский читатель от американского журнала с таким агрессивно звучащим для русского уха названием, да еще связанного с именем «пресловутого» Ричарда Пайпса, который ассоциировался тогда исключительно с клеветническими нападками на СССР[405]? Советский ученый, живущий в атмосфере борьбы с «буржуазной наукой», заранее мог предположить, что перед ним идеологический орган, созданный с целью всячески принизить и извратить достижения нашей историографии. Дальше все зависело от предпочтений самого историка – раскроет он номер журнала или нет («Критика», как и большая часть американской периодики, не относилась к числу закрытых, спецхрановских изданий). Те, кто все-таки журнал раскрывали, могли найти в нем много для себя интересного и убедиться, что издание носило исключительно научный, а вовсе не идеологический характер, хотя и не во всем соблюдало академический стиль.

---

[405] См., например: *Игрицкий Ю.И., Плимак Е.Г.* Питомник клеветников: (Русский исследовательский центр в Гарварде) // История СССР. 1961. № 5. С.192-219.

Рецензии на советские работы, при всей критичности, в целом были доброжелательны. Отдавая себе отчет, в каких тяжелых условиях проходит работа советских историков, американцы делали скидку на официальное давление. Тем не менее, не всегда они могли избежать некоторого чувства превосходства – того, что Линн Виола назвала «папа лучше знает»[406]. И все же, если сравнить советские исторические журналы и американскую «Критику» 1960–1970-х годов, поражает выдержанность тона гарвардского журнала, позитивное отношение авторов и редакции к советским историческим работам. Обязательно признается все ценное, хотя очень подробно и критически разбираются недостатки. К ценному относились прежде всего введение в научный оборот новых источников, публикация документов и добротное изложение фактической стороны проблем. Критиковался, конечно же, классовый подход, притом чаще всего только там, где он мешал сделать адекватные выводы, и методика анализа источников.

Показательно, что в «Критике» публиковались рецензии главным образом на книги по дореволюционной истории России. XX век представлен рецензиями на работы по истории революции, и совсем мало – не наберется и двух десятков – по истории Гражданской войны и 1920-х годов. И это особенно характерно на фоне того количества работ, которые выходили в СССР (например, по истории Октябрьской революции и Гражданской войны только в 1956-1960 гг. было опубликовано около 7 тыс. книг, брошюр, статей и мемуаров)[407]. Так что крайне политизированная история советского времени почти не нашла отражения в журнале, что вполне соответствовало его установке на научность.

Содержание журнала определялось главным образом научными интересами его сотрудников, но прежде всего – темами диссертаций. Уже в

---

[406] *Viola L.* The Cold War in American Soviet historiography and the end of the Soviet Union // Russian review. 2002. Vol. 61, N 1. P. 25–34.

[407] Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС. Ч.1. История СССР. М., 1962. С. 28.

первых номерах были опубликованы рецензии на значимые работы, вышедшие в СССР, хотя далеко не все из них можно отнести к разряду «новых» и тем более «новаторских». «История государства Российского» В.Н. Татищева, «Крестьянское движение в России первой четверти XIX в.» И.И. Игнатович, «Очерки по истории опричнины» С.Б. Веселовского представляют собой «золотой фонд» историографии, публикация которого стала возможной после XX съезда. Тот же «оттепельный» заряд, несомненно, способствовал появлению книги Н.Г. Сладкевича «Очерки истории общественной мысли России в конце 50-х – начале 60-х годов XIX в.» (рецензия Д. Филда) и «Экономической политики Временного правительства» П.В. Волобуева (рецензия У. Розенберга, он же отрецензировал монографию В.К. Гусева о левых эсерах). В 1964 г. на страницах «Критики» нашли свое отражение такие значимые и «знаковые» для советской историографии тех лет публикации, как «Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.)» (рецензия Барбары Мергерян), «Реформы Ивана Грозного» и «Опричнина Ивана Грозного» А.А. Зимина (рецензии Эдварда Кинана и Джона Файна). Питер Кинез, в соответствии с кругом своих интересов, написал рецензии на книги А.О. Чубарьяна «Брестский мир» и А.Л. Фраймана о защите Петрограда в 1918 г.; готовивший диссертацию по истории колхозного строительства Д. Малхолланд проанализировал материалы конференции 1961 г. и книгу П.Н. Шаровой. Рецензирование литературы по советскому периоду и дальше носило в журнале столь же функциональный характер. Исключение составил юбилейный номер 1967 г. к 50-летию Октябрьской революции, в котором наряду с Уильямом Розенбергом, рассмотревшим монографию Бурджалова «Вторая русская революция», приняли участие уже состоявшиеся к тому времени историки – Роберт Дэниелс, Теодор фон Лауэ и сам Пайпс, написавший рецензию на сборник документов Петроградского ВРК.

Указатель содержания «Критики» за 20 лет[408] позволяет очертить, с одной стороны, круг приоритетных областей – это интеллектуальная история, философия и методология науки, аграрная история, внутренняя политика, революционное движение, с другой – выявить наиболее значимые фигуры советских историков, которые привлекали внимание американских ученых. Здесь особенно выделяются А.А. Зимин и П.А. Зайончковский, а также Э.Н. Бурджалов. То, что именно эти советские историки вызывали симпатии американцев, понятно. Это серьезные, талантливые ученые, которые в своих исследованиях не придерживались официальной линии, а часто и бросали вызов советскому историческому истеблишменту, что очень импонировало американцам и было созвучно общему ревизионистскому настрою, который начал превалировать в американской науке в 1960-е годы.

Известно, что Зимин и Зайончковский очень активно общались с американцами, приезжавшими по обмену в СССР. Вокруг А.А. Зимина группировались гарвардские специалисты по Средневековью, в первую очередь, тесные контакты с ним поддерживал Эдвард Кинан. Необыкновенно теплый некролог, посвященный памяти Александра Александровича, он опубликовал в «Критике»[409]. Этот сюжет еще ждет изучения, но следует отметить весьма значительный корпус материалов по допетровской истории (приблизительно 70 из 250), который в пропорциональном отношении никак не соответствует ни объему исследований русского Средневековья в СССР и США, ни степени отраженности этих исследований в рецензиях других журналов.

Чуть больший по количеству блок составляют материалы, посвященные истории России XIX – начала XX в. Наряду с традиционной историей революционно-освободительного движения они включают в себя тематику,

---

[408] Index to Kritika, Vols. I–XX // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1984. Vol. XX. N 1–2. P. 49–65.

[409] *Keenan E.* A.A. Zimin // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1979–1980. Vol. XVI. N 1. P.1–4.

на которую мало внимания обращала советская историография. Это история идей, печати и внутренняя политика царизма, в изучение которой большой вклад внесли многочисленные американские стажеры П.А. Зайончковского. Несколько человек были в свое время аспирантами в Гарварде и, соответственно, являлись сотрудниками журнала «Критика». В «Критике» были прорецензированы четыре монографии Петра Андреевича, а также работы ряда его советских учеников. Как вспоминал в личной беседе Д. Орловский, опубликовавший в журнале 5 рецензий, «Зайончковский тогда был нашим “героем”».

Солидный корпус материалов по проблеме реформ и истории крестьянства, опубликованных в «Критике», позволяет составить представление о взглядах ряда американских историков на такие животрепещущие для того времени вопросы, как сущность и характер крестьянского сопротивления, община, социально-экономическая история крестьянства и, наконец, проблема перехода от феодализма к капитализму. Эти сюжеты тесно связаны с фигурой И.Д. Ковальченко, с которым, например, Д. Филд поддерживал дружеские отношения и чьи труды он разбирал на страницах гарвардского журнала.

Обращает на себя внимание и количество рецензий на книги по истории XVIII в. в целом и русского Просвещения в частности – тематика, не слишком популярная в СССР. Интеллектуальная история, которую активно практиковали в Гарварде еще во времена М.М. Карповича, явно сохраняла свои позиции в 1960–1970-е годы. Немалое место отведено и справочно-библиографическим материалам, а также сборникам документов, которые, несмотря на активно работавшую тогда программу научных обменов, сохраняли свое важнейшее значение для американских русистов.

Возвращаясь к метафоре «моста через Атлантику», можно сказать, что движение по нему в 1960-х – начале 1980-х годов шло все же только в одном направлении. Важную роль в организации этого движения играли личные

контакты американцев с советскими историками, однако, несмотря на часто дружеские отношения, до полного взаимопонимания было далеко. Особенно это касалось научных вопросов, о чем свидетельствуют, например, воспоминания Д. Филда[410]. Существовали серьезные барьеры, среди которых уже упоминавшийся страх далеко не всегда стоял на первом месте. Большую роль играло отсутствие взаимопонимания, что особенно ярко проявлялось в редких дискуссиях.

Понимая значение личных контактов, редакция рассылала номера «Критики» некоторым советским историкам с просьбой прокомментировать ее содержание. Такая попытка была предпринята в отношении известного ленинградского историка Якова Соломоновича Лурье. Однако комментировать весь журнал Лурье отказался, поскольку материалы относятся к слишком разным областям русской истории. Он откликнулся лишь на рецензию Джона Файна на свою книгу «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI в.»[411]. Сам тон этих замечаний достаточно высокомерен – Лурье сразу же обвиняет американца в

[410] Field D. From the editor. Petr Andreevich Zaionchkovskii // The Russian review. 1983. Vol.42, N 3. P.IV-VII. Отмечая, что П.А. Зайончковский далеко не всегда разделял концепции своих стажеров-иностранцев и зачастую просто отказывался воспринимать категории зарубежной исторической науки, Филд приводит интересный диалог, высвечивающий не только личные и научные взаимоотношения учителя и ученика, но и степень взаимопонимания двух ученых, которые опираются в своих исследованиях на разный теоретический фундамент. Он состоялся вскоре после публикации в 1976 г. книги Д. Филда «Конец крепостничества». Зайончковский, прознавший, что ученик «впал в ересь», учинил ему форменный допрос. Филд «что-то бормотал» о политической культуре, безуспешно пытался придумать русские эквиваленты терминам «структура и конъюнктура»… Наконец, Зайончковский резко оборвал его: «Даниил Ричардович! Давайте договоримся. Что вы признаете главной причиной отмены крепостного права: экономику, крестьянское движение или распространение гуманистических идей?». Филд «горячо (и искренне) ухватился за материалистический вариант, и был восстановлен в своем ученичестве».

[411] Correspondence between prof. Luria Ya.S. and John Fine // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1965. Vol.2. N 2. P.35-45; *Fine J. V.A., jr.* Rec. ad op.: Lur'e, Ia.S. Ideologicheskaia bor'ba v russkoi publitsistike kontsa XV – nachala XVI veka // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1964. Vol. I, N 3. P.10-18.

«потребительском отношении к источникам»[412]. Комментарии Я.С. Лурье и ответ на них Джона Файна оставляют впечатление разговора слепого с глухим. Эта особенность диалога была отмечена и в рецензии Дэниела Филда на «Воспоминания и мысли историка» академика Н.М. Дружинина (М., 1967). Комментируя открытую Дружининым в журнале «История СССР» дискуссию с итальянским историком Франко Вентури[413], Филд отмечает, что она «проводилась (возможно, с умыслом), на взаимном непонимании»[414]. Думается, что умысла здесь все же было не так уж много. Слишком различались системы координат, в которых жили и мыслили два крупных историка.

Исключительно значимой и репрезентативной для истории исторической науки времен холодной войны является дискуссия между Э. Кинаном и Р.Г. Скрынниковым по поводу переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского. Частичное отражение она получила и на страницах «Критики»: здесь опубликована огромная – на полжурнала – рецензия Кинана на книгу Скрынникова «Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана», и ответ на нее советского историка[415].

Нужно сказать, что книга Скрынникова, выпущенная в пожарном порядке ленинградским отделением издательства «Наука» в 1973 г., стоит несколько особняком в ряду многочисленных «разоблачительных» советских

---

[412] «Потребительское отношение к источнику» – выражение, бытовавшее в среде ленинградских историков в 1920-30-е годы, означало произвольное цитирование нужных записей из летописных сводов разных эпох, в противовес историко-текстологическому методу, предложенному А.А.Шахматовым (См.: *Данилевский И.Н.* От интерпретации к пониманию: Традиции и перспективы // Диалог со временем. Вып.4. М., 2001. С. 201–202).

[413] *Дружинин Н.М.* Открытое письмо итальянскому историку Франку Вентури // История СССР. 1963. № 4. С.182-187.

[414] *Field D.* Rec. ad op.: Druzhinin, N.M. Vospominaniia i mysli istorika // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1967. Vol. IV, N 2. P.40-47.

[415] См.: *Скрынников Р.Г.* Мифы и действительность Московии XIV-XVII вв. Ответ проф. Э.Кинану (в связи с его замечаниями на книгу автора «Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Э.Кинана») // Русская литература. 1974. № 3. С.115-129. Ясно, что ответ Скрынникова был тщательно выверен и согласован не только с акад. Д.И.Лихачевым, активно включившимся в дискуссию, так что анализировать его следует соответствующим образом.

работ по зарубежной историографии, которые писались «профессиональными громилами» (выражение А. Каждана). В ней почти нет характерной уничижительной лексики, дискуссия ведется по линии исключительно научной: толкование источников и логика реконструкции прошлого. Однако общий вывод Скрынникова не оставляет у читателя сомнений относительно научной компетентности американского историка.

В своей рецензии Кинан ухватил самую суть противоречий: он писал, что в основе возмущения советского коллеги лежат различия в восприятии – а точнее, в понимании. При этом отсутствие взаимопонимания идет по трем линиям: языковой, методологической и эпистемологической. Во-первых, Скрынников не всегда понимал, что хотел сказать американский историк. Причем характерно, что большая часть отмеченных Кинаном ошибок в переводе лежит в области, казалось бы, языковых тонкостей, но в научном исследовании они имеют решающее значение. Там, где Кинан пишет «по-видимому», Скрынников читает «явно», где имеется в виду «быть может», он читает «определенно», что свидетельствует о различиях научного языка и в конечном счете – стиля научного мышления. В методологическом отношении разница в подходах доводит до того, что Кинан в итоге просто отказывается оспаривать аргументы Скрынникова, потому что они лежат в совершенно иной плоскости.

Дискуссия Кинана и Скрынникова на страницах журнала обнажает не только различия двух историков в понимании исторического процесса. Она свидетельствует о разных нормах и ценностях, о разных критериях доказательности, о разных подходах к цели и результату научного исследования. Скрынников считает, что данные, почерпнутые из источников, следует добавлять, вписывать в уже давно сложившиеся оценки, а Кинан полагает, что эти данные как раз и должны дать историку возможность пересмотреть устоявшиеся представления. Здесь в силу вступает противоречие в стилях научного поведения. «Потрясение основ» не могло

приветствоваться в советской науке, где скромность и уважение к авторитетам почитались за главные добродетели ученого, в то время как в американском научном сообществе (не только историческом) развенчание какого-либо традиционного постулата (мифа) считалось нормой для жанра case-study. И с этой точки зрения нет ничего удивительного, что в работе заокеанского коллеги советский историк увидел «претенциозность», «поиски дешевых сенсаций» и, наконец, «покушение на наше национальное достояние» – и дал им адекватный ответ. Таким образом, отсутствие взаимопонимания вытекало не только из политических и идеологических установок, но и из различия исторического, культурного, бытового опыта. И особенно остро оно выражалось в профессиональном плане, что становилось заметно при личных контактах исследователей, значительно увеличившихся с расширением научных обменов.

В 1968 г. совместно Американским советом ученых обществ (ACLS), Фондом Форда, Советом по исследованиям в области социальных наук (SSRC) и Госдепартаментом США был основан Совет международных научных исследований и обменов (International Research and Exchanges Board – IREX), который начал действовать вместо Межуниверсистетского совета по трэвел-грантам (IUCTG). Организация была создана в критический для американского образования момент, когда раскол как в обществе, так и в университетах был сильнейшим, а уровень доверия к государству и его политике – минимальным.

IREX сразу же заявил об основных принципах своей деятельности: обеспечить независимость от всех источников влияния кроме тех, что способствует продвижению знания, и в частности – оградить систему обменов от влияния такого фактора, как состояние советско-американских отношений[416], т.е. от «политики». Однако она постоянно вмешивалась и в

[416] International Research and Exchanges Board. Annual report for the operational year 1968-1969. N.Y., 1969. P. 2.

деятельность IREX, и в саму дисциплину Russian studies. К началу 1970-х годов ее натиск усилился, поскольку начала возвышаться и конституироваться как особая дисциплина советология. Впрочем, и раньше студенты, учившие русский язык, при выборе своей специализации по истории стояли перед определенным «вызовом». Как вспоминает Дж. Кракрафт, с русской историей ассоциировались эрудированные, обаятельные космополиты, которых олицетворяли представители первого поколения русской эмиграции. С советской – короткостриженные провинциалы в серых костюмах, озабоченные проблемами национальной безопасности[417]. Вторая линия в русских исследованиях начала набирать силу в 1970-е годы, причем как раз когда значительно сократилось финансирование как по линии государства, так и фонда Форда, а университеты начали искать частных благотворителей и все чаще сотрудничать с разведкой в реализации ее исследовательских проектов[418].

Соображения национальной безопасности играли немалую роль в организации международных обменов: шел довольно жесткий отбор кандидатов (правда, Р. Бернс, стоявший во главе процесса, сумел добиться, чтобы представители ЦРУ не встречались с ними). Однако решающее слово при выборе американских кандидатов имела советская сторона: заявка проходила экспертную оценку советских специалистов.

Чтобы попасть в страну, которую они хотели изучать, американские историки были вынуждены тщательно выбирать тему и не менее тщательно ее формулировать. Некоторые темы изначально являлись закрытыми, в основном это касалось советской истории и современности, но и по отношению к истории дореволюционной России также существовал ряд

---

[417] *Cracraft J.* Reclaiming Peter the Great // Adventures in Russian historical research: Reminiscences of American scholars from the Cold war to the present / Ed. by Baron S.H., Frierson C. Armonk, N.Y.; L.: M.E.Sharpe, 2003. P. 104.

[418] Фонд Форда сократил финансирование международного образования (т.е. стажировок) с 48 млн долларов в 1966 г. до 6 млн в 1968. См.: *Engerman D.* Know your enemy. P. 237.

запретов – в частности, внешняя политика. Кроме того, заявки, в которых трактовки и методы исследования явно отличались от советской историографии или были непонятны экспертам, также имели много шансов получить отказ. Он мог быть прямым и опосредованным, когда по прибытии в страну выяснялось, что поездка в нужный для работы город не одобрена, или же сообщалось, что в архиве отсутствуют документы по избранной теме. Неодобрения темы могли высказываться и на местах, причем американцев поражал гендерный акцент: тему Ричарда Стайтса о женском вопросе 1860-х годов назвали «не мужской», а Лоры Энгелстейн о московском рабочем движении 1905 г. – «не женской»[419]. Однако такие взгляды тогда встречались и в американских университетах.

В отличие от первых научных обменов 1950-х годов, когда сроки пребывания были небольшими (в соответствии с первоначальным соглашением они составляли один месяц и оформлялись по туристической визе), в 1960-е можно было приехать на целый учебный год, иногда на два. Это позволяло существенно повысить уровень владения русским языком и понимание советских реалий. Молодые историки относились к такой возможности с энтузиазмом: они ехали осваивать совершенно незнакомую «запретную» страну, которая многих привлекала и как альтернатива американскому капитализму.

Тем не менее, попав в страну изучения, молодые стажеры испытывали много трудностей в абсолютно чуждой для них среде, где к тому же по-английски даже в научном мире могли изъясняться единицы. Тяжелое психологическое воздействие оказывала на них и общая атмосфера многочисленных запретов и ограничений, привычная для советского человека и почти не замечаемая им. Кроме того, они приезжали с совершенно определенным набором представлений о жизненных стандартах и грузом

[419] *Baron S.H., Frierson C.* Introduction // Adventures in Russian historical research: Reminiscences of American scholars from the Cold war to the present / Ed. by Baron S.H., Frierson C. Armonk, N.Y.; L., 2003. P. XVI–XVII.

«предзнания» об СССР как совершенно чужой, уникальной стране. Эти базовые установки преодолевались, по свидетельству Присциллы Рузвельт, довольно медленно, в процессе «декодирования» русской «загадки»[420]. Помогал огромный интерес к стране и ее людям (иногда даже заключались браки, что служило, как правило, поводом для прекращения стажировки), но больше всего – к своему исследованию.

Организация исследовательской работы для иностранцев создавала у них впечатление неоправданных притеснений. Тот факт, что для иностранных исследователей были отведены отдельные читальные залы, воспринимался ими как «сегрегация» – они не понимали, что это бюрократический вариант советского гостеприимства. Однако доступ для них в советские архивы действительно был чрезвычайно ограничен и затруднен. Кроме того, там строго следили, чтобы иностранцы получали дела, точно соответствовавшие заявленной теме и научному плану. При этом описи не выдавались, и западным исследователям приходилось полагаться на специальных сотрудников, которые отбирали для них подходящие, с их точки зрения, материалы. Чаще всего, как вспоминает Сэмюел Бэрон, путеводителем по архивам становились ссылки на документы в трудах советских историков. Так сохранялся приоритет советской исторической науки и естественным образом ограничивался круг исследуемых тем. В глазах американцев это являлось частью советской программы по «закрытию прошлого»[421]. Малопонятны иностранцам были и общие для всех исследователей трудности работы в советских архивах доперестроечных лет, в том числе отсутствие возможностей фотокопирования.

Нередко общие впечатления от поездки (и страны в целом) оказывались в прямой зависимости от того, насколько удачной и продуктивной была работа в архивах. В этих условиях решающее значение приобретали

[420] *Roosevelt P.* Discovering rural Russia: A forty-year Odyssey // Adventures… P. 37, 46.
[421] *Baron S.H., Frierson C.A.* Introduction. P.XIV.

контакты с советскими историками, которые часто могли оказать неоценимую практическую помощь. Интересно характерное замечание Р. Пайпса о том, как он проводил в ЦГАОР иногда всего несколько минут, потому что ему выдавалось только одно дело в день, в то время как за соседним столом его американский коллега, «известный своим дружеским отношением к режиму», буквально утопал в документах[422].

Оставляя в стороне характер отношения к советскому режиму того или иного американского историка, следует заметить, что дружелюбие и общительность играли большую роль, поскольку речь в тех условиях шла исключительно о личных, неформальных контактах. Поэтому те, кому повезло с научным руководителем и кто сумел наладить сотрудничество с советскими историками, оказывались в выигрышном положении. Л. Хеймсон тесно сотрудничал с историками из Ленинградского отделения Института истории РАН, и его ученики часто приезжали туда на стажировки[423]. Нельзя сказать, что многие советские историки с удовольствием работали с иностранцами, что было связано не только с идеологическими или карьерными соображениями. В советской исторической науке уже утрачивалась традиция активной работы ученого как научного руководителя, в то время как в США университетские требования предполагали тесные контакты аспиранта со своим наставником. Таким образом, помощь, которую молодой историк мог получить в СССР при подготовке своей диссертации, напрямую зависела от личного желания и склонности научного руководителя. Так что выбор наставника становился решающим при написании заявки и планировании стажировки в СССР.

Историк Альфред Рибер вспоминал такой эпизод. Зимним днем 1973 г. человек шесть американских аспирантов и профессоров занимались в

---

[422] *Pipes R.* Vixi. P.120.

[423] An interview with Leopold Haimson // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2007. Vol.8, N 1. P.1-12; «О времени и о себе»: Интервью с Л.Хеймсоном // Отечественная история. 2005. № 6. С. 185-197.

читальном зале для иностранцев ЦГИАЛ (нынешнего Российского государственного исторического архива). Вдруг открылась дверь, и громкий голос возвестил с явным удовлетворением: «А! Мои американские ученики». Это был Петр Андреевич Зайончковский. И действительно, комментирует Рибер, все находившиеся в этот момент в зале архива американцы в разное время были стажерами Зайончковского[424].

Этот эпизод чрезвычайно показателен. Тот факт, что *все* сидевшие в тот момент в читальном зале архива были американцами и *все* стажировались у Зайончковского – конечно, случайное стечение обстоятельств, хотя он и создает совершенно определенное впечатление о количестве его американских учеников[425]. Важнее подчеркнуть отношение Петра Андреевича к своим стажерам-иностранцам – нетипичное ни для советской, ни тем более для западной исторической науки. Он воспринимал их не как своих зарубежных аспирантов, а именно как учеников. И здесь прослеживается преемственная связь с дореволюционной русской исторической наукой, богатой традициями научных школ.

Педагогическая деятельность занимала огромное место в жизни Зайончковского. Отдавая много времени своим студентам и аспирантам, он проводил с ними неофициальные занятия в библиотеках и архивах Москвы и Ленинграда, ездил по историческим местам, внимательно следил за дальнейшим продвижением своих учеников, был в курсе их житейских проблем, содействовал в трудоустройстве, рекомендовал их работы к публикации. Как пишет Л.Г. Захарова, он сознательно выстраивал вокруг себя сообщество учеников, культивируя теплые человеческие отношения,

---

[424] *Rieber A.* Petr Andreevich Zaionchkovskij (1983) // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 1985. Bd. 33, H.2. S. 316.

[425] Другой яркий пример такого рода - международная конференция 1989 г. в Филадельфии «Великие реформы в России. 1856-1874», где три четверти участников (в основном американцы) оказались его учениками.

атмосферу дружбы и коллегиальности[426]. Более 100 студентов защитили под руководством Зайончковского дипломные работы, 50 аспирантов – кандидатские диссертации, 14 его учеников стали докторами исторических наук[427]. О «школе Зайончковского» начали говорить уже в середине 1970-х гг., а после конференции 1994 г. в МГУ, посвященной 90-летию со дня рождения Петра Андреевича и выхода сборника по ее итогам, это понятие уже прочно вошло в научный обиход.

Понятие «школа Зайончковского» вполне удовлетворяет принятым в социологии науки критериям определения научной школы, в числе которых – наличие институциональных рамок (в данном случае это истфак МГУ), интеллектуальное лидерство, новая научная программа и ее систематическая реализация в диссертациях и публикациях. Действительно, тематика исследований Зайончковского – внутренняя политика самодержавия, история государственных институтов, армии и бюрократии – являлась новаторской для советской исторической науки того времени. Его ученики продолжали дальнейшую разработку этой проблематики, строго придерживаясь определенных принципов исследования (уважение к историческому факту, глубокое знание источников, исключающее сознательную идеологизацию или тенденциозность).

Важной особенностью школы Зайончковского стал присущий ей дух международного сотрудничества, поскольку в нее естественным образом вошли многочисленные иностранные стажеры Петра Андреевича. К настоящему времени возможно рассмотреть «американскую составляющую» школы Зайончковского на основе достаточного количества источников – статей и воспоминаний самих американцев, рецензий и некрологов. Кроме того, ряд американских историков – бывших стажеров Зайончковского

---

[426] *Захарова Л.Г.* Петр Андреевич Зайончковский – ученый и учитель // П.А.Зайончковский (1904-1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем. М., 1998. С.18.

[427] Там же. С.16.

поделились своими воспоминаниями о нем, ответив на анкету, разосланную автором настоящего исследования.

Сегодня уже понятно, что именно такой ученый, как П.А. Зайончковский, с его уважением к историческому факту и неприятием идеологического диктата в науке, мог стать в период холодной войны реальным связующим звеном для двух разъединенных научных школ. Он много сделал для развития американской русистики. Достаточно сказать, что в более чем двух десятках монографий по истории России, вышедших в США в конце 1960-х – 1980-х гг., можно встретить выражения благодарности Зайончковскому за помощь в исследовании.

Первые американские ученики появились у П.А. Зайончковского в самом начале 1960-х гг., когда после подписания советско-американского соглашения о научном обмене в СССР хлынул поток исследователей. В 1960-70-е гг. у него ежегодно было, как правило, от трех до пяти стажеров-иностранцев, в основном американцев, но и канадцев, и немцев, многие из которых (Теренс Эммонс, Дэниел Филд, Брюс Линкольн, Дэниел Орловски, Ричард Роббинс, Ричард Уортман, Э. Виртшафтер, Д. Байрау и др.) стали крупными учеными. Под его руководством были написаны серьезные исследования по истории внутренней политики, государственных институтов и бюрократии в дореволюционной России. Американских аспирантов привлекали в Зайончковском прежде всего его профессиональные качества. По словам Ричарда Уортмана, ему очень хотелось работать под руководством ученого такого класса. А знакомство с работами Зайончковского только укрепило его в этом желании.

Авторитет Зайончковского за рубежом, особенно в Северной Америке, действительно был чрезвычайно высок. В 1967 г., после публикации английского перевода его монографии «Военные реформы 1860–1870-х годов в России», Петр Андреевич был избран почетным членом Ассоциации американских историков и годом позже награжден Гарвардской премией, а в

1973 г. его избрали членом Британской академии. Всего же на английский язык были переведены три его монографии. В 1969 г. вышел посвященный ему специальный номер журнала «Канадиан славик стадиз» под названием «Царствование Александра II».

При выборе Зайончковского научным руководителем играло свою роль также и то, что в круг его научных интересов входили в первую очередь проблемы внутренней политики России 1860–80-х гг. Это совпадало с новыми тенденциями в американской русистике, где фокус исследовательского интереса в 1960-е гг. переместился с проблем идеологии и общественных движений к истории политики, государственных институтов и социальных отношений[428]. Кроме того, особое внимание стало уделяться периоду царствования Александра II, который имел решающее значение для последующего экономического, социального, политического и культурного развития России[429]. Работы Зайончковского также сыграли здесь не последнюю роль, показав, что в архивах имеется огромное количество интересного материала по политической истории России.

Привлекали американцев и личные качества Зайончковского, который не боялся в те годы активно работать с иностранцами. Слухи о том, как он помогает своим иностранным стажерам в архивах, быстро разнеслись в американском научном сообществе. Его «гостеприимство и доброжелательность к своим стажерам превосходили всякую положенную норму, – вспоминает Теренс Эммонс. – Для него в обстоятельствах того времени это был вопрос *принципиальный*»[430]. Зайончковский всячески опекал своих стажеров и вел за них «просто героическую борьбу», добиваясь для них свободного доступа в архивы. В связи с этим он приобрел «легендарную

---

[428] *Глисон А.* Великие реформы в послевоенной историографии // Великие реформы в России. 1856-1874. М., 1992. С.19.

[429] *Adler Ch.* The «Revolutionary Situation 1859–1861» : The Uses of Historical Conception // Canadian Slavic Studies. Montreal, 1969. Vol. 3. № 2. P. 383.

[430] *Эммонс Т.* П.А.Зайончковский – научный руководитель // П.А.Зайончковский (1904-1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем. М.: РОССПЭН, 1998. С.118.

репутацию среди стажеров разных стран»[431]. По словам Дэниела Филда, Зайончковский видел в подготовке американских историков свой «гражданский долг и долг перед наукой». Он часто повторял, что не знает, что такое «буржуазная наука» – есть «наука и ненаука»[432]. Наука была его религией, пишет Р. Уортман, она стояла над политикой и идеологией, и «в годы, когда все ставилось под сомнение», это имело огромное значение для молодых американских ученых[433]. «Он заставлял нас почувствовать свою принадлежность к единому сообществу ученых и работал без устали, чтобы помочь нам выполнить качественное исследование», – вспоминает Э. Виртшафтер[434].

Американские ученики Зайончковского в полной мере ощутили «воздействие его мощной индивидуальности»[435]. Вспоминая о своих взаимоотношениях с учителем, Теренс Эммонс говорит о его «заботливости, постоянстве, готовности помогать не щадя ни сил, ни времени, если только ученик продемонстрировал свою преданность науке»[436]. Под преданностью науке понимались постоянная работа над диссертацией или монографией и регулярные и продолжительные занятия в архивах. Одними концепциями и интерпретациями молодой историк свою лепту в историческую науку не внесет, считал Зайончковский. Он должен выявить и представить новый пласт документов по важной исторической проблематике, а правильную интерпретацию подскажут ему сами документы.

Эммонс подчеркивает отрицательное отношение Зайончковского к идеологизированной истории, отразившееся в его «архивной ориентации», что не могли не заметить его иностранные стажеры. При этом единственной «деидеологизированной» традицией в советской исторической науке

---

[431] Там же. С.119.
[432] Из ответов Р. Уортмана на анкету.
[433] Там же.
[434] Из анкеты Э. Виртшафтер.
[435] *Глисон Э.* Ук.соч. С.14.
[436] *Эммонс Т.* Ук. соч. С.116.

являлась позитивистская дореволюционная историография, с которой Зайончковского, ученика Ю.В. Готье, соединяла глубокая связь. В то же время, оставаясь советским историком, Зайончковский не пытался «обратить в свою веру» американских учеников[437].

В оценке американских историков-русистов, методология Зайончковского, выражавшаяся в позитивистской вере в источник и отказе от идеологических пристрастий, требовала значительного интеллектуального мужества. Он не мог в те годы открыто высказывать свои взгляды в печатных работах, но в разговорах со своими учениками, например, неоднократно подчеркивал субъективную сторону исторического процесса. Р. Уортман вспоминает доклад о субъективном факторе в истории, который Зайончковский сделал в забитой до отказа аудитории Ленинградского университета в семинаре у С.Б. Окуня. Слушатели были в восторге, однако многие отнеслись скептически к тому, что они сочли «радикальным отрывом от исторического материализма».

Западные историки высоко ценили Зайончковского-исследователя, характеризуя его метод как «безупречно проницательный», «изощренно эмпирический» и аналитически точный[438]. «Увлеченный и щедрый наставник», он «манит молодого историка на довольно-таки трудный путь, по которому следует сам», писал в своей историографической статье Д. Филд. Его публикации, основанные на глубоком и точном знании огромного количества источников, лишены стилистических ухищрений и эффектности; часто историк предоставляет источнику говорить самому за себя. Поэтому путь, который он предлагает своим ученикам – это путь «аскетизма и взыскательности» [439].

---

[437] *Рибер А.* Изучение истории России в США. С. 89, 92.
[438] *Adler Ch.* Op. cit. P.395.
[439] *Field D.* Reforms of 1860s. // Windows on the Russian past: Essays on Soviet historiography since Stalin / Ed. by S.H. Baron, N.W. Heer. Columbus, 1977. P. 98.

Лейтмотив статьи Филда – недостаточная изученность в СССР «немодного» политического и институционального аспекта истории Великих реформ. Тема эта не выглядела достаточно «идеологически выдержанной» с точки зрения советского исторического истеблишмента (А.Д. Степанский даже как-то назвал ее «историей контрреволюции»). В исторической науке господствовало представление о неизбежности смены феодального строя буржуазным, что в глазах исследователей обесценивало саму политику реформ. Но существовали и другие причины. Например, правовая сущность Великих реформ не находила должного отклика у советских исследователей, поскольку отсутствовало, по выражению Филда, «культурное подкрепление» этой проблемы в советской повседневной жизни, далекой от представлений о нормах права. Подход же Зайончковского к изучению Великих реформ был близок воззрениям американских историков и вполне укладывался в рамки теории модернизации, которая в 1960–1980-е гг. являлась ведущим аналитическим инструментом в исследованиях истории императорской России на Западе.

Близка представлениям американских историков была и детально воссозданная в работах Зайончковского картина «хронического кризиса» государственных институтов самодержавной России. У них находили живой отклик и по преимуществу институциональный подход к кризисам рубежа 1850–1860-х и 1870–1880-х гг., и постановка вопроса о способности царизма к трансформации, чтобы адаптироваться к новым условиям, столь созвучная постулатам западных социальных наук; и внимание к институциональным и личным конфликтам внутри правительства, к политическим технологиям и политической культуре бюрократии. Для социальной истории огромное значение имел проведенный П.А. Зайончковским статистический анализ состава правительственного аппарата России накануне Крымской войны,

который, как считает Д. Орловски, «дал новое понимание эволюции бюрократии середины века»[440].

Не разделяя принятые в советской историографии концепции, иностранные ученики Зайончковского разрабатывали в своих трудах ту же проблематику и применяли тот же исследовательский метод, что и их учитель. Что касается теоретической стороны исследований, то здесь не существовало идейного давления со стороны учителя. Американские историки использовали и развивали его идеи и концепции, но зачастую вкладывали в них собственное содержание.

Первой монографией, выпущенной американским учеником Зайончковского, была книга Т. Эммонса «Русское поместное дворянство и освобождение крестьян в 1861 г.»[441]. Через несколько лет вышла монография другого ученика Зайончковского Д. Филда «Конец крепостничества. Дворянство и бюрократия в России, 1855–1861»[442]. Как вспоминает Филд, ни один из двух его научных руководителей, которыми были Ричард Пайпс и Александр Гершенкрон, не оказал ему никакой помощи в работе, хотя Пайпс исправно подписывал заявки Филда на получение стипендий, в том числе для стажировки в СССР в 1964–1965 гг. Благодаря руководству Зайончковского и диссертация, и книга получились гораздо более значительными, чем планировалось. Первоначальной темой исследования Филда было участие дворянских депутатов в работе Редакционных комиссий, поскольку его, как и Эммонса, интересовали истоки русского либерализма. Однако Зайончковский настоятельно рекомендовал ему расширить свое исследование, активно помогал в работе в архивах, и в результате была написана политическая история Положений 19 февраля.

---

[440] *Orlovsky D.* Recent studies on the Russian Bureaucracy // Russian review. Stanford, 1976. Vol. 35. № 4. P.459.

[441] *Emmons T.* The Russian landed gentry and the peasant emancipation of 1861. Cambridge, 1968.

[442] *Field D.* The End of serfdom. Nobility and bureaucracy in Russia, 1855-1861. Cambridge, 1976.

Монография Филда предложила во многом новый взгляд и достаточно своеобразный подход к изучению подготовки отмены крепостного права. Это исследование ставило на повестку дня вопрос о характере мировоззрения творцов Великих реформ, об исторической роли бюрократии в России. Большой вклад в изучение этих проблем внесли работы Брюса Линкольна, который стажировался в МГУ у Зайончковского дважды, в 1964–1965 и 1970–1971 гг.[443] Первоначально он подготовил под его руководством биографию Николая Милютина[444]. Эта работа явилась для Линкольна первым подступом к изучению интересного явления в истории России – подъема и падения «уникального типа чиновничества» – просвещенной бюрократии. Вслед за своим американским наставником Марком Раевым Линкольн использует этот термин, не объясняя его, а скорее противопоставляя принятому уже к тому времени в советской историографии термину «либеральная бюрократия». В 1982 г. как итог предыдущих исследований Линкольна вышла книга «В авангарде реформы. Русская просвещенная бюрократия, 1825–1861»[445], ставшая заметным явлением в западной историографии. Изучению чиновников «нового типа» была посвящена яркая монография Ричарда Уортмана о становлении правосознания в России и судебной реформе 1864 г., написанная с использованием методов литературоведческого и психологического анализа[446].

Уортман стажировался по этой теме у Зайончковского в 1966–1967 гг. По его словам, влияние научного руководителя при работе над темой было двояким. Во-первых, Зайончковский показал, что «погрузившись в бюрократические документы и мемуары чиновников, можно открыть новые

---

[443] Петр Андреевич Зайончковский. Библиографический указатель: к 90–летию со дня рождения / Сост. А.С. Стрелкова. М.: Изд-во Московского университета, 1995. С. 57, 60.
[444] *Lincoln B.W.* Nikolai Miliutin: An enlightened Russian bureaucrat of the 19th Century. Newtonville, 1977.
[445] *Idem.* On the vanguard of reforms: Russian ‘enlightened bureaucrats’, 1825-1861. DeKalb, 1982.
[446] *Wortman R.* The development of Russian legal consciousness. Chicago, 1976.

и важные стороны исторического процесса». Во-вторых, большое значение для молодого американского историка имела убежденность Зайончковского в большой роли личности в историческом процессе, поскольку сам Уортман хотя и признавал значение этого фактора, не думал о нем как о теме исследования. Подход Зайончковского подсказал, каким образом можно использовать запас знаний в области интеллектуальной истории (Уортман уже выпустил к этому времени книгу об идейном содержании русского народничества) для освещения ментальности бюрократии.

Еще один американский ученик Зайончковского, внесший серьезный вклад в изучение истории дореволюционной России, – Ричард Роббинс, стажер 1967–1968 гг. По воспоминаниям Роббинса, при подготовке к докторскому экзамену он прочел ряд работ Зайончковского. Особенно полезной для него оказалась монография «Кризис самодержавия», показавшая, как можно на базе неизвестных архивных источников с привлечением мемуаров написать захватывающее повествование о функционировании государственных институтов. Роббинс решил попытаться выполнить такую же работу, надеясь, что ему удастся попасть в Советский Союз и, возможно, даже работать с Петром Андреевичем. Это решение повлияло на выбор темы диссертации: «Голод 1891–92 гг. и политика правительства по борьбе с ним». Он отправил заявку, в которой указал, что хотел бы иметь своим научным руководителем профессора Зайончковского. Однако получил отказ от советской стороны, поскольку тема голода считалась «секретной». Вдохновило его на повторную попытку только известие, что Петр Андреевич хочет, чтобы Роббинс был его стажером. Он решил изменить свою заявку, перенеся основной акцент на действия правительства и оставив в стороне голод как таковой. Заявка была одобрена, и Роббинс, с опозданием на год, стал стажером Зайончковского.

Зайончковский был активным научным руководителем. Встречи происходили примерно раз в неделю у него дома. Он сразу же помог новому

стажеру составить научный план для представления в архив, однако и здесь не обошлось без приключений. Директор ЦГАОР (ныне – Государственный архив Российской федерации) увидел, что представленный научный план не соответствует присланной из США анкете: голод в ней опять был на первом месте. Однако учитывая, что руководителем является Петр Андреевич, он предложил переписать план в строгом соответствии с заявкой и поставить голод третьим или четвертым пунктом в списке изучаемых тем. «Приносите новый план, мы его перепечатаем. У нас есть материалы для вас, вы сможете изучать голод *косвенно*».

Приехав в Москву в 1976 г., Роббинс подарил Зайончковскому экземпляр своей недавно вышедшей книги[447]. Позднее, при встрече в Ленинграде, Петр Андреевич хвалил ее, но упрекал своего ученика в том, что он сделал одну серьезную ошибку: дал сравнение с политикой советского правительства по борьбе с голодом в 1920–1930-х гг. «То, что происходило в 1930-е гг., – государственная тайна. Вашу книгу никогда не будут рецензировать в советской печати, а если и напишут рецензию, то критическую». Роббинс ответил, что если бы он не дал такого сравнения, его западные коллеги критиковали бы его гораздо больше и, кроме того, советская государственная тайна отнюдь не является таковой за пределами СССР. Зайончковский воспринял этот ответ с удовлетворением, но он был прав – ни одной рецензии на книгу в советских исторических журналах не появилось[448].

Тщательный анализ деятельности МВД на протяжении фактически всего XIX столетия был представлен в книге Дэниэла Орловского[449], стажировавшегося по этой теме у Зайончковского в 1973–1974 учебном году.

---

[447] *Robbins R.G., jr.* Famine in Russia, 1891-1892: The imperial government responds to a crisis. N.Y., 1975.
[448] Сообщено автору Р.Роббинсом.
[449] *Orlovsky D.* The limits of reform: The Ministry of internal affairs in imperial Russia, 1802-1881. Cambridge, 1981.

Однако историей внутренней политики и государственных учреждений не исчерпывался круг научных интересов Зайончковского. Важное место в его исследованиях занимала армия. Военной тематикой занимались несколько американских стажеров Зайончковского. Уиллис Брукс писал о Дмитрии Милютине, Томас Бек – о высшей военной бюрократии второй половины XIX в., Питер Кенеш исследовал тему «Русский офицерский корпус и революционное движение 1907–1917 гг.». Элиза Киммерлинг Виртшафтер стажировалась у Петра Андреевича в 1980–1981 учебном году по теме «Русский солдат, 1815–1850 г.: анализ института рекрутов» и была в числе последних его американских учеников.

Виртшафтер принадлежала уже к тому поколению американских историков, для которых особым обаянием обладала «история снизу», история повседневной жизни «простого народа». История России, по словам самой Элизы, была привлекательной вдвойне: социализм рассматривался как возможная альтернатива американскому капитализму, а запреты времен холодной войны придавали стране черты экзотичности.

Зайончковский одобрил намерение Виртшафтер изучить делопроизводство военных трибуналов и предложил обратиться также к другим материалам (в том числе к спискам рекрутов, ежегодным отчетам Инспекторского департамента Военного министерства). Поскольку исследование выстраивалось постепенно, на основе архивных изысканий, получалось, что во многих отношениях Зайончковский помогал определить его содержание[450].

Книга по итогам стажировки вышла в 1990 г.[451]. В центре внимания автора – повседневная жизнь нижних чинов в мирное время, изучение которой в рамках социальной истории призвано было прояснить такие важные проблемы, как взаимоотношения государства и общества,

[450] Сведения сообщены Э. Виртшафтер.
[451] *Wirtshafter E.K.* From serf to Russian soldier. Princeton, 1990.

характерные черты «милитаризованного общества», процесс модернизации царского режима в дореформенный период.

Книга о русском солдате явилась для Элизы началом углубленного изучения социальных структур Российской империи[452]. Ее новые исследования базируются уже на иных методологических установках. И если в первой ее монографии прослеживается генетическая связь со школой Зайончковского, три ее последующие книги хотя и вращаются вокруг одной темы – изучения социальной идентичности – принадлежат уже к иной историографической эпохе.

Многочисленные американские ученики Зайончковского, разъехавшись по разным городам и университетам, продолжали ощущать некую эмоциональную и интеллектуальную общность. Их объединял и продолжает объединять опыт совместной работы с советским историком, который так много сделал для их становления в исторической профессии. Интеллектуальное влияние Зайончковского следует рассматривать в русле общего процесса взаимодействия двух историографий, для которого характерно развитие творческих контактов на индивидуальной основе в 1960-е гг., а впоследствии – их постепенное расширение, в том числе за счет совместного участия в международных конференциях[453].

---

[452] См. русский перевод книги 1994 г.: Виртшафтер Э. Социальные структуры: Разночинцы в Российской империи. М., 2002.

[453] *Рибер А.* Изучение истории России в США. С.97.

3.2. Историографический ландшафт 1970-1980-х годов и «кризис самодержавия»[454]

На протяжении 1970-х годов в зарубежной русистике идет неуклонный рост количества исторических трудов, особенно заметный в США. К концу 1980-х годов он становится взрывным, особенно в том, что касается разнообразия тем и подходов. Сопровождается он и ростом профессионализма, что во многом было обусловлено доступом к советским архивам, пусть и ограниченным, и наращиванием библиотечных ресурсов. Немецкоязычная историография, по словам А. Каппелера, находилась под сильным влиянием американской и двигалась по той же траектории, хотя в количественном отношении была куда скромнее. В ней продолжалось изучение Московского периода, имевшее давнюю традицию (в отличие от США), развивались исследования советской истории, хотя и сильно политизированные[455]. Во Франции основное внимание уделялось истории XX в., однако с меньшей вовлеченностью в «политику».

История императорской России являлась той сферой, в которой профессионализм пересекался с политической повесткой дня, но ее

---

[454] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М., 2008; *Большакова О.В.* История России в гендерном измерении. Современная зарубежная историография. М., 2010; *Большакова О.В.* О новой концепции истории России в современной американской историографии // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2009-2010 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М., 2012. С.42-70; *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны: Монография. М., 2013; *Большакова О.В.* Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Вып. 6. М., 2016. С. 353-385; *Большакова О.В.* Кризис российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171; *Большакова О.В., Пушкарева Н.Л.* Гендерные исследования российского двадцатого века // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. Т. 65. Вып. 1. С. 318-328.

[455] *Kappeler A.* The German-language historiography… P. 48, 53. Нельзя, однако, не упомянуть, что книга Дитриха Гайера была переведена английский и оказала серьезное влияние на американскую историографию: *Geyer D.* Russian imperialism. The interaction of domestic and foreign policy, 1860-1914. Bruce Little, 1977.

воздействие было достаточно опосредованным. Она скорее имела стимулирующий эффект, заставляя историков глубже вдумываться в прошлое.

Центральное место в зарубежной историографии императорской России вплоть до окончания холодной войны занимала так называемая «парадигма 1917 года». Свое название она получила гораздо позднее, уже после распада Советского Союза, но с самого начала тот факт, что революция является главным событием российской истории, не отрицал никто из зарубежных специалистов, независимо от идеологических позиций. Для периода 1970–1980-х годов, как и прежде, было характерно ретроспективное прочтение истории: отсчет велся с 1917 года назад, и все предшествующие события трактовались как вехи на пути к революции. С конца 1960-х количество работ, посвященных непосредственно 1917 г., неуклонно увеличивалось и составило отдельную историографию, которую, строго говоря, следует отнести к молодой, только формировавшейся тогда дисциплине Soviet history. Специалисты по императорской России исследовали в основном «истоки Октября».

Приняв эстафету у первого послевоенного поколения, сосредоточивавшегося на изучении идейных основ русского радикализма и либерализма, зарубежная историография 1970-х годов уделяла большое внимание взглядам русских либералов[456]. Тем не менее довольно быстро интеллектуальная история в узком смысле этого слова отступила на задний план, что в тематическом отношении выразилось в усиленном интересе к изучению не столько идей, сколько революционно-освободительного движения, и здесь обнаруживается много аналогий и перекличек с советской историографией – разница заключалась прежде всего в оценках, в которых

[456] *Riha T.* A Russian European: Paul Miliukov on Russian politics. Notre Dame, 1969; Essays on Russian liberalism / Ed. by Timberlake Ch. Columbia, 1972; *Pipes R.* Struve. Liberal on the left, 1870-1905. Cambridge, 1970; *Idem.* Struve: Liberal on the right, 1905-1944. Cambridge, 1980 и др.

плюс менялся на минус. Общей для обеих историографий, разделенных «железным занавесом», стала и концепция «кризиса самодержавия» – представление о глубоком, многофакторном кризисе, который неумолимо вел царскую Россию к коллапсу.

Безусловно, троп «кризис старого режима» – давний и довольно частый гость в историографии. В случае с Россией он органично вписывался в нарратив «упадка и разрушения», а под влиянием сциентизма 1960-1970-х годов приобрел черты «системности». Понятие «кризис самодержавия» стало всеобъемлющей рамкой для зарубежной русистики того времени, существенно расширив как хронологические, так и тематические рамки исследований «истоков революции».

Изучались разные его аспекты: социально-экономический, политический, управленческий. Это могли быть кризисы достаточно локальные, как, например, голод 1891–1893 гг. или крестьянские волнения начала XX в., общенациональный – революция 1905–1907 гг., наконец, кризис аграрный, ведущий свое происхождение, как считалось, от крестьянской реформы 1861 г., и другие. Все они вносили свой вклад в общую картину «кризиса самодержавия», достигшего своего пика в годы Первой мировой войны и драматически завершившегося в 1917 г. Отголоски этих представлений до сих пор звучат в некоторых исследованиях.

Понятие о системном кризисе в царской России складывается в зарубежной историографии в 1960–1970-е годы под влиянием ряда факторов, и прежде всего новаций в науке, где утверждаются представления о строгой обусловленности процессов, протекающих как в природе, так и в обществе, о законах развития, которые можно выявить и верифицировать, а в перспективе – управлять ими. Теперь это называют «позитивистской экспансией» в общественные науки, но тогда речь шла скорее о первостепенной роли социологии, что выразилось в безусловном доминировании социально-научной парадигмы, в рамках которой общество

понимается как целостная система, развивающаяся по объективным законам, где случайность, как и субъективность, играют минимальную роль. Такие представления заняли господствующие позиции как в советской, так и в зарубежной исторической науке. При этом многие понятия, являвшиеся для советской историографии центральными, инкорпорировались в зарубежную русистику, частично переосмысливались, критиковались и, в соответствии с принципами неопозитивизма, проверялись на прочность, в том числе методами квантификации. Одним из таких понятий и явился «кризис самодержавия» как главная составляющая «причин русской революции».

Как и в советской историографии, освободительное движение выступало в исследованиях зарубежных русистов в качестве важного политического фактора падения режима, являясь ярчайшим выражением его кризисного состояния. Одной из популярных тем стали политические партии. Но поскольку партия большевиков не имела для зарубежных специалистов сакрального значения, большой массив монографических текстов и статей был посвящен и другим политическим партиям (в рамках решения вопроса о возможности альтернативного эволюционного пути развития для России)[457]. Значение народничества для политической истории России подчеркивалось предыдущими исследованиями, среди которых выделялась фундаментальная работа итальянского историка Франко Вентури, вышедшая в 1952 г. и

[457] *Getzler I.* Martov: A political biography of a Russian social democrat. N.Y., 1967; *Wildman* The making of a workers' Revolution: Russian social democracy, 1891-1903. Chicago, 1967; *Ascher A.* Paul Axelrod and the development of Menshevism. Cambridge, 1972; *Tobias H.J.* The Jewish Bund in Russia from its origins to 1905. Stanford, 1972; *Galai Shm.* The liberation movement in Russia 1900-1905. N.Y., 1973; *Rosenberg W.G.* Liberals in the Russian revolution: The Constitutional democratic party, 1917-1921. Princeton, 1974; *Pinchuk B.-C.* The Octobrists in the Third Duma, 1907-1912. Seattle, 1974; *Birth E.* Die Oktobristen (1905-1913): Zielovstellungen und Struktur. Stuttgart, 1974; *Elwood R.C.* Russian socialism in the underground: A study of the RSDRP in the Ukraine, 1907-1914. Assen, 1974; *Perrie M.* The agrarian policy of the Russian Socialist-Revolutionary party from its origins through the revolution of 1905-1907. N.Y., 1976; *Pearson R.* The Russian moderates and the crisis of tsarism, 1914-1917. N.Y., 1977; *Hildermeier M.* Die sozialrevolutionare Partei Russlands. Agrarsozialismus un Modernisierung im Zarenreich (1900-1914). Cologne, 1978; *Baynac J.* Le socialistes-revolutionnaires de mars 1881 a mars 1917. Paris, 1979.

переведенная на английский в 1960 г. под говорящим названием «Корни революции»[458]. Английский вариант названия был верным, поскольку заканчивает свой труд Вентури цареубийством 1 марта 1881 г., после чего, как считалось, Народная воля сошла на нет.

На английском языке выходит достаточно много работ – преимущественно это интеллектуальная история, написанная молодыми авторами, которая охватывает разные течения революционного движения в России[459]. Постепенно охват исследований расширяется, включая в себя более «практическую» социальную составляющую: реальные действия революционеров, «борьбу» за рабочий класс или же систему подготовки в российских университетах, которая при ближайшем рассмотрении оказывается «кузницей кадров», хотя и весьма специфической[460].

В 1980-е годы интерес к революционно-освободительному движению в зарубежном россиеведении начинает постепенно падать, хотя и подпитывается взаимодействием с советской историографией. Характерно, что периодизация освободительного движения совпадала там с принятой в советской исторической науке, так же как и общие характеристики этих

---

[458] *Venturi F.* Il populismo russo. 2 vol. Torino, 1952; *Idem.* Roots of revolution; a history of the populist and socialist movements in nineteenth century Russia. Transl. from the Italian by Francis Haskell. With an introd. by I. Berlin.New York, Knopf, 1960. Книга неоднократно переиздавалась, в 1972 г. вышла и на французском языке.

[459] *Wortman R.* The crisis of Russian populism. L., 1967; *Weeks A.L.* The first bolshevik: A political biography of Peter Tkachev. N.Y., 1968; *Walicky A.* The controversy over capitalism: Studies in the social philosophy of the Russian populists. Oxford, 1969; *Pomper Ph.* Peter Lavrov and the Russian revolutionary movement. Chicago, 1972; *Evans J.L.* The Petraševskij circle, 1845-1849. The Hague, 1974; *Pereira N.G.O.* The thought and teachings of N. G. Černyševskij. Paris, 1975; *Acton E.* Alexander Herzen and the role of the intellectual revolutionary. Cambridge, 1979; *Gleason A.* Young Russia: The genesis of Russian radicalism in the 1860s. N. Y., 1980; *Saltman R.B.* The social and political thought of Michael Bakunin. Westport, 1983; *Offord D.* The Russian revolutionary movement in the 1880s. Cambridge, 1986; *Hardy D.* Land and freedom: The origins of Russian terrorism, 1876-1879. N.Y., 1987; *Cahm C.* Kropotkin and the rise of revolutionary anarchism 1872–1886. Cambridge, 1989. Политические биографии революционеров, в особенности анархистов, очень востребованы и активно переиздаются.

[460] *Brower D.R.* Training the nihilists: Education and radicalism in Tsarist Russia. Ithaca, 1975; *Schneiderman I.* Sergei Zubatov and revolutionary marxism: The struggle for the working class in tsarist Russia. Ithaca, 1976.

периодов: первый революционер Радищев – декабристы – Герцен и революционные демократы – народники[461]. Между 1 марта 1881 г. и образованием партии РСДРП – провал, который попытался заполнить своим исследованием Норман Наймарк. Его книга – одна из немногих по-настоящему серьезных работ, посвященных теме, которая вскоре отступит на задний план[462]. В русле интеллектуальной истории изучается общественная мысль – от славянофилов до влияния Ницше[463]. Продолжаются исследования российского либерализма, в том числе и в биографическом ключе, что несомненно создавало некий баланс в историографии[464].

В изучении истории русского либерализма и выявлении причин революции политическая сфера сохраняет свои позиции. В этом отношении образцовой – в том, что касается сбалансированного подхода и широты охвата – признана книга Т. Эммонса о формировании политических партий и первых национальных выборах в России[465]. Это обобщающее исследование, сосредоточенное на изучении всех партий, ставивших своей целью введение конституционализма, и тех социальных сил, которые их поддерживали. Краткий период русского конституционализма, когда самодержавная Россия ближе всего подошла к демократии западного типа, находился тогда в фокусе внимания. Одной из очевидных причин падения режима признавалась неэффективность русского парламента, и в исследованиях о Государственной

---

461 См.: *Venturi F.* Studies in free Russia. / Translat. by F.S. Walsby, M. O'Dell. Chicago, 1982.

462 *Naimark N.M.* Terrorists and social-democrats. The Russian revolutionary movement under Alexander III. Cambridge, 1983.

463 *Müller* E. Russischer Intellekt in europäischer Krise: Ivan V. Kireevskij (1806–1856). Boehlau, 1966; *McNally R.T.* Chaadaev and his friends: An intellectual history of Peter Chaadaev and his Russian contemporaries. Tallahasse, 1971; *Gleason A.* European and Muscovite: Ivan Kireevsky and the origins of Slavophilism. Cambridge, 1972; Nietzsche in Russia / Ed. by Rosenthal B.G. Princeton, 1986.

464 *Offord D.* Portraits of early Russian liberals: A study of the thought of T.N. Granovsky, V.P. Botkin, P.V. Annenkov, A.V. Druzhinin, and K.D. Kavelin. Cambridge, 1985; *Roosevelt P.R.* Apostle of Russian liberalism: Timofei Granovsky. Newtonville, 1986; *Walicki A.* Legal philosophies of Russian liberalism. Oxford, 1987; *Hamburg G.M.* Boris Chicherin and early Russian liberalism, 1828-1866. Stanford, 1992.

465 *Emmons T.* The formation of political parties and the first national elections in Russia. Cambridge: Harvard univ. press, 1983.

Думе и о ее отношениях с государством неизменно возникало понятие «кризис»[466].

Революция для либерально-универсалистской линии исторических исследований, преобладавшей в зарубежной историографии в годы холодной войны, являлась несомненной трагедией, нарушившей нормальный ход развития государства, которое зиждется на законности, свободах и правах человека, частной собственности и парламентской демократии. В противоположность консервативной «тоталитарной», эта линия ставила императорскую Россию в один ряд с европейскими державами, что получило теоретическое оформление в теории модернизации.

Эта теория представила революцию почти неизбежным последствием модернизации, которая в России протекала достаточно болезненно и остро, – что считалось типичным для всех «запоздалых» модернизаторов. Лишив Русскую революцию уникальности, теория модернизации предоставила концептуальную рамку для ее рассмотрения в категориях нормативности и закономерности; была четко сформулирована и цель исторического процесса: переход от традиционного аграрного общества к современному индустриальному как воплощению демократии и «развития». «Кризис самодержавия» также утратил в этом контексте свою уникальность, обнаруживая сходства с проблемами других «старых режимов» Европы и Азии, которые пытались с разной степенью успешности адаптироваться к «вызовам современности».

Модернизационная парадигма существенно расширила исследовательское поле, нацелив внимание историков на *процесс* перехода к «современности» (modernity). Он включает в себя целый ряд составляющих –

---

[466] *Chmielewski E.* The Polish question in the Russian State Duma. Knoxville, 1970; *Levine A.* The Third Duma. Election and profile. Hamden, 1973; *Hosking G. A.* The Russian constitutional experiment: Government and Duma 1907-1914. N.Y., 1973; *Tokmakoff G.* P.A. Stolypin and the Third Duma: An appraisal of the three major issues. Wash., D.C., 1981; *Frohlich K.* The emergence of Russian constituionalism, 1900-1914: the relationship between social mobilization and political group formation in pre-revolutionary Russia. The Hague, 1981.

урбанизацию, индустриализацию, формирование классов и нового типа семьи, развитие современной рациональной науки и образования, создание демократических политических институтов и построение гражданского общества, и многое другое (в частности, формирование «автономного индивида»). Все эти феномены постепенно вошли в круг интересов зарубежных историков. В либеральной интерпретации реформы имели основополагающее значение для модернизации, или европеизации страны. И поскольку модернизация в России проводилась «сверху», а главным ее «агентом» единодушно признавалась бюрократия, особое внимание обращалось на правительственный аппарат империи. Одной из приоритетных тем являлось крестьянство – оплот «традиции», которое каким-то образом должно было встроиться в современное индустриальное общество.

Поскольку модернизационная модель развития России особо выделяла Великие реформы, которые обозначили водораздел между традиционным и индустриальным обществом, им уделялось особое внимание. Но больший интерес вызывали их результаты. Их рассматривали в рамках «кризиса самодержавия», и преобладающая доля зарубежных исследований 1960–1980-х годов посвящена пореформенной эпохе. В то же время петровские реформы, которые, как считалось, запустили процесс европеизации империи, почти не получили рассмотрения в зарубежной русистике этого периода[467]. Исследования активизировались в 1990-е годы, когда был поставлен под вопрос петровский «разрыв» с московским прошлым и исследователи начали акцентировать черты преемственности[468].

---

[467] Нельзя, однако, не упомянуть изданную на основе диссертации книгу шведского историка, подчеркивающую личную роль Петра I в реформах: *Peterson C.* Peter the Great's administrative and judicial reforms: Swedish antecedents and the process of reception. Stockholm, 1979.

[468] *Cracraft J.* The Petrine revolution in Russian architecture. Chicago, 1988; *idem.* The Petrine revolution in Russian imagery. Chicago, 1997; *idem.* The Petrine revolution in Russian culture. Cambridge, 2004; *Hughes L.* Russia in the age of Peter the Great. L., 1998; *Hughes L.* Peter the Great: A biography. New Haven, 2002; *Bushkovitch P.* Peter the Great: The struggle for power 1671-1725. Cambridge, 2001 и др.

XVIII век долго оставался сферой, где доминировала публичная история, причем часто очень неплохого качества. На страницах профессиональных журналов ей регулярно давали отпор только что оперившиеся специалисты, указывая на использование старых клише, в том числе негативных стереотипов о России, и очерчивая критерии профессионализма: создание новых концепций на основе архивных материалов[469].

Публичная история долгое время царила и в освещении первой половины XIX в., в то время как екатерининское царствование, хотя и не имело прямого отношения к «кризису самодержавия» (за исключением «первого русского революционера» Радищева), получило в 1970–1980-е годы довольно основательное рассмотрение.

Среди тех, кто занимался изучением этого периода в Великобритании и США, были молодые историки, только писавшие свои диссертации в 1960-е годы. В центре их внимания находилась политика – в то время наиболее респектабельный предмет для исследований[470]. Итогом многолетней работы британской исследовательницы Изабель де Мадариага стал фундаментальный том, посвященный также в основном политике Екатерины Второй, которая, однако, включает в себя широкую картину эпохи. Книга заслуженно вошла в разряд классических трудов[471]. Нельзя не упомянуть и работу Дж. ЛеДонна, в которой была предпринята попытка представить социальное измерение политики екатерининской эпохи – задача

---

[469] См., например: *Cracraft J.* Rec. ad op.: Peter the Great. By M.S. Anderson // Slavic Review 1980. Vol. 39, No. 4. P. 675-676.

[470] *Alexander J.T.* Autocratic politics in a national crisis: The imperial Russian government and Pugachev's revolt, 1773-1775. Bloomington, 1969; *idem.* Emperor of the cossacks: Pugachev and the frontier jacquerie of 1773-1775. Lawrence, 1973; *Jones R.E.* The emancipation of the Russian nobility, 1762-1785. Princeton, 1973; *Peters D.* Politische und gesellschaftliche Vorstellungen in der Aufstandsbewegung unter Pugacev (1773-1775) // Forschungen zur osteuropaischen Gcschichte. 1973. Vol.17; *Ransel D.* The politics of Catherinian Russia: The Panin party. New Haven, 1975; Russia under Catherine the Great, 2 vols. / Ed., translat. Dukes P. Dahrem, 1977–1978.

[471] *De Madariaga I.* Russia in the age of Catherine the Great. New Haven, 1981.

невыполнимая в рамках административной истории, в которой написана книга[472].

Интересно, что некоторые американские историки, первоначально занимавшиеся этой темой, переориентировались затем на иные, с политикой связанные достаточно опосредованно. Джон Александер в своих воспоминаниях о стажировке в Ленинграде у В.В. Мавродина (тогда он работал над книгой о политике правительства в период пугачевского восстания), написал, что наткнулся в архиве на странный документ. Это было распоряжение 1771 г. Екатерины II о выводе фабрик из Москвы, которое он связал с чумным бунтом. Дальнейшие изыскания вывели Александера на тему, которая относилась безусловно к социальной истории и оказалась чрезвычайно перспективной: эпидемия чумы в социально-экономическом контексте, что заставило обратиться и к истории медицины[473]. Позднее он перешел к изучению гендерной проблематики[474].

Примерно по той же траектории двигался Дэвид Рэнзел, чья книга о клановой политике при екатерининском дворе была высоко оценена коллегами. Автору удалось отойти от стандартных описаний интриг и адюльтеров и показать, как на практике происходило осуществление отнюдь не абсолютной власти императрицы. Но буквально через несколько лет он выступил инициатором и редактором издания книги, которая стала событием в зарубежной русистике – сборника «Семья в императорской России». Несомненно, поворот был не столь крутым, как может показаться на первый взгляд. Ведь изучая «высокую политику», он также сосредоточивался на

---

[472] *LeDonne J.* Ruling Russia: Politics and administration in the age of absolutism 1762-1796. Princeton, 1984.

[473] *Alexander J.T.* Bubonic plague in Early modern Russia: Public health and urman disaster. L., 1980. См.: *Alexander J.T.* Catherine the Great and the rats // Adventures … P. 49–60.

[474] *Alexander J.T.* Amazon autocratrixes: images of female rule in the eighteenth century // Gender and sexuality in Russian civilization / Ed. by Barta P. L.; N.Y., 2001. P. 33-54.

семье – семье Паниных. Но далее пошло более глубокое погружение в темы семьи, женской истории и истории детства[475].

Надо сказать, что для американских историков смена интересов не является чем-то из ряда вон выходящим: мало кто из них сидит на одной теме пожизненно. Это обусловлено среди прочего неугасимым интересом к профессии, с одной стороны, и динамичностью научной жизни – с другой. В 1970-е годы переход к социальной истории от политической (или интеллектуальной) в некоторых случаях оказался поистине крутым, прежде всего для тех, кто обратился к феминистской историографии.

Анализируя историю изучения пореформенной России в женских и гендерных исследованиях на Западе, Б.А. Энгел вспоминает о том, как все начиналось в США. Она пишет об «энтузиазме неофитов», упоминая о роли Ричарда Стайтса, защитившего свою диссертацию о женском освободительном движении в 1968 г. По словам Энгел, это был воодушевляющий «политический проект» со своей сверхзадачей – сделать мир лучше, помочь всем угнетенным[476]. Неудивительно, что в центре внимания тогда находился женский радикализм. Одновременно она указывает на ряд ограничений, которые накладывала на исследования эпоха холодной войны: недостаток источников в условиях затрудненного доступа к архивам в СССР, с одной стороны, и наличие связывавших руки парадигм – с другой. Играла свою роль и фиксация тогдашней историографии на поисках причин революции, что заставляло изучать либо политические институты самодержавной России, либо оппозиционные силы и социальные группы. Эти ограничения наложили отпечаток на тематические предпочтения:

---

[475] The family in imperial Russia: New lines of historical research / Ed. by Ransel D. Illinois, 1978; *Ransel D.* Mothers of misery: Child abandonment in Russia. Princeton 1988; *idem.* Village life in late tsarist Russia. Indiana 1993; *idem.* A Russian merchant's tale: The life and adventures of Ivan Alekseevich Tolchënov based on his diary. Bloomington, 2009.

[476] *Engel B.A.* On the eve: Gender, historiography and the prelude to revolution // The Palgrave handbook of women and gender in twentieth-century Russia and the Soviet Union / Ed. by Ilic M. L.: Palgrave Macmillan, 2018. P. 56.

изучалась публичная, а не частная жизнь женщин, их роль в освободительном движении, при этом основное внимание уделялось известным фигурам – таким, как Александра Коллонтай. Большую роль в дисциплине играла тогда категория отсталости в применении к женщинам (в противоположность сознательным рабочим-мужчинам, которые и «сделали» революцию), и много сил было потрачено на то, чтобы опровергнуть этот постулат.

Однако ретроспективный взгляд Энгел в данном случае упускает из виду общий радикалистский контекст 1970-х годов, когда в научной среде нелестно отзывались об истории «мертвых белых мужчин». Зарубежные специалисты стремились писать “her-story” («ее историю») в противоположность старой “his(s)tory” («его истории») и «сделать женщин видимыми» (“making women visible”), т.е. показать «вклад женщин» в мировую историю. Зарубежная русистика шла в кильватере мировой феминистской историографии. Вполне обоснованно в центре ее внимания находились такие вопросы, как угнетение женщины, сущность и истоки патриархальной власти, особенности женского мировоззрения и становления личности, борьба женщин за свои права.

В 1970-80-е годы вышло много работ, посвященных русским женщинам, главным образом представительницам интеллигенции и революционеркам[477].

[477] *McNeal R.* Bride of the revolution. Ann Arbor, 1972; Five sisters: Women against the tsar / Ed.by Engel B., Rosenthal C. N.Y., 1975; *Porter C.* Fathers and daughters: Russian women in revolution. L., 1975; *Broido V.* Apostles into terrorists: Women and the revolutionary movement in the Russia of Alexander II. N.Y., 1977; *Stites R.* The women’s liberation movement in Russia: Feminism, nihilism and bolshevism, 1860-1930. Princeton,1978 (на рус. языке: Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930. М.: РОССПЭН, 2004); Clements B. Bolshevik feminist: The life of Alexandra Kollontai. Bloomington, 1979; *Farnsworth B.* Alexandra Kollontai: Socialism feminism and the Bolshevik revolution. Stanford, 1980; *Bergman J.* Vera Zasulich. Stanford, 1983; *Engel B.A.* Mothers and daughters: Women of the intelligentsia in nineteenth century Russia. Cambridge, 1983; *Koblitz A.H.* A convergence of lives: Sofia Kovalevskaia: Scientist, writer, revolutionary. Boston, 1983.

Однако уже тогда наметились и другие направления, получившие более широкое распространение позднее[478].

В 1980-е годы круг проблем значительно расширился, довольно быстро историки занялись изучением трудовой деятельности женщин, и здесь одним из первых было серьезное исследование Розы Гликман о фабричных работницах[479]. Новые подходы нашли свое отражение в материалах представительной конференции «История женщин российской империи» (Огайо, 1988), в которой приняли участие историки из Великобритании, США, СССР, Германии, Австралии[480]. Западные русисты, в соответствии с тенденциями социальной истории, обратились к изучению женщин низших классов. По выражению Барбары Энгел, они предприняли «хождение в народ», со всеми вытекавшими отсюда трудностями – отсутствием адекватных личных источников, не говоря уже о тех социальных, культурных и психологических барьерах, которые сильно затрудняли проникновение в мир традиционной культуры и мировоззрение крестьянок и работниц. Основными источниками здесь служили материалы, написанные этнографами, врачами, юристами, земскими статистиками, социалистами всех мастей, которые к тому же были мужчинами и привносили в них свои классовые, гендерные и политические предрассудки. Немногочисленные тексты, написанные женщинами с «феминистской» точки зрения, создавали некоторый противовес, однако были не более объективно «истинными», чем остальные, пишет Б. Энгел во введении к сборнику.

Однако особое внимание социальными историками уделялось крестьянским женщинам пореформенного времени, их повседневной жизни,

---

[478] Women in Russia / Ed.by Atkinson D., Dallin A., Lapidus G. Stanford, 1977; The family in imperial Russia…

[479] *Glickman R.* The Russian factory woman: Workplace and society, 1880-1914. Berkeley, 1984.

[480] Russia's women: Accommodation, resistance, transformation / Ed. by Clements B.E, Engel B.A, Worobec Ch.D. Berkeley, 1991.

правовому положению в семье и обществе, культуре и мировоззрению[481]. По-прежнему главной темой оставалось угнетение женщин, их дискриминация по половому признаку, но все же общая тягостная картина обогащается новыми, более позитивными штрихами. Выясняется, что зачастую крестьянки демонстрировали значительную предприимчивость и не были пассивными жертвами патриархальной системы. Как показано в ряде работ, они обладали значительными имущественными правами, и даже невестка – самый бесправный член семьи – могла достичь определенного положения, о чем свидетельствуют обращения в мировой суд[482]. Не отрицая тяжелого бремени патриархальной системы, Д. Рэнсел, К. Воробек, Б. Энгел и другие старались подчеркнуть умение женщин приспосабливаться к ней и использовать ее в своих интересах. В конечном счете историки женщин предложили новый взгляд на размещение, дислокацию, развертывание власти на политическом уровне: они продемонстрировали значение семьи и гендерного иерархического устройства для поддержания социальной и политической стабильности[483]. Внося свою лепту в картину «кризиса самодержавия» как в освещении женского участия в революционном движении, так и их угнетения, феминистские историки, тем не менее, все больше внимания стали уделять «аккомодации», а не «сопротивлению».

Большой пласт работ по женской истории был посвящен деятельности женщин образованных классов в публичной сфере. Здесь следует отметить такие сюжеты, как благотворительность, учительство, журналистика, занятия

---

[481] *Worobec Ch.D.* Peasant Russia: Family and community in the post-emancipation period. Princeton, 1991; Russian peasant women / Ed. by Farnsworth B., Viola L. N.Y., Oxford, 1992; *Semyonova Tian-Shanskaia O.* Village life in late tsarist Russia / ed. by. Ransel D.L. Bloomington, 1993; *Engel B.A.* Between the fields and the city: Women, work, and family in Russia, 1861-1914. Cambridge, 1994.

[482] *Worobec C.* Customary law and property devolution among Russian peasants in the 1870s // Canadian Slavonic papers. XXVI, N 2-3. P. 220–234; *Farnsworth B.* The litigious daughter-in-law: Family relations in rural Russia in the second half of the nineteenth century // Slavic review. Champaign, 1986. Vol.45, N 1. P.49-64.

[483] *Ransel D.* Mothers of misery; *Wagner W.G.* Marriage, property, and law in late imperial Russia. Oxford: Clarendon Press, 1994.

литературой. Эти темы обрели актуальность, во-первых, в связи с интеллектуальной модой на проблемы возникновения гражданского общества в императорской России, которая пришла в годы перестройки. Во-вторых, с обострением интереса к формированию профессий в рамках решения вопроса об «отсутствующем» среднем классе[484]. Особую тему в женских исследованиях представляет история феминизма. Западные историки внимательно изучали возникновение «женского вопроса» в России середины XIX в. и не только в связи с революционным движением[485].

Таким образом, за первые 20 лет своего существования женская история в зарубежной русистике достигла серьезных успехов и продемонстрировала вполне определенную эволюцию. Встроенная первоначально в исследования революционно-освободительного движения, затем обратившаяся к изучению социальной истории женщин, к концу 1990-х годов она «перескочила» в гендерные исследования, основанные на культурной парадигме[486]. Пожалуй, пиком развития этой историографии следует считать как раз 1990-е годы, когда получает свое дальнейшее развитие изучение крестьянок с использованием как демографических подходов, так и этнографической методологии, возникает интерес к маргинальным группам (проституткам, ведьмам, кликушам), к роли женщин в модернизации (в сфере консюмеризма), в профессиях (учителя, журналисты, врачи и медицинские

---

[484] *Meehan-Waters B.* Holy women of Russia; *Ruane C.* Gender, class, and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914; *Heldt B.* Terrible perfection: Women and Russian literature. Bloomington, 1987; *Andrew J.* Women in Russian literature, 1780-1863. Basingstoke, 1988.

[485] *Maegd-Soep de C.* The emancipation of women in Russian literature and society. Gent, 1978; *Edmondson L.H.* The feminist movement in Russia, 1900-1917. Stanford, 1984.

[486] *Ruane C.* Gender, class, and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914. Pittsburgh, 1994; *Kelly C.* A history of Russian women's writing, 1820-1992. N.Y., 1994; *Bernstein L.* Sonya's daughters: prostitutes and their regulation in imperial Russia. Berkeley, 1995; *Schuler C.* Women in Russian theatre: the actress in the Silver age. L., 1996 *Lindenmeyr A.* Poverty is not a vice. Charity, society, and the state in imperial Russia. Princeton, 1996; Gender in Russian history and culture / Ed. by Edmondson L. L.; N.Y.: Palgrave, 2001; Russian masculinities in history and culture / Ed. by Clements B.E. et al. Basingstoke (Hunts); N.Y., 2002 и др.

сестры). Это была преимущественно социальная история, а гендерный подход впервые был применен Лорой Энгелстайн в ее книге «Ключи счастья», продемонстрировавшей потенциал дискурсивного анализа[487]. В конце 1990-х – начале 2000-х годов начинается исследование маскулинности – не только как социального конструкта или опыта, но и как важного элемента саморепрезентации мужчин и социальной власти[488].

На примере субдисциплины женской и гендерной истории можно выявить некоторые закономерности, которые присущи и другим областям зарубежной историографии императорской России. Во-первых, начатые в 1970-е годы исследования достигают своего пика к рубежу 1980–1990-х годов, когда происходит серьезное расширение исследовательского поля, а к концу XX в. они постепенно отходят в русистике на второй план. Во-вторых, в них совершенно определенно просматривается активное включение в исследования категории культуры и связанной с ней проблематики. Наконец, заметна тенденция к сглаживанию антагонизмов в интерпретациях конкретно-исторического материала. В методологическом отношении это определяется как переход от структурной социальной к социально-культурной истории: социальная история в ее классическом варианте, построенном на концептах «сопротивления и конфронтации», уступает первенство культурной истории, которая выдвинула на первый план взаимодействие: адаптацию, сотрудничество, диалог.

Однако этот переход следует понимать достаточно широко, не замыкаясь в жестких рамках «научных парадигм», – и кроме того, учитывать, что социальная история гораздо шире, нежели история «угнетенных». Скорее нужно говорить о постепенном включении социума в исследовательское поле, причем и таких традиционных дисциплин, как политическая и экономическая история. По нашим наблюдениям, примерно та же траектория

[487] *Engelstein L.* The keys to happiness: Sex and the search for modernity in fin-de-siecle Russia. Ithaca, 1992.
[488] *Engel B. A.* On the eve. P. 60.

развития, что и в женской истории, наблюдалась и в других субдисциплинах русистики.

Так, в экономической истории императорской России, довольно стабильно развивавшейся до начала 2000-х годов, можно выделить этапы «чистой» экономики, политической, социальной и затем социально-культурной истории, во многом накладывавшиеся друг на друга. Благодаря этим исследованиям к началу 2000-х годов изменяется образ российской индустриализации и российского капитализма в целом, все меньше там «руководящей роли» государства, все большее место начинают занимать люди, их взгляды, образ жизни[489].

В то же время нельзя сказать, что такая традиционно авторитетная сфера, как экономическая история, активно развивалась в зарубежном россиеведении: в «чистом виде» она была представлена в довольно немногочисленных исследованиях. Достаточно долго в ней отсутствовал обобщающий синтез, который был осуществлен только в 1980-е годы в монографиях А. Кэхэна и П. Готрелла[490]. Изучение экономики императорской России чаще всего шло в рамках отдельных, более узких тем, таких, например, как аграрный кризис[491]. В этом направлении были сделаны серьезные шаги: уже в 1970-е годы исследователи поставили под вопрос целый ряд постулатов об обнищании российского крестьянства.

---

[489] *McCaffray S.P.* The politics of industrialization in tsarist Russia: The Association of Southern Coal and Steel Producers, 1874–1914. DeKalb, 1996; *Roosa R.A.* Russian industrialists in an era of revolution: The Association of Industry and Trade, 1906–1917 / Ed. by Owen T.C. Armonk, 1997; Merchant Moscow: Images of Russia's vanished bourgeoisie / Ed. by West J.L., Petrov Yu.A. Princeton, 1998; *Grant J.A.* Big business in Russia: The Putilov Company in late imperial Russia, 1868–1917. Pittsburgh, 1999; *Holmgren B.* Rewriting capitalism: Literature and the market in late tsarist Russia and the Kingdom of Poland. Pittsburgh, 1998; *Owen Th.C.* Dilemmas of Russian capitalism: Fedor Chizhov and corporate enterprise in the railroad age. Cambridge, 2005; *Ruane C.* The empire's new clothes. A history of the Russian fashion industry, 1700–1917. New Haven, 2009.

[490] *Kahan A.* The plow, the hammer, and the knout: An economic history of eighteenth-century Russia. Chicago, 1985; *Gatrell P.* The tsarist economy 1850-1917. L., 1986.

[491] Собственно говоря, изданная посмертно книга виднейшего экономиста А. Кэхэна представляет собой сборник его статей: *Kahan A.* Russian economic history: The nineteenth century. Chicago, 1989.

Занимавшая весьма значимое место в зарубежной русистике тема российской индустриализации включала в себя изучение разных ее аспектов, в частности – участия иностранного капитала и иностранных предпринимателей в экономике России[492]. Начало индустриализации были склонны относить к первой половине XIX в., обнаруживая параллели с английским промышленным переворотом. Далеко не всегда в основе интерпретаций лежала теория модернизации: Т. Арима в соответствии с марксистским подходом, принятым в японской историографии, ставил во главу угла крепостнический способ производства[493].

В целом же в исследованиях по экономической истории внимание историков-русистов было сосредоточено на развитии капитализма в России, что включало в себя изучение российского предпринимательства. И здесь наряду с проблемой взаимоотношений бизнеса и самодержавия немалый интерес вызывала проблема формирования класса предпринимателей – российского купечества[494].

Поскольку роль государства в экономике считалась определяющей, основное внимание первоначально уделялось не объективным процессам «разложения феодально-крепостнической системы», как это было в советской историографии, а экономической политике правительства (начиная с монографии Теодора фон Лауэ, посвященной Витте). Она по большей части оценивалась как провальная, близорукая, ставившая во главу угла

---

[492] *McKay J.P.* Pioneers for profit: Foreign entrepreneurship and Russian Industrialization, 1885–1913. Chicago, 1970; *Carstensen F.V.* American enterprise in foreign markets: Studies of Singer and International Harvester in imperial Russia. Chapel Hill, 1984; *Rauber U.* Schweizer Industrie in Russland. Ein Beitrag zur Geschichte der industriellen Emigration des Kapitalexportes und des Handels der Schweiz mit dem Zarenreich (1760-1917). Zurich, 1985.

[493] *Blackwell W.L.* The beginnings of Russian industrialization, 1800–1860. Princeton, 1968; *Arima T.* Roshia Kogyoshi Kenkyu: Nodo Kaiho no Rekishiteki Zentei no Kaimei. (The Russian industrial development, 1800-1860). Tokyo, 1973.

[494] *Owen T.C.* Capitalism and politics in Russia: A social history of the Moscow merchants, 1855-1905. Cambridge, 1981; *Rieber A.J.* Merchants and entrepreneurs in imperial Russia. Chapel Hill, 1982; Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union / Ed. by Guroff G., Carstensen F.V. Princeton, 1983; *Ruckman Jo A.* The Moscow business elite: A social and cultural portrait of two generations, 1840-1905. Carbondale, 1984.

сиюминутные узко фискальные интересы и неспособная учесть интересы нарождающейся буржуазии[495]. Наиболее ярко экономическая политика последней стадии «кризиса самодержавия» представлена в исследованиях, посвященных столыпинской аграрной реформе, которую называли «последней попыткой царизма удержаться на плаву»[496].

Российским реформам в зарубежной русистике 1970–1980-х годов стало отводиться едва ли не главенствующее место, в чем-то они даже соперничали с «парадигмой 1917 года», поскольку являлись альтернативой революции. В центре внимания находились процессы подготовки и проведения через инстанции тех или иных реформ, которые могли бы повысить эффективность не только экономики, но и управления[497].

Большое значение в этом контексте приобрели исследования социальной истории российской бюрократии, которые анализировали ее как отдельную статусную группу, обладавшую определенной политической культурой и мировоззрением[498]. Зарубежные историки исходили из тезиса о слаборазвитости системы управления в России (ее «недоуправляемости» –

---

[495]См., в частности: Russian economic policy under Nicholas I. / by W. McKenzie Pintner. Ithaca, 1967; *Haumann H.* Kapitalismus in zaristischen Staat 1906-1917. Organisationsformen, Machtverhaltnisse und Leitungsbilanz im Industrialisierungsprozess. Konigstein, 1980; *Owen T.* The corporation under Russian law, 1800-1917. A study in tsarist economic policy. N.Y., 1991; *idem.* Russian corporate capitalism from Peter the Great to perestroika. N.Y., 1995.

[496] *Treadgold D.* The Great Siberian migration; *Conroy M.S.* Peter Arkad'evich Stolypin: Practical politics in late tsarist Russia. Boulder, 1976; *Hennessey R.* The agrarian question in Russia, 1905-1907: The inception of the Stolypin reform. Giessen, 1977; *Yaney G.* The urge to mobilize: Agrarian reform in Russia, 1861-1930. Urbana, 1982; *Macey D.* Government and peasant in Russia, 1861-1906. The prehistory of the Stolypin reforms. DeKalb, 1987.

[497] *Emmons T.* The Russian landed gentry and the peasant emancipation of 1861; *Sinel A.* The classroom and the chancellery: State educational reform in Russia under Count Dmitrii Tolstoy. Cambridge, 1973; *Field D.* The end of serfdom; *Wortman R.* The development of Russian legal consciousness; *Weissman N.* Reform in tsarist Russia: The state bureaucracy and local government, 1900-1914. New Brunswick, 1981; The zemstvo in Russia: An experiment in local self-government / Ed. by Emmons T., Vucinich W. Cambridge, 1982; *Lincoln B.W.* The Great reforms: Autocracy, bureaucracy and politics of change in Imperial Russia. DeKalb, 1990*; Wcislo F.W.* Reforming rural Russia: State, local society, and national politics, 1855-1914. Princeton, 1990, и др.

[498] Russian officialdom from the 17th through the 20th centuries: The bureaucratization of Russian society / Ed. by Pintner R., Rowney D.K. Chapel Hill, 1980; *Orlovsky D.* The limits of reform; *Lincoln B.W.* Nicholas Miliutin; *Idem.* In the vanguard of reforms.

undergovernment), что выражалось, во-первых, в нехватке кадров, во-вторых – в отсутствии адекватных каналов коммуникации между разными уровнями власти, что в итоге вело к неэффективности бюрократии. В конечном итоге речь шла об *управленческом* кризисе в Российской империи, в основе которого, как считалось, лежало коренное противоречие между личным, харизматическим (по Веберу) характером власти в традиционном обществе и рациональным, безличным, бюрократическим – в современном индустриальном, где всем правят «институции»[499].

В русле популярной в 1970–1980-е годы институциональной истории подробно исследовались разнообразные аспекты нараставшего «паралича власти», который в полной мере проявился в последние годы существования империи, когда свистопляска с назначениями на высшие государственные должности явилась одним из важнейших факторов крушения режима. Однако, поскольку в свете теории модернизации причины коллапса верховной власти носят структурный характер (несовместимость личной патриархальной власти самодержца и рациональной власти институций), с бюрократии все же снималась «прямая», непосредственная ответственность за революцию. Да и в целом ряде случаев, как демонстрировали исследователи, неповоротливая государственная машина была в состоянии успешно справляться с кризисами[500].

В поисках «ответственных за революцию» социальная история вынесла на повестку дня еще одну глубинную ее причину: несовершенство российского общества, раздробленного на многочисленные социальные группы, изолированные друг от друга и от государства. В особенности это

---

[499] *Starr F.* Decentralization and local self-government in Russia, 1830-1870. N.Y., 1972; *Yaney G.L.* The systematization of Russian government: Social evolution in the domestic administration of imperial Russia, 1711-1905. Urbana, 1973; *Robbins R.G., jr.* The tsar's viceroys: Russian provincial governors in the last years of the empire. Ithaca, 1987; *Pearson T.* Russian officialdom in crisis: Autocracy and local self-government, 1861-1900. Cambridge, 1989.

[500] См., в частности: *Robbins R.G., jr.* Famine in Russia, 1891–1892.

касалось крестьянства, которое активно изучалось в рамках новой дисциплины крестьяноведения (peasant studies). Опиравшаяся среди прочего на концепцию А.В. Чаянова об особом характере крестьянского экономического и ментального мира, она занималась изучением общины, культурных и социальных практик, верований, семейных норм и обычаев крестьян. Немалое место отводилось и анализу крестьянских институтов[501]. В основе крестьяноведческих исследований лежала идея о противостоянии крестьянства («низших классов») и государства (элиты), которое реализовывалось в постоянном повседневном сопротивлении крестьян, защищающих свой мир от вторжения извне.

В социальной истории оформляются две линии интерпретаций, которые однако же не являлись противоположными – показательной в этом отношении стала дискуссия об обычном праве, опубликованная на страницах журнала «The Russian review»[502]. С одной стороны, оформляется и укрепляется идея о «культурной пропасти», лежащей между крестьянством и элитой – она получит отражение в монографиях, вышедших в 1990-е годы в рамках социально-культурной истории. Перенос акцента с объективной реальности на «репрезентации» в изучении аграрной проблематики позволил обратиться к образам крестьянства, создававшимся элитой. Было показано, что упрощенные образы «темного» и «отсталого» крестьянства, которое сопротивляется реформам и не желает двигаться по пути прогресса,

---

[501] *Atkinson D.* The end of the Russian land commune, 1905-1930. Stanford, 1983; *Shanin T.* The roots of otherness: Russia's turn of the century. Vol.1: Russia as a «developing society»; *Hoch S.* Serfdom and social control in Russia: Petrovskoe, a village in Tambov. Chicago, 1986; Land commune and peasant community in Russia: Communal forms in imperial and early Soviet society / Ed. by Bartlett R. N.Y., 1990; The world of the Russian peasant: Post-emancipation culture and society / Ed. by Eklof B., Frank S. Boston, 1990; Peasant economy, culture, and politics in European Russia, 1800-1921/ Ed. by E. Kingston-Mann, T. Mixter. Princeton, 1991; *Worobec C.* Peasant Russia; *Moon D.* The Russian peasantry, 1600-1930: The world the peasants made. L.; N.Y., 1999; *Frank S.* Crime, cultural conflict, and justice in rural Russia, 1856-1914. Berkeley, 1999 и др.

[502] См.: [Discussion] / Lewin M., Worobec Ch., Yaney G., Confino M. // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 1-44.

сформировали дискурс пореформенной эпохи и оказали глубокое влияние на историографию. Крайне негативно относившиеся к российской элите (и более широко – ко всем «образованным классам» императорской России) социальные историки-русисты обвиняли ее в том, что была отрезана возможность конструктивного диалога[503].

С другой стороны, ставится под вопрос идея о «сегрегации» русского крестьянства, живущего в соответствии с вековыми обычаями и отторгнутого от общегражданской жизни в результате реформ 1860-х годов. Эти исследования реализовались в изучении правовой культуры крестьянства, кульминацией тут стали монография американки Дж. Бербанк, вышедшая уже в 2000-е годы, и выпущенная ей вслед, во многом уточняющая, книга канадской исследовательницы К. Годэн[504]. Кроме того, в рамках изучения крестьянского отходничества и миграции идея «сегрегации» также ставилась под вопрос, как и в исследованиях процессов урбанизации или же формирования рабочего класса[505].

Дезинтеграция, раздробленность демонстрировалась социальными историками и в рамках изучения проблемы формирования в России буржуазии – среднего класса, который считался основным «двигателем прогресса», в первую очередь в политическом отношении. На основе главным образом источников личного происхождения реконструировался процесс европеизации «московского», т.е. традиционного, купечества, который завершился к началу XX в. Отмечалось, что процесс перехода от средневековых сословий к современным классам (который представлялся

---

[503] *Frierson C.* Peasant icons: Representation of rural people in late nineteenth century Russia. N.Y., 1993; *Kingston-Mann E.* In search of the true West…; *Kotsonis Y.* Making peasants backward: agricultural cooperatives and the Agrarian question in Russia, 1861-1914. N.Y., 1999.

[504] *Burbank J.* Russian peasants go to court: Legal culture in the countryside, 1905-1917. Bloomington, 2004; *Gaudin C.* Ruling peasants: Village and state in late imperial Russia. DeKalb, 2007.

[505] *Johnson R.E.* Peasant and proletarian: The working class of Moscow in the late nineteenth century. New Brunswick, 1979; *Bradley J.* Muzhik and Muscovite: Urbanization in late imperial Russia. Berkeley, 1985; *Burds J.* Peasant dreams and market politics: Labor migration and the Russian village, 1861-1905. Pittsburgh, 1998.

линейным) в России сильно затянулся[506]. Слабая, разобщенная буржуазия не была способна отстаивать свои интересы, а патриархальное дворянское сословие не было заинтересовано в прогрессе. В частности, ответственность за пробуксовку реформ возлагалась на дворянство, крепко державшееся за свои сословные привилегии и власть на местах[507].

Сословия в России – достаточно дискуссионная тема в зарубежной исторической русистике 1980–1990-х годов. Вехой в историографии стала статья Г. Фриза, в которой автор зафиксировал позднее возникновение термина «сословие» – в публичном дискурсе он начал циркулировать в эпоху Великих реформ. Автор, специалист по духовенству, показал исключительную сложность и разнообразие как самой сословной системы, так и всего российского общества[508].

Отношения между многочисленными разрозненными социальными группами Российской империи характеризовались тогда как антагонистические. Считалось, что именно отсутствие консенсуса в обществе способствовало его радикализации в кризисные моменты, расшатывавшие режим. В то же время, с точки зрения теории модернизации, глубинной причиной неспособности патриархального царского режима адекватно отвечать на «вызовы современности» признавался конфликт между традиционной и современной (модерной) системами ценностей, проявления которого историки обнаруживали в самых разных слоях общества.

Теория модернизации позволяла историкам дать «строго научные» объяснения происходившим в России процессам. При этом интерпретации

---

[506] *Owen T.C.* Capitalism and politics in Russia. и многие др.

[507] The politics of rural Russia, 1905-1914 / Ed. by Leopold H. Haimson. Bloomington, 1979; *Edelman R.* Gentry politics on the eve of the Russian revolution: The nationalist party, 1907-1917. New Brunswick, 1981; *Manning R.T.* The crisis of the old order in Russia: Gentry and government. Princeton, 1982; *Hamburg G.M.* Politics of the Russian Nobility, 1881-1905. Brunswick, 1984; *Becker S.* Nobility and privilege in late imperial Russia. DeKalb, 1985.

[508] *Freeze G.* The estate (soslovie) paradigm and Russian social history // The American historical rev. 1986. Vol. 91, N 1. P. 11-36. Рус. перевод см.: *Фриз Г.* Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика. Самара, 2000. С.121-162.

базировались на присущей эпохе модерна конфликтной модели, представлявшей мир как борьбу противоположностей. В исследованиях пореформенной России центральное место занимал политический конфликт между репрессивной властью и обществом, которое все в большей степени претендовало на участие в управлении государством. Конфликтными представали и отношения государства с низшими классами, крестьянством и рабочими.

Кульминацией нараставших в обществе конфликтов явилась революция 1905–1907 гг., - «момент истины», как ее назвал Теодор Шанин[509]. Пик ее исследований пришелся на 1980-е годы; основное внимание уделялось рабочему классу и столицам – Москве и Петербургу, хотя имелись и интересные работы по аграрному движению в провинции, участию в революции профессиональной интеллигенции, армии[510]. Итоги «генеральной репетиции» 1917 г. подводились главным образом неутешительные, и причиной неудач считалась все та же разобщенность (хотя отмечались и определенные успехи – в самоорганизации рабочих, например).

К этому времени относится и расцвет рабочей истории (labour history) в зарубежной русистике, на которую большое влияние оказала книга Р. Томпсона о британском рабочем классе, рассматривавшая проблему формирования классов во всей ее культурной и политической сложности[511]. В развитии этих исследований огромную роль сыграла программная статья

---

[509] *Shanin T.* The roots of otherness. Vol.2. Russia, 1905-1907: Revolution as a moment of truth. New Haven, 1986.

[510] *Sablinsky W.* The road to Bloody Sunday: Father Gapon and the St. Petersburg massacre of 1905. Princeton, 1976; *Bushnell J.* Mutiny and repression: Russian soldiers in the revolution of 1905-1906. Bloomington, 1985; *Ascher A.* The revolution of 1905: Russia in disarray. Stanford, 1988; *Edelman R.* Proletarian peasants: The revolution of 1905 in Russia's Southwest. Ithaca, 1987; *Reichman* H. Railwaymen and Revolution: Russia, 1905. Berkeley, 1987; *Seregny S. J.* Russian teachers and peasant revolution: The politics of education in 1905. Bloomington, 1989; *Surh G.D.* 1905 in St. Petersburg: Labor, society, and revolution. Stanford, 1989; *Hutchinson J.F.* Politics and public health in revolutionary Russia, 1890-1913. Baltimore, 1990; *David King D., Porter C.* Images of revolution: Graphic art from 1905 Russia. N.Y., 1983.

[511] *Thompson E.P.* The making of the English working class. L., 1963.

Л. Хеймсона о нарастании социальной дифференциации в России перед Первой мировой войной, что неминуемо привело бы страну к революции[512]. В то же время развивалось изучение повседневной жизни рабочих, начало которому было положено книгой Р. Зелника, посвященной, однако же, в основном рабочему вопросу – как его видели образованные современники[513]. В своих работах Зелник задавал вектор дальнейших исследований: особое внимание к формированию идентичности и моральному выбору, к источникам личного происхождения, что было подчеркнуто переводом автобиографии советского рабочего Семена Канатчикова. Даже в изучении забастовочного движения он шел от личных историй (life-stories) к широким обобщениям[514]. Эта линия была реализована в ряде работ, в том числе и в русле женской истории[515].

В начале 1980-х годов вышло сразу несколько крупных монографий по социальной рабочей истории, существенно обогативших зарубежную науку, в том числе «Московские рабочие и революция 1917 г.» Дианы Кенкер, «Москва, 1905: Организации рабочего класса и политический конфликт» Лоры Энгелстейн и «Корни восстания» Виктории Боннелл [516]. Все они содержат достаточно подробные исследования положения рабочих, их быта и менталитета как основы для выработки классового сознания (в соответствии с концепцией Томпсона). В них пересматривается устойчивое представление об авангарде пролетариата.

---

[512] *Haimson L.* The problem of social stability in urban Russia, 1905–1917.

[513] *Zelnik R. E.* Labor and society in tsarist Russia: The factory workers of St. Petersburg, 1855-1870. Stanford, 1971.

[514] *Zelnik R.E.* A radical worker in tsarist Russia: The autobiography of Semen Kanatchikov. Stanford, 1986; *idem.* Law and disorder on the Narova river: The Kreenholm strike of 1872. California, 1995.

[515] *Glickman R.* The Russian factory woman; *Friedgut T.H.* Iuzovka and revolution. Vol. 1: Life and work in Russia's Donbass, 1869-1924. Princeton, 1989 и др.

[516] *Koenker D.* Moscow workers and the 1917 revolution. Princeton, 1981; *Engelstein L.* Moscow, 1905: Working class organization and political conflict. Stanford, 1982; *Bonnell V.E.* Roots of rebellion: Workers' politics and organizations in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914. Berkeley, 1983.

Д. Кенкер, в частности, показала, что в 1917 г. фабричные рабочие, среди которых выделялись металлисты и печатники, значительно уступали в количественном отношении мастеровым и артельщикам, занятым на временной основе. Да и сами они, в основном работая на средних и мелких предприятиях, не теряли связи с деревней и не были городскими жителями в полном смысле этого слова. При этом, как выяснили и Л. Энгелстейн, и В. Боннелл, маркером в выработке революционного сознания служила квалификация, а не размер предприятия. «Революционность» в равной степени демонстрировали рабочие крупных фабрик и мастеровые, имевшие тесные связи с «белыми воротничками», профсоюзами, фабричными комитетами и другими организациями. В. Боннелл исследовала профсоюзы, задавшись целью понять, почему они не стали очагами реформизма, как их европейские аналоги. По ее мнению, опыт революции 1905–1907 гг. имел в данном случае решающее значение, но в конечом итоге радикализация рабочих в 1912–1914 гг. становилась ответом на действия как правительства, так и предпринимателей.

Вспоминая о своей работе над книгой о московских рабочих, Л. Энгелстейн пишет, что выбору темы способствовал ряд случайностей и личных предпочтений, но больше всего – бунтарский «дух времени»: ей хотелось писать «против шерсти». После стажировки в Париже, где все еще дышало революцией и был очень высок интерес к «guerilla urbaine», зимой 1973–1974 гг. она оказалась в Москве – по линии IREX, для подготовки диссертации о 1905 г. По словам Энгелстейн, тексты социал-демократов вызывали у нее неприязнь прежде всего своим доктринерством и отсутствием воображения; ее вдохновляла «народная революция». Шаг за шагом на основе газетных хроник молодая американская исследовательница восстанавливала ход событий, прочесывая московские улицы с путеводителем Бедекера в руке, фотографируя «викторианские» краснокирпичные фабрики (в том числе бывший «Эйнем», ныне «Красный

Октябрь»). В результате получилась книга о «самообразовании, которое дает людям политический процесс, об опасностях идеологии, о способности смыслов начинать жить своей жизнью» – в частности, о создании концепта «воображаемого пролетариата», обладающего способностью затягивать в борьбу[517]. Она стремилась обнаружить свидетельства того, как простым людям удавалось, отвергая чужой авторитет, ставить свои собственные цели. В ходе работы над книгой она пришла к неожиданным для себя самой результатам: получилось, что социальные движения обретали свою форму во взаимодействии классов «на конкретной почве рабочих кварталов», а сила революции проистекала не только из драмы конфликта как такового, но и из желания людей быть к ней причастными[518].

«Закрыв» для себя революционную тему, Л. Энгелстейн перешла к изучению гендера, затем – религии. Тем не менее линия исследований рабочего класса в подобном ключе была продолжена, достаточно назвать книгу М. Стейнберга о полиграфистах[519]. В ней классовый конфликт рассматривается с точки зрения ценностей и норм, воплощенных в ритуалах и практиках повседневной жизни.

Однако к концу 1980-х годов «революционная» проблематика значительно снижает свой накал, все больше выходит работ, посвященных

---

[517] *Engelstein L.* Prisoner of the «Zeitgeist» // Adventures… P. 117-118.

[518] Ibid. P. 118. Л.Энгелстейн не была одинока в своих методах освоения исторического материала. Ричард Стайтс, ставший автором исключительно значимых трудов по культуре, точно так же включал «материальность» в свою работу «историка-археолога»: пространство города, его домов, музеев и библиотек, и особенно театров, но также и музыку (*Stites R.* Exploration and adventure in the two capitals // Adventures… P. 61-771). Джеймс Кракрафт задумал свою трилогию о культуре петровской эпохи под сильнейшим впечатлением о выставках к 300-летию со дня рождения Петра I, которые он с увлечением посещал в Ленинграде летом 1972 г. До этого советские власти не слишком выпячивали фигуру первого российского императора, и тут впервые было экспонировано множество объектов, лежавших прежде в запасниках (*Cracraft J.* Catherine the Great and the rats // Adventures… P. 49-60).

[519] *Steinberg M.D.* Moral communities: The culture of class relations in the Russian printing industry. 1867-1907. Berkeley, 1992.

повседневности, культуре и быту, менталитету разных классов и сословий[520]. Исследования процесса урбанизации становятся все более живыми и многообразными – правда, большинство монографий, рисующих «портреты» городов, будет опубликовано в 1990-е[521]. Появляются интересные работы об образовании и печати, включая совершенно уникальную книгу Дж. Брукса «Когда Россия училась читать», посвященную массовой «народной» литературе[522]. Сфера науки также получает профессиональное рассмотрение, прежде всего в трудах А. Вусинича[523]. Все эти исследования существенно изменяют ландшафт зарубежной русистики, в которой становится заметна тенденция к сглаживанию антагонизмов в интерпретациях конкретно-исторического материала.

В немалой степени этому способствовала идеология неолиберализма, утвердившаяся в 1980-е годы уже не только в США, но и в Западной Европе. В годы перестройки на повестку дня выходит проблема гражданского общества, которое считалось одним из главных условий эволюции

---

[520] Революционное движение также получает «человеческое измерение»: The making of three Russian revolutionaries: Voices from the Menshevik past. Introduction by Haimson L. Cambridge, 1987.

[521] Ср.: The city in Russian history/ Ed. by M.Hamm. Lexington, 1976; *Herlihy P.* Odessa: A history, 1794-1914. New Haven, 1986*;* Thurston R.W. Liberal city, conservative state: Moscow and Russia's urban crisis, 1906-1914. N.Y.: Oxford univ. press, 1987; *Brower D.* The Russian city between tradition and modernity, 1850-1900. Berkeley, 1990; *Hamm M.* Kiev: A portrait, 1800-1917. Princeton, 1993.

[522] *Balmuth.D.* Censorship in Russia, 1865-1905. Wash., 1979*; Choldin M.T.* A fence around the empire: Russian censorship of Western ideas under the tsars. Darhem, 1985*; Brooks J.* When Russia learned to read: Literacy and popular literature. Princeton, 1985*; Marker G.* Publishing, printing, and the origins of intellectual life in Russia, 1700-1800. Princeton, 1985; *Stuart M.* Aristocrat-librarian in service to the tsar: Aleksei Nikolaevich Olenin and the Imperial Public Library. Boulder, 1986; *Krukones J.* To the people: The Russian government and the newspaper Sel'skii vestnik («Village Herald») 1881-1917. N.Y., 1987; и др.

[523] *McClelland J.C.* Autocrats and academics: Education, culture, and society in tsarist Russia Chicago, 1979; *Black J.L.* G.-F. Muller and the Imperial Russian Academy. Kingston, 1986; *Vucinich A.* Social thought in tsarist Russia: The quest for a general science of society, 1861-1917. Chicago, 1976; *idem.* Darwin in Russian thought. Berkeley, 1988; *Bailes K.E.* Science and Russian culture in an age of revolutions: V.I. Vernadsky and his scientific school, 1983-1945. Bloomington, 1990.

государства в направлении либеральной демократии[524]. Оценки его состояния в пореформенной России колебались от «зачаточного» и «нарождающегося» до «вполне жизнеспособного», что зависело от понимания его сущности: является ли функцией гражданского общества оппозиция царизму или же – сотрудничество с государством при одновременном расширении поля деятельности. Второй вариант ответа стал к этому времени уже вполне возможным, поскольку изменяется и усложняется образ самодержавия. Благодаря исследованиям 1970–1980-х годов оно утратило свои исключительно репрессивные черты, на смену приходят более взвешенные и детальные описания[525]. Изменяется и представление о государстве, которое начинает выступать в качестве не только «инструмента насилия», но и инструмента интеграции.

***

Безусловно, представленный портрет зарубежной историографии 1960-1980-х годов, посвященной императорской России, неполон и приблизителен – прежде всего потому, что невозможно во всей полноте отразить ее богатство и разнообразие, и что-то непременно будет упущено. Приблизителен он и по той причине, что «писался» широкими мазками, при посредстве монографических исследований, которые готовятся достаточно долго. Для более точного воссоздания интеллектуального климата какого-либо периода необходимо как минимум привлечение журнальных статей – что технически возможно, но при меньшем хронологическом и тематическом масштабе, это другая оптика. В то же время портрет несвободен и от некоторого волюнтаризма, часто сознательного, поскольку предпочтение

[524] Опорой служили труды Ю.Хабермаса: Civil rights in imperial Russia / Ed. by Crisp O., Edmondson L. Oxford, 1989; *Lindenmeyr A.* Poverty is not a vice; *Frame M.* School for citizens: Theatre and civil society in imperial Russia. New Haven, 2006; *Bradley J.* Voluntary associations in tsarist Russia: Science, patriotism, and civil society. Cambridge, 2009.

[525] См., например: *Verner A.M.* The crisis of Russian autocracy. Nicholas II and the 1905 revolution. Princeton, 1990; *McDonald D.* United government and foreign policy in Russia, 1900-1914. Cambridge, 1992.

отдавалось значимым с точки зрения профессии работам, которые не только обозначают, но и *создают* тенденции. В центре внимания находилось новое и конструктивное, рождавшееся в зарубежной русистике в 1960–1980-е годы.

Такой подход оправдан самим характером дисциплины Russian studies, с самого начала развивавшейся крайне динамично, что было обусловлено не только институциональными и историко-культурными факторами, но и необычайным энтузиазмом самих историков-русистов. Исследования этого периода демонстрируют преданность науке, высокий профессионализм, широкую эрудицию, в том числе историографическую, наконец, эмоциональную вовлеченность их авторов, занимавшихся изучением страны, закрытой тогда для большинства их соотечественников и в чем-то остававшейся загадочной.

Сформировавшаяся за 20 лет историография императорской России серьезно отличалась от предшествующей. В соответствии с классификацией, ведущей свое происхождение из истории Великобритании, ее можно было бы назвать «вигской» – если убрать при этом современные негативные коннотации. Но более точным определением будет «прогрессистская», или «либерально-универсалистская», в которой присутствует видение истории как логически последовательного универсального процесса, сложившееся в науке еще в XIX в. Приоритет в историографии такого рода отдается категории «развития», или прогрессу, при этом изначально для нее были характерны «нормативность» и «телеология» – движение к цели, «светлому будущему». Ее необходимо рассматривать в контексте утверждавшейся в США идеологии неолиберализма, сменившей «иконоборчество» 1960-х и вскоре распространившейся в Западной Европе. Неолиберализм подчеркнул значимость таких нормативов, как «рыночная экономика», «частная собственность», «свобода индивида», что оказывало непосредственное влияние и на историческую профессию. Особое значение для зарубежной

историографии императорской России стали играть концепты правового государства и гражданского общества.

Однако нельзя не учитывать, что данная историография создавалась в условиях холодной войны. Концепт «Запад» сохранял тогда свои претензии на роль эталона, который олицетворяли теперь США (что добавило к давно установившимся нормам, касающихся прав личности и формы правления, рыночную экономику и массовое потребление). Этот незримый эталон присутствовал в зарубежной русистике, где принадлежность России к Западу считалась весьма проблематичной. С точки зрения сегодняшней антропологии, в Russian studies – при всей любви и увлеченности – наличествовал элемент «колониального отношения» западного наблюдателя к предмету своего изучения, с учетом инаковости страны и ее несомненной тогда экзотичности.

В течение 1960–1980-х годов в зарубежной историографии императорской России складывается довольно обширный спектр интерпретаций, в их основе лежали образы, в наиболее общем виде обрисовывающие облик изучаемой страны. Они составляли то «предзнание», с которым историк подходит к изучаемому предмету, и задавали общий вектор исследования.

Один из них, уже описанный ранее, – консервативный, «вневременной», подчеркивающий черты самобытности, экзотичности, уникальности деспотической России, а в конечном итоге – черты статичности в ее истории. Второй – либерально-универсалистский, опиравшийся на западнические установки русской дореволюционной историографии, которая считала Россию – по крайней мере с петровского времени – европейской страной, несколько «запаздывавшей» в своем развитии (линия, ведущая свою родословную от века Просвещения). Теория модернизации добавила к этим представлениям элемент нормативности и признала Россию страной «второго эшелона», вынужденной догонять своих более развитых соседей.

Оба они принадлежали как к публичному, так и к профессиональному дискурсу, оба обладали определенным весом. В количественном отношении безусловно преобладали исследования, основанные на либерально-универсалистском образе. Но авторитет тех немногих работ, которые можно было бы назвать «консервативно-пессимистическими», выглядел несокрушимым.

Примером консервативного синтеза является обобщающая книга историка старшего поколения Ханса Роггера, в название которой, однако же, вынесено слово «модернизация»[526]. Тем не менее автор рисует картину «упадка и разрушения» великой державы, могущественной империи, которую он определяет как «тюрьму народов». Книга построена на жестком противопоставлении государства и общества, с убежденностью в том, что «политика правительства, личности и институты» играли в этом противостоянии главную роль[527]. Оно, собственно, и привело к падению империи, в котором виновно было самодержавие. В центре его внимания – «паралич власти» на высшем уровне, и соответственно, элита и противостоящее ей образованное общество. «Низшие классы» – рабочие и крестьянство – показаны лишь с точки зрения их экономического положения, богатейшая культурная и социальная жизнь страны этого времени отсутствует. Соображения, что внимание к культуре могло бы перегрузить общий нарратив, несостоятельны: бывает достаточно нескольких слов и упоминаний, чтобы дать «контекст». В данном случае лишь соблюдены законы жанра традиционной, классической, «элитистской» политической истории, которая всегда находит своих почитателей.

Характерная черта общего нарратива Роггера – статичность «государства» в его неизменном нежелании идти на диалог с «обществом».

---

[526] *Rogger H.* Russia in the age of modernization and revolution, 1881-1917. L., 1983.
[527] Ibid. P. 2.

Это обстоятельство было подмечено одним из рецензентов, Р.Уортманом[528], выделившим в книге ключевое слово «паралич» и подчеркнувшим отсутствие конструктивного плана изменений перед лицом надвигавшихся катаклизмов.

Собственно говоря, «статика» и является детерминантой в консервативном образе императорской России, в отличие от «динамики», лежащей в основе образа либерально-универсалистского, который все же превалировал в историографии 1960-1980-х годов.

Это был образ страны, идущей по пути прогресса, однако ее успешному движению мешают разнообразные препятствия и дисбалансы, которые определялись как атрибут отсталости. Во главу угла ставили, напротив, «движение». Даже в изучении «политики верхов» историки находили черты прогресса, хотя и были склонны подчеркивать двойственность, противоречивость, даже парадкосальность российской действительности. Примером такого подхода служит историография реформ XIX в., получившая свое развитие в 1960–1980-е годы и затем довольно быстро сошедшая со сцены. Ее рассмотрение позволяет показать основные особенности, тематические предпочтения, систему взглядов и аргументации, наконец, динамику в развитии зарубежной (в данном случае, американской) русистики 1960–1980-х годов.

[528] *Wortman R.* Rec. ad op.: Rogger H. Russia in the age of modernization and revolution, 1881-1917. L., 1983 // The Russian rev. 1985. Vol.44. N 3. P. 299-300.

Глава 4. Изучение внутренней политики России XIX в. в зарубежной историографии 1960-1980-х годов: Бюрократия и реформы

Интерес к истории российского реформаторства в научном сообществе зарубежных русистов был стабильно высоким, неуклонно возрастая с 1960-х годов и достигнув своего пика в середине 1980-х. Он был вызван, среди прочего, все новыми публикациями о серьезном системном кризисе в СССР и желанием спрогнозировать возможные его результаты. Несомненный импульс широкому общественному интересу к этой проблеме дала перестройка и заявленная Горбачевым программа преобразований. Появилось желание, с одной стороны, обратиться к «урокам прошлого», с другой – попытаться из дня сегодняшнего лучше понять то, что происходило прежде. С падением «железного занавеса» начался период увлечения Россией и моды на все «русское». В этих условиях возникла реальная возможность подготовить и провести целый ряд конференций по проблемам российских реформ.

Наиболее представительными явились форумы в Мичиганском университете в 1985 г., Пенсильванском университете в 1989 г., в 1990 г. в Вашингтоне и в 1995 г. в Торонто, по материалам которых были изданы итоговые сборники, в том числе на русском языке[529]. Предметом рассмотрения на конференциях являлись периоды относительной

[529] Великие реформы в России. 1856-1874: Сборник / Под ред. Захаровой Л.Г., Эклофа Б., Бушнелла Дж. М., 1992; Reform in Russia and the USSR: Past and prospects / Ed. by Crummey R. Urbana, 1989; Russia's Great reforms, 1855-1881 / Ed. by Eklof B., Bushnell J. a. Zakharova L. Bloomington, 1994; Reform in modern Russian history: Progress or cycle? / Ed. and transl. by Taranovsky T. Cambridge, 1995; Reforming justice in Russia, 1864-1994: Power, culture and the limits of legal order. N.Y., 1997. В отечественной науке наблюдались симметричные тенденции, включая интерес к проблемам российских реформ и цикличности российской истории. См.: Власть и реформы: От самодержавной к советской России. СПб., 1996; Власть и реформы в России: Материалы «круглого стола», посвященного обсуждению коллективной монографии петербургских историков // Отечественная история. М., 1998. № 2. С.3-36.

стабильности, репрезентативные для рассмотрения эволюционных тенденций в истории России: 1860-е годы, 1906–1914, 1920-е, 1956–1964, 1985–1990 гг.

Конечно, нельзя не признать откровенно утилитарные цели и политические мотивы организации ряда форумов, однако на них историки обрели возможность не только ознакомить западное научное сообщество с последними результатами своих исследований, попытаться осмыслить их и подвести некоторые итоги, но и значительно расширить контакты с советскими коллегами. Работы советских историков Л.Г. Захаровой, А.П. Корелина, В.А. Федорова, В.Г. Чернухи и др., опубликованные в материалах конференций на английском языке, стали достоянием широкой научной общественности и были интегрированы в контекст западной исторической науки. Представленные на тематических конференциях материалы по истории российских реформ были результатом многолетних исследований западных историков, в основном американских, сделанных в годы противостояния двух сверхдержав, и явились серьезным шагом на пути к осмыслению проблемы реформ в русской истории. Большое внимание в них уделялось бюрократии как «двигателю реформ» и в целом государственным институтам самодержавной России.

В то же время в материалах конференций была подведена некая черта под изучением российских реформ XIX в. В них вырисовывается целостная концепция реформаторского процесса в Российской империи, сложившаяся к этому времени в американской историографии, однако дальнейшего развития эти исследования не получили. Тем не менее, интерпретации и концепции зарубежных россиеведов, основанные на глубоком знании истории России, имеют самостоятельное познавательное значение и заслуживают специального рассмотрения.

4.1. История государственных институтов императорской России[530]

Начиная с 1950-х годов большое внимание при изучении социально-политической эволюции России стало уделяться государству как главной движущей силе русской истории и его правительственному аппарату как инструменту модернизации страны. В работах зарубежных россиеведов воссоздавалась история власти в России, ее механизмы и технологии, прослеживалось формирование современных государственных институтов; немалое внимание уделялось и феномену самодержавия.

Самодержавие для старшего поколения историков-русистов представляло собой наиболее характерную черту политического строя России, отличавшую ее от Европы и придававшую ей налет «экзотичности». Пришедшее ему на смену среднее поколение было склонно определять самодержавие как социологический, а не культурно-исторический феномен со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для нового этапа характерен преимущественно социальный подход к феномену самодержавия, связанный с утверждением в русских исследованиях теории модернизации.

По мере углубления исследований различных аспектов экономической, политической и социальной истории Российской империи прежний, во многом карикатурный портрет царизма, которому противостояла героическая

---

[530] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* П.А. Зайончковский и его американские ученики; *Большакова О.В.* Российская империя: Система управления. (Современная зарубежная историография). Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. М., 2003. *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.; *Большакова О.В.* Социальная история бюрократии императорской России в англо-американской историографии // Бюрократия и бюрократы в России в XIX и XX веках: общее и особенное: Материалы XII Всероссийской научно-теоретической конференции. М.: РУДН, 2008. С.81-88; *Большакова О.В.* Проблемы изучения местного управления в англоязычной историографии императорской России // Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII – начало XXI вв.): сб. ст. Всеросс. научной конф. (г.Оренбург, 30 октября – 2 ноября 2012 г.) / Под науч.ред. Е.В. Годововой, С.В. Любичанковского. Оренбург: Пресса, 2012. С.461-464.

оппозиция, сменяется более взвешенными и детальными описаниями. В 1970–80-е годы в западной историографии утверждается более позитивный взгляд на самодержавие, обнаруживаются его положительные черты, корректируются прежние представления о степени репрессивности старого режима, в частности, о ситуации с гражданскими правами личности в Российской империи[531]. В центре внимания исследователей оказываются теперь изменения, происходившие в мире и в русском обществе, в том числе возникновение новой («современной» – modern) системы ценностей, с которой самодержавие неизбежно вступало в конфликт и к которой было вынуждено так или иначе приспосабливаться. «Изменение» (change) становится ключевым словом в исследованиях России XIX в., вторым по важности словом является «вызов» (challenge). Таким образом, проблема способности самодержавия приспособиться к стремительно изменяющимся условиям и «отвечать на вызов» современности приобретает особую актуальность.

В свете теории модернизации сформулировали стоявшие перед русским самодержавием XIX в. задачи Брюс Линкольн и Джекоб Кипп в своей программной статье «Самодержавие и реформа: Бюрократический абсолютизм и политическая модернизация в России XIX в.»[532]. Авторы исходят из тезиса, что запущенный петровскими реформами процесс модернизации вызвал к середине XIX в. конфликт между традиционными символами самодержавной власти и новой системой ценностей, ставящей во главу угла «рационализацию и демократический этос». В центре этого кризиса системы ценностей находился институт самодержавия, который, с одной стороны, опирался на традицию и божественную санкцию царской

[531] *Read Ch.* In search of liberal tsarism: The historiography of autocratic decline // Historical journal. Cambridge, 2002. Vol.45. N 1. P. 197–199.
[532] *Kipp J., Lincoln B.* Autocracy and reform: Bureaucratic absolutism and political modernization in nineteenth-century Russia // Russian history. Vol.6, Pt.1. 1979. P.1-21.

власти, а с другой – претендовал на верховную роль в обеспечении величия России и движения ее по пути прогресса.

Очень характерны для нового социального подхода те задачи, которые, по мнению авторов, должно было решать самодержавие в XIX в.: 1) сохранить и укрепить единство и целостность страны, которая по мере присоединения новых областей становилась все более многонациональной; 2) создать определенные инструменты для удовлетворения все усиливающихся претензий общества на участие в управлении страной; 3) отменить крепостное право и провести соответствующие реформы, которые реконструируют социальную структуру империи в соответствии с новыми условиями; 4) инкорпорировать российское государство в мировой политический и экономический порядок[533]. При этом единственным институтом, который был полномочен сохранять старый строй или проводить реформы, являлась сама государственная власть. Самодержавие, будучи одновременно и политическим институтом, и конституцией, и социально-психологическим мифом (сложным и противоречивым по своей сути), на протяжении всего XIX в. стояло во главе процесса принятия решений в России.

В 1970–80-е годы историки-русисты обращаются к изучению природы и сущности российского самодержавия, не принимая во внимание идею о преемственности между советским и царским режимами, в особенности в том, что касается авторитарной природы верховной власти в России. Они исходят из того, что самодержавие московского и императорского периодов (не говоря уже о советском) представляют собой отдельные этапы развития российского государственного строя и качественно отличаются друг от друга. Тем не менее, вышедшая в 1984 г. статья ученика Р. Пайпса, известного специалиста по истории средневековой Руси Эдварда Кинана о

[533] Ibid. P. 2-4.

политической культуре Московского государства XVI–XVII вв.[534] оказала большое влияние на историков. В частности, получил распространение его вывод о том, что характерные черты московской государственности и социально-экономического строя являются постоянными, неподвижными сущностными чертами русской истории. Однако этот вывод не стал самодовлеющим и часто, как, например, в работе Д. Орловского, выступает необходимым дополнением для характеристики противоречий в политической культуре правительственного аппарата Российской империи[535]. «Московские» черты самодержавной политической культуры, выявляемые при исследовании политической истории XIX в., придают в данном случае лишь дополнительную глубину создаваемой исторической картине.

Для историков императорской России важным моментом явился акцент, сделанный Кинаном на олигархической компоненте политики, на роли кланов и семейных связей, отношений патрон–клиент, которую не были склонны учитывать те, кто сосредоточивал свое внимание на личном характере власти самодержца. В то же время системный подход всегда ставит во главу угла стабильность, а не эволюцию и «изменения», которые находились в центре внимания специалистов по императорской России, на что указал Р. Уортман, принявший участие в дискуссии о концепции Кинана[536].

В историографии определенное место начинает занимать сравнительно-исторический подход, не исключающий Россию из семьи европейских народов, а напротив, рассматривающий ее в контексте общеевропейского исторического развития. По мнению ряда историков, Российская империя представляет собой пример европейского абсолютизма и позволяет выявить ряд системных черт этого типа государственности. Однако «особые» черты

---

[534] *Keenan E.* Moscovite political folkways //Russian rev. 1986. Vol.45, N 2. P.115-181.
[535] *Orlovsky D.* The limits of reform: The ministry of inernatl affairs, 1801-1881.
[536] *Wortman R.* «Muscovite Political Folkways» and the problem of Russian political culture // The Russian rev. 1987. Vol. 46, No. 2. P. 192-193.

российской государственности продолжают оставаться в центре внимания, и историков-русистов особенно интересует вопрос о неограниченности самодержавной власти и о личном характере власти самодержца[537].

Решающую роль в формировании представлений о русском самодержавии сыграла концепция Марка Раева о «регулярном» государстве, возникшем в результате реформ Петра I[538]. В этот период самодержавие восприняло систему законности, идеологию и институциональные формы абсолютных монархий Запада. Российская империя определилась как отсталое, но мощное государство, вариант среднеевропейского Polizeistaat. Традиционное «полицейское государство» являлось одной из разновидностей секуляризованной абсолютной монархии, которая обосновывалась теориями естественного права и общественного договора, в соответствии с чем монарху предоставляется власть над подданными с целью обеспечения общего блага. Монарх управляет государством через посредство наследственной гражданской и военной бюрократии, образующей рационально организованную государственную структуру. Главная задача правительства, в этом контексте, состояла в регуляции всех сторон общественной жизни с утопической целью создания правильно организованного общества – отсюда название «регулярное государство», которое часто применяется западными, а теперь и отечественными исследователями в отношении Российской империи XVIII в. А зачастую

---

[537] Если в довоенный период термин «самодержавие» (autocracy) указывал в первую очередь на «отсталость», свойственную восточным деспотиям и России, в 1960-е годы в социальных науках стали подчеркивать такую черту, как единоличный характер власти самодержца. Этот вопрос занял первостепенное место и в исторических исследованиях. См.: Encyclopaedia of the Social Sciences / Ed. Seligman E.R.A. and Alvin Johnson A. N.Y., 1930. P.312-322; International encyclopedia of the social sciences / Ed. by Sills D.L. United States: Crowell Collier and Macmillan Inc., 1968. P. 478-480.

[538] *Raeff M.* The well-ordered police state. См. также: *Тарановски Т.* Судебная реформа и развитие политической культуры самодержавной России // Великие реформы в России, 1856-1874. М., 1992. С.301-317; *его же.* Особенности российской самодержавной монархии в XIX столетии // Российская монархия: Вопросы теории и истории. Воронеж, 1998. С.157-171.

черты такого «регулярного государства» обнаруживаются и в период «апогея самодержавия» – в царствование Николая I.

Согласно этой концепции, определяющее значение для развития российского государственного строя имели реформы Петра I. Как пишет Т. Тарановский, «российская государственность обрела не только новую форму, но и новый дух», хотя эти перемены и не дали прямых результатов сразу и следы политических традиций долгое время сохранялись в самосознании и практике. Американский историк полагает, что с этого времени российская политическая мысль и правительственная политика «расстаются с понятийным кругозором московской государственности и московской духовности». Начиная с эпохи Петра I самодержец хотя и продолжал править «милостью Божьей», но идеология государства определялась светской теорией естественного права, и государственная деятельность держала курс на обеспечение «общего блага». Объем государственной власти, ее цели стали гораздо шире, чем у традиционной монархии. Верховную власть олицетворял монарх, самодержец, который служил государству, управлял им по своему разумению как просветитель и попечитель своих подданных[539].

В течение XIX в., как отмечают историки, российское самодержавие по примеру Пруссии медленно двигалось в направлении авторитарно-бюрократической монархии, проходя путь от полицейского до правового государства. На этой стадии развития абсолютной монархии политическая система модернизируется, и самодержец уже начинает действовать как высший исполнительный орган, который согласует интересы бюрократических и общественных групп и координирует деятельность правительственных учреждений. Деятельность самодержца как посредника и связующего звена между разрозненными частями государственного организма, его роль в функционировании этого организма становится важной

[539] *Тарановский Т.К.* Особенности российской самодержавной монархии. С.160.

темой исследований 1960-80-х годов. В них констатируется неуклонная эволюция российского абсолютизма в сторону его фактического ограничения. В основе интерпретаций характера власти лежит противопоставление «личный / формальный», причем «объективным» содержанием исторической эволюции и ее целью в данном случае считается (по Веберу) формализация и институционализация. С этой точки зрения, главная проблема управления России заключалась в постепенном избавлении от «произвола» и введении «законности» при помощи «западных» норм и институтов.

По наблюдениям ряда исследователей, властные полномочия самодержца по мере усложнения социальной структуры империи начинают естественным образом ограничиваться. До начала Великих реформ, пишет А. Рибер[540], политическая жизнь была сосредоточена при императорском дворе, в центре ее стоял самодержец. Придворные «партии», образовывавшиеся вокруг влиятельных лиц и знатных семейств, соперничали друг с другом за обладание властью и привилегиями. Создание министерств, формирование профессиональной бюрократии, развитие системы высшего образования положили начало медленному процессу деперсонализации борьбы в высших эшелонах власти, переходу ее в идейно-политическую плоскость. Автор прослеживает образование в эпоху Великих реформ целого ряда группировок, стремившихся проводить свою политическую линию – «экономистов», «военных» и др. Основная цель маневров заключалась в том, чтобы привлечь на свою сторону самодержца, за которым всегда оставалось последнее слово при принятии того или иного решения. Александр II, пишет Рибер, все больше принимал на себя роль третейского судьи в спорах между группировками. Однако такой стиль управления лишь способствовал появлению и росту все новых группировок. Великие реформы создали новые

[540] *Рибер А.* Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы в России. М., 1992. С.44–72.

институты и породили такие социально-экономические процессы, которые император уже не мог ни остановить, ни замедлить, а в некоторых случаях даже и контролировать[541].

Суть любой формы абсолютизма заключается в принципе неограниченного выражения воли государя, но на практике всегда существуют его объективные и субъективные ограничители. Это могут быть как социально-экономические факторы, так и характер самого конкретного монарха, наличие у него сильной воли и способностей к управлению или отсутствие таковых. Кроме того, определенным ограничением является также практическая невозможность заниматься всеми вопросами управления, что означает необходимость действовать через учреждения. Например, Х. Уилан видит главный конфликт, который назрел в Российской империи к 1880-м годам, именно в нарастании противоречия между личным характером власти самодержца и практической невозможностью ее полного осуществления в условиях крайне усложнившейся системы управления страной[542]. В царствование Александра III самодержавие оказалось в совершенно новом положении: все сильнее ощущается зависимость царя от профессиональных чиновников, от аппарата, который к этому времени превратился в более или менее современную и автономную организацию, хотя, как замечает Х. Уилан, привычки управления мало изменились.

А. Вернер, подробно изучивший административную практику самодержавия в царствование Николая II, пришел к выводу, что личное самодержавное правление как раз и предполагает отсутствие единства в правительстве. Самодержец часто вынужден эксплуатировать и даже порождать конфликты и оппозицию, и наличие кабинета министров с сильным премьером, который присваивает часть прерогатив царской власти,

---

[541] Там же. С.69-70.

[542] *Whelan H.W.* Alexander III and the State Council: Bureaucracy and counter-reform in late imperial Russia. New Brunswick, 1982.

отнюдь не в его интересах[543]. Вернер подробно рассматривает повседневный процесс управления в Российской империи рубежа веков, отмечая общее отсутствие дальновидности, широкого взгляда, неумение выделить дела, имевшие принципиальное значение[544]. Личные отношения были заменителем институциональных отношений, а отсутствие координации и единства оставляло простор для интриг. Если самодержец производил впечатление твердости во мнениях, воли, последовательности, – он выполнял стабилизирующую функцию. Слабовольный, пассивный, нерешительный царь подрывал бюрократическую структуру.

Несколько иной точки зрения придерживается Д. Макдональд, анализируя намерения Витте по созданию кабинета и поста премьер-министра[545]. Он полагает, что именно моменты активного вмешательства Николая II в управление и политику вызывали «кризис самодержавия». Так, возвышение целой плеяды личных фаворитов на рубеже веков стало, в интерпретации Д. Макдональда, сигналом, свидетельствовавшим об усилении «личного» характера правления царя, что остро осознавалось современниками. Кабинет успешно функционировал в 1906–1911 гг., когда Николай II питал особую благосклонность к Столыпину, затем наступает период активного вторжения царя в отправление государственных функций, что, по наблюдению Макдональда, всякий раз вело к провалам во внешней и внутренней политике. Попытки урегулирования взаимоотношений между императором и государством («институционализировать доверие» самодержца, по выражению Д. Макдональда), в итоге закончились крахом[546]. Таким образом, решающим фактором падения режима, в оценке Макдональда, оказывается неспособность Николая II реализовать должным

[543] *Verner A.M.* The crisis of Russian autocracy. P.55.
[544] Ibid. P. 46.
[545] *McDonald D.* United government and foreign policy in Russia, 1900-1914.
[546] *McDonald D.* United government and the crisis of autocracy, 1905-1914 // Reform in modern Russian history. Progress of cycle? Cambridge, 1995. P.194-197, 208-211.

образом свою личную власть. Причины коллапса верховной власти носят структурный характер и во многом обусловлены коренным противоречием между личной патриархальной властью самодержца и рационализированной бюрократической властью эпохи Нового времени.

Характер самодержавного правления неизбежно выдвигает на первый план личность самодержца. Действительно, успех в огромной степени зависел от личных качеств монарха, его ума, дальновидности и решительности и, что немаловажно, того, как его воспринимали подданные. Как считают западные историки, только сильный лидер с развитой индивидуальностью и твердым пониманием своей роли мог сдерживать присущие самодержавной системе России XIX – начала XX вв. тенденции к разрушению и несогласованности, причем независимо от его программы и конечных целей политики. Зарубежными историками был написан ряд биографий русских самодержцев, однако характерно, что большое внимание уделено императорам, правившим в переломные эпохи – ПетруI, Александру II, Николаю II[547].

Личная роль Николая II в кризисе самодержавной системы долгое время не исследовалась должным образом: она либо считалась само собой разумеющейся, либо игнорировалась серьезными учеными. Значительное внимание уделялось оппонентам царя и высшей бюрократии, а сам самодержец часто отбрасывался исследователями как «слабая фигура», его потенциальное влияние обычно умалялось. Неудивительно, что многочисленные биографии Николая II, как правило, не носят научного характера, грешат сентиментальностью или крайне поверхностны[548].

Тем не менее личность царя получила серьезное рассмотрение – в частности, в монографии А. Вернера на основе дневника Николая II и его

---

[547] См.: *Hughes L.* Peter the Great; *Alexander J.T.* Catherine the Great: Life and legend. Oxford, 1989; *Pereira N.G.O.* Tsar-liberator: Alexander II, 1855–1881. Newtonville, 1983; *Lieven D.* Nicholas II: twilight of the Empire. N.Y., 1994.

[548] См., например: *Феррo М.* Николай II. М., 1991.

переписки реконструируется становление характера императора, обрисовывается его мировоззрение. Причем дается оно во взаимодействии с идеологическими течениями того времени, прежде всего, когда речь идет о концепции самодержавия и понимании роли и долга самодержца в «эпоху быстрых изменений»[549]. Британский историк Доминик Ливен, чья биография Николая II считается на сегодняшний день наиболее авторитетной, не будучи ограничен присущей американской историографии политкорректностью, безбоязненно характеризует такие стороны личности Николая, которые оставил в стороне А. Вернер: отсутствие культуры, наивность, эгоизм[550].

Особый сюжет составляет «психологическая драма» расставания с самодержавной властью в 1904–1905 гг., кульминационным пунктом которой явился Манифест 17 октября 1905 г. Зарубежные историки придерживаются мнения, что глубокая и искренняя уверенность в специфическом характере исторического пути развития России, господстве в сознании русского народа идеи божественного происхождения царской власти, неприменимости в российской действительности парламентских форм правления западного типа и самой теории общественного договора делали консервацию государственного строя религиозно-нравственным долгом монарха. И все изменения в характере строя производились как отступление от этого долга. Но ощущение велений времени, катаклизмы, сотрясавшие Российскую империю, логическая аргументация реформаторов из числа высших сановников – убежденных монархистов, которая обнаруживала удивительную общность с требованиями либеральной общественности, – все это ставило царя перед необходимостью отхода от непримиримых противников государственных преобразований в сторону компромисса.

Несомненно, что все российские государи XIX в. поддерживали личный характер императорской власти и опасались любой меры, которая бы, по их

---

[549] *Verner A.M.* The crisis…
[550] *Lieven D.* Russia's rulers under the Old regime. L., 1989. P.283-284.

мнению, грозила ограничением самодержавия. Этот страх прослеживается на протяжении всей истории русской государственности XIX в. и попыток ее реформирования. И в то время как в Западной и Средней Европе к середине XIX в. абсолютная полицейская монархия уже теряла свое историческое значение, а после революций 1848 г. среднеевропейские государства превратились в авторитарные, но уже не абсолютные монархии, только в России, даже после реформ 1860-х годов самодержавная власть оставалась неизменной[551].

Причины «консервации» абсолютизма в России историки-русисты видят не только в «эгоизме» русских самодержцев, но и в объективной социально-экономической обстановке. В условиях экономической отсталости сильная монархия и максимальная централизация управленческой структуры были необходимы для поддержания суверенного государства и современной системы международных связей. Для России это был единственный способ соревнования со странами, более развитыми в экономическом отношении[552].

В то же время одной из причин столь долгого существования самодержавия зарубежные историки считают тот факт, что в российском обществе не было глубоко укоренившихся антиабсолютистских традиций. В западной историографии подчеркивается отсутствие (по сравнению с Западной Европой) теоретически разработанных политических теорий. Конечно, существовала идеология московского теократического абсолютизма, но даже она выражалась преимущественно в искусстве, обряде и символике, а не в политических и юридических трактатах. Бытовавшая на Западе в XVI–XVII вв. светская политическая мысль в форме абстрактных рассуждений о природе человека, власти, правительства, не была распространена в самосознании и политической культуре России. Все это возникает лишь при Петре I и особенно во второй половине XVIII в.

---

[551] *Тарановский Т.К.* Ук.соч. С.161.

[552] См., например: *Fuller W.C.* Strategy and power in Russia, 1600-1914. N.Y., 1992.

Самодержавие быстро восприняло политическую культуру европейского абсолютизма, а российское общество разрабатывало свой ответ на давление государства медленно и постепенно (по сравнению с Европой). Но восприятие светской политической культуры вело не только к «Наказу» Екатерины, работам Сперанского и реформаторству 1860-х, но и к декабристам, появлению либеральной общественности и революционной интеллигенции[553].

Долгое сохранение самодержавного режима обеспечивала и административная система императорской России. Вопросы о том, как она функционировала, как адаптировалась к быстро меняющимся в XIX в. условиям жизни и, наконец, соединились ли отдельные элементы бюрократии в структурированную систему и если нет, то почему, – составляли предмет исследований по истории государственных и общественных институтов. Институциональная история в зарубежной русистике активно развивалась в 1970-е годы и надолго сохранила свой приоритет, получив дальнейшее развитие уже в отечественных исследованиях этой темы в 2000-е годы. В русле этого подхода зарубежные историки рассматривали государственные институты самодержавной России в рамках теории модернизации и, соответственно, главное внимание уделяли реформаторской деятельности этих учреждений, их участию в проведении внутренней политики и поддержании стабильности режима.

Для зарубежной русистики начала 1970-х годов тема российской бюрократии стала более чем актуальной, что наглядно демонстрирует дискуссия в журнале «Славик ревю». В нем была помещена статья немецкого историка Х.-Й. Торке, написанная на основе его диссертации и переведенная на английский язык[554]. Эта работа естественным образом вошла в

---

[553] *Тарановский Т.* Ук.соч. С.163.

[554] *Torke H.-J.* Continuity and change in the relations between bureaucracy and society in Russia, 1613-1861 // Canadian Slavic studies. 1971. Vol.5, N 4. P.457-476. См. *Keep J.* Light

англоязычную русистику и оказала на нее определенное воздействие. По мнению Х.-Й. Торке, применение веберовского идеального типа в изучении бюрократии императорской России вряд ли оправдано, поскольку социологический подход, основывающийся на сравнении с прусскими «нормами», слишком узок. Используя концептуальные инструменты, разработанные в германской истории административных институтов (анализ служебных установлений), он дал «анатомию» русского чиновничества, однако анатомию очень поверхностную, не основанную на серьезной источниковой базе. После 1861 г., полагает Торке, русское чиновничество гораздо ближе подошло к западным бюрократическим моделям правового государства, чем считает его американский наставник Раев. Главный показатель перемен – тот факт, что чин постепенно утратил свое значение, он стал зависеть от должности (в официальном языке слово «чиновник» было заменено термином «должностное лицо»)[555]. Работы Раева и Торке явились отправным пунктом для конкретно-исторического изучения российской бюрократии в зарубежном россиеведении.

Первое современное аналитическое исследование государственных институтов России было написано Джорджем Йени в 1973 г.[556]. Автор попытался связать эволюцию правящих институтов с общим ходом социальной и политической истории России, однако его методы и система доказательств вызвали почти единодушное возражение коллег. В особенности это касалось схематического противопоставления XVIII и XIX веков и соответствующих им сенатского коллегиального и министерско-бюрократического принципов управления. Тем не менее была признана

---

and shade in the history of the Russian administration // Canadian-American Slavic studies. 1972. Vol.6, N 1. P.1-9.

[555] Ibid. P. 475.

[556] *Yaney G.L.* The systematization of Russian government.

важность самой попытки создать обобщенную историю государственных учреждений за 200 лет[557].

Основная цель исследования – «дать портрет царской администрации» на протяжении двух столетий, в ее взаимодействии с крестьянством. По мнению автора, царское правительство было первопроходцем в своих попытках провести радикальные социальные изменения отсталого общества административными средствами. Европейские монархи также проводили реформирование «сверху», но в кардинально иных условиях, при наличии достаточно развитой системы местных институтов[558].

Монография представляет собой пример сильно социологизированного подхода, с опорой главным образом на теорию структурного действия. Отталкиваясь от теоретических построений Вебера и Парсонса, автор разрабатывает абстрактную концепцию «систематизации» управления. Как считает Йени, всякому обществу присуще внутреннее стремление к созданию «системы», и систематизация, по его мнению, является целью любой политической эволюции, направленной на развитие демократии и сопутствующих ей свобод. Центральное место в его концепции занимает идеальное понятие «легально-административной системы», возникновение которой представляется ему главным условием построения правового государства. В имперской России, представлявшей собой сильно фрагментированное общество, процесс формирования «легально-административной системы» был крайне затруднен и радикально отличался от Западной Европы. Причина заключалась в иных представлениях о праве и его функции в обществе.

Чрезвычайно усложненная и сухая теория Йени, его чересчур широкие обобщения не получили признания в академической среде. Однако целый ряд

---

[557] См., например: *Keep J.* Programming the past: Imperial Russian bureaucracy and the society under the scrutiny of Mr. George Yaney // Can.-Amer. Slavic studies. Montreal, 1974. Vol.8, N 4. P. 569–580.

[558] *Yaney G.L.* The systematization of Russian government. P. 398.

его наблюдений, касающихся нового институционального порядка, созданного при Александре I, анализ роли Государственного совета на протяжении XIX в. и политики бюрократии по отношению к крестьянству в пореформенный период были высоко оценены историками. Именно в его работе был впервые ясно поставлен вопрос об изучении взаимоотношений чиновничьей машины с «аграрным обществом», имеющим собственные, иные законы существования. Необходимо отметить также введение в научный оборот представления о крестьянской реформе как результате взаимодействия трех равноправных и взаимовлияющих сил – правительства, общества и крестьянства.

В центре авторского анализа министерской системы самодержавной России находится противостояние Министерства финансов и МВД. Еще М. Вебер в статье 1906 г. прокомментировал достигший к этому времени своего апогея конфликт, указав, что МВД предводительствовало крестьянством в походе против столиц, в то время как министерство финансов «организовывало столицы идти на штурм деревень». Противопоставление такого рода было вполне в духе времени. Как считает Йени, это был конфликт по сути своей организационный, и проявлялся не только в отношении аграрного вопроса (вспомним столкновения по рабочему законодательству). Тем не менее Йени констатирует заметное возрастание реальной кооперации между министерствами, несмотря на усиление конфликтов и столкновений[559].

В книге Дэниэла Орловски, посвященной истории Министерства внутренних дел до 1881 г.[560], рассматривается его структура, порядок делопроизводства, функциональные обязанности каждого подразделения министерской иерархии и границы исполнительной власти министра, прослеживается количественный рост штата и расширение его обязанностей.

[559] Ibid. P. 290–294.
[560] *Orlovsky D.* The limits of reform.

Автор констатирует нарастание в МВД серьезного структурного кризиса, который заключался в неспособности справляться с текущими обязанностями, не говоря уже о решении каких-то новых экстраординарных задач. Работа, пишет он, становилась непродуктивной, неуправляемой, подчиненной раз и навсегда заведенному механизму формальных процедур. После 1861 г. и МВД, и самодержавный режим в целом находились в противоречии с новыми политическими и административными реалиями и были неспособны провести необходимые структурные изменения. Орловски полагает, что исследованный Зайончковским «кризис самодержавия» 1878–1881 гг., который означал «неспособность управлять массами на основе существующих законов и посредством существующих средств управления», был по своей сути институциональным и начался задолго до 1878 г. Главным средством для выхода из него автор в соответствии с либеральной парадигмой считает сотрудничество, «какую-либо форму партнерства» бюрократии с другими элитами, с обществом.

Западная историография постоянно указывала на наличие «кризиса системы правления» в пореформенной России, отсутствие институциональной базы, которая устроила бы и самодержавную систему, и бюрократию. «Институциональная слабость», слаборазвитость системы управления (“undergovernment”), выражающаяся прежде всего в отсутствии адекватных «каналов коммуникации» между разными уровнями администрации, отмечается многими авторами. Термин “undergovernment”, не определенный в специальной литературе и непереводимый на русский язык, подразумевает также, что в распоряжении правительства не было достаточного количества чиновников для эффективного осуществления политики. Представления о дореволюционной России как о стране, страдающей от избытка чиновничества, основывались главным образом на русских художественных и публицистических текстах XIX – начала XX в.

Западные исследователи пришли к противоположному выводу и неизменно подчеркивали острую нехватку административного персонала в стране.

В широком смысле, считает Т. Пирсон[561], проблема «слаборазвитого управления» была характерна для всех переходных обществ в процессе модернизации, в том числе для Испании и Италии XIX в., и являлась результатом экономической отсталости. Слабое по сравнению с европейскими странами развитие институтов в России автор связывает с личной, патерналистской природой самодержавной власти.

Тем не менее данные по общему количеству чиновников в России в разные годы, а также их интерпретация, оказались весьма дискуссионными. Так, выводы Фредерика Старра об относительно небольшом по сравнению с европейскими странами удельном весе русского чиновничества (в России на 1 тыс. населения приходилось от 1,1 до 1,3 чиновника, что было в 3-4 раза меньше, чем в тогдашней Англии и Франции)[562], вызвали серьезные возражения. Старр не учитывал, что в России, особенно в дореформенный период, большинство крестьянства было исключено из гражданской жизни и практически не контактировало с чиновниками. Поэтому такие сравнения с Западной Европой признавались некоторыми его коллегами некорректными.

Вместе с тем, несмотря на широко распространенное в западной историографии мнение о серьезных недостатках административной системы царской России, некоторые конкретно-исторические исследования показали, что в сложных ситуациях неповоротливая и громоздкая государственная машина демонстрировала высокую степень эффективности и обнаруживала резервы для своего усиления. Исследование действий всех уровней государственного аппарата самодержавной России в момент тяжелого кризиса – голода 1891–1892 гг. – было предпринято Ричардом Роббинсом[563].

---

[561] *Pearson T.* Russian officialdom in crisis.
[562] *Starr F.* Decentralization and local self-government in Russia. P.38.
[563] *Robbins R.G., jr.* Famine in Russia, 1891–1892.

Автор развенчивает сложившиеся в историографии мифы и представления о борьбе с голодом.

Считалось, что в борьбе с нараставшим кризисом правительство оказалось полностью несостоятельным, и именно общество, несмотря на противодействие бюрократии, сумело помочь крестьянам и спасти от банкротства государственную машину. Изучение реализации правительственных программ помощи голодающим привело историка к неожиданному заключению – государственная кампания по борьбе с голодом по своей эффективности оказалась вполне сопоставимой с достаточно успешными действиями британской администрации в Индии и Ирландии несколько лет спустя и даже превосходила их по некоторым показателям. Кампания 1891–1892 гг. была крупнейшей в истории России, она представляла собой комплекс мероприятий, включавший в себя не только распределение продовольствия, но и снижение железнодорожных тарифов, программу общественных работ, помощь крестьянским хозяйствам семенным зерном и пр.

Кризис по-новому высветил работу и особенности взаимодействия всех уровней государственного управления, от Комитета Министров до крестьянской общины, обнажил многие прежде скрытые недостатки и несовершенства. В книге анализируются действия центральных, губернских и местных органов власти, а также созданных для борьбы с кризисом временных учреждений – таких, как Особый комитет для помощи нуждающимся под председательством цесаревича. По мнению Роббинса, особенно тяжело на работе центральных органов сказалось отсутствие единого кабинета министров, способного формулировать политический курс и следить за его исполнением. Кроме того, связи между центром и провинцией были слабыми, и решения, принятые в министерствах, искажались губернаторами и далее – земскими начальниками. И, наконец, отсутствие государственных или земских учреждений на уровне волости и

деревни чрезвычайно затрудняло распределение помощи нуждающимся. Роббинс не отрицает колоссальной работы земств по борьбе с голодом, однако указывает, что в этот момент земства действовали как государственные, а не общественные организации, они выполняли предписания центральной власти и финансировались ею. В общем и целом, заключает Роббинс, режим доказал свою жизнеспособность и обнаружил серьезные резервы для собственного усиления (автор имеет в виду создание особых временных учреждений, которые внесли серьезный вклад в преодоление кризиса).

Проблема рассматривается Роббинсом в рамках доминировавшей тогда парадигмы о противостоянии власти и общества. Он пишет, что важнейшим уроком, который преподал голод 1891–1892 гг., была необходимость и плодотворность сотрудничества государства и общества, однако этот урок очень быстро был забыт обеими противостоящими сторонами. Роббинс возлагает ответственность за развитие острой конфронтации между «властью» и «общественностью» на консервативную часть бюрократии.

В исследованиях российского чиновничества наблюдается, пожалуй, наиболее заметный разрыв зарубежной исторической науки 1960–1980-х годов с русской дореволюционной традицией, согласно которой бюрократия представляла собой несомненное зло, будучи выразителем интересов дворянства и «инструментом», при помощи которого самодержавие осуществляло свои неблаговидные цели. «Бюрократия» неизменно противопоставлялась «обществу», над которым она стремилась установить свою власть. Деятели Великих реформ рассматривались в этом контексте как счастливое исключение, а в целом же проблема бюрократии не привлекла внимания дореволюционных историков. Сказалось здесь не столько отсутствие разработанной теоретической базы, сколько общественные настроения, резко негативные по отношению к правительству и его аппарату.

Советская историческая наука унаследовала это негативное отношение к правительственному аппарату самодержавной России. Большую роль здесь сыграла также развернутая критика бюрократии, представленная в работах К. Маркса. Первопроходцем в изучении правительственного аппарата царской России был П.А. Зайончковский. Однако, следуя многолетней традиции, историки характеризовали его в целом негативно, исключение делалось лишь для так называемых «либеральных бюрократов».

Рывок, сделанный зарубежной русистикой 1960–80-х годов в изучении государственных институтов и бюрократии дореволюционной России, был связан прежде всего с общим развитием методологии исторической науки на Западе. Теоретические построения Макса Вебера и работы таких социологов, как М. Крозье, дали возможность непредвзято посмотреть на русскую бюрократию как особую социальную группу, выявить общие законы и направление ее эволюции, а также более сбалансированно подойти к изучению ее властных функций в рамках правительственного аппарата. Достижения клиометрии предоставили необходимый инструментарий для исследования социальных параметров российского чиновничества на основе массовых источников, а введение в институциональную историю понятия политической культуры позволило обратиться к изучению идеологического аспекта в функционировании правительственного аппарата и выявить глубинные структуры, лежащие в основе его действий. Однако велика была и роль советской историографии, в первую очередь работ П.А. Зайончковского, Н.Ф. Демидовой, С.М. Троицкого, Л.Е. Шепелева, которые продемонстрировали, с одной стороны, значимость этой темы, а с другой – наличие в архивах большого количества необходимых источников.

При статистическом изучении российской бюрократии западные историки должны были обратиться к выяснению таких вопросов, как характер эволюции этой социальной группы, с одной стороны, и измерение всех ее параметров – с другой. Однако состояние источниковой базы не

позволяло проводить исследования самых широких слоев русского чиновничества – данные, позволяющие выяснить демографические характеристики, слишком фрагментарны и касаются большей частью чиновников высших рангов. Основной массив источников составляют формулярные списки, однако они сохранились далеко не полностью и не содержат полной информации о происхождении чиновника и характере его собственности. Тем не менее, зарубежным русистам многое удалось сделать. Результаты исследований нашли отражение в сборнике об эволюции русского чиновничества и бюрократизации российского общества в XVII–XX вв.[564], который явился итогом двух конференций, прошедших в 1975 и 1976 гг. в Гарвардском и Корнельском университетах.

Историки рассмотрели демографические и социальные параметры больших групп чиновничества на протяжении десяти поколений. В итоге была констатирована устойчивость и стабильность, а также, несмотря на кажущуюся пестроту, относительная однородность бюрократии как особого социального слоя, обслуживающего аппарат управления. Кроме того, были намечены важнейшие вехи в истории чиновничества в России: петровская Табель о рангах, создание министерств в 1802 г., реформы 1860–70-х годов, в результате которых к началу XX в. формируется особая группа современных специалистов-бюрократов, и, наконец, превращение политиков в чиновников в 1920-е годы.

К середине XIX в. историки отмечают колоссальный количественный рост чиновничества, разграничение военной и гражданской службы на высшем уровне, снижение значимости семейных связей и богатства при поступлении на службу и возникновение взамен этого такого объективного критерия, как образование. Было выявлено наличие в России середины XIX в. новой бюрократической элиты, к которой постепенно переходили функции

[564] Russian officialdom from the 17th through the 20th centuries.

политического контроля. Все это означало важный шаг по направлению к безличной, бюрократической системе в веберовском ее понимании.

Наиболее значительный вклад в количественные исследования русского чиновничества как социальной группы внесли исследования У. Пинтнера[565]. Историк проанализировал почти 8 тысяч формулярных списков чиновников начиная с XIV ранга, служивших в центральных и губернских учреждениях в 1755–1855 гг. и констатировал изменения, носившие фундаментальный характер. К середине XIX в. в России сформировалась новая модель профессиональной карьеры чиновничества, вполне сопоставимая с западноевропейской, что было связано, во-первых, с количественным ростом чиновничества, что потребовало установления определенных формальных процедур в управлении, разделения функций и институционального его оформления – создания министерств, разделения их на департаменты и пр. Во-вторых, общее развитие образования и создание системы высших учебных заведений в начале XIX в. стало важнейшим фактором, повлиявшим на систему рекрутирования чиновничьих кадров. По наблюдениям Пинтнера, уже начиная с 1810-х годов предпочтение при приеме на службу стало отдаваться окончившим учебные заведения, и законодательство Николая I лишь отрегулировало и ускорило этот процесс[566]. Пинтнер называет это «революцией» в социализации русского чиновничества. Важным ее последствием стало наметившееся разделение военной и гражданской службы. К этому времени в русском обществе возникает социальный тип «карьерного гражданского чиновника», что было шагом по пути к профессионализации бюрократии.

---

[565] *Pintner W.* The Russian higher civil service on the eve the ‘Great Reforms’ // J. of social history. 1975. N 1. P. 55-68; *idem.* The evolution of civil officialdom, 1755-1855 // Russian officialdom from the 17th through the 20th centuries: The bureaucratization of Russian society / Ed. by Pintner R., Rowney D.K. Chapel Hill, 1980. P. 190–226; *idem.* Civil officialdom and the nobility in the 1850’s // Ibid. P.227-249.

[566] *Idem.* The evolution of civil officialdom, 1755-1855. P.224.

Рассматривая «профиль гражданской службы» 1850-х годов, Пинтнер выделяет три типа карьеры на высшем уровне бюрократии: «придворную элиту», «военную» и «бюрократически-техническую», характерную для младшей возрастной группы. Произошедшая трансформация не вызвала серьезной демократизации гражданской службы – в ней по-прежнему количественно преобладали дворяне. Однако статистический анализ формулярных списков показывает, что к середине века в среде высшего и среднего чиновничества значительно возрастает процент дворян, не владевших земельной собственностью и крепостными, т.е. не имевших независимого дохода. Пинтнер констатирует наличие в России середины XIX в. двух элит – новой бюрократической и традиционной землевладельческой. По его мнению, в этот период происходил процесс изъятия функций политического и социального контроля из рук традиционной землевладельческой элиты и передачи их административному аппарату, параллельно с приучением этого аппарата к принципам бюрократической формальности и функционирования[567].

Статистические исследования правительственного аппарата, при всех ограничениях, позволили представить ясную картину демографических характеристик российской бюрократии, показали автономность этой группы. Социологические данные также подтвердили наблюдения историков о наличии в среде чиновничества двух разных «миров» – в центральной и местной администрации – которые отличались не только по уровню образования и способам продвижения по службе, но и мировоззренчески.

Эти исследования неизбежно поставили вопрос о мировоззрении самих чиновников, об их консервативной или реформистской ориентации. Историки все яснее начинают осознавать, что функционирование государственного аппарата тесно связано с социальной и культурной жизнью

[567] *Idem.* Civil officialdom and the nobility in the 1850's. P.227.

страны, т.е. важен историко-культурный фактор, который не учитывается в статистических исследованиях.

По мере качественного и количественного развития исторической русистики рассмотрение государственных институтов в рамках структурно-функционального подхода начинает выглядеть все менее продуктивным. В своем комментарии к статье австралийского историка Дэвида Кристиана, опубликованной в 1982 г. в журнале “Slavic review” и посвященной системе органов государственного надзора и контроля в России и СССР[568], Джордж Йени указал, на ограниченность изучения администрации с помощью инструментов политической теории[569]. Уже отошедший от своего увлечения «структурами» американский историк предлагает смотреть на бюрократию как «состояние ума» и изучать ее как культурный феномен. Он указывает на креативные возможности изучения политической культуры бюрократии, которые могли бы высветить особенности ее поведения, в особенности в переломные эпохи.

Важность изучения интеллектуального и культурного измерения феномена русской бюрократии была отмечена уже в работах Марка Раева 1950-х годов. В биографии Сперанского он вводит в научный оборот термин «просвещенная бюрократия» и дает характеристику идеологии этой группы. С одной стороны, просвещенная бюрократия как будто осознавала, в каком направлении следует двигаться, с другой – показала неумение выйти из узких организационно-институциональных рамок. Практически все ее попытки что-либо сделать сводились на нет – в результате петровских преобразований она была изолирована от народа, а в пореформенный период достигло апогея отчуждение бюрократии от интеллигенции[570]. В своих работах Раев

---

[568] *Christian D.* The supervisory function in Russian and Soviet history // Slavic rev. 1982. Vol.41, N 1. P.73-90.
[569] *Yaney G.* Bureaucracy as culture: A comment // Slavic rev. 1982. Vol.41, N 1. P.104-111.
[570] *Raeff M.* Michael Speransky. P. 366–367.

традиционно возлагает ответственность за неудачу модернизации России конца XIX – начала XX в. на бюрократию.

Понимая, что вопрос о содержании программ тех или иных реформ тесно связан с особенностями мировоззрения самих реформаторов, историки обратились к изучению биографий чиновников. Вслед за монографией Раева о Сперанском появляются биографии Дмитрия и Николая Милютиных, Победоносцева, Уварова[571]. Коллективную биографию правящей элиты пореформенной России представил Доминик Ливен[572], в которой дан социальный профиль 215 членов Государственного Совета 1894–1914 гг., с особым вниманием к образованию. Даны и яркие портреты высших чиновников – А.Н. Куломзина, П.Н. Дурново, братьев Оболенских, характеризующие не только их общественно-политические взгляды, но и внутренний мир. Нашел свое отражение в книге и сравнительный подход: автор постоянно сравнивает правящую элиту России с европейскими образцами.

В американской историографии в этот период получили развитие исследования так называемых чиновников «нового типа», возникновение которых в 1840–50-е годы было зафиксировано статистически. Эта группа высокообразованных прогрессивных чиновников добилась серьезного влияния в царствование Александра II и сыграла решающую роль в подготовке Великих реформ.

Большой вклад в изучение их мировоззрения внесли исследования Брюса Линкольна. Биография Николая Милютина, написанная под руководством П.А. Зайончковского,[573] явилась для Линкольна первым подступом к изучению интересного явления в истории России – подъема и

---

[571] *Byrnes R F.* Pobedonostsev, his life and thought; *Lincoln B.W.* Nicholas Miliutin; *Miller F.A.* Dmitrii Miliutin and the reform era in Russia. Nashville, 1968; *Whittaker C.* The origins of modern Russian education: An intellectual biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855. DeKalb, 1985.

[572] *Lieven D.* Russia's rulers under the Old Regime.

[573] *Lincoln B.W.* Nicholas Miliutin.

падения «уникального типа чиновничества» – просвещенной бюрократии. Вслед за своим американским наставником Марком Раевым Линкольн использует этот термин, не объясняя его, а скорее противопоставляя принятому уже к тому времени в советской историографии термину «либеральная бюрократия». Автор не считает Николая Милютина либералом, и рисует портрет бюрократа-профессионала. В 1982 г. вышла его книга «В авангарде реформы. Русская просвещенная бюрократия, 1825–1861»[574], ставшая заметным явлением в западной историографии. Задаваясь вопросом, как в такой короткий срок было создано сложнейшее законодательство Великих реформ, причем создано русской бюрократией, которую современники «заклеймили как неповоротливую, неспособную к деятельности и продажную», автор обращается к николаевскому царствованию.

В среде столичного чиновничества (в Министерствах внутренних дел, юстиции и государственных имуществ) он выявляет группу чиновников «нового типа», высокообразованных и прогрессивных, которые добились затем серьезного влияния в царствование Александра II и сыграли решающую роль в подготовке Великих реформ («под предводительством Милютина, Зарудного и Заблоцкого-Десятовского»). Линкольн считает, что просвещенная бюрократия в России была явлением уникальным, исторически преходящим: эта группа сформировалась в 1840-е гг., реализовала свою программу в 1860-е и фактически сошла со сцены к моменту убийства Александра II. Линкольн выделяет несколько центров, в которых происходила консолидация прогрессивной бюрократии – петербургские и московские кружки, Русское географическое общество, кружок «константиновцев», группировавшихся в Морском министерстве вокруг великого князя Константина Николаевича, салон великой княгини Елены Павловны.

[574] *Idem.* In the vanguard of reforms.

Представляется все же, что традиционное членение русского образованного общества на интеллигенцию и бюрократию не совсем правомерно для периода 1840–1850-х годов. Данные самого автора о том, насколько тесно переплетались служебные, литературные и научные занятия его героев, противоречат его собственному выводу о том, что прогрессивные чиновники благодаря совместной работе и общению с интеллигенцией объединились в «просвещенную бюрократию»[575].

Как пишет Линкольн, членов этой группы характеризовали реформаторские устремления, вера в прогресс, преданность идее «законности», неприятие присущих николаевской системе формализма и централизации, отстаивание гласности в управлении. Интересы государства просвещенная бюрократия ставила выше интересов любой отдельной группы или класса. Находясь под влиянием западноевропейского идеализма, эти чиновники тем не менее в первую очередь были прагматиками и реалистами. Линкольн показывает, что уже в годы николаевского царствования «просвещенные бюрократы» обрели серьезный опыт реформаторской деятельности (Городовое положение 1846 г., реформы в Морском министерстве), собрали колоссальный объем статистических данных, подготовив «информационную базу» для предстоящих преобразований.

И хотя в конечном счете оценки Линкольна не выходили за рамки бытовавших в зарубежной русистике представлений об ответственности русской бюрократии за гибель старого режима, его исследования во многом оказались новаторскими. Они внесли в «многофакторную» картину причин и предпосылок Великих реформ еще один фактор: появление кадров

---

[575] Теренс Эммонс говорит о том, что перед отменой крепостного права сомнительно «само существование бюрократической элиты, социально и интеллектуально отличной от образованной элиты в целом» (*Emmons T.* The Russian landed gentry… P. 419).

реформаторов, сформировавшихся в годы николаевского царствования. Это фактор историки признали одним из важнейших[576].

Изучению чиновников «нового типа» была посвящена и яркая монография Ричарда Уортмана о становлении правосознания в России и судебной реформе 1864 г.[577]. Автор описывает «юридически-этический» тип чиновника, принявшего участие в подготовке и проведении судебной реформы. Это были сравнительно молодые, принадлежавшие к элите столичной бюрократии люди, получившие образование в Училище правоведения, Царскосельском лицее и в университетах. К 1850-м гг. юристы заняли стратегические посты в правительственном аппарате, позволявшие им составлять проекты реформ, а покровительство некоторых членов императорской фамилии помогало им продвигать свои проекты через бюрократические лабиринты. Связанные узами личной дружбы и годами совместной учебы и службы, движимые как благородными идеалами, так и честолюбием, эти люди ощущали свою принадлежность к группе избранных, призванных осуществить некую миссию во имя торжества законности и правопорядка в России[578].

Как пишет Уортман, этос реформаторов вырабатывался интеллектуальными течениями, сформировавшими общекультурные особенности поколения 1840-х годов. Для них была характерна безграничная вера в благотворное влияние законности и права на общество. В результате среди чиновничества возникло совершенно новое для русского самодержавия отношение к закону, и зародился новый тип политической культуры. Понятие «законность» противопоставлялось понятию «произвол», отражавшему традиционную психологию и практику русского самодержавия и старой бюрократии.

---

[576] См., например: *Эммонс Т.* «Революция сверху» в России: Размышления о книге Н. Эйдельмана и о другом // Россия в XIX столетии. М., 1996.
[577] *Wortman R.* The development of Russian legal consciousness.
[578] *Ibid.* P. 208-218.

Однако, как считает Уортман, в итоге внутри чиновничества возникло два противоположных и даже враждебных друг другу «интеллектуальных универсума» – мир традиционной бюрократии и мир юристов, который не вписывался в русскую государственную систему. Уортман рассматривает сформировавшуюся из чиновников-правоведов группу юристов-профессионалов как враждебную самим основам самодержавия (недаром большинство видных членов кадетской партии были юристами по образованию). Возникший в пореформенный период конфликт между самодержавным правительством и новой системой правосудия значительно способствовал обострению внутренних противоречий в России. Его связали с различиями в политической культуре, в которой, как утверждали некоторые авторы, сосуществовали две противоположных концепции управления – полицейского государства (Polizeistaat), наиболее ярким примером которого являлась Пруссия, и правового, Rechtsstaat. Во второй половине XIX в. возникает серьезный политический конфликт между представителями бюрократии, преданными старым принципам полицейского государства и личного правления самодержца, и сторонниками новых принципов управления посредством институтов и законов. Конфликт двух типов политической культуры – традиционного и современного, между консерваторами и реформаторами, традиционалистами и модернизаторами, носителями «полицейского» или же «западнического» менталитета становится одной из ведущих тем западной историографии дореволюционной России. Он вносил свою лепту в объяснение причин кризиса и краха царского режима.

Эта проблема с самого начала была дискуссионной. Против жесткой дихотомии неоднократно выступал А. Рибер, считая, что необходимо отказаться от традиционных для исторической литературы идеологических ярлыков при изучении русской политической истории. Он полагает, что термины «либеральный», «буржуазный», «реакционный», «консервативный»

заимствованы из западноевропейского опыта и неприменимы для описания политической жизни России. В этой системе координат принято расценивать бюрократическую централизацию как признак реакционности, и тогда Дмитрия и Николая Милютиных нужно причислить к сторонникам консервативного лагеря, а ратовавший за свободу прессы Катков попадает в лагерь либералов, писал Рибер[579].

Теодор Тарановский, напротив, был согласен с идеей противостояния, но считал, что оно было по своей сути идеологическим. Вслед за своим учителем П.А. Зайончковским он называл реформаторов «либеральными бюрократами» и характеризовал их идеологию как «вариант скорее центральноевропейского, нежели западноевропейского, либерализма XIX в.»[580]. Тарановский подчеркивает, что бюрократы-реформаторы не сошли окончательно со сцены и занимали высокие посты в Сенате, Государственном совете и министерствах. Именно поэтому, считает он, вторая половина XIX в. отмечена серьезной борьбой внутри бюрократии по вопросам внутренней политики.

Более взвешенно подошел к проблеме Джекоб Кипп, подробно рассмотревший эволюцию воззрений М.Х. Рейтерна, признанного специалиста по экономическим вопросам в кружке молодых чиновников-«константиновцев» [581]. Он показал формирование в 1850–1860-е годы особого типа бюрократического либерализма, который представлял собой причудливое смешение преданности идеалам «свободы» и «открытого общества» с подчиненностью потребностям политики (Realpolitik), направленной на национальное возрождение и усиление государственной власти. Важным компонентом программы Рейтерна стало новое определение государственного могущества: он считал, что развитие промышленности,

---

[579] *Рибер А.* Групповые интересы… С. 69.
[580] *Тарановски* Т. Судебная реформа и развитие политической культуры… С.311.
[581] *Kipp J.W.* M.Kh.Reutern on the Russian state and economy: A liberal bureaucrat during the Crimean era, 1854–60 // J. of mod. history. Chicago, 1975. Vol.47, N 3. P.437–459.

рост капитала и общий экономический прогресс представляются более фундаментальными показателями статуса России как великой державы, нежели размер ее армии или громадность территории, как считалось раньше. Это новое определение национальных приоритетов, понимание ведущей роли государства в экономической модернизации, считает Кипп, явились поворотным пунктом в экономической политике самодержавной России.

Обрисованный Киппом бюрократический вариант либерализма характеризовался приматом государственного и национального интереса над общественным, это был «синтез либеральной доктрины с raison d'etat». Однако представленный автором материал грешит модернизированием не только в терминологии – автор приписывает своему герою преданность идеалам «открытого общества», что далеко не бесспорно. Остаются почти без внимания воззрения Рейтерна по вопросам о сословности, привилегиях, о праве и законности как гарантиях индивидуальной свободы. Без рассмотрения этих аспектов идеологии чиновника нельзя достоверно судить о ее либеральной или консервативной доминанте. Скорее, в данном случае можно говорить лишь об «экономическом либерализме» группы бюрократов-реформаторов. Именно «экономический либерализм» передовых чиновников эпохи реформ позволил западным историкам-русистам рассматривать бюрократию как наиболее значительную прогрессивную силу в переходе к новому динамичному буржуазному строю XIX в., как двигатель и катализатор широких социальных и экономических процессов модернизации.

В то же время в зарубежной историографии был поставлен вопрос о профессионализме российского чиновничества. А. Рибер неоднократно отмечал этатизм и приверженность научному знанию, особенно характерные для служащих «технических» министерств, подчеркивая таким образом формирующийся профессионализм российской бюрократии[582].

---

[582] *Rieber A.* Bureaucratic politics of imperial Russia// Social science history. 1978. Vol. 2, N 4. P. 399-413; *Idem.* Interest-group politics in the era of the Great reforms // Russia's Great

В зарубежной русистике изучение профессий как элемента, сближающего Россию с Западом, развивалось в 1980–1990-е годы в рамках вопроса о судьбах русского либерализма. В центре внимания находился пореформенный период, когда в империи, как и в Западной Европе, происходило формирование профессий – «свободных», в англосаксонской традиции, к которым относили врачей и юристов, и более тесно связанных с государством – учителей, инженеров, агрономов и др.[583] Как известно, определяющим для профессионального сообщества являются такие характеристики, как наличие специального знания, квалификация, основанная на серьезной подготовке (образовании), наличие общих ценностей, саморегуляция, наконец, этика служения общему благу. Основываясь на этих критериях, Д. Орловский пришел к заключению, что министерская бюрократия накануне революции, особенно высший ее слой, безусловно может считаться профессиональной[584]. Тенденция к профессионализации была зафиксирована и Р. Роббинсом в отношении губернаторского корпуса, хотя здесь она была куда менее выражена[585].

В данном случае он лишь подтвердил выводы своей книги о русских губернаторах рубежа веков, вышедшей в 1987 г.[586]. Автор представил в ней галерею портретов русских губернаторов пореформенной эпохи «в свете ординарных событий», избегая описания «крупных кризисов или

---

reforms, 1855-1881 / Ed. by B. Eklof, J. Bushnell, L. Zakharova. Bloomington: Indiana univ. press, 1994. P. 58-83; *Idem.* Patronage and professionalism: The Witte system // Проблемы всемирной истории: Сб. статей в честь Александра Александровича Фурсенко. СПб., 2000. С. 286-298.

[583] Russia's missing middle class. The professions in Russian history / Ed. by H. D. Balzer. N.Y., 1996.

[584] *Orlovsky D.* Professionalism in the ministerial bureaucracy on the eve of the February revolution of 1917 // Russia's missing middle class. The professions in Russian history / Ed. by H. D. Balzer. N.Y.: M.E.Sharpe, 1996. P. 267-292.

[585] *Robbins R.G.* The limits of professionalization: Russian governors at the beginning of the twentieth century // Russia's missing middle class. The professions in Russian history / Ed. by H. D. Balzer. N.Y.: M.E.Sharpe, 1996. P. 251-266.

[586] *Idem.* The Tsar's viceroys.

реформаторских усилий»[587]. Книга подробно освещает не только «повседневную рутину», но и такие аспекты деятельности губернаторов, как их посредническая роль между центральной и местной бюрократией; функционирование местной административной машины; отношения губернаторов со своими подчиненными и учреждениями, не находящимися под их прямым контролем; средства и способы обеспечения порядка в губернии. Роббинс стремился дать портреты «царских наместников» в широком контексте и многосторонне, рассматривая их как бюрократов, как социальных индивидов и как символы старого режима. С этой точки зрения работа Роббинса представляется новаторской для административной истории, демонстрируя плодотворность социально-культурного подхода.

Роббинс отдал дань и клиометрии, публикуя данные об образовании и моделях карьеры 53-х губернаторов, и «культурной истории», рассматривая символические проявления их властных полномочий. В то же время, по словам автора, он старался сохранить равновесие между историческим повествованием и «моделями» и «структурами», которые, однако, ни в коей мере не перевешивают в книге нарратив. В изображении Роббинса русские губернаторы пореформенной эпохи предстают как группа администраторов, «до предела загруженных решением огромного количества проблем в период быстрых социальных и ценностных изменений». Автор показывает сложность и противоречивость занимаемого «начальником губернии» положения. С одной стороны, по закону он являлся личным представителем самодержца. С другой, с начала XIX в. он – представитель МВД в губернии, что становится причиной постоянных разногласий с местными чиновниками из других министерств. А в пореформенную эпоху губернатор оказывается в конфронтации с органами местного самоуправления.

В условиях недостаточности бюрократических структур на местном уровне в компетенции губернаторов оставалось решение множества

[587] Ibid. P. 10.

крупных и мелких текущих вопросов, и управление губернией продолжало носить личный и харизматический характер. На рубеже веков губернаторы сохраняли свой статус «царских наместников» и не стали частью министерской бюрократической системы. Их особый статус отражал двойственную позицию самодержавия, которое рассматривало министерства как инструмент административного контроля и более эффективного управления империей и одновременно стремилось сохранить практику личного правления[588]. Книга Роббинса – удачная попытка показать, как же на практике происходило управление империей. К сожалению, эта линия исследований почти замерла, однако интерес к истории российской бюрократии был подхвачен отечественными специалистами. Зарубежные россиеведы обращаются к ней спорадически. В исследованиях такого рода в центре внимания находится уже не участие бюрократии в реформах, а проблема преемственности в том, что касается персонала и практик управления, между дореволюционной и царской Россией[589].

[588] Ibid. P. 13.

[589] См., в частности: *Holquist P.* «In accord with state interests and the people's wishes»: The technocratic ideology of imperial Russia's Resettlement administration // Slavic review. 2010. Vol. 69, N 1. P. 151-179.

4.2. Великие реформы[590]

Для зарубежной, и прежде всего американской, исторической русистики 1960–80-х годов Великие реформы имели центральное значение. Эта историография, в отличие от историографии Русской революции, была ближе всего к «идеалу» профессиональной истории, т.е. в первую очередь наименее политизированной. Тем не менее, в ее основе лежали базовые представления об историческом процессе в целом и об истории России в частности, включавшие в себя нормативность «западных» категорий свободы и демократии. Они дополнялись целым рядом таких тропов, как участие общества в управлении государством, средний класс как опора либерализма, наконец, рыночные отношения как фундамент развития. Историография российских реформ развивалась преимущественно в США, и действительно была очень американской в том, что касается системы ценностей. Она изменялась по мере развития исследований, нарабатывавших профессионализм, а также откликалась на перемены в общем политическом климате.

Подъем в США интереса к изучению реформ в самодержавной России произошел к началу 1960-х годов, когда в исторической науке прочно утверждается теория модернизации, в рамках которой и начинают рассматривать историческое развитие России императорского периода. В

[590] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В*. Отмена крепостного права в России. Англоязычная историография 1960-1990-х гг. (Обзор) // РЖ. История. М., 1999. № 4. С.1-21; *Большакова О.В.* П.А.Зайончковский и его американские ученики; *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.; *Большакова О.В.* П.А.Зайончковский и американская русистика 1960-80-х гг.; *Большакова О.В.* Между двумя юбилеями: англоязычная историография отмены крепостного права // Российская история. М., 2011. № 4. С.14-26; *Большакова О.В.* «Соединенными усилиями»: изучение отмены крепостного права в СССР и США // Вестник Московского университета. Серия 8. История. М., 2012. № 2. С.59-67; *Большакова О.В.* Экономические предпосылки и последствия крестьянской реформы 1861 года: Новые интерпретации зарубежных историков // Вестник Смоленского ун-та. Смоленск, 2011. № 3(15). С.186-194.

контексте модернизации проблема реформ в России обретает особую важность, при этом Великие реформы трактуются как поворотный пункт в процессе перехода от традиционного к индустриальному обществу.

В 1960–1970-е годы в зарубежной, преимущественно американской, историографии складывается «обновленная» концепция Великих реформ, либеральная по своей сути. В основе реформ подавляющее большинство исследователей видит стремление самодержавия приспособить традиционные институты империи к кардинально меняющемуся обществу, сохранить статус России как великой державы и удержаться на должном уровне в мировой экономической и политической системе.

Если «старшее» поколение историков было склонно рассматривать Великие реформы сквозь призму революции 1917 г., т.е. с точки зрения их «неудачных» результатов, то «среднее» поколение стремится выявить их истоки. В такой перспективе иначе оцениваются результаты реформ, и сами они приобретают решающее значение в политической истории России. В свете теории модернизации эпоха Великих реформ рассматривается как начало процесса политической и социальной трансформации России, как важнейший шаг на пути к превращению в современное общество. Соответственно трактуются и конечные их цели: политическая модернизация, т.е. либерально-конституционный путь, с постепенным введением представительного правления, и экономическая модернизация – развитие института частной собственности и создание рыночной экономики, что в итоге должно привести к построению современного открытого общества.

Приверженность к данной достаточно жесткой схеме обусловливает конечные цели основной массы трудов: выяснить, в какой степени та или иная реформа способствовала достижению определенных эталонных «показателей» современного общества. В соответствии с преобладавшим в период 1960–80-х годов социальным подходом интерес исследователей

фокусировался на таких показателях, как развитие социальной мобильности крестьянства, что являлось необходимой предпосылкой для создания капиталистической промышленности, или, например, разрушение сословного строя и формирование группы «профессионалов», которые должны составить «средний класс» – основной двигатель политической модернизации. Так или иначе, историки стремились оценить возможности и перспективы самодержавной России в построении конституционного строя и правового государства.

Представления зарубежных историков о факторах, целях, программах и реализации реформ значительно отличались от советской схемы. Признавая вслед за дореволюционной либеральной историографией, что отмена крепостного права, этого «краеугольного камня государственного устройства», требовала изменения и других институтов (армии, системы правосудия, административного устройства), которые просто не могли функционировать на старой основе, историки-русисты принимали в расчет и иные соображения. В их представлении взаимосвязанность реформ во многом была обусловлена той «идеологией», которая объединяет крупные преобразования «в одну эпоху и в одну систему»[591]. В качестве доказательства приводятся военные и церковные реформы, в основе которых лежали общие для 1860-х годов либеральные принципы.

Трактовка причин отмены крепостного права вырабатывалась в совместном противостоянии исследователей официальной советской точке зрения.

Первые наиболее серьезные исследования отмены крепостного права были предприняты П.А. Зайончковским в 1950-е годы. В них был представлен широкий, «многофакторный», подход к реформам 1860–70-х годов, причем основное внимание уделялось внутренней политике

[591] *Эммонс Т.* «Революция сверху» в России. С.383.

правительства и государственному аппарату[592]. Однако статус «официальной» имела другая линия исследований. Она была связана с организацией в начале 1958 г. Группы по изучению революционной ситуации 1859–1861 гг. под руководством академика М.В. Нечкиной, созданной в Институте истории по решению Отделения исторических наук АН СССР. Группа основывалась на ленинской концепции революционной ситуации, согласно которой следует учитывать три ее объективных признака: кризис «верхов», обострение нужды и бедствий угнетенных классов, не желающих жить по-старому, и, наконец, повышение активности масс. Все эти признаки обнаруживались в России рубежа 1850–60-х годов, а тот факт, что революции так и не произошло, объяснялся вслед за Лениным отсутствием достаточно сильного революционного класса. Центральным событием признавалась отмена крепостного права, за которой последовали другие реформы. Согласно концепции Нечкиной, историки должны были опираться в своих исследованиях на формулировку Ленина, который назвал крестьянскую реформу «побочным продуктом» революционной борьбы и указал, что она была «вырвана» у правительства в результате подъема демократического движения и натиска народных масс

В написанных в 1960–1970-е годы историографических статьях Ч. Адлера, Д. Филда и Д. Байрау[593] работы П.А. Зайончковского и его советских учеников противопоставлялись «продукции школы Нечкиной».

---

[592] Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1954 (2-е изд. – М., 1960; 3-е изд. – М., 1968); *его же*. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 года. М., 1958.

[593] *Adler Ch.* The ‘revolutionary situation 1859-1861’: The uses of historical conception // Canadian Slavic studies. Montreal, 1969. Vol. 3. № 2; *Field D.* Reforms of 1860s; *Байрау Д.* Аграрная структура и крестьянский протест: к условиям освобождения русских крестьян в 1861 году// Новейшие подходы к изучению истории России и СССР в современной западноевропейской историографии. Ярославль, 1997. С. 3-51 (русский перевод статьи 1977 года: *Beyrau D.* Agrarstructur und Bauernprotest: Zu den Bedingungen der russischen Bauernbefreiung von 1861 // Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftgeschichte. 1977. Bd 64, H.2. S.179-236); *Kimball A.* Revolutionary situation in Russia (1859-1862) // Modern Encyclopedia of Russian and Soviet history. Vol.31. Gulf Breeze, 1983. P.54-57).

Концепция революционной ситуации признавалась этими авторами «неработающей», уводившей историков в сторону «нагромождения огромного количества материала», призванного подтвердить, но не подтверждающего исходный теоретический постулат[594]. Можно согласиться с выводом Дитриха Байрау, считавшего, что концепция революционной ситуации не получила убедительного подтверждения в конкретно-исторических исследованиях. Высокую оценку западных историков получило и данное П.А. Зайончковским «сбалансированное описание взаимосвязанных причин крестьянской реформы», которое подвергла острой критике М.В. Нечкина[595].

Пожалуй, квинтэссенция критики официальной концепции революционной ситуации 1859–1861 гг. содержится в докладе Т. Эммонса, прочитанном на Втором совещании американских и советских историков в августе 1975 г. в Стэнфордском университете[596]. С основным докладом выступал И.Д. Ковальченко, в котором представил практически дословно концепцию крестьянской реформы «по Нечкиной». Как отмечает Эммонс, было видно, что содержание доклада заранее обсуждено и одобрено в инстанциях[597].

К этому времени вышло уже много интересных исследований и в США, и в СССР, освещающих роль просвещенной бюрократии в подготовке крестьянской реформы, и с таким «тылом», вспоминает Эммонс, он «открыл огонь по всем фронтам». В своем официальном возражении Эммонс подчеркивал, что вопрос о системном кризисе крепостничества остается открытым, однако центральное значение для него имеет критика положения

---

[594] *Байрау Д.* Ук. соч. С. 6-7.
[595] Там же. С. 6.
[596] *Emmons T.* Critique of the paper by I.D. Koval'chenko (Moscow University) «Антикрепостническое движение в России до 1861 года». Рукопись доклада любезно передана Т.Эммонсом автору диссертации.
[597] *Эммонс Т.* Предисловие // Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. С. 35.

о крестьянских волнениях, число которых якобы значительно выросло в царствование Николая I и продолжало расти. Количественный скачок Эммонс связывает с ростом бюрократии в МВД и деятельностью Третьего отделения. В их обязанности входило «держать руку на пульсе» общества, в том числе фиксировать волнения среди крестьян, и свою работу чиновники делали со все возрастающим рвением. Он также указывает на отсутствие приемлемого метода статистического исследования правительственных документов по крестьянским волнениям, что признают и сами советские историки – Яцунский, Литвак, Зайончковский. И все же главный вывод Эммонса лежит в другой плоскости. Рост беспорядков он относит не за счет ухудшения материальных условий жизни крестьянства, а связывает его с активизацией государственного вмешательства в жизнь деревни. Причинная связь между подготовкой реформы и уровнем активности крестьян прямо противоположна той, которая принята в официальной советской версии, пишет он. Именно реформаторские действия правительства (и помещиков, пытавшихся как-то изменить статус-кво перед объявленной реформой) спровоцировали и активизацию крестьянства, и дворянские протесты 1860–1861 гг. [598].

Опровергая тезис о реформе как побочном продукте революционной борьбы, Эммонс указывает, что крестьянское движение не могло повлиять на правительственную программу. Проведенные исследования подготовки реформы показали, что чиновники в МВД изначально, с 1856 г., имели в виду освобождение крестьян с землей, однако обнародовано это было только в 1858 г. Да и само крестьянское движение первой половины XIX в. едва ли представляло серьезную опасность для существующего строя, полагает Эммонс, отсылая слушателей к работам Б.Г. Литвака. Этот факт имел значение угрозы, а не реальной опасности. Однако, заключает он, это был лишь один фактор из многих, включая тот, что обычно называют «уроками

[598] *Emmons T.* Critique of the paper by I.D.Koval'chenko. C.8.

Крымской войны»: идеи о несовместимости крепостничества с требованиями мобильной современной армии, финансовый кризис и тревога относительно доходов казны от аграрного сектора[599].

Боязнь крестьянского бунта и стремление к сохранению социальной стабильности в стране – один из факторов, учитывающихся в зарубежных работах по крестьянской реформе. Многие авторы приводят знаменитую фразу Александра II о том, что нужно освободить крестьян сверху, пока это не произошло снизу, однако значение крестьянского движения как фактора реформы не признается серьезным. Во-первых, считается, что масштабы крестьянского движения были преувеличены. Во-вторых, изучение крестьянской ментальности и форм коллективного протеста в России XIX в. показало, что это явление само по себе гораздо разнообразнее и сложнее, чем представлялось ранее, и никак не может быть отнесено к формам классовой борьбы, направленной на изменение существующего строя[600].

Одним из первых эту проблему начал активно обсуждать Д. Филд. В частности, в своей рецензии на книгу «Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 гг.: Сборник документов /Под ред. Окуня С.Б., Сивкова К.В.» (М., 1963) он дал характеристику всей современной советской литературы по этой теме. Он отметил, что советские исторические труды и учебники являются «народническими в своей симпатии к крестьянам, марксистскими при рассмотрении политических недостатков крестьянства и бюрократическими по своим формам анализа и подачи материала»[601]. Более того, доклады полицейских чиновников и советские публикации имеют одну ту же тенденцию к преувеличению, когда пассивное сопротивление описывается как «беспорядки», беспорядки – как «мятежи» и т.д. Большие

---

[599] Там же. С.11-12.

[600] См. *Байрау Д.* Аграрная структура и крестьянский протест…; *Field D.* Rebels in the name of the tsar. Boston, 1969; *Wildman A.K.* The defining moment: Land charters and the post-emancipation agrarian settlement in Russia, 1861-1863. Pittsburgh, 1996.

[601] *Field D.* [Recensio]. // Kritika. 1967. Vol.III, N 3. P.36.

сомнения вызывает у него и систематизация крестьянских выступлений: «если Федя бросил кирпич в помещика, а помещик отправил его в полицию, чтобы его там выпороли, Федя имеет все шансы быть увековеченным в «Хронике крестьянского движения», помещенной в рецензируемой книге»[602]. В этом пункте Филд полностью сходился со своим учителем Зайончковским, однако пошел дальше, разработав собственную концепцию крестьянского протеста, которая вошла в анналы зарубежного крестьяноведения[603]. Он исследовал различные формы крестьянского сопротивления, особое внимание уделив мифологии: крестьянскому мифу о царе-батюшке и дворянскому мифу о крестьянине.

Внимание к идеологии при изучении предпосылок, причин, или факторов Великих реформ выдвигает на первый план мотивы реформаторов. В оценках мотивации крестьянской реформы зарубежные русисты придавали большее значение не реальному положению дел, а «настроениям» в правительстве и боязни крестьянского бунта в среде дворянства, где еще свежи были воспоминания о пугачевщине[604].

Признавая, в соответствии с теорией модернизации, значение «внешнего фактора»[605], историки склонны говорить о «крымской катастрофе» как о побудительном толчке, как об импульсе, который заставил общество, государство и самого императора осознать «отсталость» и бессилие России перед лицом европейских держав и понять необходимость перемен. Связь

---

[602] Ibid. P. 41.

[603] *Field D.* Rebels in the name of the tsar. Большую часть книги составляют документы, представляющие собой летопись событий в с. Бездна Казанской губернии в апреле 1861 г. и Чигиринское дело. Комментируя их и постепенно реконструируя картину произошедшего, Филд приглашает нас в «мастерскую» историка и предлагает «мастер-класс» по анализу источников. Тем не менее, значительное место в его творчестве занимали и проблемы экономической истории России, в особенности в контексте предпосылок крестьянской реформы. Немало страниц посвятил он разбору трудов И.Д. Ковальченко, а затем и сам обратился к изучению количественных данных.

[604] *Skerpan A.* The Russian national economy and emancipation // Essays in Russian history / Ed. by Ferguson A., Levin A. Hamden, 1964. P. 164.

[605] Такой подход был представлен уже у Милюкова, который рассматривал Россию как неотъемлемую, хотя и «отсталую» часть европейского мира.

крупных преобразований с военными неудачами страны прослеживается многими историками-русистами и стала общим местом.

Под влиянием «уроков» Крымской войны отсталость России воспринималась современниками в первую очередь как отсталость военная, а поскольку первопричиной отсталости единодушно признавалось крепостное право, то его существование расценивалось как угроза военной мощи государства. В русле этих представлений родилась концепция А. Рибера, который отводил ведущую роль внешнеполитическим аспектам в политике Александра II. Основываясь главным образом на особенностях характера императора, «удельном весе русских военных традиций, уроках войны и советах высших военных советников», историк высказал мнение, что именно осознание необходимости военной реформы послужило толчком для принятия решения об освобождении крестьян. Решив освободить крестьян, Александр стремился, как пишет Рибер, к созданию современной армии и предотвращению новой угрозы со стороны Европы, способной сокрушить Россию и отбросить ее назад в Азию. С этой задачей связаны и остальные реформы, которые предпринимались в тех же целях – сделать Россию великой державой[606].

В выявлении факторов отмены крепостного права большое значение придается «моральным причинам» – распространению гуманистических и либеральных идей среди образованных людей России. Как указывает Д. Филд, разрыв между «воспитанием» и «нравами» русского дворянства, его «вестернизация», когда у сановников были «ноги в России, а голова – в Западной Европе», явились существенным мотивом отмены крепостного права[607].

«Объективные» экономические предпосылки освобождения крестьян, считавшиеся в советской историографии определяющими, американские

[606] *Rieber A.* Alexander II: A revisionist view // J. of modern history. Chicago, 1971. Vol.43, N 1. P.45-47.
[607] *Field D.* The end of serfdom. P.5.

историки несомненно учитывали, но придавали большое значение также экономическим мотивам и программам самих реформаторов.

Присущий историографии 1960–1970-х годов экономический детерминизм определял взгляды историков по обе стороны «железного занавеса». Для западных исследователей авторитетной была концепция А. Гершенкрона. Считая, что отмена крепостного права была продиктована военной необходимостью и имела своей целью «догнать» экономически развитые европейские страны, Гершенкрон подчеркивал недостатки Положений 19 февраля: сохранение и укрепление общины, урезание наделов и введение тяжелых выкупных платежей. Все это, во-первых, ограничивало мобильность крестьянства и соответственно формирование рынка рабочей силы и, во-вторых, негативно влияло на покупательную способность крестьян и соответственно на развитие рынка для промышленности. Тем не менее, считал Гершенкрон, реформа все же явилась главной предпосылкой последующего промышленного роста[608]. Далеко не все зарубежные историки разделяли такую оценку крестьянской реформы, указывая на сохранение в ней социально-экономических пережитков крепостничества.

В то же время существенную роль для западных историков играл основополагающий тезис официальной советской историографии о «кризисе крепостнической системы хозяйствования», который они всячески старались опровергнуть. Изучая вопрос об экономических предпосылках отмены крепостного права, исследователи пришли к выводу, что невозможно однозначно подтвердить наличие аграрно-капиталистических тенденций в сельскохозяйственном секторе в России перед Крымской войной, так же как и наличие кризиса в крепостнической экономике[609]. Например, проведенное специалистами по «новой экономической истории» математическое исследование не подтвердило падения доходности помещичьих хозяйств в

[608] *Gershenkron A.* Agrarian policies and industrialization: Russia, 1861-1917 // Cambridge economic history of Europe. Vol.6, pt 2. Cambridge, 1965. P.706-800.
[609] *Байрау Д.* Ук. соч.

1840–1850-е годы. Кроме того, они доказали, что широко распространенное в эпоху подготовки реформы мнение о меньшей прибыльности подневольного труда по сравнению со свободным не имело под собой серьезной реальной основы и может приниматься в расчет лишь как один из мотивов реформы[610].

Критикуя официальную советскую концепцию крестьянской реформы, западные историки подчеркивали разнородность и разноречивость экономических данных, которые не дают возможности с уверенностью подтвердить или опровергнуть идею о структурном кризисе. В целом они сходились во мнении, что крепостная система хозяйствования накануне реформы была вполне жизнеспособной и отнюдь не являлась первопричиной отсталости экономики. Признавая отсталость российской экономики по сравнению с западноевропейскими странами, большинство при этом придерживалось мнения П.Б. Струве о «цветущем положении» крепостного хозяйства накануне реформы, что резко отличалось от советских трактовок[611]. Британские историки, изучавшие проблемы макроэкономики, пришли к заключению, что народное хозяйство России накануне реформ развивалось поступательно. В русле этого подхода лежит и вывод П. Готрелла о том, что Великие реформы «именно совпали с периодом ускорения экономического роста, а не положили ему начало»[612]. Западные спеицалисты единодушно признавали, что ликвидация крепостного права явилась результатом правительственного указа, а не внутреннего разложения самого института, при этом государство вторглось в экономику в интересах повышения национального благосостояния и обеспечения национальной безопасности.

---

[610] *Domar E.D., Machina M.J.* On the profitability of Russian serfdom // J. of economic history. 1984. N 4. P. 919-955.

[611] *Струве П.Б.* Экономическая история России. Париж, 1952. См. также главу, написанную Струве в Cambridge economic history.

[612] *Готрелл П.* Значение Великих реформ в истории экономики России // Великие реформы в России. 1856-1874. М., 1992. С.124; *Gatrell P.* The tsarist economy 1850-1917.

Особое значение при изучении Великих реформ придавалось силам модернизации, т.е. роли реформаторски настроенной бюрократии и самого императора. Американские историки изучали особенности подготовки и проведения Великих реформ, обусловленные не только характером мировоззрения их создателей, но и структурой существующих институтов и властных отношений. Признавалась и роль «личного фактора».

Важнейшей предпосылкой Великих реформ считается формирование «кадров реформаторов» – группы просвещенной бюрократии, сформировавшейся из образованных молодых чиновников в царствование Николая I[613]. Не менее важную роль, по мнению ряда историков, играл Александр II, осознавший их государственную необходимость. И хотя они отмечают «недостаток характера», слабоволие и «раздвоенность» царя, его склонность к сомнениям и колебаниям, считается, что именно эти черты его личности оказались полезны и позволили ему уловить «настроения» и требования эпохи. Как указывается в работе Н. Перейры, Александр II, будучи безусловным консерватором, уверенным в незыблемости существования самодержавия, был вынужден пойти на реформу в условиях государственного кризиса. Непоследовательный характер реформ автор объясняет попытками нерешительного императора удовлетворить обе заинтересованные стороны – и дворянство (чтобы избежать «дворянской фронды»), и крестьянство (из-за боязни «крестьянской жакерии»)[614]. Однако в биографических работах Перейры явно преувеличена роль императора в том, что касается общей программы и содержания реформ.

Анализируя законодательные акты и политику 1860-х годов, а также побудительные мотивы и идеи их создателей, исследователи отмечают интеллектуальную и программную последовательность реформ, наложивших отпечаток на вторую половину столетия. При этом крестьянскую реформу и

---

[613] *Lincoln B.* The Great reforms.

[614] *Pereira N.* Alexander II and the decision to emancipate the Russian serfs, 1856-1861 // Canadian Slavonic papers. Toronto, 1980. Vol. 22. N 1. P.112.

наследие этого «великого компромисса» историки считают краеугольным камнем, заложившим основы всех успехов и провалов последующего бюрократического реформирования.

Характерная черта реформ – не целостность плана или проекта, а единство основ, на которых зиждилась политическая культура бюрократии, породившей эти планы. В то же время историки говорят об отсутствии к началу преобразований детализированной программы реформ, которая создавалась постепенно, формируясь не только в соответствии с воззрениями реформаторов, но и под воздействием жизненных реалий[615]. Это особенно явственно обнаруживается в исследованиях, посвященных отдельным этапам подготовки крестьянской реформы.

Среди первых работ по этой теме – монография Т. Эммонса «Русское поместное дворянство и крестьянская реформа 1861 г.»[616], в которой подробно рассматриваются три периода конфронтации правительства и дворянства с ноября 1857 г. до 1861 г. Это была первая работа американского стажера П.А. Зайончковского, увидевшая свет. Автор поставил своей задачей заполнить лакуну в историографии, которая прежде занималась в основном «революционными демократами и крестьянством». На основе неопубликованных материалов из архивов Москвы, Петербурга и Твери он написал «социальную историю эмансипации», в которой сведены воедино экономика, политика, политические воззрения и общественное мнение, и в центре которой находится дворянство. Основное внимание Эммонс уделил дворянскому либерализму, показав, что накануне 1861 г. он не имел конституционной направленности, поскольку сохранялась вера в реформаторские способности самодержавия. Одним из важнейших политических итогов борьбы между дворянством и самодержавием в ходе

---

[615] См., например, ревизионистскую работу Стивена Хока о влиянии финансового кризиса на создание закона о выкупе (*Hoch St.* The banking crisis, peasant reform and the redemption operation in Russia, 1860-1870 // American historical rev. N.Y., 1991. Vol. N 2. P.155-187).

[616] *Emmons T.* The Russian landed gentry…

подготовки отмены крепостного права, в оценке Эммонса, стало разрушение этой веры и возникновение представления о том, что необходимые реформы могут быть проведены только при участии народа в управлении страной.

По заключению Эммонса, русский либерализм в 1861 г. повернул от защиты гражданских прав к требованию политических прав, от либерализма «правового государства» к либерализму конституционному. Недостатки же крестьянской реформы (сохранение общины и другие ограничительные меры) привели к социальному и экономическому кризису, который закончился революцией[617]. Интерпретация Эммонса вполне в духе американской историографии 1960-х годов, возлагавшей на Великие реформы ответственность за крушение царского режима. В чем-то его позиция в оценке крестьянской реформы (подчеркивание ее недостатков) была близка и советской историографии, для которой приоритет «революционных действий» по сравнению с постепенной эволюцией был неоспорим.

Наиболее детально все этапы подготовки крестьянской реформы, в том числе различные программы отмены крепостного права, борьба вокруг принятия основных положений законодательства рассматриваются в работе Д. Филда «Конец крепостничества. Дворянство и бюрократия в России, 1855-1861»[618]. Как вспоминал Филд, ни один из двух его научных руководителей, которыми были Ричард Пайпс и Александр Гершенкрон, не оказал ему никакой помощи в работе, хотя Пайпс исправно подписывал заявки на получение стипендий, в том числе для стажировки в СССР в 1964–1965 гг. Истинным своим учителем Филд считал Зайончковского и подчеркивал то большое влияние, которое советский историк оказал на его исследование[619]. В результате была написана политическая история Положений 19 февраля, проникнутая духом ревизионизма.

---

[617] Ibid. P. 422-423.
[618] *Field D.* The end of serfdom.
[619] Сообщено автору Д. Филдом.

В центре внимания автора – политическая культура русского самодержавия в XIX в. и ментальность помещичьего дворянства, в том числе высшей бюрократии, сановников. Сосредоточиваясь на деятельности Главного комитета по крестьянскому делу, Филд писал, по его собственным словам, «историю проигравших». Он задает вопрос, как *такая* реформа могла появиться при *таком* режиме? Как осторожный и традиционалистский режим нашел в себе мужество сломать фундаментальный институт русской жизни и сделать это вопреки желанию дворянства, главной опоры трона? Особенно поражает американского историка отсутствие сопротивления русского дворянства – «крепостное право пало без единого выстрела». Он отмечает, что дворянство без звука рассталось со своими привилегиями, но яростно отстаивало свои выгоды, поскольку воспринимало к этому моменту крепостное право исключительно как надежный источник дохода. С точки зрения Филда, мирный характер реформы объясняется, в первую очередь, сильной верой как дворянства, так и крестьянства в непогрешимость царской власти. Не менее важной причиной является и то, что крепостничество накануне отмены не имело сторонников и какой-либо сильной идеологической поддержки, хотя и разумной альтернативы ему почти никто не видел.

Главная идея Д. Филда заключается в том, что реформа подобного масштаба при столь консервативном режиме могла осуществиться только поэтапно, как следствие законодательного процесса, и в ходе ее подготовки возникали новые предложения, совершенно не предвиденные вначале. Анализируя процесс подготовки реформы, Д. Филд отмечает наличие противоречий между дворянством и правительством, дворянством и бюрократией, высшей бюрократией и чиновниками среднего уровня. Существовавшая в историографии, по мнению Филда, «ложная» картина борьбы вокруг проекта реформы была навязана историкам «реформаторами». Представляя своих оппонентов (и бюрократов, и помещиков) как

заговорщиков, пытающихся противостоять замыслам царя, реформаторы, которых было меньшинство, преувеличивали подлинные масштабы дворянской оппозиции, и это помогало им проводить свои собственные решения. В подобной ситуации любая критика проекта реформы, неугодная реформаторам, могла быть представлена как оппозиция царской власти и святому делу освобождения крестьян. В этой коллизии, по мнению автора, с одной стороны, присутствовала психологическая составляющая (реформаторам нравилось ощущать себя борцами с «темными силами зла»), с другой стороны, это была тактическая уловка, используемая в практических целях – запугать и привлечь на свою сторону императора. Он полагает также, что устоявшееся представление о процессе подготовки реформы как о борьбе между крепостниками и либералами не имеет под собой твердых оснований, поскольку никто из сановников не выступал защитником самого института крепостного права, а либеральные реформаторы сохранили в законодательстве целый ряд крепостнических по своей сути положений.

Тем не менее, большинство историков придерживаются иного мнения о деятелях реформ. Называемые в западной историографии «просвещенными бюрократами», творцы Великих реформ представляют собой особый сюжет для изучения.

Серьезный вклад в изучение роли бюрократии в подготовке Великих реформ внесли уже упоминавшиеся Брюс Линкольн и Ричард Уортман, стажеры Зайончковского. В своем ныне классическим труде о судебной реформе Р. Уортман сделал акцент на борьбе чиновников «консервативной и реформистской ориентации», причем последние, юристы-профессионалы, и явились главным двигателем преобразований и проведения их в жизнь[620].

В оценке Линкольна, мировоззрение и система ценностей творцов реформ наложили отпечаток на все законодательство, определив его зачастую узко бюрократический и фискальный характер, что достаточно

[620] *Wortman R.* The development of Russian legal consciousness.

сильно ограничило возможности правительства в 1870–1880-е годы. Он отмечает статичность идеологии просвещенных бюрократов, которые, будучи «людьми 40-х годов», рассматривали преобразование России в духе умеренно инакомыслящего общественного мнения своего поколения. «Самодержавные слуги самодержавного хозяина», просвещенные бюрократы ставили своей целью обновление общества при сохранении основных его устоев, что никак не отвечало социальным и политическим задачам, вставшим перед Россией в 1870–1880-е годы. Отмечая наличие в идеологии просвещенной бюрократии механизма «запаздывания», Линкольн считает, что он повлиял не только на содержание реформ, но и на весь последующий ход исторического развития России.

Признавая многие достоинства этих чиновников, историки подчеркивают их «узко бюрократический» взгляд на вещи и то, что они решали стоящие перед страной проблемы, следуя преимущественно фискальному интересу[621]. Особое значение имеют наблюдения американских историков, касающиеся стратегии и тактики реформаторов. В обобщающей работе Линкольна, посвященной подготовке шести ключевых реформ (крестьянской, земской, судебной, цензурной, городской, военной), показана технология создания законодательных актов и та политическая борьба, которая сопровождала их продвижение по инстанциям[622].

Бюрократические инструменты и методы, выработанные в период подготовки локальных законопроектов 1840-х годов, с успехом применялись в эпоху Великих реформ. Таковы были, например, комиссии «экспертов», кооптированные из наиболее способных сотрудников различных министерств и ведомств и дополненные представителями интеллигенции и дворянства. Настороженно относясь к общественному мнению, реформаторы стремились обеспечить себе поддержку в верхах, а также, путем

[621] См, например: *Хок С.* Банковский кризис, крестьянская реформа и выкупная операция в России. 1857-1861 // Великие реформы в России. С. 95.
[622] *Lincoln B.W.* The Great reforms…

бюрократических манипуляций, создать перевес «либерального большинства», чтобы иметь возможность беспрепятственно провести законопроект через многочисленные инстанции. Они использовали управляемую, или «искусственную», гласность для решения насущных политических задач[623]. Вместе с тем отмечается нетрадиционный, харизматический тип поведения бюрократических лидеров в эпоху реформ[624].

Существенный вклад в понимание того, как формировалось законодательство крестьянской реформы, в том числе при создании системы крестьянского самоуправления и судоустройства, внесли работы Т. Пирсона, Ф. Вчисло, П. Цапа. В них подчеркивается переходный, промежуточный характер Положений 19 февраля. Система волостной администрации и волостные суды создавались под давлением обстоятельств, с учетом существующих реалий («особенностей крестьянского быта») и имеющихся в наличии институциональных инструментов (в том числе недостаточное количество подготовленных юристов), и рассматривались реформаторами как временная мера, рассчитанная на достаточно краткий переходный период. Хотя большинство членов Редакционных комиссий были убежденными сторонниками мелкого крестьянского землевладения и соответственно противниками сохранения общины, пишет Ф. Вчисло, тем не менее для утилитарных целей община была сохранена. Постепенно подготовив крестьян к правильному исполнению своих общественных обязанностей, она, как полагали просвещенные чиновники, отомрет в силу естественного хода вещей[625]. В результате главная задача реформаторов – интегрировать крестьянство в общегражданскую государственную систему – не была выполнена.

---

[623] *Lincoln B.W.* The Great reforms…
[624] См. *Orlovsky D.* The limits of reform…
[625] *Wcislo F.* Reforming rural Russia… P. 28.

Постепенное смещение фокуса исследовательского интереса историков с экономических сторон модернизации к ее социальным и политическим аспектам особенно отчетливо проступает в вопросах, касающихся оценки характера крестьянской реформы, ее значения и последствий. Традиционно историки-русисты были склонны с неодобрением указывать на постепенный, крайне осторожный характер крестьянской реформы, сохранение в ней многих социально-экономических черт крепостничества и тот факт, что она не могла стать и не стала непосредственным стимулом экономического развития. Они подчеркивали ее тяжелые последствия как для крестьянства, так и для дворянства и даже возлагали на нее ответственность за тот социальный и экономический кризис, который привел к революциям[626]. Однако в 1980-е годы в англоязычной историографии появилась более оптимистическая оценка экономических последствий реформы.

Работы американских, британских и австралийских специалистов по экономической истории существенно изменили устоявшиеся представления об аграрном кризисе, который традиционно трактовался как следствие крестьянского малоземелья, а также результат фискальной политики правительства, истощавшей денежные ресурсы крестьян – в частности, непомерными выкупными платежами. Так, в работе О. Крисп утверждалось, что влияние Положений 19 февраля на покупательную способность крестьянства было не таким уж угнетающим, поскольку выкупные платежи не превышали дореформенный оброк, а часто были и ниже его. Кроме того, необходимость иметь наличные деньги для уплаты обязательств стимулировала развитие рынка[627]. Большую роль в развенчании концепции аграрного кризиса сыграла ревизионистская статья Дж. Симмза, основывавшаяся на работах британской исследовательницы (хотя далеко не

[626] *Emmons T.* The Russian landed gentry. P.422.
[627] *Crisp O.* Studies in the Russian economy before 1914. L., 1976.

все согласились с его постановкой вопроса)[628]. Вскоре Э. Уилбур, С. Уиткрофт, П. Готрелл и др. убедительно показали долгосрочное улучшение уровня жизни крестьян-производителей на фоне значительного подъема экономики в последние 50 лет существования самодержавия, отмечая два краткосрочных кризисных периода 1891–1893 и 1905–1908 гг.[629]. В то же время картина не была одномерной, поскольку параллельно наблюдалось столь же долгосрочное снижение уровня оплаты труда сельскохозяйственных рабочих, что требовало серьезного осмысления. Уже в 2000-е годы в продолжение темы была опубликована статья С. Хока, опровергающая известный постулат о «грабительском» характере крестьянской реформы и показывающая, что ее следствием явилось возникновение самообеспечивающегося крестьянского хозяйства, описанного Чаяновым[630].

В 1980-е годы в центре внимания исследователей оказывается значение крестьянской реформы для социального и политического развития страны, в частности, создания гражданского общества. Под таким углом рассматриваются юридические аспекты крестьянской реформы в сборнике «Гражданские права в царской России»[631]. В нем более позитивно оценивается освобождение крестьян, которое не могло не содействовать постепенному развитию гражданского общества в империи. Тем не менее, с точки зрения историков старшего поколения, которые не могут согласиться с

---

[628] *Simms J.Y., jr.* The crisis in Russian agriculture at the end of the nineteenth century: A different view // Slavic review. 1977. Vol. 36, N 3. P. 377-398; *idem.* The crop failure of 1891: Soil exhaustion, technological backwardness, and Russia's «Agrarian Crisis» // Slavic review. 1982. Vol. 41, N 2. P. 236-250.

[629] *Wilbour E.* Was peasant agriculture really that impoverished? // J. of economic history. 1983. Vol.43, N 1. P. 137–144; *Wheatcroft S.* Crises and the condition of the peasantry in late imperial Russia // Peasant economy culture and politics of European Russia, 1800-1921 / Ed. by Kingston-Mann E., Mixter T. Princeton univ. press, 1991. P. 128–173; *Gatrell P.* The tsarist economy, 1850-1917.

[630] *Hock S.L.* Did Russia's emancipated serfs really pay too much for too little land? Statistical anomalies and long-tailed distributions // Slavic rev. Stanford, 2004. Vol. 63, N 2. P. 247-274.

[631] *Crisp O.* Peasant land tenure and civil rights implications before 1906 // Civil rights in imperial Russia. Oxford, 1989. P.33-64.

таким «презентистским» взглядом, главной целью реформаторов было все же укрепление самодержавия и возвращение России статуса великой европейской державы, а также увеличение производительности и упрочение политической стабильности в деревне, но никак не создание гражданского общества[632]. Многие американские историки среднего и старшего поколения разделяли мнение современников об усилении сословной обособленности, и даже «сегрегации» крестьянства в результате Положений 19 февраля. Так, в оценке П. Цапа, волостные суды стали почти непреодолимым препятствием на пути модернизации России[633], поскольку создали и закрепили механизм правовой изоляции крестьянства и в конечном счете укрепили сословную структуру российского общества.

Пристальное внимание к проблемам права, в первую очередь к вопросам формирования правовой культуры Нового времени, в Российской империи было характерно для американских историков «среднего» поколения. И хотя по истории судебной реформы 1864 г. написано не так много работ, высокий уровень анализа и серьезность поставленных в них проблем внесли существенный вклад в современные представления. Признавая, что судебная реформа стала наиболее радикальной, новаторской и технически успешной из всех Великих реформ, исследователи все же отмечали ее незавершенный и двойственный характер. В 1960–1980-е годы интерес историков был сосредоточен на нескольких аспектах: политика правительства в области реформирования судебной системы, и здесь особое внимание уделялось политической культуре бюрократии; эволюция русского права; формирование и функционирование судебных учреждений и их влияние на развитие правосознания в России.

Генезис судебной реформы историки связывают с формированием в среде российской бюрократии нового типа гражданского чиновника –

[632] *Keep J.* Soldiers of the tsar: Army and society in Russia, 1462-1874. Oxford, 1985. P.352.
[633] *Czap P.* Peasant-class courts and peasant customary justice in Russia, 1861-1912 // J. of social history. Berkeley, 1967. Vol.1, N 2. P.149-178.

носителя «правового этоса». В основе судебной реформы 1864 г., как и всей эпохи реформ, лежала идея о «правлении закона» как о нормативном принципе устройства государства и общества [634]. Судебные уставы 20 ноября 1864 г. большинство западных историков расценивают как важнейший шаг к построению гражданского общества в России. Благодаря им, пишет Б. Линкольн, была уничтожена многовековая прерогатива царя – контроль за отправлением правосудия, и началась трансформация самодержавия в более современную форму монархии. В то же время, работа реформаторов-юристов заложила краеугольный камень современного общества, основанного на общественной справедливости и гражданской ответственности[635].

Что же помогло правоведам добиться успеха? Как считает Т. Тарановский, это «банкротство старой системы, специфический характер судебной реформы и тот факт, что значение Великих реформ в целом понималось еще весьма смутно», – Александр II не в полной мере предвидел, к каким последствиям они могут привести[636]. Кроме того, как отмечают другие историки, важным фактором явилось то, что император ощущал поддержку консервативной части дворянства, которое после отмены крепостного права оказалось заинтересовано в широком реформировании правовой системы, чтобы обеспечить право дворянской собственности в новых условиях[637].

В результате была создана новая структура судопроизводства, которая представляет собой пример «творческой адаптации всех лучших достижений юриспруденции и судебной практики западноевропейских стран, главным образом Франции и Великобритании»[638]. Однако за пределами Европейской России новая система вводилась постепенно и не в полной мере. Еще более

---

634 *Тарановски Т.* Судебная реформа… С.305.
635 *Lincoln B.W.* The great reforms... P.115.
636 *Тарановски Т.* Судебная реформа... С.307.
637 *Lincoln B. W.* The great reforms… P.109.
638 *Тарановски Т.* Судебная реформа… С.305.

важным для зарубежных русистов являлся тот факт, что дела крестьян, составлявших большую часть населения России, оставались в юрисдикции созданных крестьянской реформой 1861 г. волостных судов, действовавших на основе традиционного обычного права. Историки отмечали, что в целом прогрессивная по своему характеру, судебная реформа не только никак не затронула сословный волостной суд, но и не связала его с остальной системой правосудия, закрепив существующее положение дел.

Таким образом, новая судебная система исключила подавляющее большинство – крестьянство – из остального населения, поскольку повседневные юридические вопросы (а они составляли основную часть судебных дел) решались на основе «обычного права», а не общего для всех граждан закона. По мнению У. Пинтнера, эта особенность реформы явно укрепила барьер между крестьянством и образованным обществом и замедлила интеграцию крестьян в общенациональную жизнь. Она усилила и сохраняла уже сформировавшееся разделение России на два общества, вестернизованное и традиционное[639]. Эта концепция, во многом следовавшая за мнением современников, начала пересматриваться в 1980-е годы, с развитием исследований по новой социально-культурной истории, когда появляются более позитивные оценки Великих реформ и их результатов.

Дискуссия об обычном праве на страницах журнала «The Russian review» поставила на повестку дня вопрос о дальнейших его исследованиях[640].

Моше Левин, автор монографии и многих статей по российскому/советскому крестьянству, представил тщательно выверенный очерк, основанный на свидетельствах современников – юристов и

---

[639] *Pintner W.* Reformability in the age of reform and counterreform, 1855-1894 // Reform in Russia and the USSR: Past and prospects / Ed. by Robert O. Crumney. Urbana, 1989. P. 89–90.
[640] См.: [Discussion] / Lewin M., Worobec Ch., Yaney G., Confino M.

этнографов[641]. В своих интерпретациях крестьянского общества как «особого» мира, сопротивляющегося ударам извне и сохраняющегося в условиях развития капитализма (и социализма), он опирается на крестьяноведение. Левин указывает на долговечность крестьянской общины и «народного права» и на беспочвенность усилий царского правительства их уничтожить – что подтверждает историческими аргументами. Как считали и другие социальные историки, он убежден, что крестьянскую общину удалось разрушить только путем введения коллективизации, поэтому ее исследования социальными историками фокусировались, как правило, на периоде 1861–1930 гг. При таком подходе удается избежать погруженности в дебаты марксистов и народников, и в его статье уже просматривается та прямо-таки неприязнь, с какой социальные историки-крестьяноведы 1980–1990-х годов будут говорить об «образованных классах», приписывающих русскому крестьянству свои представления о нем.

Американка К. Воробек, молодой тогда специалист по истории крестьянских женщин, уточняет некоторые аргументы Левина, в частности, необходимость для адекватного понимания обычного права изучать крестьянские институты, формальные и неформальные[642]. Однако, по ее мнению, следует обращать большее внимание на изучение взаимодействий крестьянства с внешним миром. Действительно, исследования такого направления уже начали развиваться в то время в США, в том числе изучение крестьянства в городской среде. Предложения Дж. Йени касались, во-первых, расширения географического охвата исследований, сосредоточенных на Европейском центре России и не учитывающих ее региональное и национальное многообразие (которое учитывалось, однако,

---

[641] *Lewin M.* Customary law and Russian rural society in the post-reform era // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 1-19. См.: *Lewin M.* Russian peasant and Soviet power : A study of collectivization / Transl. by I. Nove. L., 1968.

[642] *Worobec Ch.* Reflections on customary law and post-reform peasant Russia // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 20-26.

материалами Комиссии Любощинского). Во-вторых, отказа от либеральной парадигмы, которая вынуждает исследователей отслеживать «прогресс» крестьянства в направлении современных «норм» (что является продуктом модернистского воображения)[643].

Наиболее радикально высказался израильский историк М. Конфино, зарекомендовавшим себя к тому времени как один из крупнейших специалистов по аграрной истории России[644]. Он подчеркнул, что изучать обычное право необходимо на основе новых подходов и методов, что мнения современников являются историческим источником, а никак не «истиной в последней инстанции». Сказанное касается и самого термина «обычное право». Все это – из арсенала понятий интеллигенции и продукт интеллектуальной моды. В данном случае речь идет скорее о менталитете крестьянства, с учетом стратегии выживания, лежащей в его основе. Для исследований пореформенного крестьянства, считает Конфино, вовсе нет необходимости углубляться в изучение истории общины. К тому моменту этот институт был давно признан государством, и нужно исходить из существующего факта. Завершает свою статью автор весьма красноречиво, называя повсеместное возвращение крестьянства в общину в 1917–1918 гг. настоящим «черным переделом», который оказался в итоге куда менее утопичной программой, нежели программы аграрных реформ.

Намеченные в этой дискуссии линии реализовались в последующих исследованиях, однако утвердились в историографическом дискурсе позднее, в 1990–2000-е годы, не сразу преодолев сопротивление коллег.

Как вспоминала Кэти Фраерсон, ее доклад на эту тему, сделанный в 1986 г. на конференции в Массачусетсе, не встретил понимания коллег.

---

643 *Yaney G.* Some suggestions regarding the study of Russian peasant society prior to collectivization // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 27-33.

644 *Confino M.* Russian customary law and the study of peasant mentalites // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 35-43. См.: *Confino M.* Domaines et seigneurs en Russie vers la fin du XVIII siècle siecle. Paris, 1963; *idem.* Systèmes agaries et progrès agricole: L'assolement triennal en Russie aux XVIIIe-XIXe siècles. Paris, 1969.

Более того, статью она решилась опубликовать лишь в 1997 г., да и то в британском журнале[645]. В ней она продемонстрировала, как с помощью этого «гибрида обычного права и формальной судебной процедуры» крестьяне постепенно превращались в законопослушных членов современного гражданского общества.

Точку зрения К. Фраерсон на то, что волостные суды отнюдь не закрепляли сегрегацию крестьянства, а напротив, способствовали постепенной его интеграции в общегражданскую жизнь, разделяла и Дж. Бербанк. Ее исследования волостных судов, начатые в 1987 г., позволили увидеть в этом институте «питомник общенациональной правовой культуры», постепенно приближавшейся к европейским нормам. Однако ее доклад, прозвучавший на международной конференции в Торонто, посвященной 130-летию судебной реформы в России, резко выделялся своей полемичностью[646]. Эти новаторские исследования правовой культуры крестьянства возникли в условиях, когда большинство историков подчеркивали незавершенность, незрелый характер правовой культуры России в дореволюционный период.

В 1980-х преобладали политические оценки судебной реформы, основанные на примате рациональности. При этом подчеркивалась ее парадоксальность в контексте самодержавной России. Так, американские историки единодушно высоко оценивали тот факт, что судебная реформа дала образованной части русского общества механизм европейского судоустройства с его предсказуемостью юридических последствий человеческих поступков и содействовала развитию юридического образования, приближавшегося к европейским стандартам. Формировалась

---

[645] *Frierson C.* Mysteries in the realms of history and memory // Adventures… P. 206. См. статью: *Frierson C.* «I must always answer to the law…» Rules and responses in the reformed volost' court // Slavonic and East European rev. 1997. Vol.75, N 2. P.308-334.

[646] *Burbank J.* Legal culture and citizenship in Russia: Perspectives from early twentieth century // Reforming justice in Russia, 1864-1994. N.Y., 1997. P. 127-150.

новая социальная группа юристов-профессионалов, которая к концу века стала важной составной частью растущего среднего класса. В то же время судебная реформа и сложившаяся в ее результате группа юристов-профессионалов предстают в интерпретации американских историков как феномен, глубоко враждебный самодержавному строю по своей политической культуре. Как указывает Р. Уортман, представители юридической профессии не стали оплотом существующего социально-политического строя, как ожидалось. Напротив, многие профессиональные юристы стали деятелями умеренной оппозиции, что было вызвано конфликтом между их профессиональными убеждениями и самодержавным произволом[647].

Таким образом, с точки зрения возможной политической реформы новая судебная система заключала в себе важный недостаток. Оценивая влияние судебной реформы на социальную трансформацию и формирование гражданского общества в России, У. Пинтнер считает важным тот факт, что в итоге «создалось напряжение между новой системой и самодержавием». Даже «простое установление ясных и последовательных процедур принятия законов рассматривалось, – и, возможно, справедливо, – как первый шаг навстречу реальному ограничению самодержавной власти»[648]. И потому Пинтнер полагает, что результат судебной реформы в этом аспекте нужно рассматривать как аномальный. Т. Тарановский также усматривает воздействие судебной реформы 1864 г. в том, что она не только ускорила процессы социально-экономических и культурных изменений, которые государство более не могло контролировать, но и поддерживала те политические устремления, которые угрожали самому существованию абсолютизма. В результате самодержавие начало постепенно отходить от принципов Великих реформ, хотя принимавшиеся меры носили все же

[647] *Wortman R.* The development of a Russian legal consciousness. P.286-287.
[648] Ibid. P. 90.

паллиативный характер. И лишь со вступлением на престол Александра III правительство взяло курс на реакцию. Таким образом, в конечном счете, судебная реформа не способствовала развитию новых источников поддержки существующего строя, но добавляла еще один, очень влиятельный, оппозиционный элемент в русское общество, все больше отходившего в своей эволюции от традиционного статус-кво[649].

Западными историками признается как важнейшее, даже основополагающее, значение проблемы местного управления для истории Российской империи. Тем не менее, история земской реформы 1864 г. и созданных ею институтов самоуправления не получила должного освещения в зарубежной историографии. Исходя из оценки земств как «оплота либерализма», большинство исследователей традиционно сосредоточивались на изучении политических аспектов их деятельности (в основном «третьего элемента»), и эта тенденция нашла дополнительное подкрепление позднее, в 1990-е годы, в исключительном интересе к парадигме формирования гражданского общества[650].

Прошедшая в 1978 г. в Стэнфордском университете конференция и изданный на ее основе сборник[651] продемонстрировали, однако же, разнообразие тем и подходов к изучению российского земства – хотя главное внимание американские историки, следуя дореволюционной традиции, уделили все же политическому аспекту. Материалы сборника освещают такие вопросы, как история местного управления до земской реформы 1864 г. и наличие преемственности в практике местного самоуправления; организация земств по Положениям 1864 и 1890 гг. и их роль в административной структуре империи; взаимоотношения земств и

---

649 *Pintner W.* Reformability in the age of reform and counterreform… P. 90.
650 См.: Emerging democracy in late imperial Russia: Case studies on local self-government (the Zemstvos), State Duma elections, the tsarist government and the State Council before and during World War / Ed. M.Conroy. Niwot, Colo., 1998.
651 The zemstvo in Russia.

крестьянства; их деятельность в области народного образования и здравоохранения; профессионализация земского персонала и т.д.

В то же время несколько работ отражают интерес к административной стороне истории земского самоуправления, к формированию законодательства и к тому, как на практике функционировали новые институты. «Первопроходческой» в этом отношении, по общему признанию, явилась монография Фредерика Старра, в которой подготовка земской реформы рассматривается в широком контексте, с учетом интеллектуального климата эпохи. Однако она, пожалуй, излишне концентрируется на борьбе «централистов» и «децентралистов» в среде бюрократии[652]. Формирование законодательства о земстве в МВД прослеживается в работе Д. Орловского, где основное внимание уделяется политической культуре создававшей его высшей бюрократии[653]. Более прагматический подход, с элементами социальной истории, представлен в работе Томаса Пирсона[654].

В целом, концепция земской реформы 1864 г. и созданных ею институтов общественного самоуправления лежит в русле представлений о процессе политической модернизации в России. В соответствии с традиционной либеральной точкой зрения, земства рассматриваются как важнейший шаг на пути к общественному участию в управлении государством. При этом подчеркивается, что земства, в которых зрела оппозиция, находились в глубоком конфликте с правительством, их не принимало крестьянство, что никак не способствовало стабилизации режима.

Военные реформы, осуществленные военным министром Д.А. Милютиным в 1862–1874 гг., явились, в понимании историков-русистов, одним из существенных компонентов процесса модернизации Российской империи, одновременно определив направление военно-

---

652 *Starr F.* Decentralization and local self-government in Russia.
653 *Orlovsky D.* The limits of reform.
654 *Pearson T.* Russian officialdom in crisis. См. также *Fallows T.* The zemstvo and bureaucracy…

политических, военно-стратегических и военно-организационных процессов в стране вплоть до 1917 г.

Изучение этих сюжетов в американской историографии началось в период холодной войны и первоначально носило прикладной и узкоспециальный характер, сосредоточиваясь в основном в военном ведомстве. Исследования военной истории Советского Союза и Российской империи концентрировались в таких организациях, как Бюро по изучению Советской армии (CACO), в форте Ливенворт, Канзас, и получали серьезную материальную поддержку от правительства. В 1960–1970-е годы уровень исследований значительно повысился, что во многом было обусловлено расширением контактов с советской исторической наукой, в том числе стажировкой американских исследователей в МГУ под руководством профессора П.А. Зайончковского. Можно с уверенностью утверждать, что благодаря его усилиям были заложены основы подлинно научного изучения русской армии в США. Для этого достаточно просто перечислить работы его стажеров, которые прочно вошли в американскую академическую науку: Уиллис Брукс изучал жизнь и деятельность Д.А. Милютина, Питер Кенез – русский офицерский корпус начала XX в., Томас Бек – высшую военную бюрократию второй половины XIX в., Элиза Киммерлинг-Виртшафтер – институт рекрутов в николаевской армии[655].

В итоге накопленный американским россиеведением материал позволил реконструировать целостную картину модернизации русской армии второй половины XIX в. «Внешний фактор» - поражение в Крымской войне – выдвигается американскими историками на первый план в качестве причины военных реформ. Многие авторы характеризуют его как поражение не николаевской армии, которая сражалась не хуже, чем прежде, а системы ее снабжения и – в более широком плане – лежавшей в ее основе политической

[655] Петр Андреевич Зайончковский: Библиографический указатель. М., 1995. С. 56-62.

и экономической структуры отсталой и бедной страны[656]. В центре внимания американских историков – «уникальная» фигура Д.А. Милютина, которого они считают главным творцом военных реформ.

Исследователи прослеживают связь военных реформ с остальными преобразованиями. Б. Линкольн отмечает, что децентрализация военного управления шла рука об руку с реформой местного самоуправления, и всего через полгода после земской реформы Александр II подписал Положение о создании 15 военных округов[657]. Новая система военного судопроизводства, закрепленная в уставе 1867 г., в своих главных принципах базировалась на общегражданской реформе: она предусматривала открытое судебное разбирательство, устное ведение процесса, участие защитника и т.д. Важным моментом стала общая гуманизация армейской службы: в соответствии с гражданской реформой об отмене телесных наказаний 17 апреля 1863 г. сходные законы были приняты в армии и на флоте[658].

Квинтэссенцией милютинского реформизма считается закон о всеобщей воинской повинности, который представлял собой одновременно и военную, и социальную реформу. Опираясь на ресурсы империи для модернизации армии, Милютин использовал армию для модернизации империи[659]. В оценке ряда авторов, военные реформы, проведенные Милютиным в 1860–1870-е годы, привнесли в армию, самый консервативный институт Российской империи, все социальные нововведения, созданные Великими реформами в

---

[656] *Бушнелл Дж.* Д. Милютин и Балканская война: испытание военной реформы // Великие реформы в России. 1856-1874: Сборник. М., 1992. С.246; *Кипп Дж.У.* Русский военно-морской флот и проблема технического переоснащения: экономический базис военно-промышленного развития. 1853-1876 гг. // Великие реформы в России. М., 1992. С.143; *Beyrau D.* Militär und Gesellschaft im vorrevolutionären Russland. Böhlau, Köln u. a. 1984; *Brooks W.* Reform in the Russian army, 1856-1861 // Slavic Review. Stanford, 1984. Vol.42, N 1. P.63-82; *Keep J.* Soldiers of the tsar. P. 6; *Lincoln B.* The Great reforms… P. 37-38.

[657] *Lincoln B.W.* The Great reforms… P.159.

[658] *Keep J.* Soldiers of the tsar. P. 365; *Violette A.* Judicial reforms in the Russian Navy during the «Era of Great reforms»: The reform act of 1867 and the abolition of corporal punishment // Slavonic and East European review.1978. Vol. 56. N 4. P. 586-603.

[659] *Fuller W. C., jr.* Civil-military conflict in imperial Russia. P.11.

гражданском секторе, но эти нововведения плохо согласовались с природой самодержавного бюрократического государства. Всеобщая воинская повинность и связанная с ней реорганизация армии противоречили основам абсолютной монархии, подрывали ее устои, вместо того, чтобы укреплять их. Именно в этом заключаются причина столь медленного продвижения реформ Милютина и корень всех их недостатков[660].

Военные преобразования, самые «неполитические» из Великих реформ, были самыми широкими по своему воздействию на население после реформы 1861 г. И современники, и историки высоко оценивали социальное значение принципа всеобщей воинской повинности, который базировался на либеральной идеологии, предполагавшей, что все подданные императора являются также и гражданами империи и равны в этом. Однако несмотря на свое истинно радикальное содержание, военная реформа, как показали исследования, не слишком способствовала интеграции крестьянства в быстро развивающееся городское индустриальное общество[661].

Важную роль для понимания процесса трансформации в России XIX – начала XX в. играло в американской русистике изучение таких «агентов изменений», как школа и вообще система образования и просвещения. Примером институционального подхода является монография А. Сайнела, посвященная реформам образования Д.А. Толстого[662]. В ней представлена новая, более сбалансированная оценка Д.А. Толстого и его политики в области просвещения, подчеркивается, что созданная им система школьного образования оказалась в условиях России наиболее эффективной, просуществовала до 1917 г. и способствовала колоссальному прогрессу в этой области. Не отрицая консервативных черт этой политики, историк полагает, что в общеевропейском контексте они не выглядели столь уж одиозно, как это было принято считать. В то же время он считает, что одна из

[660] *Keep J.* Soldiers of the tsar… P.357.
[661] *Pintner W.* Reformability in the age of reform and counterreform… P.83-106.
[662] *Sinel A.* The classroom and the chancellery.

целей политики Толстого – создать такую систему образования, которая всячески препятствовала бы распространению «нигилизма» – не только не была достигнута, но имела обратные результаты. Причины тому автор традиционно видит в тактике Толстого, в основе которой лежало бюрократическое стремление к регулированию и недоверие к общественной инициативе.

Примером иного подхода, иных исследовательских ориентиров является написанная на 20 лет позже, уже в русле социальной истории, фундаментальная работа Б. Эклофа о крестьянских школах[663]. Основное внимание в ней уделяется повседневной практике школьной жизни, распространению грамотности, формированию группы учителей-профессионалов в широком контексте социальной трансформации России на пути к современному обществу.

Взятые в совокупности, исследования Великих реформ, которые включают в себя работы, посвященные также реформам цензуры, университетов, полиции, церкви и другим фундаментальным изменениям, произошедшим в России в 1860–1870-е годы, дают картину общего поступательного движения страны по пути прогресса[664].

---

[663] *Eklof B.* Russian peasant schools: Officialdom, village culture, and popular pedagogy, 1861-1914. Berkeley: Univ. of California press, 1986.

[664] См., в частности: *Adams B.F.* The politics of punishment: Prison reform in Russia, 1863-1917. DeKalb, 1996; *Alston P.L.* Education and the state in tsarist Russia. Stanford, 1969; *Balmouth D.* Censorship in Russia, 1865-1905; The city in Russian history; *Freeze G.* The parish clergy in nineteenth-century Russia. Princeton, 1983; *Kassow S.D.* Students, professors, and the state in tsarist Russia. Berkeley, 1989; *Ruud Ch.* Fighting words: Imperial censorship and the Russian press. 1804-1906. Toronto, 1982, и др. Англоязычная библиография Великих реформ насчитывает не одну сотню названий, включая публикацию документов и переводы работ советских историков.

4.3. Концепция единства реформаторского процесса в России XIX в.[665]

Первая международная конференция по проблемам реформ в России, задуманная задолго до перестройки, состоялась в 1986 г. в Мичиганском университете. Инициатива исходила от А. Янова, чьи работы получили в западном мире большой резонанс[666]. В конференции приняли участие историки и политологи, которые в своих исследованиях реформаторского опыта России стремились соотнести его с перспективами реформ в Советском Союзе. Фактически, на этой площадке произошла встреча публичной и профессиональной истории, поскольку отправным пунктом для работы конференции и организующим центром изданной в 1989 г. книги[667] явилась концепция А. Янова о «циклическом характере» исторического развития России в последние 400 лет. Отталкиваясь от концепции А. Гершенкрона, который подметил в экономическом развитии России начиная с XVIII в. «повторяющуюся модель», выражающуюся в периодических «рывках», вызванных военной необходимостью, и сменяющихся спадом, А. Янов перенес эти наблюдения в сферу политической истории. Он распространил локальный термин «контрреформы» на историю России начиная с эпохи Ивана Грозного и в таком контексте попытался оценить возможности политической реформы в

---

[665] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в. М., 2008; *Большакова О.В.* О новой концепции истории России в современной американской историографии // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2009-2010 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М., 2012. С.42-70; *Большакова О.В.* Аграрные реформы Столыпина в англоязычной историографии // Российская история. 2012. № 2. С.164-172; *Большакова О.В.* Кризис российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171.

[666] *Yanov A.* The origins of autocracy: Ivan the Terrible in Russian history / Transl. by S. Dunn. Foreword by S. Monas. Berkeley: Univ. of California press, 1981.

[667] Reform in Russia and the USSR.

стране. В представлении А. Янова, России не удалось следовать по западному пути в направлении политической модернизации из-за «циклического конфликта» между модернизирующимися «европейскими русскими» и консервативными «византийскими русскими», которые с середины XVI в. блокировали переход России к политической «модерности», т.е. к конституционному правлению. История России представляет собой, таким образом, циклические колебания между реформой и стагнацией, которые Янов объясняет отсутствием социальной базы реформы – среднего класса.

Проблема соотношения реформ и контрреформ в русской истории (и, в конечном счете, вопрос о линейном или циклическом характере исторического развития России) неявно присутствовала в американской русистике достаточно давно. Либеральная парадигма линейного прогресса противостояла там консервативным оценкам России как страны с неограниченно самодержавной формой правления, которая идет своим, самобытным путем. Однако к этому времени теория модернизации находилась в фазе своего наивысшего развития. Казалось, что пресловутая «конвергенция» вот-вот наступит, и СССР, как и предсказывалось, двинется семимильными шагами по пути демократии. Таким образом, модель Янова, консервативная по своей сути, не только не отвечала требованиям момента, но и не согласовывалась с общим либеральным настроем американских историков. Отмечая, что концепция Янова далеко не нова, они поставили под вопрос его «антиисторичную» модель.

Все статьи сборника материалов конференции в Мичигане подтверждают известное положение о том, что реформы в новой истории России неизменно инициировались сверху, при этом государственная власть преследовала ограниченные цели, часто связанные с мобилизацией ресурсов для военных целей. Однако для лучшего понимания этих реформаторских усилий, как указал в своем резюме У. Розенберг, необходимо рассматривать

их как комплексные социально-экономические, политические и культурные процессы, чьи параметры и, соответственно, потенциальные результаты изменялись с течением времени[668].

Такой подход был закреплен на нескольких последующих конференциях по проблемам российских реформ, организованных американскими и канадскими историками. Организаторы конференции в Вашингтоне (Институт Кеннана), например, сознательно ставили перед участниками задачу проанализировать роль реформ в русской и советской истории и на конкретном историческом материале, с учетом требований сегодняшнего дня, пересмотреть бытующие в историографии и советологии представления. На этих конференциях была предпринята попытка создания моделей реформ в России на основе обобщения проведенных за последние десятилетия исследований.

В то же время имплицитно в материалах вашингтонской конференции присутствовала полемика с концепцией Янова, которая, на самом деле, имела основательное интеллектуальное подкрепление и в России[669]. В очерке Т. Эммонса, посвященном книге Н. Эйдельмана «“Революция сверху” в России» (М., 1989), в которой известный писатель-историк рассматривал переломные вехи в русской истории в поисках «уроков» для гражданина, желающего понять природу и перспективы современного кризиса[670], рассматривается проблема преемственности, напрямую связанная с вопросом о цикличности исторического развития. Как замечает Эммонс, «среди серьезных историков никто не верит в corsi e ricorsi в чистом виде», и культурные парадигмы из прошлого страны, конечно, не повторяются

---

[668] *Rosenberg W.G.* On the problem of reform in Russia and the Soviet Union // Reform in Russia and the USSR. P. 277.

[669] См., например: *Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С.* Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. М., 1996. Поверхностные представления об исторических реалиях выливаются в построение моделей, основанных, например, на противопоставлении «реформ» Александра I «контрреформам» Николая I (см.: *Пантин В.И.* Циклы и волны модернизации как феномен социального развития. М., 1997).

[670] Русский вариант: *Эммонс Т.* «Революция сверху» в России.

автоматически в настоящем. Представленная в книге Эйдельмана модель «спирали» в конечном счете идентична культурной преемственности. Что касается широких аналогий и поисков исторических корней, то, как замечает Эммонс, историки с равным успехом могут писать и о традиции «революций сверху», и о традиции «революций снизу», или же о традиции демократических институтов в русской истории, которые являются «ничуть не менее достоверными с эпистемологической точки зрения»[671].

У. Розенберг отметил, что начатый в 1860-е годы процесс реформ менял свой характер и к 1880-м приобрел новое качество: государство, считает он, уже не могло силой «сверху» проводить какую-либо собственную программу. Реформа становится логическим результатом воздействия изменяющихся глубинных общественных структур, на «вызов» которых государство могло только «отвечать» тем или иным образом[672]. Такое понимание фактически аннулирует пессимистическую циклическую модель исторического развития, согласно которой реформы в России неизменно сменялись контрреформами.

Как напомнил в своем выступлении А. Рибер[673], в отличие от революции, которая является событием дискретным, реформа – это процесс, и потому вопрос об «успешности» и «законченности» той или иной реформы представляется не слишком уместным. Он напомнил также, что история не знает примеров «полных» и «законченных» реформ. И действительно, исследования законодательства Великих реформ показали, что сами их творцы осознавали незаконченность преобразований и предполагали непременное их развитие в дальнейшем, даже ориентировались на это.

В обобщающем очерке, основанном на американских исследованиях последних десятилетий, У. Пинтнер поставил под вопрос саму концепцию

---

[671] Ук. соч. С. 377.
[672] *Rosenberg W.G.* On the problem of reform… P.277.
[673] *Rieber A.* The reforming tradition in Russian and Soviet history: Commentary // Reform in modern Russian history. Cambridge, 1995.P.237-243.

контрреформ[674]. Принимая значение термина «реформа» как «движение в направлении ограничения самодержавия и расширения участия общества в процессе управления», Пинтнер концентрируется на политическом аспекте истории реформ второй половины XIX в. Он предлагает учитывать не только распространенное в либеральной и марксистской историографии представление о Великих реформах как важнейшем шаге по пути сближения с «европейской моделью», но и иной взгляд, предполагающий, что эти преобразования вовсе не обязательно способствовали вестернизации России. Пинтнер ставит вопрос о самой возможности вестернизации, ее степени и сферах ее приложения. В его оценке Великие реформы, при всех своих достижениях, оказались в конечном итоге дестабилизирующим фактором, но в то же время не реализовалось и желание Александра III полностью пересмотреть законодательные меры своего отца. Ставя под сомнение либеральный постулат о том, что в ближайшем будущем реформы 1860–1870-х годов привели бы Россию к сближению с Европой, он задает вопрос: «что же положило конец эпохе Великих реформ: реакционные взгляды Александра III или реалии русской жизни?». И, наконец, «уничтожили ли контрреформы прогресс?». Пинтнер доказывает, что поскольку целью Великих реформ было создать основу для дальнейшего существования России как великой державы, то, учитывая самодержавную традицию, можно сказать, что контрреформы были в сущности автоматическими и неизбежными. В конечном итоге и те, и другие законодательные меры представляли собой попытки приспособить самодержавные институты к изменяющимся социальным условиям, а также обеспечить необходимый для безопасности страны уровень и темпы экономического развития.

В течение 1980-х годов в зарубежной историографии России складывается общая концепция реформаторского процесса XIX в., в которой

[674] Pintner W. Reformability in the age of reform and counterreform, 1855-1894.

подчеркивается преемственность, а не разрывы. Такая перемена сделалась возможной благодаря углубленному изучению политики контрреформ, которая рассматривалась в контексте проблем реализации Великих реформ. В итоге цареубийство 1 марта уже не предстает тем катастрофическим «водоразделом», который отделяет эпоху либерального реформирования от реакционного царствования Александра III, как это было в работах их предшественников – русских историков-эмигрантов и историков старшего поколения. Черты либерального и консервативного реформизма в правительственной политике обнаруживаются задолго до 1881 г. и после него. Более того, углубленное изучение Великих реформ неизбежно привело к поиску их истоков в царствование Николая I, а преобразования 1880-х годов трактуются как их последствия. В оценке А. Рибера, столыпинские реформы представляют собой один из эпизодов реформаторского процесса, их отличие заключается лишь в том, что проводились они в более богатом и сложном социальном контексте[675].

При таком целостном рассмотрении реформаторского процесса большинство исследователей начинают признавать важность для политической истории России переходного периода конца 1870-х – начала 1880-х годов, характерными чертами которого были кризисные явления в новом строе. Этот период интерпретируется как время «проверки» наследия Великих реформ и осознания современниками того факта, что эти преобразования требуют серьезных корректив.

Отказ от распространенной интерпретации «эпохи контрреформ» как политической реакции позволял глубже присмотреться к сущности этого периода, который в такой перспективе обретал немаловажное значение для политической истории России, что игнорировалось прежде. Приходит понимание, что политика контрреформ, или «подновления» Великих реформ представляла собой чрезвычайно сложный процесс, в который были

[675] *Rieber A.* The reforming tradition… P. 237.

вовлечены многие общественные силы и социальные структуры. Историки-русисты прагматически подходили к законодательным усилиям самодержавия, подчеркивая, что контрреформы ни в коей мере не могли означать возвращение к прежнему положению дел – крепостному праву, старым судам и пр. В условиях 1880-х годов единственно возможным было «подправление» и «модификация» некоторых сторон реформ 1860-х. Что касается оценки сущности политики правительства 1880-90-х годов, то здесь мнения расходятся. Так, Ф. Вчисло определяет правительственную политику этого периода как «консервативное усилие», направленное на осуществление политической и социальной трансформации России, в то время как Т. Тарановский и Х. Уилан склонны говорить все же о правительственной «реакции».

Изучение контрреформ в западной историографии 1970–1980-х годов развивалось в рамках как институциональной, так и собственно социальной истории. Если работы первого направления концентрировались в основном на сюжетах высокой политики, то социальные историки основное внимание уделяли вопросам реализации Великих реформ и последующих контрреформ, их воздействию на глубинные структуры повседневной жизни, на культуру и систему ценностей деревенских и городских «низов».

Смещение акцентов в изучении контрреформ в рамках институциональной истории наглядно иллюстрируют работы учеников П.А. Зайончковского Теодора Тарановского (1976, 1981), Хайде Уилан (1982) и стажировавшихся в Ленинграде у Б.А. Ананьича Томаса Пирсона (1989) и Фрэнсиса Вчисло (1990).

Основные проблемы, которые занимают историков при изучении контрреформ, касаются их идейных основ, а также причин столь долгой их подготовки и весьма скромных достижений. Наиболее обстоятельное изучение политики контрреформ впервые в западной исторической науке было предпринято Т. Тарановским и Х. Уилан. Хотя докторская диссертация

Тарановского «Политика контрреформ: Самодержавие и бюрократия в царствование Александра III, 1881–1894», защищенная в 1976 г., осталась неопубликованной, она была введена в научный оборот благодаря публикации статьи о «несостоявшейся» судебной контрреформе 1894 г., на нее опираются или же полемизируют с ней все последующие исследования по указанной тематике[676].

Оба автора вслед за своим учителем П.А. Зайончковским не ставят под сомнение реакционную сущность политики контрреформ, расценивая ее как стремление Александра III и его советников-традиционалистов «подправить» Великие реформы 1860-х годов и восстановить «более традиционные модели русского абсолютизма». Основное внимание исследователи уделяют вопросу о том, почему же успехи контрреформаторов в этой области оказались очень ограниченными. Одна из основных причин того, что главные достижения Великих реформ «устояли» – тот факт, что законодательные инициативы в царствование Александра III встречали серьезное противодействие в правительственных кругах.

Оба автора сосредоточиваются на изучении правительственного аппарата и бюрократических технологий, выдвигая на первый план идеологический фактор. Правительство, парализованное изнутри идеологическими и политическими конфликтами в его главной опоре – имперской бюрократии, оказалось неспособным проводить последовательный и конструктивный курс, неважно, прогрессивный или реакционный[677]. Важнейшим наблюдением Тарановского, подтвержденным в работе Уилан, явилось то, что поколение реформаторов 1860-х годов, заседавших к этому времени в Госсовете, обладало достаточной властью,

[676] *Taranovsky T.* The aborted counter-reform: Murav'ev Commission and the judicial statutes of 1864 // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1981. Bd. 29, H.2. S.161-184; *Whelan H.* Alexander III and the State Council.
[677] *Taranovsky T.* The aborted counter-reform… P.184.

чтобы нейтрализовать проекты контрреформ, выдвигавшиеся Толстым, Муравьевым и др. и поддержанные императором.

Иллюстрацией этих положений служит история принятия указа о земских начальниках. Подробно рассматривая правительственные дебаты 1886–1889 гг., в которых «одна интрига сменялась другой», Х. Уилан выявляет наличие в среде высшей бюрократии нескольких конфликтующих групп и фракций. Позиция либералов состояла в том, что этот институт представляет собой разрыв с базовыми принципами Великих реформ, является реакционным шагом назад к сословности и реставрации помещичьей власти над крестьянами[678].

В основе работ Тарановского и Уилан лежит оппозиция «либеральный / реакционный», которая, однако, дополняется противопоставлением абсолютистской концепции «полицейского государства», характерной для XVIII в. и имевшей широкое хождение в среде высшей бюрократии, понятию «правового государства», распространившемуся в XIX в. и усвоенному частью «рационализированной» бюрократии. Именно приверженность двум столь различным по своей сути доктринам, последняя из которых была несовместимой с концепцией неограниченного самодержавного правления, составляла, как считают эти авторы, суть идеологических конфликтов внутри бюрократии. Вряд ли сами чиновники осознавали свою приверженность каким-либо доктринам, но этот прием – навязывание историческим деятелям сложных теоретических конструкций – до сих пор имеет хождение в зарубежной русистике[679].

Написанные в традиционном для институциональной истории ключе, обе работы подчеркивают наличие «кризиса системы правления» в пореформенной России, отсутствие институциональной базы, которая устроила бы и самодержавную систему, и рациональную бюрократию,

[678] *Whelan H.* Alexander III and the state council. P. 183-184.
[679] См., в частности: *Smith-Peter S.* Imagining Russian regions: Subnational identity and civil society in nineteenth-century Russia. Leiden; Boston: Brill, 2018.

констатируя тотальный паралич правительства на самых высших уровнях, чему способствовало также противостояние МВД и Министерства юстиции, царя и Госсовета[680]. В принципе же речь шла о неспособности адаптироваться к изменениям, что означало провал модернизации в самом широком смысле.

В работах Уилан и Тарановского было показано, что правительство отнюдь не являлось инструментом дворянства и что законодательство контрреформ не было «продворянским», как утверждалось в русской дореволюционной и позднее в советской историографии. Главной целью контрреформаторов было усиление государственной власти путем установления бюрократического контроля. Этот вывод был принят и другими историками, изучавшими институт земских начальников – проблему явно дискуссионную, испытывавшую особенно сильное воздействие идеологических споров современников.

Если многие зарубежные и советские историки шли за современниками событий, характеризуя этот институт как «наступление дворянской реакции», нарушение принципов Великих реформ, то Дж. Йени, например, считал земских начальников «агентами бюрократического государства» и не видел здесь никакого возрождения власти помещиков над крестьянами. С точки зрения институционального подхода, введение нового института и отмена мирового суда в деревне представляли собой еще один шаг на пути к усилению правительственного контроля над крестьянством и дальнейшую бюрократизацию деревенской жизни.

Проведенный Д. Мейси статистический анализ социального состава земских начальников 1889–1913 гг. привел его к выводу, что эта группа была типичной по своему составу для местного чиновничества. Отличал ее лишь больший процент отставных военных, что и могло повлиять на высокий уровень «деспотизма и произвола», в чем обвиняли земских начальников.

[680] *Whelan H.* Alexander III and the state council. P. 201-202.

Однако кампанию против них развернуло, считает Мейси, именно правительство, когда в первые годы XX в. оно осознало тщетность своих усилий сохранить статус-кво в деревне и решило покончить с административной «опекой». Мейси показывает огромную разницу между идеалистическими намерениями «контрреформаторов» и практическими результатами их усилий. Более того, даже отмену мировых судов он считает мерой, принятой в условиях острого кадрового голода[681].

В работе Томаса Фоллоуза «Земство и бюрократия, 1890– 1904»[682] особенно заметно характерное для американской русистики стремление пересмотреть или даже «проверить на прочность» одну из концепций русской дореволюционной историографии, которые ранее некритически заимствовались западными историками. В данном случае в центре внимания находится оппозиция «власть / общественность». Рассматривая земства и бюрократию как две части одного целого – административного аппарата, автор приходит к выводу, что созданная дореволюционной либеральной публицистикой политическая по своей сути концепция, противопоставлявшая «власть» и «общественность», во многом искажает реальную картину. Изучая конкретные случаи противостояния земств и местной администрации, Т. Фоллоуз показывает, что земства не всегда были так «невинны», а бюрократы так «реакционны», как принято считать.

Исследователь рассматривает административные стороны законодательства земской контрреформы 1890 г. Серьезными следствиями контрреформы, пишет он, явились установление прямых контактов земств с Санкт-Петербургом и получение частными лицами права обжаловать действия земств в судебном порядке, вплоть до Сената. В статье анализируется большой массив судебных дел, рассматривавшихся в Сенате в

---

[681] *Macey D.* The land captains: A note of their social composition, 1889-1913 // Russian history. 1989. Vol.16, N 2-4. P.327-352.

[682] *Fallows T.* The zemstvo and the bureaucracy // The zemstvo in Russia. Cambridge, 1982. P.177–242.

1890–1904 гг., в которых принимали участие земства, бюрократия и местные жители. На губернском уровне политическое разделение между «либеральным» земством и «консервативной» бюрократией не просматривается в большинстве дел. Напротив, материал показывает, что обе стороны имели между собой гораздо больше общего, чем полагали либеральные публицисты и политики.

В то же время анализ взаимоотношений земств с Санкт-Петербургом подтверждает, что в данном случае оппозиция «власть / общественность» вполне уместна. Основываясь на архивных источниках, автор стремится объяснить причины растущей неприязни высших правительственных чиновников к руководству земств. В данном случае важным оказывается функциональный раскол внутри бюрократии – конфликт между МВД и министерством финансов, а также личный фактор. При Витте конфликт между земствами и центральной администрацией был сосредоточен в сфере налогов: министерство финансов стремилось направить все средства на индустриализацию страны, а земства боролись за расширение своих программ и увеличение персонала. С приходом в МВД Плеве внимание правительства сосредоточилось на борьбе с ростом революционной агитации, и противостояние власти и общественности перешло в политическую плоскость, что и вызвало выступление объединенной земской оппозиции.

Несколько в ином ключе подошел к исследованию проблемы контрреформ в области крестьянского и земского самоуправления Т. Пирсон. Он рассмотрел проблему реформирования местного самоуправления в ее протяженности, начиная с 1861 г. В таком контексте контрреформы предстают как очередная попытка решить проблему управления обширной страной в условиях острой нехватки человеческих и финансовых ресурсов.

Автор поставил себе целью показать «взаимодействие нескольких факторов в провинции и столице, которые привели к принятию Указа о земских начальниках и земской контрреформе»: административных,

институциональных (касающихся самих министерств и их властных функций) и идеологических (и здесь он берет в качестве опорного материала общественно-политические взгляды представителей высшей бюрократии, дворянства и таких публицистов, как Катков и Мещерский)[683]. Тем не менее попытка показать положение в губерниях сведена лишь к анализу поступающих в центр докладов и того, как они воздействовали на позицию представителей высшей бюрократии по тем или иным вопросам.

Сосредоточившись на высокой политике, автор детально проследил эволюцию проектов контрреформ и наглядно показал процесс принятия решений в правительстве. Одним из достижений книги явилось подробное освещение деятельности Кахановской комиссии как важнейшего этапа в формировании законодательства контрреформ.

Основной целью патерналистской бюрократической программы Толстого, в интерпретации Пирсона, было обеспечение поддержки самодержавия в деревне (как дворянством, так и крестьянством) и уничтожение «многовластия» министерств на местах путем создания эффективных органов власти под контролем МВД. Автор оспаривает продворянский характер политики Толстого и иначе освещает вопрос о влиянии А.Д. Пазухина на программу контрреформ. Он доказывает, что предложенная Пазухиным реорганизация земского представительства не являлась мерой принципиальной и была включена в проект реформы только потому, что отвечала целям Толстого заручиться поддержкой на местах.

Как считает Пирсон, дебаты вокруг проектов контрреформ ярко высветили те препятствия, которые стояли на пути правительства в его реформаторской деятельности: присущая бюрократии инертность и неприятие каких-либо перемен; нежелание высших чиновников даже в интересах дела отказаться от малой части своих полномочий; и, наконец,

[683] *Pearson T.* Russian officialdom in crisis.

идеологические противоречия внутри правительства по вопросу о направлении русского политического развития.

Он замечает, что проблема реформы местного самоуправления характерна для всех переходных обществ в процессе модернизации. По мнению Пирсона, для России конца XIX в. центральной проблемой являлась не политическая угроза существованию режима, а скорее необходимость мобилизовать социальную поддержку в деревне. Вслед за Дж. Йени он указывает на то, что в 1880-е годы правительство впервые повернулось лицом к деревне и интерпретирует проект Толстого как попытку организовать крестьянскую поддержку самодержавию[684]. Однако это положение не находит серьезного подтверждения в тексте книги.

Одной из слабых сторон исследования Пирсона явился узкий и достаточно традиционный подход к характеристике мировоззрения ведущих фигур в высших эшелонах власти, который сводится к анализу их взглядов по тому или иному вопросу в отрыве от общекультурного контекста. Более продуктивный подход был реализован в вышедшей годом позже монографии Ф. Вчисло[685]. В соответствии с задачей книги – «перенести понятие менталитета в сферу политической истории» – в основе интерпретаций автора лежит понятие политической культуры высших слоев общества, в первую очередь, бюрократии. Мировоззрение чиновничества Вчисло реконструирует, анализируя законодательные проекты, и выделяет два типа политической культуры, которые характеризуют просвещенных бюрократов-западников и так называемых «полицейских чиновников». (Это уже известные «модернизаторы» и «традиционалисты», приверженцы концепций правового и полицейского государства) и присущую им систему ценностей.

---

[684] Дж. Йени рассматривает создание института земских начальников как часть процесса бюрократического взаимодействия с крестьянством, что представляло собой серьезное усовершенствование и создавало инструмент для мобилизации правительством деревенского общества.

[685] *Wcislo F.W.* Reforming rural Russia.

В категориях политической культуры рассматривает Вчисло и политику самодержавия в области реформирования местного управления. Важным достижением историка стало выявление радикального поворота в системе ценностей самодержавной культуры, который произошел в начале 1880-х годов. На первый план выдвинулась власть самодержца и его личные отношения с двумя сословиями – дворянством и крестьянством. Приоритет личной власти нашел свое выражение в Указе о земских начальниках, который, в оценке Вчисло, все же не стал «необратимым разрушением Великих реформ», хотя и закрепил «сегрегацию» крестьянства[686]. Законодательство контрреформ усилило влияние «полицейских» чиновников во внутренней политике и отсрочило социальную трансформацию в России, но не было по сути своей реакционным феноменом. В конечном счете «собственность и индивидуализм – эти универсальные феномены» медленно сокращали разрыв между образованным обществом и крестьянством – двумя мирами, двумя разными культурами. В то же время материал книги показывает, что реформа «шла ко дну» не только из-за противодействия «полицейских чиновников», но и из-за оппозиции традиционалистского по своей политической культуре дворянства – и здесь автор следует за интерпретацией, выработанной его научным руководителем Л. Хеймсоном.

В отличие от историков, сосредоточивавших свое внимание на высокой политике и функционировании бюрократических элит и рассматривающих контрреформы как пример идеологического конфликта, исследователи законодательства или практической деятельности судебных учреждений и органов местного управления приходят к иным оценкам политики контрреформ. Большой вклад в исследование политики «подправления» Судебных уставов в 1866–1889 гг. внесли работы Уильяма Вагнера[687].

---

[686] *Wcislo F.* Reforming rural Russia. P. 114-115.

[687] *Wagner W.* Tsarist legal policies at the end of the nineteenth century: A study in inconsistencies // Slavonic and East European Review. 1976. Vol.54, N 3. P. 391–392; *Idem.* Marriage, property, and law in late imperial Russia.

Как указывал Вагнер, так называемые «новеллы» не носили принципиального характера и были направлены на расширение и усиление правительственного контроля над правосудием. По его наблюдениям, основные изменения и ограничения касались почти исключительно области уголовного права, и политических преступлений в том числе. Развитие гражданского права в этот период являло собой разительный контраст с уголовным: юрисдикция судов по гражданским делам постоянно расширялась, в них были включены вопросы, касающиеся наследования, залога, акционерных компаний и трестов, трудовых конфликтов, семейных дел и пр. Все эти процессы сопровождались соответствующим развитием законодательной базы, знаменуя собой качественно новую фазу в эволюции «правового государства» в России. По мнению Вагнера, именно интересы экономического развития, в сочетании с боязнью его отрицательных побочных эффектов, явились важнейшим фактором формирования пореформенной политики правительства по отношению к системе правосудия.

К таким выводам пришел и Т. Пирсон в своем исследовании деятельности мировых судов с 1866 г. и до их отмены в 1889 г. Он констатировал, что в сельской местности мировым судьям не удалось обеспечить задуманный реформой 1864 г. правопорядок[688]. По существу это был провал мирового суда как института, и среди причин автор называет «отсутствие достаточно усердного и политически надежного (с точки зрения правительства) персонала»; местные «институциональные конфликты, порожденные фрагментарными реформами 1860-х» и во многом являющиеся отголосками конфликтов министерств; и, наконец, тотальное невежество, бедность и пассивность сельского населения[689].

---

[688] *Pearson T.* Russian law and rural justice: Activity and problems of the Russian justices of peace, 1865-1889 // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1984. Bd. 32. S. 52-71.
[689] Ibid. S. 54-55.

Анализ кадровых и организационных слабостей мировых судов позволил автору предположить, что не только отмена этого института, которая обычно трактуется как покушение на либеральные основы Судебных уставов 1864 г., но и все контрреформы в целом являются «наиболее прагматическими» в ряду тех законодательных мер по ликвидации административного и правового «хаоса» в губерниях, которые предпринимались правительством с конца 1870-х годов. По его мнению, контрреформы имели целью улучшить качество управления при ограниченном количестве персонала, и достигнуть этого можно было путем бюрократизации управленческой структуры. Указ о земских начальниках Пирсон считает примером победы бюрократической централизации. Он воплотил в себе веру Александра III в то, что бюрократизация местного управления и юстиции эффективнее, чем заимствованные с Запада сложные правовые процедуры, обеспечат уважение к самодержавию в деревне.

С иной точки зрения исследовала деятельность мирового суда Санкт-Петербурга Джоан Нойбергер, занимающаяся изучением культуры городских низов[690]. Ее интересует формирование правовой культуры в дореволюционной России, и в ее докладе на конференции, посвященной истории Великих реформ, было продемонстрировано смещение фокуса исследования с социальных структур к их культурному компоненту, что отражает приход социально-культурной истории на смену истории социально-структурной.

Мировой суд автор, напротив, считает «самым ярким примером духа судебной реформы». Действительно, если ограниченной целью реформы была замена патриархальной, устаревшей и коррумпированной системы правосудия современной, независимой юстицией по западному образцу, то главной и стратегической ее целью было внедрить уважение к закону в

[690] *Neuberger J.* Popular legal cultures. The St.Petersburg mirovoi sud // Russia's Great reforms, 1855-1881. Bloomington, 1994. P. 231-246.

русском обществе. И именно мировые суды, по замыслу реформаторов, должны были стать своего рода «школой уважения к личности и закону». Если же оперировать современными терминами, то авторы реформы надеялись, что «введение «правления закона» (Rechtsstaat), институализированное в новых судах, создаст юридически грамотное население, которое может быть ассимилировано в гражданское общество»[691].

Реформаторы понимали, насколько трудна их задача, поскольку большинство населения страны в повседневной жизни руководствовалось традиционными понятиями о правосудии, основанными на обычном праве. Призванный «наводить мосты между народом и образованной частью общества», мировой суд занимал промежуточное положение между судом присяжных, действующим на основе законодательных актов, и крестьянским волостным судом, основывающимся на обычном праве. На примере петербургского мирового суда Дж. Нойбергер рассматривает «противоречия и ограничения», изначально заложенные в судебных уставах 1864 г. их создателями и отразившиеся в той правовой культуре, которая стала развиваться в пореформенной России. Автор отмечает типичную для судебной реформы комбинацию «патернализма и институционализации», которая была характерна и для мировых судов.

Каждодневная практика взаимодействия в мировых судах местного обычая с официальным законом, язык и ритуалы, принятые на заседаниях, способствовали выработке новой правовой культуры и широкому распространению правосознания. Доступность и равенство всех перед законом были основополагающими принципами деятельности мирового суда, что считалось важнейшим для его просветительской миссии. Дж. Нойбергер констатировала тот факт, что петербургский мировой суд все чаще стал выносить решения «по закону», а не «по совести» или «личному убеждению». Все это свидетельствует о том, что правовая культура некоего

[691] Ibid. P. 231-232.

рода прижилась в городском обществе позднеимперской России, пишет автор, причем «корни ее гораздо глубже, чем мы привыкли считать»[692]. В целом, по ее мнению, у многих сохранялось амбивалентное правосознание пореформенной эпохи, которое внесло свой вклад в формирование совершенно новой культуры городских низов[693].

Эти выводы согласовались с заключениями социальных историков, занимавшихся изучением крестьянских волостных судов. Уделяя особое внимание тем изменениям, которые внесли в судебную практику Временные правила о волостных судах 1889 г. (тесно связанные с Указом о земских начальниках), К. Фрайерсон интерпретирует их как попытку победить «деревенскую анархию». Эти указы вносили существенный элемент формальности в судебную процедуру, что для реформаторов, как она считает, являлось противовесом и профилактикой произвола. К. Фрайерсон подчеркивает сознательную ограниченность целей реформы в отношении правового образования крестьян, которые сводились лишь к тому, чтобы «ближе познакомить крестьян с законом и приучить их к процедуре обращения к нему для защиты своих интересов»[694]. Статистика увеличения количества дел в волостных судах и сообщения о стандартизации судебных процедур показывают успех этой меры. К. Фраерсон считает, что к концу века можно говорить уже о некоторых успехах официального правосудия, свидетельствующих о нарождающейся общенациональной правовой культуре, параллельно с изменениями в экономических, семейных, гендерных и общинных структурах.

Исследования правосознания приводят к новой, более детализированной и взвешенной оценке как результатов Великих реформ, так и причин контрреформ и их последствий. Для социальных историков важен не только социальный, но и культурный компонент, и с этой точки зрения постепенное

[692] Ibid. P. 233, 241.
[693] Ibid. P.242.
[694] *Frierson C.* «I must always answer to the law…» P. 332.

формирование новой, очень своеобразной правовой культуры в крестьянской и городской среде расценивается ими как продвижение к построению гражданского общества. Это движение было очень постепенным, и процесс формирования правосознания, близкого к европейским нормам, так и не был закончен к 1917 г.

Исключив политический аспект из анализа контрреформ и сосредоточившись на изучении городских низов и других общественных групп (для которых идеологическая сторона намерений контрреформаторов часто была неясна и получала совершенно иную культурную интерпретацию), социальные историки не отвергают все же термин «контрреформы», но воспринимают его как достаточно условный, как принятый в историографии. В статье Т. Фоллоуза земская контрреформа также «деидеологизируется» и предстает обычным правительственным актом, направленным на улучшение работы органов местного самоуправления, не лишенным, конечно, и определенных недостатков[695]. Пожалуй, наиболее выпукло условность терминологии контрреформ выступает в работе Грегори Фриза о приходском духовенстве в XIX в.[696].

Предложенный социально-культурными историками взгляд «снизу» дал возможность трактовать контрреформы как наиболее прагматические меры, которые должны были откорректировать законодательство Великих реформ, во многом списанное с западных образцов, в соответствии с запросами российской повседневной жизни. С этой точки зрения реформаторский процесс в России XIX – начала XX в. выглядит гораздо более успешным, чем это было принято считать. В данном случае социальная история с ее ревизионистским потенциалом выглядит в чем-то необходимой прививкой против идеологизации, которая превалировала не только в советской, но и в американской историографии в годы холодной войны.

---

[695] *Fallows T.* The zemstvo and the bureaucracy.
[696] См.: *Freeze G.* The parish clergy in nineteenth-century Russia.

Куда более идеологизированной (и дискуссионной) темой являлись реформы, проводившиеся самодержавием после революции 1905 г. и получившие условное название «столыпинских». В советской историографии сам Столыпин и его политика обычно ассоциировались с наступлением реакции после революции 1905 г., подчеркивался репрессивный характер политического курса царизма, а аграрные реформы трактовались как безусловный провал. В зарубежной русистике фигура Столыпина, неразрывно связанная с проблемой русской революции и падения царского режима, получала достаточно противоречивые интерпретации. В 1970–1980-е годы заметно возрастает интерес к Столыпину, увеличивается количество публикаций о нем и его политике, в том числе и источников. Перестройка и реформы Горбачева, а затем распад Советского Союза дали, казалось бы, новый импульс развитию историографии о Столыпине, связав его преобразования с событиями в современной России. Однако большинство вышедших в последнее десятилетие книг принадлежат перу историков среднего поколения и повторяют старые оценки[697].

Исследования американских историков-русистов среднего поколения концентрировались главным образом вокруг нескольких сюжетов: аграрные реформы, Столыпин и парламентаризм, национальная политика. Главным для многих исследователей был вопрос, что произошло бы, если бы Столыпин не был убит и получил в свое распоряжение «20 лет покоя». Многие авторы считают Столыпина «последним шансом» мирной трансформации России, который был трагически утрачен.

Эти вопросы нашли свое отражение в первой англоязычной биографии Столыпина, написанной Мэри Конрой[698], в которой рассматривается его

---

[697] *Waldron P.* Between two revolutions: Stolypin and the politics of renewal in Russia. DeKalb, 1998; *Asher A.* P.A.Stolypin: The search for stability in late imperial Russia. Stanford, 2001; *Korros A.* A reluctant parliament: Stolypin, nationalism and the politics of the Russian imperial State Council, 1906-1911. Lanham, 2002.

[698] *Conroy M.S.* Peter Arkad'evich Stolypin.

деятельность как практического политика сначала на посту губернатора, затем как главы правительства. Характеризуя Столыпина как «человека действия», Конрой отмечает консерватизм его идей и одновременно показывает, что большинство его политических целей так и не были реализованы. Причины, по мнению автора, были институционального свойства: самодержавная власть царя, противодействие Государственной думы и Государственного совета, вообще бюрократический характер подготовки нового законодательства, не говоря уже о таком факторе, как обширность территории страны, затруднявшей контроль премьер-министра над губернаторами и полицией.

Интерес зарубежных историков к столыпинским реформам традиционно фокусировался на их экономических, юридических и административных результатах. С точки зрения теории модернизации столыпинские реформы выглядели ответом на экономический и политический кризисы, характерные для модернизирующейся страны. Их цель – повернуть традиционное и патриархальное крестьянство лицом к современным ценностям, втянуть его в мир частной собственности и рыночной экономики и в конечном счете – установить в деревне закон и порядок. В экономическом отношении это обычная программа развития национальной экономики с акцентом на подъеме производительности в аграрном секторе. Как и было принято в историографии тех лет, столыпинские реформы трактовались как конфликт: либералов и реакционеров, модернизаторов и традиционалистов, наконец, буржуазных и феодальных ценностей. В 1970–1980-е годы появляются работы, в которых очевидно стремление пересмотреть устоявшиеся оценки и клише, выйти «из плена» тех политических дискуссий, которые сопровождали проведение столыпинских реформ, и перестать воспринимать буквально те источники (в особенности прессу), на которых базируются конкретно-исторические исследования.

Одной из первых была монография Джорджа Йени[699], в которой автор рассматривал реформы Столыпина с точки зрения теории организаций. Он определяет аграрную реформу как «бюрократическое мероприятие», в основе которого лежал процесс взаимодействия между местными чиновниками и крестьянством. Примером такого взаимодействия было проведение группового землеустройства, первоначально не входившего в планы правительства и идея которого, по его мнению, родилась в крестьянских массах. Наличие продуктивной системы «обратной связи», которая позволяла изменять процедуры проведения реформ по ходу дела, привело его к выводу, что реформа была успешной[700].

В книге подробно рассматриваются те идеи, которые лежали в основе законодательства, в первую очередь представления чиновников о состоянии крестьянского хозяйства на рубеже веков. Подход Дж. Йени сознательно лишен идеологии и идеологизации, поскольку, по его мнению, чиновники всего лишь «рядили свои политические склоки в идеологические одежды» [701]. Говоря о работе двух параллельных учреждений – Особом совещании Витте и Редакционной комиссии МВД – по подготовке аграрной реформы, он отказывается от их противопоставления и, наоборот, ищет и находит то, что их объединяло (мотивы, принципы сбора информации, рассматриваемые вопросы, результаты, наконец, тот факт, что действовали одни и те же люди)[702]. Йени исследует язык чиновников, используемый ими в политической борьбе, выделяя ряд стереотипных «матриц» – образов, которые должны были воздействовать на столичные умы.

Прослеживая формирование комплекса реформаторских проектов, автор основное внимание все же уделяет процессу проведения аграрной реформы до 1914 г. Он показывает, как после 1906 г. происходило постепенное

[699] *Yaney G.* The urge to mobilize.
[700] Ibid. P. 356–358.
[701] Ibid. P. 202.
[702] Ibid. P. 198-201.

замещение чиновников специалистами в области сельского хозяйства, в первую очередь агрономами. Интересно, что проведение в жизнь аграрной реформы не закончилось для автора с началом Первой мировой войны. Землеустройство продолжалось в годы Гражданской войны, получило новый импульс в 1920-е годы и было окончательно прекращено лишь с началом коллективизации, когда было разрушено и само крестьянское общество[703].

Йени подвергает пересмотру буквально все привычные постулаты советской и либеральной историографии: о целях правительства, о государственном насилии при проведении реформы, о роли земских начальников на первом ее этапе и т.д., выделяя отдельными параграфами полемику с советскими историками, прежде всего с С.М. Дубровским как самым влиятельным тогда специалистом по столыпинской реформе. Показательно, что линии его интерпретаций были подхвачены уже в 2000-е годы.

Оценивая действия высшей и местной бюрократии, Йени отмечает, что реформаторы часто ощущали некий разлад между своими намерениями, которые выражали их идеалы, и реальным положением дел, когда вместо того, чтобы строить, приходилось разрушать[704].

Этот парадокс несколько в иной плоскости раскрыл Дейвид Мейси, один из ведущих зарубежных специалистов по аграрным отношениям в России конца XIX – начала XX в. Он пишет, что при изучении столыпинских реформ была широко распространена тенденция трактовать намерения правительства исходя либо из тех способов, каким проводились реформы, либо на основе их немедленных социальных результатов. Так, общепринятым было считать выделение «кулаков» из общины доказательством того, что именно это и являлось намерением правительства. Столь же ошибочно было делать заключения о крестьянских настроениях на основе подсчета случаев

[703] Ibid. P. 6.
[704] Ibid. P. 558.

недовольства или беспорядков в годы проведения реформ. И наконец, как замечают и другие специалисты, невозможно сделать какие-либо корректные в научном отношении выводы относительно провала или успеха аграрной реформы на основании статистики, поскольку слишком мал период времени ее осуществления[705].

При решении вопроса об успехе или провале столыпинских реформ следует учитывать, считает Мейси, что они были результатом политического компромисса и в результате содержали в себе три отдельных и иногда противоречащих друг другу цели. Во-первых, это были цели экономические, направленные на решение так называемого «аграрного вопроса», который возник после отмены крепостного права. Экономическая программа была сформулирована либерально-консервативными чиновниками в министерствах земледелия, внутренних дел и финансов незадолго до революции 1905 г. и имела своей целью сделать более интенсивным крестьянское земледелие, повысить его продуктивность путем изменений в землепользовании и развития «культа труда». Во-вторых, существовали долгосрочные политические цели реформ, которые вышли на повестку дня в дни революции 1905 г., когда особенно громкими стали требования крестьян о дополнительных наделах. Предполагалось насаждать среди крестьянства понятия о частной собственности и таким образом оградить помещиков от посягательств на их владения. И, наконец, с приходом Столыпина на первый план выдвинулись сиюминутные политические цели: сделав аграрную реформу главным пунктом своей центристской программы, премьер хотел создать «политический и парламентский альянс» умеренных левых и правых

[705] *Macey D.* Government actions and peasant reactions during the Stolypin reforms // New perspectives in modern Russian history: selected papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990 / Ed. by Robert B. McKean. N.Y., 1992. P. 135; *Idem.* «A wager on history»: The Stolypin agrarian reform as process // Transforming peasants: Society, state and the peasantry, 1861-1930. Selected papers from the Fifth World Congress of Central and East European studies, Warsaw, 1995 / Ed. by J.Pallot. N.Y., 1998. P. 149-173.

партий и крестьянства. Долгосрочной политической целью Столыпина, по мнению Мейси, было создание правового государства и конституционной формы правления[706]. В целом он исходит из того, что главной задачей Столыпина являлось не создание «политически безупречной» реформы (что невозможно), а управление чрезвычайно сложным процессом экономической, политической и социальной трансформации России.

Именно в результате выдвижения на первый план краткосрочных политических целей были утрачены изначально заложенные в реформе принципы постепенности (укрепление наделов и уничтожение чересполосицы, создание отрубов и затем – частных крестьянских хозяйств, хуторов), добровольности и «экспериментальности» всего процесса преобразований, в ходе которого и правительство, и крестьянство должны были учиться друг у друга. Возник конфликт между целями реформ и методами их проведения, который чрезвычайно усложнил картину происходившего. «Поэтапность» реформы принимала новый облик в ходе ее проведения, когда происходило смещение акцентов с одних мероприятий на другие, возникали новые цели.

Долгое время на оценку результатов аграрных преобразований в зарубежной русистике оказывали сильное влияние как позиции современников, так и советская историография. Адресуясь к подробнейшим сводкам крестьянского сопротивления столыпинским реформам в работах советских историков, Мейси показывает, что далеко не все выступления можно интерпретировать как принципиальную «оппозицию» мероприятиям правительства. Чаще всего возникали конфликты интересов внутри самого крестьянства, что было вызвано вторжением принципов индивидуализма в крестьянскую жизнь. Мейси отмечает наличие и иных конфликтов: центральной администрации и местных органов землеустройства, местных чиновников и той или иной группы крестьян, однако они ни в коей мере не

[706] *Macey D.* Government actions …P.136.

свидетельствуют о защите крестьянами общины. Скорее в данном случае попытки государства перестроить деревню открыли «ящик Пандоры» и выпустили наружу те конфликты, которые и так давно существовали в недрах крестьянского общества. В то же время жесткие методы правительства также, в свою очередь, вызывали оппозицию крестьянства, а попытки местной администрации проводить «сплошную индивидуализацию» деревни активно пресекались центральными органами власти. В целом, полагает Мейси, вызванный реформами хаос свидетельствовал скорее о здоровом состоянии крестьянского общества, чем о его разложении[707].

Оценки Мейси во многом созвучны тезисам социальных историков, изучавших крестьянскую общину. В книге Дороти Аткинсон[708] демонстрируется, что община не была и не могла быть разрушена в итоге усилий правительства начала XX в. Представляя собой всестороннюю взаимосвязанную социальную структуру, община была крайне устойчивым институтом, сопротивлявшимся нововведениям, которые грозили самому существованию крестьянства. Однако если Д. Аткинсон в своей оценке сущности крестьянской общины следует теоретическим постулатам М. Вебера и модернизационной парадигме, признавая этот институт «отжившим» и сопротивляющимся силам модернизации, то в работах более молодых историков-крестьяноведов превалируют прямо противоположные взгляды. Наиболее показательными в данном случае являются работы британского историка Джудит Пэллот, в которых даются резко отрицательные оценки утопической «социальной инженерии» царского правительства начала XX в. в русской деревне[709]. Изначально крайне негативно относясь к любому внешнему вторжению в жизнь крестьянского

[707] *Macey D.* Government actions… P.163-164.
[708] *Atkinson D.* The end of the Russian land commune, 1905-1930. P. 382.
[709] *Pallot J.* Did the Stolypin land reform destroy the peasant commune? // New perspectives in modern Russian history. N.Y., 1992. P.130; *Pallot J.* Land reform in Russia, 1906-1917: Peasant responses to Stolypin's project of rural transformation. Oxford, 1999. P.251.

мира, она ставит под вопрос релевантность теории модернизации. Всякие попытки разрушить сбалансированный организм крестьянской общины представляют для нее несомненное зло, и потому фактически все проявления сопротивления крестьянства расцениваются ею как оппозиция аграрным реформам. Пэллот подчеркивает непонимание царскими чиновниками всех плюсов общинного землевладения, так же как и крестьянской «стратегии избежания риска», и считает, что и без законов 1906–1911 гг. произошли бы те же изменения: крестьяне сами, добровольно и постепенно, превратились бы в фермеров и лояльных граждан, как это представлял себе Столыпин. Однако такая постановка вопроса очевидно непродуктивна для исследования правительственной политики.

Д. Мейси, который рассматривает все участвовавшие в реформах стороны, подчеркивает, что важнейшим фактором в подготовке законодательства явилась революция в восприятии аграрной политики, которая произошла на рубеже веков. Новое поколение бюрократов (либеральных и просвещенных, как через запятую называет их Мейси), рожденных в 1860-е годы, начавших после получения высшего образования службу в местных учреждениях в 1880-х, представляли собой «динамичную силу» подготовки аграрной реформы. Вывод Мейси выглядит вполне созвучным выводам его коллег об участии бюрократии в Великих реформах и даже гораздо оптимистичнее. Он считает, что следует принять новую концепцию в отношении по крайней мере этого сегмента бюрократического сословия, которое не было «стеной» между царем и обществом, а представляло собой творческого новатора, отзывчивого на требования изменений, которые исходили от общества. Он, однако же, считает, что столыпинские реформы – это особый случай, и на их основе нельзя делать широкие обобщения об эффективности российской бюрократии в целом и о

направлении развития России накануне Первой мировой войны. Скорее это было исключение из общего правила[710].

Социальные объяснения нараставшему преобладанию полицейской ментальности в среде бюрократии дает Ф. Вчисло. Это, во-первых, усилившийся после революции 1905 г. традиционализм дворянства, которое стало рассматривать правовое государство как угрозу. Во-вторых, тот факт, что западные ценности, которые насаждались такими реформаторами, как Витте и Столыпин, не могли укорениться в реалиях российского сословного общества. Действия реформаторов неизбежно усиливали нестабильность старого режима, что неотвратимо вело к революции. Наконец, сила многовековой самодержавной традиции также не позволяла освободиться от тех ценностей, которые мешали адекватно отвечать на вызовы XX в. – «несмотря на самые лучшие старания самых лучших государственных деятелей»[711].

Наиболее сконцентрированно социальная интерпретация политики Столыпина дана в программной статье Грегори Фриза «Сословная парадигма», в которой он пересматривает общую концепцию социальной истории дореволюционной России[712]. В его трактовке, Столыпин, приняв эстафету у Витте, энергично пытался сокрушить юридические барьеры, разделявшие сословия, и стремился заручиться поддержкой имущих классов, а не сословий. Особенно важным в этом отношении Фризу представляются планы Столыпина реформировать местное управление и судебные органы, что должно было покончить с привилегированным положением дворянства и изолированным и неравноправным положением крестьян. Распространив принцип «всесословности» на административную инфраструктуру,

---

[710] *Macey D.* Government and peasant in Russia, 1861-1906. P.249.
[711] *Wcislo F.W.* Bureaucratic reform before World War I // Russian history. 1989. Vol.16, N 2-4. P377-387.
[712] *Фриз Г.* Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика. Самара, 2000. С.121-162.

Столыпин, таким образом, должен был создать более прочную основу для самодержавия. Однако дворянство как в провинции, так и в центральных учреждениях, дало решительный отпор этим планам и способствовало уходу Столыпина с политической сцены. Сословность российского общества, которая к началу XX в. уже была достаточно размыта, но сохраняла сильные позиции как на уровне законодательства, так и в массовом сознании, признается Фризом самым серьезным препятствием на пути политической модернизации царского режима. Она была полностью несовместима с понятием гражданского общества, неотъемлемого условия демократии[713].

Итоги исследованиям российских реформ в зарубежной историографии подвел А. Рибер, выступавший на конференции в Вашингтоне в 1990 г. в качестве комментатора. Он выделил восемь элементов, характеризующих реформаторскую традицию в России начиная с Петра I. Во-первых, инициатива всегда исходит сверху и является ответом на системный кризис; во-вторых, всегда необходим период подготовки реформы, который может быть краткосрочным и долгосрочным; в-третьих, особенностью реформаторской традиции является отсутствие целостного и разработанного плана реформы, она разрабатывается временными органами (ad hoc) и часто буксует и идет в другом направлении. Четвертый элемент – борьба в бюрократических кругах, которую нельзя понимать как простое противостояние консерваторов и либералов. Пятый элемент выходит на сцену, когда внутриправительственная борьба выплескивается наружу и получает освещение в прессе. Шестой элемент – оживление дискуссий по поводу «особого пути» развития России (Sonderweg). В этом Рибер не видит ничего плохого – каждая страна шла своим путем, как ничего плохого не видит он в седьмом элементе – тезисе о «незаконченности» российских реформ, поскольку никакая реформа по определению законченной быть не может. Наконец, восьмой элемент – реакция на реформу «снизу», при оценке

[713] Там же. С.157-160.

которой необходимо учитывать огромное разнообразие населения страны (включая региональное разнообразие русского крестьянства). По мысли Рибера, эта модель может быть приложена и к советскому периоду, однако сталинизм представляет собой отклонение от нормального хода исторического развития, когда имел место разрыв в реформаторской традиции[714].

Безусловно, модель Рибера достаточно интересна, но скорее с точки зрения «практического» подхода к анализу прошлого, который проявился на конференциях рубежа 1980–1990-х годов. С сочувствием относясь к горбачевским реформам, историки тогда надеялись, что лучшее знание российской и советской истории поможет в решении сложных задач переходного периода. Однако опубликованные материалы конференций показали, что прямые исторические аналогии невозможны, и не следует ожидать многого от так называемых «уроков истории». Более того, грандиозные ожидания в отношении собственно исторического синтеза эпохи реформ также не реализовались. На конференциях почти не было предложено новых объяснений и интерпретаций уже известных событий. Скорее имело место подведение итогов сделанного в 1960–1980-е годы, что окончательно утвердило более позитивный взгляд на российские реформы и существенно скорректировало традиционные оценки. По сути, конференции отразили переходный характер как самого времени, так и состояния исторической науки.

Распад СССР нанес сокрушительный удар по модернизационной парадигме. Сторонники теории тоталитаризма торжествовали тогда победу, утверждая, что «великий крах» 1989–1991 гг. доказал невозможность реформирования коммунизма и, соответственно, опроверг представления приверженцев теории модернизации, полагавших, что Советский Союз медленно, но устойчиво прогрессировал по направлению к свободе и

[714] *Rieber A.* The reforming tradition… P. 237-243.

процветанию. Одновременно он вызвал определенный кризис идентичности среди историков-русистов, заставивший их критически пересмотреть те исследовательские подходы, которые применялись в прежнее время. Критика теории модернизации, которая никогда не утихала, вышла в конце 1980-х – начале 1990-х годов на новый виток.

Как и любая другая теория, претендующая на объяснение исторического процесса, парадигма модернизации имеет свои возможности и пределы. Она хорошо сочеталась с государственническим подходом, присущим политической и институциональной истории, но оказалась плохо совместима с социальной историей, которая заняла ведущее место в зарубежной русистике к началу 1980-х годов. Кроме того, углубленное исследование российских исторических реалий все чаще приводило к заключению, что модернизационная модель имеет ограниченное применение при изучении истории России.

Детерминистский и телеологический подход к истории имеют глубокие корни и органически связаны с позитивизмом, который занимал преобладающее положение в зарубежной русистике 1960–1970-х годов, но постепенно начал размываться в 1980-е. Социальная история, занявшая к этому времени ведущее положение в американской русистике, существенно изменила угол зрения исследователей.

Предмет интереса этой дисциплины – исследование социальных слоев и групп Российской империи и присущих им культурных моделей, изучение «внутренних» факторов структурного и культурного характера в противоположность «внешнему вызову», который, согласно теории модернизации, стимулировал исторический процесс в России. Для социальной истории характерен взгляд «снизу», и, соответственно, инициативная роль государства в процессе трансформации страны и «высокая» политика выпадали из предметного поля науки. Избегая употребления термина «модернизация», социальные историки предпочитали

говорить о социальном «сдвиге» и исследовать такие его параметры, как развитие образования и книжной культуры, изменения в положении женщины и в образе жизни разных социальных слоев.

Не соответствовали новым веяниям и исследования российских государственных и общественных институтов. Находясь под обаянием традиции русской государственной школы, историки были склонны исследовать лишь так называемые «формальные» организации и фиксировали построение «современных» институтов, которые являются своего рода «маркерами» возникновения общества современного типа. Эти формальные организации сопоставлялись с европейскими образцами, причем в презентистском ключе – на предмет соответствия тем либеральным концепциям об интеграции современного общества, которые бытовали в то время в социальных науках.

По мере развития исследований пришло понимание, что русская действительность и русская история не исчерпываются лишь эти аспектом и обнаруживают, с одной стороны, глубокое неприятие формальных организаций, с другой – существование иных, неформальных институтов. Таким образом, принятый в институциональной истории подход оставлял за пределами исследования большие пласты действительности.

Однако нельзя не признать, что в изучении формальных организаций зарубежная, и прежде всего американская, русистика достигла значительных результатов, особенно если учесть почти полное отсутствие исследований подобного рода в советской историографии. Институциональные историки показали, что собой представляли властные структуры Российской империи и как они функционировали. Взгляд «сверху», конечно, ограничивал предмет их исследований, и работы, выполненные в русле социальной истории, существенно дополняли картину.

В наступившую новую эпоху, когда произошли кардинальные изменения и в статусе самой дисциплины Russian studies, и в тех подходах,

которые начали применять историки, тема «бюрократия и реформы» утратила свою актуальность. Однако рассмотренная историография не просто артефакт 1960–1980-х годов: накопленный и осмысленный ею материал имеет непреходящую ценность, в том числе и практическую.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи

Большакова Ольга Владимировна

История императорской России в зарубежном россиеведении: теории, источники, интерпретации (1940-2010-е годы)

Специальность 07.00.09 – Историография, источниковедение
и методы исторического исследования

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
доктора исторических наук
Том 2

Научный консультант:
д.и.н., профессор Н.Б. Селунская

Москва – 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Третий этап в развитии зарубежной историографии России: После холодной войны 3

5.1. Русистика после распада СССР: Новое лицо дисциплины 3

5.2. Историографические «повороты» в зарубежной русистике 35

5.3. Старые темы в новом методологическом контексте 81

Глава 6. Россия как многонациональная империя: современные зарубежные исследования 123

6.1. «Имперский поворот» в изучении истории России 123

6.2. Проблема управления империей и ее интерпретации в зарубежных исследованиях 150

6.3. Распад Российской империи: Современные трактовки 191

Заключение 226

Список использованных источников и литературы 241

Глава 5. Третий этап в развитии зарубежной историографии России: После холодной войны

5.1. Русистика после распада СССР: Новое лицо дисциплины[1]

После окончания холодной войны изучение истории России на Западе, и прежде всего в США, вступило в новую фазу, в которой к настоящему времени определенно просматриваются два этапа: «революционные 1990-е» и наступивший в новом тысячелетии период относительной стабильности, который характеризовался «несомненной тягой к консенсусу»[2]. В последние

[1] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Российская империя: Система управления. (Современная зарубежная историография). Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. М., 2003; Большакова О.В. «Замечательное десятилетие»: 1991 год и изучение истории дореволюционной России в США (Аналитический обзор) // Историческое знание на рубеже столетий / ИНИОН РАН. М., 2003. С. 182–204; *Большакова О.В.* Новая политическая история России: Современная зарубежная историография: науч.-аналит. обзор. М.: ИНИОН, 2006; *Большакова О.В.* О новой концепции истории России в современной американской историографии // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2009-2010 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2012. С.42-70; *Большакова О.В.* История России XX в. в США: Темы и парадигмы// // Зарубежное россиеведение / Под ред. Безбородова А.Б. М., 2012. С.370-397; *Большакова О.В.* Проблема «Россия и Запад» в контексте «транснационального поворота» (о двух новых книгах американских историков) // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2011-2012 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2013. С.214-224; *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны: Монография. М.: ИНИОН РАН, 2013; Большакова О.В. Russian studies: О терминах и не только // Российская история. 2013. № 1. С. 147-151; *Большакова О.В.* Другая история: Современная американская историография России // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2014. Т.5. Вып. 7 (30) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840000838-0-1. (Дата обращения: 17.12.2001); *Большакова О.В.* Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Вып. 6. М., 2016. С. 353-385; *Большакова О.В.* Российская империя в современных исследованиях: Евразийская парадигма (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История: РЖ / РАН. ИНИОН. 2018. S1. С. 79–98. *Большакова О.В.* Кризис российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171; *Большакова О.В.* Исследования России/СССР и стран Восточной Европы после холодной войны: новое лицо дисциплины // Roczniki Humanistyczne. 2021. T. LXIX, N 7. S. 35-48.

[2] *Kivelson V., Petrone K., Kollmann N., Flier M.* The use and abuse of dominant paradigms in Muscovite cultural studies // The new Muscovite cultural history: A collection in honor of Daniel B. Rowland / Ed. by Kivelson V. et al. Bloomington, 2009. P. 10–11.

несколько лет ситуация явно изменилась, однако двадцатилетие 1990-2000-х годов уже с уверенностью можно назвать «золотым веком» зарубежной русистики. В этот период было выпущено огромное количество серьезных научных работ о России и странах постсоветского пространства, которые отразили новейшие тенденции и достижения мировой историографии[3].

Для зарубежных специалистов по региону два события имели почти равное символическое значение: падение Берлинской стены в ноябре 1989 г. и подписание в декабре 1991 г. Беловежских соглашений, что означало окончание холодной войны и исчезновение барьера между «коммунистическим Востоком» и «капиталистическим Западом». Это имело серьезные последствия для Russian studies, которые, с точки зрения государства, были нацелены на изучение потенциального «врага», что подразумевало щедрое финансирование. С крушением коммунизма дисциплина лишилась своего привилегированного положения и была вынуждена на общих основаниях интегрироваться в научное сообщество. Кризисные явления, наблюдавшиеся в начале 1990-х годов в русистике, носили как институциональный, так и методологический характер. Третий, не менее важный компонент – эмоционально-психологический.

В годы перестройки во всем мире возник огромный интерес к тому, что происходило в Советском Союзе. Достаточно узкое по профессиональным меркам и очень пестрое в дисциплинарном отношении научное сообщество зарубежных русистов почувствовало не только свою сопричастность к «великим событиям», но и поддержку «простых людей». Как вспоминала Марианна Холдин, занимавшая в 1995 г. пост президента Американской ассоциации содействия славянским исследованиям, круг людей, с которыми она профессионально контактировала, расширился тогда чрезвычайно.

[3] Библиографический указатель, охватывающий североамериканские монографии и сборники, посвященные истории России и СССР и вышедшие в 1992-2012 гг., содержит 1027 названий рецензированных в научных журналах работ. См.: *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны. М., 2013. С. 181-238.

Участились поездки в Россию и в страны Восточной Европы, оттуда также приезжало много людей, на постоянное жительство и по научному обмену, который расширился необыкновенно. Это было, по ее словам, «незабываемое время» – полное надежд, оптимизма и энергии. Однако беспокоили «тревожные вопросы»: как происходящие изменения отразятся на нашей работе? Как нам теперь определять нашу область исследования на новой карте мира? Утратят ли правительство и фонды интерес к изучаемому нами региону? Иссякнет ли финансирование? И не иссякнет ли интерес к русскому и другим славянским языкам у американцев, которые никогда не были особенно расположены к изучению иностранных языков?[4]. Ответы на эти вопросы сохранили свою актуальность и сегодня, но в начале 1990-х годов они стояли особенно остро.

С исчезновением первого в мире социалистического государства исчез и сам объект изучения, так что многие специалисты испытали своего рода «кризис идентичности». Особенно остро проблема выживания стояла перед советологией, и здесь мнения варьировали от констатации ее «своевременной кончины» до призывов «сомкнуть ряды» и «ответить на вызовы современности»[5]. Однако научная инфраструктура, созданная в годы идеологического противостояния, была настолько мощной, что научная жизнь в центрах по изучению СССР и стран Восточной Европы продолжалась, хотя и переживала достаточно драматические коллизии[6]. Так что процесс перестройки дисциплины, начавшийся после распада СССР, имел под собой достаточно прочную институциональную основу. Его можно

---

[4] *Choldin M.T.* Celebrating ASEEES: Reflections on the 1990s // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. October 2018. Vol. 57, N 5. P.5.

[5] См., в частности: Beyond Soviet studies / Ed. by Orlovsky D. Washington, 1995.

[6] О структуре исследовательских и образовательных институций в англоязычных странах, включая библиотечные ресурсы, см.: *Меньковский В.И.* Англо-американская россика и советика на рубеже XX–XXI вв. // Працы гістарычнага факультэта: навук. зб. / Рэдкал.: У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2006. Вып. 1. С. 243–255.

проследить, обратившись к изменениям названий соответствующих структур.

В ряде случаев программы по подготовке специалистов и журналы пошли по самому простому пути, добавив приставку «пост» - «постсоветология», «посткоммунизм». Сложнее оказалось с названиями, которые содержали в себе указание на регион, поскольку здесь неминуемо требовалось как-то определить объект изучения. В условиях новых геополитических реалий, в стремлении дистанцироваться от наследия холодной войны возникли новые устойчивые географические понятия, прежде всего – Центрально-Восточная Европа и Евразия, что в свою очередь заставило пересмотреть представления о границах изучаемого региона[7].

В 1990-е годы происходят существенные изменения в воображаемой географии Европы, и концепт «Запад» расширяет свои пространственные границы. Страны бывшего Восточного блока (и Прибалтика) отделяются от «неудобного соседа» и официально дистанцируются от Восточной Европы, которая ассоциировалась с советским прошлым. Теперь это страны Центрально-Восточной Европы, большинство из них – члены НАТО и Евросоюза, что свидетельствует об их стремлении принадлежать и к Атлантическому миру, и к Европе. Россию они относят к «Востоку», используя проверенную стратегию ориентализации «Другого» для выстраивания своей европейской идентичности[8]. В то же время Россия, официально считающаяся преемницей Советского Союза, вместе со статусом сверхдержавы утрачивает и свою роль значимого «Другого» для стран Западной Европы и США. В то время полагали, что Россия скоро присоединится к «клубу демократических стран», и ей следует помочь с

[7] Подробнее см.: *Kotkin St.* Mongol Commonwealth? Exchange and governance across the post-Mongol space // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2007. Vol. 8. N 3. P. 487-531.

[8] См.: East and West: History and contemporary state of Eastern studies / Ed. by Malicki J., Zasztowt L. Warsaw: Studium Europy Wschodniej, 2009.

внедрением рыночной экономики и строительством гражданского общества. Проблемами «перехода» особенно активно стала заниматься бывшая советология, получившая новый бренд «транзитологии».

В новых условиях дисциплину все чаще начинают называть «Russian and East European studies» (для краткости REES), однако большее значение приобрел концепт «Евразия», который выступил в качестве важнейшего аналитического инструмента в изучении истории формирования и существования России как империи. Сергей Глебов определяет его как «геокультурный». В своей монографии, посвященной истории русского евразийства, он указывает на множественность значений этого концепта, который использовался в разнообразных проектах экономической и политической интеграции постсоветского пространства. Он отмечает, что «именем Евразии оперировало и радикальное неофашистское движение в России, широко представленное в свое время в СМИ». Так что журнал “Ab imperio”, выходящий в Казани и аффилированный с Американской Ассоциацией (одним из редакторов которого является С. Глебов), дистанцируется от термина «Евразия», определяя область своих географических интересов как «постсоветское пространство». В то же время для зарубежных русистов концепт «Евразия» оказался чрезвычайно полезным. В период, когда происходил «ребрендинг» прежних «русских и советских исследований», программ, центров, он дал возможность «отойти от руссоцентристских нарративов, выявить связи и взаимопересечения, что позволяло преодолеть как географические, так и дисциплинарные границы и подчеркнуть глобальный контекст исторических процессов»[9].

Слово «евразийский» добавили к своим названиям многие американские центры по изучению СССР и Восточной Европы. Журнал «Kritika», который начал выходить в 2000 г., в подзаголовке определил круг своих интересов,

[9] *Glebov S.* From empire to Eurasia: Politics, scholarship and ideology in Russian Eurasianism, 1920s–1930s. DeKalb, 2017. P. 1.

как «исследования по российской и евразийской истории». А в 2010 г. после долгих колебаний и сама Американская ассоциация содействия славянским исследованиям (AAASS) по результатам голосования своих членов была переименована в Ассоциацию славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES).

Историк Марк фон Хаген охарактеризовал концепт «Евразия» как «антипарадигму», которая способна заменить господствовавшие прежде тоталитарную и модернизационную парадигмы. Он усматривает в ней существенный «освободительный потенциал», позволяющий отойти от представлений эпохи холодной войны об изолированности разделенных «железным занавесом» стран[10]. В 2011 г. тогдашний президент ASEEES антрополог Брюс Грант высказался еще определеннее. По его словам, концепт «Евразия» сигнализирует о новых тенденциях в быстро изменяющейся дисциплине, подразумевая открытое, гибкое отношение к окружающему миру, способность «вживаться» в иные культуры, испытывать интерес к разнообразному опыту и знанию. Это дает возможность отойти от «узкого подхода классических региональных исследований, развивая междисциплинарность в самом широком смысле этого слова»[11].

Составной частью кризиса 1990-х годов являлось движение за ликвидацию региональных исследований как «наследия холодной войны». Его возглавили Совет по социальным наукам (The Social Science Research Council) и Американский совет ученых обществ (American Council of Learned Societies) – собственно, те организации, которые в свое время стояли у истоков региональных исследований[12]. Противопоставление регионального подхода узкоспециализированному дисциплинарному надолго определило характер споров о будущем. И всё же перестройка велась не столь

[10] *Hagen M. von.* Empires, borderlands, and diasporas… P. 447-448.
[11] *Grant B.* We are all Eurasian // NewsNet. News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. January 2012. Vol. 52, N 1. P. 6.
[12] *Engerman D.* Know your enemy…c. 334.

прямолинейно, как хотелось бы тем, кто подчеркивал анахронизм региональных исследований. Действительно, в ходе реорганизации научных программ и систем грантовой поддержки регион как центральная категория, вокруг которой строилось финансирование науки и образования, начал утрачивать приоритет. Предпочтение стали отдавать крупным темам и проблемам: демократия и развитие, этничность и национализм, миграции. Однако регион остается важной категорией, и при присуждении грантов учитывается комплекс составляющих. Например, в 2000-е годы стали охотно финансировать исследования Средней Азии, которые фокусировались на изучении этничности и империализма. Здесь явно играла роль совокупность критериев: недостаток специалистов по региону, политические запросы дня.

Открытость и расширение горизонтов – ключевые понятия, характеризующие интеллектуальный климат зарубежной русистики в период перестройки и в 1990-е годы. Для зарубежных исследователей это означало прежде всего открытие физического доступа – не только в саму страну изучения, где были отменены ограничения на передвижения иностранцев, но и в ее архивы. Тогда большинство историков связывало надежды на развитие своей дисциплины именно с открытием архивов – так называемой «архивной революцией». Надежды эти оправдались далеко не в полной мере, хотя первоначально доступ к новым источникам дал несомненный импульс развитию Russian studies. Существенно расширилась эмпирическая и источниковая база дисциплины, и в конце 1990-х – начале 2000-х годов вышли в свет первые плоды «архивной революции». Эти монографии стали результатом работы в новых условиях, когда активно развивалось международное сотрудничество, появились широкие возможности для организации конференций, дискуссий, совместных проектов, изданий и грантовой поддержки.

С течением времени (и постепенным закрытием архивов) специалисты стали критичнее оценивать значение «архивной революции» и ее влияние на изучение истории России. Высказывались мнения, что новый материал стимулирует исследования, может привнести в дисциплину новые темы, разрешить некоторые фактические неточности, но сам по себе не способен породить новый взгляд. В выработке свежих концепций играют роль иные факторы – мировоззрение историка, его исследовательская программа и, главное, - время, в которое он работает и которое ставит свои вопросы. Именно серьезные изменения в «контексте» - тех исторических обстоятельствах, в которых работает ученый, порождают новый взгляд и стремление пересмотреть устоявшиеся представления. Речь идет не столько о «склонностях и предубеждениях» историка, сколько об «аналитических категориях, которые он использует, темах, которые он избирает, вопросах, которые он ставит (или не ставит), разделяемых им (сознательно или нет) исходных предположениях, преследуемых им политических и личных целях в рамках принятых в профессии правил и условностей»[13].

И действительно, если для советской истории рассекреченные данные оказались в каких-то отношениях «революционными», то для изучения истории императорского периода «архивная революция» не имела столь решающего значения. Многие источники, хранящиеся в центральных архивах, были доступны (пусть и с определенными ограничениями) и в советское время, а в условиях централизации управления в царской России большинство делопроизводственной документации в провинциальных архивах, как выяснилось, дублировали те, что хранились в Санкт-Петербурге и Москве. Другое дело источники личного происхождения – они были уникальны. Но в целом историки сходились во мнении, что работа в

[13] *Kotkin S.* The state – is it us? Memoirs, archives, and kremlinologists //Russian rev. 2002. Vol. 61, N 1. P. 37-38; *Raleigh D.* Doing Soviet history: The impact of the archival revolution // Ibid. P. 16-24.

провинциальных архивах меняет угол зрения исследователя, обогащает новыми штрихами общую картину, позволяя более ясно увидеть то, что происходило на местах[14].

В то же время нельзя говорить об «архивной революции» лишь как об открытии архивов – это понятие более широкое. Расширению источниковой базы в 1990-е годы способствовало развитие устной истории: зарубежные русисты активно собирали свидетельства очевидцев по всей территории бывшего СССР. Эти материалы, содержащие данные в основном по XX в., передавались в архивы и издавались как в нашей стране, так и за рубежом. Пожалуй, стоит согласиться с определением «информационная революция», которое предложила Линн Виола для характеристики периода конца 1980-х – начала 1990-х годов[15]. Эмпирическая база истории России обрела совершенно иное качество – публиковались дневники и воспоминания, интервью и этнографические описания.

В этот период наиболее активно развивалось сотрудничество зарубежных и отечественных историков, и он характеризуется не только архивной «золотой лихорадкой». Множество совместных проектов по публикации и микрофильмированию стали важной составной частью «открытия горизонтов», о котором упоминают американские историки и которое происходило не только в зарубежной русистике, но и в нашей стране[16]. Несомненно, наибольший вклад тогда был внесен в заполнение «белых пятен» именно советской истории, однако многое было сделано и в

---

[14] *Sunderland W.* Taming the wild field: Colonization and empire on the Russian steppe. Ithaca, 2004. P. 231-232.

[15] *Viola L.* The Cold War in American Soviet historiography and the end of the Soviet Union // Russian rev. 2002. Vol. 61, N 1. P. 30.

[16] *Smith A.* Russian history – is it in archives? // Archives, documentation, and institutions of social memory: essays from the Sawyer Seminar I / Ed. by F.X. Blouin Jr., W.G Rosenberg. Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 2006. P. 451–458.

отношении истории дореволюционной России, позволив по-новому взглянуть на, казалось бы, давно известные вещи[17].

Кроме того, если говорить об «информационной революции», нельзя не упомянуть о важных инфраструктурных изменениях, которые в полной мере развернутся в новом тысячелетии. Речь идет о наступлении цифровой эпохи, и прежде всего о развитии сети Интернет, что кардинально изменило облик науки как таковой и исторической науки в частности. В зарубежной русистике эта эпоха наступила уже в 1990-е, значительно облегчив повседневный труд историка, доступ к источникам, библиотечным и архивным ресурсам, но главное – предложив новые возможности коммуникации для научного сообщества.

Сегодня на цифровизации базируется организация науки в целом и исторической в частности. Уже в начале 2000-х годов специалисты стали говорить о «цифровом повороте» в гуманитарных науках. В ряде публикаций фиксируется возникновение «цифровой истории» в рамках «цифровых гуманитарных наук» (digital humanities), критически оцениваются ее возможности, перспективы и ограничения[18]. Активно развивается историческая информатика, однако для подавляющего большинства зарубежных исследований истории России она значима лишь в своем прикладном аспекте – в том, что касается пользования базами данных, оцифровки и визуализации имеющихся источников. На страницах журнала Ассоциации славистов NewsNet (ранее называвшегося Newsletter) постоянно помещается информация о новых ресурсах, особенностях их использования и тех возможностях, которые они дают исследователям и студентам. В частности, цифровое хранилище эго-документов «Prozhito.org», основанное московским историком М. Мельниченко, заключает в себе более 3 тыс.

---

[17] *Galili Z.* Archives and historical writing: The case of the Menshevik party in 1917 //Archives, documentation, and institutions of social memory… P. 447-448.

[18] *Гарскова И.М.* Историческая информатика: эволюция междисциплинарного направления. Спб., 2018. С. 119-120.

дневников на русском и украинском языках. Ресурс продолжает пополняться и развиваться.

В результате совместных проектов созданы такие важные ресурсы, как “Archeobibliobase” и «Путеводители по российским архивам». Сегодня по Интернету можно заказать копии некоторых архивных документов. Интернет облегчил доступ к каталогам крупнейших библиотек и к базам данных, содержащим полные тексты журнальных статей, а теперь и книг. Важное новшество – доступ к новым видам источников, который раньше был почти невозможен: видео и аудиоматериалы размещаются на ряде сайтов («Старое радио», проект Мосфильма по размещению на Ютубе классики советского кино)[19].

Одна из серьезных проблем при переходе на цифру заключается в уязвимости хранящихся данных[20], хотя, как считают создатели проекта «Гутенберг», бумажные носители не менее уязвимы. Тем не менее, ощущение некой «эфемерности» Сети и циркулирующей в ней информации неизменно присутствует у создателей тех или иных ресурсов, и они ставят перед собой зачастую весьма скромные задачи. Так, когда в 1998 г. Л. Зигелбаум и Дж. фон Гелдерн создавали веб-сайт «17 мгновений советской истории», они предполагали, что ресурс проработает несколько лет, для нескольких сотен человек. Однако сайт развивался вместе с развитием цифровых технологий, пополнялся видео- и аудиоматериалами, и когда в январе 2015 г. он рухнул из-за хакерской атаки, оказалось, что пользователей у него – многие тысячи. Правда, более полезен он студентам, а не исследователям[21]. Исключительно интересен созданный в Калифорнийском

---

[19] См.. в частности: *Poe M.* Russian history on the Web: A guide and review // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, N 3. P. 342-345.

[20] *Rosenzweig R.* Scarcity or abundance? Preserving the past in a digital era // American hist. rev. 2003. P.735-762.

[21] История восстановления этого ресурса рассматривается в: *Nelson A.* Saving Seventeen moments in Soviet history: An interview with Lewis Siegelbaum and James von Geldern //

университете (Беркли) интерактивный виртуальный путеводитель по Петербургу эпохи модерна (stpetersburg.berkeley.edu/).

Цифровизация способствовала возникновению нового типа публичной истории, однако много пользы она принесла и научным исследованиям. Новые виды источников дают совершенно иное качество восприятия исторического прошлого – почти предметное, что несомненно влияет на интерпретации. Возникает определенная «историческая среда», в которую можно погрузиться и которую можно тут же обсудить с другими пользователями – специалистами, коллегами, студентами и просто интересующимися историей.

Цифровая эпоха создала новые правила игры в науке, и современные научные сообщества функционируют иначе, чем раньше. Цифровые технологии способствуют усилению интеграции, сокращению трудозатратности, экономии времени исследователя. Однако оборотная ее сторона – квантификация и стандартизация, которая также получила новые возможности для своего развития. Цифры становятся могущественным инструментом управления наукой, где публикация в референтных изданиях признана главным критерием для оценки состоятельности исследователя. «Публикуйся или погибни!» - такой лозунг редакторы журнала «Критика» считают самым насущным для ученого в США[22].

Интернет фантастически сократил время и расстояния: благодаря электронной почте сроки организации конференций необыкновенно уплотнились; сократились и сроки подготовки публикаций, что вносит свой элемент динамизма в прежде размеренную жизнь историков. Возникли социальные сети, дающие возможность быстрого обмена мнениями (например, в Russian history blog, в Facebook и Twitter). Электронное общение

NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. January 2016. Vol. 56, N 1. P. 20-23.

[22] Marketing Russian history // Kritika. 2008. Vol. 9, N 3. P. 502.

весьма демократично – подписчики, студенты и профессора общаются на равных. Все это способствует усилению процессов интеграции.

Изменяется облик и самого сообщества зарубежных русистов. По мнению Майкла Дэвид-Фокса, характерной особенностью периода 1990-х явилось появление нового поколения молодых историков – «внуков», которые формировались в новых условиях открытости. Считается, что это поколение свободно от идеологических шор эпохи холодной войны и обладает иным менталитетом, ему чужда логика противостояния, господствовавшая прежде в Russian studies. Для его представителей характерно критическое отношение к тем подходам, которые были выработаны предыдущими поколениями историков, и оно осуществляет обновление «интеллектуальной повестки дня» под влиянием общих сдвигов в исторической науке[23]. К настоящему времени можно говорить о приходе в науку четвертого поколения русистов – видимо, «правнуков», что несколько ослабляет первоначально стройную схему М. Дэвида-Фокса. Однако для характеристики интеллектуального климата 1990-х – начала 2000-х годов она весьма полезна, поскольку связывает воедино «человеческий фактор» и процессы перестройки, происходившие тогда в дисциплине.

В то же время, как и любая схема, она имеет свои ограничения, отсекая «ненужное» и предлагая готовые объяснения, пытаясь поместить сложные, быстротекущие процессы в застывшую форму. Несомненно, молодое поколение пришло в науку с новыми идеями и представлениями. Однако в 1990-е годы наиболее активными инициаторами пересмотра казавшихся прежде незыблемыми истин стали представители среднего поколения, как его определяет М. Дэвид-Фокс, - преимущественно социальные историки, ревизионисты. Это стремление было вызвано не только невероятно быстрыми политическими и социальными переменами в стране изучения, но

[23] *Дэвид-Фокс М.* Введение: Отцы, дети и внуки... С. 14, 17.

и теми изменениями, которые происходили в мировой науке и которые тогда ассоциировали с «вызовами постмодернизма». Считалось, что получив «основательную встряску» (ее сравнивали с шоковой терапией в странах бывшего социализма), зарубежная русистика, позитивистская и эмпирическая в своей основе, начала в ускоренном темпе усваивать новейшие тенденции[24]. По словам Лоры Энгелстейн, события 1991 г. заставили исследователей осознать, насколько «исторически специфичными» были инструменты, с помощью которых они пытались «расшифровать прошлое России». И это осознание историчности, условности и преходящего характера «концептуальных основ», на которых строятся интерпретации, является отличительной чертой эпохи постмодерна[25].

Тем не менее, серьезные изменения в зарубежной русистике, прежде всего американской, начали происходить уже в середине 1980-х годов. И хотя историки не любят сослагательного наклонения, Гленнис Янг, например, утверждает, что и без коллапса коммунистической системы американская историография России влилась бы в общий поток мировой исторической науки[26]. Анализ «историографического ландшафта» 1960-1980-х годов подтверждает ее выводы.

О методологических инновацях в изучении истории императорской России в полный голос заговорили на практических семинарах, которые были запущены Исследовательским советом по общественным наукам (SSRC) в 1991 г.

На этих семинарах и конференциях ставились вопросы и намечались линии исследований, которые должны были изменить весь «нарратив

---

[24] *Buckler J.* What comes after “Post-Soviet” in Russian studies? // PMLA. N.Y., 2009. Vol. 124, n 1. P. 251.

[25] *Engelstein L.* Paradigms, pathologies, and other clues to Russian spiritual culture: Some post-Soviet thoughts // Slavic rev. 1998. Vol. 57, N 4. P. 864-865.

[26] *Young G.* Fetishizing the Soviet collapse: Historical rupture and historiography of the (early) Soviet socialism // Russian rev. 2007. Vol. 66, N 1. P. 95-122.

русской истории», каким он был во времена холодной войны. Сформулированные Дж. Бербанк в отчете о симпозиуме в университете Айовы (1991) «больные вопросы» включали в себя: значение сравнительного контекста (в особенности сравнений с Западной Европой); критическую проверку таких понятий, как общество, государство и культура; «верное» и «неверное» использование категорий и методов западной социологии в применении к истории России; поиск новых, «широкомасштабных объяснительных нарративов, которые заменили бы общепринятую в этой области телеологию»[27]. Имелась в виду либеральная схема исторического процесса, движущегося к четко определенной цели – демократии западного типа.

Кроме того, критиковались либеральные концепции интеграции общества с их упором на формальные институты. Радикальный пересмотр традиционной диады «государство/общество» стал одной из центральных тем симпозиума. Большинство участников поставили под вопрос их резкое противопоставление, на котором строились предыдущие исследования. Были высказаны и возражения против буквального применения западных концепций к изучению русского государства и общества, а также против заимствования построений русской «государственной школы». Прозвучало мнение, что государство следует «вернуть» в историю императорской России, но без государственной школы, развивая культурно-исторический, интегрированный подход. Что касается общества, то здесь предлагалось сосредоточить внимание на «неоппозиционных, неформальных, создающих консенсус» социальных структурах, обратившись к изучению таких «внеюридических» сфер, как институты досуга, семья, образ жизни, народная религия – с особым вниманием к системам ценностей различных групп. В конечном итоге речь шла о «нормализации» русского общества, которое

[27] *Burbank J.* Revisioning imperial Russia: Conference report // Slavic rev. 1993. Vol. 52, N 3, P.557.

прежде было принято считать раздробленным на многочисленные группы, недостаточно развитым и слабым по сравнению с могущественным государством»[28].

Был поставлен и вопрос о сравнении России и Запада, хотя отмечалось, что таких сравнений крайне трудно избежать, поскольку на них зиждилась вся русская культура XIX в. Да и теория модернизации с ее «догоняющим развитием» базировалась на идее о процессе европеизации, запущенном Петром I. По мнению Дж. Бербанк, требовалось сделать проблему «Россия и Запад» объектом, а не инструментом исследования; изучать образ «Запада» как основы модернизаторских проектов и образа «России» как объекта реконструкции[29]. Одновременно высказывались мнения, что понятие «отсталости» России по сравнению с условным «Западом» уже давно пользуется плохой репутаций. По словам М.Конфино, необходимо отказаться от парадигмы российской уникальности и рассматривать историю России в контексте истории континентальной Европы, ища не только отличия, но и подобия. Тогда же Дж. Бербанк выдвинула идею изучать Россию как империю, перешагнув европейские представления о национальном государстве как «норме» государственного строительства, и сосредоточиться на проблемах формирования русской и других идентичностей в имперском контексте.

При такой постановке вопроса особенно плодотворным был признан культур-антропологический подход, с его вниманием к мифам, символам, истории идей и понятий, а также гендерный и микроисторический подходы. Культура таким образом ставилась в центр исследований как общества, так и государства и его институтов. Р. Стайтс призвал к изучению разных областей культуры: «высокой» городской, имперской и /или этнической, культуры пограничных зон, революционной субкультуры и др. По его мнению, их

[28] Ibid. P. 559.
[29] Ibid. P. 557.

следовало бы рассматривать как «культурную систему, единое здание идей, ценностей и образов, в котором жили русские люди всех классов и сословий»[30]. Д. Рэнзел обратил внимание участников на потенциал постколониальных исследований, которые в этот период набирали силу. Это позволило бы отойти от буквального понимания идей эпохи Просвещения о прогрессе и конституционализме, от оценочных суждений о «хорошем» или «плохом» правителе и обратиться к изучению «успехов правителей России в строительстве империи, которое проводилось достаточно мирным путем на основе включения других народов с их культурным разнообразием в общее государство»[31].

Намеченные на встрече в Айове линии исследований фактически прописали перспективу развития американской русистики на многие годы вперед, заложив основы будущих интерпретаций. Симптоматично, что в намеченном плане исследований фактически отсутствовали революции. 1917 год, ранее считавшийся главным событием русской истории, точкой отсчета нового миропорядка, утратил свою ценность для историков-русистов. Занимавшая в историографии времен холодной войны центральное место «парадигма 1917 года», как стали теперь ее называть, отошла в прошлое. Соответственно отошли в прошлое и концепт «кризис самодержавия», а вместе с ним и аграрный кризис, и кризис административный, которые являлись важными составляющими «стройной и величественной картины “причин русской революции”», писал тогда М. Конфино[32].

В изданном по итогам встреч 1991-1993 гг. сборнике «Императорская Россия: Новые истории империи»[33] нашли свое отражение новые подходы и

[30] Ibid. P.560-561.
[31] Ibid. P.561.
[32] *Confino M.* Present events and the representation of the past: some currents problems in Russian historical writing // Cahiers du monde russe. 1994. Vol. 35, N 4. P. 846, 853-855.
[33] Imperial Russia: New histories for the empire / Ed. by Burbank J., Ransel D.L. Bloomington: Indiana univ. press, 1998.

темы, с подчеркнутым отказом от «революционной» проблематики (о чем говорят и его хронологические рамки, ограниченные 1730-1880-ми годами). Отказавшись от нарратива «упадка и разрушения» империи, сборник демонстрирует читателю богатство и разнообразие культурных и управленческих практик, которые рассматриваются с разных точек зрения. Здесь представлены новые для русистики методы и подходы: семиотика, дискурсивный анализ, микроистория.

Вышедший примерно в это же время знаковый для британской русистики сборник «Россия: Новые интерпретации»[34] выглядит гораздо слабее. Ведущие на тот момент британские специалисты под руководством Р. Сервиса и Дж. Хоскинга предложили некоторые новые трактовки российской истории, в общем почти не выходя за рамки традиционных методов. Они пересмотрели целый ряд общепринятых представлений, в частности, Д. Мун указал на удивительную стабильность Российской империи в противоположность прежней картине «классовой борьбы» и рассмотрел механизмы, эту стабильность обеспечивающие. Были предложены и новые темы. Д. Ливен рассмотрел Российскую империю в сравнительной перспективе, с использованием циркулировавших тогда моделей социальных наук. С. Диксон и Л. Хьюз обратились к религиозной тематике, которая становилась все более востребованной в ходе «религиозного возрождения», начавшегося в СССР в годы перестройки. Система землевладения и землепользования дореволюционной России трактуется Роджером Бартлеттом умеренно ревизионистски, так же как и траектория экономического развития – Питером Готреллом. Однако это несомненно «новый взгляд», в котором центральное значение имеет преемственность в истории России в противоположность прежней склонности видеть в ней «разрывы».

[34] Reinterpreting Russia / Ed. by Hosking J., Service R. L., 1999.

Перестройка общего нарратива российской истории и внедрения новых методов исследований в зарубежной русистике для исследователей императорской России прошла относительно безболезненно, в отличие от истории советского периода, где во второй половине 1980-х бушевали настоящие «культурные войны» между сторонниками тоталитарной концепции и социальными историками-ревизионистами. В начале 1990-х годов дискуссии вспыхнули снова после публикации работ Р. Пайпса о Русской революции, которые были мгновенно переведены на русский язык[35]. Эти книги вызвали острое неприятие среди профессионалов, поскольку Пайпс фактически игнорировал достижения социальных историков последних 30 лет. Его труды называли «артефактом холодной войны», однако же его консервативные и при этом крайне упрощенные трактовки нашли живой отклик в обществе как на Западе, так и в России[36]. В условиях идеологического поворота «вправо» казалось, что факт распада СССР подтвердил мнение сторонников тоталитарной теории о нереформируемости коммунистического «государства-утопии», что вдохнуло новую жизнь в либерально-консервативные интерпретации. Борьба с «холодной войной в историографии Советского Союза» шла довольно долго, и до последнего времени ее участники вспоминают, сколько вреда она нанесла дисциплине[37].

Американские историки воспринимают 1990-е годы как целостную революционную эпоху, длившуюся с конца 1980-х до начала 2000-х годов. Ее характеристики связаны исключительно с положительными коннотациями – энтузиазм, прорыв, устремленность в будущее, оптимизм. «Замечательным десятилетием» назвали этот период редакторы организованного в 2000 г.

---

[35] *Pipes R.* The Russian revolution. N.Y., 1990; *idem.* Russia under the Bolshevik regime. N.Y., 1995.

[36] *Acton E.* The revolution and its historians // Critical companion to the Russian revolution. L., 2001. P. 13; *Shearer D.* From divided consensus to creative disorder. P. 569.

[37] *Fitzpatrick Sh.* Revisionism in retrospect: A personal view // Slavic rev. 2008. Vol. 67, N 3. P. 682-704.

американского журнала «Критика», посвятив ему специальный номер «Состояние дисциплины: Русская история через десять лет после падения СССР»[38]. Отсылка к известным мемуарам литературного критика П.В. Анненкова и книге сэра Исайи Берлина, посвященным эпохе 1838-1848-х годов, явно не случайна. Таким образом подчеркивается интеллектуальная насыщенность периода и его значимость для будущего. Сегодня очевиден переходный характер этой подборки материалов: целый ряд рассмотренных направлений вскоре утратили свой вес, как, например, военная история, лишь на короткий миг выдвинувшаяся вперед. В то же время что-то было упущено – в частности, гендерные исследования, бурно развивавшиеся именно в 1990-е годы. Но многие рассмотренные в этом номере темы вскоре вышли на передний край: история религии и религиозности, история науки и, конечно же, история России как многонациональной империи. Выделив в отдельную рубрику статью Л. Энгелстейн «Культура, повсюду культура», редакторы подчеркнули значимость новой «культурной парадигмы» для изучения истории России в постсоветскую эпоху.

В целом же можно сказать, что этот тематический номер подвел некую черту, переводя русистику через порог нового тысячелетия. Наступило новое время, разительно отличающееся от предыдущего. Ушли в прошлое горячие дискуссии, лихорадка архивных изысканий; пришло время прощаться с «крайностями XX века». В сообществе американских историков-русистов усилилось стремление к поиску позитивных интерпретаций русской истории, и революционные настроения 1990-х годов сменились тягой к консенсусу, к сотрудничеству и интеграции. Наступил период «сбора урожая», когда защищаются всё новые диссертации, выходят всё новые монографии, в которых утверждается совершенно иной историографический образ России. Однако при этом оправдываются худшие ожидания русистов 1990-х годов:

[38] A remarkable decade [From the editors] // Kritika. 2001. Vol. 2, N 2. P. 229–233.

доступ в российские архивы неуклонно сокращается, падает общественный интерес к региону, его истории, языку и культуре, снижается финансирование дисциплины. Борьба за выживание, начавшаяся после холодной войны, продолжается.

Несомненно, политическая повестка продолжала и продолжает оказывать влияние на состояние REES, но важнейшим дестабилизирующим фактором является падение интереса к России (и региону в целом) на Западе – и в обществе, и в правительственных структурах. Это отражается как на финансировании, так и на количестве студентов, желающих специализироваться по этому обширному региону; их поток сокращается, соответственно уменьшается количество позиций на соответствующих кафедрах, так же как и количество читающихся курсов.

Контраст с эпохой 1980-х годов особенно заметен на примере Ассоциации американских славистов. Если в 1990 г. в организации было 3889 членов, а у ее органа журнала «Славик ревю» - 4990 подписчиков, то в 2001 г. в организацию входило 2997 человек, а подписка упала на 20%. По воспоминаниям тогдашнего президента Ассоциации, Уильяма Розенберга, была предпринята настоящая «перестройка», нацеленная на финансовую оптимизацию и повышение привлекательности для потенциальных членов. Помимо переезда из Гарвардского в Питтсбургский университет и ряда административных шагов, способствовавших повышению эффективности управления, были приняты и другие меры. В частности, были учреждены трэвел-гранты (которые теперь стали непременным атрибутом подготовки ежегодных собраний Ассоциации) и премии за научные достижения, и многое другое, что делало организацию «более инклюзивной». Журнал «Славик ревю» повысил свой авторитет благодаря вхождению в Social

Science Index[39], в нем стали активнее публиковаться. Важным направлением перестройки работы Ассоциации стала цифровизация, что включало в себя прежде всего переход с бумажных носителей на цифровые и оцифровку архива организации и архива номеров журнала «Славик ревю» (который был включен в базу данных JSTOR). В перестройке этой организации решались те же проблемы, которые стояли перед русистикой в целом: облегчение доступа к источникам, упрощение коммуникации и формирование интернационального сообщества исследователей России и стран постсоветского пространства[40]. К настоящему времени многое достигнуто на этом пути: в последние годы число членов Ассоциации варьирует вокруг показателя 3500 чел., среди них немало (примерно одна треть) ученых из разных стран, не только из Северной Америки[41].

И руководство Ассоциации, и сами исследователи много делают для дальнейшего развития дисциплины (стоит упомянуть о запущенной недавно «The Future of the Field Campaign»), но общий контекст остается сложным.

Особенно тяжелым для REES в США было решение администрации Обамы урезать финансирование программ по международному образованию в среднем наполовину (в результате которого особенно сильно пострадали исследования Евразии)[42]. Была сначала закрыта, а потом восстановлена, но только в половинном объеме знаменитая программа грантовой поддержки Title VIII. Борьба за финансирование велась специалистами в области российских и восточноевропейских исследований на самых разных уровнях и

---

[39] *Rosenberg W.* Celebrating ASEEES: Reflections on the 2000s // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. October 2018. Vol. 57, N 5, P. 8-9.

[40] Для 2010-х годов оставались актуальными слоганы «оцифровка», «интернационализация», «перегруппировка» (“digitize”, “internationalize”, and “regroup”). См.: *Grant B.* Celebrating ASEEES: Reflections on the 2010s // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. October 2018. Vol. 57. N 5. P.10-11.

[41] *Park L.* 2019 Executive director report // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. January 2020. Vol. 60. N 1. P. 7.

[42] *Adams L.* The crisis of U.S. funding for area studies // NewsNet. News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. 2013. Vol. 53, N 2. P. 2-3.

в разных сферах. В результате в американских СМИ лишь укрепилось мнение, что REES находятся в глубоком кризисе, что побудило Ассоциацию подготовить в 2015 г. доклад об их состоянии в США[43]. Выводы его автора Теодора Гербера призваны опровергнуть это мнение, они довольно оптимистичны, хотя приведенный им статистический материал далеко не всегда их подтверждает.

В докладе Гербера приводятся данные интервью с вашингтонскими чиновниками, а также с персоналом и участниками учебных программ в университетах-лидерах. В центре внимания – Россия, как бывший соперник США в противостоянии времен холодной войны. Чиновники как один отметили, что после ее окончания поток специалистов, поступающих на государственную службу, постоянно сокращался. Талантливая амбициозная молодежь стала предпочитать России более важные для внешней политики США регионы – Китай, Средний Восток, Индию. После 11 сентября повысился интерес к арабским странам. Однако внутренняя политика России продолжает оставаться для США актуальной, и здесь специалисты из аналитических центров и ученые не согласны с государственными чиновниками. Они полагают, что хотя экспертов по России и стало меньше, их знания – глубже, а учитывая количество выходцев из региона в этих структурах, уровень информированности и аналитики сегодня куда выше, чем в годы холодной войны. Все интервьюированные отрицали наличие каких-то предубеждений против России у молодых специалистов, однако почти все указали на тенденциозность СМИ, упрощенность трактовок и на склонность привлекать экспертов старшего поколения, чьи взгляды далеко не репрезентативны для экспертного сообщества в целом. Большинство

[43] *Gerber Th.P.* The state of Russian studies in the United States / An assessment by ASEEES, July 2015. Pittsburgh, 2015. P. 4.

указывали, что сокращение финансирования и закрытие таких программ, как TVI и TVIII, может иметь далеко идущие негативные последствия[44].

Им вторят историки и слависты – представители научных дисциплин, изначально занимавших в REES ведущие позиции. По их оценкам, процветают те, кто имеет значительную частную поддержку, – такие институции, как Гарримановский институт в Колумбийском университете или Дэвисовский центр в Гарварде, при том, что подавляющее большинство университетов опирается на федеральные ресурсы. Кроме того, существует проблема получения работы после защиты диссертации – возможности здесь очень невелики. Три четверти активных исследователей среди респондентов Гербера получили в 2010–2014 гг. финансовую поддержку, чаще всего в виде грантов от федерального правительства, причем по этому показателю (а также по размерам грантов) специалисты в области социальных наук опережают других. Слависты и историки менее активны, чем специалисты по социальным наукам, когда дело касается поездок в страну изучения, участия в научных обменах и преподавательской деятельности[45].

В то же время Гербер фиксирует спад и кризис именно в социальных науках, указывая на сокращение в 2010–2014 гг. количества защищенных докторских диссертаций (PhD). Между тем, столь краткий временной промежуток не является репрезентативным для оценки ситуации. Следует брать больший интервал, что позволит на материале диссертаций проследить траекторию развития науки, выявить актуальные темы и подходы (а также институции, в которых велась исследовательская работа). Кроме того, диссертации – это потенциал науки, который реализуется в серьезных монографиях. Оговоримся сразу, что подсчеты по защищенным диссертациям можно произвести сугубо приблизительно, поскольку все больше работ использует сравнительную перспективу, рассматривая

[44] Ibid. P. 44-45.
[45] Ibid. P. 4-5, 27, 31-35.

параллельно несколько регионов. Не менее приблизительны и подсчеты в рамках одной дисциплины.

Прежде всего посмотрим на количественный показатель по REES в целом за 2000–2015 гг. в англоязычных странах. В США и Канаде он крайне нестабилен, варьируя от года к году в пределах между 212 и 388 представленными к защите докторскими диссертациями. При более широком временном охвате фиксируются два пика: во второй половине 1990-х годов и в 2005-2007 гг. Начиная с 2014 г. заметен серьезный спад; однако данные, ежегодно публикуемые в журнале «Slavic review», явно неполны (вероятно, из-за особенностей заданных условий поиска). В Великобритании и Ирландии, по данным базы UTREES, при всех флуктуациях имеется стабильный прирост (в 2000 г. 147, в 2015 – 206)[46]. Но в любом случае можно заключить, что ежегодно в англоязычных странах защищается приблизительно четыре сотни диссертаций по REES.

Конечно, если распределить эти сотни по отдельным регионам и странам изучения, по предметам и темам исследований, цифры будут совсем другими, варьируя от единицы до нескольких десятков ежегодно. Максимальное количество диссертаций защищается по русской истории и литературе, причем в Великобритании преобладает история, в США и Канаде – литература (в 2000 г. 67 и 20 в Великобритании, в США – 26 и 34 соответственно)[47]. Естественно, среди регионов Россия как тема исследования статистически лидирует, однако есть и другие традиционно крупные кластеры – например, польских исследований; довольно сильно после распада СССР выдвинулась вперед украинистика.

---

[46] *Walker G.* Doctoral research in Russian and East European studies: Trends and realities from the UTREES Database // Modern Humanities Research Association, 2016, URL: www.mhra.org.uk/pdf/utrees-paper.pdf. (дата обращения 11.12.2021). P. 4.

[47] *Thurston P.* Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, Central Asia, and Eastern Europe accepted by universities in the United States, Canada, and Britain, 2001; WalkerP. Op.cit. P. 9.

В региональном отношении наблюдается весьма отчетливая динамика. В США и Канаде в 1999 г. доля диссертаций по собственно России – ее истории, культуре, языку – составляла чуть более половины, около 20% пришлось на диссертации по бывшим советским республикам; по странам Восточной Европы – приблизительно треть[48]. В 2013 г. картина изменилась: на Россию приходится около четверти всех диссертаций, столько же – по бывшим советским республикам. По странам Восточной Европы – половина[49]. Эта тенденция в общем и целом подтверждается данными базы UTREES по Великобритании. В 2000 г. Россия (и РСФСР) как предмет исследования составляла одну треть всех защищенных диссертаций, к 2015 г. соотношение составило 1:3. Наряду с повышением веса восточноевропейских исследований и снижением внимания к России возникает интерес к регионам, которыми раньше почти не занимались. Наиболее яркий пример – Албания, но тут, по мнению автора доклада UTREES, играет роль грантовая поддержка[50].

Интересно посмотреть и на количество институций, в которых защищались диссертации по REES. Данные по Северной Америке и здесь крайне неравномерны. В 2000 г. было подготовлено 212 диссертаций в 92 университетах, в 2005 – 353 в 123, в 2013 – 273 в 104[51]. Достаточно сильно выросло количество институций, в которых защищаются диссертации по REES, на Британских островах – почти в 3 раза, но произошло это в 1990-е годы, а в 2000-2015 рост был незначителен (55 и 67 соответственно). Причем львиная доля работ готовится в крупных центрах, традиционно занимавшихся славистическими исследованиями – Оксфорде, Кембридже, Университетском колледже Лондона, Бирмингеме, Глазго[52].

---

[48] *Thurston P.* Doctoral dissertations…, 2000.
[49] *Thurston P.* Doctoral dissertations …, 2013. P. 970-985.
[50] *Walker G.* Op.cit. P. 7-8.
[51] *Thurston P.* Doctoral dissertations… 2000; 2005; 2013.
[52] *Walker G.* Op.cit. P. 5-6.

В США наблюдается та же тенденция. В докладе Гербера составлен рейтинг учебных и исследовательских программ по России. В своих оценках респонденты были достаточно единодушны, поместив в первую тройку университеты Беркли, Гарвардский и Колумбийский. За ними следуют Принстон, Висконсин, Мичиган и Индиана. При этом в дисциплинарном отношении места распределились следующим образом: Беркли опережает всех по истории и славистике, Гарвард – по социальным наукам, Колумбийский университет лидирует в изучении России и стран Восточной Европы, незначительно от него отстают Индиана и Джорджтаун[53].

В то же время, в оценке исследователей старшего поколения, по сравнению с временами холодной войны снизилось качество подготовки специалистов: сократилось количество предлагающихся курсов, гораздо хуже стали готовить по языку. По замечанию бывшего президента Ассоциации славистов Э. Мицкевич, грантовые программы все чаще просят в качестве результата исследования представить практические рекомендации для политики, что ввергает историков и филологов в ступор[54]. Ведь даже в пору жесткого идеологического противостояния им удавалось «делать науку», всячески избегая политики[55]. Тогда считалось, что между теми, кто изучает «текущий момент», ассоциирующийся с политикой, и «настоящими учеными» пролегает глубокий водораздел.

В сегодняшней ситуации это противопоставление утрачивает свою значимость, как и противопоставление регионального подхода специализированному дисциплинарному. Конечно, продолжают выходить работы и защищаться диссертации того сорта, которые в период холодной войны ассоциировались с «советологией», а в конечном итоге с политической ангажированностью. Но так называемый «текущий момент»

---

[53] *Gerber Th.P.* Op.cit. P. 37.
[54] *Mickiewicz E.* Celebrating ASEEES: Reflections on the 1980s // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. October 2018. Vol. 57. N 5. P. 3.
[55] См.: *Engerman D.* Know your enemy…

рассматривается сегодня на куда более высоком уровне. В частности, политология (political science) как научная дисциплина серьезно развивалась в 1990-е годы, обогатившись новыми методологическими подходами и обратившись к широким сравнительно-теоретическим обобщениям.

Кроме того, само понятие «текущего момента» чрезвычайно расширилось. С открытием для иностранцев доступа в архивы в странах изучения, с расширением возможностей для ведения полевой работы главной темой для изучения стало постсоветское общество. В центре внимания молодых исследователей – образование и здравоохранение, гендерная структура, психология, с особым вниманием к травматическим социальным ситуациям, массовые коммуникации и многое другое. Совершенно новая тема, возникшая в 1990-е годы – этнические меньшинства, проблемы миграции и иммиграции (где заметную долю составляют исследования эмигрировавших в США из России евреев, в рамках бурно развивающейся сегодня иудаики)[56].

Пожалуй, главная особенность сегодняшних REES – изобилие проблематики и научных дисциплин, в рамках которых готовятся диссертации. Помимо истории, литературы и лингвистики, социологии, политики, права, экономики и бизнеса, это этнология, социальная и культурная антропология, гендерные исследования, экология, исследования религии, искусствоведение, музыковедение, история театра и кино. С одной стороны, все эти дисциплины получили глубокое развитие, с другой – происходит определенная ассимиляция наук, которая совсем непохожа на междисциплинарность послевоенных региональных исследований с их цивилизационным подходом. Сегодня имеет смысл говорить о

[56] *Thurston P.* Doctoral dissertations…, 2013. P. 970-985.

мультидисциплинарности, поскольку исследователи используют широкий спектр методологических подходов из разных наук[57].

Так, многие антропологи работают в архивах, а историки используют материалы интервью, и те и другие опираются в своих исследованиях на методы лингвистического, литературоведческого, искусствоведческого анализа. Да и сама история к настоящему времени серьезно изменилась, став гуманитарной наукой, и с возвышением так называемой «культурной истории» с начала 2000-х годов наблюдается своего рода «конвергенция» истории и литературоведения. В то же время и литературоведы все чаще рассматривают литературу в ее связи с социальностью. Из диссертаций середины 2000-х гг. по литературе выросли монографии, которые внесли серьезный вклад в наше понимание именно *истории* России. В частности, «Мы современные люди» Аниндиты Банерджи предлагает глубокий анализ идей о научно-техническом прогрессе, циркулировавших в России на заре XX в.; «Написано кровью» Линн Патык исследует историю терроризма, опираясь на известный тезис о связи литературы с жизнью[58].

К настоящему времени споры о правомерности регионального подхода утихли, и регион становится тем «зонтиком», под которым возможно собрать крайне разнообразный «букет» из дисциплин и тем, представляющих сегодня интерес для исследователей. При этом история продолжает сохранять свое ведущее положение в REES. На ежегодном съезде ASEEES в 2011 г. тематика докладов распределилась следующим образом: история – 36%, литература и культура – 29, социальные науки – 15; остальные 20% поделили

---

[57] См.: *Rogers D.* Historical anthropology meets Soviet history // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2006. Vol. 7. N 3. P. 633-649.

[58] *Patyk L.E.* Written in blood: Revolutionary terrorism and Russian literary culture, 1861-1881. Madison, 2017; *Banerjee A.* We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity. Middletown, 2012.

между собой гендерные исследования, иудаика, изучение религии и др.[59]. Эти тенденции пока сохраняются.

Еще одна новая черта REES – обилие выходцев из стран бывшего СССР и Восточной Европы, защищающих диссертации в США и Великобритании. Судить об этом можно лишь поверхностно, по фамилиям и именам. В 2000 г. в Великобритании их доля составляла 24%, а в 2010 и 2015 – 45 и 44 % соответственно[60]. Это можно интерпретировать как одно из проявлений процесса интеграции и интернационализации дисциплины, а также общей глобализации науки. Сегодня, когда уроженцы разных стран обучаются и защищают диссертации в европейских и североамериканских университетах (и вовсе не обязательно возвращаются работать на родину), сообщество зарубежных русистов стало поистине космополитичным. Наряду с традиционно доминировавшими в дисциплине американцами и всегда присутствовавшими там англичанами, немцами и французами, оно включает в себя специалистов из России и Восточной Европы, из Скандинавии, из Японии, Кореи и Китая. В условиях глобализации национальные границы в науке постепенно утрачивают свое значение, как и прежняя фиксация на языке публикации, который был маркером «национальной историографии». Русисты публикуются по большей части на английском, который стал языком научной коммуникации и важным цементирующим фактором для международного по своему составу научного сообщества.

Задача интернационализации дисциплины Russian studies была поставлена еще в 2000 г. редакционной коллегией американского журнала «Критика» (“Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history”). Журнал приветствует авторов со всего мира, в нем активно публикуются и наши соотечественники, и специалисты из других стран, занимающиеся изучением

---

[59] *Park L.* 2011 Executive director’s report // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. Januray 2012. Vol. 52. N. 1. P. 17-18.
[60] *Walker G.* Op.cit. P. 10.

истории России и постсоветского пространства. Географический ареал все расширяется, и с включением в него зон взаимодействия Российской империи с ее соседями активизировались специалисты из Турции.

Другой площадкой стал журнал «Ab imperio», выходящий одновременно в Казани и Нью-Йорке на двух языках и изначально созданный для освещения проблем империализма и национализма на бывшем постсоветском пространстве. Его вклад в развитие новой историографии империи трудно переоценить. Издательство «Новое литературное обозрение» также много делает для установления международных связей, публикуя переводы зарубежных русистов – и, как правило, очень хорошего качества.

Нельзя не сказать и о деятельности таких организаций, как Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) и Центра франко-российских исследований. Организованный в 2005 г. и переведенный полностью на государственное финансирование в 2009 г. ГИИМ поддерживает исследования по истории Германии и России, выделяет стипендии молодым ученым, организует коллоквиумы, семинары и конференции с большим международным участием, ведет активную издательскую деятельность, публикуя исключительно значимые работы как на русском и немецком, так и на английском языках. Гораздо скромнее масштабы детельности французского центра, что отражает степень развития исследований России (в особенности исторических) в этой стране.

Несомненно, интеграция россиеведческой науки развивается, хотя ее и не стоит преувеличивать. Это в особенности касается отечественной историографии, которая во многих отношениях сохраняет свое национальное лицо. Когда-то, в начале 2000-х годов, Д. Рэнзел с горечью констатировал расширение пропасти между западной и российской историографиями, указывая на не реализованную пока возможность в создании единого

исследовательского сообщества[61]. Думается, это и невозможно – национальная историография, всегда сохраняющая приоритет в изучении прошлого своей страны, в количественном отношении намного превосходит так называемую «зарубежную» и следует своим законам развития. В то же время определенная часть наших соотечественников активно взаимодействует с зарубежными коллегами и вливается в международную историографию России, которую можно было бы назвать «мировой» или «транснациональной» (издатели журнала «Критика» назвали ее «наднациональной»). Тот факт, что барьеры сохраняются, несмотря на окончание идеологического противостояния, - только дополнительный аргумент в пользу более глубокого изучения современного состояния дисциплины Russian studies.

После окончания холодной войны она прошла большой путь, превратившись из «изучения потенциального врага» в современную, живую, активно развивающуюся область знания. Вполне закономерным стало сокращение удельного веса России как предмета изучения в пользу стран Восточной Европы – при одновременном расширении географического и тематического охвата. Столь же закономерно и всё более широкое участие в этих исследованиях выходцев из разных стран, что придает прежде исключительно «западной» дисциплине REES фактически глобальный характер.

[61] *Ransel D.* A single research community? Not yet // Slavic rev. 2001. Vol. 60. N 3. P. 551-552.

5.2. Историографические «повороты» в зарубежной русистике[62]

Изменения в сообществе русистов шли рука об руку с изменениями тех теоретических основ, на которых основывались их исследования. Они происходили в условиях нового научного контекста, когда представления о науке, и прежде всего о роли субъективности в познании, серьезнейшим образом усложнились и далеко ушли от того упрощенного образа, который царил в первой половине XX в. Кардинально изменилась и картина мира, которая имеет мало общего со стройным зданием, воздвигнутым когда-то позитивизмом. В ней царят неопределенность и случайность, всё в ней

---

[62] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* История России в гендерном измерении. Современная зарубежная историография. М.: ИНИОН РАН, 2010; *Большакова О.В.* Стирая границы: Современная англоязычная историография религии и религиозности в императорской России // Церковь и религиозное сознание в Новое и новейшее время. М.: ИНИОН РАН, 2010. С.23-61; *Большакова О.В.* Гендерная история России в американской русистике нового тысячелетия // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен. Материалы Пятой Международной научной конференции РАИЖИ. Тверь, 4-7 октября 2012 г. / Отв. ред. А.В.Белова, Н.Л.Пушкарева. М.: ИЭА РАН, 2012. С.548-551; *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны: Монография. М.: ИНИОН РАН, 2013; *Большакова О.В.* Другая история: Современная американская историография России // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2014. Т.5. Вып. 7 (30) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840000838-0-1. (Дата обращения: 17.12.2001); *Большакова О.В.* История науки – история страны // Наука в СССР: Современная зарубежная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. М., 2014. С.5-14; *Большакова О.В.* Формирование нового человека: Биомедицинские науки в России XIX-XX века. (Современная англоязычная историография). (Аналитический обзор) // Наука в СССР: Современная зарубежная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. М., 2014. С.47-80; *Большакова О.В.* Религиозная проблематика в современной историографии России // Религия и церковь в истории России: Современная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. М., 2016. С. 5-22; *Большакова О.В.* Конфессиональная политика Российской империи: англоязычная историография. (Аналитический обзор) // Религия и церковь в истории России: Современная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. М., 2016. С. 72-108; *Большакова О.В.* Кризис российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171; *Большакова О.В.* Консюмеризм в Российской империи и СССР: Взгляд зарубежных историков // Социальные новации и социальные науки. 2020. № 2. С. 37-63.

текуче и подвижно, взаимосвязано и взаимозависимо; на первый взгляд – хаотично, но на самом деле сбалансировано. Сложность и многозначность – ее ключевые характеристики, и понять ее можно только как целостность, где разнонаправленные множественные процессы формируют изменчивое, но на каждый момент времени гармоничное единство.

Изменения коснулись профессионального дискурса, где идея прогресса превратилась из составной части общей картины мира в объект научного анализа. Философы, социологи, историки, культурологи – и, конечно же, специалисты в области постколониальных исследований – анализировали историю возникновения этой идеи, ее роль в формировании представлений об окружающем мире и в утверждении власти европейцев над колониями[63].

Несмотря на резкое усиление консервативной мысли, предупреждающей о «столкновении цивилизаций», идет постепенное избавление от европоцентризма, наблюдается отказ от нормативного подхода, который подмечал лишь нехватку либо отсутствие важных условий для европеизации в той или иной стране. Прежде биполярный мир становится единым, условные границы и барьеры растворяются, возникает стремление видеть его сложность и взаимосвязанность, множественность исторических путей, а не однолинейность, признавать ценность каждой культуры, не прилагая к ней аршин европейского превосходства[64].

1990-е годы стали временем многочисленных «поворотов» в мировой историографии. Зарубежная русистика точно так же пережила «лингвистический» и «культурный» повороты, в ней так же происходит смена исследовательской парадигмы с социально-научной на гуманитарную – культурную. Все прочнее в зарубежной историографии России

[63] Судя по базе данных ProQuest, пик диссертационных исследований идеи прогресса в англоязычном мире приходится на 1990-е – начало 2000-х годов, составив несколько тысяч наименований. Затем интерес к проблеме начинает убывать.

[64] Enduring Western civilization: The construction of the concept of Western civilization and its "Others" / Ed. by Federici S. Westport: Praeger Publishers, 1995. P. VIII-X.

утверждается «новая культурная история» со своей системой понятий и методологическим инструментарием; устанавливается диалог истории с антропологией и другими дисциплинами, в основном гуманитарного профиля. На первый план выходят иные проблемы и темы, возникают не только новые трактовки российской истории, но и новые направления, в рамках которых эти трактовки разрабатываются. На смену достаточно популярной в 1970-1980-е годы женской истории приходят гендерные исследования, завоевывают большой авторитет постколониальные исследования. В ходе так называемого «религиозного поворота» - резкого усиления интереса к религии в мировой историографии – получают развитие исследования русского православия, а затем и других конфессий.

В зарубежной, и прежде всего в американской, историографии России происходят глубокие изменения. В теоретическом отношении это означало обращение историков к таким авторитетам, как М.Фуко, Ж.Деррида, П. Бурдье, М.М. Бахтин, и к другим, значимым прежде главным образом для «культуральных» исследований (cultural studies) и литературоведения, а также к работам К. Гирца и других авторитетов в антропологии. Среди исследователей истории России становится популярным характерный для гуманитарных дисциплин интерес к языку и дискурсу, генетически связанный с французским постструктурализмом. По замечанию М. Дэвида-Фокса, для историков самой значимой фигурой стал Мишель Фуко. Его влияние породило в западной историографии «целые области исторических исследований, которые сегодня значительно отличаются от вдохновивших их концепций»[65].

«Новую культурную историю» не следует путать с историей культуры, которой зарубежные русисты занимались достаточно активно, хотя эта область всегда находилась в тени политической и социально-экономической

[65] *Дэвид-Фокс М.* Ук. соч., с. 17–18.

истории. В годы холодной войны превалировало убеждение, что без глубокого знания русской культуры невозможно понять ни Россию, ни современный Советский Союз. Зачастую именно интерес к богатой русской культуре и давал первоначальный толчок тем, кто решался избрать Россию предметом своей специализации во время учебы в университете. Однако культура понималась в послевоенной русистике в соответствии с традициями XIX века, в ней проводились различия между «высокой», «европейской» культурой элиты и «традиционной» культурой крестьянства, между которыми лежала непреодолимая пропасть. Такое «биполярное» понимание русской культуры вполне вписывалось в общую концепцию «догоняющего развития», согласно которой Россия спешила европеизироваться. В то же время изучение русской культуры давало пищу для интерпретаций, подчеркивающих уникальность страны, для ее «экзотизации». В этом отношении показательна знаменитая книга Дж. Биллингтона «Икона и топор»[66], посвященная, несмотря на свое название, в основном культуре дворянства и интеллигенции.

С утверждением «культурной парадигмы» культура из предмета изучения превращается в инструмент анализа, который оказывается полезен историкам. Как отмечалось, «культура выходит из царства экзотических обычаев, празднеств, ритуалов и вступает на территорию исторической проблематики»[67].

С конца 1980-х годов само понятие «культуры» претерпело радикальные изменения. Ее стали понимать не как нечто неизменное, всеобщее, системное, а как множество дискурсов, сосуществующих между собой в рамках динамического взаимодействия и конфликтов. Утверждается антропологическое понимание культуры, что предполагает изучение

---

[66] *Billington J.* The icon and the axe. N.Y., 1966.

[67] *Dirks N., Eley G., Ortner Sh.* Introduction // Culture/power/history: a reader in contemporary social theory / Ed. by Dirks N., Eley G., Ortner Sh. Princeton, 1994. P. 6.

культурных миров отдельных классов, этнических и расовых групп, субкультур тех или иных сообществ. Культура с антропологической точки зрения предстает как целостная система, выражающая специфику жизненного уклада и поведения, способ мировосприятия, систему религиозных верований и ценностных ориентаций[68]. В то же время происходит, с одной стороны, «историзация» категории культуры, что позволило трактовать многие традиции как изобретенные, причем достаточно недавно. С другой стороны, произошла и «антропологизация» истории - она стала пониматься как «изменчивая культурная форма». «Имеется в виду, что сама конфигурация событий, их временной темп, интерпретация того или иного события – все это не просто объективные реальности, а продукты культурных представлений, выработанных в конкретную эпоху»[69]. Такой подход позволяет применять категорию культуры к анализу самых разных феноменов, в том числе и к таким традиционным для политической истории проблемам, как характер самодержавной власти в России или подготовка и реализация реформ.

Хотя понятие «политическая культура» уже достаточно активно использовалось 1980-е годы, в частности, в исследованиях российской бюрократии XIX в., однако «культурный поворот» значительно обогатил этот концепт. Центральное место в историографии 1990-х годов заняла категория власти, которую стали трактовать иначе, чем М. Вебер и его последователи, которые полагали, что власть сосредоточена в институциях. Возникло убеждение, что культура возникает из отношений власти и господства, сама является формой власти и господства и одновременно той средой, в которой власть конституируется. В культуре, по словам Л. Энгелстейн, историки видят «источник политических стилей и даже силу, руководящую судьбами

[68] Такое понимание культуры уже присутствовало в исследованиях русского крестьянства, развивавшихся за рубежом в 1980-е годы. См., в частности: *Hoch S.* Serfdom and social control in Russia…; The world of the Russian peasant…, и др.
[69] *Dirks N., Eley G., Ortner Sh.* Op.cit. P. 4-5.

наций»[70]. В центре внимания оказываются символические репрезентации, которые, как считается, не просто отражают политическую реальность, а придают тот или иной смысл политическим событиям и формируют политические альтернативы.

Огромное влияние на исследование политики оказала концепция дисциплинарного общества Фуко: она вынесла анализ власти за пределы государственных институтов в область дискурсов и самого человеческого тела. Навеянная духом 1960-х, когда «политику» видели повсюду, это была принципиально новая концепция власти, поскольку подчеркивала ее внутренний характер по отношению к индивиду. Власть обнаруживалась и в социуме, и в семье, иначе теперь она понималась и в политике. Как писал в статье о влиянии «культурного поворота» на изучение политики Р. Суни, сама сфера политики и политического чрезвычайно расширилась. «Укореняется представление о культурной сконструированности политики и нагруженности культуры политическими смыслами, ее глубокой связи с политической практикой. Появляется механизм для изучения дисциплинарных и властных отношений, которые формируют политический режим. Возвращая государство в исторические исследования, современная историография указывает на конструктивную роль культуры в формировании государства. Таким образом, культурный поворот расширил круг «законных» тем исторического исследования, «внедрив политику в повседневную жизнь». По его словам, «идентичность, дискурс и аффект были привнесены в игру в объяснении политического выбора, не только в микрополитике повседневной жизни, но и на уровне государства»[71].

Конкретизируя эти положения, Суни пишет, что поскольку «цели, стратегии и предпочтения людей создаются и обретают значение только в

---

[70] *Engelstein L.* Culture, culture everywhere… P. 363.
[71] *Suny R.G.* Back and beyond: Reversing the cultural turn? // The American historical review. 2002. Vol.107. N 5. P. 1488.

рамках культурной системы», особое внимание следует уделять языку, который «не только выражает, но и конституирует политический мир, помогая сформировать восприятие статуса, интересов, идеологии». Таким образом, заключает он, «концепция дискурса серьезно обогатила представления о политике, наше понимание государства, языков и репрезентаций власти»[72].

Из сказанного можно заключить, что понятие власти кардинально расширилось, и теперь, в отличие от веберовского анализа, сосредоточенного на государстве и его аппарате, этот концепт обрел «антропологическое измерение». В соответствии с известной концепцией Фуко о «власти/знании», понятие включило в себя и так называемых «экспертов», собирающих и производящих информацию/знание. А кроме того, понятие власти было низведено с государственных высот на микроуровень одной деревни, одной семьи или одного индивида.

Человек становится основной единицей измерения, и эта смена координат стала отличительной чертой так называемого «антропологического поворота» в историческом знании. Его не следует понимать как обращение к «простому человеку»: этим уже занималась социальная история 1960-1980-х годов. Однако в фокусе ее внимания находились массы («низы»), и даже интерес к повседневности и микроистории подразумевал в конечном итоге анализ «фундаментальных структур повседневной жизни». Социально-научная история была нацелена на объяснение закономерных процессов исторической эволюции, которые познавались на основе непосредственного опыта людей; «культурный» и «лингвистический» повороты переориентировали исследователей.

Благодаря внедрению в исторические исследования дискурсивного анализа язык как основа, конструирующая и формирующая реальность, все

[72] Ibid. P. 1494.

дальше оттесняет на задний план опыт. Фокус внимания перемещается с социальной группы на *индивида,* который выступает как активное, деятельное начало в истории. Таким образом, главное, что составляет суть антропологического поворота и лежит в основе всех методологических инноваций, - это смена координат, в которой центральное место занял человек (субъект), а не «объективные факторы» и «социальные структуры».

Важным следствием лингвистического поворота для исторической науки явилось и то, что она довольно быстро усвоила уроки постмодернистской критики, утверждавшей, что письменные источники вовсе не «говорят сами за себя» и утаивают больше, чем открывают исследователю[73]. В центр внимания попадают «красноречивые умолчания», а «доверчивая цитация» постепенно отступает (хотя и не исчезает окончательно из исторических исследований) – на смену ей приходит деконструкция понятий и идей.

Благодаря инкорпорированию методов лингвистики, культурных исследований, литературоведения и искусствоведения сегодняшняя история выглядит совсем по-другому: она стала гуманитарной наукой, что уже нашло отражение в поисковых системах баз данных. Изменился и облик исторической русистики – прежде всего потому, что расширилось ее исследовательское поле. Так называемый «исторический поворот»[74] затронул все социальные и гуманитарные науки, и история России как предмет изучения присутствует в работах не только традиционно исторических, но и в тех, которые формально относят к литературоведению, культурологии, антропологии и этнологии, гендерным исследованиям, религиоведению, музыковедению и др. В частности, как уже упоминалось, значительная часть

---

[73] Reading primary sources: The interpretation of texts from nineteenth- and twentieth-century history / Ed. by Dobson M., Ziemann B. L., 2009.

[74] См.: The historic turn in the human sciences / Ed. by McDonald T.J. Ann Arbor, 1996; *Татарчевская Т.* О новом историческом повороте в социологии // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. С. 75–83.

литературоведческих исследований занимается изучением истории, а историки, в свою очередь, все чаще используют литературоведческий анализ и рассматривают темы, прежде относившиеся к сфере литературы[75].

В 2000-е годы зарубежная русистика пережила новые историографические повороты, которые, можно сказать, являлись прямым следствием поворота антропологического. Таковы «визуальный» и «эмоциональный» повороты, в них зарубежная русистика вступила с некоторым опозданием по сравнению с мировыми тенденциями. Некоторые авторы видят причину такой задержки в общепринятом представлении о «логоцентричности» русской культуры, которое, однако, правомерно скорее для XIX века[76].

Хотя специалисты по истории Московии и изучали изобразительные источники весьма активно, осознанное внимание к визуальной составляющей возникло в новом тысячелетии. В содержательном и богато иллюстрированном сборнике «Изображая Россию» этот «поворот» нашел свое наиболее полное отражение, продемонстрировав возможности использования изображений не только для иллюстраций, но и для получения информации, которая отсутствует в письменных источниках, и для исторического анализа[77].

Совсем недавно русистика вписалась в «эмоциональный поворот». В своем «Ведении» к подборке материалов «Эмоциональный поворот? Чувство в русской истории и культуре», опубликованной в журнале «Славик ревю», немецкий историк Ян Плампер отметил, что подход к изучению эмоций как социальных конструктов, исторически и культурно обусловленных, начал

---

[75] См., в частности: *Reyfman I.* Ritualized violence violence Russian style: The duel in Russian culture and literature. Stanford, 1999; *Helfant I. M.* The high stakes of identity: Gambling in the life and literature of nineteenth-century Russia. Evanston, 2001; Epic revisionism: Russian history and literature as Stalinist propaganda / Ed. by Platt K., Brandenberger D. Madison, 2006, и многие другие.

[76] *Levitt M.* The visual dominant in eighteenth-century Russia. DeKalb, 2011.

[77] Picturing Russia: Explorations in Russian visual culture.

применяться не только в культурной антропологии, но и в исторических и историко-литературных исследованиях[78]. Границы «чувств» при этом неуклонно расширяются, включая в себя и ощущения, поскольку они (запах, вкус, звук) являются важнейшей составной частью человеческого опыта, памяти, а значит, и истории. Как отразить это инстинктивное, иррациональное, во многом физиологическое восприятие в исторических исследованиях? В сборнике «Российская история сквозь призму ощущений» с разных точек зрения анализируется значение «сенсорной истории» для понимания того, что собой представляла жизнь в России в эпоху Нового времени. В нем наличествуют три сквозные темы: формирование коллективных идентичностей, эксперименты в области социальной инженерии и война[79].

Наиболее значимым для зарубежной историографии императорской России, где изучение внутренней политики традиционно играло большую роль, явился «имперский поворот», изменивший вектор направления исследований и общий взгляд на страну изучения. В мировой историографии он начался в 1990-е годы на пике интереса к проблемам этничности и национализма и представлял собой смещение фокуса исследований с национальных государств к империям. В этот период возникает «новая история империй», базирующаяся на культурной парадигме и тесно связанная с «постколониальным поворотом». По мнению Р. Суни, культурный поворот внес большой вклад в исследование наций и национализма. «Сама идея сконструированности наций, как и культур в целом, и центральное значение «веры, репрезентации и воображения» в формировании культур и наций бросают вызов позитивистским теориям этнического конфликта и открывают возможности для новых конструкций

[78] *Plamper J.* Introduction // Slavic rev. 2009. Vol. 68, N 2. P. 229-237; Interpreting emotions in Russia and Eastern Europe / Ed. by Steinberg M.D., Sobol V. DeKalb, 2011.
[79] Russian history through the senses. From 1700 to the present / Ed. by Romaniello M.P., Starks T. L., 2016.

национальной идентичности»[80]. Постколониальные исследования опирались на эти представления, сформировав целый ряд теорий, позволяющих анализировать «нематериальные измерения колониализма» с особым вниманием к колониальным дискурсам и моделям мышления, что означало совершенно иной взгляд на проблему империй и империализма и на процесс деколонизации.

Для исследователей европейского колониализма долгие годы главными темами являлись стратегия и практика завоеваний и экономическая эксплуатация завоеванных колоний, а также их «развитие», под которым подразумевался более или менее успешный трансфер западных идеологий (национализма, либерализма, социализма и пр.), а также институтов и технологий в мир незападный. Острая критика европоцентризма и связанных с ним категорий и оценок окружающего мира, включая либеральную схему исторического процесса, и легла в основу постколониальных исследований. Зародившиеся в 1970-1980-е годы в литературоведении и культуральных исследованиях, они захватили вскоре и исторические дисциплины; в 1990-е годы они обрели свое место в научном мире и утвердились в университетских программах[81]. С тех пор, несомненно, постколониальные исследования претерпели ряд существенных изменений, однако сохраняют свою влиятельность и в настоящее время.

В основу нового направления легла книга Эдварда Саида «Ориентализм», представлявшая собой историю востоковедных исследований в Европе. Сам он, в свою очередь, вдохновлялся идеями Фуко и Грамши. Кратко выводы Саида можно сформулировать следующим образом: Во-первых, «научное» исследование Востока европейцами было по своей природе монологом, основанным на западных категориях и

[80] *Suny R.G.* Back and beyond... P. 1497–1498.
[81] *Fischer-Tiné H.* Postcolonial Studies. URL: http://ieg-ego.eu/en/threads/theories-and-methods/postcolonial-studies

предрассудках, и давало в лучшем случае карикатурное изображение тех стран и регионов, которые они описывали. Во-вторых, притязания востоковедов на авторитет западной науки вели к «дискурсивному лишению прав» жителей Востока, которые лишались возможности говорить сами: их объясняли и представляли «извне». В-третьих, несмотря на постоянные торжественные заявления о нейтральности науки, западные описания Востока всегда имели своекорыстный интерес. С одной стороны, речь шла о получении знания для успешного осуществления колониального правления, с другой – о самоутверждении Европы. «Другой» – термин, заимствованный постколониальными теориями главным образом из психоанализа (Лакан). Проецируя на другого и приписывая ему неприятные феномены, имеющиеся в собственном обществе (пассивность, иррациональность, деспотизм, насилие), «Запад» начинал выглядеть в более благоприятном свете. Таким образом, «Восток» (т.е. весь неевропейский мир) был наделен в глазах европейцев ролью «анти-Европы»[82].

Книга Саида открыла новые перспективы и поставила под вопрос целый ряд казавшихся несокрушимыми в своей обыденности истин. Прежде всего, было проблематизировано понятие «Запад»: к нему стали относиться не как к данности, а как к некой сконструированной категории, находящейся в сфере воображения и историчной по сути. Пришло понимание, что модели, сформированные прежде, являются продуктом эпохи модерна и основаны на формах бинарного мышления, занимавших господствующее положение в эту эпоху. В идеологии империализма большую роль играли оппозиции, полчеркивающие отношения неравенства: «цивилизация/варварство», «прогресс/отсталость», «знание/невежество», «колонизаторы/колонизуемые», «учитель/ученик», «белый/черный», «взрослый/ребенок».

[82] *Said E.* Orientalism. N.Y., 1978.

Критика европоцентризма в сконцентрированном виде была представлена в книге Дипеша Чакрабарти «Провинциализируя Европу», получившей широкое признание в мировом научном сообществе. Он указывал на бездумное, неотрефлектированное использование концептов, теорий и методов, которые возникли на Западе; на привычку видеть «естественный» характер исторического развития Европы и считать его «программой» для остального мира, который считают «периферией» и «полупериферией». Наконец, на убеждение, что только путем усвоения западного знания и западных ценностей другие страны могут достичь уровня развития метрополии и будут приняты как равноправные партнеры[83]. Чакрабарти предлагал критически оценить «этноцентризм» западных концепций и категорий и попытаться «провинциализировать» Европу - т.е. придать ей статус одного региона среди многих.

Критике подверглись и присущие колониальному западному дискурсу идеи прогресса и цивилизации – теоретическая основа колониального завоевания, оправдание его «цивилизаторской миссией» продвинутых стран. Соответственно утратила свою ценность и теория модернизации как европоцентристская по существу, и другие социальные теории, которые «увязли в классических нарративах модерности – теориях зависимого развития и моделях «центр-периферия», и не могли объяснить многонаправленный характер глобальных взаимодействий»[84].

Исследователи отмечают, что феминизм и постколониальные исследования близки в своем понимании механизмов доминирования (соответственно, патриархальности и империализма). Действительно, выросшая из феминистской историографии гендерная история аккумулировала в себе все методологические инновации эпохи, которые

---

[83] Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton, N.J., 2000. P. 7–8.

[84] Post-colonial studies: The key concepts / Ed. by B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. 2nd ed. L., N.Y.: Routledge, 2007. P. VII.

были в сжатом виде представлены в программной статье Джоан Скотт «Гендер – полезный инструмент исторического анализа»[85]. В ней была дана программа «лингвистического» и «культурного» поворотов для женской истории, которая к тому времени явно «застряла на обочине» социальной истории, страдала описательностью и занималась в основном проблемами угнетения и сопротивления. Джоан Скотт предложила сделать предметом изучения гендерную структуру общества – основу социальной иерархии. Гендер, в ее понимании, являлся «первичным способом обозначения властных отношений», которые он структурировал и легитимировал. Все это укладывалось в постструктуралистские представления философов, психоаналитиков и литературоведов о том, что языковые термины, фиксирующие те или иные различия, в том числе гендерные, способствуют укреплению социально-политического строя. Поставленная Дж. Скотт задача изучения гендерных норм, стереотипов и идентичности обозначила переход от социальной истории к культурной.

Присущий феминизму критический заряд был направлен в первую очередь на классовый анализ, который не вмещал в себя все многообразие социальной жизни. Ставилось под вопрос и материалистическое мировоззрение, присущее социальной истории, поскольку половые различия интерпретировались теперь как условные, социально сконструированные и предписанные обществом. Феминистскую критику Дж. Или назвал «самой результативной», поскольку она дестабилизировала казавшиеся прежде незыблемыми категории, выходя за пределы тех структурных рамок, в которых обычно действовали «ниспровергатели основ»[86].

Утвердившееся в 1990-е годы в зарубежной историографии восприятие мира как построенного на отношениях неравенства оказало глубокое влияние

---

[85] *Scott J.* Gender: a useful category of historical analysis // The American historical rev. 1986. Vol. 91. N 5. P. 1053-1075.

[86] *Ely G.* A crooked line: From cultural history to the history of society. Ann Arbor, 2005. P. 173.

на изучение России и ее истории. Ее окончательно «вернули» в «семью европейских наций»[87]. С тех пор было опубликовано много интересных работ, анализирующих проблемы «Россия и Запад»[88], предложены разные рецепты ее разрешения, хотя ни один из них нельзя назвать окончательным. В новом тысячелетии противопоставления «отсталой» России «цивилизованному» Западу практически исчезли из профессионального дискурса. Сегодня это выглядит ненаучным и некорректным, поскольку «принижает» Россию.

Интеграция с мировой историографией способствует тому, что история России приводится в соответствие с общеевропейской историей. В частности, предложена и аргументирована новая периодизация, поставившая под вопрос традиционное значение петровских реформ как водораздела в истории России. Выделяется период раннего Нового времени, соответствующий современным представлениям о европейской истории. Он датируется приблизительно 1500–1800 гг.[89]. Для западных специалистов наступление эпохи современности (modernity – модерности) связывается с Великой французской революцией. Как таковая модерность характеризуется разворачиванием промышленного производства, быстрой урбанизацией, капитализмом как ведущей экономической системой, развитием новых технологий, транспортного сообщения и массовой прессы, что обеспечивает быстрый обмен информацией.

Период «высокой модерности» наступает в 1880-е годы и длится до Второй мировой войны. Теперь во главу угла ставятся не только общеевропейские, но и общемировые тенденции. Считается, что как и другие

---

[87] Russia in the European context, 1789-1914: a member of the family / Ed. S.McCaffray and M.Melancon. N.Y., 2005.

[88] См., в частности: *Kingston-Mann E.* In search of the true West…; *Malia M. E.* Russia under the Western eyes… и др.

[89] См. материалы дискуссии: *Martin R.E.* The Petrine divide and the periodization of Early Modern Russian history // Slavic rev. 2010. Vol.69. N 2. P. 410–425; *Ostrowski D.* The end of Muscovy: The case for circa 1800 // Ibid. P. 426–438.

страны Европы, Россия пережила духовный кризис рубежа веков (fin de siècle), бурное развитие в начале XX в. массового производства и потребления, массовой культуры и прессы, подъем религиозных движений и резкое усиление духа национализма[90]. Таким образом, изучавшийся в контексте «кризиса самодержавия» пореформенный период наделяется совершенно иными смыслами. В то же время большой вес приобретает тенденция преодолевать так называемый «разрыв 1917 г.», с особым вниманием к преемственности между дореволюционным и советским периодами. Хронологические рамки «высокой модерности» предоставляют такую возможность, тем более что «парадигма 1917 г.» более не довлеет над историографией.

В 1990-2000-е годы в зарубежной русистике ощутимо сменяются тематические предпочтения. Нельзя сказать, что темы «совершенно новые» - точечное их изучение велось и ранее. Однако только в новую эпоху они выдвинулись на передний план и очень серьезно изменили взгляд на историю императорской России.

Новые темы и объекты исследований, как правило, возникали неслучайно. По большей части это те проблемы, которые находятся в центре внимания коллег – специалистов по истории США и Западной Европы.

История религии и церкви в России – пожалуй, самое новое из направлений в зарубежной русистике[91]. Критическим моментом в данном случае стало возрождение православной Церкви и религиозной жизни в СССР в годы перестройки, «открывшее» эту тему для исследователей и придавшее ей особую актуальность. В перестроечной и постсоветской России прежде запретная тема религии заняла одно из ключевых мест в движении по заполнению «белых пятен» советского прошлого, которое

[90] Sacred stories: Religion and spirituality in modern Russia / Ed. by Steinberg M.D. and Coleman H.J. Bloomington, 2007. P.1–2.

[91] В годы холодной войны серьезно и профессионально это темой практически в одиночку занимался Грегори Фриз.

захватило широкие слои общества; не остались в стороне и ученые. 1990-е годы отмечены настоящим бумом публикаций архивных документов, которые спонсировались и государством, и Церковью.

В зарубежной русистике тема религии, до этого занимавшая самое скромное место, превращается в одну из ключевых, и особенно востребованной она становится в исследованиях России как многонациональной империи. Религиозная проблематика включается в учебные программы, защищаются диссертации. И хотя этой темой занимаются и немецкие, и французские русисты, доминируют американцы. При этом основное внимание уделяют императорскому периоду, который изучается в культурологическом ключе. В современной зарубежной историографии мы найдем не так много исследований церкви как института; еще меньше работ посвящено традиционной теме взаимоотношений церкви и государства, да и здесь заметны определенные инновации. Например, в книге Дж.Бэзила акцент переносится на дебаты о синодальной системе, т.е. в область интеллектуальной истории[92].

На развитие этих исследований в зарубежной русистике повлиял и общемировой контекст. В 1990-е годы в мировой науке происходит, с одной стороны, «открытие» религии, с другой – начинается пересмотр прежних секуляристских концепций общества и его эволюции. Получает приоритет культурологическое понимание религии как системы верований, символов и практик, которая носит всеобъемлющий характер и относится буквально ко всем сферам жизни индивида и социума. Наряду с традиционными церковной историей (church history) и религиоведением (religious studies) конституируется новая дисциплина – антропология религии, занимающаяся изучением сферы сакрального, что включает в себя многообразные формы человеческой деятельности и мир идей. Религия изучается антропологами в

[92] *Basil J.D.* Church and state in late imperial Russia: Critics of the Synodal system of church government, 1861-1914. Minneapolis, 2005.

тесной связи с механизмами функционирования власти, при этом критикуется тенденция выделять религию в особую область, отдельную от политики, экономики, культуры и пр.

Для антропологии характерно критическое отношение к либеральным дефинициям религии, берущим за свою основу христианство и, соответственно, европоцентристским по существу. Секуляризация в этом контексте предстает лишь составной частью «западного» либерального проекта, не позволяющего дать удовлетворительные объяснения «возвращению» религии на исходе XX в. и несомненному повышению ее роли в настоящее время.

В современной науке проводится различие между религией, определяемой теологически и институционально, и более широким понятием сакрального, что указало на необходимость изучать как «организованную» религию, так и сферу духовного опыта и осмысления «священного». В целом же происходит отказ от опоры на бинарные оппозиции, противопоставляющие религию науке (рациональному знанию), веру элиты – народным верованиям, светское – сакральному.

С другой стороны, не утрачивает своих позиций и социологический подход, интерпретирующий религию как отдельный институт в секулярном контексте либерального государства и как форму социальной идентичности. Это придало изучению религии особую актуальность в 1990-е годы, когда проблема формирования индивида находилась в центре внимания всех общественных и гуманитарных наук. В итоге религия обрела политическое измерение и заняла важное место в исследованиях политики по отношению к населению[93].

В исследованиях православия Московской Руси переход от преимущественно институциональной к культурной истории заметен

[93] A companion to the anthropology of religion / Ed. by Boddy J., Lambek M. Hoboken, 2013.

наиболее отчетливо. Здесь наблюдается отказ как от системы понятий, унаследованных от русских дореволюционных историков, которые переносили свое отношение к Церкви (реакционный институт) на далекое прошлое, так и от влиятельной концепции о существовании в Московии двух культур – ученой клерикальной и мирской, разделенных непреодолимым барьером. Не устроила многих историков и концепция «народной религии», также строящаяся на дихотомии, на этот раз «народный/элитарный». Привлечение новых видов источников, прежде всего визуальных – иконописи, настенных росписей, картографических материалов, а также изучение ритуалов и церемоний, в сочетании с критическим отношением к привычным методам и концепциям, позволило исследователям реконструировать целостную культуру Московии (с учетом региональных вариаций). Рассматривая православие в качестве основы (кирпичиков) культуры Московского царства (и распространяя это влияние на несколько веков вперед), зарубежные русисты показали, что оно обеспечивало системой понятий и символов все население страны, включая и неправославных[94].

Историки императорского периода с большим энтузиазмом восприняли концепцию «живого религиозного опыта» (lived religion), что подразумевает «человеческое» измерение религиозности и подчеркивает взаимодействие и диалог в противовес строгим разграничениям, противостоянию, репрессиям, которые находились в центре внимания традиционной историографии[95]. За последние двадцать лет эта концепция получила широкое признание в русистике и нашла отражение во многих монографиях и сборниках[96]. Как

---

[94] Orthodox Russia: Belief and practice under the tsars / Ed.by Kivelson V.A., Greene R.H. University Park, 2003.

[95] Orthodox Christianity in imperial Russia: a source book on lived religion / Ed. by Coleman H.J. Bloomington, 2014.

[96] *Kizenko N.* A prodigal saint: Father John of Kronstadt and the Russian people. University Park, 2000; *Chulos C.J.* Converging worlds: Religion and community in peasant Russia, 1861-1917. DeKalb, 2003; *Herlinger P.* Working soles: Russian Orthodoxy and factory labor in St. Petersburg, 1881-1917. Bloomington, 2007; *Hedda J.* His kingdom come: Orthodox pastorship

заметил в своей обзорной статье П.Верт, исследования «живого православия» - одно из основных достижений и векторов развития историографии 2000-х годов[97].

В центре внимания исследователей находятся такие проблемы, как особенности православного благочестия, культура духовного сословия, взаимоотношения прихода и церковных властей, формы почитания святых и чудотворных икон, что позволяет преодолеть традиционный для прежней историографии разрыв между верой «верхов» и «низов» общества. В конечном итоге, все эти исследования анализируют особенности формирования русской национальной идентичности.

Этой проблеме посвящена монография американки русского происхождения Веры Шевцов. Используя методы антропологии религии, она исследовала церковную общину в России накануне падения старого режима, когда кризисные явления в церкви достигли своего апогея. В монографии рассматриваются наиболее важные аспекты религиозной жизни: храм и его приход, церковные праздники, строительство часовен, почитание икон. В центре внимания – систематическое исследование культа Богоматери, которое включает в себя не только описания особо почитаемых икон, рассказы о производимых ими чудесах и анализ их воздействия на верующих, но и демонстрирует их объединяющий потенциал на уровне одного прихода. А через их тесную связь с историческим прошлым страны – на уровне нации. Выявляя систему образов, при помощи которых люди обретали ощущение причастности к коллективному целому, автор воссоздает основные черты православной идентичности[98].

---

and social activism in revolutionary Russia. DeKalb, 2008; *Greene R. H.* Bodies like bright stars: Saints and relics in Orthodox Russia. DeKalb, 2010; *Paert I.* Spiritual elders: Charisma and tradition in Russian Orthodoxy. DeKalb, 2010, и др.

[97] *Werth P.* Lived Orthodoxy and confessional diversity: The last decade on religion in modern Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2011. Vol.12, N 4. P. 849-865.

[98] *Shevzov V.* Russian Orthodoxy on the eve of revolution. Oxford, 2004.

Тесная связь с исследованиями по истории Западной Европы выражается в зарубежной русистике не только в теоретических заимствованиях, но и в постоянном сопоставлении российских практик с общеевропейскими, что вывело изучение православия из интеллектуальной изоляции. Однако говорить о слепом заимствовании неправомерно, поскольку русисты, демонстрируя высокую степень информированности о том, что происходит в смежных дисциплинах, стараются проложить свою дорогу в дебрях историографических дебатов. Главной мишенью критики и здесь является «дихотомическое» мышление, которое в контексте изучения религиозных тем приводит к выстраиванию исследования в рамках оппозиций «религиозный / светский», «элитарный / народный», «официальный / неофициальный». Подтверждение того, что невозможно разграничить высокое и низкое, старое и новое, традиционное и модерное, поскольку все это существовало бок о бок в православной практике эпохи Нового времени, можно найти в монографии Л.Энгелстейн о секте скопцов, переведенной на русский язык[99]. А монография британки Стеллы Рок должна бы поставить последнюю точку в дискуссиях о двоеверии[100].

Еще одно направление, которое обрело к настоящему времени достаточную зрелость, связано с осознанием религиозного разнообразия Российской империи[101]. Оно включает в себя работы, посвященные изучению других конфессий, в первую очередь ислама и иудаизма, а также имперской политике по отношению к иноверцам[102]. Кроме того, немалое внимание

---

[99] *Engelstein L.* Castration and the heavenly kingdom: A Russian folktale. Ithaca, 1999

[100] *Rock S.* Popular religion in Russia: «Double belief» and the making of an academic myth. L.; N.Y., 2007.

[101] *Werth P.* The tsar's foreign faiths: Toleration and the fate of religious freedom in imperial Russia. Oxford; N.Y., 2014.

[102] *Kornblatt J.D.* Doubly chosen: Jewish identity, the Soviet intelligentsia, and the Russian Orthodox Church. Madison, 2004; *Kemper M.* Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan: Von den Khanaten und Gemeindebünden zum gihad-Staat. Wiesbaden, 2005; *Vulpius R.* Nationalisierung der Religion: Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung, 1860–1920. Wiesbaden, 2005; *Friesen A.* In defense of privilege: Russian Mennonites and the state

традиционно уделяется старообрядцам и сектантству[103], однако подходы к их изучению кардинально изменились. Подавляющее их большинство можно также отнести к направлению «новой имперской истории», рассматривающее многонациональную Россию как один из примеров «континентальной» империи. Это также новое направление в зарубежной русистике, изменившее взгляд на Россию – оно будет подробно рассмотрено в отдельной главе как пример историографии, пришедшей на смену исследованиям государства и его институтов, развивавшихся в 1960-1980- годы.

Исследование роли и места религии в эпоху модерности, которая обычно характеризовалась как время торжества разума и науки – еще одна значимая тема. Считалось, что секуляризация составляет сущность процесса модернизации, в ходе которого религия постепенно оттесняется на обочину публичной жизни и «приватизируется». Исторические исследования показали, что содержание эпохи не сводится к рационалистической и научной модернизации, включающей в себя культ разума, доктрину прогресса, веру в науку и технологии. Ее апогей, конец XIX – начало XX в., на самом деле является временем колоссальной религиозной мобилизации. Этой теме был посвящен сборник «Священные истории», изданный по итогам конференции 2002 г. в университете Иллинойса[104]. Помещенные в нем статьи ставят под вопрос такие, казалось бы, привычные утверждения,

---

before and during World War I. Winnipeg, 2006; *Rubin D.* Holy Russia, sacred Israel: Jewish-Christian encounters in Russian religious thought. Brighton, 2010; *Kane E.* Russian hajj: empire and the pilgrimage to Mecca. Ithaca, 2015; *Kefeli A.* Becoming Muslim in imperial Russia: Conversion, apostasy, and literacy. Ithaca, 2014; *Werth P.* The tsar's foreign faiths …, и др.

[103] *Engelstein L.* Castration and the heavenly kingdom…; *Paert I.* Old Believers, religious dissent and gender in Russia. Manchester: Manchester univ. press, 2003; *Zhuk S.I.* Russia's lost Reformation: Peasants, millennialism, and radical sects in Southern Russia and Ukraine, 1830-1917. Wash., 2004; *Coleman H. J.* Russian baptists and spiritual revolution, 1905–1929. Bloomington, 2005; *Rogers D.* The old faith and the Russian land: A historical ethnography of ethics in the Urals. Ithaca, 2009; Russia's dissident Old Believers, 1650–1950 / Ed. by Michels G.B., Nichols. R.L. Minneapolis, 2009; *Crummey R. O.* Old Believers in a changing world. DeKalb, 2011.

[104] Sacred stories…

как упадок Русской православной церкви в последние десятилетия существования царского режима, пропасть между сакральным и светским, наконец, несовместимость религиозности с современностью (модерностью). Другие работы историков-русистов также демонстрируют активную вовлеченность населения Российской империи в религиозную жизнь в конце XIX – начале XX в., подтверждая жизнеспособность как православия, так и других конфессий и религиозных доктрин. Большой интерес в этом массиве литературы представляют работы, посвященные богословской мысли, религиозной философии, наконец, теософии и оккультизму, получившим широкое распространение в этот период[105]. Исследователи отмечают, что важной чертой религиозной жизни в «новые времена» стала ее «феминизация», что было характерно и для Западной Европы. В целом же гендерное измерение религиозности используется русистами достаточно активно, в том числе при изучении «высокой» политики[106].

1990-е годы стали временем расцвета гендерной истории в зарубежной русистике. Историки обратились к изучению таких тем, как Петровская революция и «длинный» XVIII век, частная жизнь женщины и эволюция моделей семьи и брака в России XVIII – первой половины XIX в.,

---

[105] *Valliere P.* Modern Russian theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov: Orthodox theology in a new key. Grand Rapids, 2000; *Steinberg M.D.* Proletarian imagination: Self, modernity, and the sacred in Russia, 1910-1925. Ithaca, 2002; *Robson R.* Solovki: The story of Russia told through its most remarkable islands. New Haven, 2004; *Bailey H.* Orthodoxy, modernity, and authenticity: The reception of Ernest Renan's Life of Jesus in Russia. Newcastle, 2008; *Medzibovskaya I.* Tolstoy and the religious culture of his time: a biography of a long conversion, 1845-1887. Lanham, 2008; Alter icons: The Russian icon and modernity/ Ed. by Gatrall J.J.A., Greenfield D. University Park, 2010; A history of Russian philosophy, 1830–1930: Faith, reason, and the defense of human dignity / Ed. by Poole R., Hamburg G.M. Cambridge, 2010; *Mannherz J.* Modern occultism in late imperial Russia. DeKalb, 2012; Thinking Orthodox in modern Russia: culture, history, context / Ed. by Michelson P.L., Kornblatt J.D. Madison, 2014; *Tuna M.* Imperial Russia's Muslims: Islam, empire and European modernity, 1788-1914. Cambridge, 2015.

[106] См., в частности: *Thyrêt I.* Between God and tsar: Religious symbolism and the royal women of Muscovite Russia. DeKalb, 2001; *Paert I.* Old Believers…; *Kahla E.* Life as exploit: Representations of twentieth-century saintly women in Russia. Helsinki, 2007; *Marker G.* Imperial saint: The cult of St. Catherine and the dawn of female rule in Russia. DeKalb, 2007.

возникновение идеологии «разделенных сфер», женщины и экономика в дореформенной России, женщины и литература – в контексте изучения истории профессий, религиозность и духовная жизнь женщины, маскулинность эпохи романтизма и трансформация ее моделей в ходе кризиса начала XX в., гендер в его связи с национальной идентичностью, Первая мировая война и гендерные идентичности[107].

Своего пика публикации по гендерной проблематике достигли в начале 2000-х годов, затем их количество существенно сократилось. Однако здесь наблюдается довольно интересная тенденция: гендерный анализ «встроился» в исследования – в какие-то формально, на правах отдельной главы, а в каких-то окрасил общее понимание анализируемой проблемы. В целом же зарубежные исследования последних двадцати лет совмещают в себе проблематику, которую можно было бы отнести к разным «актуальным направлениям».

Так, в монографии специалиста по пореформенному крестьянству Кристины Воробек «Одержимые»[108] исследуется восприятие кликушества разными акторами: государством, церковью, самими крестьянами, и анализируются сложившийся в течение XIX в. дискурс. В его формирование внесли свой вклад и ученые-этнографы, и писатели, в том числе Л.Н. Толстой

---

[107] *Rosenholm A.* Gendering awakening: Femininity and the Russian woman question of the 1860s. Helsinki, 1999; Gender and sexuality in Russian civilization / Ed. by Barta P. L.; N.Y., 2001; Gender in Russian history and culture / Ed. by Edmondson L. L.; N.Y., 2001; An improper profession: Women, gender, and journalism in late imperial Russia / Ed. by Norton B.T., Gheith J.M. Durham: Duke univ. press, 2001; *Kelly C.* Refining Russia: Advice literature, polite culture, and gender from Catherine to Yeltsin. Oxford, 2001; *Marrese M.L.* A woman's kingdom: Noblewomen and the control of property in Russia, 1700-1861. Ithaca, 2002 (*Маррезе М.Л.* Бабье царство: Дворянки и владение имуществом в России, (1700-1861) / Авториз. пер. с англ. Н. Лужецкой. М., 2009); Women and gender in 18th-century Russia / Ed. by Rosslyn W. Burlington, 2003; *Engel B.A.* Women in Russia, 1700-2000. Cambridge, UK; N.Y., 2004; *Friedman R.* Masculinity, autocracy and the Russian university, 1804-1863. Houndmills, Basingstoke; N.Y., 2005; Gender and national identity in the twentieth-century Russian culture / Ed.by Goscilo H., Lanoux A. DeKalb, 2006; Women in Russian culture and society, 1700-1825 / Ed. by Tosi A., Rosslyn W. N.Y., 2007 и др..

[108] *Worobec C.D.* Possessed: Women, witches, and demons in imperial Russia. DeKalb, 2001.

и Ф.М. Достоевский, и психиатры. Последние относились к одержимым особенно враждебно, видя здесь исключительно пример девиантного поведения суеверных и фанатичных женщин. Исследование находится на пересечении нескольких актуальных в тот период тем: женщины-крестьянки, религиозность, медицина (и особенно психиатрия) как дискурсивная и дисциплинарная практика, а в более широком плане - «власть экспертов», ученых проводников прогресса.

Книга Воробек, подчеркивающая социально-культурную обусловленность болезни «одержимости», написана в русле той традиции зарубежного крестьяноведения, которая значительно «демонизировала» образованную элиту, находившуюся в плену западноевропейских представлений о прогрессе. Кликуши в данном случае оказываются благодатной темой, выступая квинтэссенцией того, что в субалтерновых исследованиях называют «объектом». На их примере с успехом демонстрируется «колониальное отношение» высших классов к крестьянству, к женщинам и к религиозным суевериям.

Воробек широко использовала антропологические методы, изображая традиционное крестьянство как особый мир, противоположный «модерному» миру города. Российские реалии лишь дополняли остроты этой дихотомии. Так что, демонстрируя, с одной стороны, универсалистский дискурс начала XX в. с его понятиями прогресса и отсталости, Воробек в то же время предоставляет дополнительные аргументы в подкрепление постулата о существовании непреодолимой пропасти между народом и образованным обществом (который составлял на самом деле часть этого дискурса).

Тотальная деконструкция так называемого «либерально-универсалистского дискурса», складывавшегося на рубеже XIX-XX вв. и носившего общемировой характер, особенно значима для американских русистов. Ведь он определял ход американской истории и политики на

протяжении всего XX в.[109]. Под его влиянием и в его рамках сформировался определенный комплекс стереотипов, мифов и интерпретаций российской истории, определявших лицо русистики до недавнего времени. Для американской историографии, которая достаточно давно и осознанно борется как с общепринятыми стереотипами и ходячими мнениями о России, так и с наследием русской государственной школы, начало XX в. является своего рода «критической точкой». Слишком многие идеи, высказывавшиеся тогда русскими мыслителями и публицистами, стали аксиомами и со временем были перенесены в сферу реальности (эссенциализировались). Но и весь период «высокой модерности» 1880-1930-х годов стал точкой приложения для наиболее творческих исследований – в частности, по истории науки.

В период холодной войны за рубежом изучалась главным образом советская наука, в ее взаимосвязи с политикой, затем подходы существенно изменились. Наука теперь рассматривается в тесной связи с историей страны и много дает для ее понимания. В изучении этой темы особенно заметно преодоление «разрыва 1917 г.», поскольку речь идет прежде всего об идеях, которые зарождались задолго до революции и продолжили свое дальнейшее существование, трансформируясь в соответствии с велениями времени и политическими реалиями. В последние годы в этой области все активнее начинает применяться и транснациональный подход, что имеет под собой серьезные основания, поскольку, как известно, настоящая наука не знает государственных границ и не может развиваться в изоляции[110].

Для зарубежных историков науки характерен сознательный отказ от поисков каких-либо «отклонений» российской/советской науки от общей

---

[109] См.: *Журавлева В.И.* Ук. соч.

[110] *David-Fox M.* The implications of transnationalism // Kritika. 2011. Vol.12, N 4. P.885-904; *Solomon S.G.* Circulation of knowledge and the Russian locale // Kritika. 2008. Vol. 9, N 1. P.9-26.

(т.е. западной) «нормы», и встраивание ее в общемировой контекст[111]. В соответствии с общей динамикой социальная история в этих исследованиях уступает место культурно-историческому подходу, все шире привлекаются литературные и визуальные источники. Да и само сообщество историков российской/советской науки интернационализируется. Здесь следует отметить ту роль, которую играют сегодня в историографии науки наши соотечественники, так или иначе связанные с Институтом истории естествознания и техники РАН. Работы А.Кожевникова и Н.Кременцова, С.Геровича, И. Сироткиной и др. серьезно изменили и обогатили эту область исследований[112].

Современная зарубежная (преимущественно англоязычная) историография российской/советской науки анализирует не только и не столько историю идей и институтов, сколько разные аспекты истории общества и государственной политики. Взятые в совокупности, эти исследования разворачивают перед нами широкую картину истории страны, идущей по пути научно-технического прогресса, в чем-то отставая от других стран, а в чем-то и обгоняя мировые тенденции.

В работах зарубежных историков науки возникает портрет эпохи конца XIX – начала XX в. – современности (модерности), когда наука во всем мире переживала мощную трансформацию. В связи с крупнейшими мировыми открытиями возникали все новые дисциплины, происходило их постепенное

---

[111] *Graham L.R.* What have we learned about science and technology from the Russian experience? Stanford, 1998.

[112] *Kojevnikov A.* The Great War, the Russian Civil War, and the invention of big science // Science in context. Tel Aviv, 2002. Vol.15, N 2. P.239-275; *Sirotkina I.* Diagnosing literary genius: A cultural history of psychiatry in Russia, 1880-1930. The Johns Hopkins univ. press, 2002; *Gordin M.D.* A well-ordered Thing: Dmitrii Mendeleev and the shadow of the Periodic table. N.Y., 2004; *Graham L. R., Kantor J.-M.* Naming infinity: A true story of religious mysticism and mathematical creativity. Cambridge, 2009; Gustav Shpet's contribution to philosophy and cultural theory / Ed. by Tihanov G. West Lafayette, 2009; A history of Russian philosophy, 1830-1930…; *Krementsov N. L.* A Martian stranded on Earth: Alexander Bogdanov, blood transfusions, and proletarian science. Chicago, 2011; *Young G. M.* The Russian cosmists: The esoteric futurism of Nikolai Fedorov and his followers. Oxford, 2012; и др.

разграничение и институционализация. В этот период наука пользовалась необыкновенной популярностью в обществе: «толстые» журналы печатали серьезные статьи, ученые считали своим долгом высказываться по общественным вопросам с профессиональной точки зрения, широкая публика зачитывалась рассказами о научных открытиях и путешествиях, публиковавшихся в массой печати, и, конечно, научной фантастикой[113].

Особый интерес зарубежных историков вызывают науки, имеющие прямое отношение к человеку: социология, психиатрия, психология, антропология, юриспруденция, наконец, криминология. Так, в монографии британского историка Д.Биера исследуется выработанный в этих науках комплекс идей о трансформации общества и поведении индивида, ставший тем интеллектуальным наследием, на которое опирались (и от которого отталкивались) большевики в своей политике социальной инжерении[114]. Парадоксально, что эти идеи были выработаны главным образом либеральными мыслителями конца XIX – начала XX в. и опирались на веру в преобразующую и трансформирующую силу науки. В представлениях «реформаторской научной элиты», понимаемой автором очень широко, проблемы современного русского общества носили в том числе и медицинский характер, и их решение могло осуществляться насильственными методами. Впрочем, и в других европейских странах, по замечанию автора, наблюдались сходные тенденции, далекие от классического либерализма с его культом индивидуальной свободы[115].

Сосредоточившись на особенностях сознания человека в эпоху модерности, автор указывает на отчетливую «биологизацию социального»

---

[113] *Andrews J. T.* Science for the masses: The Bolshevik state, public science, and the popular imagination in Soviet Russia, 1917-1934. College Station, 2003; *Beer D.* Renovating Russia: The human sciences and the fate of liberal modernity, 1880-1930. Ithaca, 2008; *Banerjee A.* We modern people.

[114] *Beer D.* Op.cit. P. 2-3.

[115] Ibid. P. 2-3, 23-24.

(что явилось, в частности, основой для возникновения расовых теорий и расизма). Современники самых разных идеологических и политических взглядов могли черпать из биомедицинских теорий социального упадка и людского вырождения материал для изображения общества как организма, который управляется биологическими и психологическими законами. Эти теории предоставляли научный фундамент для выражения социальных страхов и придавали респектабельность проектам социальных трансформаций, они же делали легитимными карательные меры. В публичном дискурсе того времени медицинские термины (социальная патология, оздоровление, язвы современного общества) циркулировали очень активно. Даже Победоносцев высказывался о «кишащих в воздухе атомах испорченной материи», которые распространяют повсюду «революционную заразу». Медицина благодаря все новым открытиям начинает обретать далеко не символическую власть не только над человеческим телом, но и над умами современников, которые в период тектонических изменений начала XX в. колебались между оптимистической верой в прогресс и пессимизмом, ощущением надвигающейся катастрофы.

Литературовед А.Банерджи на материале русской научной фантастики 1880-х – начала 1920-х годов изучила комплекс представлений о научно-техническом прогрессе и в более широком плане – формирование образа «современности» (modernity) в России конца XIX – первой четверти XX в. По мнению автора, столь популярная в этот период в России научная фантастика функционирует в обширном море текстов и дискурсов (которые включают в себя и научно-популярные статьи, и научные исследования, и философские трактаты, а также визуальные источники) как узловой пункт, где и происходит синтез представлений о последних достижениях науки и техники. Здесь создаются новые термины и понятия, которые питают общественное мнение и публичную политику. Причем столь широкое

распространение научная фантастика получила в стране, сильно отставшей в научно-техническом развитии от Запада, но в то же время, по мнению А. Банерджи, значительно опередившей Запад в размышлениях о прогрессе[116]. И новый литературный жанр научной фантастики стал не только «компенсаторным инструментом» в стране, неудовлетворенной своим уровнем модернизации, но и механизмом для создания уникального русского варианта «современности» - модерности. В отличие от евро-американской научной фантастики, русская (получившая свое название задолго до того, как в англоязычном мире в 1926 г. прозвучал термин «science fiction») несла в себе большой дидактический заряд. Будучи нерасторжимо связанной с популяризацией достижений научно-технической революции на Западе, она нацеливала на построение «альтернативной формы развития и прогресса», которая была бы «более современной», чем западная[117].

Как пишет автор, намного раньше своих западных аналогов русская научная фантастика превратилась из «новинки массовой культуры» в неотъемлемую часть интеллектуальных дебатов о том, что собой представляют реалии наступающего XX века и как следует в них жить. Рассматривая «сложную динамику взаимоотношений между наукой, техникой, работой воображения и представлениями о том, что значит быть современным», А. Банерджи указывает на тот факт, что научная фантастика не только рассказывала о современности, но и создавала ее. Ведь и сегодня научная фантастика снабжает нас языком для осмысления современного мира и является движущей силой научно-технических трансформаций[118].

По словам А.Банерджи, Россия, будучи одновременно составной частью Запада и его удаленным «Другим», бросает вызов традиционной классификации. Она одновременно и азиатская, и европейская, передовое

---

[116] *Banerjee A.* We modern people. P. 1-2.
[117] Ibid. P. 19.
[118] Ibid. P. 3-4.

научно-техническое мышление соседствовало в ней с промышленной отсталостью, а развитая футурологическая идеология – с домодерными и антимодерными аспектами культуры.

В книге последовательно освещаются такие темы, как завоевание пространства, победа над временем, вырабатывание энергии и создание нового человека и ставится под вопрос общепринятое мнение, что «советскую модель техно-научной утопии» породила Октябрьская революция. Завоевание пространства анализируется в книге в связи с проблемой русской национальной идентичности, в контексте «транспортной революции» и характерного для эпохи модерности «расширения горизонтов», за которое отвечали массовая литература и пресса. Иллюстрированные журналы конца XIX – начала XX в., прежде всего «Природа и люди» и «Вокруг света», вполне на равных выступали с такими известными и приблизительно тогда же возникшими «National geographic» и «l'Annales de geographie» и ориентировались на горизонты, далеко превосходящие повседневные знания и опыт своих читателей. Они служили своего рода воротами в мир иной и экзотический. При этом их внимание сосредоточивалось на окраинах империи, которые предоставляли материал для строительства воображаемого сообщества нации в центральной части страны. Читатель мог легко вообразить империю как «третье царство между дихотомией Запад-Восток», где «Востоком» были бескрайние просторы Сибири[119].

Критика «темной стороны» модерности, которая выливалась в форму утраты веры в индустриальную цивилизацию, в общество, отравленное гонкой современной жизни и химерой материального прогресса, во многом была связана с изменениями в восприятии времени. Прогресс тогда впервые стал отождествляться с категорией времени, неразрывно связанной с

[119] Ibid. P. 18-19, 22.

ускорением и эффективностью. Возникает ностальгия по прошлому, когда время текло неспешно, от сезона к сезону, от праздника к празднику и отсчитывалось ударами церковного колокола. Однако новые научно-технические достижения – изобретение фонографа, радио, граммофона, а затем и кинематографа материализовали время и разрушили барьер между прошлым, настоящим и будущим. Люди получили возможность услышать голоса умерших и увидеть их движущееся изображение на пленке. Но что по-настоящему поставило под удар объективистские категории времени и декартова «Бога-часовщика», так это теория относительности, предложенная Альбертом Эйнштейном в 1905 г. и назвавшая время «четвертым измерением пространства». В результате вместо того, чтобы одобрять современную гонку либо идеализировать прошлое, научная фантастика довольно быстро начала вырабатывать способы для приспособления местных и частных ритмов жизни к «маршу прогресса»[120].

На электричество модернизирующаяся Россия смотрела со сложными чувствами – в этой области отставание ее от Запада было особенно заметным. Задолго до Октябрьской революции в публичном дискурсе были выработаны соответствующие тропы, интерпретирующие роль электричества в современную эпоху. Парадоксально, пишет автор, но как раз физическое отсутствие электроэнергии в повседневной жизни и предоставляло свободу для интерпретаций, которые в научной фантастике XIX – начала XX в. сформировали «уникально русскую модель развития», названную автором «этическая модерность». Материальные трансформации, которые несет с собой электроэнергия, в этой модели были насыщены коннотациями о существующих в России «расколах» между городом и деревней, промышленностью и аграрным сектором, и, что особенно важно, между

[120] Ibid. P. 71-73.

небольшой группой элиты, имеющей доступ к технологическим удобствам, и остальным населением, лишенным всех преимуществ современности[121].

Своеобразная смесь мистицизма и науки, характерная для русской фантастики, наиболее ярко проявилась в теме «нового человека», которую автор рассматривает в контексте «биологической стороны модерности», сосредоточиваясь на дискурсах, вращающихся вокруг таких тем, как вырождение и гибель, омоложение и бессмертие.

Исследования Бехтерева и других русских ученых, использовавших революционные достижения физики и экспериментальной психологии для создания альтернативных моделей человеческой эволюции, представляли собой характерный пример «визионерской науки» конца XIX – первых десятилетий XX в., которая в той или иной степени была связана и с религиозной философией[122]. Учение Циолковского анализируется автором именно в таком ключе, что позволяет продемонстрировать новаторские черты его «космической парадигмы», в которой человек являлся узловым пунктом. Новая область биологической инженерии и опыты с выращиванием культуры тканей в лабораторных условиях послужили импульсом для его размышлений о путях достижения бессмертия.

Подводя итоги своего исследования, А. Банерджи подчеркивает, что для описания ранней русской научной фантастики требуются новые термины, которые выходили бы за рамки бинарных моделей утопий/антиутопий. Она отмечает, что «скорее регистрируя возможности, нежели делая предсказания», русская научная фантастика внесла вклад как в уничтожающую критику модерности, так и в создание ее неповторимой национальной версии[123].

---

[121] Ibid. P. 93.
[122] Ibid. P. 131-132.
[123] Ibid. P. 161-162.

Изучение характерных черт «современности» в зарубежной русистике представлено целым рядом работ, среди которых необходимо отметить монографию М.Стайнберга о Санкт-Петербурге рубежа веков, где особое внимание уделяется эмоциям. Эту линию он продолжил в своей монографии о революции 1917 г., которая заметно выделяется среди массы выпущенных «к юбилею» публикаций своим новаторским подходом и основательностью[124].

Развернутая концепция модерности была разработана Стивеном Коткиным. В своей программной статье «Новые времена» он писал, что начиная с 1890-х годов в России, как и в других странах, получали все более широкое распростнание массовое производство, массовая культура, массовое потребление, возникала массовая политика. Эти общие тенденции чрезвычайно усилились в годы Первой мировой войны, а затем в России самодержавие и империя уступили место «диктатуре и квазифедеральному Союзу». Массовое потребление до середины XX в. называли «основой цивилизации», а фактически - двигателем прогресса. Коткин отмечает, что фокус внимания экономистов и политиков сместился с производителя на потребителя. Сети розничных продаж, супермаркеты, реклама и покупки в кредит – новые, модерные черты торговли, которые, как считается, сделали Америку тем, что она есть[125].

Долгое время считалось, что общество потребления не имеет никакого отношения к истории России/СССР, как мы привыкли ее себе представлять. С советских времен эта категория ассоциировалась с миром капитализма, где в 1950-1960-е годы констатировали возникновение «общества изобилия» с его культом потребления. В Советском Союзе изобилия, как известно, не было, а был дефицит. Кроме того, официальная идеология нацеливала людей

---

[124] *Steinberg M.D.* Petersburg fin de siècle. New Haven, 2013; *idem.* The Russian revolution, 1905-1921. Oxford, 2017.

[125] *Kotkin St.* Modern times: The Soviet Union and the interwar conjuncture // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2001. Vol. 2, N 1. P. 137.

на коллективные, а не индивидуальные ценности. Интерес к истории потребления возник относительно поздно, в 1990-е годы, причем параллельно в России и за рубежом. Елена Осокина стала первопроходцем и главным авторитетом в изучении сталинской системы распределения, однако серьезного рассмотрения тема потребления у историков не получила. Она затрагивалась в работах по истории повседневности, при этом подчеркивались «особые» черты советского распределения, что сильно сужало взгляд исследователей. В зарубежной историографии, напротив, за это время сформировалось определенное направление, которое занимается более широкими проблемами и с более широким хронологическим охватом.

В большинстве своем западные историки-русисты, занимающиеся проблемами потребления, исходят из того, что ни Россия, ни СССР не были и не являются какими-то «особыми» цивилизациями, что позволяет применить к изучению их истории категорию общества потребления. По мере того, как анализом общества потребления стали заниматься не только экономисты и социологи, но и историки, антропологи, культурологи, специалисты по гендерным исследованиям, фокус внимания переместился с актуальных характеристик самого общества на его культуру – так называемый консюмеризм. В центре внимания оказались символы, ритуалы, практики потребления, и в результате хронологические границы существенно расширились: послевоенный бум рассматривается сейчас скорее как «последняя глава» в долгой истории потребления, современные (модерные) формы которого возникли гораздо раньше. В частности, для Великобритании они датируются концом XVIII в., но это лишь первые ростки нового, которые начали распускаться во второй половине XIX в. и расцвели пышным цветом в XX в., с развитием массового производства[126].

[126] *Trentmann F.* Empire of things. How we became a world of consumers, from the fifteenth century to the twenty-first. N.Y., 2017. P.4.

Зарубежные историки-русисты занялись изучением торговли и консюмеризма в России/СССР периода 1880-1930-х годов, обнаруживая скорее сходства, чем различия с Западом. Для них изучение тем, связанных с потреблением, означало фактический разрыв с традицией. Прежде в фокусе внимания историков находились «серьезные» проблемы политики, индустриализации, революционно-освободительного движения, положения народных масс накануне революции, - всего, что раскрывало понятие «кризис самодержавия». Теперь они обратились к темам «несерьезным»: покупки и реклама, мода и развлечения. Произошла смена приоритетов, в результате чего на первый план выдвинулось изучение культуры, а значит – изменилась точка отсчета. Вместо властных институтов и социальных структур ею стал человек со всеми его свойствами, недостатками и потребностями.

В трудах зарубежных историков исследованы разные аспекты консюмеризма в России Нового времени, которые изучены на материале истории розничной торговли, рекламной и модной индустрии (включая создание модной прессы) и индустрии досуга. Из совокупности их работ складывается достаточно целостная картина формирования культуры потребления в Российской империи и в довоенном СССР. В центре внимания исследователей – городская коммерческая культура, массовая по своей сути, а также создание новых идентичностей, основанных на ценностях консюмеризма. Большую роль в этих исследованиях играет гендерный подход. Для историков дореволюционной России особенно значимым является вопрос, насколько новая система ценностей и новые идентичности подрывали традиционную социальную и гендерную иерархии. У них нет сомнений в том, что такие атрибуты общества потребления, как массовое производство и универмаги, индустрия моды и рекламы, массовые развлечения – и прежде всего кинематограф, несли в себе зерна конфликта с

традиционным самодержавием. Однако, как показано в этих исследованиях, до поры до времени они мирно уживались друг с другом[127].

Изучение истории модной индустрии Российской империи отразило парадигмальный сдвиг, произошедший в экономической науке. Ранее историки российской индустриализации (которая трактовалась как инструмент преодоления экономической отсталости), сосредоточивались на развитии тяжелой промышленности, крупного заводского производства и внедрении механизации. Однако к настоящему времени в зарубежной науке утвердилось мнение, что главным двигателем промышленной революции в Европе являлось мелкое ремесленное производство, отвечавшее на возникавший спрос на повседневные товары. И после того, как акцент перенесли с производства на потребление, роль легкой промышленности в развитии капитализма была переосмыслена. Кроме того, и сам капитализм перестали сводить к производительным силам и производственным отношениям, рассматривая его как сложную и богатую культурную систему, которая включает в себя и потребление, и розничную торговлю, и рекламу[128]. Таким образом, роль модной индустрии в развитии капитализма в России переоценить невозможно.

Первым шагом к формированию современной культуры потребления в России следует считать указ Петра I 1701 г. о ношении дворянами (и всеми городскими жителями) западноевропейского платья. В данном случае спрос был создан росчерком царского пера, и государство довольно долго поддерживало и направляло процесс создания новой индустрии. Приглашались иностранные мастера и производители, обеспечивались поставки сырья, всячески поощрялось развитие отечественной текстильной промышленности. Впрочем, аналогичные меры поддержки принимали и

---

[127] *Ruane C.* The empire's new clothes…; *West S.* ‘I shop in Moscow’: Advertising and the creation of consumer culture in late tsarist Russia. DeKalb, 2011.
[128] *Ruane C.* The empire's new clothes… P. 14.

другие европейские государства, отвечая на растущий потребительский спрос. К середине XIX в. модная индустрия в России переходит в новую стадию самостоятельного производства тканей и готовой одежды, что сопровождалось развитием розничной торговли и модной прессы. В монографии К. Руэн «Новое платье империи» достаточно подробно рассматривается этот сюжет.

Как известно, одежда является важнейшим маркером этнических, социальных и гендерных различий, и возникшая в Западной Европе в XIV в. мода в XVIII в. уже диктовала европейцам всех сословий, как следует одеваться и причесываться. Создававшая космополитическую идентичность мода сглаживала этнические и региональные различия, но выводила на передний план различия социальные. В то же время, будучи одним из важнейших факторов/инструментов конструирования буржуазной идентичности, мода проводила разделительную черту между городом и деревней, долгое время носившей традиционную одежду. В России (во всяком случае, в воображении современников и комментаторов) она еще и проводила разделение между «старой», «народной» Россией и Европой. Одежда по последней европейской моде отличала столичных жителей от провинциальных, ассоциировавшихся с деревенской и, следовательно, отсталой, Россией. Тем не менее, происходившая в ходе процесса урбанизации сложная социальная трансформация (стирание различий между городом и деревней) привела к тому, что уже в начале XX в. так называемая общегородская одежда европейского образца получает в Российской империи повсеместное распространение, сигнализируя о создании новой (модерной) идентичности.

Модная пресса, развивавшаяся в Российской империи с конца XVIII в., служила не только инструментом формирования рынка для модной одежды: динамичный и конкурентный мир модной прессы стал составной частью

возникающей русской коммерческой (деловой) культуры XIX в. Несомненный импульс для своего развития она получила благодаря расширению женской читательской аудитории. Как отмечает К. Руэн, русские модные журналы довольно быстро покончили с элитарностью и стали ориентироваться не на петербургский высший свет, а на европейский вкус. Благодаря умелому использованию рекламы и других бизнес-стратегий издатели создали модный журнал современного образца, привлекавший все больше читательниц из средних слоев, а также профессиональных портных. Благодаря модной прессе, нацеливавшей женщин на совершение покупок, создавалась новая социальная идентичность: женщины становились современными, опытными и искушенными покупателями[129].

Женщинам, как главным потребительницам, по большей части адресовалась и реклама, насаждавшая современные рыночные ценности комфорта и элегантности. Однако в исследовании Салли Уэст анализируется и реклама, адресованная мужчинам, где автор находит элементы современной маскулинности (мужественности) – стремление контролировать женщин, страх импотенции и облысения. В ее богато иллюстрированной книге «Я отовариваюсь в Москве»[130] прослеживается история возникновения наружной и печатной рекламы в России, причем автор проделала титаническую работу по выявлению уцелевших источников о рекламной деятельности ряда крупных торговых корпораций. Она исследовала взаимоотношения бизнеса и государства в сфере рекламы (и анализирует попытки цензуры регулировать рекламу), модернизацию экономики в условиях традиционной системы ценностей, формирование идентичности потребителя.

С.Уэст демонстрирует, что рекламщики разговаривали на языке одновременно и традиции, и современности. В результате в российской

[129] *Ruane C.* The empire's new clothes… P. 87, 113. См. также: An improper profession…
[130] *West S.* ‘I shop in Moscow’…

рекламе родился сплав старого и нового, западного и русского (красавица в кокошнике, рекламирующая швейные машины «Зингер»). И хотя С. Уэст подчеркивает амбивалентность рекламных текстов, письменных и изобразительных, которые несли в себе потенциал конфликта с патриархальными ценностями самодержавия, думается, что она нащупала тот инструмент (или «рецепт»), который работал бы на органическое развитие и в других обстоятельствах позволил избежать катаклизмов. В любом случае, книга не сводится к истории потребительской культуры в России, выводя читателя на серьезную проблему: особенности российского общества, переживающего тектонический сдвиг перехода к современности – модерности.

В оценке траектории развития розничной торговли от рынков и торговых рядов доиндустриальной эпохи, модных лавок (бутиков) XVIII в. к пассажам XIX в. и универмагам начала XX в. авторы единодушны: в России оно во всем следовало за Европой, причем зачастую процессы происходили синхронно. Отмечается, что и в Российской империи, и в Европе в конце XVIII в. стали появляться со вкусом оформленные магазины, торговавшие предметами роскоши. Это были первые ласточки «потребительской революции», которая произошла в середине XIX в. в Европе и США, ее основной приметой стало создание сети массовой розничной торговли. По сути, это был переход к современной капиталистической экономике[131]. В Россию массовая торговля пришла чуть позже, в 1880-1890-е годы, когда новые методы экспозиции, продажи и покупки стали получать все более широкое распространение, а с ними – и новая философия торговли.

Современники различали «русский» и «западный» типы розничной торговли, квинтэссенцией первого были рынки, второго – магазины и универмаги, в количественном отношении значительно уступавшие лавкам и

[131] *Ruane C.* The empire's new clothes… P. 115-116; *Hilton M.* Selling to the masses: Retailing in Russia, 1880-1930. Pittsburgh, 2012. P. 117.

другим точкам розницы «русского» типа, однако значительно превосходившие их по объему продаж[132]. В России развитие современной розничной торговли воспринималось многими как нечто привнесенное, импортированное, даже навязываемое Западом. Эта тема находилась в центре дискуссий начала XX в. о русской национальной идентичности, ассоциировавшейся с «чистотой» деревенской жизни, которую «разлагает» капитализм. Сторонникам западного образа жизни процесс перемен, однако же, казался слишком медленным, и они приветствовали любой, даже малейший знак того, что Россия становится частью западного мира.

Исследования консюмеризма Российской империи склонны оперировать оппозициями «западное/русское», «городское/деревенское», наконец, «мужское/женское», опираясь главным образом на впечатления и мнения современников и подчеркивая, что противоречие между старым, традиционным, и новым, ассоциировавшимся с Западом, лежит в центре тогдашнего понимания происходящего.

Зарубежные исследователи уделяли немалое внимание довольно сложному отношению к потреблению в российском обществе. После распада СССР эта проблема стала особенно актуальной, поскольку взвешивались возможности перехода России к свободному рынку. Тогда бытовало мнение о резко отрицательном общественном климате в отношении рыночных ценностей и консюмеризма. В центре внимания историков, однако же, находились «низшие классы». Изучалось отношение крестьян к собственности вообще и к богатству в частности, изменение их позиций в новой ситуации массового потребления, к которому и рабочие, и крестьяне начали приобщаться в конце XIX в.[133]. Сегодня актуальности этой проблеме придает то обстоятельство, что многие паттерны и идиомы, бытовавшие еще

---

[132] *Ruane C.* Clothes shopping in Imperial Russia: the development of a consumer culture // J. of Soc. Hist. 1995. Vol.28, N 4. P. 765-782; *Hilton M.* Op.cit. P. 23.

[133] *Smith S.* Popular culture and market development in late imperial Russia // Reinterpreting Russia / Ed. By Geoffrey Hosking and Robert Service. L., 1999. P. 142–155.

в дореволюционной культуре, сохранились, причем в определенных ситуациях негативные оценки как торговли, так и потребления могут выступать в публичном дискурсе на первый план.

Современные исследования консюмеризма отмечают амбивалентное и даже противоречивое отношение к его ценностям в разных слоях российского общества накануне революции. В интерпретациях зарубежных историков «расклад сил» выглядит так. И консервативная элита, и интеллигенция не приветствовали приверженность «покупательству». Одни выражали беспокойство, что западный капитализм «развращает» русский народ и ведет к утрате самобытности. Другие – и прежде всего либеральная интеллигенция – высказывались в пользу более духовного существования, всячески отмежевываясь от меркантильной вульгарности и пошлости массового рынка, от набирающего силу «мещанства»[134]. Для революционной интеллигенции моральным идеалом являлся аскетизм. В то же время отмечается, что низшие классы вовлекались в «культуру приобретательства» далеко не полностью: богатство и роскошь верхушки общества часто вызывали у них возмущение и зависть[135]. Значимое место в публичном дискурсе занимал негативный образ торговли как профессии, основанной на обмане, и купца – ловкого дельца, на все готового ради наживы[136]. Все эти ценностно окрашенные понятия и конструкции составляли культурный багаж, который оказывал свое влияние на политику, в том числе на политику пришедших к власти большевиков,

Однако большего внимания заслуживает социальная составляющая консюмеризма и тот процесс создания новых идентичностей, который был запущен благодаря распространению массового потребления. По определению сегодняшних специалистов, массовое производство и

---

[134] Communism and consumerism: The Soviet alternative to the affluent society / Ed. by Vihavainen T., Bogdanova E. Leiden, 2015. P. XXI.
[135] *Randall A.* The Soviet dream world of retail and consumption in the 1930s. N.Y., 2008. P. 6.
[136] *Hilton M.* Op.cit. P. 27.

современные методы продвижения и продажи товаров достаточно агрессивны в культурном отношении: они прославляют приобретение как средство достижения счастья и получение определенной идентичности – статуса горожанина, такого значимого в крестьянской России. Товарообмен между городом и деревней к началу XX в. в России развивался достаточно активно, но только переезжая в город и превращаясь (хотя бы на время) в городских жителей, крестьяне становились полноценными потребителями. В России процесс замещения товаров собственного изготовления произведенными массово находился в своей начальной стадии (в Англии он не был закончен к началу Второй мировой войны[137]). Так что и крестьяне, и рабочие в начале XX в. лишь начинали свое приобщение к миру потребления, который олицетворяли для них «огни большого города».

Изучая социальную роль новых «западных» магазинов в России конца XIX – начала XX в., зарубежные исследователи отмечают, что, с одной стороны, происходила демократизация процесса покупки, когда, казалось бы, все могут покупать последние новинки моды. С другой – далеко не каждый мог позволить себе это. Такую возможность получили новые городские элиты (коммерческая, профессиональная и артистическая), которые смогли теперь приобретать предметы роскоши, ранее доступные только знати. Но они, по словам К. Руэн, не только стремились отобрать «культурный контроль» у дворянства, но и предохранить свой авторитет и статус от посягательств низших классов[138]. Сама атмосфера церемонной любезности и шика в магазинах prix fix (фиксированных цен) предназначалась для запугивания тех покупателей, чей доход был недостаточен, чтобы приобрести выставленные на витринах товары. Однако, указывает автор, «демократизация роскоши» только частично связана с приобретением. Любоваться на витрины и мечтать о покупке также означает участвовать в

[137] *Trentmann F.* Op.cit. P. 4.
[138] *Ruane C.* Clothes shopping in imperial Russia… P. 769

современном мире «покупательства». Это вторая часть процесса, тот «мир грез», который создает публичное пространство для развития культуры потребления.

Такие гиганты розничной торговли, как универмаги «Мюр и Мерилиз» в Москве или «Петрококино» в Одессе, формировали городскую среду, превращаясь в достопримечательности. Наряду с ними облик крупных городов преображали и пассажи, и модные магазины, которые в соответствии с общеевропейской практикой выделялись в отдельные районы (в Москве на Кузнецком мосту и на Тверской). Практически все они были ориентированы на покупателей из среднего класса – того класса, который зарубежная историография долго считала «отсутствующим» в дореволюционной России[139]. Исследования торговой, модной и рекламной индустрии вывели российский средний класс на историческую сцену. Еще более ярко его портрет вырисовывается в исследованиях сферы досуга – также немаловажного атрибута общества потребления, в котором свободное время является вторым по важности ресурсом после наличия денег.

Одной из первых эту тему начала изучать Луиза МакРейнольдс. Ее книга посвящена различным институтам развлечений в России и в более широком плане – коммерциализации культуры и потребления[140]. В центре внимания – театр и происходившие в нем изменения, спорт, активно развивающаяся в начале XX в. индустрия туризма, «ночная жизнь» - рестораны, кабаре и ночные клубы, наконец, кинематограф, как квинтэссенция модерного массового искусства и развлечений. Рассматривая кино как социальный феномен, автор описала не только индустрию по производству фильмов и ее продукцию, но и аудиторию, и кинотеатры как среду, где происходило «потребление развлечений». В целом дано очень

[139] Russia’s missing middle class: The professions in Russian history / Ed. by Balzer H.D. Armonk: M.E. Sharpe, 1996.
[140] *McReynolds L.* Russia at play: Leisure activities at the end of the tsarist era. Ithaca, 2003.

яркое, но во многом пунктирное представление о чрезвычайно насыщенной городской жизни (и не только столиц) в России начала XX в. Автор рассматривает процесс коммерциализации культуры, которому так сопротивлялась интеллигенция, и трансформации идентичности горожан на фоне утверждения ценностей среднего класса. Впоследствии все эти темы получили более глубокое рассмотрение у других авторов, в том числе и на советском материале[141].

По мнению Макрейнольдс, формы и способы развлечений, которые существенно изменились в индустриальную эпоху, гораздо больше говорят о среднем классе, нежели анализ политики и экономических структур. Большое внимание она уделяет и гендерному аспекту консюмеризма, развернуто анализируя вопрос о гендерных нормах и появлении в этот период новых гендерных идентичностей, обязанных своим возникновением именно массовой коммерческой культуре. Исследователи отмечают, что по мере вовлеченности женщин в производство, в особенности в сферу обслуживания, традиционный образ женщины – хранительницы очага дополняется другими тропами, в том числе «алчности», «продажности», «публичности». Массовая культура создавала и укрепляла новые (модерные) гендерные нормы и стереотипы (не только женщин, но и мужчин). Это вызывало большую тревогу, под вопрос ставилось моральное здоровье общества в целом.

Характерной особенностью дискурса XIX – начала XX в. являлся страх перед наступлением массового потребления, который получил широкое распространение во всей Европе, и Россия не являлась здесь исключением. Однако в России к началу XX в. безудержное покупательство стало символизировать угрозу не только общественной морали, но и русской идентичности. Анализируя дискуссии конца XIX – начала XX в. о торговле,

[141] Turizm: The Russian and East European tourist under capitalism and socialism / Ed. by Gorsuch A.E., Koenker D.P. Ithaca, 2006.

К. Руэн приходит к выводу о наличии двух конкурирующих между собой представлений о будущем России, фактически либеральном и консервативно-националистическом. Первое ассоциировалось с современным капитализмом, городским образом жизни и космополитизмом, второе – с самодержавием, православием, народностью[142]. Социалистическая альтернатива, естественно, в них не просматривалась. Тем не менее, критика капитализма и связанной с ним всеобщей коммерциализации, наиболее заметная в сфере потребления и досуга, создавала определенный негативный климат, в котором предложившие иную альтернативу большевики увеличивали свои шансы на успех.

Исследования трансформаций, происходивших в России начала XX в., приводят к выявлению новых причин революции: рост индивидуализма, мечты о лучшей жизни в связи с возникновением культуры потребления, изменения в гендерных нормах внесли весомый вклад в дестабилизацию патриархальной власти старого режима.

[142] *Ruane C.* The empire's new clothes… P. 181.

5.3. Старые темы в новом методологическом контексте[143]

Смена тематических предпочтений в зарубежной историографии императорской России вовсе не означает полного исчезновения из нее старых тем, популярных много лет назад. И далеко не все работы можно было бы отнести к разряду маргинальных, поскольку существует тенденция исследовать старые темы при помощи новых подходов. В ряде случаев это дает совершенно ошеломляющие с точки зрения прежней историографии результаты. В качестве примера стоило бы привести блестящую книгу Фредерика Корни об Октябрьской революции, которую он рассматривает как событие, сконструированное постфактум[144]. Но и в истории императорской России имеются примеры исследований такого рода, хотя далеко не всегда они знаменуют полный разрыв с прежними взглядами, оценками, интерпретациями.

---

[143] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Российская империя: Система управления. (Современная зарубежная историография). Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. М., 2003; *Большакова О.В.* Новая политическая история России: Современная зарубежная историография: науч.-аналит. обзор. М.: ИНИОН, 2006; *Большакова О.В*. Рец. на кн.: Randolph J. The house in the garden: the Bakunin family and the romance of Russian idealism (Urbana, 2007) // Отечественная история. М., 2010. № 5. С.199-202; *Большакова О.В.* История России в гендерном измерении. Современная зарубежная историография. М.: ИНИОН РАН, 2010; *Большакова О.В.* Путешествие во времени: Культура императорской России в современной англоязычной историографии // История России в современной зарубежной науке. Ч.2. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 115-137; *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны: Монография. М.: ИНИОН РАН, 2013; *Большакова О.В.* Закон и порядок в дореволюционной России: новые интерпретации американских историков // Российская история. М., 2016. № 6. С. 162-174; *Большакова О.В.* Кризис российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171; *Большакова О.В.* Статистика в пореформенной России: современные дискуссии // ИАЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История. М., 2019. № 2. С. 75-88.

[144] *Corney F.C.* Telling October: Memory and the making of the Bolshevik revolution. Ithaca, 2004.

Новые подходы к изучению политики и политического реализовались в исследованиях самодержавной власти. Магистральным в них стало направление, представленное в фундаментальной монографии Ричарда Уортмана о мифологии и церемониалах российской монархии XVIII – начала XX в. Этот двухтомник стал одной из самых влиятельных и популярных у российских историков зарубежных работ. Его перевели на русский язык, обсуждали на «круглых столах» (в частности, в издательстве НЛО)[145]. Число рецензий, в том числе в таких серьезных журналах, как «Отечественная история» и «Вопросы истории», не поддается учету. И в нашей стране, и за рубежом появилось много последователей Уортмана, рассматривающих мифологию и «технологии власти».

Анализируя символы и мифы каждого отдельного царствования, Р.Уортман показывает историю самодержавного режима в континууме, как процесс смены одного «сценария» правления другим. В его трактовке символизм власти предстает эффективным инструментом для сохранения дистанции с подданными и регуляции отношений с элитой. Изучение мифотворческой миссии самодержавия позволяет увидеть его в более широком европейском контексте, поскольку существовала сильная степень зависимости от господствующих там в тот или иной момент политических и культурных идеалов.

Исследование Уортмана представляет историю русского самодержавия как динамичный и сложный процесс, а самодержавный строй как в высшей степени способный приспосабливаться к изменениям внутри страны и за ее пределами. Как указывается во введении ко второму тому, одной из целей автора являлось возвращение в историографию монархии как «активного,

---

[145] *Wortman R.* Scenarios of power: Myth and ceremony in Russian monarchy. Vol. 1 [From Peter the Great to the Death of Nicholas I]. Princeton, N.J., 1995; Vol. 2 [From Alexander II to the Abdication of Nicholas II]. Princeton, N.J., 2000. (Рус. пер.: *Уортман Р. С.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М.: ОГИ, 2002-2004).

сознательного фактора истории политической эволюции России до 1917 г.»[146].

Книга, по словам самого Уортмана, писалась двадцать лет. Собственно, это итог той «веберовско-модернизационной» историографии, которая расцветала в зарубежной русистике в 1960-1980-е годы. Поэтому здесь присутствует противопоставление «европейской рациональности» исконной русской практике. Бинарные оппозиции, лежащие в основе исследования Уортмана, свойственны эпохе господства теории модернизации: формальные институты / личные связи, европеизированная элита / народ (традиционное крестьянство). При этом «общий ход русской истории» представляет собой процесс постепенной европеизации. На эту основу Уортман нанизывает огромное количество материала, прежде всего изобразительного, анализируя его посредством семиотических и антропологических методов. С помощью этих инструментов он выстраивает свою концепцию «сценариев власти», явно навеянную пиар-технологиями.

Основное внимание в исследовании уделяется не столько личности каждого монарха, сколько его «персоне» - публичному образу, который начинал создаваться в детские годы наследника и окончательно формировался в первые годы царствования. Автор показывает долгую историю мифологии самодержавия, прошедшей путь от статуса самодержца как всемогущего божества к репрезентации образа «обыкновенного человека», такого же простого семьянина, как и все его подданные. Уортман трактует «династический сценарий» Николая I и «сценарий любви» Александра II как две последних версии «европейского мифа» самодержавия.

Как на практике действовал «сценарий любви», показано на примере отмены крепостного права. Преданность Александра II идее освобождения крестьян, пишет Уортман, проистекала не только из убеждения в недостатках

[146] *Wortman R.* Scenarios of power. Vol. 1. P. 4.

крепостной системы и отсталости страны, которая со всей ясностью обнаружилась в результате Крымской войны. Александр II предстает в исследовании Уортмана создателем политической мифологии освобождения крестьян, в соответствии с которой реформа явилась результатом чувства любви и доверия между императором и дворянством и желания «первого сословия» следовать за монархом в его альтруистической заботе о благополучии крестьян. Великие реформы в целом предстают в этом сценарии «великодушными актами доброго монарха», которые будут вознаграждены благодарностью и преданностью народа[147]. Что касается «увенчания» реформ конституцией, то, как указывает Уортман, идея представительства была органически несовместима со сценарием Александра II, и причины этой несовместимости были глубже, чем простое интеллектуальное неприятие доктрины. «Для него конституционализм или любая форма представительного участия означала институционализацию и формализацию его отношений с народом». Это была непосредственная угроза личным связям, на которых, в представлении императора, строились все его властные полномочия и которые «соединяли его с предками, двором и сословиями»[148]. Интерпретация Уортмана, по сути, строится на том же, уже знакомом противопоставлении личного характера власти самодержца и «западного» рационализма.

Примером новой тенденции к «нормализации» истории России является книга ученика Уортмана Э. Зицера, который исследовал проблему легитимации царской власти на примере сакральных пародий при дворе Петра (прежде всего на примере Всешутейшего и всепьянейшего собора). Автор демонстрирует, что они выступали в качестве средства установления харизматической власти «самодержца-демиурга», призванного

[147] Ibid. Vol. 2. P. 525.
[148] Ibid. Vol. 2. P. 151.

«преобразить» Московское царство[149]. Особое внимание к теологии власти позволяет Зицеру откорректировать «секуляристский уклон», сложившийся в историографии петровской эпохи. Подчеркивая значение религиозной составляющей в политическом дискурсе того времени, Зицер, с одной стороны, указывает на преемственность нового царствования с «традиционной» Московией. С другой стороны, вакхические мистерии, военные игры, шутовские шествия и карнавалы вполне укладывались в контекст общеевропейской придворной культуры барокко. Все это выглядело как несомненно «новое слово».

Однако в зарубежной русистике наблюдается весьма заметная динамика, и то, что в начале 2000-х годов казалось «ниспровержением основ» - в частности, отказ рассматривать Россию как нечто уникальное, – через десять лет становится общим местом. Куда свободнее в своих интерпретациях Ян Хеннигс, также опирающийся на культуру барокко в своей книге «Россия и учтивая Европа». Он рассмотрел дипломатические практики и ритуалы переходной эпохи 1648-1725 гг., когда Россия только входила в семью европейских государств и готовилась стать одной из «великих держав». В этот период идея нации как политического актора еще не родилась, пишет Я. Хеннингс, - так же как и противопоставление России Западу, получившее столь широкое распространение в XIX в. и особенно в эпоху холодной войны[150].

Автору удается выйти за пределы традиционной дихотомии «Россия/Запад», которая оказывается не столь полезной, какой ее привыкли считать. Он рассматривает место России в системе международных отношений в рамках понятий современников, описывавших власть и

---

[149] *Zitser E. A.* The transfigured kingdom: Sacred parody and charismatic authority at the court of Peter the Great. Ithaca, 2004.

[150] *Hennings J.* Russia and courtly Europe: Ritual and the culture of diplomacy, 1648–1725. Cambridge, 2016. С. 7. Учившийся в Ростоке и Оксфорде, стажировавшийся в Стамбуле, Ян Хеннингс преподает в Центрально-Европейском университете в Будапеште.

суверенитет на языке «чести и престижа» (вербальном и невербальном). Характеризуя свой подход к исследованию, Хеннингс пишет: «Дипломатическая практика эволюционировала в рамках транскультурного политического пространства общих церемониальных норм, - пространства, в которое на основе постепенно стандартизировавшихся кодов поведения и коммуникации был интегрирован и русский царь, казавшийся далеким и чужим правителем»[151]. Большое внимание он уделяет особенностям ритуала при дворе Петра Великого. Претерпевая процесс трансформации, достаточно сложный и противоречивый, дворцовый ритуал Санкт-Петербурга опирался, однако, на те же самые фундаментальные нормы «престижа и иерархии», что и в предыдущее царствование. Провозглашение Петра I императором в 1721 г. автор называет «апогеем притязаний России на статус» среди европейских держав.

Характеризуя исследуемый период как целостную «эпоху барокко», автор подчеркивает ее отличительную особенность – универсализм символического языка, что позволяло народам разных культур успешно взаимодействовать между собой. И несмотря на преобладавший в описаниях путешественников-иностранцев образ России как страны «варварской и экзотической», русские цари (и Россия как христианская держава) были включены в систему рангов и церемоний и являлись ее активными и равноправными участниками. Тем не менее, Россия все же занимала особое место в «политической сфере ритуала и церемоний», поскольку присоединилась к ней позже и прошла путь постепенной стандартизации дипломатических контактов иначе, чем страны Западной Европы[152].

Иные измерения российского абсолютизма и инструменты его легитимации были рассмотрены в книге Синтии Уиттакер о политическом

[151] Ibid. P. 247.
[152] Ibid. P. 247-249.

дискурсе XVIII в.[153]. Автор использовала в своем исследовании наряду с законодательными актами беллетристику и визуальные источники, обратившись также к таким «визуальным и устным средствам коммуникации», как ритуалы, церемонии и проповеди. Она подвергла скрупулезному анализу большой пласт общепринятых представлений о монархии, выделив наиболее распространенные мнения и предрассудки своего времени.

Уиттакер рассматривает «политический диалог» между монархом и обществом (элитой) и подчеркивает, что он не являлся по своему характеру «конфронтационным», да и не мог быть таковым, поскольку монархия тогда считалась единственно приемлемой формой правления. Российская монархия выступала в этот период источником интеграции страны, и в этом ее широко поддерживала элита. В ходе воображаемого «диалога» между правителями и писателями (включая авторов проповедей и других текстов) создавалась доводы в пользу существования монархии, которые были впитаны русской политической культурой и надолго пережили свое время. По словам автора, к концу XVIII в. сложился «многослойный комплекс аргументов в пользу монархии, которая считалась главным двигателем прогресса, обеспечивая ее жизнеспособность и в следующем столетии»[154].

Уиттакер демонстрирует, во-первых, что Россия являлась полноправным и активным участником интеллектуального мира европейского Просвещения. Во-вторых – что содержанием пресловутой диады «власть/общественность» является не непрестанная борьба, а взаимодействие и взаимовлияние. Правда, показано это на материале XVIII, как и в монографии Л.Виртшафтер, посвященной идеологии русского дворянства эпохи Просвещения [155].

---

[153] *Whittaker C.H.* Russian monarchy: Eighteenth-century rulers and writers in political dialogue. DeKalb, 2003.
[154] Ibid. P. 227.
[155] *Wirtschafter E.K.* The play of ideas in Russian Enlightenment theater. DeKalb, 2003.

После «лингвистического» и «культурного» поворотов иначе трактуются такие традиционные темы, как судебная реформа и правовое государство в самодержавной России. Подход к закону как к тексту, который является культурным артефактом своего времени и соответственно может анализироваться точно так же, как и любой письменный текст, открыл новые перспективы для изучения «богатой правовой культуры царской России», писала Х. Мурав[156]. В центре внимания ее исследования – русские и советские писатели, в той или иной форме имевшие конфликт с законом (Сухово-Кобылин, Достоевский, Ахшарумов, Суворин, Солженицын и Синявский). Избранный сюжет позволил автору рассмотреть взаимоотношения писателя с законом, и, напротив, литературы и писаного права. Безусловно, данный сюжет напрямую высвечивает властные отношения, но также и фундаментальные ценности, лежащие в основании того или иного законодательного акта (его авторитет зависит, таким образом, не только от стоящей за ним силы - государственной машины). Закон основывается на социальных и гендерных нормах, на представлениях о национальной идентичности, на политических убеждениях и многом другом. Изучение текстов писателей и самих правовых конфликтов позволяет автору выйти на более крупные проблемы – поднимающийся национализм, левый радикализм, новые научные идеи о криминальном и о сексуальности.

Обращение к практике – самая успешная стратегия тех, кто стремится дезавуировать традиционный подход к истории суда и законности в России в духе «веберовских идеальных типов». Уже на рубеже 1980-90-х годов социальные историки обратились к изучению последствий Судебной реформы 1864 г. с целью показать формирование новой правовой культуры крестьянства и городских низов, и исследования в этом направлении продолжились.

---

[156] *Murav H.* Russia’s legal fictions. Ann Arbor, 1998. P. 1.

Монография Л. Макрейнольдс сосредоточена на городской культуре[157]. Анализируя громкие судебные процессы второй половины 1860-х – 1910-х годов по убийствам, которые рассматривались новым институтом присяжных заседателей, автор исследовала функционирование пореформенной системы российского правосудия, а также реакцию общества на «сейсмические сдвиги, запущенные Великими реформами». Причем речь в книге идет скорее о «публике», включающей в себя представителей всех слоев общества, в основном о городских обывателях, и о том, как они понимали закон. Государство фактически выброшено вон, и автор, вполне принимая понятие «самодержавного произвола», дистанцируется от политических процессов; она берет только убийства, совершенные на бытовой почве либо с корыстными целями.

Немалую роль в исследовании играет бинарная оппозиция «рациональное / иррациональное». «Рациональное» ассоциируется с творцами Судебной реформы и теми нормами, которые они стремились провести в жизнь – иррациональную по самой своей сути. Однако поскольку в центре внимания автора находится нарушение закона, а не законотворчество, ориентирующееся на рационализм, предметом анализа в книге является все же иррациональное, и прежде всего эмоциональные реакции. При этом Л. Макрейнольдс вовсе не стремится жестко противопоставить рациональное иррациональному, поскольку и законы, и преступление – категории, в большой степени зависимые от субъективной культуры, их значение и интерпретация изменчивы. Она избегает прямой конфронтации с предшествующей историографией, но ее подходы и трактовки явно не вписываются в «классическую» концепцию, оценивающую судебную реформу с точки зрения ее возможного вклада в реформу политическую.

---

[157] *McReynolds L.* Murder most Russian: True crime and punishment in late imperial Russia. Ithaca, 2013.

Подчеркивая «революционизирующий эффект» судебных уставов 1864 г., позволивших населению России начать движение «от подданных к гражданам», Макрейнольдс не отрицает, что Великие реформы вывели царскую Россию на путь, по которому шли страны Западной Европы, двигавшиеся от средневековой традиции к современности – «модерности». Этот термин подразумевает в сегодняшней историографической ситуации не столько сам хронологический период Нового времени, сколько совокупность ряда условий, включающих в себя такие последствия промышленной, политической и социальных революций, как повышение роли науки, ускорение прогресса, в том числе в бытовом отношении, и изменение взаимоотношений индивида с обществом и государством. Используя его, Макрейнольдс обозначает свою принадлежность к определенному течению в историографии, которое придает большое значение, с одной стороны, идеям Просвещения, оказывавшим влияние на проекты трансформации общества и человека в рациональном духе, с другой – массовой культуре, выплеснувшейся во второй половине XIX в. на улицы больших городов и постепенно завоевывавшей деревню.

Рассматриваемые автором громкие судебные процессы – безусловно, продукт и примета модерности с ее тягой к массовости, сенсационности и публичности. Они вызывали живой интерес у публики и широко освещались в газетах, да и сама новая система состязательного правосудия носила публичный характер и не была лишена театральности. Избранный угол зрения – по словам Макрейнольдс, ее интересует не столько реконструкция «реальных событий», сколько то, что они означали для современников и как интерпретировались ими, - обусловил специфику использованных видов источников, которые включают в себя продукцию массовой культуры – бульварную прессу, кинофильмы, детективы.

Феномен массовой культуры наряду с ярко выраженным космополитизмом не лишен и национальной специфики, что нашло свое отражение в удивительно емком названии книги: «Чисто русское убийство: настоящее преступление и наказание в России второй половины XIX – начала XX в.». Намерение автора выявить «чисто русский» характер преступления, его расследования и судебного разбирательства сочетается со стремлением включить свое исследование в общемировой контекст массовой культуры, в том числе и современной американской. «True crime» обозначает в английском языке не только жанр документального детектива – так назывались и популярные компьютерные игры начала 2000-х годов, давшие импульс к художественному переосмыслению этих сюжетов писателями и кинематографистами, в том числе в знаменитом телесериале HBO «Настоящий детектив». Явно нацеленная на то, чтобы пробудить интерес у американского читателя, книга Макрейнольдс полна ассоциациями с сегодняшними и историческими американскими (и европейскими) реалиями.

Следуя за популярным сериалом «Закон и порядок», автор открывает каждую главу описанием преступления и на материале его расследования рассматривает отдельную тему: новую систему правосудия, становление профессии судебно-медицинского эксперта, жюри присяжных, реформирование полиции и др. Только одна из глав открывается анализом не реального, а литературного преступления, совершенного в Петербурге в 1866 г. Родионом Раскольниковым, и посвящена стремительно развивавшемуся в России жанру криминальной литературы. Автор исходит из того, что художественная литература детективного жанра выполняла важную функцию, одновременно «формируя и отражая культурные ценности, ассоциирующиеся с убийством».

Макрейнольдс подчеркивает, что преступления, рассматриваемые в книге, так же как и их сенсационное освещение в бульварной прессе,

являются прежде всего городским феноменом, составной частью процесса урбанизации, последовавшим за волной реформ. Будучи «золотой жилой» для прессы, убийство получало самое широкое освещение «из первых рук», отчеты бойких репортеров сопровождались иллюстрациями, призванными дать живое представление о расследовании и судебном процессе. В результате публика, читавшая криминальные новости и заполнявшая залы судебных заседаний, могла составить собственное мнение и, что с точки зрения автора самое главное, могла сделать свое понимание справедливости публичным достоянием.

Этот мир сенсаций был плохо совместим с рациональностью и регламентацией, лежавшими в основе Судебных уставов, авторы которых предполагали посредством введения формальной процедуры исключить личный фактор в принятии судебных решений. Макрейнольдс постоянно отмечает, что практика бросала вызов идеалам Великих реформ, ставившим объективное правосудие превыше всего. Особенно ярко этот конфликт проявился в деятельности адвокатов, статусу которых законодатели уделили большое внимание. В отличие от Америки, где главную роль в суде всегда играл прокурор, в России адвокат получил равные права с государственным обвинением, причем последнее слово в суде оставалось за защитой. Очень быстро поняв, что участвуют в своего рода социальном спектакле, защитники начали апеллировать к эмоциям суда и присяжных.

Рациональный элемент превалировал на этапе следствия, хотя и здесь присутствовал сильный эмоциональный компонент. Однако он связан с присущей профессиям как социальному институту этикой служения. От судебных следователей требовалась беззаветная преданность идеалам законности и интересам дела. Столь же беззаветную преданность, но уже науке, демонстрировали судебно-медицинские эксперты; становлению этой новой профессии посвящена отдельная глава «Криминология». Развитие

науки и идей о природе преступления автор вписывает в европейский контекст, демонстрируя, что русские эксперты, ученые и мыслители шли по тому же пути, что и их западные коллеги. Публика с готовностью воспринимала данные судебно-психиатрической экспертизы, легко усваивала и использовала ее терминологию: термины «психопат», и в особенности «психопатка» быстро и прочно вошли в повседневный лексикон.

Рассматривая «самый демократический» институт Российской империи – жюри присяжных, автор прослеживает его эволюцию, которая в основном заключалась в постепенном урезании компетенции суда присяжных государством. Однако больше всего Макрейнольдс интересует вопрос об оправдательных приговорах, выносившихся «судом улицы» (по известному выражению М.Н. Каткова). И она решает его с цифрами в руках, хотя и утверждает, что с каждым конкретным случаем следует разбираться в отдельности.

Действительно, симпатия по отношению к обвиняемым стала считаться характерной чертой русских присяжных, однако сравнение с опытом других стран, где институт присяжных существовал издавна, как в Англии, либо был введен в конце XVIII – первой половине XIX в., как в США, Франции и Пруссии, позволяет автору оценить «русский случай» более взвешенно. В революционной Франции процент оправдательных приговоров составлял примерно 50% и в 1889 г. достиг 27%, что вполне сопоставимо с российскими 36% в этом же году[158]. В то же время анализ конкретных дел позволяет автору заключить, что не стоит говорить о «специфически русском милосердии» и тем более о неприятии формального закона. Слишком часто речь шла о неудовлетворительной доказательной базе, не позволявшей с уверенностью вынести обвинительный приговор.

[158] Ibid. P. 98.

Русские присяжные, по мнению Макрейнольдс, осознавали свой выбор как «личный и моральный», и действительно, в разбираемых ею случаях вынесенные приговоры поражают своей взвешенностью, человечностью и житейской мудростью. Однако автор указывает и на политический аспект деятельности присяжных. В условиях, когда российское самодержавие было озабочено исключительно охраной своих интересов (в частности, защитой чиновников от революционеров), институт присяжных выполнял ту же функцию, что и в Англии: это был инструмент для защиты индивида от государства[159].

Водоразделом для автора является революция 1905 г., и наступивший после волны революционного насилия (и очевидного для всех бессилия полиции) период относительного спокойствия рассматривается во второй части книги. Макрейнольдс уделяет внимание мероприятиям, направленным на усиление профессионализации в расследовании преступлений, прежде всего экспертизы и сыска. Этого требовали ускорявшийся темп городской жизни, мобильность населения и другие особенности модерности, породившей тип «современного человека», аморального индивидуалиста. Затем она обращается к узловым точкам, которые можно было бы назвать предвестниками падения царского режима. Это отнюдь не рост крестьянского и рабочего движения, и не деятельность возникших в России политических партий. Национализм, насилие, кризис гендерного порядка – вот те фундаментальные проблемы, которые Макрейнольдс рассматривает на примерах громких процессов, а также на материале массовой детективной литературы и кинематографа.

Проходивший в 1911-1912 гг. в Италии процесс над Марией Тарновской и ее любовниками привлек внимание всего мира, в нем приняли участие ведущие итальянские юристы и психиатры, им интересовались писатели и

[159] Ibid. P. 108-109.

общественные деятели. В ходе этого процесса расовый компонент выдвинулся на первый план, поскольку речь шла о «дегенеративной славянской душе», вырождающейся порочной аристократии и присущем русским как нации мазохизме. Как пишет автор, наращивавшая военные мускулы Италия настаивала на своем превосходстве перед «атавистической самодержавной Россией» и явно демонстрировала, что не нуждается в ней как в союзнике. Сама беспощадность дебатов, жесткость расового дискурса напоминают читателю о грядущей мировой бойне.

Предчувствие катастрофы присутствует и в последующих главах. Проблема насилия рассматривается на материале массовой культурной продукции – увлечения «пинкертоновщиной» и первых отечественных детективных фильмов. Автор выделяет два момента. Во-первых, склонность русских к трагическим и кровавым концовкам, в противоположность голливудским хэппи-эндам). Во-вторых, фатализм, пронизывающий произведения массовой культуры послереволюционных лет, в которых превалирует чувство беспомощности, переплавляемое в эмоции, от ярости до губительной тоски. В центре внимания теперь находится не причина преступления, а его результат, причем преступнику часто удается избежать наказания, и симпатии публики почти целиком на его стороне. Всё это, по мнению Макрейнольдс, демонстрирует, что за революцию 1905 г., ее достижения и провалы, и главное – за волну насилия, захлестнувшего тогда страну, обществу пришлось заплатить непомерную цену[160].

Анализируя череду громких судебных процессов 1912-1913 гг., связанных с убийствами женщин, автор обнаруживает в них признаки изменения гендерных норм и кризиса патриархальности, составлявшей основу социальной структуры самодержавной России. В прочтении Макрейнольдс, это прежде всего кризис маскулинности, и кроме того, кризис

[160] Ibid. P. 233-234.

семьи, возглавляемой рациональным мужчиной. «Неврастеник», убивающий женщину или кончающий жизнь самоубийством, становится популярным главным героем массовой литературы и кинематографа. Неспособность контролировать свои эмоции и еще меньше – волю, по мнению Макрейнольдс, является важной чертой политической культуры России предвоенных лет. Однако автор не связывает особенности правовой культуры этого периода – неуважение к государству, сочувствие преступнику, пассивность пополам с агрессией – с последующими революционными событиями, ограничиваясь констатацией, что «советское» убийство в культурном и политическом отношении отличалось от «чисто русского».

Работа Макрейнольдс является прекрасным примером актуального историографического контекста: в ней затронуты темы и проблемы, которые интересуют зарубежную русистику, а ее стилистика, форма подачи материала и аргументация весьма показательны. Нельзя сказать, что в исследовании предложены какие-то новые концепции, способные заменить уже существующую. Скорее, задана иная система координат или, если угодно, точка отсчета: более широкое понимание общества и его функций, не сводимых к взаимоотношениям с государством.

Литературоведы, специалисты в области культурных и гендерных исследований также внесли свой вклад в переосмысление и оценки российского прошлого. Николаевское царствование, которое привыкли воспринимать как один из самых «мрачных» и «безысходных» периодов в истории России, трактуется совершенно иначе. В соответствии с принятой в литературоведении периодизацией, это эпоха романтизма и национализма,

эпоха торжества «ценностей домашней жизни» и вызревания новых интеллектуальных течений и последующих реформ[161].

Монография молодого американского историка Джона Рэндолфа также посвящена, казалось бы, давно и основательно изученной теме[162]. Историей семьи Бакуниных, их жизни в усадьбе Премухино, так же как и историей кружка Н.В. Станкевича серьезно занимались историки и литературоведы. О так называемой «премухинской идиллии» много писали А.А. Корнилов и Л.Я. Гинзбург, на Западе тоже сложилась определенная традиция, начатая в 1940-е годы И. Берлином и продолженная последующими поколениями исследователей. Тем не менее, автору удалось сказать новое слово, что лишний раз подтвердило известную истину – каждое поколение пишет свою историю. И дело не только в привлечении нового архивного материала (в том числе – обширной переписки сестер Бакуниных), но и в применении новых исследовательских подходов, и в постановке новых вопросов, которые вышли на первый план в западной историографии, а в конечном счете – в новом взгляде на сущность и конфигурацию социальных отношений.

Книга Рэндолфа – не просто история одного из «дворянских гнезд», пусть и выдающегося по своим культурным достижениям. Автор предлагает посмотреть на процесс формирования философской системы русского идеализма 1830-х годов с точки зрения семьи и пишет, по его словам, «культурную историю частной сферы»[163]. На первый план он выдвигает идею о том, что семья и частная жизнь играют не меньшую роль в функционировании общественного организма, чем так называемая «публичная сфера». Этот тезис он доказывает, основываясь на современных достижениях историографии Западной Европы, которая давно уже проявляет

---

[161] *Friedman R.* Masculinity, autocracy and the Russian university, 1804-1863. Houndmills, Basingstoke; N.Y., 2005.
[162] *Randolph J.* The house in the garden: The Bakunin family and the romance of Russian idealism. Ithaca, 2007.
[163] Ibid. P. 4.

интерес к семейной жизни не только как к фактору поддержания политической стабильности, но считает ее также важнейшей составляющей в процессе формирования идентичности и системы ценностей среднего класса. Для автора монографии Россия составляет неотъемлемую часть Европы, и свое исследование он вписывает в широкий контекст культурных и социальных трансформаций, происходивших на европейском континенте в 1780-1830-е годы.

Книга отличается изяществом построения и состоит из 2-х частей («Идиллия» и «Роман»), каждая из которых посвящена решению определенных исследовательских задач. В первой части подробно, на основе архивных материалов, рассказывается об истории семьи Бакуниных и о той особой, в чем-то экспериментальной по своему характеру жизни, которую вели они в Премухино. Рэндолф исследует «премухинскую идиллию» во всей полноте, начиная с 1780-х годов, когда Бакунины приобрели поместье и перебрались туда на постоянное жительство. Фактически это подготовка «сцены», на которой в 1830-е годы будет разворачиваться действие «романа», чему полностью посвящена вторая часть монографии.

«Сцена» прописана подробно и основательно, начиная с изменяющегося социального контекста и кончая расстановкой действующих лиц. Избранный автором угол зрения позволяет ему откорректировать бытующие в историографии представления о том, что после Манифеста о вольности дворянской 1762 г. многие дворяне «демонстративно» удалились в деревню и тем самым отказались от участия в общественной жизни. Он увязывает это массовое явление с намерениями власти, а именно с «цивилизаторским проектом» Екатерины II, задавшейся целью создать в провинции силами местных помещиков «общество». Причем немаловажное место в программе правительства занимали ценности, ассоциирующиеся с семьей, что позволяет автору говорить о совершенно определенной политике по отношению к

частной жизни. Это подтверждается и явной социальной направленностью, просматривавшейся в организации Смольного института: воспитывать просвещенных дочерей, жен и матерей, которые затем понесут цивилизацию в провинцию. Екатерининские преобразования, по словам автора, придали дворянству статус «свободных граждан, живущих частной жизнью в деревне». Они, как пишет Рэндолф, создавали новые социальные нормы для дворянства в частной сфере и учили его, как пользоваться своей недавно обретенной свободой в интересах государства[164].

В свете этих представлений тот факт, что во второй половине XVIII в. в Тверской губ. возникает множество помещичьих домов, выстроенных в неоклассическом духе, в окружении «регулярных» садов и романтических парков с каскадами прудов, гротами и руинами, которые копировали столичные дворцы, воспринимается автором как проявление активности в сфере частной жизни и свидетельство не столько отчуждения многих дворян от общества, сколько их стремления продемонстрировать свою принадлежность к элите и соответствие самым высоким стандартам. При этом широко известный «роскошный и театрализованный образ жизни» в русских усадьбах того времени он трактует как «приватизацию» тех практик, которые ранее были приняты исключительно при дворе[165]. Таким образом, новые дворянские усадьбы, в изобилии появившиеся в России во второй половине XVIII в., позволяли их благородным обитателям выразить свое отличие от окружающих, что явилось важным моментом в становлении дворянской идентичности. Автор проводит параллели с Западной Европой, где в этот период происходило формирование идентичности среднего класса, однако насколько тождественны были эти процессы – вопрос спорный и требует дальнейшего изучения. Вместе с тем сам материал книги подводит читателя к заключению, что в то время как «там» формировалось буржуазное

[164] Ibid. P. 32-34, 38.
[165] Ibid. P. 38-39.

общество, с его четким разделением на частную и публичную сферы, «у нас» шел процесс освобождения дворянства и его оформления как благородного сословия.

Рэндолф уделяет особое внимание методам, или «культурным практикам», посредством которых русское дворянство утверждало свое высокое положение, и демонстрирует их на примере семьи Бакуниных. Центральное место в первой части книги занимает история Александра Михайловича Бакунина (1768?-1854), который, выйдя в 23 года в чистую отставку и оказавшись в деревенской глуши, замыслил «премухинскую идиллию» и воплотил в жизнь, когда стал главой большой семьи, в которой было 10 детей (включая будущего революционера Михаила). По мнению автора, большую роль в той преданности дому и домашней жизни в деревне, которую выказывал Бакунин, сыграл его друг, известный архитектор, изобретатель, ученый, поэт и литератор Н.А. Львов (1751-1803). Именно Львов выработал для себя и своей семьи тот образец «необыкновенной» семейной жизни, полной веселых празднеств и просвещенных утех, который должен был вызывать восхищение окружающих[166]. В книге подчеркивается, что в представлениях Львова и кружка, к которому он принадлежал (среди его членов были Г.Р. Державин, В.В. Капнист, В.Г. Боровиковский), домашняя жизнь вполне вписывалась в современный им политический и социальный контекст, когда, с одной стороны, происходила выработка системы ценностей и поведенческих норм русского дворянства, с другой – под влиянием Французской революции во всей Европе критически пересматривались основные идеи Просвещения. В монографии подробно анализируются сочинения А.М. Бакунина, включая проект «Условий между помещиком и крестьянином», посланный им в 1802 г. своему другу и родственнику А.Н. Оленину, участвовавшему в подготовке указа о вольных

[166] Ibid. P. 60.

хлебопашцах. Рассматривается жизнь старшего и младшего поколения женщин семьи Бакуниных, особенности их становления, не чуждого религиозной экзальтации.

Социальный контекст, в котором разворачивается действие второй части книги («романа»), трактуется Рэндолфом совершенно иначе, чем в традиционной историографии. В центр системы ценностей династии в царствование Николая I, по словам автора, была поставлена семья – императорская фамилия представала теперь в качестве «воплощения нации», а Николай I - «любящего отца империи». Рэндолф видит в этом «попытку кооптировать ценности частной жизни в контекст идеологии империи». Кроме того, был разработан план образовательных реформ, предполагавший «превращать чувствительных юношей из образованных семейств в лояльных и эффективных подданных», соответствующих «административному идеалу»[167]. В университетах николаевского времени было выращено поколение чиновников, впоследствии подготовивших и осуществивших Великие реформы. Однако там зародилась и другая традиция прочтения немецкой философии, раскрывшаяся в деятельности кружка Станкевича, А.И. Герцена, Н.П. Огарева.

Рассматривая этот сюжет, автор сознательно дистанцируется от своих предшественников и исторической мифологии, восходящей к работам Герцена, П.В. Анненкова, А.Н. Пыпина. В осторожных выражениях он дает понять, что наряду с Московским университетом не меньшую роль в оформлении кружка Станкевича сыграло Премухино с его просвещенной семейной гармонией. Именно этот дворянский дом молодые идеалисты избрали в качестве «сцены», на которой они выковывали себя как «истинных кантианцев». Рэндолф оспаривает и традиционный акцент на оппозиционности Станкевича, Бакунина, Белинского. По его словам, в 1830-

[167] Ibid. P. 141-142.

е годы в Премухине эти молодые люди стремились найти воплощение своих представлений о семейном счастье, дворянском благородстве и идеальной женственности – понятиях, вполне официально одобряемых в николаевской России[168]. Корректирует Рэндолф и сложившуюся в XIX в. традицию избегать женской темы при исследовании частной жизни, или же, как это наблюдалось в трудах Л.Я. Гинзбург, принижать роль женщин в интеллектуальной сфере. Не согласен он также с трактовками, представленными в западных исследованиях русского феминизма, в соответствии с которыми женщины были не только музами, но и жертвами умственных построений мужчин («метафизических погромов», по выражению Р. Стайтса).

На основании архивных материалов автор реконструирует процесс взросления четырех «провинциальных барышень» - сестер Бакуниных, которые, однако же, значительно отличались от своих современниц. Хотя в их просвещенном доме, как и во всем обществе царили тогда патриархальные понятия, они не спешили становиться женами и хранительницами очага. В начале 1830-х годов сестры были увлечены вопросами духовного развития и самосовершенствования. Подвергая себя неустанному самоанализу, девушки стремились к моральной независимости и боролись за то, чтобы самим творить свою жизнь, которая, однако, ни в чем не должна была противоречить христианской добродетели. Все это, по словам автора, создало в Премухино то интеллектуальное пространство, где оказались всерьез востребованы подходы и ценности идеалистической философии[169].

В 1835 г. среди членов кружка Станкевича распространились слухи о населенном «божественными созданиями» благословенном Премухино. И когда Станкевич получил приглашение в этот «храм счастья», он принял его

[168] Ibid. P. 145.
[169] Ibid. P. 150.

с восторгом, надеясь на развитие романтических отношений с Л.А. Бакуниной, которая действительно впоследствии стала его невестой. Не менее важной для судеб русского идеализма оказалась возникшая на почве интереса к немецкой философии дружба Станкевича и Михаила Бакунина, только что окончившего Артиллерийское училище. Увлекшись немецкой философией, он проповедовал ее всем, включая дам, и в особенности своим сестрам (философствование вообще было неотъемлемой чертой семейного быта в Премухино).

Рэндолф не разделяет привычные объяснения необыкновенной погруженности в любовь, которую демонстрируют письма Станкевича, тем, что в «суровой действительности николаевской России» даровитый юноша не мог найти соответствующего приложения своим силам. Сам Станкевич в трактате «Моя метафизика» писал о том, что любовь – это не поиски идеала, а метод самообразования и способ выработки зрелого мировоззрения. Отраженные в переписке Станкевича перипетии его романтических отношений с Бакуниной рассматриваются в книге как «роман воспитания», поскольку именно эта «особенная» семья олицетворяла те идеалы, которые легли в основу его работы по формированию своего мировоззрения и «построению себя» как зрелой, самостоятельной личности, способной к активной социальной деятельности[170].

Предложенная Дж. Рэндолфом «романная форма» позволила поместить исследование русского идеализма 1830-х годов в совершенно новый контекст частной жизни, которая, как показал автор, составляет неотъемлемую часть интеллектуальной и культурной истории.

Современный вариант экономической истории представлен в работах франко-итальянского исследователя Алессандро Станциани, чья научная биография – примета нашего времени. Выпускник Неапольского

[170] Ibid. P. 180-181.

университета, защитивший там диссертацию по экономике, он получил затем вторую докторскую степень в Париже, но уже по истории. Давно и успешно работая во Франции, часто и подолгу в качестве visiting scholar бывал в разных университетах мира, включая Токио и Дели. Исключительно много публикуется, в том числе на английском языке; получал серьезные гранты на выполнение масштабных коллективных проектов, последний из них – «Свободный/несвободный труд: глобальные аспекты в мировой истории», в рамках которого вышло несколько книг[171]. Две из них, «Кабала: труд и права в Евразии с XVI до начала XX в.» и «После восточного деспотизма», целиком посвящены России, которую автор стремится «вернуть» в мировую (и глобальную) историю[172].

Работы Станциани демонстрируют критический (в чем-то и гиперкритический) подход к темам, исследовавшимся в 1960-1980-е годы. Главная мишень его критики – идея о доминировании Запада, лежащая в основе картины мира и историософии XIX и особенно XX в. Безусловно, он не единственный, кого раздражает видение окружающей действительности с позиций “the West and the rest”, что принято считать либеральным. Однако его не устраивают и антиимпериалистские теории, поскольку их критика «Запада» также подразумевает признание его господствующей роли в мире. Соответственно, Станциани последовательно отвергает теории развития, саидовский ориентализм, субалтерновые исследования, мир-системный анализ, неоинституционализм и многое другое.

Тем не менее, критику нельзя назвать тотальной: Станциани даже не упоминает идею прогресса, на которой зиждется либерально-

---

[171] *Stanziani A.* Seamen, immigrants and indentured laborers in the Indian Ocean, 18th-20th centuries. N.Y., 2014; Debt and slavery in the Mediterranean and the Atlantic worlds / Ed. by Campbell G., Stanziani A. L., 2013; Labour, coercion, and economic growth in Eurasia, 17th-20th centuries / Ed. by Stanziani A. Leiden, 2013.

[172] *Stanziani A.* Bondage: Labor and rights in Eurasia from the sixteenth to the early twentieth centuries. N.Y., 2014; *Idem.* After oriental despotism. Warfare, labour and growth, sixteeenth-twentieh centuries. L., 2014.

универсалистская философия истории, - и в этом существенное отличие его подхода от взглядов современной антропологии, считающей саму эту философию и лежащий в ее основе комплекс основополагающих базовых категорий (прогресс, цивилизация, свобода, рациональность и др.) продуктом определенной исторической эпохи, модерности, и европейской традиции. В своей книге «Кабала» Станциани затрагивает только «экономическую» часть европоцентристской либеральной модели, сосредоточиваясь на проблеме отсталости и тесно связанной с ней концепции свободного/несвободного труда.

Кратко ее можно сформулировать следующим образом: свободный труд начал развиваться на Западе и стал основой капиталистического экономического роста, в то время как в других странах и регионах, и в частности в России, несвободный, принудительный, кабальный труд замедлял развитие и являлся причиной отсталости. В этих странах отсутствовали необходимые условия для ее преодоления, в первую очередь свободный рынок и частная собственность, которые были несовместимы с «деспотизмом». Идеология «западного» свободного труда, возникшая, как считается, в США и Великобритании в XVIII-XIX вв., тесно увязывала между собой такие вещи, как индивидуализм, права человека, политическая свобода и свобода предпринимательства, и формировалась «от противного», отталкиваясь от существования американского рабства и русского крепостничества[173]. Станциани оспаривает столь вызывающе этноцентристский подход, предлагая альтернативные «глобальные» объяснения тому, что происходило в экономике XVII-XX вв.

Во-первых, он доказывает, что между трудом свободным и несвободным отсутствует четкая граница. С одной стороны, русские крестьяне были не настолько угнетены и несвободны, как принято считать, с другой – в

[173] Terms of labor: Slavery, serfdom, and free labor: Making of modern freedom / Ed. by Engerman S. L. Stanford, 1999. P. 8.

большинстве западных государств наемные рабочие долгое время немногим отличались от домашней прислуги, и условия их найма были обставлены массой ограничений, в том числе в отношении мобильности. Система несвободного труда начала терять свои позиции только после второй промышленной революции, с возникновением в 1870-1914 гг. социального государства. Однако в процесс освобождения была вовлечена первоначально лишь небольшая часть рабочих на Западе, в то время как мелкие предприятия, аграрный сектор и, конечно, колонии подключились к нему лишь в середине XX в.[174].

Оспаривает автор и общепринятое, европоцентристское по своей сути, представление о причинах «второго издания» крепостного права в Восточной Европе. Его интерпретировали как реакцию на коммерческую, аграрную и затем индустриальную экспансию Запада, где в это время, напротив, развивался свободный труд. Эти процессы, как считалось, сопровождались ростом международного разделения труда, при котором периферия (Азия и Африка) и квазипериферия (Южная и Восточная Европа) оказывались в подчиненном положении по отношению к ядру (Северной и Западной Европе).

И еще одна давняя традиция, получившая широкое распространение в годы холодной войны, вызывает неприятие у Станциани: привычка трактовать Россию как особый случай, даже антитезу Западу, подмечая и выявляя те черты, которые не соответствовали «нормальному» ходу вещей. И хотя в 1990-е годы русистика достаточно успешно боролась с европоцентризмом и нормативным подходом к истории России, и достигла определенного результата, за ее пределами благополучно продолжает свое бытование консервативный образ «вечной Руси», где рабство и деспотизм были всегда. Об этом упоминает Станциани, указывая на работу

[174] *Stanziani A.* Bondage… P. 1-2.

К.Померанца, в которой оспаривается отсталость Китая перед лицом европейского этноцентризма, в то время как Россия выступает парадигмальным примером несвободного труда и отсутствия рынка[175]. В своих трудах он отвергает еще одно «оружие холодной войны» - концепцию восточного деспотизма, причем в применении как к России, так и к государствам Евразии, выводившую их за рамки общемировой динамики, т.е. развития капитализма.

Критика Станциани весьма основательна, поскольку помимо традиционной для обобщающих трудов опоры на историографию он использует и результаты своей работы в архивах многих стран, от Великобритании до Маврикия, и, конечно, в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Что же касается историографии, то здесь эрудиция и охват исключительны, он активно использует русскоязычную литературу. Однако важным является то обстоятельство, что автор опирается главным образом на исследования, вышедшие в последние 30 лет, - на те, которые серьезно изменили представления об истории Раннего Нового и Нового времени. В результате Европа предстала не столь рациональной и продвинутой, как было принято думать, и многие ее «эталонные» достижения оказались отодвинуты на значительно более поздний срок – так же как и граница Нового времени (1800 г.). А страны, считавшиеся прежде отсталыми и погруженными в пучину деспотизма и стагнации, явили миру примеры живой истории и богатой культуры, ничуть не «низшей» по отношению к европейской. Одновременно историография последних десятилетий, уйдя от прежней фиксации на национальных государствах, сумела продемонстрировать единство и целостность исторического процесса, подчеркнув связи и взаимообмен в противовес прежним соперничеству и противостоянию.

---

[175] *Pomeranz K.* The great divergence. Princeton, 2000. Эта модель уже присутствовала в дискуссии 1963 г. «Россия и Восток» в журнале «Славик ревю».

Кроме того, Станциани очень активно использует работы социальных историков, преимущественно американцев, на протяжении нескольких десятков лет занимавшихся критическим пересмотром традиционных интерпретаций и «мифов» о русской истории в целом и о крепостном праве в частности. Совокупность новаторских по существу исследований и составила тот фундамент, на котором оказалось возможным построить «ревизионистский» по своим интенциям синтез.

Еще одной важной характеристикой является современный критический подход к анализу источников, не слишком типичный для обобщающих работ, зачастую склонных к иллюстративному цитированию. Прежде всего это внимание к слову и его семантике, к словоупотреблению в разные исторические периоды, к терминологии, также меняющей свое значение в зависимости от изменения контекста. Исторический контекст – основа основ для исследования Станциани, и на его примере можно увидеть, что на деле означают модные сегодня слова историзация и историзирование: ясно осознавать, когда и в каких обстоятельствах писались труды и сочинялись теории, что было известно тогда (какие конкретно-исторические данные были доступны), каков был политический и исторический контекст, какие идеи и мнения превалировали, что они означали тогда и каковы были «заданные рамки высказывания». Именно с этих позиций Станциани в другой своей книге раскритиковал знаменитую теорию относительной экономической отсталости Гершенкрона, обвинив его в «двойной деконтекстуализации источников». Идеи своего времени Гершенкрон некритически приложил к весьма неоднозначным данным рубежа веков, и в итоге получилось, что пример развития России в 1870-1914 гг. (и дебаты между народниками и марксистами) использовались в дискуссиях о политике по отношению к развивающимся странам Азии, Африки и Латинской

Америки в 1960-е годы[176]. Для тех лет действительно были характерны вневременные сравнения, да и придуманная тогда теория модернизации поразительно а-исторична. Более развернутую критику земской статистики Станциани дал на форуме журнала «Славик ревю»[177]. Его поддержал Янни Коцонис – историк довольно радикальных, с точки зрения исторического истеблишмента, взглядов. Он автор двух серьезных монографий, одна из которых переведена на русский язык издательством НЛО («Как крестьян делали отсталыми»)[178].

Культурно-исторический подход наиболее полно реализован в первой части книги Станциани, посвященной «кабале воображаемой» - идеям и представлениям о несвободном труде, циркулировавшим в европейской (и русской) мысли в XVIII-XIX вв. Станциани уделяет особое внимание времени возникновения таких значимых в эпоху отмены крепостного права в России идей, как непроизводительность крепостного труда и угроза пролетаризации и пауперизации крестьянства в случае его освобождения без земли. В отличие от советской историографии, которая с присущей ей прямолинейностью признавала невыгодность крепостничества в качестве одной из причин реформы 1861 г., Станциани говорит именно о *соображениях* по поводу свободного и подневольного труда.

Он рассматривает дискуссии, разгоревшиеся во Франции в 1750-е годы по трем взаимопересекающимся предметам: о крепостном праве в Восточной Европе, рабстве в колониях и отмене цехов во Франции. Одни и те же авторы обсуждали эти, казалось бы, столь далекие друг от друга вопросы в

---

[176] *Stanziani A.* After Oriental despotism… P. 8-9.

[177] *Stanziani A.* European statistics, Russian numbers, and social dynamics, 1861-1914 // Slavic rev. 2017. Vol. 76, N 1. P. 1-23. Начинал Станциани как историк российской экономики, и проблема применения статистических методов рассматривалась в ряде его статей и монографий: *Stanziani A.* L'économie en révolution: le cas russe, 1870-1930. P., 1998.

[178] *Kotsonis Y.* Read Zamiatin, but not to correct his math // Slavic rev. 2017. Vol. 76, N 1. P. 24-29. См.: *Kotsonis Y.* Making peasants backward: agricultural cooperatives and the Agrarian question in Russia, 1861-1914. New York, 1999; *Kotsonis Y.* States of obligation: taxes and citizenship in the Russian Empire and early Soviet republic. Toronto, 2014.

конкретном политическом контексте дебатов о необходимости реформ, и не только во Франции, но также в России и в колониях. В результате выстраивалась иерархия относительной отсталости: колоний по отношению к Европе, Восточной Европы по отношению к Западной и Франции – по отношению к Англии. Одновременно была проведена воображаемая граница между «просвещенной» и «старой» Францией, где так же, как и во всей средневековой Европе существовало крепостное право. Соответственно Восточная Европа с ее крепостничеством представляла собой в глазах французских философов и экономистов-физиократов не какой-то исключительный случай, а лишь пример отсталости, которая в какой-то момент отойдет в прошлое.

Именно тогда физиократами был впервые поставлен вопрос об эффективности свободного труда по сравнению с несвободным, однако он не получил однозначного ответа; при этом морально-этические соображения о естественном праве каждого на свободу сохраняли свое влияние. Что касается политического вопроса об отмене рабства (в эпоху Просвещения не делали различий между рабом и крепостным, они были проведены позже, в XIX в.), то в отношении екатерининской России и Вольтер, и Дидро, и многие другие склонялись к мнению о преждевременности этой меры и о необходимости просвещения крестьян.

Скрупулезно прослеживая извивы и нюансы обсуждения проблемы в общеевропейском дискурсе, происходившего в меняющемся политическом контексте, Станциани постоянно фиксирует взаимодействие идей, циркулировавших в России, Франции, Великобритании и Германии. В итоге он констатирует, что во всех четырех странах к концу XVIII в. сложилось два противоположных мнения о путях улучшения экономического положения, причем ни сторонники сохранения юридического статус-кво, ни те, кто выступал за необходимость отмены крепостного права, рабства и цеховых

ограничений, не были однозначно уверены в том, что рынок является средством для достижения экономической эффективности и социальной справедливости.

В первой половине XIX в. в Европе продолжала сохраняться амбивалентность в отношении подневольного труда, что проявилось в дебатах об индустриализации, капитализме и пролетариате. Для многих критиков наемного труда русский крепостной выглядел в чем-то даже предпочтительнее нещадно эксплуатируемого бесправного пролетария, исключение составляла Англия, активно выставлявшая себя «островом свободы в мире рабов»[179]. В предреформенной России унаследованные от физиократов и Адама Смита идеи о неэффективности несвободного труда имели широкое хождение, но парадоксальность ситуации заключалась в том, что дворянство боялось не столько освобождения крестьян, сколько их пролетаризации; мнение о вольнонаемном труде как худшей форме рабства в итоге перевешивало. Именно поэтому вопрос о крепостном праве соединялся с вопросом об общине и далее – с русской уникальностью перед лицом Запада. И именно поэтому для проведения эмансипации и в Соединенных Штатах, и в России решающими оказались аргументы моральные и политические, а не экономические.

Эмпирическую часть своего труда Станциани начинает с очерка истории рабства и торговли пленными-рабами в Евразии в XIII-XVII вв. – практик, которые могут рассматриваться как предтеча не столько крепостного права в России, сколько трансатлантической работорговли. Здесь также на переднем плане взаимодействия, взаимовлияния и взаимообмен, только уже в актуальной действительности: торговые пути, пересекающие континент с востока на запад и с севера на юг и юго-восток; караваны, идущие из Китая в Персию, из Индии в Среднюю Азию; разноплеменные участники

[179] *Stanziani A.* Bondage… P. 33.

евразийской торговли – венецианцы, османы, литовцы, поляки, русские, Орда и Крымское ханство; рождение и распад государств; войны и массовые перемещения пленных-рабов. В этом контексте идеи о восточном деспотизме и поднимающемся западном капитализме просто растворяются, и Россия предстает отнюдь не каким-то уникальным случаем, а одной из участниц глобального исторического процесса, в том числе процесса формирования рынка в эпоху Раннего Нового времени в масштабах всего континента.

Авторские интерпретации крепостного права составляют сердцевину исследования и тесно увязываются с вопросом об экономическом развитии России. Как и в случае с рабством и холопством, изложение начинается с анализа терминов и – что важно для зарубежной историографии – их перевода. Станциани отмечает, что вплоть до 1840-х годов в официальном языке отсутствовали упоминания о «крепостных», которых называли «крестьянами» и «сельским населением»[180].

Ответ на вопрос, кем же были крестьяне, если не крепостными (serf), базируется на законодательных материалах, судебных делах (в том числе многочисленных тяжбах между помещиками и крестьянами) и вотчинных архивах, а также на современной историографии, представившей лицо русской деревни в новом свете[181]. Данное автором определение русского крепостного крестьянина как человека, «обязанного предоставлять свой труд и существенно ограниченного в своей мобильности», весьма неопределенно. Конкретизируется оно последующими соображениями о том, что собой представлял процесс закрепощения в централизующемся государстве, неуклонно при этом расширяющем свою территорию. По мнению Станциани, ограничение крестьянской мобильности никогда не было целью государственной политики – оно было средством. В России отсутствовала

[180] Ibid. P. 102.
[181] См., в частности: *Gorshkov B.* A life under Russian serfdom: Memoirs of Savva Dmitrievich Purlevskii, 1800-68; *Dennison T.* The institutional framework of Russian serfdom. Cambridge, 2011, и др.

централизованная институционализация крепостного права, но существовали местные формы зависимости. В данном случае Станциани опирается на работы Стивена Хока и Дэвида Муна, предложивших посмотреть на крестьянский мир с точки зрения «экономики выживания»[182].

В целом интерпретация Станциани выглядит на редкость жизнеутверждающей: судя по материалам судебных дел, крестьяне бесконечно переходили из одного поместья в другое, уходили на заработки без разрешения помещиков, занимались торговлей и сколачивали капиталы, а к моменту официальной эмансипации достаточно большой процент частновладельческих крестьян поменяли свой юридический статус. Но при этом реформа 1861 г. не отменила (да и не могла отменить) многие существенные ограничения, наложенные на крестьянскую мобильность и труд в предыдущие столетия. Иными словами, «рабство» не было столь пугающе абсолютным, но и не могло испариться в одночасье, сохранив какие-то рудименты еще на несколько десятилетий. Но в любом случае сравнение крепостного крестьянина с американским рабом абсолютно неправомерно, считает Станциани, полемизируя с классической книгой П.Колчина. К аргументам прежних критиков о том, что сравнивается несравнимое (общество крестьян, подданных царя, составлявших основу населения страны, живших в своей деревне «испокон веков», не отличавшихся от своих владельцев ни национальностью, ни языком, ни верой, - и социальная группа чужаков иной расы, не знающих языка своих хозяев) он добавляет новый[183]. Указывая на роль крестьянства в колонизации, Станциани спрашивает, можно ли представить себе ситуацию, чтобы Дикий Запад осваивался рабами?

---

[182] *Hoch S.* Serfdom and social control in Russia…; *Moon D.* The Russian peasantry...

[183] *Kolchin P.* Unfree labor: American slavery and Russian serfdom. Cambridge (Mass.), 1987. Впрочем, сам Колчин прекрасно осознавал, что его сравнения не во всем можно считать корректными.

Другая линия рассуждений в книге Станциани напрямую касается таких значимых компонентов идеологии свободного/несвободного труда, как свободный рынок, частная собственность и капитализм. Здесь он обращается к проблеме «второго издания» крепостного права и приходит, в общем-то, к тем же заключениям, что и историки аграрного строя Восточной Европы. Во-первых, и в России, и в Литве, и в Пруссии, и частично в Польше нельзя говорить о «рабстве», а скорее о юридических ограничениях, наложенных на мобильность рабочей силы. Во-вторых, барщина отнюдь не тормозила развитие рынка, и общая картина экономического развития была не такой мрачной, как ее рисовала традиционная историография[184]. Станциани в данном случае исходит из иного определения капитализма, которое не связывает его жестко со свободным рынком и частной собственностью, а ставит во главу угла разные формы регулирования. В этом пункте он солидарен с современной историографией, в которой подчеркивается многослойность систем собственности и владения, а установление четких нормативов и границ частной собственности ассоциируется с натиском модерного государства, стремившегося унифицировать все подряд, а вовсе не с утверждением свободы. Исчезли противопоставления «либеральной» частной собственности публичной собственности авторитарных режимов. Современные исследования демонстрируют сложность форм собственности, а также весьма относительную политическую и социальную ценность частной собственности, которая не поддается простым объяснениям[185].

Совершенно закономерно, что последняя часть книги посвящена доказательству того, что свободный труд в передовых странах Запада был не столь свободным, как было принято считать. Станциани рассматривает историю трудового законодательства и практик в Великобритании и

---

[184] *Stanziani A.* Bondage… P. 137-138.

[185] См.: *Pravilova E.* A public empire: Property and the quest for the common good in imperial Russia. Princeton, 2014. P. 4, 292–293.

Франции, дополняет их исследованием «экстремальных вариантов» островов Реюньон и Маврикий, чтобы продемонстрировать взаимодействие представлений о труде, их амбивалентность и далеко не прямую связь с понятием свободы. В целом же книга Станциани дает представление о разнообразии, сложности, подвижности, изменчивости институтов и практик, связанных с экономической деятельностью, которые невозможно втиснуть в прокрустово ложе оппозиции «свободный/несвободный труд».

Экономическая история императорской России, как выясняется, далеко не «заброшенное поле», а область весьма дискуссионная в зарубежной русистике. «Расстановка сил» просматривается в уже упоминавшейся дискуссии в журнале «Славик ревю»: против двух историков выступили экономист С.Нафцигер и наши соотечественники А. Маркевич (РЭШ) и Е.Журавская (Парижская школа экономики), недавно выпустившие статьи, где на основании количественных методов рассмотрели последствия крестьянской реформы 1861 г. Завершает дискуссию статья литературоведа М.Авреха, расставляющая точки над «i».

Суть аргументов двух историков заключается в следующем. Как пишет Станциани, сегодня специалисты, использующие количественные методы для исследования экономики пореформенной России, считают материалы Центрального статистического комитета (ЦСК), земской статистики, переписи 1897 г., губернаторских отчетов и других обследований «данными». В основе этого подхода, принятого в естественных науках, лежит различие между «фактами» (которые идентифицируются с количественными показателями и соответственно считаются «научно обоснованными») и «мнениями», которые базируются на качественных аспектах того или иного явления. Споры об этом начались еще в XVIII в., пишет Станциани, и кратко прослеживает историю мировой статистики, останавливаясь на работах, осмысливающих статистику как «политический проект», - эта традиция

особенно сильна во Франции. В пореформенной России, как и в Европе в целом, статистика (и статистическое знание) служили не только аналитическим инструментом – они несли нормативную функцию и оказывали самое непосредственное влияние на программы социальных реформ. Исходя из этой посылки, Станциани сосредоточивает свое внимание на социальном конструировании данных, что позволяет, как он пишет, «объяснить взаимосвязь между знанием, политикой и социально-экономической практикой»[186]..

Прослеживая историю статистики в России, Станциани акцентирует свое внимание на таких проблемах, как отношения статистиков с бюрократией, политическая ориентация земских статистиков и их теоретические предпочтения. Он подробно останавливается на процессе сбора данных, который называет «процессом конструирования информации». Претензии Станциани к экономистам, изучавшим (и изучающим) историю России, заключаются не столько в том, что они бездумно используют имеющиеся цифры (как в свое время А. Гершенкрон), сколько в их приверженности «моделям». Станциани подчеркивает: следует постоянно иметь в виду, что в Европе и России XIX в. (которая шла в ногу с мировыми тенденциями) статистика с энтузиазмом воспринималась как инструмент «научного управления политикой», и политизированность была в высшей степени свойственна статистике как дисциплине. В России указанные тенденции проявлялись с особой остротой. Станциани призывает «реконструировать исторический смысл» цифр, что позволит значительно расширить горизонты нашего понимания экономической и социальной динамики в пореформенной России[187].

Коцонис тоже считает, что цифры – это не только данные, но и источники, и их следует предварительно анализировать. В конечном итоге

---

[186] *Stanziani A.* European statistics, Russian numbers… P. 1-2.
[187] Ibid. P. 22-23.

речь идет об изучении «политики цифр». При этом следует не только смотреть, что и как считали статистики, но и обладать широкими познаниями в российской истории, политике, философии, в ее литературе и искусстве. Только в этом случае получится читать цифры как «тексты» (каковыми они и являются, утверждает Коцонис) и понимать, *что* они должны были выражать[188].

Российские статистики XIX в. точно так же, как и их сегодняшние американские коллеги, принимали участие в выработке категорий, которые затем становились критериальными при описании социума. На обследованиях землеобеспечения и выкупных платежей унифицированного после 1886 г. крестьянства была построена, по словам Коцониса, целая статистическая индустрия. Однако итоговые данные, считает он, говорили не столько о материальном положении крестьянства, сколько о том, как крестьянство воспринималось современниками в его отношениях с землей и с государством[189].

Он указывает на практические трудности со сбором данных, в том числе и их сопоставимостью. «Как можно сравнить тульские лапти с копной сена в Пензе и одним днем работы в Херсоне?»[190], пишет Коцонис, демонстрируя конкретное мышление историка, чуждого математическим методам «вероятности» и «неопределенности». Но проблема заключалась еще и в том, что у «совокупного крестьянства» (а статистика продуцировала «совокупности»), была «своя» статистика. В то время как другие категории населения оценивались по новым стандартам (измерялись денежные доходы), благосостояние крестьянства тесно увязывалось с надельной землей. В представлении статистиков, пишет Коцонис, крестьяне являли собой коллектив (общину), а не сумму индивидов или отдельных

[188] *Kotsonis Y.* Read Zamiatin, but not to correct his math… P. 24-25.
[189] Ibid. P. 25-26.
[190] Ibid. P. 26.

домохозяйств. В итоге крестьяне представали настолько отдельной, обособленной категорией, что им даже была посвящена особая экономическая субдисциплина, которая ассоциируется со школой Чаянова. Наиболее характерен тот факт, что когда дело доходило до изучения крестьянского потребления, речь шла о выживании, а не о благосостоянии: уровень «достатка» (само слово говорит о многом) измерялся в граммах зерна на душу и в количестве необходимых калорий[191]. Исключительно страстно пишет Коцонис о социальной сегрегации, из которой росла статистика, в том числе земская, и которую она воспроизводила и укрепляла. Он напоминает об известной картине Г.Мясоедова «Земство обедает», которая в полной мере отразила пресловутую «культурную пропасть» между крестьянством и образованными классами.

Коцонис призывает к глубокому историческому пониманию реалий, к признанию того факта, что статистическая информация не дает прямых ответов на вопросы. Более того – статистики царской России не задавали тех вопросов, которые интересуют сегодняшнего историка. Однако цифры, рассматриваемые в социальном контексте, помогают глубже понять этот контекст.

С.Нафцигер[192], во многом соглашаясь с доводами Станциани, совершенно не согласен с утверждением, что современные историки не могут рассматривать экономическую жизнь прошлого сквозь призму современных экономических моделей, используя при этом современные количественные методы. По наблюдениям Нафцигера, автор критической статьи явно неверно истолковывает, а то и недопонимает особенности современных количественных методов, которые позволяют сгладить различия, минимизировать погрешности и т.д. Этой теме посвящен ответ

---

[191] Ibid. P. 27.

[192] *Nafziger S.* Quantification and the economic history of imperial Russia // Slavic rev. 2017. Vol. 76, N 1. P. 30-36.

Маркевича и Журавской[193]. Ими было проведено исследование пореформенной экономики на основе анализа выкупных платежей и других данных, в котором они пришли к выводу о положительном экономическом эффекте отмены крепостного права в отношении сельскохозяйственного и промышленного производства. Используя данные антропометрии рекрутов, они также констатировали и значительное улучшение рациона питания русского крестьянства[194].

В своей статье-комментарии Маркевич и Журавская достаточно подробно перечисляют и описывают методы количественного анализа, применяемые сегодня историками экономики. Среди них – перекрестная проверка данных, проверка «ошибкоустойчивости» данных, корректировки системных ошибок. Создание современных баз данных и информационных ресурсов значительно облегчает задачу и экономистам-исследователям, и историкам, интересующимся количественными данными, но не занимающимся эконометрикой специально.

Подчеркивая значение статистических данных для исторического исследования, Маркевич и Журавская напоминают: они помогают понять, что является правилом, а что – исключением. Современная статистика не отвергает «единичные случаи» (anecdotal evidence), но и не опирается на них. Она считает, что единичных случаев должно быть много, и тогда они становятся «данными»[195].

В этом утверждении особенно ярко проступает различие в самой логике исследования между исторической экономикой и сегодняшней историей,

---

[193] *Markevich A., Zhuravskaya E.* A quantitative approach to the Russian past: A comment on “European statistics, Russian numbers, and social dynamics, 1861-1914” by Alessandro Stanziani // Slavic rev. 2017. Vol. 76, N 1. P. 37-44.

[194] И Станциани, и Нафцигер адресовались к их еще неопубликованным работам, которые вышли в свет позднее. См.: *Markevich A., Zhuravskaya E.* The economic effects of the abolition of serfdom: Evidence from the Russian empire // American Economic Review. 2018. Vol.108, N4-5. P. 1074–1117.

[195] *Markevich A., Zhuravskaya E.* A quantitative approach… P. 44.

опирающейся в своих рассуждениях на качественные методы и индивидуальные случаи. История, пример которой представлен в статьях Станциани и Коцониса, обнаруживает большую близость с литературоведением, а точнее – с направлением «нового историзма», о котором достаточно подробно пишет в своем комментарии адъюнкт литературы университета Монклэр Михаил Аврех[196]. Он поддерживает позицию Станциани, и считает, что нужно обращать особое внимание на социальную сторону вопроса, «читая» статистику как «культурную историю классовых взаимоотношений» в империи в эпоху трансформации[197].

Дополнив «Критический форум» по экономической истории пореформенной России статьей литературоведа, редакция «Славик ревю» сумела подчеркнуть гуманитарную природу современного исторического знания, для которого господствовавшая прежде «социально-научная парадигма» перестала быть актуальной. В таком качестве история не нуждается в «научной верификации» своих выводов, которые обеспечивала прежде статистика, а многие базовые принципы современной истории несовместимы с принципами социальных наук – социологии, политологии, экономики. И не только потому, что основой эвристических рассуждений в сегодняшней истории является единичный случай, но и потому, что использование вневременных, а-историчных моделей для понимания прошлого считается недопустимым.

Тем не менее, точки соприкосновения между гуманитаристикой и социальными науками следует искать, хотя на данном этапе статистика и не предлагает историку заманчивых перспектив. Ее эвристическая ценность никогда не была высокой, ведь статистика была призвана лишь подтверждать либо опровергать имеющиеся гипотезы. Возможно, технологии big data

[196] *Avrekh M.* On the uses of Russian statistics: A response to Alessandro Stanziani's «European statistics, Russian numbers, and social dynamics, 1861-1914» // Slavic rev. 2017. Vol. 76, N 1. P. 45-51.
[197] Ibid. P. 50-51.

привнесут что-то новое в исторические исследования, но пока эконометрика предлагает нам лишь очевидные, уже давно известные ответы на старые вопросы – о том, например, что отмена крепостного права оказала положительное воздействие на экономику России.

Дли исследований экономической истории императорской России (пусть и весьма немногочисленных) характерны те же особенности, что и для зарубежной историографии в целом: историзм, что предполагает более профессиональный (и при этом более позитивный) взгляд на российское прошлое, углубленное внимание к анализу источников, стремление деконструировать и критически пересмотреть устоявшиеся понятия и клише, глубокое знание историографии и осознанное отношение к ней.

Если анализировать ее особенности с точки зрения философии и методологии, можно говорить о том, что на смену иерархическому дискурсу модерна с его идеей прогресса, привычкой опираться на противопоставления – мыслить в рамках бинарных оппозиций и соответственно в черно-белых тонах – приходит мышление пост(пост)модерна, с его множественностью и неоднозначностью причинных связей, семантической сложностью и многоцветьем палитры. И главное – отказом воспринимать мир в рамках системы господства – подчинения, на чем основывалось мышление эпохи модерна. В изучении истории России эта тенденция подчеркивается стремлением к преодолению барьеров – хронологических, как «петровский разрыв» или же «разрыв 1917 г.», и географических, с выходом за пределы национальных государственных границ.

В целом со времени окончания холодной войны зарубежная русистика сделала колоссальный рывок вперед в изучении истории России: чрезвычайно усложнилась общая картина прошлого России, так же как и понимание социума, политики, индивида; добавилось множество новых понятий, возникли не только новые темы и области исследований, но и

новый язык. И в предметном, и в дисциплинарном, и в методологическом отношении, и в том, что касается конкретно-исторических интерпретаций – это действительно «другая история».

Глава 6. Россия как многонациональная империя: современные зарубежные исследования

6.1. Имперский поворот в изучении истории России[198]

Среди множества «поворотов», совершенных мировой историографией начиная с 1980-х годов, «имперский» имеет самое прямое отношение к России. Как и лингвистический и культурный повороты, его невозможно

[198] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Российская империя: Система управления. (Современная зарубежная историография). Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. М., 2003; *Большакова О.В.* Новая политическая история России: Современная зарубежная историография: науч.-аналит. обзор. М.: ИНИОН, 2006; *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М.: Наука, 2008; *Большакова О.В.* О новой концепции истории России в современной американской историографии // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2009-2010 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2012. С.42-70; *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны: Монография. М.: ИНИОН РАН, 2013; *Большакова О.В.* «Имперский поворот» в американской русистике // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2013-2014 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2015. С. 140-161; *Большакова О.В.* Конфессиональная политика Российской империи: англоязычная историография. (Аналитический обзор) // Религия и церковь в истории России: Современная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв. ред. Большакова О.В. М., 2016. С. 72-108; *Большакова О.В.* Религиозная проблематика в современной историографии России // Религия и церковь в истории России: Современная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв. ред. Большакова О.В. М., 2016. С. 5-22; *Большакова О.В.* Российская империя в современных исследованиях: Евразийская парадигма // ИАЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История. М., 2018. S1. С. 79-97; *Большакова О.В.* Россия как империя: Современный взгляд // Имперский поворот в изучении истории России: Современная историография: Сб. обзоров и реф. М.: ИНИОН, 2019. С. 5-18; *Большакова О.В.* Распад империй и Русская революция: Современная зарубежная историография // Труды по россиеведению. Вып. 7. М., 2018. С. 235-253; *Большакова О.В.* Конец Российской империи: Современные интерпретации // Имперский поворот в изучении истории России: Современная историография: Сб. обзоров и реф. / РАН. ИНИОН. М., 2019. С. 150-172; *Большакова О.В.* Империя, нация и концепт модерного государства. (Размышления о книге «Империя и общность в контактных зонах Евразии») // ИАЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История. № 4. 2021. С. 7-26; *Большакова О.В.* Россия как многонациональная империя: Итоги и перспективы изучения // Российская история. М., 2021. №.4. С. 163-177.

свести к какому-то одному направлению в науке, которое возникло в конкретный момент времени, опирается на ту или иную теорию, имеет определенное количество приверженцев и круг тем[199]. Скорее это широкое движение, возникшее на волне интереса к истории империй, который постоянно подпитывается текущими событиями. В то же время, привнесение в общественное сознание понятия империи также побуждает осмысливать происходящее в соответствующей терминологии (например, «новый империализм США»). Среди работ, в заглавии которых присутствует слово «империя», можно встретить образчики самых разных идеологий и подходов, от сугубо эмпирического до дискурсивного. И потому существует тенденция интерпретировать «имперский поворот» просто как отход от изучения национального государства и обращение к истории империй, одновременно выделяя в нем «новую имперскую историю», тесно связанную с постколониальными исследованиями. «Старая» история империй, событийная по своему характеру и одновременно сильно политизированная, интересовалась главным образом ходом завоеваний, экономикой и политикой. «Новая» «ассоциируется с категориями культуры, гендера, расы»[200]. Основным аналитическим инструментом этих исследований является «имперская парадигма», подразумевающая «особый» характер империй и неприменимость к ним обычных мерок национального государства[201].

В изучении истории России обе эти линии безусловно просматриваются, формируя свои конфигурации и сплетаясь в довольно пеструю

---

[199] *Surkis J.* When was the linguistic turn? A genealogy // American hist. rev. 2012. Vol. 117, N 3. P. 700-722; *Cook W.* The kids are all right: On the “turning” of cultural history // Ibid. P. 746-771.

[200] *Ghosh D.* Another set of imperial turns? // American historical review. 2012. Vol.117, N 3. P. 772–793.

[201] См., в частности: *Burbank J., Cooper F.* Empires in world history: Power and the politics of difference. Princeton, 2010; *Stoler A. L.* Duress: imperial durabilities in our times. Durham, 2016.

интернациональную историографию Империи. «Имперский поворот» предложил исключительно плодотворный ракурс для рассмотрения истории России. Довольно быстро в него «вписалась» зарубежная русистика (первые серьезные работы были опубликованы в конце 1990-х годов), а затем и отечественная историческая наука. Однако траектория развития этой интернациональной историографии во многих отношениях отличается от мировой.

Принято считать, что «всё началось» с публикации в 1992 г. книги швейцарского историка Андреаса Каппелера «Россия – многонациональная империя», которая быстро была переведена на разные языки[202]. На самом деле та готовность, с какой научное сообщество приняло эту книгу, обусловливалась особой актуальностью проблемы в условиях распада СССР на 15 суверенных государств и острой нехваткой исследований такого рода. Позже А. Каппелер отмечал, что интерес к России как империи в постсоветском обществе был тогда очень высок и что публицистика в данном случае шла впереди научных изысканий[203]. В своей книге он указывал, что история России «не может быть раскрыта без понимания общего полиэтничного контекста» и постарался «откорректировать русоцентристский взгляд», воспринимавший ее – особенно на Западе – как «историю русских»[204].

Публикацию Каппелера можно считать знаковой, она априори задавала вектор развития будущей историографии – высокую степень международной интеграции и фиксацию на этнонациональных проблемах. Основной площадкой стал казанский журнал «Ab imperio», изначально созданный для

---

[202] *Kappeler A.* Russland als Vielvolkerreich: Enstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992; *Каппелер А*. Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад / Пер. с нем.: Червонная С. М., 1997.

[203] *Каппелер А.* «Россия – многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Ab imperio. 2000. № 1. С. 27.

[204] Там же. С. 16-17.

освещения проблем империализма и национализма на бывшем постсоветском пространстве. Его вклад в развитие новой историографии империи трудно переоценить. В журнале была сформулирована программа изучения «западного колониализма и династических территориально-протяженных империй» (правда, сразу обозначился крен в сторону социологии, политологии, этнологии)[205].

Издательство «Новое литературное обозрение» также уделяет большое внимание имперской истории России и способствует интеграции исследователей. Наряду с переводами новейшей западной литературы оно выпускает все больше совместных работ зарубежных и отечественных специалистов, а также историков из так называемого «ближнего зарубежья»[206]. Основным языком публикаций по имперской проблематике, тем не менее, является английский, что способствует формированию единой «транснациональной» историографии.

Но все же, при всех интеграционных процессах, между национальной (отечественной) и зарубежной (транснациональной) историографией сохраняются существенные водоразделы, пролегающие главным образом в области методологии. Отечественная историография в очень малой степени восприняла так называемую «имперскую парадигму». Безусловно, российские историки начали учитывать этническое и конфессиональное

---

[205] См. публикации, подготовленные коллективом журнала: Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. статей / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, Л.П. Каплуновского, М.Б. Могильнер, Л.М. Семёнова. Казань, 2004; Empire speaks out: Languages of rationalization and self-description in the Russian empire. Leiden, 2009; Новая имперская история Северной Евразии / И. Герасимов, М. Могильнер, С. Глебов; при участии А. Семенова. Казань, 2017. Ч. 1: Конкурирующие проекты самоорганизации, VII-XVII вв. Ч. 2: Балансирование имперской ситуации, XVIII-XX вв.

[206] См., в частности: *Сартори П., Шаблей П.* Эксперименты империи: Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи. М., 2019; *Таки В.* Россия на Дунае: Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812–1834 годы. М., 2021. Показательна научная биография молдавского историка Виктора Таки: защитив диссертацию в Центрально-Европейском университете в Будапеште, он работал в университете Альберты (Канада) и в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ, сейчас вновь переехал в Канаду.

разнообразие страны, термин «империя» стал практически обязательным при рассмотрении ее истории XVIII-XIX вв. и желательным – для всего периода Раннего Нового времени. Однако зачастую этим всё и исчерпывается. Пожалуй, единственное, что объединяет сегодняшних историков, – это позитивный взгляд на Российскую империю, которая ранее ассоциировалась с отсталостью и угнетением, и носила ярлык «тюрьмы народов». Зарубежные исследования, однако же, в той или иной степени придерживаются имперской парадигмы, и потому стоит остановиться на ней подробнее.

Империи, характеризующиеся высоким уровнем централизации власти и иерархической структурой наряду со значительным этнокультурным, языковым и правовым разнообразием управляемых территорий, представляют собой исторических «долгожителей» и существуют по своим законам. Для их изучения все шире применяется так называемая «имперская парадигма». В ее основе лежит представление об империи как о государственном образовании, которое характеризуется следующими чертами: сильной, почти абсолютной властью правителя, обширностью территорий и разнообразием подвластных территорий и народов, их населяющих. При этом, с одной стороны, подчеркивается неравноправный, вертикальный характер власти в империи, где центр (метрополия) безусловно доминирует над периферией, с другой – признается толерантность имперского государства, управляющего разными народами и территориями на разных условиях. «Разнообразие» является ключевым словом в описании империи, создающейся путем завоеваний и сохраняющей на присоединенных территориях присущие им формы управления, социальной организации и образа жизни.

Имперская парадигма ассоциируется с новым этапом критики колониализма и империализма. Во главу угла она ставит современную вариацию «глобального» подхода, что позволяет рассматривать историю

империй, их соперничества и взаимодействия в контексте общемирового исторического процесса, в котором европейский «Запад» не выступает в роли ведущей силы. Скорее, речь идет о множестве неуправляемых процессов и случайных событий, формирующих ткань мировой истории. В ней действуют разнообразные локальные «акторы», и большую роль играют культура и человеческая субъективность.

«Новая имперская история» (или «новая история империи»), опирающаяся на такие представления, тесно связана с постколониальными исследованиями, с их интересом к этничности и – что было особенно актуально в 1990-е – к формированию идентичности. В центре ее внимания – взаимодействие колонизаторов и колонизуемых, которое далеко не всегда сводится к прямому угнетению и репрессиям. Зачастую «европейское доминирование» осуществляется посредством дискурсивных практик, о чем образно писали редакторы журнала «Критика»: «На смену «сосредоточению войск» пришел дискурс, иностранному нашествию – культурные программы, прямому угнетению – микротехнологии власти»[207].

В «новой имперской истории» произошла существенная трансформация исторической методологии – прежде всего в области анализа архивных источников, в котором наряду с «медленным чтением» (close reading) практикуется повышенное внимание к языковым конструкциям и «маргинальным» точкам зрения. Немаловажное место в изучении истории империй заняли такие дисциплины, как антропология, культурология (cultural studies), этнология, гендерные исследования.

В зарубежной русистике «новая имперская история» получила большое развитие, хотя далеко не все аспекты «имперской парадигмы» используются

[207] Some paradoxes of the «new imperial history» // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, N 4. P. 624.

исследователями[208]. Можно сказать, что она стала одним из влиятельнейших направлений, имевшим определенную традицию, с которой произошел радикальный разрыв. Главными темами традиционной истории Российской империи являлись царский и советский империализм с его мощным механизмом угнетения народов, или же «мессианство», и не только большевистское. История российского империализма и экспансионизма прослеживалась начиная с Московского царства (особое значение придавалось теории «Москва – Третий Рим») и заканчивалась советской национальной политикой[209]. По замечанию М. фон Хагена, поскольку в период холодной войны термин «империализм» был негативно нагруженным (как и его изучение), серьезные историки зачастую сознательно игнорировали имперский аспект в своих исследованиях[210].

В рамках современных имперских исследований историки исходят из существования многонациональной империи, в которой Россия («метрополия») была лишь одним из «государств», и сосредоточиваются на изучении моделей взаимодействия и взаимовосприятия людей, принадлежащих к разным народностям и социальным слоям, с акцентом на формировании образов и репрезентаций[211]. Центральное место в исследованиях начинает играть этнокультурный подход, основанный на концепции нации как конструируемого «воображаемого сообщества». Это позволяет «преодолеть стереотип восприятия русской экспансии как истории завоеваний и репрессий, или же, наоборот, сближения и дружбы народов»[212].

---

[208] Есть и отличные книги, не придерживающиеся «имперской парадигмы». *Lieven D.* Empire: The Russian Empire and its rivals. New Haven, 2000; *LeDonne J.* Forging a unitary state: Russia's management of the Eurasian space, 1650-1850. Toronto, 2020.

[209] Soviet nationality problems / Ed. by Allworth E. N.Y., 1971; Soviet nationality policies and practices / Ed. by Azrael J.R. N.Y., 1978.

[210] *Hagen M.* Writing the history of Russia as empire: The prespective of federalism // Казань, Москва, Петербург. М., 1997. С. 395-396.

[211] Some paradoxes of the «new imperial history»… P. 623-624.

[212] *Дэвид-Фокс М.* Ук. соч. С. 31.

Как и в современной зарубежной историографии России в целом, в имперских исследованиях превалирует понимание сложности объекта изучения и множественности взаимосвязей, определяющих его «лицо». Исследования по истории империи стремятся во всей полноте воссоздать «сложную ткань взаимодействия имперских властей и местных сообществ», учитывая при этом наличие не одного или двух, а нескольких акторов и многосторонность их отношений, а также осознавая, что в результате этого взаимодействия создавалось «огромное гетерогенное пространство смешанных и переходных культурных форм»[213] .

Имперская парадигма внесла существенные коррективы в представления историков: «руссоцентристский» взгляд на Россию, господствовавший долгое время в историографии, сменился «имперским»[214], что в первую очередь означало смещение фокуса внимания с центра к периферии – окраинам обширной империи, проблемам национальной идентичности, а также особенностям государствостроительства в «имперской ситуации». В центре внимания исследователей оказалось «прекрасное прошлое» империи, прежде всего факторы стабильности, позволявшие ей успешно на протяжении веков управлять своими многочисленными народами. В то же время большую роль в этих исследованиях играет геополитический подход, позволяющий поместить историю Российской империи в глобальный контекст.

За прошедшие годы произошли существенные изменения в методологии и проблематике «имперских» исследований, неуклонно расширяются их хронологические рамки и географический охват. Наблюдаются изменения не только подходов, но и общих представлений об империи, в основе которых

---

[213] *Миллер А.* Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2008. С. 7, 8.
[214] *Glebov S.* From empire to Eurasia…P.1.

лежат, как правило, теоретические конструкции, выработанные в других научных дисциплинах.

Первоначальный период развития историографии России как империи был отмечен глубоким интересом к теоретическим основам нового для историков предмета изучения. В ведущих журналах («The Russian review», «Kritika», «Ab imperio» и др.) прошли дискуссии и круглые столы с участием социологов и политологов[215]. Предлагались разнообразные дефиниции империи, которые удовлетворительно описывали бы и Россию, большое внимание уделялось вопросам типологии. Тогда был проведен водораздел между «классическими» колониальными империями Западной Европы с их «заморскими» владениями и империями континентальными (Российской, Османской, империей Габсбургов). Принадлежность к двум разным типам подтверждалась хронологически: континентальные империи распались в ходе Первой мировой войны, «морские» - после Второй. Распад исторических империй Нового времени выступал и косвенным доказательством того, что СССР тоже являлся империей – и распался, «не справившись» с национализмом, как в свое время «не справился» с ним царизм. И тот факт, что распад Советского Союза произошел относительно бескровно, считали парадоксальным результатом национальной политики Ленина и Сталина, проводившей границы между республиками с соблюдением принципа национального суверенитета[216].

---

[215] Imperial dreams // The Russian review. 1994. Vol. 53. N 3. P.331-381; Ethnicity and nationality in imperial Russia // The Russian review. 2000. Vol. 59. N 4. P.487-576; Ex tempore: Orientalism and Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, N 4. P. 691–727; Политическая история империи – политическая история нации: На пути к синтетическому методу?: Заочный круглый стол // Ab imperio. 2002. № 2. С. 89-132 и др. К этому времени вышло уже несколько исключительно значимых сборников: Russia's Orient: Imperial borderlands and peoples, 1700–1917 / Ed.by Brower D.R., Lazzerini E.J. Bloomington, 1997; Imperial Russia: New histories for the empire; Of religion and empire: Missions, conversion, and tolerance in tsarist Russia / Ed. by Geraci R.P., Khodarkovsky M. Ithaca, 2001.

[216] A state of nations: empire and nation-making in the age of Lenin and Stalin / Ed. by Suny R.G., Martin T. Oxford; N.Y., 2001. P. 17.

Социальные науки предоставили тогда историкам готовую схему: империя, будучи домодерным феноменом, неизбежно идет к распаду, уступая место современному национальному государству. Для этой «архаичной» государственной формы характерны безраздельная власть правителя, насильственные методы управления, неравноправие и дискриминация; властные отношения в ней строятся по вертикали и по оси центр – периферия, а социальная структура строго иерархична. В конечном итоге империя ассоциировалась с угнетением и отсталостью, в противоположность прогрессивному и эффективному национальному государству, которое базируется на принципах равенства и гражданских свобод. Такая схема основывалась на теории модернизации и на более общих представлениях об историческом процессе как стадиальном, поступательном движении человечества к демократии западного типа. Это была либеральная критика империй и империализма, безраздельно господствовавшая в науке и западном общественном мнении после Второй мировой войны.

Доминировавшие прежде трактовки в своем обосновании причин падения старого режима сосредоточивались на несоответствии между архаическим самодержавным строем, основывавшемся на православии и сословной системе, с одной стороны, и модернизацией, вызванной военным и экономическим соревнованием, - с другой. При этом в русле историографической традиции, ведущей свое начало от Карамзина, историю России они рассматривали как постепенное воплощение в жизнь национального государства, находившегося в 1917 г. в стадии становления. Считалось, что самодержавие не сумело реализовать этот проект. Именно поэтому Р. Пайпс называл СССР анахронизмом: вместо создания

«прогрессивного» национального государства произошел, как он считал, откат к многонациональному империализму XIX в.[217].

Однако кризисы и политические потрясения рубежа 1980-1990-х годов в сочетании с новыми веяниями в научной мысли заставили иначе взглянуть на эту концепцию. На протяжении двадцати лет она критиковалась и опровергалась теми, кто перестал принимать стадиальность и эволюционизм либеральной (как, впрочем, и марксистской) исторической схемы, а также – ее европоцентризм и нормативность. Огромный интерес к проблемам национализма и этничности, к темам формирования идентичностей вызвал к жизни множество исследований, показывающих, что западноевропейские «нормы», во-первых, не так хороши, а во-вторых, не способны вместить в себя все богатство исторической реальности. Империи, которые раньше были предметом прогрессистской либеральной критики и ассоциировались с «отсталостью», начинают рассматривать в иной системе координат, в широком историческом и глобальном контексте.

Антиимпериалистический дискурс конца XX в. развивался уже в ином интеллектуальном климате, в условиях острой критики национализма, европоцентризма и идеи прогресса. Постколониальные исследования изначально поставили под вопрос «нормативный» и европоцентристский характер теории модернизации с ее «золотым стандартом», в качестве которого выступал условный «Запад» и такие его приметы, как парламентская демократия, свобода предпринимательства, рыночная экономика и национальное государство. Они предложили исследователям новую систему координат, основой послужила концепция ориентализма Э. Саида, а также идеи А. Грамши о субалтерновых (подчиненных) группах и М. Фуко о власти/знании. Колониализм стали понимать не просто как форму господства и эксплуатации, а скорее как систему осуществления власти

[217] *Pipes R.* The formation of the Soviet Union: communism and nationalism, 1917-1923. Cambridge (Mass.), 1964.

дискурсивным образом, путем особых иерархических конструкций несходства, а именно описания колонизуемых как низших и незрелых по сравнению с колонизаторами, которые несут им свет знаний и цивилизации. Пришло понимание, что практики «отчуждения» и соответственно восприятия незападного мира как «слаборазвитого» и дефектного формировали внешнюю политику Запада, в том числе политику помощи, и культурную продукцию. Одной из интенций постколониальных исследований являлся подрыв европейской модели культуры, претендующей на первенство, а на самом деле являющейся исторически обусловленной. И поскольку в географии власти важную роль играет европейская оппозиция «центр/периферия», которая, как считается, стабилизирует, продлевает существование такого порядка вещей, когда власть принадлежит центру (физическому и метафизическому), просвещенной и цивилизованной метрополии, эта модель была поставлена под вопрос[218]. Было, во-первых, указано на уничижительность самого термина «периферия» и, во-вторых, продемонстрировано, что и сами колонии серьезно влияют на метрополию, а колониальное правление на деле представляет собой процесс взаимных уступок.

Насколько подходили России теоретические схемы Э. Саида, стало предметом обсуждения проблемы ориентализма в журнале «Критика»[219]. Дискуссия обнажила серьезные методологические проблемы, поскольку Россия сама во многих отношениях являлась «Востоком» (если речь шла о ее взаимодействии с Европой), в то время как во взаимодействии со своими азиатскими окраинами она выступала как «Запад». Преобладающим осталось мнение, что Россия занимала особое, двойственное положение «между

[218] Post-colonial studies… P. 32-33.
[219] Orientalism and empire in Russia / Ed. by David-Fox M., Holquist P., Martin M. Bloomington, 2006.

Востоком и Западом», что обусловливало и «необычную» толерантность империи к ее восточным подданным.

Этот богатый и разнообразный теоретический багаж на долгое время определил направления исследований России как империи. Изменился и общий ракурс рассмотрения: если раньше в историографии господствовала модель «упадка» империи, неудержимо двигавшейся к своему распаду, то теперь исследователи сосредоточились на факторах ее многовековой стабильности и процветания.

На смену крайне негативному образу Российской империи как «тюрьмы народов» пришли описания величия государства, в котором многочисленные народы и народности сохраняли свою самобытность, составляя мозаичную и крайне богатую в культурном отношении целостность. При этом общая достаточно радужная картина процветания империи не исключала внимания к насильственным методам завоевания, однако присущая постколониальным исследованиям резкая критика колониализма не занимала в русистике основополагающего места. Долгое время в ней бытовало мнение о толерантности России по отношению к ее нерусским подданным – по сравнению с европейскими колониальными державами. Здесь можно было бы усмотреть отсылки к пресловутой российской исключительности, которая, однако же, стала трактоваться в позитивном ключе.

Пересмотр наметился в последнее время, и вышедший недавно сборник[220] представляет собой один из сигналов новой тенденции. Она заключается в помещении Российской империи в общемировой контекст «на равных», что в итоге означает рассмотрение ее в качестве «нормальной» империалистической державы, со всеми негативными сторонами колониализма. Материалы сборника демонстрируют еще одну тенденцию в

[220] Empire and belonging in the Eurasian borderlands / Ed. by Goff K.A. and Siegelbaum L. H. Ithaca, 2019.

зарубежной историографии России (и в мировой историографии в целом): в ней всё реже упоминается дихотомия «нация/империя».

Безусловно, историки изначально понимали, что империя и национальное государство – это «идеальные типы», которым в реальности можно соответствовать лишь отчасти. Это скорее та «шкала», к которой следует прилагать полученный материал. Но сама эта шкала уже не вызывает большого интереса, поскольку историография всё меньше тяготеет к резким противопоставлениям. Различия между империей и национальным государством постепенно размываются: конкретно-исторические исследования, датирующие начало формирования национального государства XIX в., обнаруживают сходства двух этих государственных форм, фиксируя смешение в них «имперских» и «национальных» практик управления и политики.

Специальное рассмотрение проблема соотношения национального и имперского государственного строительства в Европе и Евразии в течение «длинного XIX в.» получила в сборнике статей, подготовленных в ходе работы нескольких конференций в Будапеште и Манчестере[221]. Как указывают во введении составители сборника Стефан Бергер и Алексей Миллер, противопоставление империи и национального государства как «глубоко различных типов политической организации общества и пространства» возникло в конце XIX в. и до недавнего времени доминировало в историографии. Считалось, что национальное государство представляет собой следующую, постимперскую, стадию «нормального» исторического развития; эта идея лежит в основе авторитетных трудов Э. Геллнера. Целью настоящего издания, пишут авторы, является пересмотр такого дихотомического подхода на основании теоретических и конкретно-исторических исследований, сосредоточенных на изучении национального

[221] См.: Nationalizing empires / Ed. by Miller A., Berger S. Budapest, 2015.

строительства в центральной части империй (имперском ядре – imperial core)[222].

Во введении подчеркивается, что XIX в. являлся не только «эпохой национализма», но и «эпохой империй», причем проекты нациестроительства в метрополии были направлены на сохранение и дальнейшее расширение той или иной империи, а не на трансформацию ее в национальное государство[223]. В центре внимания авторов – тесное переплетение «нации» и «империи» в крупных европейских государствах, что позволяет им использовать термин «имперская нация» применительно к национальной политике во всех ее многочисленных проявлениях.

С. Бергер и А. Миллер выделяют несколько основных сфер, в которых имперское неразрывно связано с национальным. Во-первых, это различные аспекты «управления пространством», которое включает в себя так называемую «воображаемую географию», миграции, развитие систем коммуникаций и городов (прежде всего столичных, исполняющих функцию национальной и имперской столицы одновременно). Во-вторых – культурная и лингвистическая консолидация на элитарном и низовом уровнях; большую роль здесь играют представления о «Другом» и идеи о цивилизаторской миссии. Третья сфера касается экономики (развития экономических связей между разными регионами империи), четвертая – политики, в том числе механизмов политического вовлечения населения, направленных на создание чувства причастности (речь идет в первую очередь о концепции гражданства и социальных правах). Чрезвычайно важны внешняя политика в целом и соперничество между империями в частности, пишут авторы[224]. Особое внимание во введении уделяется истории возникновения и сосуществования терминов «нация» и «империя» в Великобритании, Германии и России, что

[222] *Berger S., Miller A.* Introduction: Building nations in and with empires – a reassessment // Nationalizing empires / Ed. by Miller A., Berger S. Budapest, 2015. P. 2–3.
[223] Ibid. P. 3.
[224] Ibid. P. 5–6.

дает возможность подчеркнуть взаимопереплетение имперского и национального.

Материалы сборника позволяют С. Бергеру и А. Миллеру сделать ряд заключений. Во-первых, нации возникают внутри империй в ситуации межимперского соперничества; во-вторых, нациестроительство следует анализировать в имперском контексте, что справедливо как для сепаратистских национальных движений на периферии, так и для националистических проектов в метрополии. Наконец, именно нациестроительство в метрополии являлось на деле одним из основных инструментов усиления конкурентоспособности империй[225].

Нельзя сказать, что эти заключения безоговорочно принимаются историками. В комментариях специалистов по сравнительной истории империй, помещенных в том же сборнике, оспариваются многие из этих постулатов. В частности, Доминик Ливен, британский историк, один из первых зарубежных русистов начавший писать на эту тему, основывается в своих рассуждениях на противопоставлении империи и нации, несовместимых, по его мнению, во многих случаях[226]. В своей недавней книге он подробно рассмотрел путь России к революции, сосредоточив свое внимание на «мире империй», однако в своем понимании исторических процессов он не вышел за рамки теории модернизации и представлений о мироустройстве, бытовавших в годы холодной войны[227]. Он пишет, что в XIX – начале XX в. европейские государства и народы условно можно отнести к «первому миру» развитых стран и «второму», который составлял европейскую периферию, простиравшуюся от Ирландии до России. Причем «второй мир» не имел четких национальных границ, его главными характеристиками являлись экономическая и политическая отсталость и

[225] Ibid. P. 30.
[226] *Lieven D.* Empires and their core territories on the eve of 1914: A comment // Nationalizing empires / Ed. by Miller A., Berger S. Budapest, 2015. P. 647-660.
[227] *Idem.* The end of tsarist Russia. March to World War I and revolution. N.Y., 2015.

«запаздывание» модернизационных процессов. Для великих держав европейская периферия служила ареной соперничества и точкой приложения имперских цивилизаторских устремлений. Ливен подчеркивает колониальный характер притязаний на нее стран «первого мира», ответом на которые стал рост национализма – его Ливен считает «главной угрозой» империям, вызовом стабильности и всему миропорядку, что в 1914 г. и привело к глобальному конфликту. Характерно, что Россию он относит одновременно к категории великих держав, многонациональных империй и «второму миру».

Ливен рассматривает Россию и ее внешнюю политику в общемировом контексте, подчеркивая сходства и в устремлениях великих держав, и в идеологических течениях, и в экономических и социальных проблемах, стоявших перед воюющими странами. И все же главная причина падения империи – архаичность форм политического и социального устройства, характерных для стран второго мира, а в итоге – для империй, которые в эпоху национализма были обречены.

Трактовки Ливена принадлежат прошлому зарубежной русистики, однако тот колоссальный фундамент из литературы о национальном государстве и его кардинальном отличии от империи, который сложился за вторую половину XX в. (и который отвечает либеральным убеждениям многих историков-русистов), довлеет над специалистами. Им приходится апеллировать к дррим дисциплинам. Неслучайно во введении к сборнику «Империя и общность в контактных зонах Евразии» упоминается о новых веяниях в социологии, которые могли бы «легитимизировать» отказ от столь прямолинейного противопоставления (историки по-прежнему тяготеют к социологическим схемам, хотя далеко не все)[228].

[228] См.: *Kumar K.* Nation-states as empires, empires as nation-states: Two principles, one practice? // Theory and Society. 2010. Vol. 39, N 2. P. 119–143; специальный номер журнала “Thesis Eleven” за 2017 год, посвященный империям и национальным государствам.

Таким образом старая дихотомия сохраняется, и она приходит в противоречие с наработками современной историографии, которая уделяет большое внимание критике национального государства. Речь в ней идет о формировании в течение XIX в. и дальнейшем развитии модерного государства, в котором применялись практики «категоризации населения и стандартизации» с целью его дальнейшей «гомогенизации».

Такой подход получил развитие и в зарубежной русистике уже в начале нового тысячелетия[229]. В этих работах, которые ввели в русистику категорию модерности (современности), показано, что в основе проектов управления государством как в либеральной Европе, так и в царской/Советской России лежала идея трансформации общества на научных основаниях, зародившаяся еще в эпоху Просвещения и тесно связанная с категорией прогресса. В центре внимания историков-русистов, изучающих эту тему (первоначально они составляли «группу модерности», во главе со Стивеном Коткиным), находились политические практики надзора над населением и проблема вторжения государства современного типа в жизнь своих граждан (интервенционизм). Актуальным был образ «государства-садовода», властной рукой рассаживающего по грядкам народы и социальные группы и выбрасывающего на компост «вредные» сорняки, которые в итоге принесут земле пользу[230].

Исследования государства современного типа показали, что с разворачиванием процессов стандартизации и категоризации в конце XIX –

---

[229] Russian modernity: Politics, knowledge, practices / Ed. by Hoffmann D.L., Kotsonis Y. Basingstoke; N.Y., 2000; *Beer D.* Renovating Russia…; *Hoffmann D. L.* Cultivating the masses: Modern state practices and Soviet socialism, 1914-1939. Ithaca, 2011.

[230] Landscaping the human garden: Twentieth-century population management in a comparative framework / Ed. by Weiner A. Stanford, 2003. Все это, как известно, делалось во имя «прогресса» и получило дальнейшее развитие в 1930-1940-е годы. Уничтожающая критика «нарратива прогресса» была дана в книге антрополога Кейт Браун, которая проследила «путь модернизации» на Правобережной Украине. По нему следовали и большевики, и немецкие оккупанты, «рядившиеся в мантию цивилизации», намереваясь «улучшить» этот отсталый и дикий с их точки зрения край (*Brown K.* A biography of no place: From ethnic borderland to Soviet heartland. Cambridge, 2004).

начале XX в. возникли новые, более чем жесткие методы по обеспечению стабильности и единства государств, и оформление модерного понятия нации и ее непременного спутника – национального меньшинства – дало правительствам прекрасный инструмент для обеспечения порядка. Безусловно, большую роль в усилении градуса и масштаба насилия сыграла Первая мировая война и последующие революции. Тем не менее, именно классификация, в том числе по этническому признаку, и лежавшее в ее основе стремление к унификации оказались наиболее разрушительными для «имперского разнообразия».

Для исследований модерного государства, которые подчеркивают синхронность исторических процессов, основополагающее значение имеет общемировой интеллектуальнй контекст, который определяет формулирование политики. С этой точки зрения в империях XVIII в. так называемый «проект Просвещения» реализовался в форме «цивилизаторской миссии», а со второй половины XIX в. центральное место в этом дискурсе заняли преодоление отсталости и просвещение, причем не только неевропейских народов, но и отдельных групп населения в метрополии – прежде всего крестьянства. «Западноевропейский» по существу дискурс с его понятиями прогресса/отсталости определял общий вектор общественно-политической мысли и практической политики независимо от идеологии и государственных форм. При таком взгляде дихотомия «империя/нация» для периода конца XIX – начала XX в. теряет свое значение; вряд ли она продуктивна и при рассмотрении проблем «принадлежности» (belonging).

Изучение России как империи, а не национального государства, неизбежно влечет за собой расширение географического охвата исследований – при одновременной их фрагментации по отдельным регионам. Первоначально историки обратили свой взгляд на западные окраины, а также на Поволжье и Кавказ. Затем в круг их интересов вошла

Средняя Азия, активизировалось изучение Русской Америки, а в последние годы – и русско-китайского пограничья.

В развитии имперских исследований России большую роль сыграло введение в научный оборот географического термина «Евразия», которое было предложено в качестве «антипарадигмы» для изучения России как империи. Исследователи достаточно быстро оценили его эвристический и «освободительный» потенциал, позволяющий преодолеть ограничения времен «железного занавеса» и осознать проницаемость границ, увидеть культурное разнообразие контактных зон, обратить внимание на империи и диаспоры в противовес прежним национальным историям[231].

Взгляд на Россию как часть континента Евразии дал новый импульс для сравнений, обусловив интерес к истории возникновения так называемых «евразийских империй» эпохи позднего Средневековья и Раннего Нового времени. Одновременно он привлек внимание исследователей к контактным зонам между соседствующими друг с другом империями; довольно быстро на смену американской концепции фронтира в русистику пришло понятие «пограничья», или «окраин» (borderlands). В современной историографии он не исчерпывается географическими рамками, а включает в себя и культурные взаимодействия, мало связанные с политическими границами. Использование термина «пограничье» ассоциируется с транснациональным подходом, в отличие от концепции «фронтира», которую склонны упрекать в провинциальности.

Осмыслению феномена окраин посвящена фундаментальная монография одного из крупнейших американских историков-русистов Альфреда Рибера. В сравнительном ключе он рассмотрел историю пяти империй (Габсбургов, Российской, Османской, Сефевидской и Цинской) с момента образования до почти одновременного их распада в 1911-1923 гг.

---

[231] *Hagen M. von.* Empires, borderlands, and diasporas…

Отправной точкой исследования явилось утверждение, что почти все военные конфликты Нового времени разворачивались на периферии этих континентальных империй, где после гражданских войн и интервенций 1918-1920 гг. образовались новые государства. Автор представил историю Евразии как «борьбу за окраины», которая протекала на двух уровнях: «сверху, в ходе государственного строительства, и снизу – в виде реакции порабощенных народов», добивавшихся сохранения своей культуры и автономии «посредством сопротивления либо приспособления к имперскому правлению»[232]. Труд Рибера окончательно закрепил в историографии взгляд на окраины континентальных империй как «оспариваемое геополитическое пространство», где национальные границы представляли собой нечто размытое, проницаемое и подвижное, и ориентировал исследователей на выявление множественных и сложных взаимосвязей, как межгосударственных, так и межкультурных, и межэтнических.

Большой вклад в понимание истории Российской империи внесли история пространства (space history), занимающаяся его субъективным измерением (и отвергающая прежний географический детерминизм)[233], и транснациональная история, в центре внимания которой – «движение людей, товаров и идей через границы и материки». Предложенные ими подходы, сосредоточивающие внимание на «пересечениях» и культурных влияниях, на людской мобильности реализуются в изучении двух крупных регионов. Во-первых, тех зон, где Российская империя взаимодействовала с Османской (не обязательно граничив с нею): это Средняя Азия и Татарстан, Крым и Кавказ. Во-вторых, пограничья Российской и Габсбургской империй и Польши, -

[232] *Rieber A.* The struggle for the Eurasian borderlands: From the rise of Early Modern empires to the end of the First World War. Cambridge 2014. P. 1.

[233] Одна из первых работ *Bassin M.* Imperial visions: Nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East. 1840-1865. Cambridge, 1999; Russian empire: Space, people, power / Ed. by Burbank J., von Hagen M., Remnev A. Bloomington, 2007; Space, place, and power in modern Russia: Essays in the new spatial history / Ed. by Bassin M., Ely C., Stockdale M.K. DeKalb, 2010.

территорий, наиболее пострадавших во время Первой и Второй мировой войн[234]. При изучении этого региона пересекается водораздел 1917 г., и Советский Союз (пусть зачастую и имплицитно) рассматривается как империя. Тем не менее, «государство» не играет в этих исследованиях основополагающей роли, основное внимание уделяется людям, их субъективному опыту, их идеям и пристрастиям, наконец, формам их идентичности. Этническое, языковое и культурное разнообразие западного пограничья освещается в контексте столкновения империй.

Не следует забывать, что империи – это всегда завоевание и соперничество, и не только военное, но и дипломатическое (как «Большая игра» в Азии между Россией и Англией), и экономическое. К XIX в. Россия, по общему мнению, стала равноправной участницей «мира империй», которая «понимала себя и действовала – дипломатически, экономически, дискурсивно – в рамках глобального имперского миропорядка, основанного на имперской экспансии и конкуренции»[235]. Однако традиционный геополитический подход, заострявший внимание на империалистической конкуренции, претерпел существенные изменения с развитием глобальной и экологической истории. Во-первых, современная историография, высвечивая такие «романтические» аспекты империализма, как сопутствовавший ему дух приключений и открытий, идеи о завоевании природы и «торжестве европейской цивилизации над дикостью», включила в круг своих интересов и научные исследования. Русские экспедиции как инструмент имперской экспансии (в том числе и имперской власти/знания) начинают привлекать все

---

[234] Empire and belonging in the Eurasian borderlands. P. 2. То, что называли еще десять лет назад «западными окраинами империи», с легкой руки Тимоти Снайдера получило название «Bloodlands» или, в другой интерпретации, «зона надлома» (shatterzone of empires): *Snyder T.* Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York, 2010; Shatterzone of empires: Coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands / Ed. by Bartov O., Weitz E.D. Bloomington, 2013.

[235] *Bojanowska E.M.* A world of empires: The Russian voyage of the frigate «Pallada». Cambridge; L., 2018. P. 5-6.

большее внимание; от отечественной историографии эти работы отличает наличие «имперской» рефлексии. Во-вторых, расширилась география исследований, включив в себя морскую стихию.

За последние двадцать лет в мировой историографии утвердилось мнение, что моря и океаны вовсе не являются барьерами между нациями – скорее это территория взаимодействия, где происходит торговый и культурный обмен, движение населения между странами и континентами[236]. Море как объект исторического исследования обретает популярность в зарубежной русистике, и появляются монографии, в той или иной мере строящиеся вокруг «морской темы»[237].

Действительно, стремление к морю – один из тропов имперской истории, и не только российской. Однако долгое время в центре внимания зарубежных русистов находилась колонизация – освоение огромных пространств Евразии, и прежде всего Степи[238]. «Континентальный» характер Российской империи определял общий угол зрения и тематику исследований. Однако все чаще отмечается, что путешествие, скажем, из Москвы в Омск вряд ли было легче, чем на пароходе из Марселя в Тунис, так что не стоит проводить столь уж резких различий между континентальными и заморскими империями[239]. «Морское» измерение континентальной Российской империи свидетельствует о том, что прежняя классификация начинает утрачивать свой вес.

---

[236] *Leikin J.* Across the seven seas: Is Russian maritime history more than regional history? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2016. Vol. 17, N 3. P. 631-646.

[237] *Jones R.T.* Empire of extinction: Russians and the North Pacific's strange beasts of the sea, 1741-1867. Oxford, 2014; *Robarts A.* Migration and disease in the Black Sea region: Ottoman-Russian relations in the late eighteenth and early nineteenth centuries. L.; N.Y., 2016; *Sifneos E.* Imperial Odessa: Peoples, spaces, identities. Leiden; Boston, 2018; *Herlihy P.* Odessa recollected: The port and the people. Brighton, MA, 2018.

[238] *Khodarkovsky M.* Russia’s steppe frontier: The making of a colonial empire, 1500-1800. Bloomington, 2002; *Sunderland W.* Taming the wild field. Colonization and empire on the Russian steppe. Ithaca, 2004.

[239] *Campbell I.W.* Knowledge and the ends of empire: Kazak intermediaries and Russian rule on the Steppe, 1731-1917. Ithaca, 2017. P. 10.

Общая тенденция зарубежной историографии, которую можно было бы охарактеризовать как стремление к всё большей открытости, в исследованиях России как империи привела к изменениям в географическом фокусе исследований. В частности, если вначале превалировала склонность глубоко изучать отдельные регионы в их отношениях с «центром», то теперь они исследуются в контексте всей империи и в их взаимосвязи с «заграницей». Большую роль тут сыграло понимание империи как процесса, незавершенной работы - work in progress. Империя постоянно строится, расширяя свои границы, как физические, так и ментальные.

Динамика того же свойства наблюдается и в зарубежной историографии России как империи, в которой происходит постоянное расширение тематики. Первоначально основополагающую роль в исследованиях играла историографическая традиция – центральное место в них занимало государство и его институты, с опорой на такие источники, как делопроизводственная документация и материалы прессы. Несмотря на обостренное внимание к мировоззрению и психологии бюрократии, концентрация на политике, понимавшейся достаточно традиционно, не позволяла отойти от преженей системы координат. Столь актуальная в годы холодной войны дихотомия «Россия / Запад» зачастую просто выносилась за скобки. Эмпирические по сути исследования были склонны подчеркивать «особость» России, не отрицая, однако же, близости ее к Европе. Чаще всего речь шла о двойственности положения России, поскольку и история, и география не позволяют ей «стряхнуть» восточные элементы своей идентичности.

Такую позицию разделяют и некоторые исследователи, которые обращаются к интеллектуальной истории представлений об Азии, и вообще о «Востоке». Такова книга Д. Схиммельпенинка ван дер Ое, в которой он, отталкиваясь от идей Э.Саида, исследовал и востоковедение, и обыденные

образы Азии в русском воображении[240]. Автор твердо стоит на поче «двойственности положения России на двух континентах», однако его книга сохраняет свою ценность прежде всего благодаря богатству собранного материала. В книге британской исследовательницы русского происхождения Веры Тольц, посвященной истории российского и советского востоковедения, указывается на существование некоего культурного и политического пространства, где отсутствовала разграничительная линия между «Востоком» и «Западом»[241].

Ареной для применения постмодернистского подхода с использованием концепции ориентализма стали литературоведческие исследования, которые, однако, дают и картину завоевания, и его осмысление. В них присутствует и категория гендера, без которого немыслима теория Э.Саида[242]. Их не так много, но они значительно обгатили историографию. Одним из первых было исследование С.Лейтон, в котором рассматриваются репрезентации Кавказа не только в произведениях классиков, от раннего Пушкина до позднего Толстого, но и во второстепенной литературе и травелогах. Лейтон отводит Кавказу роль значимого Другого, необходимого и полезного в формировании русской «самости». По ее мнению, завоевание создало литературный Кавказ, в котором присутствовали образы «благородных дикарей», и прослеживает историю «литературного производства и потребления» Кавказа как «Востока». В соответствии с колониальной перспективой Лейтон рассматривает и феминизацию, даже эротизацию территории Кавказа, что особенно заметно в изображении Грузии как чрезмерно чувствительной восточной женщины. Это позволяло России и русским ощутить свое

---

[240] *Schimmelpenink van der Oye D.* Russian orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great to the emigration. New Haven, 2010.

[241] *Tolz V.* Russia's own Orient: The politics of identity and Oriental studies in the late imperial and early Soviet periods. Oxford, 2004

[242] *Layton S.* Russian literature and empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. N.Y., 1994; *Ram H.* The imperial sublime: A Russian poetics of empire. Madison, 2003; *Bojanowska E.M.* A world of empires…

«европейское» превосходство над «Азией». При этом автор отмечает и меньшую по сравнению с европейскими колниальными державами склонность России к насилию по отношению к Востоку.

Это мнение получило широкое распространение в зарубежной русистике после холодной войны. Со временем, по мере накопления исследований, «радужная» картина имперской толерантности, призванная опровергнуть прежние трактовки в русле «тюрьмы народов», во-первых, становится более нюансированной. Во-вторых, историки всё меньше склонны подчеркивать уникальность российского империализма, пусть и позитивную (в отличие пресловутой «российской самобытности» времен холодной войны).

Насилие как интегральная часть всякого империализма изучается на материале как восточных, так и западных окраин России, хотя пока не стало предметом специального монографического исследования[243]. Это одна из недавних тенденций изучения России как империи, она набирает обороты в условиях заметного «полевения» мировой историографии, когда происходит «возвращение к истокам» - к социальной истории низов и угнетенных групп. В современной ситуации следует ожидать усиления внимания к гендерной составляющей, которая представляет собой одну из лакун в изучении России как империи, притом, что гендерная иерархия лежит в основе концепции ориентализма. Здесь имеются большие перспективы, особенно когда речь идет об «отсталых» восточных регионах.

Совершенно очевидно, что за эти годы зарубежная историография Российской империи достигла серьезной степени зрелости. Тематика и проблематика ее обширны, в ней используются разные аспекты имперской парадигмы, хотя и далеко не в полной мере. Характерной особенностью, отличающей её от «имперской истории» других регионов мира, является

[243] См.: *Campbell I.W.* Bloody belonging: Writing Transcaspia into the Russian empire // Empire and belonging in the Eurasian borderlands / Ed. by Goff K.A. and Siegelbaum L. H. Ithaca, 2019. P. 35-47; *Payne M. J.* “Do you want me to exterminate all of them or just the ones who oppose us?”: The 1916 Revolt in Semirech′e // Ibid. P. 65-79.

сохранение интереса к истории институтов, которая была исключительно востребована в эпоху господства теории модернизации. Тем не менее, всё реже на страницах исторических трудов встречается термин «модернизирующаяся империя». Скорее исследуются различные практики и инструменты империостроительства, касающиеся как «воображаемой географии» («присвоения пространства»), так и культурно-лингвистической консолидации населения.

Среди новых и перспективных направлений следует отметить изучение проблематики, которая группируется под весьма широким «зонтиком» экоистории. Это в первую очередь история естественных наук (включая медицину), которые служили освоению пространства и естественных богатств Российской империи[244]. Несомненно, большим потенциалом обладает «человеческое измерение» истории России как империи и «человека имперского»[245]. Биографические исследования дают представление о “homo inperii”, побуждая к дальнейшей рефлексии по поводу имперского характера России.

[244] *Lynteris Chr.* Ethnographic plague: Configuring disease on the Chinese-Russian frontier. L., 2016; Eurasian environments. Nature and ecology in imperial Russian and Soviet history / Ed. by Breyfogle N. B. Pittsburgh, 2018; Science and empire in Eastern Europe: Imperial Russia and the Habsburg monarchy in the 19th century / Ed. by Arend J. 2020.

[245] Russia's people of empire: Life stories from Eurasia, 1500 to the present / Ed. by Norris S.M., Sunderland W. Bloomington, 2012.; *Wcislo F.* Tales of imperial Russia. The life and times of Sergei Witte, 1849-1915. N.Y., 2011; *Sunderland W.* The Baron’s cloak. A history of the Russian Empire in war and revolution. Ithaca, 2014; *Akiyama T.* The Qrghz Baatïr and the Russian empire: A portrait of a local intermediary in Russian Central Asia. Leiden, 2021.

6.2. Проблема управления империей и ее интерпретации в зарубежных исследованиях[246]

Историческое существование Российской империи уже давно не отсчитывается с царствования Петра I и охватывает, согласно ряду современных работ, период с середины XV в. до 1917 г.[247] Однако чаще всего датой рождения Российской империи считают взятие Казани Иваном

[246] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Российская империя: Система управления. (Современная зарубежная историография). Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. М., 2003; *Большакова О.В.* Новая политическая история России: Современная зарубежная историография: науч.-аналит. Обзор / РАН. ИНИОН. М., 2006; *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М., 2008; *Большакова О.В.* О новой концепции истории России в современной американской историографии // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2009-2010 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2012. С.42-70; *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны: Монография. М.: ИНИОН РАН, 2013; *Большакова О.В.* «Имперский поворот» в американской русистике // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2013-2014 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2015. С. 140-161; *Большакова О.В.* Конфессиональная политика Российской империи: англоязычная историография. (Аналитический обзор) // Религия и церковь в истории России: Современная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. М., 2016. С. 72-108; *Большакова О.В.* Религиозная проблематика в современной историографии России // Религия и церковь в истории России: Современная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. М., 2016. С. 5-22; *Большакова О.В.* Закон и порядок в дореволюционной России: новые интерпретации американских историков // Российская история. 2016. № 6. С. 162-174; *Большакова О.В.* Российская империя в современных исследованиях: Евразийская парадигма // ИАЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История. 2018. S1. С. 79-97; *Большакова О.В.* Россия как империя: Современный взгляд // Имперский поворот в изучении истории России: Современная историография: Сб. обзоров и реф. / РАН. ИНИОН. М., 2019. С. 5-18; *Большакова О.В.* Империя, нация и концепт модерного государства. (Размышления о книге «Империя и общность в контактных зонах Евразии») // ИАЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История. № 4. 2021. С. 7-26; *Большакова О.В.* Россия как многонациональная империя: Итоги и перспективы изучения // Российская история. 2021. №.4. С. 163-177.

[247] Советский Союз далеко не все считают империей, хотя такой позиции придерживается журнал «Ab imperio» и целый ряд исследователей. В конечном итоге главный аргумент в пользу того, что СССР являлся империей, заключается в насильственном (и в данном случае «антидемократическом») характере политической власти. В то же время большинство из тех, кто придерживается «имперских» трактовок СССР, считают империей и современные США.

Грозным. Расширение хронологии позволяет посмотреть на историю Российской империи в контексте общей истории Евразии. Опираясь на наследие Чингисхана, Османская, Сефевидская, Могольская и Цинская империи вырабатывали сходные стратегии управления и типичную имперскую идеологию[248].

Россия в рамках такого, очень влиятельного в русистике сравнительно-исторического подхода, интерпретируется как одна из типичных евразийских империй Раннего Нового времени, усиление которых происходило в течение XV-XVIII вв. по мере развития коммуникаций, формирования бюрократии и усовершенствования армии. Большой вес в изучении «евразийского прошлого» России получила концепция «империи различий», согласно которой политика «дифференциации» по отношению к различным группам населения (в России, например, балтийские немцы и сибирские охотники требовали разных к себе подходов) обеспечивала стабильность и целостность империи[249].

Проводятся сравнения и другого рода. В частности, процесс вхождения Казанского царства в Московию М. Романиелло рассматривает в сравнительном контексте европейского государственного строительства, и Московское государство выступает в данном случае как один из вариантов европейских монархий эпохи Раннего Нового времени. С другими европейскими государствами XVI-XVII вв. Московию сближали такие черты государственного строительства и управления, как достаточно свободная конгломерация земель и населения, большие региональные отличия, разнообразие и параллелизм связей между центром и окраинами[250]. При этом

---

[248] *Kollmann N. Sh.* The Russian empire, 1450-1801. N.Y., 2017. P. 2. Коллманн посвятила книгу Э.Кинану, который учил ее видеть историю России в евразийском, имперском контексте. Участие в семинаре «Империи Евразии» в Стэнфордском университете лишь укрепило ее точку зрения.

[249] *Burbank J., Cooper F.* Empires in world history…

[250] *Romaniello M. P.* The elusive empire: Kazan and the creation of Russia, 1552–1671. Madison, 2012. P. 9.

не отрицается ни монгольское, ни византийское политическое и культурное наследие.

Для исследований раннего периода строительства империи характерно внимание к политике и риторике завоеваний, причем интерпретируются они достаточно нейтрально: «российский экспансионизм» считается одной из сущностных характеристик эпохи как в Европе, так и в Евразии в целом. Так, М.Романиелло утверждает, что в первые 100 лет империя существовала в большей степени как «риторический прием», чем как слаженный аппарат управления. Риторика «завоевания и победы» дала Москве необходимый запас времени, чтобы упрочить свое господство. В других работах прослеживается эволюция риторических обоснований экспансии: актуальным «лозунгом» в ранний период была «победа над исламом», в XVIII в. высшей целью стало достижение статуса великой державы на международной арене, хотя никогда не исчезало из имперского арсенала и «возвращение исконных земель»[251].

Инструментами централизации в Российской империи раннего Нового времени в Европе и Евразии наряду с органами управления территорией являлись новые кодексы законов и система судоустройства. Н.Коллманн называет их «мускулами власти», которые наращивали империи, и Московское царство сумело использовать их исключительно эффективно[252]. Ее подход существенно отличается от традиционных констатаций «отсутствовавших» в России институций и серьезных юридических традиций. Как раз в этом «отсутствии» она видит залог успеха Московии, сумевшей несмотря на труднейшие географические условия, нехватку материальных и людских ресурсов создать централизованную империю.

Вслед за Джейн Бербанк автор констатирует, что в России Раннего Нового времени формировалась типичная для многонациональных империй

[251] *Romaniello M. P.* Op.cit. P. 18; *Kollmann N. Sh.* The Russian empire... P. 6.
[252] *Kollmann N. Sh.* Crime and punishment in Early Modern Russia. Cambridge, 2012.

«политика дифференциации», сохраняющая за местными элитами достаточно большую свободу и оставляющая за центральной властью, прежде всего за государем, право решения ключевых вопросов – сбор налогов, контроль над вооруженными силами, отправление уголовного правосудия. Московским государям удалось установить контроль над элитой и создать сеть учреждений самого разного порядка и с разными функциями, не встретив сопротивления со стороны городов или отдельных регионов, как это было в странах Западной Европы. Государство могло с достаточной легкостью продвигать кодифицированные законы на территориях, где фактически отсутствовали традиции формального правосудия, оно беспрепятственно присвоило себе полномочия в области уголовных преступлений, оставив местным властям более мелкие правонарушения. В то же время Коллманн подчеркивает, что стремление к централизации и реальная централизация – вовсе не одно и то же, и возможности центра, стремившегося продвигать формальный писаный закон, неформальным образом ограничивались местной ситуацией. Как и повсюду в Европе, формализованные институты правосудия действовали в симбиозе с «гибкой практикой и народными концепциями права», так что при ближайшем рассмотрении «европейские «рациональные» государства выглядят менее рациональными, а … «самодержавие» Московии – менее самодержавным», – замечает Н. Коллманн[253].

Сравнивая судебные системы других стран (Англии, Франции, Польско-Литовского государства, Габсбургской и Османской империй) и России, автор выделяет не только общие черты, но и специфику. Согласно идеологическим установкам Московии, царь являлся для своего народа «благочестивым пастырем и ветхозаветным судьей», который защищает невинных и карает нечестивцев. Как показали и другие авторы, служение

[253] *Kollmann N. Sh.* Crime and punishment… P. 5.

Богу, соблюдение заповедей, благочестие и милость правителя находились в центре как символической, так и реальной политики Московии. Эта идеология накладывала существеные ограничения на прерогативы царя, который должен был в своих действиях отвечать перед Богом и людьми[254].

Общие направления политики империи по установлению контроля над территориями посредством институтов, предназначенных для сбора налогов, отправления правосудия, защиты от внешних врагов были сходными на разных территориях. Создавались вертикальные связи между центром, местными элитами и населением, причем с разными народностями и сообществами заключались «сепаратные сделки», касавшиеся объема налогов и воинских повинностей, форм местного управления и прав. Для поддержания стабильности от правящей династии требовалась гибкость, что подразумевало постоянный пересмотр условий, на которых та или иная группа существовала в рамках империи. Однако конкретные воплощения этих стратегий сильно различались между собой на разных территориях.

Исследователи отмечают «отсутствие системы и последовательности» в многообразной по своему характеру экспансии Москвы[255]. В условиях недостаточности людских ресурсов речь шла скорее о прагматизме: там, где социальная структура была более схожей с московской, цари даровали населению права и привилегии фактически те же, что и в метрополии. К востоку от Казани Москва, как и ее тогдашние соперники Османская империя и империя Цин, предпочитала принять «политическую, социальную и культурную экологию Степи» и была толерантна в религиозном отношении. Те же стратегии «встраивания» центра в местные модели управления применялись и в отношении «инородцев» Сибири, при этом государство не слишком вторгалось в их жизнь, и дань первое время не была

[254] The new Muscovite cultural history / Ed. by Kivelson V. et al. Bloomington: Slavica publisher, 2009.
[255] *Steinwedel Ch.* Threads of empire: Loyalty and tsarist authority in Bashkiria, 1552-1917. Bloomington, 2016. P. 19.

слишком тягостной. Отмечается и отсутствие в Московии «идеологии крестового похода» (crusading ideology), что отличало православие от католического Запада[256].

По отношению к ряду народностей и социальных групп применялись стратегии управления, направленные на защиту рубежей строящейся империи. Московские государи старались привлечь на свою сторону, например, донских казаков и башкир, однако Запорожская Сечь пользовалась куда большими привилегиями, поскольку соперничество с западными соседями было острее. Исследователи обращают внимание на роль казачества в строительстве обширной – от причерноморских степей до Сибири – империи. Казаки выступали не только завоевателями и колонизаторами, но и посланниками царя, что давало им определенный авторитет в освоении новых земель и развитии торговли. В исследованиях прослеживается, как под влиянием государства и контактов с местным населением происходило изменение идентичности этой мультиэтничной социальной группы[257].

В огромном удалении от Москвы власть царя поддерживалась символическими средствами, поэтому репрезентации и тексты, включая «ментальные карты», находятся в центре внимания исследователей. Ключевым инструментом в поддержании целостности империи являлась идеология, которой также уделяется достаточно много внимания. Как правило, говорится о своего рода «наднациональной» идеологии, ассоциирующейся с православием, об описании правящей династии как героической, харизматичной, способной защитить страну от врагов, а своих

[256] *Steinwedel Ch.* Op.cit. P.41; *Kivelson V.* Cartographies of stardom: The land and its meanings in seventeenth-century Russia. Ithaca, 2006.
[257] *Boeck B.J.* Imperial boundaries: Cossack communities and empire-building in the age of Peter the Great. 2007; *Barrett T.M.* At the edge of empire: The Terek Cossacks and the North Caucasus frontier, 1700-1860. Boulder, 1999; *Witzenrath Chr.* Cossacks and the Russian Empire, 1598-1725: Manipulation, rebellion and expansion into Siberia. L.; N.Y., 2007.

подданных – от несправедливости. «Правосудие и милость» – атрибуты правителя в евразийской традиции[258].

По мере включения Российской империи в европейский мир европеизируется и ее идеология[259]. К концу XVIII в., когда была установлена власть над Сибирью, началось продвижение на Дальний Восток и Аляску, отвоевана у Османской империи часть черноморского побережья и произошли разделы Польши, складывается образ империи, несущей «свет цивилизации» другим народам. Важной характеристикой ее величия, наряду с военной мощью, становится разнообразие населявших ее народов, природы и богатств подвластной территории. Подчеркивая отличия России, исследователи отмечают, что российский проект цивилизаторской миссии был типичным для европейских империй того периода, но при этом не принижал другие народы, он был «интегративным, а не иерархичным»[260].

Вхождение в состав Российской империи обширных регионов Средней Азии и Казахстана в XVIII-XIX вв. происходило уже в европейском, а не евразийском культурно-идеологическом контексте. Была ли это аннексия или добровольное присоединение, каждый исследователь решает сам, но чаще всего учитывается, что те или иные государственные и протогосударственные образования, зажатые между более сильными соседями, выбирали Россию как «меньшее зло».

С конца XVIII в. получает свое развитие еще одна стратегия управления: сбор информации, которую русским администраторам предоставляли участники экспедиций, чиновники, военные и местное население. В Казахской степи он начался сразу после вхождения Малой и Средней орды в

---

[258] *Kollmann N. Sh.* The Russian empire... P. 3-4.

[259] Имперская идеология XVIII в. исследуется достаточно активно, в том числе и нашими соотечественницами: *Maiorova O.* From the shadow of empire: Defining the Russian nation through cultural mythology, 1855-1870. Madison, 2010; *Proskurina V.* Creating the empress: Politics and poetry in the age of Catherine II. Brighton, 2011.

[260] *Kollmann N. Sh.* The Russian empire… P. 451.

состав России, однако массовым стал после учреждения в 1845 г. Русского Географического общества, при этом большой вклад в него вносили «казахские посредники»[261]. В книге Й.Кэмпбелла подчеркивается, что вопреки мнению Э.Саида, в колониальном контексте знание производится в сотрудничестве с местными акторами. Кроме того, указывается, что знание о стране не исчерпывается востоковедными штудиями, и администраторы зачастую используют идеи ученых в совершенно ином ключе, так что связь между наукой и политикой редко бывает прямой. Опора на популярную сегодня концепцию власти/знания дает полезные результаты, отсылая, однако, к управленческим практикам модерного государства, которые трудно назвать «имперскими» - к статистике как инструменту категоризации и гомогенизации населения.

В то же время именно изучение азиатских регионов Российской империи позволяет применить постколониальный анализ в практически чистом виде. Тем более что во второй половине XIX в., с завоеванием Средней Азии, Россия встает в один ряд с такими колониальными державами, как Англия и Франция; изменяется и ее самоощущение. С точки зрения исследователей, это подтверждается и практиками управления, и лежащей в их основе цивилизаторской риторикой[262]. Сам «научный» дискурс того времени был европейским по существу и отсылал к современному, модерному колониальному строительству, с характерным для него стремлением «возвысить» отсталые окраины. С этой точки зрения в Европе и в России обсуждались приемы, которые могли бы приучить кочевнические народы к оседлому образу жизни, ассоциировавшемуся с новой ступенью развития и с «цивилизацией». История освоения и реформирования

[261] *Campbell I. W.* Knowledge and the ends of empire. P. 11.
[262] *Sahadeo J.* Russian colonial society in Tashkent, 1865-1923. Bloomington, 2007; *Northrop D.* Veiled empire: Gender and power in Stalinist Central Asia. Ithaca, 2004; *Khalid A.* Central Asia: A new history from the imperial conquests to the present. Princeton, 2021; *Keller Sh.* Russia and Central Asia: Coexistence, conquest, convergence. Toronto, 2020.

азиатских окраин, управление которыми прямо или опосредованно сравнивается с Британской Индией, анализируется в колониальном контексте[263]. Все большее внимание привлекают проекты по обустройству и экономическому развитию этих территорий: в них обнаруживается отчётливая преемственность между дореволюционным и советским периодами[264].

Внимание исследователей привлекает и самая отдалённая, «настоящая» колония России – Аляска. Несмотря на то, что она недолго находилась в составе империи, «российский след» в культуре местного населения просматривается там до сих пор. Это крайне интересный «полигон» для исследований колониальных практик Российской империи, позволяющий поставить ряд вопросов – прежде всего об «управлении по-русски» и его эффективности[265].

Управление империей – самая актуальная и востребованная тема в зарубежной историографии, и по своему предмету она ближе всего к историографии отечественной. Подавляющее большинство исследований посвящены внутренней политике по отношению к нерусским подданным, направленной на поддержание социальной стабильности и обеспечение их лояльности.

Характеризуя историю колонизации и освоения окраин России, зарубежные историки изначально указывали на ее отличие от европейских «морских» империй, где колонии находились на большом удалении от

---

[263] *Brower D.* Turkestan and the fate of the Russian empire. N.Y., 2003; *Morrison A.S.* Russian rule in Samarkand, 1868–1910: A comparison with British India. Oxford, 2008.

[264] *Obertreis J.* Imperial desert dreams: Cotton growing and irrigation in Central Asia, 1860–1991. Gottingen, 2017; *Peterson M. K.* Pipe dreams: Water and empire in Central Asia's Aral Sea basin. Cambridge, 2019.

[265] *Luehrmann S.* Alutiiq villages under Russian and U.S. rule. Fairbanks, 2008; *Miller G.A.* Kodiak Kreol: Communities of empire in early Russian America. Ithaca, 2010; *Vinkovetsky I.* Russian America: An overseas colony of a continental empire, 1804-1867. Oxford; N.Y., 2011; *Owens K.N., Petrov A.Yu.* Empire maker: Aleksandr Baranov and Russian colonial expansion into Alaska and Northern California. Seattle, 2015.

метрополии. В России (так же, как и в континентальных Османской и Габсбургской империях) колонизаторы и колонизуемые находились на одной государственной территории, и при этом при освоении окраин речь шла фактически о мерах по сохранению целостности страны. Эти обстоятельства обусловили нерасторжимое единство имперской колониальной и внутренней политики и поднимали вопрос о внутренней колонизации – т.е. об отношении государства к подчиненным (субалтерновым) социальным группам (прежде всего к крестьянству) как к объектам колониального управления[266]. Тем не менее, в России дело обстояло сложнее: «колонизуемые» русские крестьяне на азиатских окраинах выступали полноценными колонизаторами, о чем свидетельствует целый ряд исследований[267].

Не акцентируя внимание на репрессивном характере имперского правления (но безусловно учитывая его), историки сосредоточиваются на политике русификации и неразрывно связанной с ней христианизации. Избранный ракурс позволяет, с одной стороны, рассмотреть историю формирования русской имперской идентичности, с другой – обратиться к проектам культурной ассимиляции.

Национальная политика в данном случае трудно отделима от религиозной. Следует согласиться с аргументами американца П. Верта, что использование национальности в качестве аналитической категории является неисторичным, так как в царской России вплоть до начала XX в. основополагающую роль в классификации населения играло вероисповедание, и управление империей зиждилось на религиозных институциях и понятиях. По его мнению, речь может идти исключительно о конфессиональной политике. В то же время он не отрицает, что национализм

---

[266] См.: *Эткинд А.* Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М., 2013; *Sabol S.* «The touch of civilization»: Comparing American and Russian internal colonization. Boulder, 2017.

[267] См., в частности: Peopling the Russian periphery: Borderland colonization in Eurasian history / Ed.by Breyfogle N., Schrader A., Sunderland W. N.Y., 2007.

как идея обретал в пореформенный период все больший вес и оказывал свое воздействие на политику самодержавия, особенно в начале XX в.[268]. Он солидарен с концепцией России как «конфессионального государства», выдвинутой Р. Крузом[269].

Концепция Круза получила большой резонанс среди специалистов по религиозной проблематике. Суть ее кратко можно изложить следующим образом: путем организации разветвленной системы религиозных институтов, которая в 1832 г. увенчалась созданием Департамента духовных дел иностранных исповеданий, государство превратило религиозную власть в каждой общине в «инструмент имперского управления». В компетенцию религиозных институтов входили образование, социальное обеспечение, правовые вопросы и судебные споры, наконец, заключение браков и соблюдение этических норм верующими. Все эти функции они осуществляли в тесном сотрудничестве с государством, которое официально, устами Екатерины II, объявило политику веротерпимости и следовало ей, по мнению Круза, почти неукоснительно. При этом режим постоянно беспокоился о «чистоте веры» признаваемых им конфессий и во внутренних конфликтах всегда становился на сторону «ортодоксии». Это свидетельствовало, с одной стороны, о глубоком проникновении государства в жизнь неправославных подданных, с другой – обеспечивало их лояльность, и даже преданность царю и империи. Таким образом, притом, что православие являлось столпом государственной идеологии, другие вероисповедания, утверждает Круз, стали теми кирпичиками, конструктивными элементами, из которых строилась империя[270].

Далеко не все приняли эту концепцию, раскритиковав представленную Крузом благостную картину взаимодействия всесильного государства и

[268] *Werth P.* The tsar's foreign faiths. P. 6-7.
[269] *Crews R.D.* For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia. Cambridge, 2006.
[270] Ibid. P. 83, 311.

простых верующих, которые извлекали из своего сотрудничества обоюдную пользу. Основное внимание в исследованиях все же обращается на процесс христианизации (и неразрывно связанной с ним русификации). Большинство исследователей отдают предпочтение термину «этноконфессиональная политика».

Наряду с мерами по обращению в православие историки сосредоточивают внимание на таких аспектах русификации, как образование и просвещение – с учетом того, что русская культура выступала в Российской империи (а позднее и в СССР) синонимом культуры европейской, усвоение которой по умолчанию считалось целью развития «отсталых» окраин. При этом немалое внимание уделяется и развитию востоковедных исследований на окраинах империи, и проектам модернизации, развиваемым представителями нерусских народностей, в частности – движению джадидов и хаскала[271].

Одной из первых серьезных публикаций по новой имперской истории явился сборник «О религии и империи», выпущенный в 2001 г. по итогам архивных изысканий 1990-х годов[272]. Среди его авторов как признанные ученые, так и дебютанты, некоторые из них издадут свои монографии значительно позднее. Основное место отведено миссионерской деятельности и проблемам обращения в христианство, уделяется внимание и вопросу веротерпимости.

В центре внимания авторов сборника находится не столько политика христианизации, сколько проблема идентичности как иноверцев, так и

---

[271] *Dowler W.* The classroom and empire: The politics of schooling Russia's Eastern nationalities, 1860-1917. Montreal, 2001; *Geraci R.P.* Window on the East: National and imperial identities in late tsarist Russia. Ithaca, 2001; *Khalid A.* The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1998; *Litvak O.* Conscription and the search for modern Russian Jewry. Bloomington, 2006; Schainker E.R. Confessions of the shtetl: converts from Judaism in imperial Russia, 1817–1906. Stanford, 2017.

[272] Of religion and empire: Missions, conversion, and tolerance in tsarist Russia / Ed. by Geraci R.P., Khodarkovsky M. Ithaca, 2001.

православных. Вопрос о том, как конфессиональное и этническое разнообразие империи влияло на формирование русской и православной идентичности, станет в последующие годы ключевым для исследователей. Важным следует признать и поставленный в сборнике вопрос о том, каким образом религия была включена в идеологию социальной интеграции[273].

Во введении дается характеристика прозелитизма на окраинах империи как одной из составляющих государственной политики по освоению новых территорий. Исследователи давно и единодушно отмечали чрезвычайно сильную вовлеченность российского государства в религиозные вопросы, отсюда, пишут авторы введения, и необычная насыщенность миссионерских посланий государственными идеологемами. Указывают они и на тот факт, что присутствие русских миссий за рубежом – в Святой Земле, Китае, Японии и Корее было весьма скромным по сравнению с другими империалистическими державами. Практика была такова, что на присоединяемых территориях миссионеры обычно следовали за военными и чиновниками, а вовсе не предшествовали им.

Характерной особенностью религиозной политики Российской империи являлось отсутствие какой-либо целостной программы, и те или иные меры по обращению разных групп населения в православие имели часто непредвиденные последствия. Существовала и явная несогласованность действий государства и Церкви, которая после учреждения в 1721 г. Святейшего Синода имела свою «сферу компетенции», куда предпочитали не вторгаться чиновники. Поскольку православие являлось официальной господствующей религией, государство выступало гарантом привилегированного положения Церкви, но ее прерогативы в отношении других вероисповеданий были достаточно ограниченными. От государства, его политического курса, законодательных инициатив, наконец, от

[273] Ibid. P. 2.

бюджетных ассигнований зависела и сама деятельность господствующей Церкви по поддержанию православной веры и распространению ее в империи и за пределами страны. Иногда государство могло воспротивиться миссионерской деятельности Церкви в каком-либо регионе по совершенно определенным политическим причинам[274].

В целом конфессиональная политика империи характеризуется как толерантная, хотя официальная толерантность и носила ограниченный по сравнению с современным пониманием этого термина характер. Веротерпимость как политика означала неприемлемость насильственного крещения (хотя на практике это было не всегда так) и преследований исповедания какой-либо признанной государством веры, однако переход из православия в другую конфессию был строго воспрещен[275].

Наиболее ревностно и государство, и сама Церковь относились к самым близким, православным ответвлениям, которые следовало возвратить в истинную веру. Материалы сборника свидетельствуют о довольно-таки малоуспешной деятельности профессиональных миссионеров по возвращению в лоно господствующей церкви членов многочисленных сект – иоаннитов, трезвенников, подгорновцев, имяславцев и др. По мере удаления от условного «центра» - православной церкви – религиозная политика демонстрировала всё большую индифферентность к духовным делам. Такое распределение соответствует и структуре миссионерства. «Внутренние миссии» были направлены против сектантства и старообрядчества, они имели первостепенное значение; «внешние» - против иных религий, «иностранные» занимались проповеднической деятельностью за рубежом, на них обращалось минимальное внимание.

Исследования сложнейшей проблемы этноконфессиональных отношений на территориях, приобретенных Российской империей в

[274] Ibid. P. 4-6.
[275] Ibid. P. 7-8.

результате разделов Речи Посполитой начались достаточно давно, однако нельзя сказать, что они активно развиваются. Первопроходцем в изучении Западных окраин являлся американец Т. Уикс. Уже в 1990-е годы он отметил ряд особенностей политики русификации, которая, по его мнению, началась не в царствование Александра III, а гораздо раньше – после подавления польского восстания 1863 г. В частности, отсутствие последовательной линии и склонность принимать ситуативные меры (ad hoc), руководствуясь сиюминутными нуждами. Позднее к изучению этих проблем присоединились и другие исследователи: М.Д. Долбилов и литовец Д.Сталюнас. Высоко оценило научное сообщество и монографию Барбары Скиннер, посвященной более раннему периоду XVIII в.[276]. Основное внимание в их работах уделяется практике имперского управления, и «конфессиональная инженерия» самодержавия (выражение М.Д.Долбилова) тесно увязывается с политикой русификации, стартовавшей в период Великих реформ. В конечном итоге исследования этих авторов больше говорят о национальной идентичности русских чиновников, нежели о тех, на кого была нацелена политика самодержавия. Отделить конфессиональную политику от национальной в данном случае не представляется возможным.

Историки отмечают, что в XIX – начале XX в. в среде церковных деятелей и бюрократии существовала довольно утопическая точка зрения, согласно которой конечной целью религиозной политики должно было стать обращение в православие всех без исключения подданных многонациональной империи. Однако она не могла занять преобладающего

[276] *Долбилов М.Д.* Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010; *Долбилов М., Сталюнас Д.* Обратная уния: Из истории отношений между католицизмом и православием в Российской империи, 1840-1873. Вильнюс, 2010; *Weeks T.* Nation and state in late imperial Russia: Nationalism and russification on the Western frontier, 1863-1914. DeKalb, 1996; *Staliūnas D.* Making Russians: Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam, 2007; *Skinner B.* The Western front of the Eastern church: Uniate and Orthodox conflict in 18th-century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia. DeKalb, 2009.

положения, поскольку планам прозелитов противостояли многочисленные препятствия в виде политических интересов, отсутствия должного авторитета русских властей в регионе, нехватки бюджета, дефицита кадров[277].

В частности, военные и дипломатические соображения вынуждали власти терпимо относиться к нехристианским религиям на южных окраинах империи, где религиозные меньшинства имели своих единоверцев по другую сторону границ с Персией, Османской империей и Китаем. Правительство не без оснований полагало, что прямые и решительные меры по обращению в православие в пограничных районах могут стать поводом для иностранной интервенции. Вот почему государство не прибегало к насильственным обращениям мусульман на Кавказе и выбирало совершенно различные стратегии в разных субрегионах[278].

Одной из «нетипичных» стратегий самодержавного правительства на Кавказе посвящена монография Николаса Брейфогла «Еретики и колонизаторы» о религиозных движениях духоборов, молокан и субботников. Автор пишет о парадоксальной ситуации, сложившейся с выселением членов этих сект из центра империи в Закавказье, начавшимся в царствование Николая I (Указ 1830 г.). Результатом этой чисто изоляционистской меры явилось то, что автор назвал «непреднамеренным колониализмом»[279]. «Еретики» превратились в образцовых «колонистов» недавно обретенных империей территорий и вплоть до конца XIX в. составляли там одну из главных опор имперской власти. Чиновники стали воспринимать их в первую очередь как русских (великороссов), как лояльных подданных, которые активно осваивали новые земли, демонстрируя недюжинные экономические успехи. Конфликт развернулся

[277] Of religion and empire… P. 338.
[278] *Mostashari F.* On religious frontier: Tsarist Russia and Islam in the Caucasus. L., 2006.
[279] *Breyfogle N.B.* Heretics and colonizers: Forging Russia's empire in the south Caucasus. Ithaca: Cornell univ. press, 2005. P. 19.

лишь в 1890-е годы, когда после введения в Закавказье воинской повинности наиболее радикальная часть духоборов проявила открытое сопротивление властям, вплоть до публичного уничтожения оружия, и в результате началась их эмиграция в Канаду.

История русских сектантов в Закавказье рассматривается Н. Брейфоглом во всем ее богатстве и многообразии, в ней исследуются такие важные для исторической русистики категории, как «нация», «империя», «русская идентичность», взаимоотношения центра и периферии в ходе национально-государственного строительства. Книга Брейфогла основывается на представлении о соотношении империи и национального государства как сменяющих друг друга в ходе исторической эволюции государственных форм. Этот эволюционистский взгляд в 2000-х годах господствовал в интерпретациях.

Наиболее релевантной такая позиция казалась исследователям Поволжья – региона, занимавшего двойственное положение в Российской империи, игравшего одновременно роль центра и периферии. Это были первые территориальные приобретения нарождающейся империи, населенные «инородцами» и «иноверцами», и только в конце XVIII в. Казанская и Оренбургская губернии административно стали частью Европейской России. Однако в культурном отношении Поволжье можно было считать периферией хотя бы потому, что это уже был «Восток» империи в самом прямом «ориенталистском» смысле этого слова – подавляющее большинство населения исповедовало ислам.

Все перечисленные обстоятельства делали Поволжье крайне интересным объектом исследования. Казалось, что на этом материале возможно рассмотреть актуальную тогда тему «конфликта между национальным государством и империей» (тезис, выдвинутый в свое время А. Каппелером). Конфессиональное измерение этого тезиса было

рассмотрено в двух вышедших почти одновременно монографиях американских историков Пола Верта и Роберта Джераси[280].

Обе монографии охватывают приблизительно один период, однако Джераси сосредоточен исключительно на Казанской губернии и ее столице, а Верт берет весь Волжско-Камский регион, который включал в себя помимо Казанской Симбирскую, Вятскую и часть Оренбургской губернии в границах 1850 г. Оба автора анализируют конфессиональную политику государства, но с разных точек зрения.

Верт основное внимание уделяет коллизиям, связанным с обращением в православие мусульман и язычников и с «отпадением» их от христианской веры. Джераси делает акцент на науке и образовании; религия выступает в его книге равноправной «институционально-культурной сферой» жизни Казани. В центре его внимания – чиновники, миссионеры, ученые, педагоги, общественные деятели и их представления о культурной интеграции народов империи. Указывая на большое разнообразие терминов, определявших возможные степени и виды культурной интеграции в России пореформенного периода («христианизация», «ассимиляция», «сближение», «слияние», «цивилизация» и «обрусение»), Джераси располагает взгляды современников по этому вопросу на некой условной шкале. На одном ее полюсе находится модель культурно однородной нации-государства, в котором в идеале должно произойти слияние (даже физически – путем смешанных браков) небольших народов с русскими. На противоположном – «мультикультурная империя», которая не пытается каким-либо образом воздействовать на идентичность подданных и даже оберегает ее. Большинство придерживалось, пишет Джераси, некой срединной позиции, однако он указывает на необходимость обращать внимание и на то, каким

[280] *Werth P.W.* At the margins of orthodoxy: Mission, governance, and confessional politics in Russia's Volga-Kama region, 1827-1905. Ithaca, 2002; *Geraci R.P.* Window on the East...

образом предполагалось достичь желаемой интеграции, в какие сроки, и в отношении каких народов[281].

Джераси довольно осторожно подходит к проблеме соотношения империи и национального государства, переводя ее в сферу дискурса. Он пишет, что правительство и представители элит осмысливали и описывали пореформенную Россию соответствующим образом, считая, что она находится в процессе становления однородного государства. Утверждения о естественности и даже неизбежности этого процесса звучали чаще всего, когда речь шла о восточной части империи. Главным аргументом здесь было «несомненное превосходство» русской, т.е. европейской, высокоразвитой культуры над культурой азиатских народов. Верт, напротив, склонен к решительным обобщениям, утверждая, что в царствование Николая I Россия двинулась по пути формирования национального государства (и этот переход так и не был завершен). Он заявляет, что в своем развитии Россия сильно напоминала Британскую и другие морские империи, поскольку ее восточная периферия не могла быть ассимилирована и представляла собой аналог колоний западноевропейских держав[282].

Тем не менее, более распространено мнение, что наступившая в николаевское царствование эпоха романтизма привела тому, что екатерининская политика «идеологии цивилизации» с ее сугубо инструментальным и практическим пониманием религии сменилась политикой, основанной на идеологии национализма, когда все большее значение начинает придаваться духовной стороне жизни подданных[283].

Собственно, и сам Верт позднее отошел от столь однозначного утверждения, да и материал книги не подтверждает этот тезис. Сильная сторона его первой монографии – микроисторический подход, а точнее,

---

[281] *Geraci R.P.* Op.cit. P. 20, 26.
[282] Ibid. P. 417; *Werth P.W.* At the margins… P. 7.
[283] Of religion and empire… P. 339.

«взгляд снизу», как его постулировала социальная история. Верт достаточно подробно останавливается на истории создания православных миссий в разных губерниях, на обстоятельствах и формах их организации и на их деятельности.

На примере множества конкретных случаев он рассмотрел многие аспекты обращения в православие – мотивацию, условия, правовые последствия – и то, как его практиковали миссионеры и местные чиновники, какова была позиция по этому вопросу высших органов государственной и церковной власти. В соответствии с законом, миссионеры и чиновники должны были крайне осторожно обращаться с новокрещеными и уважать религиозные права язычников, поэтому насильственные и тем более массовые обращения становятся редкостью в 1830-40-е годы. В оценке Верта, конфессиональная политика представляла собой «процесс переговоров и взаимодействий», в котором образ действий и мировоззрение местного населения, с одной стороны, и государственные институты, принятые практики управления и представления чиновников – с другой, оказывали взаимное влияние и формировали обе стороны[284]. Деятельность миссионеров включала в себя как «позитивные» мероприятия (периодические поездки по деревням, перевод религиозных текстов на местные языки, учреждение миссионерских школ), так и ограничительные меры (особенно для ислама), вплоть до уничтожения местных языческих святынь и насильственного крещения, хотя и в редких случаях.

Взятые в совокупности, монографии Джераси и Верта дают на редкость полное представление о состоянии миссионерства в регионе. Оба автора обращаются и к деятельности Н.И. Ильминского – востоковеда, способствовавшего развитию русских православных миссий. Ильминский явился основоположником нового подхода: он хотел внушить сознательную

[284] *Werth P.W.* At the margins… P. 4.

религиозность новокрещеным, чтобы остановить их отпадение от христианства, а не заниматься обращением мусульман. Ильминский основал или помог основать сотни школ, в которых преподавание велось местными учителями на родном языке. Под его руководством был осуществлен перевод Священного писания и православной богословской литературы на более десяти языков, многие из которых до этого не имели письменности[285].

Рассматривая роль школы в культурной ассимиляции этнически пестрого населения Казанской губернии, Джераси сопоставляет два соперничающих педагогических подхода: созданную Ильминским сеть религиозных школ для крещено-татарских детей и школы для мусульман, в которых углубленно изучался русский язык как основа для последующего обрусения. Метод Ильминского (давать образование нерусским народам на родном языке) сумел пройти все бюрократические препоны и рогатки в Синоде и Министерстве народного просвещения, чему способствовала личная поддержка К.П. Победоносцева. Более реалистичным и безопасным, чем обращение в христианскую веру, было признано обучение мусульман русскому языку и развитие светского образования, что привело бы к постепенным культурным изменениям и в конечном итоге – к добровольному переходу в православие. В обоих случаях правительственная политика являла собой пример временного компромисса, но никак не отказ от идеала – полного и окончательного обрусения нерусских народов[286].

Метод Ильминского и его деятельность рассматриваются в ряде монографий, затрагивающих образовательную политику самодержавия в других регионах, в том числе на Кавказе. Наиболее полное описание системы Ильминского содержится в работе Уэйна Доулера[287], посвященной истории

---

[285] *Geraci R.P.*Op.cit. P. 69-70.
[286] Ibid. P. 421.
[287] *Dowler W.* The classroom and empire…; *Jersild A.* Orientalism and empire: North Caucasus mountain peoples and the Georgian frontier, 1845-1917. Montreal, 2002; *Mostashari F.* On

школ для народов Востока Российской империи. С точки зрения фактической монография представляет несомненную ценность, однако в ней отсутствует та широта охвата, которая присуща работам Джераси и Верта, так же как и глубокий интерес к проблемам имперского управления и формирования идентичностей, характерный для зарубежной «новой истории империи» в целом. В принципе можно заключить, что этот сюжет был изучен на рубеже 1990-2000-х годов американскими русистами очень глубоко.

В оценке недавнего исследования, при всем своем реформистском духе, идеи Ильминского предлагали альтернативный «русский путь» в современность (модерность). Его мировоззрение было весьма консервативным, он любил народ и с подозрением относился к интеллигенции любой национальности. Ильминский, по отзывам современников, реализовал программу славянофилов, говоривших, что трансформация России должна начаться снизу, причем обновленному «народному» православию отводилась в этом процессе ключевая роль. Он желал бы вернуться в допетровское время, когда церковь не была подчинена государству, а последнее не покровительствовало столь не любимому им исламу[288].

Большое внимание уделено в зарубежной историографии изучению кряшен – крещеных татар, считающих себя сегодня особой нацией[289]. Этот сюжет неразрывно связан с исследованиями системы Ильминского и дает прекрасную возможность доказать, что русификация и христианизация не являются единым целым. В 2000-е годы эта тема изучалась с точки зрения

---

religious frontier…; Orientalism and empire in Russia / Ed. by David-Fox M., Holquist P., Martin M. Bloomington, 2006.

[288] *Campbell E.* The Muslim question and Russian imperial governance. Bloomington, 2015. P. 223-224.

[289] *Верт П.* Православие, инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия в Российской империи / Пер. с англ. М., 2012; *Нисияма К.* Принятие ислама крещеными татарами и православная церковь: этнокультурное противостояние на Среднем Поволжье в середине XIX в. // Новая волна в изучении этнополитической истории Волго-Уральского региона: Сб. статей. Хоккайдо, 2004. С. 200-224.

государственных чиновников и миссионеров, пытавшихся «укрепить» старо- и новокрещеных татар в православной вере. Совсем иначе подошла к истории кряшен Агнес Кефели в монографии «Стать мусульманином в императорской России»[290], с противоположной стороны исследовавшая причины их активного «отступничества». Она показала роль традиционного исламского образования, обеспечивавшего на самом низовом уровне устойчивость и притягательность мусульманской веры.

Во многом Кефели опиралась на работы А. Франка, и прежде всего на его микроисторическое исследование повседневной жизни мусульманской общины в Самарской губернии[291]. Это крайне подробное и фактически исчерпывающее описание местных институтов (прежде всего мечетей и примечетных школ), их социальных функций, способов финансирования, взаимодействия с местными простонародными верованиями, с другими народами и сословиями, с государственными чиновниками. Работа А.Франка явилась одной из первых в зарубежной русистике, написанной на восточных первоисточниках. Она предоставила серьезнейшую первооснову для дальнейшего изучения исламских институтов на более верхнем уровне – в уже упоминавшейся здесь книге Р.Круза.

Рассмотрение истории мусульманских институтов в Российской империи Круз начинает со времен Екатерины, которая, по его словам, сделала государство «покровителем ислама». За образец была взята система религиозного истеблишмента тогдашнего противника – Османской империи, однако в нее были внесены существенные коррективы, основанные на контактах со степью, где мусульманские священнослужители уже выступали в качестве посредников между русскими чиновниками и местным

---

[290] *Kefeli A.* Becoming Muslim in imperial Russia: Conversion, apostasy, and literacy. Ithaca, 2014.

[291] *Frank A. J.* Muslim religious institutions in imperial Russia: The Islamic world of Novouzensk district and the Kazakh Inner Horde, 1780-1910. Leiden, 2001; *idem.* Bukhara and the Muslims of Russia: Sufism, education, and the paradox of Islamic prestige. Leiden, 2012.

полиэтничным населением. Однако ведущую роль в организации первоосновы исламского истеблишмента в Поволжье сыграл протестант – генерал-губернатор барон О.А. Игельстром, прибывший из только что завоеванного Крыма. В учреждении школ, судебных учреждений, мечетей, организации базаров и караван-сараев он видел средство привести к оседлому образу жизни казахов и башкир, на что ему были выделены существенные суммы и большое количество свежеотпечатанных в Петербурге экземпляров Корана для раздачи кочевникам. В 1788 г. Екатерина учредила в Уфе высший орган управления исламом – «Духовное собрание Магометанского закона», которое стало промежуточной инстанцией между населением и русскими чиновниками, но при этом служило гарантом дисциплины и доктринального единства мусульманских общин[292].

Рассматривая мусульманские институты с утилитарных позиций (потребностей управления империей), Круз ищет и находит точки соприкосновения между православием и исламом на уровне религиозного символизма: в частности, молитвы «за государя императора и августейшую семью» резонировали с исламской традицией упоминания имени верховного правителя перед пятничной молитвой[293]. По утверждению Круза, система почти не встречала противодействий и покоилась на консенсусе, который обеспечивался активным участием мусульманского населения, постоянно апеллировавшего к новым властям и – через них – к царю.

Пожалуй, в своем стремлении отмежеваться от традиционной «конфликтной» историографии, которая сосредоточивала свое внимание исключительно на репрессиях и борьбе с ними, Круз зашел слишком далеко. Да и религия в семейных и имущественных спорах, на материал о которых он в основном опирается, играла далеко не ведущую роль даже в 1830-40-е

[292] *Crews R. D.* Op.cit. P. 51-54.
[293] Op.cit. P. 85.

годы. А позднее светская составляющая становится гораздо заметнее, в том числе и в политике государства.

В конце 1860-х годов происходит серьезное изменение в политике государства по отношению к казахской степи, которая перестает быть отдаленным пограничьем и активно заселяется колонистами. Кочевники, которые проживали между Поволжьем и Средней Азией, не считались «полноценными» мусульманами, что повлекло за собой активное внедрение институтов светского права вместо традиционного, основанного на религиозных нормах. Если в давно вошедших в империю мусульманских регионах государственные власти уважали шариат как «оплот» империи, то в отношении казахов начинает применяться та же репрессивная конфессиональная политика, которую проводили тогда англичане и французы по отношению к ряду мусульманских племен. Ислам перестал рассматриваться царским правительством в качестве инструмента цивилизации степных кочевников, его стали считать несовместимым с прогрессом. В казахской степи была поставлена другая задача: ассимиляция казахов, превращение их в русскоговорящих православных[294].

Завоевание Средней Азии в 1860-70-е годы уже открыто обосновывалось «цивилизаторской миссией» Российской империи, которая несет прогресс в варварские и отсталые земли. При этом ислам не воспринимался первым генерал-губернатором Туркестана фон Кауфманом как серьезная проблема – считалось, что со временем он «отомрет» сам собой. Именно поэтому Кауфман, как пишет Круз, «заблокировал прозелитизм» на вверенной ему территории и избрал политику «игнорирования ислама». Однако несмотря на свои громкие заявления, русские власти все же использовали исламские религиозные институты, хотя и не так активно, как в Поволжье, для успешного администрирования

[294] Op.cit. P. 239.

обширной и малонаселенной территории. Более того, Круз утверждает, что принятый в империи подход к исламу выступил катализатором религиозных изменений внутри самой конфессии[295].

В Туркестанском генерал-губернаторстве не стали создавать официальную исламскую иерархию, как в Поволжье, однако участие местных чиновников и полицейской власти в повседневной жизни общин, помощь в решении конфликтов, в том числе религиозных, серьезно способствовали укреплению имперской власти. Как считает Круз, своих союзников государство видело в джадидах, хотя бы потому, что те являлись противниками суфийских братств, которых оно так боялось в Чечне и которые активно действовали в Ферганской долине. В целом же, политика толерантности в Туркестане, пишет Круз, освободила Министерство финансов от затрат на устройство судебных учреждений и позволила отсрочить исполнение «цивилизаторского проекта», проблематичность которого подчеркивается в книге Круза тем фактом, что даже после 1905 г., когда мусульмане боролись за полноту своих гражданских прав, они не желали замены шариата светским гражданским кодексом[296].

Политика толерантности в Туркестане не была, однако же, столь однозначной, как ее изображает Круз. Ведь именно в пору зарождения и распространения идеи гражданственности резко изменяется отношение к исламу в русском обществе и во властных структурах государства, озабоченных проблемой панисламизма и пантюркизма. Более того, голоса противников «исламского фанатизма» всегда достаточно громко звучали и в годы Кавказской войны, и тем более в период завоевания Средней Азии. Однако Круз практически не дает им слова; почти не уделяет внимания он и движению джадидов – сторонников распространения светского знания, которое позволит мусульманам встать вровень с европейцами. Движению

[295] Op.cit. P. 245.
[296] Op.cit. P. 292, 348.

джадидов в Средней Азии посвящена монография А. Халида, которая считается основополагающей для изучения этой темы в зарубежной историографии, но эти «элитарные» сюжеты не интересуют Круза. Всё его внимание нацелено не на борьбу принадлежащих к верхушке общества реформаторов и традиционалистов, а на «простых людей», которых объединяет их единодушная поддержка монархии (видимо, по аналогии с «народной монархией» Александра III и Николая II).

Представленный в других монографиях англоязычных русистов материал позволяет говорить скорее об отсутствии целенаправленной конфессиональной политики государства в Средней Азии, если понимать под этим термином политику христианизации в ее традиционной форме. Частично это было обусловлено конкретными обстоятельствами, прежде всего взглядами генерал-губернатора фон Кауфмана, чье равнодушие к религии подтверждает и Д.Броуер. Правда, относит это равнодушие американский историк к «личным особенностям» немного эксцентричного фон Кауфмана. В то же время Броуер подчеркивает его «позитивизм» и приверженность научному знанию. Отсюда – авторитет этнографии, антропологии и статистики в среде колониального чиновничества, так же как и приоритетное положение медицины, агрономии и других естественных наук. Как отмечает Броуер, в колониальных планах Кауфмана «власть шла рука об руку с научной информацией»[297]. Империя в Туркестане строилась по современной ей западной модели, и основой для интеграции местного населения должна была стать светская культура, а в конечном итоге – окончательная русификация, понимаемая исключительно в гражданском смысле. Религии в этой стройной картине не находилось места, причем ни исламу (на крайне враждебное отношение к которому фон Кауфмана еще со времен Кавказской войны указывает А.Моррисон), ни православию. В том же

[297] *Brower D.* Turkestan and the fate of the Russian empire. P. 44.

ключе объясняет отсутствие интереса к православию у русской администрации в Средней Азии Дж. Сахадео, исследовавший становление Ташкента и его «колониального общества» в 1865-1923 гг.[298]. По его словам, Ташкент возводился в соответствии с представлениями о современном колониальном городе, и цивилизаторская миссия выступала тут не в православном, а в «неопределенно христианском» обличье: «русское» мыслилось здесь как «европейское».

Англоязычные историки сходятся во мнении, что фон Кауфман своей политикой «игнорирования ислама» задал некий вектор, который определял позицию властей по отношению к исламу в Туркестане достаточно долгое время. Однако специально эта проблема не изучалась, являясь по преимуществу составной частью более крупных исследований «колониального проекта» Российской империи в Средней Азии.

Ситуация с исламом в Туркестане описывается как достаточно сложная для русских властей. Политика «игнорирования ислама» в Туркестане, пишет Моррисон, выражалась, в частности, в том, что при общем признании мусульманского «фанатизма» власти не налагали серьезных ограничений на хадж, хотя и считали его крайне вредным по ряду причин[299]. Броуер пишет о политике по отношению к хаджу более подробно, и на первый план выходят практические императивы: временные ограничения в связи с эпидемией холеры в 1892 г., введение официальной паспортизации паломников для путешествия за границей[300].

Андижанское восстание 1898 г. поставило под вопрос политику «игнорирования ислама», в официальных кругах начались бурные дебаты, в которых столкнулись сторонники изоляции Туркестана и его скорейшего «сближения» на началах гражданственности. Первые были одержимы

---

[298] *Sahadeo J.* Russian colonial society...
[299] *Morrison A.S.* Russian rule in Samarkand… 2008. P. 65-66.
[300] *Brower D.* Turkestan… P. 114.

страхами перед мусульманской солидарностью и активизацией турок на окраинах империи. Для их противников императивом была европеизация, которую несли с собой железные дороги, телеграф, больницы и другие знаки цивилизации. Как показано в монографии Броуера, победу одержали вторые, которых поддержали Сипягин и Витте. По его словам, екатерининская политика веротерпимости всегда оставалась точкой отсчета для администрации Туркестана, и только в периоды мусульманских беспорядков раздавались голоса, требующие отказаться от этого принципа. Их серьезно выслушивали, но в итоге оставляли их требования без внимания[301]. В условиях военного управления в Туркестане с реформами можно было не спешить, и традиционная политика религиозной толерантности продолжила свое существование, причем принятие в 1905 г. закона о свободе совести почти ничего к ней не добавило.

Другое восстание, неизмеримо большее по своему масштабу, началось в Туркестане в 1916 г. из-за введения всеобщей воинской повинности. И хотя в нем присутствовал сильный исламский компонент, причины восстания лежали не столько в плоскости веры, сколько в совокупности экстремальных условий мировой войны, наложенных на крайне неудачную переселенческую политику. По мнению Броуера, это было начало конца: именно провал «колониального эксперимента» в Туркестане в итоге привел к распаду всей Российской империи.

А.Моррисон также крайне негативно оценивает результаты туркестанского «колониального эксперимента», по многим позициям сравнивая его с британским правлением в Индии. Большой интерес представляет его сопоставление отношения к исламу в двух империях. Он отмечает, что первоначально Ост-Индская компания отнюдь не поощряла прозелитизм, а точно так же, как позднее русские в Туркестане, фактически

[301] Op.cit. P. 125.

запрещала его на британской территории, причем по тем же причинам – из-за боязни восстановить против себя «фанатичное» население. Открытие Индии для британских миссионеров произошло под давлением метрополии. Прозелитизм активизируется в 1830-е годы, когда миссионеры все чаще начинают вступать в контакт с мусульманской элитой. Он отмечает, что враждебное отношение к исламу разделяли далеко не все, да и вражда эта считалась скорее делом домашним, внутренним, а отнюдь не «экзистенциальным противостоянием» двух цивилизаций[302].

Моррисон фиксирует довольно существенные различия во взглядах на ислам в России и Англии. Британцы, пишет он, видели в мусульманах потенциальных союзников в борьбе против значительно их превосходящего в количественном отношении индуистского населения. Их взгляды не были лишены романтизма – зачастую подчеркивался аристократизм древней мусульманской культуры. Более того, британцы ни в коей мере не ожидали, что ислам когда-либо исчезнет сам собой, а напротив, поощряли мусульманских реформаторов-интеллектуалов и слабо реагировали на усиление их контактов с Хиджазом и Константинополем. Русские же считали мусульман фанатиками, панически боялись мятежа, однако их страхи были необоснованны, поскольку улема в Туркестане в большинстве своем приняли русское правление и вслед за индийскими мусульманами начали называть колониальный режим «дар-аль-Ислам» (дом ислама)[303]. Хотя декларированной целью русских был подрыв ислама, они почти ничего не делали в этом направлении и обращались с мусульманскими элитами с большой осторожностью.

Другие исследователи также пишут о «параноидальных» страхах чиновников, подчеркивая, что панисламизм и пантюркизм являлись плодом воображения колонизаторов (как на Западе, так в России). Однако же это

[302] *Morrison A.S.* Op.cit. P. 82-84.
[303] Op.cit. P. 87.

обстоятельство ничуть не уменьшало степень влияния панисламизма, пусть и воображаемого, на российский политический дискурс. В целом же, хотя в большинстве зарубежных работ изучается государственная политика по отношению к мусульманам, либо же сами мусульманские общины в их взаимодействии с государством, всё больше внимания историки начинают уделять мировоззренческой составляющей. С этой точки зрения публикацию монографии Елены Кэмпбелл (Воробьёвой)[304], в которой исследуется так называемый «мусульманский вопрос» со времен его возникновения в период Крымской войны, его эволюция и влияние на государственную политику, следует признать давно назревшей. В центре авторского анализа находится само понятие, включавшее в себя целый комплекс идей, интересов и опасений относительно ислама, которые циркулировали в русском обществе и оказывали прямое и опосредованное воздействие на политику государства.

«Мусульманский вопрос» Кэмпбелл рассматривает как составную часть «инородческого вопроса» (из которых наиболее острым был «польский»), и более того – как часть общественных дебатов о путях развития России. Проблеме интеграции и просвещения мусульман в терминах сближеиия и просвещения противостоял вопрос о совместимости ислама с ценностями официально православного государства. По ее словам, «мусульманский вопрос» не мог быть «решен»: его противоречия раскрывают фундаментальную проблему – трансформировать «имперское, самодержавное православное государство, сохранив невредимыми его структуры»[305]. Основное внимание автор уделяет взглядам чиновников, что достаточно ценно для дальнейших исследований конфессиональной политики по отношению к мусульманам.

Среди исследований конфессиональной политики стоит выделить работы по Русской Америке – единственной «настоящей» колонии

[304] *Campbell E.* The Muslim question…
[305] Op.cit. P. 217, 223.

Российской империи. В теоретическом отношении существование Русской Америки подрывает устоявшееся представление о России как империи континентальной, обладающей в силу этого обстоятельства вполне конкретными характеристиками. Подчеркивая, что лежащие по другую сторону Берингова пролива владения так и назывались «русские колонии в Америке», И.Виньковецкий попытался написать политическую историю довольно краткого колониального правления и понять причины, побудившие имперское правительство расстаться с Аляской[306].

Книга сосредоточена прежде всего на политических, экономических и социальных структурах русского колониального правления, институциональную основу которых в период 1804-1867 гг. составляла Российско-американская компания (РАК). Уделяется большое внимание и проблемам взаимодействия с местным коренным населением, в особенности политике культурной интеграции, в связи с чем видное место в изложении занимает миссионерская деятельность Русской православной церкви.

О ранней истории русской колонизации Аляски в последнее время вышло еще несколько книг, совсем недавно – биография А.А. Баранова, написанная в соавторстве американским и российским историками. Наряду с традиционным вниманием к деятельности миссионеров, в них освещаются повседневные практики обращения в христианство, связанные чаще всего со смешанными браками и проблемой формирования креольской идентичности, в которой важное место начинает занимать православная составляющая. Исследователи единодушно отмечают взаимовлияние русских колонистов, которые сильно менялись под воздействием местных условий, и туземного населения, создававшего свою особую форму православия[307].

---

[306] *Vinkovetsky I.* Op.cit.

[307] *Kan S.* Memory eternal: Tlingit culture and Russian Orthodox Christianity through two centuries. Seattle, 1999; *Luehrmann S.* Alutiiq villages…; *Miller G. A.* Kodiak Kreol…; *Owens K.N., Petrov A.Yu.* Empire maker...

С конца 1840-х годов главным приоритетом и для Церкви, и для правительства, и для РАК стало строительство, а не обращение туземцев в православие. Построенные в течение нескольких лет в Ново-Архангельске здания консистории и духовной семинарии, собор Св. Михаила «служили видимым подтверждением» положения Церкви в колонии[308]. Помимо семинарии, были открыты церковные школы, все образовательные учреждения финансировались компанией. В результате христианизация Русской Америки шла более быстрыми темпами, чем в Восточной Сибири – другой части епархии, где население было куда значительнее.

Однако присоединение Амурской области в 1858 г. привело к тому, что миссионерские усилия православной церкви были перенаправлены из Америки в Евразию. Как пишет Виньковецкий, архиепископ Иннокентий сыграл немаловажную роль в этом предприятии генерал-губернатора Муравьева, всячески поддерживая его, а затем активизировав миссионерскую деятельность на Дальнем Востоке. Центр епархии был переведен из Якутска в Благовещенск, что сигнализировало о постепенной утрате интереса к американской колонии, которая и была в итоге в 1867 г. продана Америке. Русская церковь на Аляске осталась, однако положение ее круто изменилось: из инструмента колонизатора она превратилась в защитника коренного населения[309].

Большинство исследователей Русской Америки акцентируют позитивные взаимоотношения православной церкви с местным населением, подтверждение чему они усматривают в массовых обращениях, последовавших спустя значительное время после продажи территории Аляски США. Несмотря на краткое присутствие Церкви на Аляске, именно она оставила здесь самые заметные и долговременные следы. Пожалуй, «колониальный эксперимент» Российской империи в Северной Америке

[308] *Vinkovetsky I.* Op.cit. P. 175.
[309] Op.cit. P. 180.

(который Виньковецкий признает вполне удачным) наиболее успешным оказался в области «христианизации» и «русификации».

Продажа Аляски была во многом обусловлена геополитическими соображениями, они же, как показано в литературе, играли существенную роль в политике правительства по отношению к буддизму в Восточной Сибири. Буддизм начал распространяться среди бурятского населения уже после того, как русские установили свое владычество над регионом и заключили с Китаем в 1689 г. Нерчинский договор, определивший границу между двумя государствами. В отличие от бытовавшего на этой территории шаманизма, буддизм обладал «формальной теологией», иерархической структурой, включая духовенство и монастыри; наконец, буддизм являлся религией, не признающей границ, и ее исповедовали в близлежащих странах – соперниках России. Таким образом, как пишет американская исследовательница Х.Хандли, буддизм представлял собой серьезный вызов империи, особенно когда на сцену вышли британские интересы в Тибете. Проникновение и затем широкое распространение буддизма в Прибайкалье и Забайкалье в XVIII в. привели к тому, что прежняя политика государства в этих регионах, сводившаяся главным образом к сбору ясака, претерпела серьезные изменения, и главным образом в отношении бурят. С одной стороны, как отмечает Хандли, она обрела репрессивные черты, с другой – в соответствии с политической философией эпохи Просвещения – демонстрировала стремление к организации и структурированию населения. Помимо чисто управленческих задач, конфессиональная политика в регионе была направлена на изоляцию буддистов от своих единоверцев за рубежом. Она предстает не только «лоскутной», но и разнонаправленной: например, в начале XIX в. осуществлялась поддержка неправославных христианских

конфессий, направленная на поощрение переселенцев из Европейской России[310].

Как можно заметить, большинство рассмотренных работ посвящено изучению конкретного региона, и политика «христианизации», тесно сливающаяся с политикой «русификации», чаще всего является одной из составляющих исследования достаточно драматического процесса имперского строительства. П. Верт попытался обобщить весь этот исключительно разнородный историографический материал, присовокупив к нему и собственные наработки. Результатом явилась монография о политике веротерпимости по отношению ко всем признанным в императорской России религиям и религиозным группам.

В центр своего исследования американский историк поставил идею религиозной свободы, которая первоначально существовала в форме толерантности, или веротерпимости, которая со времен Екатерины стала «декларированной основой» конфессионального управления империей. Она основывалась на представлениях о «природной вере», которая дается человеку по праву рождения, и точкой ее приложения выступала религиозная община – коллектив. Религиозная община являлась и субъектом права для российского государства, именно с общинами и их представителями контактировали государственные институты, составлявшие «межконфессиональный истеблишмент» империи. Возникшая в середине XIX в. и получившая широкое распространение к началу XX в. идея «свободы совести» опиралась уже на иное, «индивидуалистическое» понимание религии как личного дела каждого. Этот принцип был, по словам Верта, плохо совместим с принципами мультиконфессионального истеблишмента, взаимодействовавшего с коллективами, а не индивидами.

---

[310] *Hundley H.S.* Defending the periphery: Tsarist management of Buriat Buddhism // Russian rev. 2010. Vol.69, N 2. P. 232, 240, 242.

Таким образом, в центре внимания автора находятся институты – история их создания и модели их взаимодействия. В результате получилась фундаментальная и одновременно мозаичная – как и сама Российская империя – сводка данных о разнообразных религиозных институтах, создававшихся в течение столетия. Институциональный подход, который использовал в своей книге Верт, позволил ему лишь продемонстрировать бессилие государственной власти, декларировавшей «свободу совести» и катастрофически неспособной реализовать ее в правовых актах.

В последнее десятилетие в зарубежной историографии конфессиональной политики возникают иные подходы, связанные с тем, что понимание империи значительно трансформировалось. Всё больший вес в исследованиях России как империи обретает категория пространства, которая понимается не как объективный материальный «географический фактор», традиционно считавшийся определяющим для истории страны, а как его субъективное измерение. Важным аспектом субъективного измерения пространства является его ментальное конструирование, т.е. придание физически существующим географическим объектам имен и значений, которые зачастую несут в себе сильный эмоциональный заряд и могут оказывать серьезное влияние на взгляды и поведение людей. В таком ракурсе особое значение придается «географическому воображению» субъектов и социальных групп, что позволяет обратиться к роли пространства в конституировании властных отношений.

Процесс империостроительства в Сибири в рамках «пространственной парадигмы» рассматривается в монографии Валери Кивельсон. Она исследовала карты и топографические чертежи XVII в., которые считает важнейшим источником по истории «безмолвной Московии», где отсутствуют привычные для западных историков описательные и

аналитические тексты[311]. Изучение более 500 хранящихся в Поместном приказе чертежей, дополненных делопроизводственной документацией, позволило автору поставить важные вопросы о взаимопересечении культуры, религии и политики. Кивельсон предлагает рассматривать выполненные от руки в сепии или туши и ярко раскрашенные крупномасштабные карты («чертежи») как «выразительные метафоры выработавшей их культуры», православной в своей основе.

В.Кивельсон уделяет особое внимание реконструкции религиозного сознания, для чего скрупулезно анализирует визуальный язык «чертежей», религиозная образность которых демонстрировала твердую убежденность их создателей – мелких чиновников, отставных военных, простых горожан – в тесной связи, даже переплетении библейских и земных тем. Представления о пространстве были неотделимы в Московской Руси от мысли о ее месте и роли в христианском Космосе. Авторы карт выражали «в высшей степени жизнерадостную» уверенность, и даже «самоуверенность», что Россия – это Рай, а русские – избранный народ, само присутствие которого способно превратить обыкновенную землю в сады Эдема. Это «жизнерадостное христианство» лежало в основе представлений, связанных с колонизацией Сибири. Географические карты Сибири и Дальнего Востока, которые появились в середине XVII в., создавались в «милитаризованном контексте колониального завоевания», на них изображались неизвестные ранее, зачастую враждебные территории, где скорее всего еще не ступала нога человека, отмечались стратегически важные объекты и маршруты[312].

В этот период, считает В.Кивельсон, Московское государство начинало воспринимать себя как имперскую державу. Христианская миссия, пишет она, санкционировала и прямо предписывала заселение евразийских равнин, а подробное картографирование новых земель, с указанием и каталогизацией

[311] Kivelson V. Cartographies of stardom... P. 1-2.
[312] Op.cit. P. 11, 117.

всех заселяющих их народов и племен, помогало утверждать колониальное господство[313]. Христианство как идеология лежало в основе колонизации Сибири, и «чертежи» XVII в. становились способом символического присвоения территории.

В ином ключе взаимоотношения религии и политики рассматриваются в монографии американки Мары Козельски, посвященной христианизации Крыма через преобразование его ландшафта, реального и воображаемого[314]. Исследование опирается на достаточно традиционные делопроизводственные документы из архивов Одессы, Симферополя и Санкт-Петербурга и материалы прессы. Но ключевое значение имеют так называемые травелоги – сочинения путешественников, в основном европейцев, и разного рода публикации, связанные с археологическими раскопками и историческими изысканиями в Крыму, поскольку в центре ее внимания – дискурс о крымских древностях. Автор выявляет ряд механизмов, при помощи которых в идеологию империи было введено «сакральное» измерение, и прослеживает, как в эпоху романтического национализма складывалось историческое обоснование российского присутствия в Крыму.

Первые археологические изыскания на полуострове начались еще при Екатерине II, и образ новой «экзотической» восточной территории тогда активно ассоциировался с античным наследием (недаром Крым стали именовать Тавридой). О том, что Россия таким образом приобретала «символический капитал», претендуя на «европейское происхождение», писали и отечественные (А.Л.Зорин), и зарубежные исследователи. В 1830-е годы, после досадных неудач с обращением разноплеменного и поликонфессионального населения Крыма в православие, начинается новый этап его христианизации. Важное место в монографии Козельски занимает

---

[313] Op.cit. P. 124-125, 211.

[314] *Kozelsky M.* Christianizing Crimea: Shaping sacred space in the Russian empire and beyond. DeKalb, 2010.

сюжет о возведении храма Св.Владимира в Херсонесе, который позволил раскрыть значимый для автора тезис о «слиянии науки, религии и политики в эпоху поднимающегося национализма». В этот период образ Крыма начинает ассоциироваться с византийским, т.е. христианским, наследием. В частности, митрополит Макарий (Булгаков) доказывал, что здесь проповедовал апостол Андрей, но в конечном итоге «колыбелью русского христианства» Крым сделала легенда о крещении в Корсуни князя Владимира. Эта версия обрела в XIX в. статус официальной, чему способствовали соединенные усилия священнослужителей и археологов, которые от поисков легендарного храма Дианы перешли к планомерному изучению древних христианских святынь.

Крымская война явилась поворотным пунктом в христианизации Крыма, окончательно превратив полуостров в символический центр православия. И без того активное народное участие в возрождении и строительстве храмов в Крыму приобрело всероссийский масштаб. И кроме того, после массовой эмиграции крымских татар в Турцию на полуостров хлынули христианские поселенцы, что сопровождалось «демонизацией» татар и уничтожением их «памятных мест». Война фактически «закрепила кровью» христианский статус крымской земли.

Массив исследований позволяет реконструировать общую траекторию этноконфессиональной политики Российского государства. На первом этапе процесса реализации имперского проекта (XVI-XVII вв.) военная необходимость по защите рубежей преобладала над религиозными соображениями. В Московском царстве отсутствовала идея о превращении тюркоязычного и финно-угорского населения Поволжья, Степи и Сибири в русскоговорящих православных. В петровское время и вплоть до правления Екатерины II практиковались насильственные массовые крещения анимистов и мусульман Поволжья и Сибири. Затем приходит эпоха толерантности, которая длилась до конца 1820-х годов, до наступления эпохи

«романтического национализма» с его обостренным вниманием к этнографическому изучению многочисленных племен и народностей. Возникает достаточно утопическое представление о том, что в обозримом будущем всё население империи превратится в православных русскоговорящих. При этом принцип веротерпимости по-прежнему соблюдался в восточных регионах империи до самого конца ее существования.

В конце 1820-х годов начинается активизация миссионерской деятельности, причем явление это имело глобальные масштабы (от Ближнего Востока до Аляски) и практиковалось другими империями. Как и в других колониальных державах, важным направлением становится образование и просвещение иноязычного иноверческого населения, в России – с целью его русификации. В век «поднимающегося национализма», который считается интегральной составляющей «века империй» (и в который пореформенная Россия вступала рука об руку с Европой), этноконфессиональная политика имела свои особенности. Активную русификацию фиксируют главным образом исследователи западных окраин империи, хотя и с большими оговорками. Стремясь поддерживать социальную стабильность и спокойствие, правительство следовало принципу веротерпимости, который выражался прежде всего в оберегании целостности того или иного вероисповедания. Этот же принцип, помноженный на опасения по поводу вторжения соседей – Ирана и Османской империи, - срабатывал и в южных регионах. Только в Степи руки самодержавного режима были полностью развязаны, и именно здесь политика русификации, в ее тесной связи с христианизацией, проводилась достаточно свободно.

Серьезное влияние на формирование этноконфессиональной политики в «век империй» оказывал публичный дискурс, который возник к этому времени благодаря активизации различных религиозных групп, обретающих

всё более развитое национальное и конфессиональное самосознание. Однако общественные дебаты не влияли в итоге на осторожный правительственный курс в отношении ислама, который в разное время выступал то в качестве инструмента политики, то становился ее объектом. Так, в отношении кочевников «киргиз-кайсацкой степи» ислам использовался в качестве «инструмента цивилизации» вплоть до присоединения Средней Азии в 1870-е годы, затем его место заменили православие и русская культура.

После революционного кризиса 1905-1907 гг. в условиях стремительного пробуждения национального сознания возникает политизированная категория национальности, которая не совпадает с традиционной сословной иерархией и конфессиональной принадлежностью. Процесс «национализации» усилился в ходе Первой мировой войны, одновременно с ростом русского национализма, а провозглашенная в 1905 г. «свобода совести» стала тем идеалом, который сохранял свое значение и в раннесоветскую эпоху.

6.3. Распад Российской империи: Современные трактовки[315]

Проблема падения Российской империи долгое время находилась на обочине исторических исследований. Зарубежные историки, отойдя от парадигм эпохи холодной войны, и прежде всего от «парадигмы 1917 г.», сосредоточились на поиске факторов стабильности, обеспечивавших долгое существование и процветание Российской империи. Кроме того, непосредственно после распада Советского Союза у них «в запасе» имелось понятное и удобное объяснение: империи являются исторически обреченным типом государства, и по мере созревания национального самосознания на периферии они непременно рухнут, уступив место национальному государству.

Однако конкретно-исторические исследования по мере накопления материала все убедительнее опровергали эту схему, основанную на конфликте между империей и национальным государством. Характерные для империи практики «дифференциации» обнаруживаются исследователями в национальных государствах, а практики нациестроительства – в империях.

---

[315] При подготовке данного параграфа диссертации использованы следующие публикации автора: *Большакова О.В.* Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. М., 2008; *Большакова О.В.* Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны: Монография. М.: ИНИОН РАН, 2013; *Большакова О.В.* Долгое возвращение в Европу: Изучение Первой мировой войны и американская русистика // Российская история. 2014. № 5. С.26-35; *Большакова О.В.* На Восточном фронте без перемен: Зарубежная русистика о гендерной истории Первой мировой войны // Труды по россиеведению: Сб. науч.тр. / РАН. ИНИОН. Вып.5. М., 2014. С.383-396; *Большакова О.В.* Распад империй и Русская революция: Современная зарубежная историография // Труды по россиеведению: Сб. науч.тр. / РАН. ИНИОН. Вып. 7. М., 2018. С. 235-253; *Большакова О.В.* Конец Российской империи: Современные интерпретации // Имперский поворот в изучении истории России: Современная историография: Сб. обзоров и реф. / РАН. ИНИОН. М., 2019. С. 150-172; *Большакова О.В.* Кризис российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171; *Большакова О.В.* Империя, нация и концепт модерного государства. (Размышления о книге «Империя и общность в контактных зонах Евразии») // ИАЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История. № 4. 2021. С. 7-26; *Большакова О.В.* Россия как многонациональная империя: Итоги и перспективы изучения // Российская история. 2021. №.4. С. 163-177.

Дихотомия «нация/империя» не слишком хорошо работает на российском материале[316], да и зарубежные историки все менее склонны мыслить в рамках противопоставлений, и, в отличие от социологов, не слишком привержены идеально-типической методологии.

Значение «имперской парадигмы» для изучения Первой мировой войны было хорошо обосновано американским историком Рональдом Суни в предисловии к сборнику «Империя и национализм на войне», изданном в рамках крупного международного проекта «Великая война и революция в России, 1914-1922»[317]. Актуальность такого подхода, пишет он, определяется тем фактом, что после Первой мировой войны произошло падение континентальных империй в Европе, а Вторая мировая война оказала тот же эффект на морские колониальные империи. Суни отмечает, что распад империй под натиском освободительных движений и образование новых национальных государств было принято описывать как «естественный» процесс, в ходе которого «архаичные» империи уступили место «современным» нациям. Считалось, что две этих государственных формы несовместимы[318]. Однако современные исследования демонстрируют куда более сложные их взаимоотношения и даже позволяют в некоторых случаях предположить, что «национальное освобождение заканчивалось образованием мини-империй, замаскированных под национальное государство», как это произошло, например, с Польшей[319].

Возвращаясь к ленинским определениям Первой мировой войны как империалистической, захватнической, хищнической, как борьбы за передел мира и капитала, Суни замечает, что Ленин был «не так уж неправ». Пусть современные авторы и используют другую терминологию, однако и они

---

316 *Kivelson V.A., Suny R. G.* Russia's empires. N.Y., 2017. P. 12.
317 *Suny R.* Introduction: // The empire and nationalism at war / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington, 2014.
318 Ibid. P. 1–2.
319 Ibid. P. 4.

признают, что центральное место в Великой войне занимал кровавый конфликт империй и наций, который привел к слому вековых монархий и рождению на их обломках новых государств. Этот феномен по-прежнему не поддается простым объяснениям, и путь к пониманию лежит в признании значимости империй[320].

Тем не менее, проблема соотношения империи и национального государства до сих пор не является окончательно решенной, хотя откровенно прогрессистское представление о национализме как главном «могильщике» империй постепенно вытесняется из историографии. И если в работах 2000-х гг. идея об исторической обреченности империи еще лежала в основе многих монографий, опубликованных на английском языке, то в последнее время она зачастую просто выносится за скобки. В фокусе интереса находится не столько политическое существование имперского режима, сколько проблемы этничности и культурные составляющие.

Однако по мере приближения столетия Первой мировой войны все большее внимание стали обращать на факторы разрушения, поскольку одним из итогов войны явилось исчезновение четырех континентальных империй – Российской, Османской, Германской и империи Габсбургов. Распад России был тесно связан с войной и революционными потрясениями, что заставило иначе посмотреть и на Русскую революцию, хронологические рамки которой были существенно расширены. Теперь стало общим местом говорить о «непрерывном кризисе» 1914-1921 гг., который включил в себя и Первую мировую, и Гражданскую войны. А некоторые историки рассматривают эти события в более широком контексте общемирового кризиса начала XX в., представлявшего собой непрерывную цепь войн и революций.

Это представление начало утверждаться в зарубежной историографии после публикации в 2002 г. книги американца Питера Холквиста, в которой

[320] Ibid. P. 7.

было предложено рассматривать революции 1917 г. как часть «непрерывного кризиса» 1914-1921 гг., поразившего Европу[321].

Восточный фронт, как считается, «открыл» западному научному сообществу в 1975 г. британский историк Норман Стоун, опубликовавший монографию, в которой впервые на архивных материалах развенчал многие мифы относительно участия России в войне[322]. Помимо истории военных действий он отдал дань и экономической истории, доказывая, что империю погубила неудовлетворительная логистика, а вовсе не некомпетентность командования и нехватка вооружений. Тем не менее, долгое время для зарубежных русистов Первая мировая оставалась в какой-то степени «неизвестной войной»[323].

Причины достаточно очевидны. В то время как для Западной Европы Первая мировая война явилась точкой отсчета в возникновении нового миропорядка, в России таким основополагающим событием стала Октябрьская революция. Первая мировая не просто померкла в тени Октября и последующей Гражданской войны с ее ужасающими жертвами и разрушениями, но активно вытеснялась в СССР на обочину национальной памяти, даже замалчивалась, что не могло не отразиться на исторических исследованиях. Во многом следовавшая за советской историографией зарубежная русистика хотя и не полностью подписывалась под тезисом о «всемирно-историческом значении Великого Октября», однако же отводила революции центральное место в исследовательской повестке дня. Роль

---

321 *Holquist P.* Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914-1921. Cambridge (Mass.), 2002.

322 *Stone N.* The Eastern front, 1914-1917. L.: Hodder and Stoughton, 1975. Это была первая работа, написанная историком из союзной державы, ранее Восточный фронт анализировался и описывался в основном немецкими историками, т.е. с противоположной стороны. См. об этом: *Winter J., Prost A.* The Great War in History: Debates and Controversies, 1914 to the present. Cambridge etc.: Cambridge univ. press., 2005.

323 Так озаглавили шестой том труда сэра Уинстона Черчилля «Мировой кризис», посвященный Восточному фронту, американские издатели: *Churchill W.S.* The unknown war. The Eastern front. New York,1931.

Первой мировой в падении старого режима мало кем отрицалась, но ее трактовали достаточно инструментально: смог бы царизм выжить, если бы не война? Насколько военные бедствия ускорили революционный взрыв? Немногочисленные исследования разразившейся в 1914 году войны обычно завершались 1917 годом, с которого начинался отсчет Новейшего времени. Получалось, что война для России фактически закончилась в 1917 г., в то время как Европа продолжала воевать («похабный» Брестский мир терялся в волнах революционных событий, захлестнувших страну). Таким образом Россия отсекалась от Европы.

Хронологический рубеж 1917 г. – лишь одна из инкарнаций того символического водораздела, который отделил Россию от Запада на многие десятилетия, – задавал жесткие рамки для соответствующего понимания истории XX в. как в нашей стране, так и за рубежом. Это была одна из болевых точек историографии, ее и коснулся Питер Холквист. Главная мысль книги заключалась в том, что Первая мировая война сформировала основные конфигурации большевистского режима. Нельзя сказать, что это был одиночный «выстрел в ночи» - буквально через год появились еще две книги, в которых пересматривается значение Первой мировой войны для последующей истории России – точнее, возникшего на обломках империи Советского Союза[324].

Насколько назрела к тому времени необходимость в ревизии «рубежа 1917 года», подтверждается тем, с какой легкостью была воспринята «новая хронология», с какой быстротой она утвердилась не только в зарубежной русистике, но и в отечественной историографии. В американской историографии России книга в каком-то отношении подвела черту в борьбе с «парадигмой 1917 года», начавшейся сразу же после распада СССР и

[324] *Lohr E.* Nationalizing the Russian empire: The campaign against enemy aliens during World War I. Cambridges, 2003; *Sanborn J.A.* Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905-1925. De Kalb, 2003.

длившейся на протяжении 1990-х годов – когда, собственно, Холквист писал диссертацию и готовил на ее основе свою монографию. Она вобрала в себя дух «революционных 90-х» с их иконоборчеством, стремлением пересмотреть устаревшие интерпретации времен холодной войны и, главное, «вернуть» Россию в европейскую историю. Однако смысл предложенной Холквистом хронологии принадлежит уже XXI веку, поскольку открывает новую перспективу для понимания и интерпретации истории России/СССР, в которой Русская революция перестает быть событием единичным и уникальным, а «возвращение в Европу» становится свершившимся историографическим фактом.

Сегодня кажется очевидным, что само понятие «кризиса 1914-1921 гг.» подразумевает общеевропейское измерение. Но очевидным это стало в том числе и после публикации монографии Холквиста, где он предпринял лобовую атаку на идею о российской исключительности и буквально на каждом шагу указывал на параллели российской и европейской политики и практики кризисного периода[325]. Он доказывал, что включение революции в общую канву войны делает ее событием, принадлежащим европейской (точнее мировой), а не исключительно русской истории. Да и для понимания Первой мировой войны в целом «русский опыт» имеет ключевое значение, поскольку революции 1917 года оказали серьезное влияние на всю «экосистему» Европы военного времени[326].

В своем исследовании Холквист во многом опирается на свидетельства и суждения современников событий – Струве, Милюкова, писавших о неразрывности войны и революции, однако развивает их мысль в соответствии с сегодняшними представлениями, пронизанными ощущением

[325] Отвергая попытки трактовать приведенные в его книге факты как доводы в пользу «особости» России, Холквист писал, что «задача исследователя должна состоять не в поиске причин, по которым Россию можно было бы считать аномалией, а в определении специфики российского воплощения общеевропейской практики» (с. 222).
[326] *Holquist P.* Op.cit. P. 2.

тесной взаимосвязанности событий, практик, идей, слагающихся в единый исторический контекст. Он предлагает рассматривать революцию как длительный процесс, а не отдельное событие, и учитывать те серьезные институциональные, политические и идеологические изменения, которые произошли в стране в эпоху всеобщей мобилизации военного времени. Гражданская война (а на самом деле, по мнению Холквиста, множество мелких взаимопересекающихся и накладывающихся друг на друга гражданских войн и национальных конфликтов, которые служили средствами для реализации того или иного политического проекта) трактуется им как необходимая и неизбежная составная часть революционного процесса[327].

Фактически, если смотреть с точки зрения традиционной военной истории, Холквист написал историю «тыла», причем историю политическую, уделяя основное внимание институтам и политическим практикам эпохи военного кризиса, которые рассматриваются в общеевропейской перспективе. В годы Первой мировой войны, принявшей тотальный характер, во всех воюющих странах происходит своего рода «экспансия» государства, которое распространяет свой контроль на население и экономику, все активнее вторгаясь в частную сферу. Указывая, что все воюющие державы применяли примерно одни и те же меры для мобилизации населения, Холквист подчеркивает, что только сравнительный контекст позволит выявить российские особенности, обусловленные местной спецификой.

Отличие, на которое Холквист указывает сразу же, заключалось в отсутствии развитой системы публичных институтов (гражданского общества), которые в европейских странах были лишь реорганизованы для военных нужд. Так что России пришлось, как считает Холквист, в каком-то отношении действовать «с нуля», отвечая на потребности мобилизации

[327] Ibid. P. 3, 6.

военного времени, что привело к возникновению так называемых «парагосударственных структур» - полуобщественных, полугосударственных институтов, в которых и государство, и общество были тесно переплетены между собой и где общество наконец-то смогло играть политическую роль, доселе ему недоступную[328]. В результате Февральской революции к власти пришли люди, которые активно сотрудничали в Земгоре и ВПК и при этом разделяли общую убежденность в том, что государство является единственным эффективным и легитимным инструментом для трансформации общества[329]. В их распоряжении и оказались «парагосударственный комплекс» и выработанные в годы войны политические практики государственного насилия (карательные отряды, оккупационные режимы, военные трибуналы, концентрационные лагеря), посредством которых предстояло провести революционную перестройку политической системы и общества.

Свергнувшие Временное правительство большевики также не отказались от революционной массовой мобилизации, продолжая применять военные методы для достижения своих куда более далеко идущих целей по трансформации не только общества, но и самого человека. Таким образом, пишет Холквист, насилие привносилось в самое основание политического строя – черта, отличавшая Россию от других воюющих держав, где после войны удалось в общем и целом отказаться от государственного насилия и вернуться к практике управления, свойственной мирному времени[330]. Из-за слабого развития гражданской сферы в довоенной России институты и практики тотальной мобилизации «стали «кирпичиками» для построения как

---

[328] Здесь Холквист опирается на идеи Д.Гайера, писавшего о возникновении таких парагосударственных (parastatal) комплексов в европейских странах: *Geyer D.* Russian imperialism…

[329] Развернутая и яростная критика самодержавия всеми слоями общества – еще одно отличие от Европы, где существующий строй не подвергался столь массированным и единодушным нападкам – основывалась именно на этой посылке.

[330] *Holquist P.* Op.cit. P. 4-5.

нового государства, так и нового социально-экономического строя»[331]. Советская система, в понимании Холквиста, была перманентной революцией. Эту систему, утверждает он, создали не только идеология большевиков и вековое наследие самодержавия, но также война и революция.

Свою концепцию Холквист разрабатывает на материале Области войска Донского, пытаясь совместить общеевропейский контекст с локальной историей. Поскольку основной акцент в исследовании сделан на изучении политических практик как инструментов реализации тех или иных идеологических проектов, регион, который подолгу находился под контролем и красных и белых, являет собой прекрасную возможность для проведения сравнительного анализа. Холквист анализирует возникновение и трансформацию трех «векторов деятельности государства», где особенно активны были контакты между населением и государством, в данном случае с «разными претендентами на политическую власть» - царским правительством, Временным правительством, белыми, большевиками, казацкой старшиной[332]. Это обеспечение продовольствием, использование государственного насилия и политический надзор за населением. Холквист обнаруживает параллели и сходные черты в действиях всех перечисленных выше правительств на Дону и подчеркивает, что одни и те же политические практики могли служить достижению самых разных идеологических целей.

Сосредоточимся только на одном из перечисленных Холквистом векторов – на проблеме обеспечения продовольствием, которая достаточно ярко высвечивает особенности кризисного периода. Сюжет о хлебозаготовках постоянно возникает в ходе повествования и рассматривается автором как на общенациональном уровне, так и на местном. Холквист учитывает особенности Области войска Донского как

[331] Ibid. P. 286.
[332] Ibid. P. 6.

одной из главных «житниц» страны, а также разнообразие национального и социального состава населения, в первую очередь наличие казачества, на которое делали ставку многие политические силы. Одновременно он обращает внимание на тот факт, что в ходе тотальной войны все воюющие державы сосредоточили снабжение и распределение продовольствия в руках правительственных организаций. Особенности «русского варианта» заключались в том, что как правительство (и, в частности, чиновники новой генерации в Министерстве земледелия под началом Кривошеина), так и его оппоненты – главным образом кадеты – настаивали на приоритете государства в организации снабжения продовольствием армии и населения. В то время как в Германии и Великобритании ставка изначально делалась на коммерческие структуры, в России была поставлена задача максимально вытеснить частную торговлю и «посредников» из системы закупок зерна и работать непосредственно с производителем.

В начале войны ситуация с продовольствием не внушала правительству особых опасений, и первые его меры в августе 1914 г. были направлены против спекуляции. Только в феврале 1915 г. предпринимаются шаги в области государственного регулирования цен на зерно, а летом, после отступления из Галиции и с ухудшением общей продовольственной ситуации в стране, вслед за военно-промышленными комитетами создаются (по образцу английских и немецких) и другие парагосударственные организации – Особые совещания, в том числе по обеспечению продовольствием. Тем не менее главной мишенью правительственной политики в этой сфере остается борьба со спекулянтами. В 1916 г. активно обсуждается вопрос о введении государственной монополии на торговлю зерном (которую к тому времени ввела у себя Германия), звучат предложения ввести разверстку, но эта программа была реализована уже после февраля 1917 г. Временным правительством. 1917 год стал переломным в деле хлебозаготовок на

европейском континенте: весной этого и следующего года Германия проводила реквизиции зерна, тогда же Австро-Венгрия отозвала с фронта 50 тыс. человек для изъятия хлеба в деревнях. В России в начале 1918 г. функционеры-хлебозаготовители, назначенные еще Временным правительством, требовали в свое распоряжение все больше воинских подразделений, оттягивая военные силы для внутренних нужд.

В деле обеспечения продовольствием Германия служила своего рода маяком, примером эффективности планирования для других стран. Однако если в Германии общественные дебаты по зернопоставкам отражали противостояние между производителями и потребителями, то в России политики и общественные деятели сосредоточивались на критике правительства и беззаконии частной торговли. Когда чиновники Особого совещания признали необходимость опоры на «частника», общественники в Земгоре (Струве, Громан) агитировали за более систематическое вмешательство государства в эту сферу. Они хотели заменить «невидимую руку рынка» государством, и к 1917 г. это удалось сделать. Зерно сосредоточилось в руках производителя, и государство оказалось единственным реальным игроком в сфере его распределения[333].

Таким образом, введение контроля над экономикой в СССР являлось не только воплощением большевистской идеологии, но также расширением и продолжением той практики, которая получила распространение во всей Европе в годы войны. Свою общность в этом отношении с Европой прекрасно осознавали как дореволюционные чиновники, так и ведущие советские экономисты, занимавшиеся разработкой планового хозяйства.

История хлебозаготовок встроена Холквистом в детальное повествование о революционных событиях на Дону, и это история нарастающего по своему накалу насилия. Революция произошла в разгар

[333] Ibid. P. 33-36.

войны, и практики военного насилия, привнесенные с фронта, начали все активнее применяться по отношению к мирному населению и «кристаллизовались в конкретном опыте Гражданской войны». В то же время Холквист указывает на тот факт, что Великая война не закончилась перемирием 11 ноября 1918 г., а продолжалась в виде революционных катаклизмов и гражданских войн во всей Восточной и Центральной Европе, в Турции и на Балканах, Италии и Ирландии – повсюду, где создавались новые государства, менялись политические системы, переживало тяготы поражения и послевоенной разрухи население[334]. Так что, по мнению Холквиста, «русский случай» является, пожалуй, наиболее репрезентативным для понимания испытаний военного времени, пережитых континентальной Европой. Но его отличает степень, интенсивность протекавших процессов, включая и уровень насилия в 1917-1921 гг.[335].

Насилие – особая тема, которая последние двадцать лет занимает значимое место в западной историографии Первой мировой войны (и не только войны). Рассматриваются самые разные его аспекты, от насилия в бою и в отношении мирного населения до его физического и психического воздействия на индивида. Особое место занимает вопрос о влиянии насилия Первой мировой войны на политический климат в послевоенной Европе[336]. Книга Холквиста, где речь идет об истоках советского государства (и

---

[334] Да и в «образцовых» странах Антанты демобилизация протекала отнюдь не гладко. См.: *Seipp A. R.* The ordeal of peace: Demobilization and the urban experience in Britain and Germany, 1917–1921. Farnham, 2009.

[335] Историки Западной Европы, в свою очередь, фиксируют общее нарастание насилия, брутализацию военных столкновений и усиление жестокости по отношению как к военнопленным, так и к мирному населению в 1917-1918 гг. – см., в частности: *Jones H.* Violence against prisoners of war in the First World War. Britain, France and Germany, 1914-1920. Cambridge, 2011.

[336] War in peace: paramilitary violence in Europe after the Great War / Ed. by R. Gerwarth and J.Horne. Oxford, 2012; *Horne J., Kramer A.* German atrocities, 1914: a history of denial. New Haven, 2001; Dynamic of destruction: culture and mass killing in the First World War. Oxford; New York, 2007; *Hull I.V.* Absolute destruction: military culture and the practices of war in Imperial Germany. Ithaca, 2005; *Bourke J.* Dismembering the male: men’s bodies, Britain and the Great War. Chicago, 1996.

анализируется не специфически «русское» или «большевистское» революционное насилие, а разные ипостаси насилия политического, государственного), определенно вписывается в историографический ландшафт дебатов о воздействии Великой войны на последующую конфигурацию европейских обществ.

Однако для рассмотрения проблемы насилия Холквисту явно оказались тесны региональные рамки Дона, и в масштабной статье, опубликованной через год после выхода книги, он рассмотрел еще один важный аспект этой темы: депортации населения[337]. Он расширил хронологические рамки, обозначив период разворачивания «революционного насилия» в России 1905-1921 гг., и ввел в свой анализ имперское измерение, что позволило затронуть не только практики колониального управления, выработанные ведущими державами на протяжении предшествовавшего времени, но и проблему национализма.

Изучение Восточного фронта в рамках имперской парадигмы – направление, которое начало развиваться в англоязычной историографии России в XXI веке, – значительно расширяет исследовательскую перспективу и также способствует «возвращению» России в общеевропейский, а точнее, в глобальный исторический контекст, но в несколько ином ключе, нежели это делал Холквист в своей книге. Имперское измерение встраивает Россию в пространство Европы – но также и Средиземноморья, и Азии, поскольку Османская империя выступает одним из главных игроков на этом историографическом поле. Здесь можно выделить две крупных темы: крушение империй, которым зарубежные специалисты начали заниматься после распада СССР (роль Первой мировой войны в этом процессе

[337] *Holquist P.* Violent Russia, deadly Marxism? Russia in the epoch of violence, 1905–21 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2003. Vol.4, N 3. P.627–652.

признается всеми, хотя трактуется по-разному)[338]. И тема насильственных перемещений населения, политики оккупационных режимов на захваченных территориях, наконец, геноцида, занимающая все более значимое место в исследованиях Восточного фронта. Первопроходцами в этой области стали британские историки Питер Гатрелл и Ник Бэрон с их проектом о связанных с Первой мировой войной миграциях населения на окраинах Российской империи[339]. Американские русисты больше внимания уделяют проблеме насилия, разрабатывая ее на материале обширного региона Центрально-Восточной Европы, где сошлись «колониальные окраины» империй, в том числе и Российской (но не оставляя в стороне и Кавказ). При таком подходе утрачивают значение государственные границы, и Россия оказывается одним из активных участников общемировых событий[340].

Изучение Восточного фронта в контексте распада континентальных империй предполагает выход за рамки национальных историй – перспектива, давно чаемая зарубежными историками Первой мировой войны[341]. А в таком случае «возвращение в Европу» уже не столь значимо для России. Общее

---

[338] *Reynolds M.A.* Shattering empires: the clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 1908–1918. Cambridge; N.Y., 2011.

[339] After empire: Multiethnic societies and nation-building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg empires / Ed. by Barkey K., von Hagen M. Boulder, 1997; Homelands: War, population and statehood in Eastern Europe and Russia, 1918-1924 / Ed. by N. Baron, P. Gatrell. L., 2004; Warlands: Population resettlement and state reconstruction in the Soviet-East European borderlands, 1945-50 / Ed. by N. Baron, P. Gatrell. Basingstoke, 2009.

[340] *Liulevicius V. G.* War land on the Eastern Front: Culture, national identity, and German occupation in World War I. Cambridge, 2004; *Prusin A.V.* Nationalizing a borderland: War, ethnicity, and anti-Jewish violence in East Galicia, 1914–1920. Tuscaloosa, 2005; *Sanborn J.A.* Unsettling the empire: violent migrations and social disaster in Russia during World War I // The journal of modern history. 2005. Vol. 77, N 2. P. 290–324; *Hagen M. von.* War in a European borderland: Occupations and occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918. Seattle; L., 2007; *Sanborn J.* The genesis of Russian warlordism: Violence and governance during the First World War and the Civil War // Contemporary European history. 2010. Vol. 19, special issue 03. P. 195–213; Shatterzone of empires: Coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands / Ed. by Bartov O., Weitz E.D. Bloomington, 2013.

[341] См. Winter J., Prost A. The Great War in history… Кембриджская история Первой мировой войны заявлена ее главным редактором Джеем Уинтером как «транснациональная». См.: The Cambridge History of the First World War. 3 vols. Cambridge, 2014.

движение исторических исследований в сторону глобализма и транснационализма, в том числе и в изучении Великой войны, выносит за скобки вековечную проблему «Россия и Европа» как она понималась в эпоху национализма.

Иным путем решает ту же задачу интеграции истории России в мировую Карен Петроне, обратившись к изучению памяти о Первой мировой войне. Она ориентируется на зарубежные исследования Великой войны, где американские работы не так многочисленны и сопоставимы в количественном отношении с европейскими (британскими, французскими и немецкими), однако тон и моду задают все же американцы. Среди ведущих направлений исследований Великой войны мы не встретим историю империй, здесь другая система координат. Гендер, насилие, религиозность – вот основные точки интереса, которые относятся к епархии «новой культурной истории». Главной темой занявших к настоящему времени ведущее место культур-исторических исследований является «война и память». В книге Петроне рассматривается динамика представлений о Первой мировой войне, циркулировавших в России в период 1914-1941 гг.[342].

Невозможно одной книгой закрыть зияющую брешь в историографии, учитывая колоссальный объем того, что сделано за последние тридцать лет по Западному фронту[343]. И потому поставленную автором задачу интегрировать СССР в панъевропейскую историю памяти о Первой мировой войне следует признать по-настоящему амбициозной, хотя Петроне явно отдает себе в этом отчет. Она не отрицает общепризнанного мнения, что в отличие от Западной Европы, где мифологизация «Великой войны» занимала центральное место в культуре межвоенного периода, в СССР это событие

[342] *Petrone K.* The Great War in Russian memory. Bloomington, 2011.

[343] Основополагающие работы в американской историографии: *Fussell P.* The Great War and modern memory. New York, 1975; *Winter, J.M.* Sites of memory, sites of mourning : the Great War in European cultural history. Cambridge, 1995; *idem*. Remembering war: the Great War between memory and history in the twentieth century. New Haven, 2006.

оставалось за рамками официального мифотворчества, которое было сосредоточено на Октябрьской революции и Гражданской войне.

Однако же, обратившись к изучению литературных и изобразительных источников, К.Петроне обнаруживает неожиданно огромное количество материала, что позволяет ей реконструировать и исследовать советский дискурс о Первой мировой войне, во многих отношениях вполне сопоставимый с западноевропейским[344]. В первой части рассматриваются темы, занимающие ключевое положение в современной западной историографии Первой мировой войны. Это религия, героическая маскулинность, насилие и патриотизм. Общность несомненна, когда речь идет о патриотическом подъеме в годы войны или о религиозной составляющей, которая играла ведущую роль в мобилизации населения всех стран. Различия автор фиксирует, исследуя такие широко распространенные тропы западноевропейской культуры, как миф о военном мужском братстве офицеров и солдат (не получивший поддержки в советском дискурсе, где классовая составляющая имела большое значение) или понятие о применении насилия как очищающем и мужественном акте.

С исходной посылкой, на которой базируется исследование и которую автор посчитал не требующей доказательств, поскольку она уже утвердилась в американской русистике, – что история России принадлежит европейской истории – согласились далеко не все. Идею о том, что Россия – не Европа, по-прежнему поддерживают некоторые русисты – правда, преимущественно в Великобритании, что, впрочем, далеко не однозначно, учитывая отношение самих британцев к «континентальной Европе»[345].

---

[344] *Petrone K.* The Great War in Russian memory… P.6. По замечанию автора, она была поражена «количеством, качеством и разнообразием» подходов к теме «германской» войны в советском дискурсе, «глубиной проникновения в психический и физический мир солдата, серьезностью анализа ”лица войны”» (с.199).

[345] См.: *Merridale C.* Rec. ad op.: Petrone K. The Great War in Russian Memory // American historical review. Vol. 112, N 4. P. 1330–1331.

Опираясь в своем анализе на категории гендера, этничности, класса и религиозной идентичности – эти четыре столпа мировой историографии 1990-2000-х годов, Петроне стремилась выявить преемственность между дореволюционным и советским периодом.

Рассмотрение в книге Петроне гендерных аспектов памяти и опыта Первой мировой войны на Восточном фронте вписано в достаточно серьезный массив зарубежной историографии. Интерес к этой теме вполне объясним, поскольку в годы кризисов и крупных трансформаций гендерный порядок совершенно предсказуемо испытывает серьезные потрясения и вносит свой вклад в общий ход событий. Особенно значительные изменения гендерных ролей, норм и стереотипов фиксируются историками в эпоху кризиса начала XX в., кульминацией которого явилась Первая мировая война с последующими революциями и гражданскими войнами. Гендерная история понимает свои задачи в данном случае очень широко, в том числе и потому, что расширилось определение войны как исторического феномена. Среди историков утвердилось понимание, что войну нельзя сводить к сражениям и «культу памяти павших», что следует обратиться к изучению ее воздействия на общество и тех трансформаций, которая она несла с собой[346].

С введением в научный оборот категорий гендерного анализа стало очевидно, что война и, главное, ее репрезентации буквально пронизаны категориями гендера. Действительно, все знают, что война – дело мужское. Первая мировая война нарушила эту негласную, но до сих пор сохраняющуюся в силе норму, отводившую мужчинам господствующую, активную роль, а женщинам – подчиненную, пассивную. Более того, она выявила серьезные бреши в броне мужчины-воина, кормильца и защитника. Выяснилось, что мужчины, испытавшие в окопах массированный артобстрел, столь же подвержены неврозам и истерии, что и слабые женщины. Что

[346] Gender and war in twentieth-century Eastern Europe / Ed. by Wingfield N., Bucur M. Bloomington, 2006. P.1-2.

мужской героизм – понятие достаточно проблематичное в условиях механизированной войны, где редко происходят прямые столкновения с противником, что героизм может быть и бессмысленным, как бессмысленной оказалась гибель в мировой бойне цвета европейской молодежи – тема, которой посвящена литература так называемого «потерянного поколения». Иными словами, идеал «настоящего мужчины» испытал атаки со стороны реальности, прежде невиданные и немыслимые. В центре внимания оказались концепты «военизированной маскулинности», воинского братства, вообще метафоры семьи и родства в применении к нации в кризисную эпоху войн и революций.

Большую роль гендерные стереотипы играли в пропаганде, где использовалась визуализация войны: тут присутствовали и образ родины-матери, и активная эксплуатация стереотипов идеальной женственности и мужественности. Приписывание женских черт человеку, стране, наконец, врагу с целью их принижения – механизм, хорошо знакомый историкам гендера. Значение пропаганды как инструмента мобилизации населения на борьбу с врагом широко изучается в историографии Западного фронта, Восточный же фронт остается практически не исследованным[347].

В зарубежной историографии уже достаточно долгое время основополагающей структурной рамкой для понимания и исследования Первой мировой войны является традиционное противопоставление фронта и тыла (англ. front / home front). Эта дихотомия изначально являлась гендерно окрашенной, особенно остро ощущалась фронтовиками, причем всех воюющих держав, и превратилась в устойчивый стереотип. Считалось, что на фронте воевали «настоящие мужчины», герои, защищающие нацию с оружием в руках, а в тылу оставались женщины – далеко не всегда верные жены и подруги, и мужчины, по тем или иным причинам не попавшие на

[347] Одна из немногих работ: *Norris S.M.* A war of images: Russian popular prints, wartime culture, and national identity, 1812-1945. DeKalb, 2006.

фронт либо избежавшие его, т.е. «ненастоящие». Противопоставление «героического» фронта «аморальному» тылу было проблематизировано относительно недавно по мере углубленного изучения повседневности, миграций и с развитием культурно-исторического подхода, который перенес эту жесткую дихотомию в сферу идей. Оказалось, что на практике граница между фронтом и тылом достаточно размыта, и особенно ясно это становится при обращении к реалиям Восточного фронта.

Британский историк-русист Питер Гатрелл, много занимавшийся проблемой вынужденных миграций населения в Российской империи в годы Первой мировой войны, неоднократно отмечал, что в условиях оккупации трудно провести границу между «фронтом» и «тылом», поскольку с врагом взаимодействует уже не армия, а гражданское население. При этом миллионы насильственно перемещенных из районов военных действий людей «несут с собой войну» во внутренние регионы России[348].

Историки-русисты склонны считать, что в период войны гендерные дихотомии размываются, при этом происходит «феминизация» публичной сферы. Первая мировая война явилась, по выражению Питера Гатрелла, «моментом истины, когда принятые понятия о гендерных ролях и границах подверглись тяжкому испытанию»[349]. В условиях массовой мобилизации мужчин женщины заняли их место не только в крестьянском хозяйстве, но и в экономике в целом. Они вступили на новую для них территорию публичной сферы, активно взаимодействуя с государством – прежде всего в лице чиновничества. Гатрелл отмечает определенную «феминизацию» политического дискурса 1914-1918 гг., указывая, в частности, на возрастание удельного веса понятий о «домашнем» в политической риторике, в которой

---

[348] *Gatrell P.* The epic and the domestic: Women and war in Russia, 1914–1917 // Evidence, history, and the Great War: Historians and the impact of 1914-18 / Ed. by Braybon G. N.Y., 2003. P.200. См. также: *Gatrell P.* A whole empire walking: refugees in Russia during World War I. Bloomington, 1999.

[349] *Gatrell P.* The epic and the domestic… P.199.

прежняя историография замечала лишь «эпическое» и сосредоточивала все внимание на вопросах государственного переустройства и революционных устремлениях.

В монографии американки Л. Стофф «Они сражались за родину»[350] рассматривается непосредственное участие женщин в боевых действиях – феномен сам по себе исключительный для того времени, который нарушал все традиционные гендерные нормы. Л.Стофф считает, что создание особых женских частей являлось в чистом виде социальным экспериментом, предпринятым главным образом в пропагандистских целях. Женщины должны были своим примером вдохновить мужчин и поднять их моральный дух, а также пристыдить их, если те уклонялись от выполнения своего патриотического долга. Это подтверждается и той готовностью, с которой журналисты, фотографы и кинооператоры распространяли сведения о русских женщинах-солдатах «от Петрограда до Нью-Йорка». И тем, с какой быстротой после Октябрьской революции женские боевые подразделения исчезли. После окончания кризиса началось «возвращение к нормальности», и на первый план снова выдвинулись традиционные мужские и женские роли[351].

Принимая на себя мужскую роль защитника, женщины бросали прямой вызов традиционным гендерным концепциям патриотизма и гражданства. Эти темы до сих пор популярны, в то же время актуальная для историографии Западного фронта проблематика «национализации фемининности», рассматривающая разные аспекты включения женщин в публичную сферу и государственное строительство, пока не была применена к российскому материалу. Но зато получила рассмотрение на монографическом уровне проблема «национализации маскулинности» в

[350] *Stoff L.* They fought for the motherland: Russia's women soldiers in World War I and the revolution, (1914-1920). Lawrence, 2006.
[351] Ibid. P.3-4.

России первой четверти XX в., которую исследовал американский историк Дж. Санборн[352].

Его работа имеет исключительное значение для понимания места Первой мировой войны в истории России, но практически неизвестна нашим специалистам. Между тем, это серьезное и по-настоящему глубокое исследование национально-государственного строительства в России, где вскрыт механизм формирования солдата-гражданина в эпоху национализма, показана роль концептов семьи, родства, братства в создании нации. В центре внимания автора находится армия, которая в условиях всеобщей воинской повинности, а затем тотальной войны играла в первой трети XX в. ведущую роль в сплочении нации. Насилие, как военное, так и государственное, тесно увязывается Санборном с процессом выковывания идеала «настоящего мужчины», рождавшегося в огне войн и революций начала XX в. Одновременно насилие, по убеждению Санборна, является главной, можно сказать, системной чертой нации – и национализма.

Проблема национализма в исследованиях Первой мировой войны занимает достаточно значимое место. Дискуссии ведутся до сих пор, поскольку некоторые зарубежные русисты (в основном британцы) привержены идее о национализме как «могильщике империй». Это мнение оспаривается в монографии американского историка, специалиста по Османской империи, Майкла Рейнольдса[353]. Он опровергает аргументы о «неодолимой силе» национализма и отказывается от национально-исторической перспективы, анализируя события в Османской империи и граничивших с ней регионах Российской империи как результат геополитической конкуренции в условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка. В центре его внимания – история соперничества Российской и Османской империй в начале XX века, начиная с

[352] *Sanborn J. A.* Drafting the Russian nation…
[353] *Reynolds M.A.* Op.cit.

Младотурецкой революции 23 июля 1908 г., когда султан вынужден был отказаться от абсолютной власти, и заканчивая периодом Первой мировой войны. По мнению автора, процесс распада этих империй был и причиной, и – в то же время – следствием войны. Таким образом, именно межгосударственное соперничество, а не этнонациональные движения представляются Рейнольдсу ключом к пониманию тех событий, которые происходили в пограничных регионах этих империй в начале XX столетия. В то же время Рейнольдс стремится рассмотреть и то, каким образом динамика глобального межгосударственного соперничества влияла на региональные повестки дня, в частности содействуя формированию новых политических идентичностей.

В современных зарубежных исследованиях Первой мировой войны и революции в России ведется активный поиск новых аналитических инструментов, которые позволили бы лучше понять сложный процесс, разворачивавшийся на обширной территории нескольких империй в первой четверти XX в. Широкая панорама событий на всем пространстве Российской империи представлена в опубликованных к юбилею Великой войны работах зарубежных русистов, многие из них написаны в рамках «имперской парадигмы». Особенно показательным в данном случае является сборник «Империя и национализм на войне», изданный в рамках масштабного международного проекта ««Великая война и революция в России, 1914-1922»[354].

Американский историк Марк фон Хаген предложил вполне конкретную теоретическую рамку для изучения событий на Восточном фронте: это концепция «переплетенных историй» (entangled histories, histoire croisee), получившая распространение в 2010-х гг. и уделяющая основное внимание связям, заимствованиям и взаимодействиям. По его мнению, она обладает

[354] The empire and nationalism at war /Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington, 2014.

большим потенциалом при рассмотрении как хода Первой мировой войны, так и ее итогов. Он пишет, что именно интенсивность связей, существовавших в мирное время между Германией, монархией Габсбургов, Россией, Османской империей и Сербией, обусловила ту форму, в которой разворачивалась война, значительно усилив ее разрушительный характер. По его словам, «мириады переплетений» в итоге привели к тому, что конфликт на Восточном фронте продлился до 1922-1923 гг., а послевоенная реконфигурация этого региона оказалась столь радикальной[355].

Подчеркивая сложность этноконфессионального и демографического состава рассматриваемых государств, автор указывает на тот факт, что на протяжении долгого времени их политические цели заключались в перекраивании границ за счет соседей-соперников. Однако, при всей напряженности отношений, между ними существовали и тесные связи, причем зачастую на личном уровне – особенно в военной и дипломатической сферах, не говоря уже о династическом родстве. «Переплетения» в экономике были также исключительно сильны и касались не только внешней торговли, иностранных концессий и инвестиций капитала, но и рынка труда. Не менее сильными были культурные, религиозные и идеологические «переплетения». В годы войны рвутся старые и возникают новые «переплетения», такие как насильственные миграции и оккупация территорий противника.

Статья фон Хагена показательна в том отношении, что в ней затронуты основные темы и сюжеты, присутствующие в современных зарубежных исследованиях Первой мировой войны и революции 1917 г. Это беженцы и военнопленные, политика оккупационных режимов (прежде всего

---

[355] *Hagen M. von.* The entangled Eastern front in the First World War // The empire and nationalism at war /Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington, 2014. P. 10–11.

национальная), насилие (военное, этническое, революционное и контрреволюционное, и пр.).

Автор сравнивает политику оккупационных режимов Германии, Австрии и Российской империи, которые, как он подчеркивает, стремились реализовать на оккупированных землях то, что было невозможно сделать внутри страны. При этом все они разыгрывали националистическую карту, пытаясь привлечь на свою сторону этноконфессиональные меньшинства и обещая им те или иные привилегии. Формы управления оккупированными территориями изменялись по мере того, как менялся общий контекст. В 1915-1916 гг. ситуация стала иной после серии депортаций, арестов, казней, массового бегства с территорий Польши, Галиции и Украины евреев, поляков и украинцев, представителей местных элит, церковных иерархов[356]. Затем последовали революция в Петрограде, Брестский мир – они также коренным образом меняли контекст, в котором действовали германский и австрийский оккупационные режимы в этом регионе.

Политика Германии на оккупированных территориях Польши, Литвы, Курляндии и Западной Белоруссии (получивших название Ober Ost), так же как и Австрии в Сербии, имели свои особенности. Но во всех случаях оккупанты оказались в сильнейшей степени вовлечены в сложные и конфликтные отношения с местными национально-освободительными движениями, а их политика имела «волновой эффект», распространяясь и на другие территории. Так, практики надзора, цензуры, поиска «политически неблагонадежных» (шпиономания) из военных зон распространялись и на территории самих воюющих держав[357].

С точки зрения «переплетений», возникших в период Первой мировой войны, автор рассматривает проблему военнопленных, которые составляли значительную группу в количественном отношении. На Восточном фронте

[356] Ibid. P. 33.
[357] Ibid. P. 34.

их было 6 млн чел. (на Западном – 2, 5 млн.), подавляющее большинство служили в русской и австро-венгерской армиях[358].

Рассматривается в статье и «имперский антиколониализм», который особенно активно практиковался Германией и заключался в разжигании национализма среди «угнетенных народов» Российской империи. Одним из его проявлений стало создание «национальных» лагерей для военнопленных, где проводились мероприятия по их «культурному развитию». В свою очередь, российский Генштаб высказал идею о создании национальных военных частей из пленных, принадлежащих к этническим меньшинствам, которые воевали бы против своих государств. Идея была реализована после 1917 г., когда Чехословацкий легион сыграл решающую роль в разжигании гражданской войны в России[359].

По мнению автора, беженцы и военнопленные в значительной степени способствовали радикализации ситуации, однако революция 1917 г. и антивоенная политика Советской России также внесли большой вклад в ее обострение. Кратковременная победа революционных левых сил в Венгрии, Баварии, на Западной Украине, а также в Риге, Таллинне, Хельсинки и др. привела к мобилизации крайне правых националистов. Результатом этих гражданских войн, сильно различавшихся по своему масштабу, стала трансформация общества, экономики и политики - куда более значительная, чем в государствах, воевавших на Западном фронте. Еще одна особенность, отличавшая Восточный фронт, по мнению М. фон Хагена, заключалась в том авторитете, который приобрели там военные. В итоге после окончания войны к власти в Германии, Польше, Венгрии и других странах пришли участники и герои войны[360]. В статье демонстрируется сложность взаимоотношений

[358] Ibid. P. 36.
[359] Ibid. P. 42.
[360] Ibid. P. 46–47.

«национального» и «имперского», и национализм выступает лишь одним из «переплетений» военного времени.

Непосредственно проблеме национализма посвящена помещенная в этом же сборнике статья американского историка Эрика Лора, предложившего новый термин «военный национализм» (по аналогии с «военным коммунизмом»), который подразумевает альтернативный подход[361]. Он указывает, что ведущие теоретики Э.Геллнер, Б.Андерсон и др. сосредоточивали внимание на социальных, интеллектуальных и культурных предпосылках созревания национализма в процессе модернизации. По мнению Лора, гораздо лучше объясняют особенности национализма менее знаменитые теории, которые считают его чем-то внешним, «приписываемым» людям в те или иные исторические периоды, чаще всего в экстремальные моменты распада государства или войны, имеющие мобилизующий эффект. «Национальность» в таких случаях кристаллизуется внезапно, становится формой мировоззрения и основой для индивидуальных и коллективных действий. Термин «военный национализм» побуждает мыслить именно в этом направлении, особенно когда речь идет о Первой мировой войне, «мобилизовавшей экономику, армию, этнические сообщества и политические движения в Российской империи самым беспрецедентным образом»[362].

Автор обращает внимание на два ключевых аспекта военного национализма – пространственный (он разворачивался на западных окраинах империи) и институциональный (армия стала главным вершителем судеб населения в этих областях). На смену опытным администраторам пришли

---

[361] *Lohr E*. War nationalism // The empire and nationalism at war /Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington, 2014. P. 91-108.
[362] Ibid. P. 93.

военные, ничего не знающие о местных условиях, но главное, имеющие своей задачей не управление, а победу в войне[363].

Обобщая имеющиеся исследования оккупационной политики России и проблемы беженства, Э.Лор приходит к выводу, что национальность с первых же дней стала главным критерием классификации населения. Однако если для беженцев национальность была категорией культурной и этнической, основой для их объединения в сообщества и землячества, то для миллионов других это был вопрос формального гражданства. С началом войны Российская империя (как и другие воюющие державы) предприняла шаги по интернированию вражеских подданных. Довольно быстро эта по существу военная акция превратилась в массовую кампанию «искоренения» иностранцев. Получив неограниченное право на депортацию, проведение реквизиций и секвестров, военные реализовывали его исключительно активно в прифронтовых зонах и в столицах. Под давлением командования, а также патриотической прессы гражданские власти занялись ликвидацией иностранного участия в экономике, в результате чего были закрыты тысячи мелких предприятий и целый ряд крупных корпораций[364]. Националистическая мобилизация военного времени создала новый контекст для погромов, направленных на «коммерческие диаспоры» немцев, поляков, евреев.

Алексей Миллер в статье «Роль Первой мировой войны в состязании между украинским и всероссийским национализмом»[365] указывает на безосновательность распространенного мнения, что война устранила преграды для уже якобы достаточно сформировавшегося украинского движения. В то же время война (первый год которой отмечен всплеском русского национализма) имела, по его словам, двойственный эффект в

[363] Ibid. P. 94.
[364] Ibid. P. 97.
[365] *Miller A.* The role of the First World War in the competition between Ukrainian and All-Russian nationalism // The empire and nationalism at war… P. 73–90.

отношении региональных национализмов. С одной стороны, усилился репрессивный компонент в политике властей, с другой – возникла атмосфера неопределенности, побуждавшая строить фантастические планы о будущем той или иной нации в послевоенной Европе. После отступления 1915 г. произошел серьезный сдвиг в соотношении сил всероссийского и украинского национализма. Когда из Галиции эвакуировалось более 100 тыс. тех, кто симпатизировал русским, оккупационные власти ликвидировали организации русских националистов на этой территории и стали финансировать украинское движение. Это в значительной мере подорвало престиж России в глазах неполитизированной части населения, в основном крестьянства[366].

В 1917 г., когда произошло крушение имперского центра, для противодействия развалу армии под влиянием пропаганды большевиков и в условиях массового дезертирства Верховное командование предложило политику ее «национализации». По мнению Миллера, создание национальных частей имело колоссальные последствия для Белоруссии, Украины и Бессарабии, однако в полной мере они проявились после большевистского переворота. По его заключению, исторические данные свидетельствуют о том, что причины распада империи следует искать все-таки в центре, а не в антиимпериалистических движениях на периферии[367].

Квинтэссенцией «имперского подхода» к проблеме падения империи явилась фундаментальная монография Дж. Санборна, в которой используется модель деколонизации[368]. По мнению Санборна, термин «деколонизация», которым обычно обозначают освобождение колоний от власти «белого человека» после Второй мировой войны, достаточно широк, чтобы применить его к анализу реалий 1914-1922 гг. Он позволяет посмотреть на

[366] Ibid. P. 84.
[367] Ibid. P. 87.
[368] *Sanborn J.* Imperial apocalypse. Imperial apocalypse: The Great war and the destruction of the Russian empire. N.Y.; Oxford, 2014.

события Великой войны и революции как на многофакторный стадиальный процесс, который начался задолго до убийства в Сараево, и перестать сосредоточиваться на том, что происходило в Берлине, Лондоне и Париже, в то время как кризис разворачивался на Балканах. По мнению Санборна, главный конфликт в годы Первой мировой войны заключался вовсе не в том, кто будет осуществлять империалистический контроль в мире – под вопрос было поставлено само существование контроля такого рода[369].

Предложенный Санборном угол зрения дает возможность иначе рассмотреть проблему национализма в Восточной Европе. Он пишет, что фиксация историографии на национально-освободительных движениях, формировании этнического самосознания и идеологии основывалась на линейном представлении о борьбе между нацией и империей. Однако эта модель не в состоянии описать сложные процессы, ведущие к достижению национальной независимости, так же как и дать удовлетворительное объяснение обострению конфликтов сразу после ее обретения. Кроме того, добавляет он, в результате деколонизации возникали не этнонациональные, а новые многонациональные государства, о чем свидетельствуют сами их названия: Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словен. Однако, действительно, на протяжении всего XIX в. использовалась национальная риторика, и сам выбор терминологии имел серьезнейшие последствия для политических процессов[370].

Санборн предложил теоретическую схему, раскрывающую логику деколонизации, в которой выделил четыре фазы, перекрывающиеся между собой во времени. В России кризис прошел несколько стадий, начиная с «имперского вызова» (вехой Санборн считает Туркестанское восстание 1916 г.), затем последовала «несостоятельность государства» (state failure), когда способность эффективно управлять, в том числе обеспечивать

[369] *Sanborn J.* War of decolonization… P. 53.
[370] Ibid. P. 54.

функционирование общества и экономики и контролировать насилие, резко падает. За ней довольно быстро наступает фаза «социальной катастрофы» (social disaster), которая, не будучи вовремя остановлена, имеет шанс перейти в «апокалиптический штопор», что и произошло в России в период Гражданской войны. Четвертая фаза – «государственное строительство» (state-building) - находится за пределами авторского исследования[371].

По мнению Санборна, хотя 1917 год явился решающим для фазы крушения государства, запущен этот процесс был с принятием закона о военном положении на западных рубежах Российской империи в августе 1914 г. «Линии власти» смешались, чиновники, в массе своей покидавшие западные губернии, получили теперь нового начальника – Ставку Верховного главнокомандования. Однако Ставка крайне медленно и неэффективно создавала административные органы управления, в результате чего в прифронтовых зонах возник вакуум власти. Процветала анархия, ширилась экономическая разруха. Несколько лучше положение было на оккупированных территориях – в Галиции и Восточной Анатолии, однако новые чиновники не обладали административным опытом, чаще всего это были фанатики и энтузиасты вех мастей. И так называемое «воссоединение» Галиции с Российской империей в 1914 – начале 1915 г. автор определяет как «неквалифицированное и сокрушительное поражение»[372].

На фоне военных поражений и отступления армии в 1915 г. проблемы управления, стоявшие сначала только перед западными губерниями, распространились и на страну в целом. Процесс разрушения государства ускорился. Утрачивает свою символическую власть Николай II, а его чиновникам все с большим трудом удается исполнять свои обязанности. Таким образом, подводит итог Санборн, государственная власть находилась в кризисном состоянии задолго до Февральской революции.

---

[371] *Sanborn J.* Imperial apocalypse. P. 6–7.
[372] Ibid. P. 248.

После Февральской революции казалось, что федерализм способен удовлетворить запросы местных элит без разрушения центрального государства. Однако борьба за национальные права выплеснулась летом 1917 г. на улицы, антиколониальные лозунги зазвучали и в метрополии, похоронив политический авторитет партии кадетов. Принцип «права наций на самоопределение», соединенный с крайне популярным лозунгом о «мире без аннексий и контрибуций», получил поддержку среди широких слоев русского населения, прежде не вовлеченного в имперский проект.

Ленин и большевики активно использовали этот лозунг. Концепт «права наций на самоопределение», по словам автора, зажил своей жизнью и получил международное признание. В начале 1918 г. его в своих речах превозносили руководители Антанты, Германия настаивала на его соблюдении во время переговоров в Брест-Литовске, он стал неотъемлемой составной частью Версальской конференции и послевоенного миропорядка. Несмотря на то, что право силы в итоге каждый раз оказывалось важнее национальных прав, тем не менее, риторика федерализма и права наций на самоопределение явились тем политическим наследием революционной эпохи, которого большевики не смогли бы избежать, даже если бы захотели, замечает Санборн[373].

Пожалуй, наиболее впечатляющие страницы книги Санборна посвящены событиям Гражданской войны на Украине в 1918 г., дающие яркое, предметное представление и о коллапсе государства, и о социальной катастрофе. Тот же подход использован в статье Марко Буттино (Туринский университет), исследовавшего события в Средней Азии, которую принято считать «внутренней» колонией Российской империи. Он также взял за основу своего исследования модель деколонизации и поставил целью показать «калейдоскоп локальных революций», начиная с Туркестанского

[373] Ibid. P. 246–247.

восстания 1916 г. и заканчивая взятием большевиками Хивы в августе 1920 г.[374]. М.Буттино последовательно описывает восстание, разразившееся летом 1916 г. в ответ на приказ о мобилизации, и его жестокое подавление, означавшее конец старых форм российского колониализма; «русскую революцию» в Ташкенте, начавшуюся с «бабьих бунтов» и завершившуюся захватом власти в сентябре революционным солдатским комитетом; провозглашение умеренными политическими силами мусульманской автономии в Коканде; «революции» армянской диаспоры, видевшей в русских защиту от мусульманства, и военнопленных (в основном австро-венгров), поддержавших большевиков в 1918-1919 гг., в том числе при взятии Коканда; восстание в 1918 г. русских колонистов-земледельцев против политики большевистского правительства в Ташкенте и одновременно против казахов, вымиравших в этот период от голода.

Характерной особенностью этих локальных «революций» являлось то, что многие их участники легко переходили на сторону «противника», если это им было выгодно[375]. По мнению автора, большая часть этих выступлений представляли собой реакцию местного населения на «хаос, насилие и голод», так что их вполне можно интерпретировать как попытки восстановить порядок и защититься в ситуации, которая становилась все более угрожающей. В качестве наиболее яркого примера приводится басмаческое движение, направленное в первую очередь на получение контроля над территорией и ресурсами. В то же время главной целью большевистской революции в Туркестане являлось укрепление господствующих позиций русского колониального меньшинства, утверждает Буттино. В контексте Средней Азии, пишет он, большевистская революция на деле являлась колониальной контрреволюцией и препятствовала деколонизации.

---

[374] *Buttino M.* Central Asia (1916-1920): A kaleidoscope of local revolutions and the building of Bolshevik order // The empire and nationalism at war /Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington, 2014. P. 109-136.
[375] Ibid. P. 121–122.

О том, что же явилось итогом этих «множественных революций», единого мнения среди русистов нет. Одна из линий исследований, достаточно влиятельная, считает Советский Союз империей. Так, в своей обобщающей монографии В.Кивелсон и Р.Суни указывают, что практики имперского правления сохранились и после падения царского режима[376]. Это главный их аргумент в пользу того, что Советский Союз также был империей, поскольку для них основной характеристикой этого типа государства является «вертикаль власти». Подспудное убеждение в том, что национальное государство, ассоциирующееся с равенством и правами человека, является «лучшей» и «эффективной» формой политии, продолжает оказывать влияние на интерпретации историков.

***

За прошедшие тридцать лет в зарубежной русистике сформировался вполне определенный образ императорской России, который оказывает влияние на интерпретации историков. Он серьезно отличается от образа, преобладавшего в профессиональном дискурсе в период холодной войны и господства теории модернизации.

Во-первых, исчезло убеждение в уникальности России – теперь это такая же страна, как и все остальные, вполне равноправная участница мирового исторического процесса. Во-вторых, стало уже невозможным смотреть на историю России без признания многонационального и поликонфессионального характера страны. Это империя, что непременно вводит в образ такие характеристики, как величие, многовековая стабильность и международный авторитет. Еще одна характерная черта империи – исключительное богатство истории и культуры, в котором

[376] *Kivelson V. A., Suny R. G.* Russia's empires. P. 266.

замечательные достижения соседствуют с проявлениями жестокости. Однако на заднем плане всегда маячит знание о предстоящем: о советской действительности, куда более жестокой, чем империализм XIX – начала XX в.

Интерпретации историков-русистов, безусловно, различаются (как различаются они и в отношении Советского Союза). Однако они – уже следующий слой, который лежит на «образной подоснове». В целом же, независимо от методологических предпочтений исследователей, утвердился более позитивный взгляд на российское прошлое. Характерно, что историки отдают предпочтение диалогу, сотрудничеству и взаимовлиянию, а не конфронтации, что в конечном итоге ведет к изменению общей тональности исследований и исчезновению из них обличительных нот.

В то же время публичный дискурс продолжает эксплуатировать образ «извечной Руси» с самыми негативными коннотациями. В моменты обострения «русофобии» идеи о российском «деспотизме» и «мессианстве» выплескиваются на страницы прессы и интернет-ресурсов, как это впервые после окончания холодной войны случилось в начале 2000-х годов. В размышлениях М.Дэвид-Фокса о дискуссии по поводу концепта «самодержавие» и «самодержавной традиции» в блоге H-Russia ставится вопрос о позиции историка в данной ситуации. Он говорит об общественной роли истории как отрасли профессионального знания. Понимая, что упрощенные трактовки российской истории чрезвычайно притягательны для дилетантов и расцетают на почве невежества, М.Дэвид-Фокс пишет о дилемме, которая стоит перед каждым профессионалом. Фактически, это выбор между профессиональной свободой и социальной (читай – гражданской) ответственностью. Заниматься ли самоцензурой и проверять свои интерпретации на предмет того вреда, который они могут нанести обществу, будучи искаженно и упрощенно понятыми? Или не обращая

внимания ни на что, «писать свою историю» так, как подсказывает профессиональный долг? [377].

Ответ, думается, лежит посередине. Между любой наукой и ее публичным измерением лежит пропасть, как лежит она между «высокой» и «школьной» физикой. Конечно, различия между физикой и историей в том, что касается взаимодействия с обществом (на территории публичного дискурса), весьма велики. Тем не менее было бы уместно вспомнить слова, приписываемые Резерфорду: если вы не можете объяснить, чем вы занимаетесь, уборщице в лаборатории, вы сами не знаете, чем занимаетесь. Историк должен создавать такие формулировки, которые легко улавливаются обществом – в этом заключается высший профессионализм. Но и общество, в свою очередь, должно быть готово к их восприятию.

[377] *David-Fox M.* Russophobia and the American politics of Russian history // Kritika: Explorationa in Russian and Eurasian history. 2001. Vol.2. N 3. P. 465-466.

Заключение

Изучение интерпретаций истории императорской России в зарубежном россиеведении представляет собой объемную задачу. За рассматриваемый период – без малого семьдесят лет – в них происходили серьезные изменения. Кроме того, ставились другие проблемы и возникали новые интерпретации, отодвигая старые на обочину или же наполняя их новыми смыслами. Этот процесс шел рука об руку с изменениями в науке, и потому исследование такого рода неизбежно включает в себя рассмотрение особенностей функционирования самой дисциплины Russian studies в ее исторической динамике. В связи с этим организующей структурой исследования стало разделение на три хронологических периода, в рамках которых происходило формирование тех или иных интерпретаций: конец 1940-х – конец 1960-х, конец 1960-х – конец 1980-х (или 1991 год), постсоветский период.

Первые два периода объединяет воедино ситуация холодной войны, однако они сильно различаются по своему содержанию. Сущностной характеристикой первого является возникновение и утверждение в США новой дисциплины – так называемых русских исследований (Russian studies), включивших в себя междисциплинарное изучение обширного региона СССР и стран Восточной Европы. В условиях начавшегося глобального противостояния США стали главным производителем знания о Советском Союзе, в том числе и исторического. С самого начала история заняла ведущее положение в программах подготовки и довольно быстро выделилась в отдельную отрасль Russian studies, в которой культивировался высокий профессионализм и отторгалось все, что связано с «политикой».

Период 1940-1960-х годов следует считать временем становления историографии России в англоязычных странах (и прежде всего в США) и в

странах Западной Европы. Он носил во многих отношениях переходный, подготовительный характер, но при этом имел основополагающее значение для последующего развития зарубежной историографии России.

Его обычно связывают с деятельностью первого послевоенного поколения историков-русистов – «отцов», получивших профессиональную подготовку в только что открывшихся университетских центрах США. Однако их научная карьера в 1950-е годы только начинала разворачиваться: защищались диссертации, публиковались научные статьи, выходили первые специальные монографии. Большую роль в их становлении играло интеллектуальное влияние русских историков-эмигрантов – М.М.Карповича, М.Т.Флоринского, Г.В.Вернадского и множества других, почти не известных сегодня представителей русской эмиграции, чей собирательный образ обладал большой привлекательностью в глазах американских студентов.

Этих студентов нельзя было назвать «рядовыми» или же «средними», поскольку сам выбор в качестве специализации истории России свидетельствовал о многом. Он не сулил легкой и обеспеченной жизни и никак не ассоциировался с «успехом», как он понимался в американской культуре. Но перед теми, кто не боялся тяжелого труда и был наделен воображением, такая специализация открывала широкие ворота в мир – и не только виртуальный мир русской истории. Возможности для поездок на стажировки в Европу были изначально достаточно широкими, а с организацией в конце 1950-х годов системы научных обменов с СССР появился шанс посетить страну изучения, прежде фактически закрытую.

Однако до середины 1960-х годов зарубежным русистам в своих исследованиях приходилось полагаться на источники, имевшиеся в архивах и библиотеках США, Великобритании, Франции, Финляндии. Правда, для тех, кто занимался историей начала XX в., имелся бесценный источник в лице

представителей русской эмиграции, в том числе самого высокого уровня – таких, как Керенский или Маклаков.

К концу 1960-х годов влияние русских эмигрантов начинает ощутимо снижаться. К этому времени выпускники американских и британских россиеведческих центров, представители старшего поколения историков-русистов – С.Бэрон, М.Малиа, Р.Пайпс, М.Раев, Х.Роггер, Н.Рязановский, Д.Тредголд, Л.Хеймсон и другие – заняли позиции в университетах и ведущих журналах, активно публиковались, готовили учеников, что обеспечило им впоследствии доминирующее положение в своей дисциплине. Характерно, что почти все они в той или иной степени сохранили верность тем взглядам и подходам к историческому исследованию, которые были сформированы еще в аспирантские годы. Большинство из них – эмигранты или потомки эмигрантов, придерживавшиеся либеральных либо консервативных взглядов. У многих за плечами была служба в армии. В профессиональном плане их отличали редкая эрудиция, широта взглядов, тяготение к сравнительным подходам и высокий профессионализм.

Что касается тематических предпочтений, то в центре внимания находились история идей и революционного движения как предпосылок трагедии 1917 г. В то же время возникают первые признаки серьезного интереса к изучению внутренней политики, которое в дальнейшем получит свое развитие.

В конце 1950-х годов, на волне интереса к достижениям СССР, в науку приходят историки-русисты «второго призыва», из которых выросли крупные специалисты по истории императорской России: Р.Зелник, Д.Рэнзел, Р. Стайтс, Р.Уортман, Д.Филд, Т.Эммонс и многие другие. Количество публикаций начинает неуклонно расти, и к концу 1960-х годов можно с уверенностью говорить о наличии вполне определенного профессионального

исторического дискурса о России – что свидетельствовало о созревании истории как особой дисциплины в рамках Russian studies.

До начала 1960-х годов история не играла там заметной роли, поскольку главенствующее положение традиционно занимала славистика. Основной массив условно «россиеведческой» литературы составляли тогда, наряду с работами славистов, достаточно дилетантские тексты, по большей части о современной ситуации в Советском Союзе. Они являлись интегральной частью публичного дискурса об СССР, в котором на заднем плане всегда присутствовал исторический образ императорской России. И СССР, и его предшественница дореволюционная Россия подавались в них как антитеза «свободному миру». Подчеркивалась уникальность России и СССР, что достигалось характерным для литературы такого рода приемом «экзотизации» страны (что позволяло оттенить русскую самобытность). При этом с той или иной интенсивностью использовались негативные стереотипы и метафоры, получившие широкое хождение еще в XIX веке и акцентированные в начале 1950-х годов, в острой фазе холодной войны: деспотизм, милитаризм, мессианство. Присутствовал и элемент ориентализации России, указывавший на противоположность ее «Западу» прежде всего в том, что касалось идей «развития» и «прогресса». Консервативный образ «извечной» Руси (eternal Russia), в которой почти ничего не изменилось с эпохи Ивана Грозного, в послевоенные годы занимал господствующее положение в общественном сознании на Западе.

Профессиональный исторический дискурс был далек от проведения поверхностных аналогий, сравнивавших опричников со сталинскими чиновниками, и сосредоточивался на эволюции, а не на статике. И хотя противоположность Советского Союза «Западу» не ставилась под сомнение большинством историков-русистов старшего поколения, в отношении дореволюционного периода, который они, собственно, и изучали,

превалировали иные оценки. В их работах шла речь о стране европейской культуры, лишь «запаздывавшей» в своем экономическом и политическом развитии, чье поступательное движение в 1917 г. было трагически прервано революцией. Это представление, утвердившееся во многом благодаря влиянию русских эмигрантов и традициям русской дореволюционной историографии, укладывалось в рамки господствовавшей тогда либеральной исторической парадигмы. Органично вписалась в эту систему представлений возникшая в 1950-е годы теория модернизации, которая предоставила научный аппарат для анализа исторического развития России в XVIII-XIX вв. Постепенно усваивалось и социологическое наследие М.Вебера, в то время как теория тоталитаризма имела очень ограниченное значение для изучения дореволюционной истории России.

В то же время нельзя сбрасывать со счетов и традицию собственно американского (в данном случае – «западного») понимания истории России, в котором присутствовали противопоставления русского мистицизма западному рационализму, а коллективизма – индивидуализму. Идеи о том, что «византийско-азиатское» наследие российского самодержавия является ключом к пониманию советской идеологии и советской ментальности, были реализованы в работах Р.Пайпса.

Книги Пайпса всегда пользовались большой популярностью, это классическая история, какой ее привыкли видеть: изложение событий с опорой на источники, которые вплетаются в ткань повествования, сила аргументации, яркость и одновременно некая цельность подачи материала. Такой стиль присущ многим историкам старшего поколения. Их работы – чаще всего традиционная «элитистская» политическая история с ее взглядом «сверху вниз», понятная и широкому читателю. Для них характерен пессимистический нарратив «упадка и разрушения», обладающий своеобразной притягательностью.

Пришедшее в науку новое поколение историков-русистов действовало уже в других обстоятельствах и писало свою историю. Начало второго периода развития зарубежного россиеведения, который принято связывать с поколением «детей», ознаменовалось массовыми движениями за гражданские права, студенческими беспорядками и движением против войны во Вьетнаме (прежде всего в США, хотя и в Великобритании, и во Франции борьба с дискриминацей разного рода в «революционные 60-е» выплеснулась на улицы). Результатом стали реформирование образования в сторону его широкой демократизации, увеличение количества студентов, расширение критериев для приема на работу в университеты (появляется все больше женщин-преподавателей). Не вдаваясь в подробности влияния всеобъемлющего духа критики на научные исследования, отметим его последствия для зарубежной русистики, в которой начинает утверждаться социальная история. Это самая значимая характеристика периода 1960-1980-х годов с концептуальной точки зрения.

Другая существенная характеристика периода, отличающая его от предыдущего, – достаточно активное взаимодействие зарубежных русистов со страной изучения и с ее историками. С расширением системы научных обменов они получают возможность неоднократно и подолгу бывать в СССР – в 1970-е годы только по линии IREX ежегодно приезжало несколько десятков аспирантов. Они прикреплялись к научному руководителю для работы над согласованной с советской стороной темой (далеко не все советские историки всерьез работали со своими стажерами, самым активным был П.А.Зайончковский). Тема являлась результатом компромисса, и вопрос о влиянии его на общую исследовательскую повестку дня еще требует специального рассмотрения – хотя совершенно ясно, что история императорской России имела значительно больше шансов на одобрение, чем история советского периода. В этой сфере воздействие политики было весьма

опосредованным (при том, что в 1970-е годы политизация начинает всерьез затрагивать дисциплину Russian studies, не покушаясь, однако, на профессионализм – выбор всегда был за самим историком).

Приехав в СССР, стажеры сталкивались с массой ограничений, в том числе и в исследовательской работе. Но важен был сам факт проживания в стране, что давало возможность хорошо овладеть русским языком и серьезно влияло на исследовательский кругозор. Несомненно, стажеры приезжали в СССР как представители западного мира, хотя многие и были критически настроены по отношению к капитализму. Они постоянно проводили сравнения со своими стандартами, в том числе и бытовыми. Однако превалировал интерес к научной работе, чему зачастую был подчинен весь распорядок жизни. Прогулки по Москве или Ленинграду (в другие города было крайне трудно получить разрешение на поездку), посещение музеев и выставок, театров и кино, общение с советскими людьми, - все вносило свой вклад в понимание страны и изучаемой темы. В ходе пребывания в СССР шел процесс «разгадывания» страны и преодоления того «предзнания» о ней, с которым приезжали стажеры.

Но, пожалуй, самым важным было получение доступа к архивным источникам, что явилось еще одной важной характеристикой периода 1960-1980-х годов. При всех ограничениях, зарубежные историки получили в свое распоряжение богатейшие материалы, что позволило исторической русистике претендовать на статус поистине научной дисциплины – ведь опора на архивы являлась важнейшим критерием научности, особенно если учесть характерный для зарубежной историографии России позитивизм и эмпиризм, о котором писал когда-то А. Рибер. Эмпиризм – коренное свойство англосаксонского научного мышления, и в изучении императорского периода он был свойствен как традиционной политической,

так и новой социальной истории. В данном случае разрыва между ними нет, да и сама социальная история возникла не в один миг.

Строго говоря, первые признаки ее появления были заметны уже в 1960-е годы, причем в таких разных областях, как социальная дифференциация российского общества накануне революции (Л.Хеймсон) и социальная история русского дворянства в период подготовки крестьянской реформы 1861 г. (Т.Эммонс). В течение 1970-1980-х годов социальная история завоевала зарубежную русистику, определив интерес исследователей к социуму в самом широком понимании этого слова, начиная с «угнетенных масс» и заканчивая психологическим обликом российского губернаторского корпуса. За двадцать лет она эволюционировала, все дальше отходя от изучения социальных конфликтов и погружаясь в сферу менталитета и культуры.

С точки зрения историографической следует отметить такую особенность, как интерес к одним и тем же темам двух разделенных «железным занавесом» исторических школ при полярной разности оценок (история рабочего движения, история крестьянства, экономическая история). Как и в советской историографии, в зарубежной главным событием считалась революция 1917 г., и первостепенное значение имел «кризис самодержавия» - отсюда такой интерес к изучению пореформенной России.

Социальная история поставила в центр внимания социальные структуры, институты и группы, народные массы, классы и классовое сознание, социальные конфликты и их причины. Эти сферы исследовались в таких совершенно новых для зарубежной русистики субдисциплинах, как рабочая история, крестьяноведение, женская история.

Однако инкорпорация методов и подходов социальной истории в исследования императорской России происходила постепенно. Здесь долгое время сохраняли свое значение и приоритет политическая и

институциональная история, биографика, экономическая история. В частности, изучение политики реформ XIX начала XX в., их подготовки и проведения, а также изучение государственных институтов императорской России составило отдельную, очень весомую историографию. Но это была уже далеко не традиционная политическая история: в ней присутствовали элементы и социального подхода, и культурно-психологического, и даже политологического, когда речь шла о группах влияния, патронаже и политической культуре. Ее методологической основой являлась теория модернизации, а также концепции бюрократии и власти, выработанные социологией и политологией.

Власть, всегда бывшая главным действующим лицом в традиционной политической истории, понималась ранее весьма абстрактно: к ней «жадно» стремятся и ею «не делятся». Безусловно, эти идиомы, претендующие на статус объяснений, продолжают сохраняться в исторических трудах, однако социология Макса Вебера предоставила инструмент для анализа власти. Было определено место ее локации – государство и его институты, и выделены ее идеальные типы – личная, харизматическая, и рациональная, формализованная. Конфликт между «традиционным» личным характером самодержавия и «современной» (европейской) рациональностью стали считать центральным при рассмотрении причин падения режима. Речь шла о несовместимости самодержавия с реалиями возникающего в России современного индустриального общества.

Представленный в работах зарубежных историков конкретно-исторический материал был призван подтвердить постепенное продвижение Российской империи по пути модернизации в том, что касается процесса урбанизации, индустриализации, развития современной рациональной науки и образования. Одним из важнейших для зарубежного россиеведения 1960-1980-х годов был вопрос о возможностях политической модернизации в

России и создания правового государства. Оценивая Великие реформы с точки зрения ответа на «внешний вызов», историки-русисты видели в них первый шаг на пути превращения абсолютизма в конституционную монархию. И хотя создание системы местного самоуправления не «увенчалось» высшим представительным органом, тот факт, что Россия находилась на «верном пути», признавался большинством исследователей. Они констатировали появление первых демократических учреждений в России начала XX в., особое внимание сторонников либеральной модернизации царской России привлекал первый «конституционный эксперимент» с Государственной Думой, а также перспективы формирования гражданского общества. Одновременно исследователи стремились выявить причины, затруднявшие процесс модернизации и препятствовавшие ее завершению.

На протяжении 1970-х годов в зарубежной русистике шел неуклонный рост количества исторических трудов, особенно заметный в США. К концу 1980-х годов он становится взрывным, особенно в том, что касается разнообразия тем и подходов. Сопровождается он и ростом профессионализма.

В годы холодной войны в массиве зарубежных исследований выделяются два историографических образа России, определявших облик изучаемой страны: консервативный, близкий к публичному дискурсу, и либерально-универсалистский, основанный на теории модернизации. Оба они строились на дихотомии «Россия / Запад».

Первый, статический, был крайне тесно связан с историческим образом самобытной России, циркулировавшим в публичном дискурсе, который распространялся и на Советский Союз как очередное воплощение «вечной» Руси – бедной, отсталой страны, где народ находится под постоянным гнетом верховной власти, принявшей облик тоталитаризма. Этот консервативно-

пессимистический образ всегда выходил на поверхность в периоды обострения отношений между Россией и условным «Западом», когда начинали вспоминать об «извечном» российском экспансионизме.

Консервативный историографический образ императорской России имеет свои особенности. Он рисует «особый путь» исторического развития страны не европейской, лежащей между Востоком и Западом, в силу чего в ней присутствует целый ряд «азиатских» черт. Интерпретации, опиравшиеся на этот образ, могли различаться, но в любом случае императорская Россия воспринималась как нечто уникальное и противоположное «Западу», в данном случае Европе, – в ней все было «хуже». В профессиональных интерпретациях господствовал нарратив «упадка и разрушения» империи, неумолимо двигавшейся к своему концу.

Второй образ основывался на либеральном прогрессистском видении истории и был сосредоточен главным образом на России императорского периода. В центре его находится понятие «движения», и его вектор вполне определен: это сближение с Европой, «европеизация». В либерально-универсалистском образе господствует «нарратив прогресса», который понимается в соответствии с европейскими нормами: построение индустриального общества и парламентской демократии, достигающей своего полного развития в национальном государстве. Императорская Россия двигалась по этому пути, который неизбежно проходят все страны в ходе исторической эволюции, но начала свое движение с существенным опозданием. И в силу различных «препятствий» и «дисбалансов» пройти его до конца не смогла. В ней слишком многого не хватало, многое было «не так», хотя в какие-то исторические моменты ей и удавалось идти в ногу с Европой – которая выступает в качестве незримого эталона.

Нельзя сказать, что либерально-универсалистский образ был оптимистическим, однако он нацеливал исследователей на выявление

изменений – в чем, собственно, и состоит суть науки истории, как она тогда понималась. Нельзя и уподобить два этих образа славянофильскому и западническому видениям России – это был взгляд «со стороны», и в той или иной степени «свысока». Императорская Россия не соответствовала тому внутреннему стандарту, который присутствовал в представлениях зарубежных историков-русистов, независимо от их идеологических ориентаций, и прежде всего потому, что не являлась «либеральным» государством.

В этом отношении у историографических образов, лежавших в основе исследований императорской России в 1960-1980-е годы, было много общего. Объединяли их и ситуация холодной войны, и все нарастающее доминирование идеологии неолиберализма, но также и длительная историографическая традиция, сформировавшая целый ряд представлений, концептов и идиом. Среди них – неразвитость российского общества и политических институтов, слабость дворянства, отсутствие среднего класса и гарантированных прав частной собственности. Представление о российском деспотизме присутствовало в основном в форме концепта о противостоянии репрессивного реакционного самодержавия и передового свободолюбивого общества, в то время как концепт «восточного деспотизма» занял к 1980-м годам маргинальное положение.

При этом единодушно признавалось, что в России всегда было очень сильное государство, но одни подчеркивали его репрессивную роль и говорили о самодержавном деспотизме, другие видели в нем главный двигатель прогресса, инициатора реформ, которые должны были привести страну к конституционализму. Точно так же «отсутствие» важных институтов, ценностей и традиций, трактовалось либо как признак российской самобытности, либо как атрибуты отсталости, присущие всем модернизирующимся странам. Так, серьезными дисбалансами, которые

привели к революционным потрясениям начала XX в., признавались наличие «раскола» между европейской элитой и крестьянством, закрепленного мерами по консервации крестьянской общины, и конфликт между «властью» и «обществом».

Для работ историков-русистов, как и для всей мировой историографии того времени, был характерен так называемый «конфронтационный» подход, подразумевавший, что отношения любого уровня – межгосударственные, внутри социума и даже в семье – являются конфликтными. Конфликт занимал центральное место в истории, будучи организующим центром для исторической рефлексии. Соответственно, история императорской России определялась как история конфликтов – между властью и обществом, между верхами и низами, между европейским и русским. «Кризис» был составной частью такой системы координат, способом разрешения назревшей ситуации и одновременно – атрибутом развития. Отсюда столь усиленное внимание к тропу «кризис самодержавия». Точно так же бинарное мышление эпохи модерна побуждало исследователей видеть повсюду «расколы» и «пропасти».

Конечно, пришедшие в науку в 1960-1970-е годы социальные историки-русисты регулярно оспаривали утвердившиеся в историографии стереотипы, клише и мифы, которые постепенно отодвигались на задний план. Но только с наступлением новой эпохи, когда так называемая «конфликтная историография» и «прогрессистское видение истории» начали сходить со сцены, актуальные для истории императорской России противопоставления «прогрессивный / реакционный (отсталый)», «государство / общество», «элита / крестьянство», «современное (европеизированное) / традиционное» и другие утратили свой вес.

Окончание холодной войны и распад Советского Союза, когда, как писали, «исчез результат» революции, подвели черту под предыдущей

историографией. Наступили новые времена критики и поисков новых путей, в ходе которых рождался новый историографический образ России, принадлежащий XXI веку. Рождался в новых условиях, когда понятие «Запад» утратило свою аналитическую ценность для профессиональных ученых, сохранившись, однако же, в публичном дискурсе. То же самое касается идеи прогресса, которая из составной части общей картины мира превратилась в объект научного анализа. В наступившую культурно-историческую эпоху пост- и затем постпостмодерна бытовавшие интерпретации начали планомерно отходить в прошлое.

Зарубежное россиеведение, при всех кризисных явлениях, пережило необыкновенный подъем в том, что касается количества и качества исследований, вышедших на новый уровень. Вместо поисков причин «провала» страны, не преуспевшей в «гонке за лидером», историки обратились к рассмотрению ее богатой истории и культуры. Этому в большой степени способствует смена исследовательской парадигмы с социально-научной (социологической) на культурологическую (культурную). Произошел отчетливый разрыв с традицией, что выразилось не только в применении новых методологических подходов, но и в смене тематических предпочтений. Складывается новая историография, в которой начинает превалировать совершенно иной образ императорской России. Этот образ принадлежит уже глобальному миру, как и сама дисциплина Russian studies, которая утратила свой «западный» характер и стала транс- или наднациональной.

Уходят в прошлое идеи о российской уникальности и «особости». Сосредоточившись на поисках сходств, а не различий с «цивилизованными» странами, зарубежные историки-русисты создали яркие, интересные исследования, в которых представлена сложная и многозначная картина российского прошлого. Россию начинают рассматривать как равноправную

участницу общемирового исторического процесса и при этом как многонациональную империю, которую характеризуют многовековая стабильность, международный авторитет, богатство истории и культуры. С изменением содержания понятия «империя» и благодаря критике национального государства она стала ассоциироваться с процветанием, что обусловило возникновение позитивных черт в историографическом образе императорской России.

Список использованных источников и литературы

Источники

Байрау Д. Аграрная структура и крестьянский протест: к условиям освобождения русских крестьян в 1861 году // Новейшие подходы к изучению истории России и СССР в современной западноевропейской историографии. Ярославль, 1997. С. 3–51.

Беседа с американским историком. Т. Эммонс // История СССР. 1989. № 5. С. 209–211.

Бушнелл Дж. Д.Милютин и Балканская война: испытание военной реформы // Великие реформы в России. 1856-1874: Сборник. М., 1992. С.239-259.

Великие реформы в России. 1856-1874: Сборник / Под ред. Захаровой Л.Г., Эклофа Б., Бушнелла Дж. М., 1992.

Верт П. Православие, инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия в Российской империи / Пер. с англ. Н. Мишаковой, М. Долбилова, Е. Зуевой и автора. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 280 с.

Виртшафтер Э. Социальные структуры: Разночинцы в Российской империи. М., 2002.

Готрелл П. Значение Великих реформ в истории экономики России // Великие реформы в России. 1856–1874. М., 1992

Джераси Р. Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России / Авторизов. пер. с англ. В. Гончарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Долбилов М., Сталюнас Д. Обратная уния: Из истории отношений между католицизмом и православием в Российской империи, 1840-1873. Вильнюс: Vilnius: LII Leidykla, 2010. 274 с.

Дружинин Н.М. Открытое письмо итальянскому историку Франку Вентури // История СССР. 1963. № 4. С. 182–187.

Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1954 (2-е изд. М., 1960; 3-е изд. М., 1968);

Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 года. М., 1958.

Захарова Л.Г. Петр Андреевич Зайончковский – ученый и учитель // П.А.Зайончковский (1904-1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем / Ред. кол.: Захарова Л.Г., Кукушкин Ю.С., Эммонс Т.; МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: РОССПЭН, 1998. С. 5–20.

Каппелер А. «Россия – многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Ab imperio. 2000. № 1. С. 15–32. (Пер. А. Каплуновского).

Кипп Дж.У. Русский военно-морской флот и проблема технического переоснащения: экономический базис военно-промышленного развития. 1853-1876 гг. // Великие реформы в России. М., 1992. С.139-165.

Малиа М. Клио под надзором: Россия в американской историографии // Родина. 1997. № 1. С. 68–74.

Маррезе М.Л. Бабье царство: Дворянки и владение имуществом в России, (1700-1861) / Авториз. пер. с англ. Н. Лужецкой. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Нисияма К. Принятие ислама крещеными татарами и православная церковь: этнокультурное противостояние на Среднем Поволжье в середине XIX в. // Новая волна в изучении этнополитической истории Волго-Уральского региона: Сб. статей. Хоккайдо, 2004. С. 200-224.

Пайпс Р. Я жил. Мемуары непримкнувшего. М., 2005.

Петр Андреевич Зайончковский. Библиографический указатель: к 90–летию со дня рождения / Сост. А.С. Стрелкова. М.: Изд-во Московского университета, 1995.

Рибер А. Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы в России. М., 1992. С.44–72.

Сартори П., Шаблей П. Эксперименты империи: Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи. М., 2019.

Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930. М.: РОССПЭН, 2004.

Струве П.Б. Экономическая история России. Париж, 1952.

Таки В. Россия на Дунае: Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812–1834 гг. М., 2021.

Тарановски Т. Судебная реформа и развитие политической культуры самодержавной России // Великие реформы в России, 1856-1874. М., 1992. С.301-317.

Тарановский Т.К. Особенности российской самодержавной монархии в XIX столетии // Российская монархия: Вопросы теории и истории. Воронеж, 1998. С.157-171.

Ферро М. Николай II. М., 1991.

Фриз Г. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика. Самара, 2000. С. 121-162.

Эммонс Т. П.А.Зайончковский – научный руководитель // П.А.Зайончковский (1904-1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем / Ред. кол.: Захарова Л.Г., Кукушкин Ю.С., Эммонс Т.; МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: РОССПЭН, 1998. С. 116-121.

Эммонс Т. «Революция сверху» в России: Размышления о книге Н. Эйдельмана и о другом // С.365-386.

Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М., 2013.

Acton E. Alexander Herzen and the role of the intellectual revolutionary. Cambridge, 1979

Acton E. The revolution and its historians // Critical companion to the Russian revolution 1914-1921 / Ed. by E. Acton, V. Cherniaev, W. Rosenberg. L.: Bloomsbury, 2001.

Adams A.E. New books on the revolution: Old wine in new bottles // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 391-398.

Adams B.F. The politics of punishment: Prison reform in Russia, 1863-1917. DeKalb, 1996.

Adams L. The crisis of U.S. funding for area studies // NewsNet. News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. 2013. Vol. 53, N 2. P. 1–7.

Adler Ch. The ‘revolutionary situation 1859-1861’: The uses of historical conception // Canadian Slavic studies. Montreal, 1969. Vol. 3. № 2. P 383-399.

Adventures in Russian historical research: Reminiscences of American scholars from the Cold war to the present / Ed. by Baron S.H., Frierson C. Armonk, N.Y.; L.: M.E.Sharpe, 2003.

After empire: Multiethnic societies and nation-building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg empires / Ed. by Barkey K., von Hagen M. Boulder: Westview press, 1997.

Akiyama T. The Qrghz Baatïr and the Russian empire: A portrait of a local intermediary in Russian Central Asia. Leiden, 2021.

Alexander J.T. Amazon autocratrixes: images of female rule in the eighteenth century // Gender and sexuality in Russian civilization / Ed. by Barta P. L.; N.Y.: Routledge, 2001. P. 33-54.

Alexander J.T. Autocratic politics in a national crisis: The imperial Russian government and Pugachev’s revolt, 1773-1775. Bloomington, 1969.

Alexander J.T. Bubonic plague in Early modern Russia: Public health and urman disaster. L., 1980.

Alexander J.T. Catherine the Great and the rats // Adventures in Russian historical research: Reminiscences of American scholars from the Cold War to the present / Ed. by S.H. Baron, C. Frierson. Routledge, 2003. P. 49–60.

Alexander J.T. Catherine the Great: Life and legend. Oxford, 1989.

Alexander J.T. Emperor of the cossacks: Pugachev and the frontier jacquerie of 1773-1775. Lawrence, 1973.

Alston P.L. Education and the state in tsarist Russia. Stanford, 1969.

Alter icons: The Russian icon and modernity / Ed. by Gatrall J.J.A., Greenfield D. University Park: Pennsylvania state univ. press, 2010.

An improper profession: Women, gender, and journalism in late imperial Russia / Ed. by Norton B.T., Gheith J.M. Durham: Duke univ. press, 2001.

Anderson B. Internal migration during modernization in late nineteenth-century Russia. Princeton: Princeton univ. press, 1980.

Andrew J. Women in Russian literature, 1780-1863. Basingstoke, 1988.

Andrews J.T. Science for the masses: The Bolshevik state, public science, and the popular im-agination in Soviet Russia, 1917–1934. College Station: Texas A&M univ. press, 2003.

Annenkov G., Todd W. The poets and the revolution – Blok, Mayakovsky, Esenin // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 2. P. 129-143.

Apter D.E. Politics of modernization. Chicago: University of Chicago Press, 1965.

Arima T. Roshia Kogyoshi Kenkyu: Nodo Kaiho no Rekishiteki Zentei no Kaimei. (The Russian industrial development, 1800-1860). Tokyo, 1973.

Ascher A. Paul Axelrod and the development of Menshevism. Cambridge: Harvard univ. press, 1972.

Ascher A. P.A. Stolypin: The search for stability in late imperial Russia. Stanford: Stanford univ. press, 2001.

Ascher A. The revolution of 1905: Russia in disarray. Stanford: Stanford univ. press, 1988.

Asher A. Axelrod and Kautsky // Slavic rev. 1967. Vol. 26, N 1. P. 94-112

Asher A. P.A. Stolypin: The search for stability in late imperial Russia. Stanford, 2001.

Atkinson D. The end of the Russian land commune, 1905-1930. Stanford: Stanford univ. press, 1983.

Avrekh M. On the uses of Russian statistics: A response to Alessandro Stanziani's «European statistics, Russian numbers, and social dynamics, 1861-1914» // Slavic review. 2017. Vol. 76, N 1. P. 45-51.

Avrich P. New books on 1917 // The Russian rev. N.Y., 1968. Vol. 27, N 2. P. 225–230.

Avrich P. The anarchists in the Russian revolution // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 341–350.

Avrich P. The Russian anarchists. Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1967.

Bailes K.E. Science and Russian culture in an age of revolutions: V.I. Vernadsky and his scientific school, 1983-1945. Bloomington, 1990.

Bailey H. Orthodoxy, modernity, and authenticity: The reception of Ernest Renan's Life of Jesus in Russia. Newcastle: Cambridge Scholars Pub., 2008.

Balmuth D. Censorship in Russia, 1865-1905. Wash., 1979.

Banerjee A. We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity. Middletown, 2012.

Baron S.H. Explorations in Muscovite history. Hampshire, 1991.

Baron S.H. Muscovite Russia: Collected Essays. L., 1980.

Baron S. Plekhanov, the father of Russian Marxism. Stanford, 1963.

Baron S. Recollections of a life in Russian history // Russian history, 1990. Vol.17, N 1. 3. 31-53.

Baron S. A tale of two inquiries // Adventures in Russian historical research. Reminiscences of America scholars from the Cold War to the present / Ed. by S.H. Baron, C. Frierson. N.Y.: Routledge, 2003. P. 21–37.

Baron S.H., Frierson C.A. Introduction // Adventures in Russian historical research: Reminiscences of American scholars from the Cold war to the present / Ed. by Baron S.H., Frierson C. Armonk, N.Y.; L., 2003. P. I–XXII.

Barrett T.M. At the edge of empire: The Terek Cossacks and the North Caucasus frontier, 1700-1860. Boulder, 1999.

Basil J.D. Church and state in late imperial Russia: Critics of the Synodal system of church government, 1861-1914. Minneapolis: University of Minnesota press, 2005.

Bassin M. Imperial visions: Nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East. 1840-1865. Cambridge, 1999.

Batalden S. Russian Bible wars: modern scriptural translation and cultural authority. Cambridge: Cambridge univ. press, 2013.

Baynac J. Le socialistes-revolutionnaires de mars 1881 a mars 1917. P.: Robert Laffont, 1979.

Becker S. Nobility and privilege in late imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1985.

Beer D. Renovating Russia: The human sciences and the fate of liberal modernity, 1880-1930. Ithaca: Cornell univ. press, 2008.

Berger S., Miller A. Introduction: Building nations in and with empires – a reassessment // Nationalizing empires / Ed. by Miller A., Berger S. Budapest; B.Y.: CEU press, 2015. P. 1-30.

Bernstein L. Sonya’s daughters: prostitutes and their regulation in imperial Russia. Berkeley, 1995.

Beyrau D. Agrarstructur und Bauernprotest: Zu den Bedingungen der russischen Bauernbefreiung von 1861 // Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftgeschichte. 1977. Bd 64, H.2. S. 179-236

Beyrau D. Militär und Gesellschaft im vorrevolutionären Russland. Böhlau, Köln u. a. 1984.

Bergman J. Vera Zasulich. Stanford: Stanford univ. press, 1983.

Beshoner J. B. Ivan Sergeevich Gagarin: The search for Orthodox and Catholic union. Notre Dame: Univ. of Notre Dame press, 2002.

Billington J.H. Mikhailovsky and Russian populism. Oxford, 1958.

Billington J. The icon and the axe: An interpretive history of Russian culture. N.Y., 1966.

Birth E. Die Oktobristen (1905-1913): Zielovstellungen und Struktur. Stuttgart: Ernst Klett, 1974.

Black C.E. Introduction // Russia on the eve of war and revolution by sir Donald Mackenzie Wallace. N.Y., 1961.

Black C. Introduction // The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861 / Ed. by: C.E. Black. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960. P. 3–13.

Black C.E. The dynamics of modernization: a study in comparative history. N.Y., 1966.

Black C. The modernization of Russian society // The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861 / Ed. by: C.E. Black. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960. P. 661–681.

Black C. The nature of imperial Russian society // Slavic review. 1961. Vol. 20. N 4. P. 565–582.

Black J.L. G.-F. Muller and the Imperial Russian Academy. Kingston, 1986.

Blackwell W.L. The beginnings of Russian industrialization, 1800-1860. Princeton, 1968.

Boeck B.J. Imperial boundaries: Cossack communities and empire-building in the age of Peter the Great. Cambridge: Cambridge univ. press 2009.

Bojanowska E.M. A world of empires: The Russian voyage of the frigate «Pallada». Cambridge; L.: Cambridge univ. press, 2018.

Bonnell V.E. Roots of rebellion: Workers' politics and organizations in St. Petersburg and Moscow 1900-1914. Berkeley: Univ. of California press, 1983.

Boulton S.B. The Russian empire: Its origin and development. L., 1882.

Bradley J. Muzhik and Muscovite: Urbanization in late imperial Russia. Berkeley: Univ. of California press, 1985.

Bradley J. Voluntary associations in Tsarist Russia: Science, patriotism, and civil society. Cam-bridge: Harvard univ. press, 2009.

Breyfogle N.B. Heretics and colonizers: Forging Russia's empire in the south Caucasus. Ithaca, 2005.

Broido V. Apostles into terrorists: Women and the revolutionary movement in the Russia of Alexander II. N.Y.: Viking press, 1977.

Brooks J. When Russia learned to read: Literacy and popular literature. Princeton, 1985.

Brooks W. Reform in the Russian Army // Slavic review. 1984. Vol.43, N 1. P. 63–82.

Brower D. The Russian city between tradition and modernity, 1850-1900. Berkeley: Univ. of California press, 1990. Hamm

Brower D.R. Training the nihilists: Education and radicalism in Tsarist Russia. Ithaca, 1975.

Brower D. Turkestan and the fate of the Russian empire. N.Y.: Routledge Curzon, 2003.

Brown K. A biography of no place: From ethnic borderland to Soviet heartland. Harvard UP, 2004.

Brzezinski Z. The patterns of autocracy //The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861 / Ed. by: C.E. Black. Cambridge (Mass.), 1960. P.93–110.

Buckler J. What comes after «Post-Soviet» in Russian studies? // PMLA. 2009. Vol. 124, N 1. P. 251–263.

Burbank J. Legal culture and citizenship in Russia: Perspectives from early twentieth century // Reforming justice in Russia, 1864-1994. N.Y., 1997. P. 127-150.

Burbank J. Revisioning imperial Russia: Conference report // Slavic review. 1993. Vol. 52. N 3. P. 555-567.

Burbank J. Russian peasants go to court: Legal culture in the countryside, 1905-1917. Bloomington, 2004.

Burbank J., Cooper F. Empires in world history: Power and the politics of difference. Princeton: Princeton univ. press, 2010.

Burds J. Peasant dreams and market politics: Labor Migration and the Russian Village, 1861-1905. Pittsburgh, 1998.

Burdzhalov E.N. Russia's second revolution: The February 1917 uprising in Petrograd / Transl. and ed. by Donald J. Raleigh. Bloomington: Indiana University Press, 1987.

Bushnell J. Mutiny and repression: Russian soldiers in the revolution of 1905-1906. Bloomington: Indiana unive. Press, 1985.

Bushkovitch P. Peter the Great: The struggle for power 1671-1725. Cambridge, 2001.

Buttino M. Central Asia (1916-1920): A kaleidoscope of local revolutions and the building of Bolshevik order // The empire and nationalism at war /Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington: Slavica Publishers, 2014. P. 109-136.

Byrnes R.F. Geroid T. Robinson: Founder of Columbia University's Russian Institute // Byrnes R.F. A history of Russian and East European studies in the United States. N.Y.-L., 1994. P. 214–215.

Byrnes R.F. Harvard, Columbia, and the CIA: My training in Russian studies // Russian history/ Histoire russe. 1988. Vol.15. N 1. P. 93–113.

Byrnes R F. Pobedonostsev, his life and thought. Bloomington, 1968.

Cahm C. Kropotkin and the rise of revolutionary anarchism 1872–1886. Cambridge, 1989.

Campbell E. The Muslim question and Russian imperial governance. Bloomington: Indiana univ. press, 2015.

Campbell I.W. Bloody belonging: Writing Transcaspia into the Russian empire // Empire and belonging in the Eurasian borderlands / Ed. by Goff K.A. and Siegelbaum L. H. P. 35-47.

Campbell I.W. Knowledge and the ends of empire: Kazak intermediaries and Russian rule on the Steppe, 1731-1917. Ithaca, 2017.

Carstensen F.V. American enterprise in foreign markets: Studies of Singer and International Harvester in imperial Russia. Chapel Hill, 1984.

Chamberlin W.H. The first Russian revolution // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 1. P. 4-12.

Chamberlin W.H. Foreword // The Russian review. 1941. Vol.1. N 1. P. 1–5.

Chamberlin W.H. New books on fifty years of Soviet rule // The Russian rev. N.Y., 1968. Vol. 27, N 2. P. 231-236;

Chamberlin W.H. The short life of Russian liberalism // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 2. P. 144-152.

Chatterjee Ch. Celebrating women: Gender, festival culture, and Bolshevik ideology, 1910-1939. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2002.

Cheng Y. Creating the 'new man': From Enlightenment ideals to socialist realities. Honolulu: Univ. of Hawai'i press, 2009.

Cherniavsky M. Tsar and people: Studies in Russian myths. N.Y., 1964.

Chmielewski E. The Polish question in the Russian State Duma. Knoxville: Univ. of Tennessee press, 1970.

Choldin M.T. Celebrating ASEEES: Reflections on the 1990s // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. October 2018. Vol. 57, N 5. P. 5–6.

Choldin M.T. A fence around the empire: Russian censorship of Western ideas under the tsars. Darhem, 1985.

Christian D. The supervisory function in Russian and Soviet history // Slavic rev. 1982. Vol. 41, N 1. P. 73–90.

Chulos C.J. Converging worlds: Religion and community in peasant Russia, 1861-1917 DeKalb: Northern Illinois university press, 2003.

The city in Russian history/ Ed. by M.Hamm. Lexington, 1976.

Civil rights in imperial Russia / Ed. by Crisp O., Edmondson L. Oxford, 1989.

Clarkson J. D. Russia and the future // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 361–375.

Clements B. Bolshevik feminist: The life of Alexandra Kollontai. Bloomington, 1979.

Coleman H.J. Russian baptists and spiritual revolution, 1905–1929. Bloomington: Indiana university press, 2005.

Collis R. The Petrine instauration: religion, esotericism and science at the court of Peter the Great, 1689-1724. Leiden; Boston: Brill, 2012.

Communism and consumerism: The Soviet alternative to the affluent society / Ed. by Vihavainen T., Bogdanova E. Leiden: Brill, 2015.

Confino M. Domaines et seigneurs en Russie vers la fin du XVIII siècle siecle. Paris, 1963.

Confino M. Present events and the representation of the past: some currents problems in Russian historical writing // Cahiers du monde russe. 1994. Vol. 35, N 4. P. 839-868.

Confino M. Russian customary law and the study of peasant mentalites // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 35-43.

Confino M. Systèmes agaries et progrès agricole: L'assolement triennal en Russie aux XVIIIe-XIXe siècles. Paris, 1969.

Conroy M.S. Peter Arkad'evich Stolypin: Practical politics in late tsarist Russia. Boulder, 1976.

Continuity and change in Russian and Soviet thought / Ed.by E.J. Simmons. Cambridge (Mass.), 1955.

Corney F.C. Telling October: Memory and the making of the Bolshevik revolution. Ithaca, 2004.

Correspondence between prof. Luria Ya.S. and John Fine // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1965. Vol.2. N 2. P. 35–45.

Cracraft J. Reclaiming Peter the Great // Adventures in Russian historical research: Reminiscences of American scholars from the Cold war to the present / Ed. by Baron S.H., Frierson C. Armonk, N.Y.; L.: M.E.Sharpe, 2003. P. 103-114.

Cracraft J. The Petrine revolution in Russian architecture. Chicago, 1988.

Cracraft J. The Petrine revolution in Russian culture. Cambridge, 2004.

Cracraft J. The Petrine revolution in Russian imagery. Chicago, 1997.

Cracraft J. Rec. ad op.: Peter the Great. By M.S. Anderson // Slavic Review 1980. Vol. 39, No. 4. P. 675-676.

Crews R. D. For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia. Cambridge: Harvard univ. press, 2006.

Crisp O. Peasant land tenure and civil rights implications before 1906 // Civil rights in imperial Russia. Oxford, 1989. P.33-64.

Crisp O. Studies in the Russian economy before 1914. N.Y.: Barnes&Noble, 1976.

Cross T.B. Purposes of revolution: Chernov and 1917 // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 351–360.

Crummey R. O. Old Believers in a changing world. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2011.

The cultural gradient: The transmission of ideas in Europe, 1789-1991 / Ed. by C. Evtuhov, St. Kotkin. Rowman and Littlefield, 2003.

Curtiss J. History // American research on Russia / Ed. by H. Fisher. Bloomington, 1959. P. 3–27.

Czap P. Peasant-class courts and peasant customary justice in Russia, 1861-1912 // Journal of social history. 1967. Vol. 1. N 2. P. 149–178.

Daniels R. V. The Bolshevik gamble /// The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 4. P. 331-340.

Daniels R.V. Red October: The Bolshevik revolution of 1917. N.Y.: Charles Scribners, 1967.

Daniels R. V. Soviet historians prepare for the fiftieth // Slavic rev. 1967. Vol. 26, N 1. P. 113-118.

David-Fox M. The implications of transnationalism // Kritika. 2011. Vol.12, N 4. P.885-904.

David-Fox M. Russophobia and the American politics of Russian history // Kritika: Explorationa in Russian and Eurasian history. 2001. Vol.2. N 3. P. 465-467.

David-Fox M. Showcasing the great experiment: Cultural diplomacy and Western visitors to Soviet Union, 1921-1941. Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012.

Dennison T. The institutional framework of Russian serfdom. Cambridge: Cambridge univ. press, 2011.

The development of the USSR: An exchange of views / Ed. by D. Treadgold. Seattle, 1964.

Deutscher I. The unfinished revolution. N.Y.: Oxford univ. press, 1967.

[Discussion] / Lewin M., Worobec Ch., Yaney G., Confino M. // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 1-44.

Domar E.D., Machina M.J. On the profitability of Russian serfdom // J. of economic history. 1984. N 4. P. 919–955.

Dixon S. Catherine the Great: Profiles in power. Harlow: Longman, 2001.

Dossick J.J. Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, and Eastern Europe accepted by American, Canadian, and British universities, 1964–1965 // Slavic review. 1965. Vol. 24. N 4. P. 752–761;

Dossick J.J. Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, and Eastern Europe accepted by American, Canadian, and British Universities 1965–1966 // Slavic review. 1966. Vol. 25. N 4. P. 710–717.

Dow R. Prostor: A geopolitical study of Russia and the United States // The Russian review. 1941. Vol.1. N 1. P. 6–19.

Dowler W. The classroom and empire: The politics of schooling Russia's Eastern nationalities, 1860-1917. Montreal, 2001.

Economy and society in Russia and the Soviet Union, 1860–1930: Essays for Olga Crisp / Ed. by Edmondson L., Waldron P. L., Palgrave Macmillan, 1992.

Edelman R. Gentry politics on the eve of the Russian revolution: The nationalist party, 1907-1917. New Brunswick: Rutgers univ. press, 1981.

Edelman R. Proletarian peasants: The revolution of 1905 in Russia's Southwest. Ithaca: Cornell univ. press, 1987.

Editors' preface // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1964. Vol. I, N 1. P. 1.

Edmondson L.H. The feminist movement in Russia, 1900-1917. Stanford, 1984.

Edwards G.S. The Russian history. L., 1882.

Eklof B. Russian peasant schools: Officialdom, village culture, and popular pedagogy, 1861-1914. Berkeley: Univ. of California press, 1986.

Elwood R.C. Russian socialism in the underground: A study of the RSDRP in the Ukraine, 1907-1914. Assen: Van Corcum, 1974.

Emerging democracy in late imperial Russia: Case studies on local self-government (the Zemstvos), State Duma elections, the tsarist government and the State Council before and during World War / Ed. M.Conroy. Niwot, Colo., 1998.

Emmons T. The formation of political parties and the first national elections in Russia. Cambridge: Harvard univ. press, 1983.

Emmons T. The Russian landed gentry and the peasant emancipation of 1861. Cambridge, 1968.

Empire and belonging in the Eurasian borderlands / Ed. by Goff K.A. and Siegelbaum L. H. Ithaca: Cornell univ. press, 2019.

The empire and nationalism at war / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington, 2014.

Empire speaks out: Languages of rationalization and self-description in the Russian Empire. Leiden, 2009.

Engel B.A. Between the fields and the city: Women, work, and family in Russia, 1861-1914. N.Y., 1994.

Engel B.A. Breaking the ties that bound: The politics of marital strife in late imperial Russia. Ithaca: Cornell univ. press, 2011.

Engel B.A. Marriage and masculinity in late-imperial Russia: the ‘Hard cases’ // Russian masculinities in history and culture / Ed. by Clements B.E. et al. Basingstoke (Hants.); N.Y.: Palgrave, 2002. P. 113–130.

Engel B.A. Mothers and daughters: Women of the intelligentsia in nineteenth century Russia. Cambridge, 1983.

Engel B. A. On the eve: Gender, historiography and the prelude to revolution // The Palgrave handbook of women and gender in twentieth-century Russia and the Soviet Union / Ed. by Ilic M. L.: Palgrave Macmillan, 2018. P. 55-68.

Engel B.A. Women in Russia, 1700-2000. Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2004.

Engelstein L. Castration and the heavenly kingdom: A Russian folktale. Ithaca: Cornell university press, 1999.

Engelstein L. Culture, culture everywhere: Interpretations of modern Russia, across 1991 divide // Kritika. A review of current Soviet books on Russian history. 2001. Vol. 2, N 2. P. 363–395.

Engelstein L. The keys to happiness: Sex and the search for modernity in fin-de-siecle Russia. Ithaca, 1992.

Engelstein L. Moscow, 1905: Working class organization and political conflict. Stanford: Stanford univ. press, 1982.

Engelstein L. Paradigms, pathologies, and other clues to Russian spiritual culture: Some post-Soviet thoughts // Slavic review. 1998. Vol. 57, N 4. P. 864-877.

Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union / Ed. by Guroff G., Carstensen F.V. Princeton, 1983.

Epic revisionism: Russian history and literature as Stalinist propaganda / Ed. by Platt K., Brandenberger D. Madison, 2006.

Essays in Russian and Soviet history in honor of G.T. Robinson / Ed. by J. Curtiss. N.Y.: Brill, 1963. (Studien zur Geschichte Osteuropas, Vol. 8)

Essays in Russian liberalism / Ed. by Timberlake Ch. Columbia: Univ. of Missouri press, 1972.

Ethnicity and nationality in imperial Russia // The Russian review. 2000. Vol. 59. N. 4. P. 487–586.

Eurasian environments. Nature and ecology in imperial Russian and Soviet history / Ed. by Breyfogle N. B. Pittsburgh, 2018.

Evans J.L. The Petraševskij circle, 1845-1849. The Hague, 1974.

Evtuhov C. Guizot in Russia // Cultural gradient: The transmission of ideas in Europe, 1789–1991 / Ed. by Evtuhov C., Kotkin S. Boston; Oxford, 2003. P. 55–72.

Ex tempore: Orientalism and Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, N 4. P. 691–727.

Fainsod M. Bureaucracy and modernization: The Russian and Soviet case // Bureaucracy and political development / Ed. by J. La Palombara. Princeton, 1963. P. 233–267.

Fallows T. The zemstvo and the bureaucracy // The zemstvo in Russia. Cambridge, 1982. P.177–242.

The family in imperial Russia: New lines of historical research / Ed. by Ransel D. Urbana: Univ. of Illinois press, 1978.

Farnsworth B. Alexandra Kollontai: Socialism feminism and the Bolshevik revolution. Stanford: Stanford univ.press, 1980.

Farnsworth B. The litigious daughter-in-law: Family relations in rural Russia in the second half of the nineteenth century // Slavic review. Champaign, 1986. Vol.45, N 1. P. 49-64.

Field D. The end of serfdom. Nobility and bureaucracy in Russia, 1855–1861. Cambridge, 1976.

Field D. From the editor. Petr Andreevich Zaionchkovskii // The Russian review. 1983. Vol.42, N 3. P. IV–VII.

Field D. Rebels in the name of the tsar. Boston, 1969.

Field D. Rec. ad op.: Druzhinin, N.M. Vospominaniia i mysli istorika // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1967. Vol. IV, N 2. P. 40-47.

Field D. [Recensio]. // Kritika. A review of current Soviet books on Russian history. 1967. Vol. III, N 3. P. 34-55.

Field D. Reforms of 1860s // Windows on the Russian past: Essays on Soviet historiography since Stalin / Ed. by S.H. Baron, N.W. Heer. Columbus, 1977. P. 89–104.

Fine J. V.A., jr. Rec. ad op.: Lur'e, Ia.S. Ideologicheskaia bor'ba v russkoi publitsistike kontsa XV – nachala XVI veka // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1964. Vol .I, N 3. P. 10–18.

Five sisters: Women against the tsar / Ed.by Engel B., Rosenthal C. N.Y.: Alfred Knopf, 1975

Fisher G. Russian liberalism: From gentry to intelligentsia. Cambridge (Mass.), 1958.

Fitzpatrick Sh. Revisionism in retrospect: A personal view // Slavic rev. 2008. Vol. 67, N 3. P. 682-704.

Florinsky M.T. Russia. A history and interpretation. 2 vols. N.Y., 1953.

Frame M. School for citizens: Theatre and civil society in imperial Russia. New Haven: Yale univ. press, 2006.

Frank A.J. Bukhara and the Muslims of Russia: Sufism, education, and the paradox of Islamic prestige. Leiden, 2012.

Frank A.J. Muslim religious institutions in imperial Russia: The Islamic world of No-vouzensk district and the Kazakh Inner Horde, 1780-1910. Leiden; Boston: Brill, 2001.

Frank S. Crime, cultural conflict, and justice in rural Russia, 1856-1914. Berkeley, 1999.

Frede V. Doubt, atheism, and the nineteenth-century Russian intelligentsia. Madison: The univ. of Wisconsin press, 2011.

Freeze G. The estate (soslovie) paradigm and Russian social history // The American historical rev. 1986. Vol. 91, N 1. P. 11-36.

Freeze G. The parish clergy in nineteenth-century Russia: Crisis, reform, counter-reform. Princeton: Princeton university press, 1983.

Freeze G.L. Recent scholarship on Russian Orthodoxy: A Critique // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2001. Vol. 2, N 2. P. 269–278.

Freeze G.L. The Russian Levites: parish clergy in the eighteenth century. Cambridge: Harvard univ. press, 1977. Freeze G.L.

Friedgut T.H. Iuzovka and revolution. Vol. 1: Life and work in Russia's Donbass, 1869-1924. Princeton: Princeton unive. Press, 1989.

Friedman R. Masculinity, autocracy and the Russian university, 1804-1863. Houndmills, Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005.

Frierson C. "I must always answer to the law…" Rules and responses in the reformed volost' court // Slavonic and East European rev. 1997. Vol.75, N 2. P.308-334.

Frierson C. Mysteries in the realms of history and memory // Adventures… P. 203-216. (p. 206).

Frierson C. Peasant icons: Representation of rural people in late nineteenth century Russia. N.Y., 1993.

Friesen A. In defense of privilege: Russian Mennonites and the state before and during World War I. Winnipeg: Kindred Productions, 2006.

Frohlich K. The emergence of Russian constituionalism, 1900-1914: the relationship between social mobilization and political group formation in pre-revolutionary Russia. The Hague, 1981.

From the editor // Slavic rev. 1967. Vol. 26, N 1. P. V.

Fuller W. C., jr. Civil-military conflict in imperial Russia, 1881-1914. 1985.

Fuller W.C. Strategy and power in Russia, 1600-1914. N.Y., 1992.

Galai Shm. The liberation movement in Russia 1900-1905. N.Y.: Cambridge univ. press, 1973.

Galili Z. Archives and historical writing: The case of the Menshevik party in 1917 // Archives, documentation, and institutions of social memory / Eds. F.X. Blouin, W.G. Rosenberg. Ann Arbor, 2006. P. 443–450.

Gatrell P. The tsarist economy 1850-1917. L.: Palgrave Macmillan, 1986.

Gatrell P. A whole empire walking: refugees in Russia during World War I. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1999.

Gaudin C. Ruling peasants: Village and state in late imperial Russia. DeKalb, 2007.

Gender and national identity in the twentieth-century Russian culture / Ed.by Goscilo H., Lanoux A. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2006.

Gender and sexuality in Russian civilization / Ed. by Barta P. L.; N.Y.: Routledge, 2001.

Gender and war in twentieth-century Eastern Europe / Ed. by Wingfield N., Bucur M. Bloomington: Indiana univ. press, 2006.

Gender in Russian history and culture / Ed. by Edmondson L. L.; N.Y.: Palgrave, 2001.

Gender, equality and difference during and after state socialism / Ed. by Kay R. Basing-stoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007.

Geraci R.P. Window on the East: National and imperial identities in late tsarist Russia. Ithaca, 2001.

Gerber Th.P. The state of Russian studies in the United States / An assessment by ASEEES, July 2015. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh, 2015.

Gerhardi W. The Romanovs. Evocation of the past as a mirror for the present. N.Y., 1939.

Gershenkron A. Agrarian policies and industrialization: Russia, 1861-1917 // Cambridge economic history of Europe. Vol.6, pt 2. Cambridge, 1965. P. 706-800.

Gershenkron A. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge (Mass.), 1962.

Gershenkron A. Europe in the Russian mirror: Four lectures in Economic history. Cambridge (Mass.): Cambridge univ. press, 1970.

Gershenkron A. Problems and patterns of Russian economic development // The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861 / Ed. by: C.E. Black. Cambridge (Mass.), 1960. P. 42–72.

Getzler I. Martov: A political biography of a Russian social democrat. N.Y., 1967,

Geyer D. Russian imperialism. The interaction of domestic and foreign policy, 1860–1914. Bruce Little, 1977

Glagoleva O.E. Dream and reality of Russian provincial young ladies, 1700-1850. Pitts-burgh: Univ. of Pittsburgh, 2000.

Glebov S. From empire to Eurasia: politics, scholarship and ideology in Russian Eurasianism, 1920s–1930s. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2017.

Gleason A. European and Muscovite: Ivan Kireevsky and the origins of Slavophilism. Cambridge, 1972.

Gleason A. Young Russia: The genesis of Russian radicalism in the 1860s. N. Y., 1980.

Glickman R. The Russian factory woman: Workplace and society, 1880-1914. Berkeley, 1984.

Gordin M.D. A well-ordered thing: Dmitrii Mendeleev and the shadow of the Periodic table. N.Y.: Basic Books, 2004.

Graham L.R., Kantor J.-M. Naming infinity: A true story of religious mysticism and math-ematical creativity. Cambridge: Belknap Press of Harvard univ. press, 2009.

Graham S. Tsar of freedom. The life and reign of Alexander II. New Haven, 1935.

Grant B. Celebrating ASEEES: Reflections on the 2010s // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. October 2018. Vol. 57. N 5. P.10-12.

Grant B. We are all Eurasian // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. January 2012. Vol. 52, N 1. P. 1–9.

Grant J.A. Big business in Russia: The Putilov Company in late imperial Russia, 1868–1917. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1999.

Greene R.H. Bodies like bright stars: Saints and relics in Orthodox Russia. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010.

Gregory P.R. Before command: An economic history of Russia from emancipation to the first five-year plan. Princeton: Princeton univ. press, 1994.

Gustav Shpet's contribution to philosophy and cultural theory / Ed. by Tihanov G. West Lafayette, Ind.: Purdue univ. press, 2009.

Guins G.C. The fateful days of 1917 // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 2. N 3. P. 286-295.

Hagen M. von. Empires, borderlands and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era // American historical review. 2004. Vol. 109. N 2. P. 445–468.

Hagen M. von. The entangled Eastern front in the First World War // The empire and nationalism at war /Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington: Slavica Publishers, 2014. P. 9-48.

Hagen M. von. War in a European borderland: Occupations and occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918. Seattle; L., 2007.

Haimson L. The problem of social stability in urban Russia, 1905–1917 // Slavic review. 1964. Vol. 23. № 4. P. 619–642; 1965. Vol. 24. № 1. P. 1–22.

Haimson L.H. The Russian Marxists and the origins of Bolshevism. Cambridge (Mass.), 1955.

Halperin Ch. Muscovy as a hypertrophic state: A critique // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. N 3. P.501–507.

Hamburg G.M. Politics of the Russian Nobility, 1881-1905. Brunswick, 1984.

Hamburg G.M. Boris Chicherin and early Russian liberalism, 1828-1866. Stanford: Stanford univ. press, 1992.

Hamm M. Kiev: A portrait, 1800-1917. Princeton, 1993

Hans N. History of Russian educational policy (1701-1917). L., 1931.

Hardy D. Land and freedom: The origins of Russian terrorism, 1876-1879. N.Y., 1987.

Haumann H. Kapitalismus in zaristischen Staat 1906-1917. Organisationsformen, Machtverhaltnisse und Leitungsbilanz im Industrialisierungsprozess. Konigstein: Hain, 1980.

Hedda J. His kingdom come: Orthodox pastorship and social activism in revolutionary Russia. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2008.

Helfant I. M. The high stakes of identity: Gambling in the life and literature of nineteenth-century Russia. Evanston, 2001.

Heldt B. Terrible perfection: Women and Russian literature. Bloomington, 1987.

Hellie R. Rec. ad op.: Ulmen G.L. Society and History: Essays in Honor of Karl August Wittfogel // Slavic review. 1980. Vol. 39. N 3. P. 486-487.

Hennings J. Russia and courtly Europe: Ritual and the culture of diplomacy, 1648–1725. Cambridge, 2016.

Hennessey R. The agrarian question in Russia, 1905-1907: The inception of the Stolypin reform. Giessen, 1977.

Herlihy P. Odessa: A history, 1794-1914. New Haven, 1986.

Herlihy P. Odessa recollected: The port and the people. Brighton, MA, 2018.

Herlinger P. Working soles: Russian Orthodoxy and factory labor in St. Petersburg, 1881-1917. Bloomington: Slavica publishers, 2007.

Hildermeier M. Die sozialrevolutionare Partei Russlands. Agrarsozialismus un Modernisierung im Zarenreich (1900-1914). Cologne: Bohlau, 1978.

Hilton M. Selling to the masses: Retailing in Russia, 1880-1930. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2012.

Himka J.-P. Last Judgment iconography in the Carpathians. Toronto: Univ. of Toronto press, 2009.

Hirsch F. Empire of nations: ethnographic knowledge & the making of the Soviet Union. Ithaca: Cornell univ. press, 2005.

A history of Russian philosophy, 1830–1930: Faith, reason, and the defense of human dignity / Ed. by Poole R., Hamburg G.M. Cambridge: Cambridge univ. press, 2010.

A history of women's writing in Russia / Ed. by Barker A.M., Gheith J.M. Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2002.

Hoch St. The banking crisis, peasant reform and the redemption operation in Russia, 1860-1870 // American historical rev. N.Y., 1991. Vol. N 2. P. 155-187.

Hock S.L. Did Russia's emancipated serfs really pay too much for too little land? Statistical anomalies and long-tailed distributions // Slavic rev. Stanford, 2004. Vol. 63, N 2. P. 247-274.

Hoch S. Serfdom and social control in Russia: Petrovskoe, a village in Tambov. Chicago: Chicago univ. press, 1986.

Hoffmann D. L. Cultivating the masses: Modern state practices and Soviet socialism, 1914-1939. Ithaca: Cornell univ. press, 2011

Hoffmann D.L. Stalinist values: The cultural norms of Soviet modernity, 1917-1941. Ithaca: Cornell univ. press, 2003.

Hogan H. Forging revolution: Metalworkers, managers, and the state in St. Petersburg, 1890–1914. Bloomington: Indiana univ. press, 1993.

Holmgren B. Rewriting capitalism: Literature and the market in late tsarist Russia and the Kingdom of Poland. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1998.

Holquist P. “In accord with state interests and the people’s wishes”: The technocratic ideology of imperial Russia’s Resettlement administration // Slavic review. 2010. Vol. 69, N 1. P. 151-179.

Holquist P. Making war, forging revolution: Russia’s continuum of crisis, 1914-1921. Cambridge (Mass.), 2002.

Holquist P. The role of personality in the first (1914–1915) Russian occupation of Galicia and Bukovina // Anti-Jewish violence: Rethinking the pogrom in East European history / Ed. by J. Dekel-Chen, D. Gaunt, N.M. Meir, I. Bartal. Bloomington; Indianapolis: Indiana univ. press, 2010. P. 52–73.

Holquist P. Violent Russia, deadly Marxism? Russia in the epoch of violence, 1905–21 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2003. Vol.4, N 3. P.627–652.

Holy foolishness in Russia: New perspectives / Ed. by Hunt P., Kobets S. Bloomington: Slavica publishers, 2011.

Homelands: War, population and statehood in Eastern Europe and Russia, 1918-1924 / Ed. by N. Baron, P. Gatrell. L.: Anthem Press, 2004.

Hosking G. A. The Russian constitutional experiment: Government and Duma 1907-1914. N.Y.: Cambridge univ. press, 1973.

Hughes L. Peter the Great: A Biography. New Haven, CT; L.: Yale University Press, 2002.

Hughes L. Russia in the age of Peter the Great. L.: Yale University Press, 1998.

Hundley H.S. Defending the periphery: Tsarist management of Buriat Buddhism // Russian review. 2010. Vol.69, N 2. P. 231-250.

Hutchinson J.F. Politics and public health in revolutionary Russia, 1890-1913. Baltimore, 1990.

Imperial dreams // The Russian review. 1994. Vol. 53. N 3. P. 331–381.

Imperial Russia after 1861: Peaceful modernization or revolution? / Ed. by A.E. Adams. Boston, 1965.

Imperial Russia: New histories for the empire / Ed. by Burbank J., Ransel D.L. Bloomington: Indiana univ. press, 1998.

In Marx's shadow: Knowledge, power, and intellectuals in Eastern Europe and Russia / Ed. by Bradatan C., Oushakine S.A. Lanham: Lexington books, 2010.

Index to Kritika, Vols.I-XX // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1984. Vol. XX, N 1–2. P. 49-65.

International Research and Exchanges Board. Annual report for the operational year 1968-1969. N.Y., 1969.

Intelligentsia science: The Russian century, 1860-1960 / Ed. by Gordin M.D., Hall K., Ko-jevnikov A. Chicago: Univ. of Chicago press, 2008.

Interpreting emotions in Russia and Eastern Europe / Ed. by Steinberg M.D., Sobol V. DeKalb, 2011.

An interview with Edward L. Keenan // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2010. Vol.11, N 3. P. 457-466.

Iswolsky H. The Russian revolution seen from Paris // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 2. P. 153-163.

Jersild A. Orientalism and empire: North Caucasus mountain peoples and the Georgian frontier, 1845-1917. Montreal: McGill univ. press, 2002.

Jones R.E. The emancipation of the Russian nobility, 1762-1785. Princeton, 1973

Johnson R. E. Peasant and proletarian: The working class of Moscow in the late nineteenth century. New Brunswick: Rutgers univ. press, 1979.

Jones R.T. Empire of extinction: Russians and the North Pacific's strange beasts of the sea, 1741-1867. Oxford, 2014.

Kahan A. The plow, the hammer, and the knout: An economic history of eighteenth-century Russia. Chicago, 1985.

Kahan A. Russian economic history: The nineteenth century. Chicago: Univ. of Chicago press, 1989.

Kahla E. Life as exploit: Representations of twentieth-century saintly women in Russia. Helsinki: Kikimora publications, 2007.

Kan S. Memory eternal: Tlingit culture and Russian Orthodox Christianity through two centuries. Seattle: Univ. of Washington press, 1999.

Kane E. Russian hajj: empire and the pilgrimage to Mecca. Ithaca: Cornell univ. press, 2015.

Kappeler A. Russland als Vielvolkerreich: Enstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992.

Karamzin's Memoir on ancient and modern Russia / Transl. a. ed. by R. Pipes. Cambridge (Mass.), 1959.

Karpovich M. Imperial Russia, 1801–1917. N.Y., 1932.

Karpovich M.M. Lecture on Russian history. The Hague, 1958.

Karpovich M. Rec. ad op.: Pares B. Russia. N.Y.: Penguin Books, 1940 // The Russian review. 1941. Vol. 1. N 1. P. 106–107.

Kassow S.D. Students, professors, and the state in tsarist Russia. Berkeley, 1989

Keenan E. A.A.Zimin // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1979-1980. Vol. XVI, N 1. P. 1-4.

Keenan E. Moscovite political folkways //Russian rev. 1986. Vol.45, N 2. P.115-181.

Keenan E.L. To the editors // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, N. 1.

Keenan E.L., Pipes R. To our readers // Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1984. Vol. XX, N. 1. P. 1.

Keep J. Light and shade in the history of the Russian administration // Canadian-American Slavic studies. 1972. Vol.6, N 1. P.1-9.

Keep J. Programming the past: Imperial Russian bureaucracy and the society under the scrutiny of Mr. George Yaney // Can.-Amer. Slavic studies. Montreal, 1974. Vol.8, N 4. P.569-580.

Keep J. Soldiers of the tsar: Army and society in Russia, 1462-1874. Oxford, 1985.

Kefeli A. Becoming Muslim in imperial Russia: Conversion, apostasy, and literacy. thaca: Cornell univ. press, 2014.

Keller Sh. Russia and Central Asia: Coexistence, conquest, convergence. Toronto, 2020

Kelly C. A history of Russian women's writing, 1820-1992. N.Y., 1994.

Kelly C. Refining Russia: Advice literature, polite culture, and gender from Catherine to Yeltsin. Oxford: Oxford univ. press, 2001.

Kemper M. Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan: Von den Khanaten und Gemeindebünden zum gihad-Staat. Wiesbaden: Reichert, 2005.

Kenworthy S.M. The heart of Russia: Trinity-Sergius, monasticism, and society after 1825. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center press; N.Y.: Oxford univ. press, 2010.

Khalid A. Central Asia: A new history from the imperial conquests to the present. Princeton, 2021.

Khalid A. The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: Univ. of California press, 1998.

Khodarkovsky M. Russia's steppe frontier: The making of a colonial empire, 1500-1800. Bloomington, 2002.

Kimball A. Revolutionary situation in Russia (1859-1862) // Modern Encyclopedia of Russian and Soviet history. Vol.31. Gulf Breeze, 1983. P. 54-57.

Kingston-Mann E. In search of the true West: Culture, economics, and the problem of Russian development. Princeton, 1999.

Kipp J.W. M.Kh.Reutern on the Russian state and economy: A liberal bureaucrat during the Crimean era, 1854–60 // J. of mod. history. Chicago, 1975. Vol.47, N 3. P.437–459.

Kipp J., Lincoln B. Autocracy and reform: Bureaucratic absolutism and political modernization in nineteenth-century Russia // Russian history. Vol.6, Pt.1. 1979. P.1-21.

Kivelson V. Cartographies of tsardom: The land and its meanings in seventeenth-century Russia. Ithaca: Cornell univ. press, 2006.

Kivelson V. Desperate magic: The moral economy of witchcraft in seventeenth-century Russia. Cornell univ. press, 2013.

Kivelson V., Petrone K., Kollmann N., Flier M. The use and abuse of dominant paradigms in Muscovite cultural studies // The new Muscovite cultural history: A collection in honour of Daniel B. Rowland / Ed. by Kivelson V. et al. Bloomington, 2009. P. 11–20.

Kivelson V.A., Suny R. G. Russia's empires. N.Y., 2017.

Kizenko N. A prodigal saint: Father John of Kronstadt and the Russian people. University Park: Pennsylvania state university press, 2000.

Koblitz A.H. A convergence of lives: Sofia Kovalevskaia: Scientist, writer, revolutionary. Boston: Birkhauser Boston, 1983.

Koblitz A.H. Science, women and revolution in Russia. Amsterdam: Harwood academic, 2000.

Kohn H. Panslavism: Its history and ideology. Notre Dam, 1953.

Kojevnikov A. The Great War, the Russian Civil War, and the invention of big science // Science in context. Tel Aviv, 2002. Vol.15, N 2. P. 239-275.

Kolchin P. Unfree labor: American slavery and Russian serfdom. Cambridge (Mass.), 1987.

Kollmann N. Sh. Crime and punishment in Early Modern Russia. Cambridge univ. press, 2012.

Kollmann N.Sh. The Russian empire, 1450-1801. N.Y., 2017.

Kotsonis Y. Making peasants backward : agricultural cooperatives and the Agrarian question in Russia, 1861-1914. N.Y.: St. Martin's Press, 1999.

Kotsonis Y. Read Zamiatin, but not to correct his math // Slavic review. 2017. Vol. 76, N 1. P. 24-29.

Kotsonis Y. States of obligation: taxes and citizenship in the Russian Empire and early Soviet Republic. Toronto : Univ. of Toronto press, 2014.

Kornblatt J.D. Doubly chosen: Jewish identity, the Soviet intelligentsia, and the Russian Orthodox Church. Madison, Wis.: Univ. of Wisconsin press, 2004.

Korros A. A reluctant parliament: Stolypin, nationalism and the politics of the Russian imperial State Council, 1906-1911. Lanham, 2002.

Kotkin St. Modern times: The Soviet Union and the interwar conjuncture // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2001. Vol. 2, N 1. P. 111–164.

Kotkin St. Mongol Commonwealth? Exchange and governance across the Post-Mongol space // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. N 3. P. 487-531.

Kotkin S. The state – is it us? Memoirs, archives, and kremlinologists // Russian review. 2002. Vol. 61, N 1. P. 35–51.

Kozelsky M. Christianizing Crimea: Shaping sacred space in the Russian empire and beyond. DeKalb, 2010.

Krukones J. To the people: The Russian government and the newspaper Sel'skii vestnik («Village Herald») 1881-1917. N.Y., 1987.

Kucherov S. Courts, lawyers, and trials under the last three tsars. N.Y., 1953.

Labour, coercion, and economic growth in Eurasia, 17th-20th centuries / Ed. by Stanziani A. Leiden: Brill, 2013.

Land commune and peasant community in Russia: Communal forms in imperial and early Soviet society / Ed. by Bartlett R. N.Y., 1990.

Landscape and settlement in Romanov Russia, 1613-1917 / Judith Pallot, Denis J.B. Shaw. Oxford: Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1990.

Landscaping the human garden: Twentieth-century population management in a comparative framework / Ed. by Weiner A. Stanford: Stanford univ. press, 2003.

Laue Th.H. von. Sergei Witte and the industrialization of Russia. Cambridge (Mass.), 1963.

Laue T.H. von. The state and the economy // The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861 / Ed. by: C.E. Black. Cambridge (Mass.), 1960. P. 209–226.

Laue Th.H. von. Why Lenin? Why Stalin? A reappraisal of the Russian revolution, 1900-1930. Philadelphia, 1964.

Layton S. Russian literature and empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. N.Y., 1994.

LeDonne J. Forging a unitary state: Russia's management of the Eurasian space, 1650-1850. Toronto, 2020.

LeDonne J. Ruling Russia: Politics and administration in the age of absolutism 1762-1796. Princeton, 1984.

Leikin J. Across the seven seas: Is Russian maritime history more than regional history? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2016. Vol. 17, N 3. P. 631-646.

Leroy-Beaulieu A. L'Empire des Tsars et les Russes. T. 1. Le pays et les habitants. P., 1881. T. 2.

Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars and the Russians. 3 vols. / Trans. Z. Ragozin. N.Y.; L. 1893–1896. Vol. 1.

Letters from heaven: popular religion in Russia and Ukraine / Ed. by Himka J.-P., Zayarnyuk A. Toronto; Buffalo: University of Toronto press, 2006.

Levine A. Peter Arkad'evich Stolypin: a political appraisal // Journal of modern history. 1965. Vol. XXXVII. № 4. P. 445-463.

Levine A. The Third Duma. Election and profile. Hamden: Archon Books, 1973.

Levitt M. The visual dominant in eighteenth-century Russia. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2011.

Lewin M. Customary law and Russian rural society in the post-reform era // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 1-19.

Lewin M. Russian peasant and Soviet power : A study of collectivization / Transl. by I. Nove. L., 1968.

Lieven D. Empire: The Russian Empire and its rivals. New Haven, 2000.

Lieven D. Empires and their core territories on the eve of 1914: A comment // Nationalizing empires / Ed. by Miller A., Berger S. Budapest; B.Y.: CEU press, 2015. P. 647-660.

Lieven D. The end of tsarist Russia: March to World War I and revolution. N.Y.: Viking, 2015. 448 p.

Lieven D. Nicholas II : twilight of the Empire. New York : St. Martin's Press, 1994.

Lieven D. Russia's rulers under the Old regime. New Haven : Yale University Press, 1989.

Lincoln B.W. The Great reforms: Autocracy, bureaucracy, and the politics of change in imperial Russia. DeKalb, 1990.

Lincoln B. W. Nikolai Miliutin: An Enlightened Russian Bureaucrat of the 19th Century. Newtonville, 1977.

Lincoln B. W. Nicholas I, emperor and autocrat of all the Russias. Bloomington : Indiana University Press, 1978.

Lincoln B. W. In the vanguard of reforms: Russian «enlightened bureaucrats», 1825–1861. DeKalb, 1982.

Lindenmeyr A. Poverty is not a vice. Charity, society, and the state in imperial Russia. Princeton, 1996.

Litvak O. Conscription and the search for modern Russian Jewry. Bloomington, 2006.

Lohr E. Nationalizing the Russian empire: The campaign against enemy aliens during World War I. Cambridge: Harvard univ. press, 2003.

Lohr E. War nationalism // The empire and nationalism at war /Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington: Slavica Publishers, 2014. P. 91-108.

Lotman and cultural studies: Encounters and extensions / Ed. by Schönle A. Madison: Univ. of Wisconsin press, 2006.

Löwe H.-D. Antisemitismus und reaktionare Utopie: Russischer Konservatismus in Kampi gegen den Wandel von Staat und Gesellschaft, 1890–1917. Hamburg: Hoffman und Campe, 1978.

Löwe H.-D. Die Lage der Bauern in Rußland, 1880–1905. Wirtschaftliche und soziale Veränderungen in der ländlichen Gesellschaft des Zarenreiches. Scripta Mercaturae, St. Katharinen 1987.

Luehrmann S. Alutiiq villages under Russian and U.S. rule. Fairbanks: Univ. of Alaska press, 2008.

Lynteris Chr. Ethnographic plague: Configuring disease on the Chinese-Russian frontier. L., 2016;

Macey D. Government actions and peasant reactions during the Stolypin reforms // New perspectives in modern Russian history. L., 1992.

Macey D. Government and peasant in Russia, 1861-1906. The prehistory of the Stolypin reforms. DeKalb, 1987.

Macey D. The land captains: A note of their social composition, 1889-1913 // Russian history. 1989. Vol.16, N 2-4. P. 327–352.

Madariaga I. de. Russia in the age of Catherine the Great. New Haven, 1981.

Maegd-Soep de C. The emancipation of women in Russian literature and society. Gent, 1978.

Maiorova O. From the shadow of empire: Defining the Russian nation through cultural mythology, 1855-1870. Madison, 2010.

The making of three Russian revolutionaries: Voices from the Menshevik past. Introduction by Haimson L. Cambridge: Cambridge univ. press, 1987.

Malia M. Alexander Herzen and the birth of Russian socialism, 1812–1855. Cambridge, 1961.

Malia M.E. Historian of Russian and European intellectual history. An Interview. Berkeley, 2005.

Malia M. Russia under the Western eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, 1999.

Manchester L. Holy fathers, secular sons: clergy, intelligentsia, and the modern self in revolutionary Russia. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2008.

Mannherz J. Modern occultism in late imperial Russia. DeKalb: NIU Press, 2012.

Manning R.T. The crisis of the old order in Russia: Gentry and government. Princeton: Princeton univ. press, 1982.

Mapping the feminine: Russian women and cultural difference / Ed. by Hoogenboom H., Nepomnyashchy C., Reyfman I. Bloomington: Slavica, 2008.

Marker G. Imperial saint: The cult of St. Catherine and the dawn of female rule in Russia. DeKalb: Northern Illinois university press, 2007.

Marker G. Publishing, printing, and the origins of intellectual life in Russia, 1700-1800. Princeton, 1985.

Marketing Russian history // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9, N 3. P. 497–504.

Markevich A., Zhuravskaya E. A quantitative approach to the Russian past: A comment on “Eu-ropean statistics, Russian numbers, and social dynamics, 1861-1914” by Alessandro Stanziani // Slavic review. 2017. Vol. 76, N 1. P. 37-44.

Markevich A., Zhuravskaya E. The economic effects of the abolition of serfdom: Evidence from the Russian empire // American economic review. 2018. Vol.108, N4-5. P. 1074–1117.

Marrese M.L. A woman's kingdom: Noblewomen and the control of property in Russia, 1700-1861. Ithaca: Cornell univ. press, 2002.

Martin R.E. The Petrine divide and the periodization of Early Modern Russian history // Slavic review. 2010. Vol.69. N 2. P. 410–425.

Mason A. Isaiah Berlin’s Russian Thinkers and the argument for inclusion // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012. Vol. 13. N 1. P. 185–200.

Mavor J. Economic history of Russia. L., 1925.

Mazour A.G. Rec. ad op.: Laqueur W. The fate of the revolution: Interpretations of Soviet history // // Slavic. rev. 1967. Vol. 26, N 2. P. 321.

McCaffray S.P. The politics of industrialization in tsarist Russia: The Association of Southern Coal and Steel Producers, 1874–1914. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1996.

McClelland J.C. Autocrats and academics: Education, culture, and society in tsarist Russia Chicago, 1979.

McDonald D. United government and foreign policy in Russia, 1900-1914. Cambridge, 1992.

McDonald D. United government and the crisis of autocracy, 1905-1914 // Reform in modern Russian history. Progress of cycle? Cambridge, 1995. P.193-212.

McKay J. P. Pioneers for profit: Foreign entrepreneurship and Russian industrialization. Chicago: Chicago univ. press, 1970.

McNally R.T. Chaadaev and his friends: An intellectual history of Peter Chaadaev and his Russian contemporaries. Tallahasse, 1971.

McNeal R. Bride of the revolution. Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1972.

McReynolds L. Russia at play: Leisure activities at the end of the tsarist era. Ithaca: Cornell univ. press, 2003.

McReynolds L. Murder most Russian: True crime and punishment in late imperial Russia. Ithaca, 2013.

Medzibovskaya I. Tolstoy and the religious culture of his time: a biography of a long conversion, 1845-1887. Lanham, MD: Lexington Books, 2008.

Meehan-Waters de B. Holy women of Russia: The lives of five Orthodox women offer spiritual guidance for today. San Francisco: Harper, 1993.

Merchant Moscow: Images of Russia's vanished bourgeoisie / Ed. by West J.L., Petrov Yu.A. Princeton: Princeton univ. press, 1998.

Merridale C. Rec. ad op.: Petrone K. The Great War in Russian Memory // American Historical Review. Vol. 112, N 4. P. 1330–1331.

Michael Karpovich, 1888-1959 / Ph.E. Mosely, M.E. Malia, W.H. Chamberlin, D. von Mohrenschildt // Russian review. 1960. Vol.19. N 1. P. 56–76.

Mickiewicz E. Celebrating ASEEES: Reflections on the 1980s // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. October 2018. Vol. 57. N 5. P. 1–5.

Miller F.A. Dmitrii Miliutin and the Reform Era in Russia. Nashville, 1968.

Miller G.A. Kodiak Kreol: Communities of empire in early Russian America. Ithaca, 2010.

Miller D.B. Saint Sergius of Radonezh, his Trinity Monastery, and the formation of the Russian identity. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010.

Miller A. The role of the First World War in the competition between Ukrainian and All-Russian nationalism // The empire and nationalism at war /Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington: Slavica Publishers, 2014. P. 73–90.

Mirsky D. A history of Russia. L., 1927.

Mirsky D. Russia. A social history. L., 1931.

Mjør K. J. Russian history and European ideas: The historical vision of Vasilii Kliuchevskii // Вестник Пермского университета. История. Пермь, 2012. Вып. 4 (27). С. 194–206.

Modernization of Japan and Russia: A comparative study / C.E. Black, M.B. Jansen H.S. Levine et al. N.Y.; L., 1975.

Monas S. The Third Section; police and society in Russia under Nicholas I. Cambridge (Mass.), 1961.

Moon D. The Russian peasantry, 1600-1930: The world the peasants made. L.: Longman, 1999.

Morenschildt D. From the editor // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol.26, N 1.

Morfill W.R. Russia. L., 1875.

Morrison A.S. Russian rule in Samarkand, 1868–1910: A comparison with British India. Oxford: Oxford univ. press, 2008.

Mosely Ph. Professor Michael Karpovich // Russian thought and politics / Ed. by H. McLean et. al. Cambridge, 1957. P. 1–13.

Mosely Ph.E. The growth of Russian studies // American research on Russia / Ed. by H. Fisher. P. 10.

Mostashari F. On religious frontier: Tsarist Russia and Islam in the Caucasus. L.: I.B. Tauris, 2006.

Müller E. Russischer Intellekt in europäischer Krise: Ivan V. Kireevskij (1806–1856). Boehlau, 1966.

Murav H. Russia’s legal fictions. Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1998.

Nafziger S. Quantification and the economic history of imperial Russia // Slavic review. 2017. Vol. 76, N 1. P. 30-36.

Naimark N.M. Terrorists and social-democrats. The Russian revolutionary movement under Alexander III. Cambridge, 1983.

Nationalizing empires / Ed. by Miller A., Berger S. Budapest; B.Y.: CEU press, 2015.

Nelson A. Saving Seventeen moments in Soviet history: An interview with Lewis Siegelbaum and James von Geldern // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. January 2016. Vol. 56, N 1. P. 20-24.

Neuberger J. Popular legal cultures. The St.Petersburg mirovoi sud // Russia's Great reforms, 1855-1881. Bloomington, 1994. P.231-246.

New labor history: Worker identity and experience in Russia, 1840–1918 / Ed. by Melançon M., Pate A.K. Bloomington: Slavica publishers, 2002.

The new Muscovite cultural history / Ed. by Kivelson V. et al. Bloomington: Slavica publisher, 2009.

Nietzsche in Russia / Ed. by Rosenthal B.G. Princeton, 1986.

Norris S.M. A war of images: Russian popular prints, wartime culture, and national identity, 1812-1945. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2006.

Northrop D. Veiled empire: Gender and power in Stalinist Central Asia. Ithaca: Cornell univ. press, 2004.

O'Malley L. D. The dramatic works of Catherine the Great: Theatre and politics in eight-eenth-century Russia. Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, 2006.

Obertreis J. Imperial desert dreams: Cotton growing and irrigation in Central Asia, 1860–1991. Gottingen, 2017.

Of religion and empire: Missions, conversion, and tolerance in tsarist Russia / Ed. by Geraci R.P., Khodarkovsky M. Ithaca, 2001.

Offord D. Portraits of early Russian liberals: A study of the thought of T.N. Granovsky, V.P. Botkin, P.V. Annenkov, A.V. Druzhinin, and K.D. Kavelin. Cambridge, 1985.

Offord D. The Russian revolutionary movement in the 1880s. Cambridge, 1986.

Orientalism and empire in Russia / Ed. by David-Fox M., Holquist P., Martin M. Bloomington, 2006.

Orlovsky D. High officials in the Ministry of Internal Affairs, 1855-1881 // Russian officialdom from the 17th through the 20th centuries: The bureaucratization of Russian society / Ed. by Pintner R., Rowney D.K. Chapel Hill, 1980. P.250-282.

Orlovsky D. The limits of reform: The Ministry of internal affairs in imperial Russia, 1802–1881. Cambridge, 1981.

Orlovsky D. Professionalism in the ministerial bureaucracy on the eve of the February revolution of 1917 // Russia's missing middle class. The professions in Russian history / Ed. by H. D. Balzer. N.Y.: M.E.Sharpe, 1996. P. 267-292.

Orlovsky D. Recent studies on the Russian bureaucracy // Russian review. Stanford, 1976. Vol. 35. N 4. P. 448-467.

Orthodox Christianity in imperial Russia: a source book on lived religion / Ed. by Coleman H.J. Bloomington: Indiana univ. press, 2014.

Orthodox Russia: Belief and practice under the Tsars / Ed.by Kivelson V.A., Robert H. Greene R.H. University Park: Pennsylvania state univ. press, 2003.

Ostrowski D. The end of Muscovy: The case for circa 1800 // Slavic review. 2010. Vol. 69. N 2. P. 426–438.

Owen T.C. Capitalism and politics in Russia: A social history of the Moscow merchants, 1855-1905. Cambridge: Cambridge univ. press, 1981.

Owen Th.C. Dilemmas of Russian capitalism: Fedor Chizhov and corporate enterprise in the railroad age. Cambridge: Harvard univ. press, 2005.

Owen T.C. Russian corporate capitalism from Peter the Great to perestroika. N.Y.: Oxford univ. press, 1995.

Owen T. The corporation under Russian law, 1800-1917: A study in tsarist economic policy. N.Y.: Cambridge univ. press, 1991.

Owens K.N., Petrov A.Yu. Empire maker: Aleksandr Baranov and Russian colonial expansion into Alaska and Northern California. Seattle: Univ. of Washington press, 2015.

Paert I. Old Believers, religious dissent and gender in Russia. Manchester: Manchester univ. press, 2003.

Paert I. Spiritual elders: Charisma and tradition in Russian Orthodoxy. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010.

Pallot J. Did the Stolypin land reform destroy the peasant commune? // New perspectives in modern Russian history. N.Y., 1992

Pallot J. Land reform in Russia, 1906-1917: Peasant responses to Stolypin's project of rural transformation. Oxford, 1999.

Pallot J. Social change and peasant land-holding in pre-revolutionary Russia. Oxford : School of Geography, University of Oxford, 1982.

Pares B. A history of Russia. L., 1926.

Pares B. Russia and reform. L., 1907.

Pares B. The fall of the Russian monarchy. L., 1939.

Pares B. The New Russia. 1931.

Park L. 2011 Executive Director’s Report. // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. 2012. Vol. 52, N 1. P. 17-18.

Park L. 2019 Executive Director report // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. January 2020. Vol. 60, N 1. P. 7–11.

Parppei K. «The oldest one in Russia»: the formation of the historiographical image of Valaam Monastery. Leiden, Boston, 2011.

Patyk L.E. Written in blood: Revolutionary Terrorism and Russian Literary Culture, 1861–1881. Madison, 2017.

Pavlovsky G. Agricultural Russia on the eve of the revolution. L., 1930.

Paxson M. Solovyovo: The story of memory in a Russian village. Bloomington, 2005.

Payne M. J. “Do you want me to exterminate all of them or just the ones who oppose us?”: The 1916 Revolt in Semirech′e // Empire and belonging in the Eurasian borderlands / Ed. by Goff K.A. and Siegelbaum L. H. Ithaca: Cornell univ. press, 2019. P. 65-79.

Pearson T. Russian law and rural justice: Activity and problems of the Russian justices of peace, 1865-1889 // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1984. Bd. 32. S. 52-71.

Pearson R. The Russian moderates and the crisis of tsarism, 1914-1917. N.Y.: Barnes&Nobles, 1977.

Pearson T. Russian Officialdom in crisis: Autocracy and local self-government, 1861-1900. Cambridge, 1989.

Pearton M. The history of SSEES: The political dimension // Slavonic and East European review. 1993. Vol. 71. N 2. P. 287–294.

Peasant Economy, Culture, and Politics in European Russia, 1800-1921/ Ed. by E. Kingston-Mann, T. Mixter. Princeton, 1991.

Peopling the Russian periphery: Borderland colonization in Eurasian history / Ed.by Breyfogle N., Schrader A., Sunderland W. N.Y., 2007.

Pereira N. Alexander II and the decision to emancipate the Russian serfs, 1856-1861 // Canadian Slavonic papers. Toronto, 1980. Vol. 22. N 1. P. 99–115.

Pereira N.G.O. The thought and teachings of N. G. Černyševskij. Paris, 1975

Pereira N. Tsar-liberator: Alexander II, 1855–1881. Newtonville, 1983.

Perrie M. The agrarian policy of the Russian Socialist-Revolutionary party from its origins through the revolution of 1905-1907. N.Y.: Cambridge univ. press, 1976.

Peters D. Politische und gesellschaftliche Vorstellungen in der Aufstandsbewegung unter Pugacev (1773-1775) // Forschungen zur osteuropaischen Gcschichte. Vol.17 (1973).

Peterson C. Peter the Great's administrative and judicial reforms: Swedish antecedents and the process of reception. Stockholm, 1979ю

Peterson M.K. Pipe dreams: Water and empire in Central Asia's Aral Sea basin. Cambridge, 2019.

Petrone K. The Great War in Russian memory. Bloomington: Indiana univ. press, 2011.

Petrovich M. The emergence of Russian Panslavism, 1856–1870. N.Y. 1956;

Picturing Russia: Explorations in Russian visual culture / Ed. by Kivelson V.A., Neuberger J. New Haven: Yale univ. press, 2008.

Pietrow-Ennker B. Russlands 'neue Menschen': die Entwicklung den Frauenbewegung von der Anfaengen bis zur Oktoberrevolution. Frankfurt a. M.; N.Y.: Campus-Verlag, 1999.

Pinchuk B.-C. The Octobrists in the Third Duma, 1907-1912. Seattle: Univ. of Washington press, 1974.

Pintner W. Civil officialdom and the nobility in the 1850's // Russian officialdom from the 17th through the 20th centuries: The bureaucratization of Russian society / Ed. by Pintner R., Rowney D.K. Chapel Hill, 1980. P.227-249.

Pintner W. The evolution of civil officialdom, 1755-1855 // Russian officialdom from the 17th through the 20th centuries: The bureaucratization of Russian society / Ed. by Pintner R., Rowney D.K. Chapel Hill, 1980. P.190-226.

Pintner W. Reformability in the age of reform and counterreform, 1855-1894 // Reform in Russia and the USSR: Past and prospects / Ed. by Robert O.Crumney. Urbana, 1989. P.893-106.

Pintner W. The Russian higher civil service on the eve the ‘Great Reforms’ // J. of social history. 1975. N 1. P.55-68.

Pipes R. Karamzin’s Memoir on ancient and modern Russia. Cambridge, 1959.

Pipes R. Russia under the old regime. N.Y.: Scribner, 1974

Pipes R. Struve. Liberal on the left, 1870–1905. Cambridge: Harvard univ. press, 1970.

Pipes R. Struve: Liberal on the right, 1905–1944. Cambridge: Harvard univ. press, 1980.

Pipes R. The formation of the Soviet Union. Cambridge, 1954.

Pipes R. The formation of the Soviet Union: communism and nationalism, 1917-1923. Cambridge (Mass.), 1964.

Pipes R. The Russian revolution. N.Y.: Knopf, 1990.

Pipes R. To the editors // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, No. 2. P. 435.

Pipes R. Vixi. Memoirs of a non-belonger. New Haven, 2003.

Plamper J. Introduction // Slavic review. 2009. Vol. 68, N 2. P. 229-237.

Poe M. A people born to slavery. Russia in Early Modern ethnography, 1476–1748. Ithaca; N.Y., 2000.

Poe M.T. Moscow, the Third Rome: The origins and transformations of a «Pivotal Moment» // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2001. H. 49. Bd 3. S. 412–429.

Poe M. The truth about Muscovy // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. N 3. P. 473–486.

The politics of rural Russia, 1905-1914 / Ed. by Leopold H. Haimson. Bloomington, 1979.

Pomper Ph. Peter Lavrov and the Russian revolutionary movement. Chicago, 1972

Porter C. Fathers and daughters: Russian women in revolution. L., 1975.

Pravilova E. A public empire: Property and the quest for the common good in imperial Russia. Princeton, 2014.

Proskurina V. Creating the empress: Politics and poetry in the age of Catherine II. Brighton, 2011.

Prusin A.V. Nationalizing a borderland: War, ethnicity, and anti-Jewish violence in East Galicia, 1914–1920. Tuscaloosa: Univ. of Alabama press, 2005.

Pushkarev S.G. 1917 – a memoir // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol.26, N 1. P. 54-67.

Putnam G.F. Russian alternatives to Marxism: Christian socialism and idealistic liberalism in twentieth-century Russia. Knoxville: Univ. of Tennessee press, 1977.

Raeff M. Introduction // Plans for political reform in imperial Russia, 1730–1905 / Ed. by M. Raeff. Englewood Cliffs, N.J., 1966. P. 1–39.

Raeff M. Michael Speransky: Statesman of imperial Russia, 1772-1839. The Hague, 1957.

Raeff M. Origins of the Russian intelligentsia; the eighteenth-century nobility. N.Y.; Harcourt, 1966.

Raeff M. Political ideas and institutions in imperial Russia. Westview press, 1994.

Raeff M. Russia’s autocracy and paradoxes of modernization // Ost-West-Begegnung in Osterreich: Festschrift fur Eduard Winter. Koln, 1976. P. 275–283.

Raeff M. Russia’s perception of her relationship with the West // Slavic review. 1964. Vol. 23. N 1. P. 13–19.

Raeff M. Siberia and the reforms of 1822. Seattle, 1956.

Raeff M. The Russian autocracy and its officials // Harvard Slavic studies, IV: Russian thought and politica. Cambridge, 1957. P. 77–91.

Raeff M. Toward a new paradigm? // Historiography of imperial Russia: The profession and writing of history in a multinational state / Ed. by T. Sanders. N.Y., 1999. P. 481–486.

Raeff M. The well-ordered police state: Social and institutional change through law in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, 1983.

Ragsdale H. Comparative historiography of the social history of revolutions: English, French, and Russian // Journal of historical society. 2003. Vol. 3. N 3-4. P. 323–372.

Raleigh D. Doing Soviet history: The impact of the archival revolution // Russian review. 2002. Vol. 61, N 1. P. 16–24.

Ralston W.R.S. Early Russian history: Four lectures delivered at Oxford. L., 1874.

Ram H. The imperial sublime: A Russian poetics of empire. Madison, 2003.

Randall A. The Soviet dream world of retail and consumption in the 1930s. N.Y.: Palgrave Macmilla, 2008.

Randall F. Introduction // Pares B. Russia: Between reform and revolution. N.Y., 1962. P. I–XVI.

Randolph J. The house in the garden: The Bakunin family and the romance of Russian idealism. Ithaca: Cornell univ. press, 2007.

Ransel D. The politics of Catherinian Russia: The Panin party. New Haven, 1975.

Ransel D. A Russian merchant's tale: The life and adventures of Ivan Alekseevich Tolchënov based on his diary. Bloomington, 2009.

Ransel D. Mothers of misery: Child abandonment in Russia. Princeton 1988

Ransel D. A single research community? Not yet // Slavic rev. 2001. Vol. 60. N 3. P. 550-557.

Ransel D.L. Village mothers: Three generations of change in Russia and Tataria. Bloomington: Indiana univ. press, 2000.

Rauber Urs. Schweizer Industrie in Russland. Ein Beitrag zur Geschichte der industriellen Emigration des Kapitalexportes und des Handels der Sweiz mit dem Zarenreich (1760-1917). Zurich: Hands Rohr, 1985.

Read Ch. In search of liberal tsarism: The historiography of autocratic decline // Historical journal. Cambridge, 2002. Vol.45. N 1. P.197-199.

Reform in modern Russian history: Progress or cycle? / Ed. and transl. by Taranovsky T. Cambridge, 1995

Reform in Russia and the USSR: Past and prospects / Ed. by Crummey R. Urbana, 1989

Reforming justice in Russia, 1864-1994: Power, culture and the limits of legal order. N.Y., 1997.

Reichman H. Railwaymen and Revolution: Russia, 1905. Berkeley, 1987

Reinterpreting Russia / Ed. by Hosking J., Service R. L., 1999.

Religion and identity in Russia and the Soviet Union: A festschrift for Paul Bushkovitch / Ed. by Chrissidis N. et al. Bloomington: Slavica publishers, 2011.

Reyfman I. Ritualized violence Russian style: The duel in Russian culture and literature. Stanford, 1999.

Reynolds M.A. Shattering empires: the clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 1908–1918. Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011.

Riasanovsky N.V. My historical research in the Soviet Union // Adventures in Russian historical research. Reminiscences of America scholars from the Cold War to the present / Ed. by S.H. Baron, C. Frierson. N.Y., 2003. P. 1–18.

Riasanovsky N.V. Nicholas I and official nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley; L., 1959.

Riasanovsky N.V. Professor of Russian and European intellectual history. University of California, Berkeley, 1957–1997: oral history transcript. Manuscript. Univ. of California, 1998.

Riasanovsky N.V. The Russian Empire as an Underdeveloped Country // Slavic review. 1961. Vol. 20, N 4. P. 589–593.

Rice Chr. Russian workers and the socialist-revolutionary party through the revolution of 1905-1907. N.Y.: St. Martin's press, 1988.

Rieber A. Alexander II: A revisionist view // J. of modern history. Chicago, 1971. Vol.43, N 1. P.42-58.

Rieber A. Bureaucratic politics of imperial Russia// Social science history. 1978. Vol. 2, N 4. P. 399-413.

Rieber A. Interest-group politics in the era of the Great reforms // Russia's Great reforms, 1855-1881 / Ed. by B. Eklof, J. Bushnell, L. Zakharova. Bloomington: Indiana univ. press, 1994. P. 58-83.

Rieber A.J. Merchants and entrepreneurs in imperial Russia. Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1982.

Rieber A. Patronage and professionalism: The Witte system // Проблемы всемирной истории: Сб. статей в честь Александра Александровича Фурсенко. СПб., 2000. С. 286-298.

Rieber A. Petr Andreevich Zaionchkovskij (1983) // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1985. Bd. 33, H.2. S. 313–316.

Rieber *A.* The reforming tradition in Russian and Soviet history: Commentary // Reform in modern Russian history. Cambridge, 1995.P.237-243.

Rieber A. The struggle for the Eurasian borderlands: From the rise of Early Modern empires to the end of the First World War. Cambridge: Cambridge univ. press, 2014.

Riha T. A Russian European: Paul Miliukov on Russian politics. Notre Dame, 1969.

Robarts A. Migration and disease in the Black Sea region: Ottoman-Russian relations in the late eighteenth and early nineteenth centuries. L.; N.Y., 2016.

Robbins R.G., jr. Famine in Russia, 1891-1892: The imperial government responds to a crisis. N.Y., 1975.

Robbins R.G. The limits of professionalization: Russian governors at the beginning of the twentieth century // Russia's missing middle class. The professions in Russian history / Ed. by H. D. Balzer. N.Y.: M.E.Sharpe, 1996. P. 251-266.

Robbins R.G., jr. The Tsar's viceroys: Russian provincial governors in the last years of the empire. Ithaca, 1987.

Roberts H.L. Russia and the West: A comparison and contrast // Slavic review. 1964. Vol. 23. N 1. P. 1–12.

Robinson G. Rural Russia under the Old Regime. N.Y., 1932.

Robinson G.T. The ideological combat // Foreign affairs. 1948–1949. N 27. P. 529–539.

Robson R. Solovki: The story of Russia told through its most remarkable islands. New Haven: Yale university press, 2004.

Rock S. Popular religion in Russia: «Double belief» and the making of an academic myth. L.; N.Y.: Routledge, 2007.

Rogers D. Historical anthropology meets Soviet history // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2006. Vol. 7. N 3. P. 633-649.

Rogers D. The old faith and the Russian land: A historical ethnography of ethics in the Urals. Ithaca: Cornell univ. press, 2009.

Rogger H. National consciousness in eighteenth-century Russia. Cambridge, 1960.

Rogger H. Russia in the age of modernization and revolution, 1881-1917. L., 1983.

Romaniello M. P. The Elusive empire: Kazan and the creation of Russia, 1552–1671. Madison, Wis., 2012.

Roosa R.A. Russian industrialists in an era of revolution: The Association of Industry and Trade, 1906–1917 / Ed. by Owen T.C. Armonk: M.E. Sharpe, 1997.

Roosevelt P.R. Apostle of Russian liberalism: Timofei Granovsky. Newtonville, 1986.

Roosevelt P. Discovering rural Russia: A forty-year Odyssey // Adventures in Russian historical research. Reminiscences of America scholars from the Cold War to the present / Ed. by S.H. Baron, C. Frierson. N.Y., 2003. P. 37-47.

Rosenberg W. Celebrating ASEEES: Reflections on the 2000s // NewsNet: News of the Association for Slavic, East European, and Eurasian studies. October 2018. Vol. 57. N 5. P. 8-10.

Rosenberg W.G. Liberals in the Russian revolution: The Constitutional democratic party, 1917-1921. Princeton: Princeton univ. press, 1974.

Rosenberg W.G. On the problem of reform in Russia and the Soviet Union // Reform in Russia and the USSR. P.270-283.

Rosenholm A. Gendering awakening: Femininity and the Russian woman question of the 1860s. Helsinki: Kikimora publ., 1999.

Ross D. The new and newer histories: Social theory and historiography in an American key // Imagined histories. American historians interpret the past / Ed. by A. Molho, G.S. Wood. Princeton: Princeton University Press, 2018. P. 85–107.

Ross D. Tatar empire: Kazan's Muslims and the making of imperial Russia. Bloomington, 2020.

Rosslyn W. Deeds, not words: The origins of women’s philanthropy in the Russian empire. Birmingham: Centre for Russian and East European Studies, 2007.

Ruane C. Clothes shopping in Imperial Russia: the development of a consumer culture // Journal of social history. 1995. Vol.28, N 4. P. 765-782.

Ruane C. Gender, class, and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914. Pittsburgh, 1994.

Ruane C. The empire's new clothes. A history of the Russian fashion industry, 1700–1917. New Haven: Yale univ. press, 2009.

Rubin D. Holy Russia, sacred Israel: Jewish-Christian encounters in Russian religious thought. Brighton, Mass.: Academic studies press, 2010.

Ruckman Jo Ann. The Moscow business elite: A social and cultural portrait of two generations, 1840-1905. Carbondale, Northern Illinois univ. press, 1984.

Russia in the European context, 1789–1914: a member of the family / Ed. by McCaffray S., Melancon M. N.Y., 2005.

Russia under Catherine the Great. Vol. 1: Select Documents on Government and Society. / Ed., translat., introd. by P. Dukes. Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1978.; Vol. 2: Catherine the Great's instruction (Nakaz) to the legislative commission, 1767 / Ed., translat. by P. Dukes. Oriental Research Partners, 1977.

Russia's dissident old believers, 1650–1950 / Ed. by Michels G.B., Nichols. R.L. Minneapolis: Univ. of Minnesota, Modern Greek Studies, 2009.

Russia's Great reforms, 1855-1881 / Ed. by Eklof B., Bushnell J., Zakharova L. Bloomington, 1994.

Russia's missing middle class. The professions in Russian history / Ed. by H. D. Balzer. N.Y.: M.E.Sharpe, 1996.

Russia's Orient: Imperial borderlands and peoples, 1700–1917 / Ed.by Brower D.R., Lazzerini E.J. Bloomington, 1997.

Russia's people of empire: Life stories from Eurasia, 1500 to the present / Ed. by Norris S.M., Sunderland W. Bloomington, 2012.

Russia's women: Accommodation, resistance, transformation / Ed. by Clements B.E, Engel B.A, Worobec Ch.D. Berkeley, 1991.

Russian economic policy under Nicholas I. / by W. McKenzie Pintner. Ithaca: Cornell University Press, 1967.

Russian empire: Space, people, power / Ed. by Burbank J., von Hagen M., Remnev A. Bloomington, 2007.

Russian history through the senses. From 1700 to the present / Ed. by Romaniello M.P., Starks T. L.: Bloomsbury, 2016.

Russian masculinities in history and culture / Ed. by Clements B.E. et al. Basingstoke (Hunts); N.Y.: Palgrave, 2002.

Russian modernity: Politics, knowledge, practices / Ed. by Hoffmann D.L., Kotsonis Y. Basing-stoke; N.Y.: St. Martin's press, 2000.

Russian officialdom from the 17th through the 20th centuries: The bureaucratization of Russian society / Ed. by Pintner R., Rowney D.K. Chapel Hill, 1980.

Russian peasant women / Ed. by Farnsworth B., Viola L. N.Y., 1992.

Russian women, 1698-1917: Experience and expression, an anthology of sources / Comp., ed., annot., a. introd. by Bisha R. et al. Bloomington: Indiana univ. press, 2002.

Ruud Ch. Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press. 1804-1906. Toronto, 1982.

Sablinsky W. The road to Bloody Sunday: Father Gapon and the St. Petersburg massacre of 1905. Princeton: Princeton univ. press, 1976.

Sabol S. "The touch of civilization": Comparing American and Russian internal colonization. Boulder, 2017.

Sacred stories: Religion and spirituality in modern Russia / Ed. by Steinberg M.D. and Coleman H.J. Bloomington: Indiana univ. press, 2007.

Sahadeo J. Russian colonial society in Tashkent, 1865-1923. Bloomington: Indiana univ. press, 2007.

Saltman R.B. The Social and political thought of Michael Bakunin. Westport, 1983.

Sanborn J.A. Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905-1925. De Kalb: Northern Illinois univ. press, 2003.

Sanborn J. Imperial apocalypse: The Great war and the destruction of the Russian empire. N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 2014.

Sanborn J. The genesis of Russian Warlordism: Violence and Governance during the First World War and the Civil War // Contemporary European history. 2010. Vol. 19, special issue 03. P. 195–213.

Sanborn J.A. Unsettling the empire: violent migrations and social disaster in Russia during World War I // The journal of modern history. 2005. Vol. 77, N 2. P. 290–324.

Sanborn J. War of decolonization: The Russian empire in the Great War // The empire and nationalism at war / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington: Slavica Publishers, 2014. P. 49-72.

Schainker E.R. Confessions of the shtetl: converts from Judaism in imperial Russia, 1817–1906. Stanford, 2017.

Schakovskoy Z. The February revolution as seen by a child // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol.26, N 1. P. 68-73.

Schakovskoy Z. The October revolution as seen by a child // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol.26, N 4. P. 376-390.

Science and empire in Eastern Europe: Imperial Russia and the Habsburg monarchy in the 19th century / Ed. by Arend J. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019.

Schimmelpenink van der Oye D. Russian orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great to the emigration. New Haven: Yale univ. press, 2010.

Schneiderman I. Sergei Zubatov and revolutionary marxism: The struggle for the working class in tsarist Russia. Ithaca, 1976.

Semyonova Tian-Shanskaia O. Village life in late tsarist Russia / ed. by. Ransel D.L. Bloomington: Indiana univ. press, 1993.

Seregny S.J. Russian teachers and peasant revolution: The politics of education in 1905. Bloomington: Indiana univ. press, 1989.

Seton-Watson H. Benedict Humphrey Sumner. 1893-1951 // The Slavonic and East European review. 1951. Vol. 30. N 74. P. 260–262.

Seton-Watson H. Russia and modernization // Slavic review. 1961. Vol. 20. N 4 P. 583–588.

Seton-Watson H. The Russian empire 1801-1917. Clarendon, 1967.

Shanin T. Russia as a «developing» society. Vol.1. The Roots of Otherness: Russia's Turn of Century. L., 1985; Vol.2. Russia, 1905–1907: Revolution as a moment of truth. New Haven, 1986.

Shanin T. The roots of otherness: Russia's turn of the century. Vol.1: Russia as a «developing society». Vol.2. Russia, 1905-1907: Revolution as a moment of truth. New Haven: Yale univ. press, 1986.

Shatterzone of empires: Coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands / Ed. by Bartov O., Weitz E.D. Bloomington: Indiana univ. press, 2013.

Shearer D. From divided consensus to creative disorder: Soviet history in Britain and North America // Cahiers du monde russe. 1998. Vol. 39, N 4. P. 559–591.

Shevzov V. Russian Orthodoxy on the eve of revolution. Oxford: Oxford university press, 2004.

Shklovsky V. At the front – summer 1917 // The Russian rev. N.Y., 1967. Vol. 26, N 2. P. 219-230.

Shukman H. Lenin and the Russian Revolution. N.Y.: Putnam's Son's, 1967.

Sifneos E. Imperial Odessa: Peoples, spaces, identities. Leiden; Boston, 2018.

Simms J.Y., jr. The crisis in Russian agriculture at the end of the nineteenth century: A different view // Slavic review. 1977. Vol. 36, N 3. P. 377-398.

Simms J.Y., jr. The crop failure of 1891: Soil exhaustion, technological backwardness, and Russia's «Agrarian Crisis» // Slavic review. 1982. Vol. 41, N 2. P. 236-250.

Sinel A. The classroom and the chancellery: State educational reform in Russia under Count Dmitrii Tolstoy. Cambridge, 1973.

Sirotkina I. Diagnosing literary genius: A cultural history of psychiatry in Russia, 1880-1930. The Johns Hopkins univ. press, 2002.

Skerpan A. The Russian national economy and emancipation // Essays in Russian history / Ed. by Ferguson A., Levin A. Hamden, 1964.

Skinner B. The Western front of the Eastern church: Uniate and Orthodox conflict in 18th-century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2009.

Smith A. Russian history – is it in archives? // Archives, documentation, and institutions of social memory: essays from the Sawyer Seminar I / Ed. by F.X. Blouin Jr., W.G Rosenberg. Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 2006. P. 451-458.

Smith G.S. D.S. Mirsky: A Russian-English life. Oxford, 2000.

Smith S. Popular culture and market development in late imperial Russia // Reinterpreting Russia / Ed. By Geoffrey Hosking and Robert Service. L., 1999. P. 142–155.

Smith-Peter S. Imagining Russian regions: Subnational identity and civil society in nineteenth-century Russia. Leiden; Boston: Brill, 2018.

Solomon S.G. Circulation of knowledge and the Russian locale // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian history. 2008. Vol. 9, N 1. P. 9–26.

Some paradoxes of the «new imperial history» // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, N 4. P. 623-625.

Space, place, and power in modern Russia: Essays in the new spatial history / Ed. by Bassin M., Ely C., Stockdale M.K. DeKalb, 2010.

Staliūnas D. Making Russians: Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2007.

Stanziani A. After Oriental despotism. Warfare, labour and growth, sixteeenth-twentieh centuries. L., 2014.

Stanziani A. Bondage: Labor and rights in Eurasia from the sixteenth to the early twentieth cen-turies. N.Y.; Oxford: Berghahn, 2014.

Stanziani A. European statistics, Russian numbers, and social dynamics, 1861-1914 // Slavic review. 2017. Vol. 76, N 1. P. 1-23.

Stanziani A. L'économie en révolution: le cas russe, 1870-1930. P.: A. Michel, 1998.

Stanziani A. Seamen, immigrants and indentured laborers in the Indian Ocean, 18th-20th centuries. N.Y., L.: Palgrave MacMillan, 2014.

Starr F. Decentralization and local self-government in Russia, 1830-1870. N.Y., 1972.

A state of nations: empire and nation-making in the age of Lenin and Stalin / Ed. by Suny R.G., Martin T. Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2001.

Steinberg M.D. Moral communities: The culture of class relations in the Russian printing industry, 1867–1907. Berkeley: Univ. of California press, 1992.

Steinberg M. Petersburg fin de siècle. New Haven, 2013.

Steinberg M.D. Proletarian imagination: Self, modernity, and the sacred in Russia, 1910-1925. Ithaca: Cornell university press, 2002.

Steinberg M. The Russian revolution, 1905-1921. Oxford: Oxford univ. press, 2017.

Steinwedel Ch. Threads of empire: Loyalty and tsarist authority in Bashkiria, 1552-1917. Bloomington, 2016.

Stites R. The women's liberation movement in Russia: Feminism, nihilism and bolshevism, 1860-1930. Princeton, 1978.

Stoff L. They fought for the motherland: Russia's women soldiers in World War I and the revolution, (1914-1920). Lawrence: Univ. press of Kansas, 2006.

Stone N. The Eastern front, 1914-1917. L.: Hodder and Stoughton, 1975.

Stuart M. Aristocrat-librarian in service to the tsar: Aleksei Nikolaevich Olenin and the Imperial Public Library. Boulder, 1986.

Sumner B.H. Russia and the Balkans, 1870–1880. Oxford, 1937.

Sumner B.H. Survey of Russian history. L., 1944; L., 1947.

Sunderland W. Taming the wild field: Colonization and empire on the Russian steppe. Ithaca, 2004.

Sunderland W. The Baron's cloak. A history of the Russian Empire in war and revolution. Ithaca, 2014.

Suny R.G. Back and beyond: Reversing the cultural turn? // The American historical review. 2002. Vol. 107, N 5. P. 1476–1499.

Suny R. Introduction: // The empire and nationalism at war / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington: Slavica Publishers, 2014. P. 1-8.

Surh G.D. 1905 in St.Petersburg: Labor, society, and revolution. Stanford: Stanford univ. press, 1989.

Symposium // Slavic. rev. 1967. Vol. 26, N 1. P.1-28.

Szeftel M. The historical limits of the question of Russia and the West // Slavic review. 1964. Vol. 23. N 1. P. 20–27.

Szporluk R. Pokrovski's view of the Russian Revolution // Slavic. rev. 1967. Vol. 26, N 1. P. 70–84.

Taranovsky T. The aborted counterreform: Murav'ev Commission and the Judicial Statutes of 1864 // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1981. Bd. 29. H. 2. S. 161-184.

Thinking Orthodox in modern Russia: culture, history, context / Ed. by Michelson P.L., Kornblatt J.D. Madison: Wisconsin: The univ. of Wisconsin press, 2014.

Thurston P. Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, Central Asia, and Eastern Europe accepted by universities in the United States, Canada, and Britain, 1999 // Slavic review. 2000. Vol. 59, N 4. P. 947–958.

Thurston P. Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, Central Asia, and Eastern Europe accepted by universities in the United States, Canada, and Britain, 2000 // Slavic review. 2001. Vol. 60, N 4. P. 897–908.

Thurston P. Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, Central Asia, and Eastern Europe accepted by universities in the United States, Canada, Britain, and Australia, 2005 // Slavic review. 2006. Vol. 65, N 4. P. 861-879.

Thurston P. Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, Central Asia, and Eastern Europe accepted by universities in the United States, Canada, Britain, and Australia, 2006 // Slavic review. 2007. Vol. 66, N 4. P. 792-807.

Thurston P. Doctoral dissertations on Russia, the Soviet Union, Central Asia, and Eastern Europe accepted by universities in the United States and Canada, 2013 // Slavic rev. 2014. Vol. 73, N 4. P. 970-985.

Thurston R.W. Liberal city, conservative state: Moscow and Russia's urban crisis, 1906-1914. N.Y.: Oxford univ. press, 1987.

Thyrêt I. Between God and tsar: Religious symbolism and the royal women of Muscovite Russia. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2001.

Tobias H.J. The Jewish Bund in Russia from its origins to 1905. Stanford: Stanford univ. press, 1972.

Tokmakoff G. P.A. Stolypin and the Third Duma: An appraisal of the three major issues. Wash., D.C.: Univ. press of America, 1981.

Tolz V. Russia's own Orient: The politics of identity and Oriental studies in the late imperial and early Soviet periods. Oxford, 2004.

Tompkins S.R. The triumph of Bolshevism: Revolution or reaction? Oklahoma: Univ. of Oklahoma press, 1967.

Torke H.-J. Continuity and change in the relations between bureaucracy and society in Russia, 1613-1861 // Canadian Slavic studies. 1971. Vol.5, N 4. P.457-476.

The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861 / Ed. by: C.E. Black. Cambridge (Mass.), 1960.

Transforming peasants: Society, state, and the peasantry / Ed. by J. Pallot. Basingstoke, 1998.

Treadgold D. Lenin and his rivals: the struggle for Russia's future, 1898–1906. N.Y., 1955.

Treadgold D. The great Siberian migration; government and peasant in resettlement from emancipation to the First World War. Princeton, 1957.

Treadgold D. When Russian studies were taking off // Russian history. 1988. Vol.15. N 1. P. 115–127.

The Trinity Saint Sergius Lavra in Russian history and culture / Ed. by Tsurikov V. Jordanville: Holy Trinity seminary press, 2005.

Triska J.F. Rec. ad op.: The impact of the Russian Revolution, 1917-1967: The Influence of Bolshevism on the world outside Russia. [A Symposium: A. Toynbee, N. McInnes, H. Seton-Watson, P. Wiles, R. Lowenthal]. L., N.Y., Toronto: Oxford univ. press, 1967. 357 p. // The Russian rev. N.Y., 1968. Vol. 27, N 2. P. 243-244.

Tuna M. Imperial Russia's Muslims: Islam, empire and European modernity, 1788-1914. Cambridge: Cambridge univ. press, 2015.

Turizm: The Russian and East European tourist under capitalism and socialism / Ed. by Gorsuch A.E., Koenker D.P. Ithaca: Cornell university press, 2006.

Turton K. Forgotten lives: The role of Lenin's sisters in the Russian revolution, 1864-1937. Basingstoke, Hampshire; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007.

Valliere P. Modern Russian theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov: Orthodox theology in a new key. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2000.

Venturi F. Il populismo russo. 2 vol. Torino, 1952.

Venturi F. Roots of revolution; a history of the populist and socialist movements in nineteenth century Russia. / Transl. from the Italian by F. Haskell. With an introd. by I. Berlin. New York: Knopf, 1960.

Venturi F. Studies in free Russia. / Translat. by F.S. Walsby, M. O'Dell. Chicago, 1982.

Vernadsky G.V. A history of Russia. Vol. 1–5. New Haven, 1943–1969.

Vernadsky G.V. The origins of Russia. N.Y., 1959.

Verner A.M. The crisis of Russian autocracy. Nicholas II and the 1905 revolution. Princeton, 1990.

Vinkovetsky I. Russian America: An overseas colony of a continental empire, 1804-1867. Oxford; N.Y., 2011.

Viola L. The Cold War in American Soviet historiography and the end of the Soviet Union // Russian review. 2002. Vol. 61, N 1. P. 25–34.

Violette A. Judicial reforms in the Russian Navy during the 'Era of Great reforms': The reform act of 1867 and the abolition of corporal punishment // Slavonic and East European review.1978. Vol.56. N 4. P.586-603

Vucinich A. Darwin in Russian thought. Berkeley, 1988.

Vucinich A. Social thought in tsarist Russia: The quest for a general science of society, 1861-1917. Chicago: Univ. of Chicago press, 1976.

Vulpius R. Nationalisierung der Religion: Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung, 1860–1920. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.

Wade R. Argonauts of peace: The Soviet delegation to Western Europe in the summer of 1917 // // Slavic rev. 1967. Vol. 26, N 3. P. 453-467.

Wagner W. Marriage, property, and law in late imperial Russia. Oxford, 1994.

Wagner W. Tsarist legal policies at the end of the nineteenth century: A study in inconsistencies // Slavonic and East European Review. 1976. Vol.54, N 3. P.391-392;

Waldron P. Between two revolutions: Stolypin and the politics of renewal in Russia. DeKalb, 1998.

Walicky A. The controversy over capitalism: Studies in the social philosophy of the Russian populists. Oxford, 1969.

Walicki A. Legal philosophies of Russian liberalism. Oxford, 198

Walker G. Doctoral Research in Russian and East European Studies: Trends and Realities from the UTREES Database. Modern Humanities Research Association, 2016. www.mhra.org.uk/pdf/utrees-paper.pdf . Accessed 12 December 2021.

Wallace D.M. Russia. N.Y., 1877.

Wallace D.M. Russia on the eve of war and revolution. L.; N.Y., 1912.

Warth R.D. On the historiography of the Russian Revolution // Slavic. rev. 1967. Vol. 26, N 2. P. 247-264.

Waugh D.C. We have never been modern: Approaches to the study of Russia in the age of Peter the Great // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 2001. Bd 49. H.3. S. 321–345.

Wcislo F.W. Bureaucratic reform before World War I // Russian history. 1989. Vol.16, N 2-4. P377-387.

Wcislo F.W. Reforming rural Russia: State, local society, and national politics, 1855-1914. Princeton, 1990.

Wcislo F. Rereading old texts: Sergei Witte and the industrialization of Russia // Russia in the European context, 1789–1914: a member of the family / Ed. S. McCaffray, M. Melancon. N.Y., 2005. P. 71–83.

Wcislo F. Tales of imperial Russia. The life and times of Sergei Witte, 1849-1915. N.Y., 2011.

Weeks A.L. The first bolshevik: A political biography of Peter Tkachev. N.Y., 1968.

Weeks T. Nation and state in late imperial Russia: Nationalism and russification on the Western frontier, 1863-1914. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1996.

Weissman N. Reform in tsarist Russia: The state bureaucracy and local government, 1900-1914. New Brunswick, 1981.

Werth P.W. At the margins of orthodoxy: Mission, governance, and confessional politics in Russia's Volga-Kama region, 1827-1905. Ithaca: Cornell univ. press, 2002.

Werth P. Lived Orthodoxy and confessional diversity: The last decade on religion in modern Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2011. Vol.12, N 4. P. 849-865.

Werth P. The tsar’s foreign faiths: Toleration and the fate of religious freedom in imperial Russia. Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2014.

West S. ‘I shop in Moscow’: Advertising and the creation of consumer culture in late tsarist Russia. DeKalb: Northern univ. press, 2011.

Wheatcroft S. Crises and the condition of the peasantry in late imperial Russia // Peasant economy, culture and politics of European Russia, 1800-1921 / Ed. by Kingston-Mann E., Mixter T. Princeton univ. press, 1991. P. 128–173

Whelan H. Alexander III and the State Council. New Brunswick, 1983.

Whittaker C. The origins of modern Russian education: An intellectual biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855. DeKalb, 1985.

Whittaker C.H. Russian monarchy: Eighteenth-century rulers and writers in political dialogue. DeKalb,: Northern Illinois univ. press, 2003

Wilbour E. Was peasant agriculture really that impoverished?// J. of economic history. 1983. Vol.43. N 1. P. 137-144.

Wildman A.K. The defining moment: Land charters and the post-emancipation agrarian settlement in Russia, 1861-1863. Pittsburgh, 1996.

Windows on the Russian past: Essays on Soviet historiography since Stalin / Ed. by S.H. Baron, N.W. Heer. Columbus, 1977.

Wirtschafter E.K. From serf to Russian soldier. Princeton, 1990.

Wirtschafter E.K. The play of ideas in Russian Enlightenment theater. DeKalb, 2003.

Wirtschafter E.K. Religion and Enlightenment in Catherinian Russia: The teach-ings of Metropolitan Platon. DeKalb: NIU Press, 2013.

Wittfogel K. Oriental despotism: A comparative study of total power. New Haven, 1957.

Witzenrath Chr. Cossacks and the Russian Empire, 1598-1725: Manipulation, Rebellion and Expansion into Siberia. L.; N.Y., 2007.

Wolfenstein V. The revolutionary personality: Lenin, Trotsky and Gandhi. Princeton: Princeton univ. press, 1967.

Women and gender in 18th-century Russia / Ed. by Rosslyn W. Burlington: Ashgate, 2003.

Women in Russia / Ed.by Atkinson D., Dallin A., Lapidus G. Stanford: Stanford univ. press, 1977.

Women in Russian culture and society, 1700-1825 / Ed. by Tosi A., Rosslyn W. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007.

Workers and intelligentsia in late imperial Russia: Realities, representations, reflections / Ed. by Zelnik R.E. Berkeley: International and area studies, Univ. of California at Berkeley, 1999.

The world of the Russian peasant: Post-emancipation culture and society / Ed. by Eklof B., Frank S. Boston: Unwin Hyman, 1990.

Worobec C. Customary law and property devolution among Russian peasants in the 1870s // Canadian Slavonic papers. XXVI, N 2-3. P. 220–234.

Worobec C. Peasant Russia: Family and community in the post-emancipation period. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1995.

Worobec C.D. Possessed: Women, witches, and demons in imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2001.

Worobec C. Reflections on customary law and post-reform peasant Russia // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 20-26.

Wortman R. The crisis of Russian populism. L., 1967.

Wortman R. The development of Russian legal consciousness. Chicago, 1976.

Wortman R. “Muscovite Political Folkways” and the problem of Russian political culture // Russian Review. 1987. Vol. 46, No. 2. P. 191-197.

Wortman R. Rec. ad op.: Rogger H. Russia in the age of modernization and revolution, 1881-1917. L., 1983 // The Russian rev. 1985. Vol.44. N 3. P. 299-300.

Wortman R. Scenarios of power: Myth and ceremony in Russian monarchy. Vol. 1 [From Peter the Great to the Death of Nicholas I]. Princeton, N.J., 1995; Vol. 2 [From Alexander II to the Abdication of Nicholas II]. Princeton, N.J., 2000.

Yaney G. Bureaucracy as culture: A comment // Slavic rev. 1982. Vol.41, N 1. P.104-111.

Yaney G. Some suggestions regarding the study of Russian peasant society prior to collectivization // Russian rev. 1985. Vol.44, N 1. P. 27-33.

Yaney G.L. The systematization of Russian government: Social evolution in the domestic admin-istration of imperial Russia, 1711-1905. Urbana: Univ. of Illinois press, 1973.

Yaney G. The urge to mobilize: Agrarian reform in Russia, 1861-1930. Urbana, 1982.

Young G. Fetishizing the Soviet collapse: Historical rupture and historiography of the (early) Soviet socialism // Russian review. 2007. Vol. 66, N 1. P. 95–122.

Young G. M. The Russian cosmists: The esoteric futurism of Nikolai Fedorov and his fol-lowers. Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012.

Zelnik R. E. Labor and society in tsarist Russia: The factory workers of St. Petersburg, 1855-1870. Stanford, 1971.

Zelnik R.E. Law and disorder on the Narova river: The Kreenholm strike of 1872. California, 1995.

Zelnik R.E. A radical worker in tsarist Russia: The autobiography of Semen Kanatchikov. Stanford, 1986.

The zemstvo in Russia: An experiment in local self-government / Ed. by Emmons T., Vucinich W. Cambridge, 1982.

Zhuk S.I. Russia's lost Reformation: Peasants, millennialism, and radical sects in Southern Russia and Ukraine, 1830-1917. Wash.: Woodrow Wilson Center Press, 2004.

Zitser E. A. The transfigured kingdom: Sacred parody and charismatic authority at the court of Peter the Great. Ithaca: Cornell univ. press, 2004.

Литература

Агеева В.В. «Экзистенциальные лабиринты» Russian studies: История советской и постсоветской России в современной англо-американской историографии // Изучение России современными историками Запада и Востока: Коллективная монография. М.: Квадрига, 2019. С. 85-116.

Агеева В.В., Штанько М.А. Современное немецкое россиеведение: Специфика дискурса, тематические поля и процессы институализации //

Изучение России современными историками Запада и Востока: Коллективная монография. М.: Квадрига, 2019. С. 117-148.

Ананьев Д.А. Крестьянские переселения в Сибирь и на Дальний Восток в пореформенную эпоху в оценках англо-американских и немецких исследователей (конец XIX - начало XXI в.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 45. С. 120-130

Антропология академической жизни: Традиции и новации / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИАЭ РАН, 2013.

Болховитинов Н.Н. Русские ученые-эмигранты и становление русистики в США. М., 2005.

Большакова О.В. 1812 год и русское национальное самосознание: Англоязычная историография // Труды по россиеведению. Сб. науч. тр. / ИНИОН РАН. М., 2012. С. 385-400.

Большакова О.В. 1917–2017: американский взгляд на русскую революцию // В поисках утраченного времени: Сб. науч. тр. / ИНИОН РАН. Гл. ред. Глебова И.И. М., 2019. С. 169–179.

Большакова О.В. 50-летие Октября на страницах американской научной периодики // Российская история. 2018. № 6. С. 57-64.

Большакова О.В. Американская мозаика // Вестник института Кеннана в России. Вып.12. 2007. С.35-43.

Большакова О.В. Власть и политика в России XIX – начала XX в. М.: Наука, 2008.

Большакова О.В. Восток и Запад: история и современное состояние восточных исследований // Славяноведение. 2012. № 4. С. 110–113.

Большакова О.В. Гендерная история России в американской русистике нового тысячелетия // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен. Материалы Пятой Международной научной конференции РАИЖИ.

Тверь, 4-7 октября 2012 г. / Отв. ред. А.В.Белова, Н.Л.Пушкарева. М.: ИЭА РАН, 2012. С.548-551.

Большакова О.В. Гендерные исследования российского двадцатого века // Вестник СПбГУ. История. 2020. Т. 65. Вып. 1. С. 318-328. (В соавторстве с Н.Л. Пушкаревой).

Большакова О.В. Долгое возвращение в Европу: Изучение Первой мировой войны и американская русистика // Российская история. 2014. № 5. С. 26–35.

Большакова О.В. Другая история: Современная американская историография России // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2014. Т.5. Вып. 7 (30) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840000838-0-1 (Дата обращения 12.12.2021).

Большакова О.В. Женские и гендерные исследования России в англоязычных странах // Женское и мужское в традиционной и современной культуре: Сохранение, фиксация, понимание. Материалы XIII международной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. Часть 1. М., 2020. С. 17-20.

Большакова О.В. Закон и порядок в дореволюционной России: новые интерпретации американских историков // Российская история. 2016. № 6. С. 162-174.

Большакова О.В. «Замечательное десятилетие»: 1991 год и изучение истории дореволюционной России в США (Аналитический обзор) // Историческое знание на рубеже столетий / ИНИОН РАН. М., 2003. С. 182-204.

Большакова О.В. Зарубежное белорусоведение в контексте дисциплины Russian and East European Studies // Россия и Беларусь: История и культура в прошлом и настоящем. Материалы исследовательского проекта

«Современное зарубежное историческое белорусоведение: эволюция методологических подходов и оценок». Вып. 6. Смоленск: Изд. СмолГУ, 2020. С. 79-87.

Большакова О.В. Изучение истории русской революции в США после окончания холодной войны // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизации. Харьков, 2009. Вып.6. С. 266-279.

Большакова О.В. «Имперский поворот» в американской русистике // История и историки: историогр. вестник / ИРИ РАН, Комиссия по истории исторической науки. – 2013-2014 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2015. С. 140–161.

Большакова О.В. Империя, нация и концепт модерного государства. (Размышления о книге «Империя и общность в контактных зонах Евразии») // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. ИАЖ «История». / РАН. ИНИОН. 2021. № 4. С. 7–26.

Большакова О.В. Исследования России/СССР и стран Восточной Европы после холодной войны: новое лицо дисциплины // Roczniki Humanistyczne. 2021. T. LXIX, N 7. S. 35–48.

Большакова О.В. История науки – история страны // Наука в СССР: Современная зарубежная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв. ред. Большакова О.В. М., 2014. С.5-14.

Большакова О.В. История России XX в. в США: Темы и парадигмы// // Зарубежное россиеведение / Под ред. Безбородова А.Б. М.: Проспект, 2012. С.370-397.

Большакова О.В. История России в гендерном измерении. Современная зарубежная историография. Аналитический обзор. / РАН. ИНИОН. М., 2010. 122 с.

Большакова О.В. Конец Российской империи: Современные интерпретации // Имперский поворот в изучении истории России: Современная историография: Сб. обзоров и реф. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; отв. ред. Большакова О.В. М.: ИНИОН, 2019. С. 150-172.

Большакова О.В. Консюмеризм в Российской империи и СССР: Взгляд зарубежных историков // Социальные новации и социальные науки./ РАН. ИНИОН. 2020. № 2. С. 37-63.

Большакова О.В. Конфессиональная политика Российской империи: Англоязычная историография. (Аналитический обзор) // Религия и церковь в истории России: Современная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Отв. ред. Большакова О.В. М., 2016. С. 72–109.

Большакова О.В. Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. Вып. 6 / ИНИОН РАН. Центр россиеведения; Гл. ред. И.И. Глебова. М., 2016. С. 353–385.

Большакова О.В. Кризис российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171.

Большакова О.В. Между двумя юбилеями: англоязычная историография отмены крепостного права // Российская история. 2011. № 4. С.14-26.

Большакова О.В. Мост через Атлантику: Американский журнал «Критика» и советская историография в годы холодной войны // Известия Смоленского государственного университета. 2015. № 1 (29). С. 207-220.

Большакова О.В. На Восточном фронте без перемен: Зарубежная русистика о гендерной истории Первой мировой войны // Труды по россиеведению: Сб. науч.тр. / РАН. ИНИОН. Вып.5. М., 2014. С. 383–396.

Большакова О.В. Новая политическая история России: Современная зарубежная историография: науч.-аналит. обзор. М.: ИНИОН, 2006. 98 с.

Большакова О.В. О новой концепции истории России в современной американской историографии // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2009-2010 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2012. С.42-70.

Большакова О.В. П.А.Зайончковский и американская русистика 1960-80-х гг. // Петр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М.: РОССПЭН, 2008. С.828-842.

Большакова О.В. П.А.Зайончковский и его американские ученики // Отечественная история. 2004. № 5. С. 158–177.

Большакова О.В. Парадигма модернизации в англо-американской русистике (Российская империя) // Политическая наука. 2003. № 2.С.139-157.

Большакова О.В. Пересмотр старых парадигм: Американская русистика после распада СССР // Теории и методы исторической науки: Шаг в XXI век. Материалы международной научной конференции. М., 2008. С.139-141.

Большакова О.В. Периодизация гендерной истории России в зарубежной русистике // Женская история и современные гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем: Материалы Третьей международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 1–3 ноября 2010 года, Череповец. М.: ИЭА РАН, 2010. Т. 2. С. 469-475.

Большакова О.В. Периодизация истории России в трудах американских историков // Периодизация истории и «переходные периоды» в современной зарубежной историографии: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. М., 2012. С. 104-115.

Большакова О.В. Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны. М.: ИНИОН, 2013.

Большакова О.В. Проблема «Россия и Запад» в англоязычной историографии 1940-1960-х годов // Вестник МГУ. Серия 5. История. 2020. № 5. С. 78-99.

Большакова О.В. Проблема «Россия и Запад» в контексте «транснационального поворота» (о двух новых книгах американских историков) // История и историки: историогр. вестник / Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории, Комиссия по истории исторической науки. 2011-2012 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: Наука, 2013. С.214-224.

Большакова О.В. Проблемы изучения крепостного права в России на страницах журнала «Kritika» // Реформа 1861 г. в истории России (к 150-летию отмены крепостного права): Сб. обзоров и реф. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв. ред. Коновалов В.С. М., 2011. С.221-233.

Большакова О.В. Проблемы изучения местного управления в англоязычной историографии императорской России // Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII – начало XXI вв.): сб. ст. Всеросс. научной конф. (г.Оренбург, 30 октября – 2 ноября 2012 г.) / Под науч.ред. Е.В. Годововой, С.В. Любичанковского. Оренбург: Пресса, 2012. С.461-464.

Большакова О.В. Путешествие во времени: Культура императорской России в современной англоязычной историографии // История России в современной зарубежной науке. Ч.2. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 115-137.

Большакова О.В. Распад империй и Русская революция: Современная зарубежная историография // Труды по россиеведению. Сб. науч. тр. Вып. 7. / ИНИОН РАН. М., 2018. С. 235-253.

Большакова О.В. Религиозная проблематика в современной историографии России // Религия и церковь в истории России: Современная

историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Отв. ред. Большакова О.В. М., 2016. С. 5-22.

Большакова О.В. Рец. на кн.: Randolph J. The house in the garden: the Bakunin family and the romance of Russian idealism (Urbana, 2007) // Отечественная история. 2010. № 5. С. 199–202.

Большакова О.В. Рец. на книгу: Smith-Peter S. Imagining Russian regions: Subnational identity and civil society in nineteenth-century Russia. Leiden; Boston: Brill, 2018. XIV, 328 p. // ИАЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История. М., 2021. № 2. С. 61-67.

Большакова О.В. Рецензия на кн.: Women and gender in Central and Eastern Europe, Russia and Eurasia: a comprehensive bibliography / Ed. by Mary Zirin ... et al. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. 2 v. // Социальная история. Ежегодник. М., 2012. С.428-433.

Большакова О.В. Россиеведение & Russian studies: Зарубежный опыт // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / ИНИОН РАН. Центр россиеведения; Гл. ред. И.И. Глебова. М., 2010. С. 258–269.

Большакова О.В. Российская империя: Система управления. (Современная зарубежная историография). Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. М., 2003. 94 с.

Большакова О.В. Российская империя в современных исследованиях: Евразийская парадигма (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История: РЖ / РАН. ИНИОН. 2018. Спец. выпуск. С. 79–98.

Большакова О.В. Российская империя: Система управления. (Современная зарубежная историография). Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. – М., 2003.

Большакова О.В. Россия как многонациональная империя: Итоги и перспективы изучения // Российская история. 2021. №.4. С. 163-177.

Большакова О.В. Россия как империя: Современный взгляд // Имперский поворот в изучении истории России: Современная историография: Сб. обзоров и реф. М.: ИНИОН, 2019. С. 5-18.

Большакова О.В. Русская революция глазами трех поколений американских историков // 1917 год. Россия революционная. М.: ИНИОН, 2007. С.7-35.

Большакова О.В. «Ситуация безусловно крайне серьезная…»: Британский дипломат о предстоящей отмене крепостного права в России // Родина. 2011. № 5. С. 92–94.

Большакова О.В. «Соединенными усилиями»: изучение отмены крепостного права в СССР и США // Вестник МГУ. 2012. № 2. С. 59-67.

Большакова О.В. Социальная история бюрократии императорской России в англо-американской историографии // Бюрократия и бюрократы в России в XIX и XX веках: общее и особенное: Материалы XII Всероссийской научно-теоретической конференции. М.: РУДН, 2008. С.81-88.

Большакова О.В. Стирая границы: Современная англоязычная историография религии и религиозности в императорской России // Церковь и религиозное сознание в Новое и новейшее время. М.: ИНИОН РАН, 2010. С.23-61.

Большакова О.В. Статистика в пореформенной России: современные дискуссии (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. РЖ «История». / РАН. ИНИОН. 2019. № 2. С. 75-88.

Большакова О.В. Сэр Дональд Маккензи Уоллес и его «Россия» // Новая и новейшая история. 2020. № 3. С. 170-178.

Большакова О.В. Формирование нового человека: Биомедицинские науки в России XIX-XX века. (Современная англоязычная историография). (Аналитический обзор) // Наука в СССР: Современная зарубежная историография: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв. ред. Большакова О.В. М., 2014. С.47-80.

Большакова О.В. Экономические предпосылки и последствия крестьянской реформы 1861 года: Новые интерпретации зарубежных историков // Известия Смоленского государственного университета. 2011. № 4. С. 3–22.

Большакова О.В., Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования российского двадцатого века // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. СПб., 2020. Т. 65. Вып. 1. С. 318-328.

Большакова О.В. Russian studies: О терминах и не только // Российская история. 2013. № 1. С. 147–151.

Ван Меенен М.А., Уорак-Хемметт Р.К. Изучение российской (и советской) истории в Канаде // Россия XIX-XX вв. Взгляд зарубежных историков / Отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1996. С. 100-116.

Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии // Социология власти. 2003. N 2. С. 144–168.

Вебер М. Переход России к псевдоконституционализму // Синтаксис. Париж, 1990. N 27. С. 29–57.

Власть и реформы в России: Материалы «круглого стола», посвященного обсуждению коллективной монографии петербургских историков // Отечественная история. М., 1998. № 2. С.3-36.

Власть и реформы: От самодержавной к советской России. СПб., 1996.

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. М., 2003.

Гадамер Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва: Прогресс, 1988.

Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология М.Вебера и веберовский Ренессанс. М., 1991.

Гарскова И.М. Историческая информатика: эволюция междисциплинарного направления. Спб.: Алетейя, 2018.

Глисон А. Великие реформы в послевоенной историографии // Великие реформы в России. 1856-1874. М., 1992. С. 8–24.

Данилевский И.Н. От интерпретации к пониманию: Традиции и перспективы // Диалог со временем. Вып.4. М., 2001. С. 200–212.

Долинин А.А. Гибель запада: К истории одного стойкого верования // К истории идей на Западе: Русская идея. СПб., 2010. С. 26–76.

Дорожкин А.Г. Столыпинская аграрная реформа в оценках современной германоязычной историографии // Отечественная история. 2006. № 2. С. 116-135

Дубина В.С., Польской С.В. «Особый путь» русского дворянства в отечественной и зарубежной историографии // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. № 2. С. 227-234.

Дэвид-Фокс М. Введение: Отцы, дети и внуки в американской историографии царской России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Антология. Самара, 2000. С. 5–47.

Дэвид-Фокс М., Холквист П., По М. Журнал «Критика» и новая наднациональная историография России (пер. С. Силаковой) // Новое литературное обозрение. 2001. № 50: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/devid-pr.html

Елисафенко М.К. История российского земства в зарубежной историографии XIX-XX вв. // Вестник Шадринского педагогического университета. 2019. № 2(42). С. 178.

Ефимов О.В. Аграрная реформа П.А. Столыпина в англо-американской историографии. Петрозаводск, 2002.

Журавлева В.И. Понимание России в США: Образы и мифы. М., 2012.

Замятин Д. Гуманитарная география: Пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 26–50.

Злобин П.Ю. Институт генерал-губернаторской власти Российской империи в современной зарубежной историографии // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 10. С. 4-11.

Игрицкий Ю.И., Плимак Е.Г. Питомник клеветников: (Русский исследовательский центр в Гарварде) // История СССР. 1961. № 5. С. 192–219.

Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С. Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. М., 1996.

Карпович М. О русском мессианстве // Новый журнал. 1956. Т. XLV. Кн. 45. С. 274–283.

Келли К. Еще раз о «новом историзме» // Вопросы литературы. 2003. № 4. С. 48-60.

Ковпак Д. Советский историк и зарубежная наука: Александр Львович Шапиро и западные историки-русисты // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание. 2014. № 1. С. 274-295.

Кодин Е.В. «Гарвардский проект». М., 2003.

Кодин Е.В. Мюнхенский институт по изучению СССР, 1950-1972 гг.: европейский центр советологии? Смоленск: СмолГУ, 2016

Кореневский А.В. Византийское наследие России: анатомия мифа // Новое прошлое. 2016. № 1. С. 62–79.

Куренкова Е.А. Русское Средневековье в трудах Эдварда Кинана: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2007.

Лаптева Е.В. Американское россиеведение: образ России. Екатеринбург, Пермь: Изд-во Урал. ун-та, 2004.

Лихачев Д.С. Национальное самосознание Древней Руси. М.–Л., 1945.

Меньковский В.И. Англо-американская россика и советика на рубеже XX–XXI вв. // Працы гістарычнага факультэта: навук. зб. / Рэдкал.: У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2006. Вып. 1. С. 243–255.

Меньковский В.И. Англо-американская советология: история, современность, академические ресурсы. Минск, 2000.

Миллер А. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2008.

Мингереш Ю.В. К вопросу об изучении истории России во Франции в 20-70-х годах XX в. // Вестник СПбГУ. Серия 2. История. 2010. Вып. 3. С. 127-132.

Минути Р. Образ России в творчестве Монтескье // Европейское Просвещение и цивилизация России / Отв. ред. С.Я. Карп. М., 2004. С. 31-41.

Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. статей / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, Л.П. Каплуновского, М.Б. Могильнер, Л.М. Семёнова. Казань, 2004.

Новая имперская история Северной Евразии. В 2 частях / И. Герасимов, М. Могильнер, С. Глебов; при уч. А. Семенова. Казань, 2017. Ч. 1: Конкурирующие проекты самоорганизации, VII-XVII вв. Ч. 2: Балансирование имперской ситуации, XVIII-XX вв.

Олегина И. Изучение истории России в США и Великобритании: новые тенденции и наследие советологии // Исторические исследования в России – II. Семь лет спустя. М.: АИРО-XX. 2003. С. 412-447.

Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. Россия глазами американцев, 1850-1880-е годы. М., 1998. М., 1998.

Пантин В.И. Циклы и волны модернизации как феномен социального развития. М., 1997.

Петров Е.В. История американского россиеведения. СПб., 1998.

Петров Е.В. Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США в первой половине XX столетия. СПб., 2000.

Петухов А.В. Христианизация народов Среднего Поволжья в середине XVIII века в освещении современной американской историографии // Вестник Чувашского университета. 2014. № 4. С. 64-70.

Плате А. Трудности российского понимания современной немецкой русистики // Вестник СПбГУ. История. 2020. Т. 65. Вып. 4. С. 1329-1330.

Политическая история империи – политическая история нации: На пути к синтетическому методу? Заочный круглый стол // Ab imperio. 2002. № 2. С. 89-132.

Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетейя, 2007.

Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919–1939 / Пер. с англ. А. Ратобыльской; предисл. О. Казниной. М., 1994.

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX—XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011.

Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998.

Репина Л.П. Образы прошлого в памяти и в истории // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени. М., 2003.

Рибер А. Изучение истории России в США // Исторические записки. [Вып.] 3 (121). М., 2000. С. 65–105.

Рогаева И.Е. История России сквозь призму англо-американского россиеведения // Изучение России современными историками Запада и Востока: Коллективная монография. М.: Квадрига, 2019. С. 65-84.

Розенберг У. История России конца XIX – начала XX в. в зеркале американской историографии // Россия XIX–XX вв.: Взгляд зарубежных историков / Отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1996. С. 8-28.

Сальникова А.А. Кто и как будет изучать российскую историю в США в XXI веке: О формировании образа историка-россиеведа в американской историографии // Россия и современный мир. 2003. № 1 (38). С. 150-170.

Селунская Н.Б. Россия на рубеже XIX – XX веков (в трудах западных историков). М., 1995.

Сидорова Л.А. Советская историческая наука середины XX века: синтез трех поколений историков. М.: Ин-т российской истории, 2008.

Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. М.: Новое литературное обозрение, 2014-2016.

Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС. Ч.1. История СССР. М., 1962.

Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография Великобритании. М., 1991.

Струве Г. Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. Сан-Франциско, 1950.

Тараторкин Г.Ф. А.С. Лаппо-Данилевский и проект создания истории России на английском языке (1915–1918 гг.) // Археографический ежегодник. 1994. М., 1996. С. 270–277.

Тараторкин Ф.Г. От россики к советологии: Формирование образа России в британском научном россиеведении в XX в. // Зарубежное россиеведение / Под ред. А. Безбородова. М., 2012. С. 417–423.

Татарчевская Т. О новом историческом повороте в социологии // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. С. 75–83.

Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. (Оригинал: Tocqueville A. de. De la démocratie en Amerique. Vol. I. P., 1835; vol. II. P., 1840).

Трибунский П.А. Российское зарубежье и становление россиеведения в Великобритании и США (конец XIX - 1920 г.). М., 2021.

Трубникова Н.В. Основные исследовательские парадигмы французского россиеведения в 1990-2010-х гг. // Изучение России современными историками Запада и Востока: Коллективная монография. М., 2019. С. 9-64.

Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Новый журнал. 1956. Т. XLV. Кн. 45. С. 249–273.

Филитов А.М. Научные связи историков в годы «холодной войны»: взгляд с «другой стороны» // Отечественная история. 2000. № 4. С. 128-139.

Филюшкин А. Как Россия стала для Европы Азией? // Изобретение империи: Языки и практики / Сост.: А. Семенов, И. Герасимов, М. Мольгинер. М., 2011. С. 7–30.

Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1981—1982 уч. году / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007.

Хархордин О. Основные понятия российской политики. М., 2011.

Цивилизация и варварство: трансформация понятий и региональный опыт / В.П. Буданова (отв. ред.). М., 2012.

Цыкова К.А. Россия второй половины XIX – начала XX в. в трудах Анатоля Леруа-Больё. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2005.

Эктон Э., Гэтрелл П. Глазами британцев: современная английская историография России и Советского Союза // Россия XIX–XX вв.: Взгляд зарубежных историков / Отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1996. С. 29-49.

A remarkable decade [From the editors] // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2001. Vol. 2, N 2. P. 229–233.

Adamovsky E. Euro-Orientalism and the making of the concept of Eastern Europe in France, 1810–1880 // The Journal of Modern History. 2005. Vol. 77. N 3. P. 591–628.

Adamovsky E. Euro-Orientalism: Liberal ideology and the image of Russia in France (c. 1740–1880). Oxford, 2006.

Agnew H. LeCaine. Josef Dobrovský: Enlightened hyper-critic or pre-Romantic forger? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2005. Vol.6, N 4. P. 845-855.

AHR reflections: 1968 // The American historical rev. 2018. Vol. 123. N 3. P. 706-778.

American research on Russia / Ed. by H. Fisher. Bloomington, 1959.

An intimate history of killing: face-to-face killing in twentieth-century warfare. N.Y.: Basic Books, 1999.

Bavaj R. The West: A conceptual exploration. http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/political-spaces/political-ideas-of-regional-order/riccardo-bavaj-the-west-a-conceptual-exploration/?searchterm=oriental%20despotism&set_language=en

Berlin I. Political ideas in the twentieth century // Foreign affairs. 1950. Vol. 28. N 3. P. 351–385.

Bernstein R.J. Incommensurability and otherness revisited // Culture and Modernity: East-West philosophic perspectives / Ed. by E. Deutsch. Honolulu: Univ. of Hawaii press, 1991. P. 85–103.

Beyond Soviet studies / Ed. by Orlovsky D. Washington, D.C.: The Woodrow Wilson Center press, 1995.

Bourke J. Dismembering the male: men's bodies, Britain and the Great War. Chicago : University of Chicago Press, 1996.

Bureaucracy and political development / Ed. by J. La Palombara. Princeton, 1963.

The Cambridge History of the First World War. 3 vols. Cambridge, 2014.

Castillo G. East as true West: Redeeming bourgeois culture, from Socialist realism to Ostalgie // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2008. Vol. 9, N 4. P. 747–768.

Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton, N.J., 2000.

Churchill W.S. The unknown war. The Eastern front. N.Y.: C. Scribner's Sons, 1931.

A companion to the anthropology of religion / Ed. by Boddy J., Lambek M. Hoboken, NJ: John Wiley&sons, 2013.

Cook W. The kids are all right: On the "turning" of cultural history // American hist. rev. 2012. Vol. 117, N 3. P. 746-771.

Crozier M. The bureaucratic phenomenon. Chicago, 1964.

Debt and slavery in the Mediterranean and the Atlantic worlds / Ed. by Campbell G., Stanziani A. L.: Pickering and Chatto, 2013

Dirks N., Eley G., Ortner Sh. Introduction // Culture/power/history: a reader in contemporary social theory / Ed. by Dirks N., Eley G., Ortner Sh. Princeton: Princeton univ. press, 1994. P. 3–47.

Dynamic of destruction: culture and mass killing in the First World War. Oxford; N.Y., 2007.

East and West: History and contemporary state of Eastern studies / Ed. by Malicki J., Zasztowt L. Warsaw: Studium Europy Wschodniej, 2009.

Eisenstadt S.N. Modernization: Protest and change. Englewood Cliffs, 1966.

Eisenstadt S.N. The political systems of empires. Glencoe, 1963.

Ely G. A crooked line: From cultural history to the history of society. Ann Arbor, 2005.

Emmons T. Russia then and now in the pages of «American historical review» and elsewhere: A few centennial notes // American historical review. 1995. Vol. 100. N 4. P. 1136–1149.

Encyclopaedia of the Social Sciences / Ed. E.R.A. Seligman, A. Johnson. N.Y., 1930.

Enduring Western civilization: The construction of the concept of Western civilization and its "Others" / Ed. by Federici S. Westport: Praeger Publishers, 1995.

Engerman D.C. Know your enemy: The rise and fall of America's Soviet experts. Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2009.

Engerman D. Modernization from another shore: American intellectuals and the romance of Russian development. Cambr. (Mass.), 2003.

Engerman D. The ironies of the iron curtain. The Cold War and the rise of Russian studies in the United States // Cahiers du monde russe. 2004. Vol. 45. N 3-4. P. 465-496.

Filipowicz M. Emigranci i jankesi: O amerikanskich historykach Rosji. Lublin, 2007.

Fischer-Tiné H. Postcolonial Studies. URL: http://ieg-ego.eu/en/threads/theories-and-methods/postcolonial-studies

Friedrich C. J., Brzezinski Z.K. Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge (Mass.), 1956.

Fussell P. The Great War and modern memory. New York : Oxford University Press, 1975.

Germany and “the West”: The history of a modern concept / Ed. by Bavaj R., Steber M. – N.Y.; Oxford: Berghahn Books, 2015.

Ghosh D. Another set of imperial turns? // American historical review. 2012. Vol.117, N 3. P. 772–793.

GoGwilt Chr. True West: The changing idea of the West from the 1880s to the 1920s // Enduring Western civilization: The construction of the concept of Western civilization and its «Others» / Ed. by S. Federici. Westport, 1995. P. 37–62.

Graham L.R. Lonely ideas: Can Russia compete? Cambridge: The MIT press, 2013.

Graham L.R. What have we learned about science and technology from the Russian experience? Stanford: Stanford univ. press, 1998.

Halecki O. Borders of Western civilization: A history of East Central Europe. N.Y., 1952.

Heller P. The Russian dawn: How Russia contributed to the emergence of «the West» as a concept // The struggle for the West: A divided and contested legacy / Ed. by C.S. Browning, M. Lehti. N.Y., 2010. P. 33–52.

The historic turn in the human sciences / Ed. by McDonald T.J. Ann Arbor, 1996.

History of concepts: Comparative perspectives / Ed. by Hampsher-Monk I., Tilmans K., van Vree F. Amsterdam: Amsterdam univ. press, 1998.

A history of Russian literary theory and criticism: The Soviet age and beyond / Ed. by Dobrenko E., Tihanov G. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2011.

Horne J., Kramer A. German atrocities, 1914: a history of denial. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.

Hull I.V. Absolute destruction: military culture and the practices of war in imperial Germany. Ithaca: Cornell University Press, 2005.

Imagined histories: American historians interpret the past / Ed. by A. Molho, G.S. Wood. Princeton, 1998.

International encyclopedia of the social sciences. Ed. Sills, David L. United States: Crowell Collier and Macmillan Inc., 1968.

Jones H. Violence against prisoners of war in the First World War. Britain, France and Germany, 1914-1920. Cambridge, 2011.

Kappeler A. Between science and politics: The German-language historiography of Russia during the 20th century // East and West. History and contemporary state of Eastern studies / Ed. by J. Malicki, L. Zastrowt. Warsaw, 2009. P. 41-60.

Keller W. East minus West = zero: Russia's debt to the Western world, 862–1962 / Transl. from German. N.Y., 1962.

Kirby D. Divinely sanctioned: The anglo-american Cold war alliance and the defence of western civilization and Christianity, 1945-48 // Journal of contemporary history. 2000. Vol. 35. N 3. P. 385–412.

Kivelson V. On words, sources, and historical method: which truth about Muscovy? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. N 3. P. 487–499.

Kumar K. Nation-states as empires, empires as nation-states: Two principles, one practice? // Theory and Society. 2010. Vol. 39, N 2. P. 119–143.

La Palombara J. An overview of bureaucracy and political development // Bureaucracy and political development / Ed. by J. La Palombara. Princeton, 1963. P. 3-33. тараторкин

La violence de guerre 1914-1945: approches comparées des deux conflits mondiaux / Sous la dir. de St. Audoin-Rouzeau [et al.] ; textes de H. Asséo [et al.]. Bruxelles: Editions Complexe, 2002.

Levy M. Modernization and the structure of societies: A setting for international affairs. Vol.1–2. Princeton, 1966.

Lipset S.M. Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy // The American political science review. 1959. Vol.53. N 1. P. 69–105.

MacIntyre A. C. Three rival versions of moral enquiry: Encyclopaedia, genealogy, and tradition: being Gifford lectures delivered in the University of Edinburgh in 1988. Notre Dame (Ind.), 1990.

Malia M. Clio in Tauris: American historiography on Russia // Imagined histories: American historians interpret the past / Ed. by A. Molho, G.S. Wood. Princeton, 1998. P. 415-433.

Mariano M. Remapping America: Continentalism, globalism, and the rise of the Atlantic community, 1939–1949 // Defining the Atlantic Community: Culture, intellectuals, and policies in the mid-twentieth century / Ed. by M. Mariano N.Y., 2010. P. 71–91.

Minuti R. Oriental despotism // European history online (EGO), published 2012-05-03. http://ieg-ego.eu/en/threads/models-and-stereotypes/the-wild-and-the-civilized/rolando-minuti-oriental-despotism/?searchterm=None&set_language=en.

Montgomery D. Introduction // The cold war and the university. N.Y., 1997. P.XII–XXXIII.

Neumann I. B. Uses of the other: «The East» in European identity formation. Minneapolis, 1999.

Novick P. That noble dream: The «objectivity question» and the American historical profession. Cambridge, 1988.

Poe M. Russian history on the Web: A guide and review // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1, N 3. P. 342-345.

Pomeranz K. The great divergence. Princeton: Princeton university press, 2000.

Post-colonial studies: The key concepts. / Ed. by B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. 2nd ed. L., N.Y.: Routledge, 2007.

Reading primary sources: The interpretation of texts from nineteenth- and twentieth-century history / Ed. by Dobson M., Ziemann B. L., 2009.

Riggs F.W. Administration in developing countries: The theory of prismatic society. Boston, 1964.

Roberts I.W. History of the School of Slavonic and East European Studies, 1915–1990. L., 1991.

Rosenzweig R. Scarcity or abundance? Preserving the past in a digital era // American historical review. 2003. Vol. 108. N 3. P. 735–762.

Rostow W.W. The dynamics of Soviet society. N.Y., 1953.

Rostow W.W. The stages of economic growth. L.; N.Y., 1960.

Said E. Orientalism. N.Y., 1978.

Sakwa R. The Australian contribution to Soviet, East European and Russian studies. Carlton, Vic., 2004. (Contemporary Europe Research Centre. Working papers. N 1).

Schlesinger R. History of the Communist party of USSR: Past and present. Columbia: South Asia Books, 1977.

Scott J. Gender: a useful category of historical analysis // The American historical rev. 1986. Vol. 91. N 5. P. 1053-1075.

Seipp A. R. The Ordeal of Peace: Demobilization and the urban experience in Britain and Germany, 1917–1921. Farnham, England; Burlington, VT: Ashgate, 2009.

Shanin T. The idea of progress // The post-development reader / Ed. by M. Rahnema, V. Bowtree. L., 1997. P.63-71.

Shearer D. From divided consensus to creative disorder: Soviet history in Britain and North America // Cahiers du monde russe. 1998. Vol. 39, N 4. P. 559–591.

Sinai I.R. The challenge of modernization: The West’s impact on the nonwestern world. L., 1964.

Speaking of history. Conversations with historians / Ed.by R. Adelson. Michigan, 1997. P. 230–231.

Steel R. How Europe became Atlantic: Walter Lippmann and the new geography of the Atlantic Community // Defining the Atlantic Community: Culture, intellectuals, and policies in the mid-twentieth century / Ed. by M. Mariano N.Y., 2010. P. 13–28.

Stoler A. L. Duress : imperial durabilities in our times. Durham: Duke univ. press, 2016.

Surkis J. When was the linguistic turn? A genealogy // American hist. rev. 2012. Vol. 117, N 3. P. 700-722.

Szawlowski R., Terlecka H. Western research on Russia until 1939: I: Developments up to 1914 // Canadian Slavonic papers / Revue Canadienne des Slavistes. 1967. Vol. 9. N 2. P. 145–169.

Taylor Ch. Understanding the other: a Gadamerian view on conceptual schemes // Gadamer's century: Essays in honor of Hans-Georg Gadamer / Ed. by J. Malpas, U. Arnswald, and J. Kertscher. Cambridge, MA: MIT Press, 2002. P. 279–297.

Thesis Eleven. 2017. Vol. 139. N 1.

Towards the comparative study of public administration / Ed. by W.J. Siffin. Bloomington, 1957.

Toynbee A.J. Civilization on Trial. N.Y., 1948.

Toynbee A.J. Russia's Byzantine heritage // Horizon. 1947. Vol. XVI. N 91. August. P. 82–95.

Trentmann F. Empire of things. How we became a world of consumers, from the fifteenth century to the twenty-first. N.Y.: Harper Perennial, 2017.

Winter J.M. Remembering war: the Great War between memory and history in the twentieth century. New Haven, 2006.

Winter J.M. Sites of memory, sites of mourning : the Great War in European cultural history. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 1995.

Winter J., Prost A. The Great War in history: Debates and controversies, 1914 to the present. Cambridge etc.: Cambridge univ. press., 2005.

Viola L. The Cold War in American Soviet historiography and the end of the Soviet Union // Russian review. 2002. Vol. 61, N 1. P. 25–34.

Wallerstein I. The unintended consequences of Cold war area studies // The Cold war and the university: toward an intellectual history of the postwar years. N.Y., 1997. P. 195–203.

War in peace: paramilitary violence in Europe after the Great War / ed. by Robert Gerwarth and John Horne. Oxford, 2012.

Yanov A. The origins of autocracy: Ivan the Terrible in Russian history / Transl. by S. Dunn. Foreword by S. Monas. Berkeley: Univ. of California press, 1981.